

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

* * *



БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

4р. 40к.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

ФИЕСТА (И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ)
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
СТАРИК И МОРЕ · РАССКАЗЫ

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ
ФИЕСТА
И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
СТАРИК И МОРЕ
РАССКАЗЫ





БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

Зарубежная литература



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БИБЛИОТЕКИ КЛАССИКИ

АНДРЕЕВ Л. Г.
БЕРДНИКОВ Г. П.
ГОЦ Г. С.
ОЗЕРОВ В. М.
ПУЗИКОВ А. И.
СЕВРУК В. Н.
ШМАРИНОВ Д. А.



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

ФИЕСТА
(И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ)
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
СТАРИК И МОРЕ
РАССКАЗЫ

Перевод с английского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84.7США
Х37

HEMINGWAY

Текст печатается по изданию:
Эрнест Хемингуэй. Собр. соч. в четырех томах,
т. 1, 2, 4. М., Художественная литература, 1981

Составление, вступительная статья
и примечания
Б. Грибанова

Художник
О. Верейский

Х $\frac{4703000000-241}{028(01)-88}$ 157-88
ISBN 5-280-00010-8

© Составление, вступительная статья, примечания, иллюстрации. Издательство «Художественная литература», 1988 г.

ЧЕЛОВЕКА ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ

Андрей Платонов прочитал в 1938 году роман Хемингуэя «Прощай, оружие!» и написал рецензию, открывавшуюся такими словами: «Из чтения нескольких произведений американского писателя Эрнеста Хемингуэя мы убедились, что одной из главных его мыслей является мысль о нахождении человеческого достоинства... Главное же — достоинство — следует еще найти, открыть где-то в мире и в глубине действительности, заработать его (может быть, ценою тяжелой борьбы) и привить это новое чувство человеку, воспитать и укрепить его в себе».

Вопреки установившейся к тому времени на Западе критической традиции, определявшей Хемингуэя как писателя, воспевающего насилие, жестокость, Платонов разглядел в своем американском собрате самое главное, скрытое от поверхностного взгляда,— его человечность, его боль и сострадание.

С этой боли, с возмущенного неприятия гнусных обстоятельств жизни, обрекавших человека на прозябание и бессмысленную гибель, и начинался Хемингуэй как писатель. Он вспоминал, как в начале 20-х годов оказался в качестве европейского корреспондента одной канадской газеты на греко-турецкой войне и увидел там ужасающие страдания мирного населения, изгнанного из своих родных мест. «Я помню,— писал Хемингуэй,— как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить всю свою жизнь, пытаясь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И я решил, холодный, как змий, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу».

В стремлении правдиво — иными словами, реалистически — изображать жизнь видел Хемингуэй высшую задачу писателя, его призвание. Он верил, что только правдой можно помочь человеку. Для этого, как впоследствии будет сказано в повести «Старик и море» (1952), надо показать, «на что способен человек и что он может вынести».

Мир XX века, в который вошел Хемингуэй, а он был, по существу, ровесником века — он родился в 1899 году — и все его поколение, метко названное «потерянным поколением» (удачный термин, оброненный Гертрудой

Стайн и введенный Хемингуэем в литературу), предстал перед ними миром жестоким, холодным и лишенным смысла. Кровавый отсвет первой мировой войны, через которую прошло это поколение, в том числе и восемнадцатилетний Хемингуэй, получивший на итало-австрийском фронте тяжелое ранение, лежал на тех, кто остался в живых. Невозможно было объяснить безумие человечества, позволившего ввергнуть себя в эту, по словам Хемингуэя, «самую колоссальную, убийственную, плохо организованную бойню, какая только была на земле».

Послевоенная действительность в Европе, где обосновался начинающий писатель, не принесла очищения. В Италии воцарился фашизм — «ложь, изрекаемая бандитами», как определит его позднее Хемингуэй, в Германии бесчинствовала реакционная военщина, унавоживая почву для предстоящего прихода Гитлера. Молодое поколение, к которому принадлежал Хемингуэй, ожидало революции в Западной Европе. «Непосредственно после войны,— вспоминал в 30-е годы Хемингуэй,— мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, вернувшие в нее, ждали ее с часу на час, возлагали на нее надежду, потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли».

Утратив иллюзии, унаследованные от XIX века, и не обретя новых, ужаснувшись пустоте жизни, «потерянное поколение» судорожно искало выход в пьянстве и разврате, в острых ощущениях. Обычным делом стали самоубийства. Казалось, что в мире не осталось больше никаких нравственных ценностей, никаких идеалов.

«Я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешен»,— писал Хемингуэй.

Ощущением трагедии пронизано большинство произведений Хемингуэя первого десятилетия его творчества — с середины 20-х до середины 30-х годов. Окружающая действительность воспринималась писателем мозаикой больших и маленьких человеческих трагедий, в которых воплощалась бесплодная погоня человека за счастьем, безнадежный поиск гармонии внутри себя, одиночество среди людей, обреченные на поражение попытки человека отыскать некие непреходящие духовные ценности, нравственный идеал.

Уже в одном из первых рассказов Хемингуэя «Индейский поселок» (1925) его любимый герой, мальчик Ник Адамс, которому писатель отдал многие факты собственной биографии, среди безмятежной природы сталкивается сразу с началом и концом сущего на земле — с рождением и смертью.

Трагическая тема бессилия человека перед лицом Зла звучит в рассказе «Убийцы»; мотив беспомощности перед жестокой судьбой, перед Роком — в рассказе «В чужой стране». Безнадежностью и горечью наполнен в этом рассказе крик души итальянского майора, потерявшего любимую жену, когда он утверждает, что человек не должен жениться: «Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего нельзя потерять». И эта мысль — что человек должен «найти то, чего нельзя потерять» — становится лейтмотивом нравственного поиска Хемингуэя в те годы. Но самому писателю этот поиск представляется безна-

дежным — где в этом мире найти непреходящие ценности? Человек живет в мире жестокости, он одинок и беззащитен, его душевные связи с другими людьми, даже с самыми близкими, зыбки и непрочны.

Свой первый роман «Фиеста» («И восходит солнце», 1926), принесший ему мировую славу, Хемингуэй не раз называл трагическим. Сетуя на неправильное понимание романа, он с негодованием жаловался: «Написать такую трагическую книгу, как эта, и чтобы они воспринимали ее как поверхностную джазовую историю». И действительно, за судорожным весельем героев романа, за их подчеркнуто бездумным отношением к жизни явственно проглядывает трагедия целого поколения, опустошенного войной, утратившего духовные идеалы, оторванного от своих корней и гонимого, как осенние листья, по взбаламученной Европе.

До подлинных высот трагизма поднимается автор в романе «Прощай, оружие!» (1929), рассказывая историю любви между американским офицером Фредериком Генри и английской сестрой милосердия Кэтрин Баркли, двумя песчинками, захваченными кровавым смерчем мировой войны.

Война вообще занимала значительное место в творчестве Хемингуэя. В книге «Зеленые холмы Африки» (1935) он вспоминал, как, перечитывая «Севастопольские рассказы» Толстого, одну из своих любимых книг, он задумался «о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт. Война одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее всего писать правдиво». Отношение Хемингуэя к империалистическим войнам было недвусмысленным. Через два десятка лет в предисловии к новому изданию романа «Прощай, оружие!» он заявлял: «Писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война».

Война сама по себе является трагедией, а любовь на войне, среди страданий, крови и смерти, тем более трагична. Любовь героев романа пронизана предчувствием катастрофы. Кэтрин говорит своему возлюбленному: «Мне кажется, с нами случится все самое ужасное». Так оно и происходит. И хотя Фредерик Генри заключает свой «сепаратный мир» — дезертирует из армии и бежит с любимой женщиной в нейтральную Швейцарию, где они наслаждаются тишиной и миром,— рок настигает их, Кэтрин умирает во время родов. «Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют».

Ощущение безысходности, бессмысленности жизни достигает своего апогея в рассказе «Там, где чисто, светло». «Все — ничто, да и сам человек — ничто» — таков безнадежный вывод, к которому приходит один из героев рассказа.

В этом трагическом, обреченном мире необходимо было найти хоть какой-то якорь, хотя бы соломинку, за которую можно уцепиться. Хемингуэй нашел такой якорь в выработанном им в те годы «моральном кодексе». Смысл этого кодекса заключается в следующем: раз уж человек в этой жизни обречен на поражение, на смерть, то единственное, что ему остается, чтобы

сохранить свое человеческое достоинство, это быть мужественным, не поддаваться обстоятельствам, какими бы страшными они ни были, соблюдать, как в спорте, правила «честной игры».

Наиболее явственно эта мысль выражена Хемингуэем в рассказе «Непобежденный». Для стареющего матадора Мануэля бой быков это не только возможность добывать деньги для существования, это гораздо большее — самоутверждение, вопрос профессиональной гордости. И, даже терпя поражение, человек может остаться непобежденным.

Возвращаясь к роману «Фиеста», следует сказать, что его герой Джейк Барнс не тонет в омуте окружающей его бессмыслицы, среди этой «суеты сует» только потому, что он придерживается хемингуэевского «кодекса» — в отличие от окружающих его ничтожеств и бездельников он любит свою профессию журналиста, гордится ею. Обделенный в жизни из-за ранения, которое лишает его возможности физически любить женщину, он не утопает в жалости к самому себе, не становится человеконенавистником, не спивается и не думает о самоубийстве. Джейк Барнс находит в себе силы жить, приемля жизнь такой, какова она есть, он сохраняет душевную стойкость, способность все выдержать.

Выстоять герою «Фиесты» помогает природа. Она выступает целительницей душевных ран, вечным источником радости.

Тема единения человека с природой, мысль о вечности природы и зыбкости человеческой жизни возникает у Хемингуэя уже в первых его рассказах. Она звучит в «Индейском поселке», где природа, окружающая мальчика,— озеро, солнце, встающее над холмами, рыба, плещущаяся в воде,— исполнена ощущением покоя и веры в бессмертие — «В этот ранний час, на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет».

Образ природы, спасительной и вечной силы, проходит по существу через все рассказы о Нике Адамсе. В романе же «Фиеста» этот образ вырастает до масштабов символа, и природа остается, как писал Хемингуэй в одном письме, «вечной, как герой». И действительно, природа — один из героев романа, именно она противопоставляется людской суете. И чтобы подчеркнуть это, Хемингуэй предпослал роману два эпиграфа — первый о «потерянном поколении», а второй из Екклезиаста, начинающийся величественными словами: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки».

Начертав на своем знамени слова «Задача писателя — говорить правду», Хемингуэй тем самым определил себя продолжателем реалистических традиций американской и мировой литературы. Это видно и из перечисления великих мастеров, которых он считал своими учителями. В литературе Соединенных Штатов он выделял Марка Твена и его книгу «Приключения Гекльберри Финна». «Из нее вышла вся американская литература»,— писал Хемингуэй. С уважением отзывался он и о творчестве Драйзера и Шервуда Андерсона. В европейской литературе он высоко ценил таких могучих реалистов, как Стендаль, Флобер, Мопассан, Томас Манн.

Особое место занимала русская литература: «Чудесный мир, который

дарили тебе русские писатели». Хемингуэй восхищался точностью описаний, глубиной психологического анализа Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова.

Однако при всем своем восхищении гениями литературы прошлого Хемингуэй отвергал саму мысль о возможности подражания им. «Любое искусство,— утверждал он,— создается только великими мастерами... Когда появляется истинный художник, великий мастер, он берет все то, что было постигнуто и открыто в его искусстве до него... а затем великий художник идет дальше того, что было открыто и сделано ранее, и создает свое, новое». В другом случае он писал: «Единственный способ понять, на что ты способен,— это соревнование с писателями прошлого».

Вот такие высокие задачи ставил перед собой Хемингуэй. По его высказываниям и прежде всего по самим произведениям писателя видно, как упорно искал он свой стиль, свою манеру увидеть и запечатлеть окружающую действительность. Он стремился, по его словам, «проникнуть в самую суть явлений, понять последовательность фактов и действий, вызывающих те или иные чувства, и так написать о данном явлении, чтобы это осталось действенным и через год, и через десять лет,— а при удаче и закреплении достаточно четком даже навсегда,— мне никак не удавалось, и я очень много работал, стараясь добиться этого».

Своим девизом Хемингуэй взял ясность. «Обязательной чертой хорошего писателя является ясность»,— писал он. «Писать с честной ясностью — гораздо труднее, чем писать с преднамеренной сложностью. Стиль писателя должен быть четким и ясным, его воображение богатым и опирающимся на реальность, а его слова простыми и энергичными. Великие писатели обладают даром великолепной краткости». Отсюда и характерные черты хемингуэевского стиля — предельная сжатость языка, выпуклость, зримость описаний, обнаженность слова, необычный диалог, идущий, казалось бы, по поверхности, но содержащий в себе глубокий и многозначный подтекст, умение опустить необязательное.

Творческие поиски Хемингуэя были неотделимы от выработанного им этического кодекса писателя, отмеченного высочайшей требовательностью. Широко известны его слова в книге «Зеленые холмы Африки» о том, что писателю помимо таланта и самодисциплины «нужно иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже».

Проблема честности писателя, его верности своему призванию, так волновавшая Хемингуэя, нашла свое блестящее воплощение в одном из лучших его рассказов «Снега Килиманджаро», где он создал образ писателя, продавшего свой талант ради денег, ради комфорта.

Претила Хемингуэю и позиция тех писателей, которые недостаток таланта пытались компенсировать обслуживанием той или иной политическ партии. «Писатель может сделать недурную карьеру, примкнув к какой-нибудь политической партии, работая на нее, сделав это своей профессией и даже уверовав в нее,— отмечал Хемингуэй.— Если это дело победит, карьера такого писателя обеспечена. Но все это будет не впрок ему, как писателю,

если он не внесет своими книгами чего-то нового в человеческие знания. Нет на свете ничего труднее, чем писать простую честную прозу о человеке... И если писать правдиво, все социально-экономические выводы будут напрашиваться сами собой».

Новые социально-экономические идеи появились в творчестве Хемингуэя в 30-е годы естественно, как художественное отражение новых обстоятельств, возникших в Соединенных Штатах в эпоху великой депрессии. Таким откликом стал роман «Иметь и не иметь» (1937), роман о человеке, который в одиночку борется с обществом, обрекающим его и его семью на нищету, на гибель. Примечательным в новом романе было то, что писатель подводил своего героя-одиночку в момент его гибели к весьма многозначительному выводу: «Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один».

Хемингуэй вписал эти слова в гранки романа, когда в любимой им Испании в 1936 году вспыхнул фашистский мятеж. Гражданская война в Испании оказалась в известной мере переломным моментом в его политическом мышлении и в творческих решениях. Хемингуэй выступил как убежденный, страстный и непримиримый борец с фашизмом, он принял участие в борьбе испанского народа за свободу как писатель, как публицист, а временами и как солдат. В этой войне ему открылись новые герои, с которыми Хемингуэю доселе не приходилось сталкиваться,— коммунисты, бойцы Интернациональных бригад, добровольно приехавшие в Испанию, чтобы сражаться за свободу чужой им земли.

Этот новый герой вошел в творчество писателя, в пьесу «Пятая колонна» (1938), в роман «По ком звонит колокол» (1940). И если первая мировая война оборачивалась в романе «Прощай, оружие!» бессмысленной бойней и его герой Фредерик Генри дезертировал, то новые герои, участники народно-революционной войны в Испании, обнаруживали, что на свете есть то, ради чего стоит воевать, и, если понадобится, то и умереть — свобода народа, достоинство человека.

К таким людям принадлежит главный герой романа «По ком звонит колокол» Роберт Джордан, американец, сражающийся в рядах Интернациональных бригад, направленный в тыл к франкистам, чтобы с помощью партизан взорвать мост. И опять предощущение трагедии пронизывает повествование с первых же страниц. Угроза смерти витает над партизанским отрядом то в виде фашистских самолетов, то в облике вражеских патрулей, появляющихся в расположении отряда. Герой знает, что выполнение задания почти наверняка означает для него гибель, но он готов умереть во имя долга. Так оно и происходит — раненный во время взрыва моста, Джордан остается на верную смерть, прикрывая отход своих товарищей.

Когда Республика в Испании потерпела поражение, Хемингуэй написал вдохновенное слово-реквием «Американцам, павшим за Испанию» (1939). И вновь, как и в романе «Фиеста», здесь возникает образ земли. Но на этот раз в древней формуле Екклезиаста земля сливается с памятью о героях, погибших в борьбе за свободу: «Мертвым не надо вставать. Теперь они час-

тица земли, а землю нельзя обратить в рабство. Ибо земля пребудет вовеки. Она переживает всех тиранов».

В годы второй мировой войны Хемингуэй сражался против фашизма и оружием слова, и просто оружием. Он охотился за немецкими подводными лодками на своем рыболовном катере у берегов Кубы, высадился с войсками союзников во Франции, участвовал в освобождении Парижа, в кровопролитных боях на германской земле.

Он высоко оценивал решающую роль советского народа в разгроме гитлеровской Германии и резко высказывался против происков империалистических кругов, направленных на разжигание новой войны, на этот раз против Советского Союза. Им были написаны тогда мудрые слова: «Теперь, когда война кончилась и мертвые мертвы, для нас настало еще более трудное время, когда долг человека — понять мир. В мирное время обязанность человечества заключается в том, чтобы найти возможность для всех людей жить на земле вместе».

Похожие мысли высказывал и герой написанного Хемингуэем после войны романа «За рекой, в тени деревьев» (1950) полковник американской армии Ричард Кантуэлл, пожилой, израненный человек, приехавший в Венецию для последнего свидания с любимым городом и с любимой женщиной. Значительная часть романа отдана воспоминаниям Кантуэлла о недавно закончившейся войне, он с огромным уважением говорит о русских: «Лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее,— и с презрением отзывается об американских генералах-политиках и о тогдашних государственных деятелях США.— Теперь нами правят подонки».

Роман «За рекой, в тени деревьев», как и все предшествующее творчество Хемингуэя, отмечен печатью трагедии. Полковник Кантуэлл знает, что смерть поджидает его буквально за ближним углом, но он встречает ее достойно. И вновь возникает тема вечной земли, в которой находит свое успокоение человек. «Я бы хотел,— думает Кантуэлл,— чтобы меня похоронили где-нибудь подальше, на самом краю усадьбы, но чтобы оттуда был виден милый старый дом и высокие тенистые деревья... Я бы смешался с той землей, где по вечерам играют дети, а по утрам, может быть, еще учат лошадей брать препятствия и их копыта глухо стучат по дерну, а в пруду прыгает форель, охотясь за мошками».

Когда читатель окидывает мысленным взором все творчество Хемингуэя, он видит, как меняется его герой. Джейк Барнс в «Фиесте», страдая от жестокости страшного мира, в котором он и его друзья обречены жить, искал убежище от этого трагического мира в работе, в пьянстве, в бегстве к природе. Фредерик Генри в романе «Прощай, оружие!» пытался укрыться от бессмысленности убийственной войны в тихой Швейцарии, надеясь найти спасение от одиночества в объятиях любимой женщины, но терпел поражение. Одинокий бунтарь Гарри Морган в романе «Иметь и не иметь» бросал вызов обществу, отказывающему ему в праве на человеческое существование, и только в последний миг, погибая в неравной борьбе, приходил к пониманию того, что человек один бороться не может. Роберт Джордан в романе «По ком зво-

нит колокол» делает решающий шаг вперед по сравнению с предшествующими героями Хемингуэя и находит свое место в рядах борцов за свободу. Полковник Кантуэлл, прощаясь с жизнью, видел ей оправдание в том, что принимал участие в войне против фашизма.

У всех этих героев есть одна общая примечательная черта. Страдая от внутренней рефлексии, от отсутствия согласия с самим собой, от недостижимости гармонии в жизни, от одиночества, на которое обречен человек в этом разорванном мире, они искали утешения и спасения у природы. Лучшие дни детства Ника Адамса прошли в лесах Северного Мичигана, и теплая память о них будет согревать его всю жизнь. К лесам и рекам Испании бежит Джейк Барнс, чтобы найти там успокоение. В горах Швейцарии надеется укрыться от жестокости войны Фредерик Генри. В лесах Гвадаррамы находит свое короткое счастье и героическую смерть Роберт Джордан. Лагуна Венеции оказывается последней радостью полковника Кантуэлла.

Все они беглецы из мира цивилизации. И героизм их проявляется в том, что они старались жить, страдать и умирать достойно, выполняя свой долг, человеческий и воинский.

Старик Сантьяго в повести «Старик и море» живет в ином мире. Он не ищет спасения в природе, он принадлежит ей. Он не только прожил свою долгую жизнь в единении с природой, с морем — он частица этого мира природы. В старике Хемингуэй нашел наконец того гармоничного героя, которого искал всю свою писательскую жизнь. В Сантьяго гармонично сочетаются смирение и гордость: «Он был слишком простодушен, чтобы задуматься о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства».

Старик точно знает, зачем он родился на свет: «Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой». Он ведет свою титаническую борьбу с огромной рыбой один на один, как и положено герою. Поединок этот со всеми его перипетиями, когда победа склоняется то на одну, то на другую сторону, все больше начинает напоминать подвиги героев мифов. Герой мифа должен вести борьбу в одиночестве, только тогда он может проявить все свое мужество, стойкость, отвагу, умение.

Борьба старика с рыбой заканчивается его победой, но его трофей крадут у него акулы. Старик сражается с ними изо всех сил, он не хочет сдаваться. И вот тогда старик произносит самые главные слова, в которых воплощен весь смысл повести: «...человек не для того создан, чтобы терпеть поражения... Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

В этих словах, можно сказать, и весь пафос творчества Хемингуэя.

Б. Грибанов

ФИЕСТА
(И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ)

Все вы — потерянное поколение.

Гертруда Стайн (в разговоре)

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.

Екклезиаст

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского университета в среднем весе. Не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило очень много. Он не имел склонности к боксу, напротив — бокс претил ему, но он усердно и не щадя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему как к еврею относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его, по нрава он был тихого и кроткого и никогда не дрался, кроме как в спортивном зале. Он был лучшим учеником Спайдера Келли. Спайдер Келли обучал всех своих учеников приемам боксеров веса пера, независимо от того, весили ли они сто пять или двести пять фунтов. Но для Кона, по-видимому, это

оказалось то, что нужно. Он и в самом деле был очень ловок. Он так хорошо боксировал, что удостоился встречи со Спайдером, во время которой тот нокаутировал его и раз навсегда сплющил ему нос. Это усугубило нелюбовь Кона к боксу, но все же дало ему какое-то странное удовлетворение и, несомненно, улучшило форму его носа. В последний год своего пребывания в Принстоне он слишком много читал и начал носить очки. Никто из его однокурсников не помнил его. Они даже не помнили, что он был чемпионом бокса в среднем весе.

Я отношусь с недоверием ко всем откровенным и чистосердечным людям, в особенности когда их рассказы о себе правдоподобны, и я долгое время подозревал, что Роберт Кон никогда не был чемпионом бокса,— просто на лицо ему наступила лошадь, а может быть, мать его испугалась или загляделась или он в детстве налетел на что-нибудь; но в конце концов мне удалось навести справки у Спайдера Келли. Спайдер Келли не только помнил Кона — он часто думал о том, что с ним сталось.

Роберт Кон со стороны отца принадлежал к одному из самых богатых еврейских семейств в Нью-Йорке, а со стороны матери — к одному из самых старинных. В военном училище, где он готовился к поступлению в Принстонский университет и занимал почетное место в футбольной команде, ничто не напоминало ему о расовых предрассудках. Никто ни разу не дал ему почувствовать, что он еврей, пока он не приехал в Принстон. Он был славный малый, добродушный и очень застенчивый, но такое отношение озлобило его. В отместку он выучился боксу и вышел из Принстона болезненно самолюбивым, со сплющенным носом, и первая девушка, которая обошлась с ним ласково, женила его на себе. Он прожил с женой пять лет, имел от нее троих детей, потерял почти все состояние в пятьдесят тысяч долларов, полученное в наследство от отца,— остальное имущество перешло к матери,— и под влиянием постоянных ссор с богатой женой превратился в довольно угрюмого субъекта; и вот в тот самый момент, когда он решил бросить жену, она сама бросила его, сбежав с художником-миниатюристом. Так как он чуть ли не полгода собирался бросить жену и только потому не мог на это отважиться, что лишить ее своей особы было бы слишком жестоко, ее отъезд послужил ему весьма полезным уроком.

Развод состоялся, и Роберт Кон уехал на Западное побережье. В Калифорнии он попал в литературную среду, и поскольку у него кое-что оставалось от пятидесяти тысяч, он вскоре стал финансировать художественный журнал. Журнал начал выходить в Кармеле, штат Калифорния, и кончил свое существование в Провинстауне, штат Массачусетс. К этому времени Кон, на которого прежде смотрели лишь как на доброго ангела и чье имя фигури-

ровало на титульном листе только в списке членов редакционного совета, стал единственным редактором журнала. Журнал как-никак выходил на его деньги, и он обнаружил, что положение редактора ему нравится. Он очень горевал, когда издание журнала стало слишком дорогим удовольствием и ему пришлось от него отказаться.

Впрочем, к тому времени у него появились другие заботы. Его успела прибрать к рукам некая особа, которая надеялась возвыситься вместе с журналом. Это была весьма энергичная женщина, а прибрать Кона к рукам ничего не стоило. Кроме того, он был уверен, что любит ее. Когда она увидела, что рассчитывать на успех журнала не приходится, она слегка охладела к Кону и решила, что нужно воспользоваться чем можно, пока еще есть чем пользоваться, и настояла на поездке в Европу, где она когда-то воспитывалась и где Кон должен был стать писателем. Они уехали в Европу и пробыли там три года. За эти три года,— первый они провели в путешествиях, а два последние в Париже,— Роберт Кон приобрел двух друзей — Брэддокса и меня. Брэддокс был его литературным другом. Я был его другом по теннису.

Особа, завладевшая Робертом (звали ее Фрэнсис), к концу второго года спохватилась, что красота ее на ущербе, и беспечность, с которой она распоряжалась им и эксплуатировала его, сменилась твердым решением выйти за него замуж. В это время мать Роберта стала выдавать ему около трехсот долларов в месяц. Не думаю, чтобы за последние два с половиной года Роберт хоть раз взглянул на другую женщину. Он был почти счастлив, если не считать того, что он, подобно многим американцам, живущим в Европе, предпочел бы жить в Америке; и вдобавок он открыл в себе призвание писателя. Он написал роман, и этот роман вовсе не был так плох, как утверждали критики, хотя это был очень слабый роман. Он много читал, играл в бридж, играл в теннис и занимался боксом в одном из парижских спортивных залов.

Впервые я понял позицию, занятую Фрэнсис по отношению к нему, в тот вечер, когда я с ними обедал. Мы пообедали в ресторане Лавиня, а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль». После кофе мы выпили по нескольку рюмок коньяку, и я сказал, что мне пора уходить. За обедом Кон звал меня уехать вместе с ним куда-нибудь на воскресенье. Ему хотелось вырваться из города и хорошенько размять ноги. Я предложил лететь в Страсбург и оттуда отправиться пешком в Сент-Одиль или еще куда-нибудь по Эльзасу.

— В Страсбурге у меня есть знакомая, она покажет нам город,— сказал я.

Кто-то толкнул меня ногой под столом. Я думал, что это случайно, и продолжал:

— Она живет там уже два года и знает все, что нужно посмотреть в Страсбурге. Очень милая девушка.

Я снова почувствовал толчок под столом и, подняв глаза, увидел выставленный вперед подбородок и застывшее лицо Фрэнсис, подруги Роберта.

— А впрочем,— сказал я,— зачем непременно в Страсбург? Мы можем поехать в Брюгге или в Арденны.

Кон облегченно вздохнул. Больше меня не толкали. Я пожелал им спокойной ночи и вышел. Кон сказал, что хочет купить газету и дойдет со мной до угла.

— Ради всего святого,— сказал он,— зачем вы заговорили об этой девушке в Страсбурге? Разве вы не видели лицо Фрэнсис?

— Нет. А зачем мне его видеть? Если у меня в Страсбурге есть знакомая американка, какое Фрэнсис до этого дело?

— Все равно. Чья бы ни была знакомая. Я не смог бы поехать, вот и все.

— Что за глупости.

— Вы не знаете Фрэнсис. Любая девушка, безразлично кто. Разве вы не видели, какое у нее было лицо?

— Ладно,— сказал я,— поедем в Санлис.

— Не сердитесь.

— Я не сержусь. Санлис — прекрасное место: мы можем остановиться в «Большом олене», походить по лесам и вернуться домой.

— Отлично. Это будет замечательно.

— Так завтра на теннисе,— сказал я.

— Спокойной ночи, Джейк,— сказал он и пошел обратно, в кафе.

— Вы забыли купить газету,— сказал я.

— Ах, да.— Он дошел со мной до киоска на углу.— Вы ведь не сердитесь, Джейк? — сказал он, поворачивая назад с газетой в руках.

— Нет, чего ради мне сердиться?

— Увидимся на корте,— сказал он и пошел с газетой обратно, в кафе. Я смотрел ему вслед. Он нравился мне, а жилось ему с ней, очевидно, не сладко.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зимой Роберт Кон ездил в Америку со своим романом и пристроил его в довольно крупное издательство. Я слышал, что из-за этой поездки между ним и Фрэнсис произошла жестокая ссора, и тут-то, вероятно, она и потеряла его, потому что в Нью-Йорке женщины ухаживали за ним, и он вернулся в Париж совсем другим человеком. Он пуще прежнего восторгался Америкой и уже

не был ни таким чистосердечным, ни таким славным. Издательство расхвалило его роман, и это вскружило ему голову. Кроме того, несколько женщин явно дарили его своим вниманием, и перед ним открылись новые горизонты. Целых четыре года его кругозор был ограничен собственной женой. Три года, или около того, он ничего дальше Фрэнсис не видел. Я уверен, что он ни разу в жизни не был влюблен.

Женитьба послужила ему утешением после тягостных лет, проведенных в университете, а Фрэнсис утешила его после сделанного им открытия, что он не был всем на свете для своей первой жены. Сейчас он еще не был влюблен, но уже понимал, что представляет некую привлекательную величину для женщин и что если женщина любит его и хочет с ним жить — в этом нет никакого чуда. Под влиянием этой мысли он так изменился, что его общество уже не доставляло мне прежнего удовольствия. Кроме того, играя в бридж по крупной со своими нью-йоркскими знакомыми и делая ставки выше своих средств, он сумел выиграть несколько сот долларов. Поэтому он возомнил себя первоклассным игроком и не раз говорил, что в случае необходимости можно отлично прокормиться игрой в бридж.

Но это еще не все: он начитался У.-Х. Хадзона. Занятие как будто невинное, но Кон прочел и перечел «Пурпуровую страну». «Пурпуровая страна» — книга роковая, если читать ее в слишком зрелом возрасте. Она повествует о роскошных любовных похождениях безупречного английского джентльмена в сугубо романтической стране, природа которой описана очень хорошо. В тридцать четыре года пользоваться этой книгой как путеводителем по жизни так же небезопасно, как в этом же возрасте явиться на Уолл-стрит прямо из французской монастырской школы вооруженным серией брошюр «От чистильщика сапог до миллионера». Я уверен, что Кон принял каждое слово «Пурпуровой страны» так же буквально, как если бы это был «Финансовый бюллетень». Понятно, он допускал оговорки, но, в общем, принял книгу всерьез. Только этого не хватало, чтобы «завести» его. Я не представлял себе, до какой степени он «заведен», пока однажды он не пришел ко мне в редакцию.

— Хэлло, Роберт! — сказал я.— Вы пришли развеселить меня?

— Хотите поехать в Южную Америку, Джейк? — спросил он.

— Нет.

— Почему?

— Не знаю. Никогда не испытывал желания. Слишком дорого. Да здесь, в Париже, сколько угодно южноамериканцев.

— Это не настоящие южноамериканцы.

— А по-моему, они даже слишком настоящие.

Я должен был срочно сдать на согласованный поезд корреспонденцию за всю неделю, а написана была только половина.

— Сплетен никаких не знаете? — спросил я.

— Нет.

— Никто из ваших высокопоставленных друзей не разводится?

— Нет. Послушайте, Джейк. Если я возьму на себя все расходы, вы поедете со мной в Южную Америку?

— На что я вам?

— Вы говорите по-испански. И вообще вдвоем веселей.

— Нет,— сказал я,— мне нравится в Париже, а летом я поеду в Испанию.

— Всю жизнь я мечтал о таком путешествии,— сказал Кон. Он сел.— Пока я соберусь, я уже буду слишком стар.

— Не дурите,— сказал я.— Вы можете поехать куда угодно, у вас куча денег.

— Знаю. Но я не могу собраться.

— Не огорчайтесь,— сказал я.— Все страны похожи на кинофильм.

Но мне было жаль его. Он не на шутку расстроился.

— Я не могу примириться с мыслью, что жизнь проходит так быстро, а я не живу по-настоящему.

— Никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров.

— Матадоры меня не интересуют: это ненормальная жизнь. Я хочу поехать в глубь Южной Америки. Это было бы замечательное путешествие.

— А поохотиться в Британской Восточной Африке вы не хотите?

— Нет, туда меня не тянет.

— В Африку я бы с вами поехал.

— Нет, это меня не интересует.

— Потому что вы ничего об этом не читали. Пойдите почитайте об амурах с лоснящейся черной красавицей.

— Я хочу в Южную Америку.

Была в нем эта черта — несокрушимое еврейское упрямство.

— Давайте сойдем вниз и выпьем чего-нибудь.

— А вы не заняты?

— Нет,— сказал я. Мы спустились вниз, в кафе первого этажа. Я уже давно открыл, что это лучший способ выпроваживать посетителей. Выпив с приятелем, остается только сказать: «Ну, мне надо подняться наверх — отправить телеграммы»,— и все. В газетном деле, этика которого требует, чтобы никто никогда не видел тебя за работой, очень важно изобретать такие непринужденные уходы со сцены. Итак, мы спустились в бар и выпили виски

с содовой. Кон поглядел на ящики с бутылками, стоявшие у стены.

— Здесь хорошо,— сказал он.

— Много выпивки,— поддакнул я.

— Послушайте, Джейк.— Он наклонился над стойкой.— У вас никогда не бывает такого чувства, что жизнь ваша проходит, а вы ею не пользуетесь? Вы думаете о том, что вы уже прожили около половины отпущенного вам срока?

— Иногда думаю.

— Вы знаете, что через каких-нибудь тридцать пять лет нас уже не будет?

— Да бросьте, Роберт,— сказал я.— Бросьте.

— Я говорю серьезно.

— Вот уж о чем я не тревожусь,— сказал я.

— Напрасно.

— У меня достаточно было о чем тревожиться в свое время. Хватит.

— А все-таки я хочу в Южную Америку.

— Послушайте, Роберт: ничего не изменится от того, что вы поедете в другую страну. Я все это испробовал. Нельзя уйти от самого себя, переезжая с места на место. Тут уж ничем не поможешь.

— Но вы никогда не ездили в Южную Америку.

— Далась вам Южная Америка! Если вы поедете туда в теперешнем вашем настроении, все будет по-прежнему. Париж — хороший город. Почему вы не можете жить настоящей жизнью в Париже?

— Мне осточертел Париж, осточертел Латинский квартал.

— Не ходите туда. Курсируйте сами по себе и посмотрите, что с вами случится.

— Со мной никогда ничего не случается. Я как-то прошатался один всю ночь, и ничего не случилось, только полицейский на велосипеде остановил меня и велел предъявить документы.

— Разве город не хорош ночью?

— Я не люблю Парижа.

Вот вам, извольте. Мне было жаль Кона. Я ничем не мог ему помочь, потому что я сразу наталкивался на обе его навязчивые идеи: единственное спасение в Южной Америке и он не любит Парижа. Первую идею он вычитал из книги и вторую, вероятно, тоже.

— Ну,— сказал я,— мне надо подняться наверх — отправить телеграммы.

— Вам непременно нужно идти?

— Да, я должен отправить телеграммы.

— Ничего, если я пойду с вами и посижу в редакции?

— Пожалуйста.

Он сидел в первой комнате, читал газеты и журнал «Редактор и издатель», а я целых два часа усердно стучал на машинке. Потом я разобрал рукописи по экземплярам, сделал пометки, положил все в большие конверты и вызвал курьера, чтобы он отнес их на вокзал Сен-Лазар. Я вышел в другую комнату, и там в большом кресле сидел Роберт Кон и спал. Он спал, положив голову на руки. Мне жаль было будить его, но я хотел запереть редакцию и уйти. Я тронул его за плечо. Он замотал головой.

— Не могу я этого сделать,— сказал он и глубже зарылся головой в скрещенные руки.— Не могу. Ни за что не сделаю.

— Роберт,— сказал я и потряс его за плечо.

Он поднял голову, улыбнулся и заморгал глазами.

— Я сейчас говорил что-нибудь?

— Говорили. Но я не расслышал.

— Господи, какой дурацкий сон!

— Это моя машинка усыпила вас?

— Должно быть. Я прошлую ночь совсем не спал.

— Почему?

— Разговаривали,— ответил он.

Я легко мог представить себе их разговор. У меня скверная привычка представлять себе своих друзей в спальне. Мы отправились в кафе «Наполитен» выпить аперитив и смотреть вечернее гуляние на Бульварах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Был теплый весенний вечер, и после того как Роберт ушел, я остался сидеть за столиком на террасе кафе «Наполитен» и в наступающей темноте смотрел на вспышки световых реклам, на красные и зеленые сигналы светофоров, на толпу гуляющих, на фиакры, цокающие вдоль края сплошного потока такси, и на «курочек», проходивших по одной и парами в поисках ужина. Я смотрел на хорошенькую женщину, которая прошла мимо моего столика, и смотрел, как она пошла дальше по улице, и потерял ее из виду, и стал смотреть на другую, а потом увидел, что первая возвращается. Она снова прошла мимо меня, и я поймал ее взгляд, а она подошла и села за мой столик. Подскочил официант.

— Что ты будешь пить? — спросил я.

— Перно.

— Маленьким девочкам вредно пить перно.

— Сам маленький. Гарсон, рюмку перно.

— И мне рюмку перно.

— Ну как? — спросила она.— Хочешь время провести?

— Да. А ты?
— Там видно будет. В этом городе разве угадаешь?
— Ты не любишь Парижа?
— Нет.
— Почему ты не едешь в другое место?
— Нет другого места.
— А чем тебе здесь плохо?
— Да, чем?

Перно — зеленоватый суррогат абсента. Если налить в него воды, оно делается беловатым, как молоко. Вкусом напоминает лакрицу и сначала подбадривает, но зато после раскисаешь. Мы пили с ней перно, и у нее был недовольный вид.

— Ну,— сказал я,— может быть, ты угостишь меня ужином?

Она ухмыльнулась, и я понял, почему она упорно не хочет смеяться. С закрытым ртом она была очень недурна собой. Я заплатил за перно, и мы вышли на улицу. Я кликнул фиакр, и он подъехал к тротуару. Удобно усевшись в медлительном, мягко катящем фиакре, мы поехали по широкой, сияющей огнями и почти безлюдной авеню Оперы, мимо запертых дверей и освещенных витрин магазинов. Фиакр миновал редакцию «Нью-Йорк геральд», где все окно было заставлено часами.

— Зачем столько часов? — спросила она.
— Они показывают время по всей Америке.
— Не остри.

Мы свернули на улицу Пирамид, проехали по тесной Рю-де-Риволи и через темные ворота въехали в Тюильри. Она прижалась ко мне, и я обнял ее. Она взглянула на меня, ища поцелуя. Она коснулась меня рукой, и я отодвинул ее руку.

— Не надо.
— Что с тобой? Болен?
— Да.
— Все больны. Я тоже больна.

Мы выехали из Тюильри на свет, пересекли Сену и свернули на улицу Святых Отцов.

— Зачем же ты пил перно, если ты болен?
— А ты зачем?
— Для меня это не имеет значения. Это не имеет значения для женщин.
— Как тебя зовут?
— Жоржет. А тебя?
— Джейкоб.
— Это фламандское имя.
— И американское.
— Ты, надеюсь, не фламандец?
— Нет, американец.

— Слава богу, терпеть не могу фламандцев.

Мы подъезжали к ресторану. Я крикнул кучеру, чтобы он остановился. Мы вышли, и Жоржет ресторан не понравился.

— Не очень-то шикарное место.

— Нет,— сказал я.— Может быть, ты предпочитаешь поужинать у Фуайо? Села бы обратно в фиакр да поехала.

Я взял ее с собой потому, что у меня мелькнула смутная сентиментальная мысль, что приятно было поужинать с кем-нибудь вдвоем. Я давно уже не ужинал с «курочкой» и забыл, как это нестерпимо скучно. Мы вошли в ресторан и мимо конторки, за которой сидела мадам Лавинь, прошли в заднюю комнату. От еды Жоржет слегка повеселела.

— Здесь не так плохо,— сказала она.— Не шикарно, но кормят хорошо.

— Лучше, чем в Льеже.

— В Брюсселе, ты хочешь сказать.

Мы выпили вторую бутылку вина, и Жоржет стала шутить. Она улыбнулась, показывая все свои испорченные зубы, и мы чокнулись.

— Ты, в общем, славный малый,— сказала она.— Свинство, что ты болен. Мы бы поладили. А что с тобой такое?

— Я был ранен на войне,— сказал я.

— Уж эта противная война!

Мы, вероятно, пустились бы в рассуждения о войне и решили бы, что она приводит к гибели цивилизации и что, может быть, лучше обойтись без нее. С меня было довольно. Как раз в эту минуту кто-то крикнул из первой комнаты:

— Барнс! Эй, Барнс! Джейкоб Барнс!

— Это мой приятель,— объяснил я и вышел.

За длинным столом сидел Брэддокс с целой компанией: Кон, Фрэнсис Клайн, миссис Брэддокс и еще какие-то незнакомые мне люди.

— Едем танцевать, да? — спросил Брэддокс.

— Куда танцевать?

— В дансинг, конечно. Разве вы не знаете, что мы снова ввели танцы? — вмешалась миссис Брэддокс.

— Поедем с нами, Джейк. Мы все едем,— сказала Фрэнсис с другого конца стола. Она сидела очень прямо и усиленно улыбалась.

— Конечно, он поедет,— сказал Брэддокс.— Идите сюда, Барнс, и выпейте с нами кофе.

— Хорошо.

— И приведите свою даму,— смеясь, сказала миссис Брэддокс. Она была уроженкой Канады и отличалась свойственной канадцам непринужденностью в обращении.

— Спасибо, сейчас придем,— сказал я. Я вернулся в заднюю комнату.

— Кто такие твои приятели? — спросила Жоржет.

— Писатели и художники.

— Их пропасть в этом районе.

— Слишком много.

— Слишком. Хотя кое-кто хорошо зарабатывает.

— О да.

Мы кончили ужинать и допили вино.

— Пойдем,— сказал я.— Кофе будем пить с ними.

Жоржет открыла сумочку и, смотрясь в зеркальце, провела несколько раз пуховкой по лицу, подкрасила губы и поправила шляпу.

— Идем,— сказала она.

Мы вошли в переполненную публикой комнату; Брэддокс и остальные мужчины за столом встали.

— Позвольте представить вам мою невесту, мадемуазель Жоржет Леблан,— сказал я.

Жоржет улыбнулась своей чарующей улыбкой, и мы всем по очереди пожали руки.

— Скажите, вы родственница певицы Жоржет Леблан? — спросила миссис Брэддокс.

— Не знаю такой,— ответила Жоржет.

— Но вас зовут так же,— приветливо сказала миссис Брэддокс.

— Нет,— сказала Жоржет.— Ничего подобного. Моя фамилия Хобэн.

— Но ведь мистер Барнс представил вас как мадемуазель Жоржет Леблан. Разве нет? — настаивала миссис Брэддокс, которая от возбуждения, что говорит по-французски, плохо понимала смысл своих слов.

— Он дурак,— сказала Жоржет.

— Ах, значит, это шутка,— сказала миссис Брэддокс.

— Да,— сказала Жоржет.— Чтобы посмеяться.

— Слышишь, Генри? — крикнула миссис Брэддокс через весь стол своему мужу.— Мистер Барнс представил свою невесту как мадемуазель Леблан, а на самом деле ее фамилия Хобэн.

— Конечно, дорогая! Мадемуазель Хобэн,— я давно с нею знаком.

— Скажите, мадемуазель Хобэн,— заговорила Фрэнсис Клайн, произнося французские слова очень быстро и, по-видимому, не испытывая, подобно миссис Брэддокс, ни особенной гордости, ни удивления от того, что у нее действительно получается по-французски.— Вы давно в Париже? Вам нравится здесь? Вы любите Париж, правда?

— Кто это такая? — Жоржет повернулась ко мне.— Нужно мне с ней разговаривать?

Она повернулась к Фрэнсис, которая сидела, улыбаясь, сложив руки, прямо держа голову на длинной шее и выпятив губы, готовая снова заговорить.

— Нет, я не люблю Парижа. Здесь дорого и грязно.

— Что вы? Я нахожу, что Париж необыкновенно чистый город. Один из самых чистых городов в Европе.

— А по-моему, грязный.

— Как странно! Может быть, вы недавно здесь живете?

— Достаточно давно.

— Но здесь очень славные люди. С этим нельзя не согласиться.

Жоржет повернулась ко мне.

— Миленькие у тебя друзья.

Фрэнсис была слегка пьяна, и ей хотелось продолжать разговор, но подали кофе, и Лавинь принес ликеры, а после мы все вышли и отправились в дансинг, о котором говорили Брэддоксы.

Дансинг оказался «Bal Musette» около Пантеона. Пять вечеров в неделю здесь танцевали рабочие этого района, но один вечер в неделю помещение превращалось в дансинг. В понедельник вечером было закрыто. Когда мы приехали, в дансинге не было ни души, кроме полицейского, сидевшего у двери, жены хозяина за обитой цинком стойкой и самого хозяина. Как только мы вошли, сверху спустилась дочь хозяев. В комнате стояли столы и длинные скамейки, а в дальнем конце была площадка для танцев.

— Жалко, что так поздно собираются,— сказал Брэддокс.

Дочь хозяев подошла к нам и спросила, что нам подать. Хозяин взобрался на высокий табурет возле площадки и заиграл на аккордеоне. Вокруг щиколотки у него был шнурок с колокольчиками, и он, играя, отбивал ногой такт. Все пошли танцевать. Было жарко, и мы вернулись к столу потные.

— О, господи! — сказала Жоржет.— Я вся мокрая.

— Жарко.

— Просто ужас!

— Сними шляпу.

— Пожалуй.

Жоржет пригласили танцевать, и я подошел к стойке. Было на самом деле очень жарко, и аккордеон приятно звучал в жарком вечернем воздухе. Я выпил кружку пива, стоя у самой двери, с улицы дул прохладный ветерок. По крутой улице спускались две машины. Оба такси остановились перед дансингом. Из машин вышли молодые люди — кто в джемпере, кто просто без пиджака. В свете, падающем из дверей, я видел их руки и свежевымытые завитые волосы. Полицейский, стоящий возле двери, посмотрел

на меня и улыбнулся. Они вошли. Когда они входили, гримасничая, жестикулируя, болтая, я увидел в ярком свете белые руки, завитые волосы, белые лица. С ними была Брет. Она была очень красива и совсем как в своей компании.

Один из молодых людей увидел Жоржет и сказал:

— Вот это марка. Неподдельная шлюха. Желаю танцевать с ней. Летт, можешь полюбоваться мной.

Высокий брюнет, которого звали Леттом, сказал:

— Образумься, умоляю тебя.

Завитой блондин ответил:

— Не тревожься, счастье мое.— И с ними была Брет.

Я очень злился. Почему-то они всегда злили меня. Я знал, что их считают забавными и что нужно быть снисходительным, но мне хотелось ударить кого-нибудь из них, все равно кого, лишь бы поколебать их жеманное нахальство. Вместо этого я вышел на улицу и выпил кружку пива в баре соседнего дансинга. Пиво оказалось плохое, и я запил его коньяком, который был еще хуже. Когда я вернулся в дансинг, на площадке толпились пары, и Жоржет танцевала с высоким блондином, который танцевал вихляя бедрами, склонив голову набок и закатывая глаза. Как только танец кончился, ее снова пригласили. Они приняли ее в свою компанию. Я знал, что теперь они все будут танцевать с нею. У них всегда так.

Я сел за стол. За этим же столом сидел Кон. Фрэнсис танцевала. Миссис Брэддокс привела кого-то и познакомила его с нами, назвав Робертом Прентисом. Он оказался уроженцем Чикаго, жителем Нью-Йорка и подающим надежды писателем. Говорил он с легким английским акцентом. Я предложил ему выпить.

— Благодарю вас,— сказал он,— я только что пил.

— Выпейте еще.

— Благодарю вас, выпью.

Мы поманили мадемуазель Лавинь и заказали по стакану коньяку с водой.

— Вы, я слышал, из Канзас-Сити,— сказал он.

— Да.

— Нравится вам в Париже?

— Да.

— Правда?

Я был немного пьян. Не совсем пьян, не по-настоящему, но достаточно, чтобы не церемониться.

— Ради всего святого,— сказал я,— да. А вам?

— Как вы очаровательно злитесь,— сказал он.— Хотел бы я обладать этой способностью.

Я встал и направился к танцующим. Миссис Брэддокс пошла за мной.

— Не сердитесь на Роберта,— сказала она,— он же еще совсем ребенок.

— Я вовсе не сержусь,— сказал я.— Просто я боялся, что меня стошнит.

— Ваша невеста пользуется большим успехом.— Миссис Брэддокс смотрела на Жоржет, которая кружилась в объятиях высокого брюнета по имени Летт.

— Не правда ли? — сказал я.

— Безусловно,— сказала миссис Брэддокс.

Подошел Кон.

— Пойдемте, Джейк,— сказал он,— выпьем.— Мы направились к стойке.— Что с вами? У вас такой вид, словно вы чем-то расстроены.

— Ничуть. Просто меня тошнит от всего этого.

К стойке подошла Брет.

— Хэлло, друзья.

— Хэлло, Брет,— сказал я.— Почему вы не пьяная?

— Никогда больше не буду напиваться. Дайте человеку коньяку с содовой.

Она стояла у стойки, держа стакан в руке, и я видел, что Роберт Кон смотрит на нее. Так, вероятно, смотрел его соотечественник, когда увидел землю обетованную. Кон, разумеется, был много моложе. Но взгляд его выражал то же нетерпеливое, требовательное ожидание.

Брет — в закрытом джемпере, суконной юбке, остриженная, как мальчик,— была необыкновенно хороша. С этого все и началось. Округлостью линий она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной джемпер не скрывал ни одного изгиба.

— В каком вы блестящем обществе, Брет,— сказал я.

— Правда, они бесподобны? А вы, дорогой мой! Где вы ее подцепили?

В кафе «Наполитен».

— И хорошо провели вечер?

— Божественно,— сказал я.

Брет засмеялась.

— Это нехорошо с вашей стороны, Джейк. Просто пощечина всем нам. Подумайте, здесь Фрэнсис и Джо.

— Это — специально для Кона.

— На безрыбье и рак рыба,— сказала Брет. Она снова засмеялась.

— Вы необыкновенно трезвы,— сказал я.

— Да. Удивительно, правда? А в такой компании, в какой я сегодня, можно бы пить без малейшего риска.

Заиграла музыка, и Роберт Кон сказал:

— Разрешите пригласить вас, леди Брет?

Брет улыбнулась ему.

— Я обещала этот танец Джейкобу.— Она засмеялась.— У вас ужасно старозаветное имя, Джейк.

— А следующий? — спросил Кон.

— Мы сейчас уходим,— сказала Брет.— Мы условились быть на Монмартре.

Танцуя, я взглянул через плечо Брет и увидел, что Кон стоит у стойки и по-прежнему смотрит на нее.

— Еще одна жертва,— сказал я ей.

— И не говорите. Бедный мальчик. Я сама только сейчас заметила.

— Бросьте,— сказал я.— Вам же нравится набирать их.

— Не говорите вздора.

— Конечно, нравится.

— Ну, а если и так?

— Ничего,— сказал я.

Мы танцевали под аккордеон и банджо, на котором кто-то заиграл. Было жарко, но я чувствовал себя хорошо. Мы почти столкнулись с Жоржет, танцевавшей с очередным юнцом из той же компании.

— Что это вам вздумалось привести ее?

— Не знаю, просто так.

— Романтика одолевает?

— Нет, скука.

— И сейчас?

— Сейчас нет.

— Выйдем отсюда. О ней здесь позаботятся.

— Вы правда хотите?

— Раз я предложила, значит, хочу.

Мы ушли с площадки, и я снял свое пальто, висевшее на вешалке, и надел его. Брет стояла у стойки. Кон что-то говорил ей. Я подошел к стойке и попросил конверт. Я достал из кармана пятидесятифранковую бумажку, вложил ее в конверт, запечатал и передал хозяйке.

— Пожалуйста, если девушка, с которой я приехал, спросит про меня, дайте это ей,— сказал я.— Если она уйдет с кем-нибудь из молодых людей, сохраните это для меня.

— C'est entendu, monsieur [1],— сказала хозяйка.— Вы уже уходите? Так рано?

— Да,— сказал я.

Мы пошли к дверям. Кон все еще что-то говорил Брет. Она попрощалась с ним и взяла меня под руку.

— Спокойной ночи, Кон,— сказал я.

---

[1] Хорошо, мосье *(фр.)*.

Выйдя на улицу, мы стали искать глазами такси.

— Пропали ваши пятьдесят франков,— сказала Брет.

— Не важно.

— Ни одного такси.

— Можно дойти до Пантеона и там взять.

— Зайдем в соседний бар и пошлем за такси, а пока выпьем.

— Даже улицу перейти не хотите.

— Если можно обойтись без этого.

Мы зашли в ближайший бар, и я послал официанта за такси.

— Ну вот,— сказал я.— Мы и ушли от них.

Мы стояли у высокой, обитой цинком стойки, молчали и смотрели друг на друга. Официант вернулся и сказал, что такси дожидается. Брет крепко сжала мне руку. Я дал официанту франк, и мы вышли.

— Куда велеть ему ехать? — спросил я.

— Пусть едет куда хочет.

Я велел шоферу ехать в парк Монсури, вошел и захлопнул дверцу. Брет прижалась в угол, закрыв глаза. Я сел подле нее. Машина дернула и покатила.

— Ох, милый, я такая несчастная! — сказала Брет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Машина поднялась в гору, пересекла освещенную площадь, потом еще поднялась, потом спустилась в темноту и мягко покатила по асфальту темной улицы позади церкви Сент-Этьен-дю-Мон, миновала деревья и стоянку автобусов на площади Контрэскарп, потом въехала на булыжную мостовую улицы Муфтар. По обеим сторонам улицы светились окна баров и витрины еще открытых лавок. Мы сидели врозь, а когда мы поехали по старой тряской улице, нас тесно прижало друг к другу. Брет сняла шляпу. Откинула голову. Я видел ее лицо в свете, падающем из витрин, потом стало темно, потом, когда мы выехали на авеню Де-Гобелен, я отчетливо увидел ее лицо. Мостовая была разворочена, и люди работали на трамвайных путях при свете ацетиленовых горелок. Белое лицо Брет и длинная линия ее шеи были ясно видны в ярком свете горелок. Когда опять стало темно, я поцеловал ее. Мои губы прижались к ее губам, а потом она отвернулась и забилась в угол, как можно дальше от меня. Голова ее была опущена.

— Не трогай меня,— сказала она.— Пожалуйста, не трогай меня.

— Что с тобой?

— Я не могу.

— Брет!

— Не надо. Ты же знаешь. Я не могу — вот и все. Милый, ну пойми же!

— Ты не любишь меня?

— Не люблю? Да я вся точно кисель, как только ты тронешь меня.

— Неужели ничего нельзя сделать?

Теперь она сидела выпрямившись. Я обнял ее, и она прислонилась ко мне, и мы были совсем спокойны. Она смотрела мне в глаза так, как она умела смотреть,— пока не начинало казаться, что это уже не ее глаза. Они смотрели и все еще смотрели, когда любые глаза на свете давно перестали бы смотреть. Она смотрела так, словно в мире не было ничего, на что она не посмела бы так смотреть, а на самом деле она очень многого в жизни боялась.

— И ничего, ничего нельзя сделать,— сказал я.

— Не знаю,— сказала она.— Я не хочу еще раз так мучиться.

— Лучше бы нам не встречаться.

— Но я не могу не видеть тебя. Ведь не только в этом дело.

— Нет, но сводится всегда к этому.

— Это я виновата. Разве мы не платимся за все, что делаем?

Все время она смотрела мне в глаза. Ее глаза бывали разной глубины, иногда они казались совсем плоскими. Сейчас в них можно было глядеть до самого дна.

— Как подумаю, сколько все они от меня натерпелись. Теперь я расплачиваюсь за это.

— Глупости,— сказал я.— Кроме того, принято считать, что то, что случилось со мной, очень смешно. Я никогда об этом не думаю.

— Еще бы. Не сомневаюсь.

— Ну, довольно об этом.

— Я сама когда-то смеялась над этим.— Она не смотрела на меня.— Товарищ моего брата вернулся таким с Монса. Все принимали это как ужасно веселую шутку. Человек никогда ничего не знает, правда?

— Правда,— сказал я.— Никто никогда ничего не знает.

Я более или менее покончил с этим вопросом. В свое время я, вероятно, рассмотрел его со всех возможных точек зрения, включая и ту, согласно которой известного рода изъяны или увечья служат поводом для веселья, между тем как в них нет ничего смешного для пострадавшего.

— Это забавно,— сказал я.— Это очень забавно. И быть влюбленным тоже страшно забавно.

— Ты думаешь? — Глаза ее снова стали плоскими.

— То есть не в том смысле забавно. Это до некоторой степени приятное чувство.

— Нет,— сказала она.— По-моему, это сущий ад.

— Хорошо быть вместе.

— Нет. По-моему, ничего хорошего.

— Разве ты не хочешь меня видеть?

— Я не могу тебя не видеть.

Теперь мы сидели, как чужие. Справа был парк Монсури. Ресторан, где есть пруд с живыми форелями и где можно сидеть и смотреть в парк, был закрыт и не освещен. Шофер обернулся.

— Куда мы поедем? — спросил я.

Брет отвела глаза.

— Пусть едет в кафе «Селект».

— Кафе «Селект»,— сказал я шоферу.— Бульвар Монпарнас.

Мы поехали дальше, обогнув Бельфорского льва, который сторожит Монружскую трамвайную линию. Брет смотрела прямо перед собой. На Бульваре Распай, когда показались огни Монпарнаса, Брет сказала:

— У меня к тебе просьба. Только ты не рассердишься?

— Не говори глупости.

— Поцелуй меня еще раз, пока мы не приехали.

Когда такси остановилось, я вышел и расплатился. Брет вышла, на ходу надевая шляпу. Она оперлась на мою руку, когда сходила с подножки. Ее рука дрожала.

— У меня очень неприличный вид? — Она надвинула на глаза свою мужскую фетровую шляпу и вошла в кафе. У стойки и за столиками сидела почти вся компания, которая была в дансинге.

— Хэлло, друзья! — сказала Брет.— Выпить хочется.

— Брет! Брет! — Маленький грек-портретист, который называл себя герцогом и которого все звали Зизи, подбежал к ней.— Что я вам скажу!

— Хэлло, Зизи! — сказала Брет.

— Я познакомлю вас с моим другом,— сказал Зизи.

Подошел толстый мужчина.

— Граф Миппипопуло — мой друг леди Эшли.

— Здравствуйте,— сказала Брет.

— Ну как, миледи? Весело проводите время в Париже? — спросил граф Миппипопуло, у которого на цепочке от часов болтался клык лося.

— Ничего,— ответила Брет.

— Париж прекрасный город,— сказал граф.— Но вам, наверно, и в Лондоне достаточно весело?

— Еще бы,— сказала Брет.— Потрясающе.

Брэддокс подозвал меня к своему столику.

— Барнс,— сказал он,— выпейте с нами. С вашей дамой вышел ужасный скандал.

— Из-за чего?

— Дочь хозяина что-то сказала про нее. Получился форменный скандал. Но она — молодчина. Предъявила желтый билет и потребовала, чтобы та показала свой. Ужасный скандал.

— А чем кончилось?

— Кто-то увел ее. Очень недурна. Совершенно изумительно владеет парижским арго. Садитесь, выпьем.

— Нет,— сказал я.— Мне пора домой. Кона не видали?

— Они с Фрэнсис уехали домой,— вмешалась миссис Брэддокс.

— Бедняга, у него такой удрученный вид,— сказал Брэддокс.

— Да, да,— подтвердила миссис Брэддокс.

— Мне пора домой,— сказал я.— Спокойной ночи.

Я попрощался с Брет у стойки. Граф заказывал шампанское.

— Разрешите предложить вам стакан вина, сэр? — сказал он.

— Нет, премного благодарен. Мне пора идти.

— Вы правда уходите? — спросила Брет.

— Да,— сказал я.— Очень голова болит.

— Завтра увидимся?

— Приходите в редакцию.

— Вряд ли.

— Ну, так где же?

— Где-нибудь, около пяти часов.

— Тогда давайте на том берегу.

— Ладно. Я в пять буду в «Крийоне».

— Только не обманите,— сказал я.

— Не беспокойтесь,— сказала Брет.— Разве я вас когда-нибудь обманывала?

— Что слышно о Майкле?

— Сегодня было письмо.

— Спокойной ночи, сэр,— сказал граф.

Я вышел на улицу и зашагал в сторону Бульвара Сен-Мишель, мимо столиков кафе «Ротонда», все еще переполненного, посмотрел на кафе «Купол» напротив, где столики занимали весь тротуар. Кто-то оттуда помахал мне рукой — я не разглядел кто и пошел дальше. Мне хотелось домой. На Бульваре Монпарнас было пусто. Ресторан Лавиня уже закрылся, а перед «Клозери-де-Лила» убирали столики. Я прошел мимо памятника Нею, стоявшего среди свежей листвы каштанов в свете дуговых фонарей. К цоколю был прислонен увядший темно-красный венок. Я остановился и прочел надпись на ленте: от бонапартистских групп и число, какое — не помню. Он был очень хорош, маршал Ней, в своих ботфортах, взмахивающий мечом среди свежей, зеленой листвы конских каштанов. Я жил как раз напротив, в самом начале Бульвара Сен-Мишель.

В комнате консьержки горел свет, я постучал в дверь, и она дала мне мою почту. Я пожелал ей спокойной ночи и поднялся наверх. Было два письма и несколько газет. Я просмотрел их под газовой лампой в столовой. Письма были из Америки. Одно письмо оказалось банковским расчетом. Остаток равнялся 2432 долларам и 60 центам. Я достал свою чековую книжку, вычел сумму четырех чеков, выписанных после первого числа текущего месяца, и подсчитал, что остаток равняется 1832 долларам и 60 центам. Эту сумму я записал на обороте письма. В другом конверте лежало извещение о бракосочетании. Мистер и миссис Алоизиус Кирби извещают о браке дочери их Кэтрин — я не знал ни девицы, ни того, за кого она выходила. Они, вероятно, разослали извещения по всему городу. Смешное имя. Я был уверен, что, знай я когонибудь по имени Алоизиус, я не забыл бы его: хорошее католическое имя. На извещении был герб. Как Зизи — греческий герцог. И граф. Граф смешной. У Брет тоже есть титул. Леди Эшли. Черт с ней, с Брет. Черт с вами, леди Эшли.

Я зажег лампу около кровати, потушил газ в столовой и распахнул широкие окна спальни. Кровать стояла далеко от окон, и я сидел при открытых окнах возле кровати и раздевался. Ночной поезд, развозивший овощи по рынкам, проехал по трамвайным рельсам. Поезда эти громыхали по ночам, когда не спалось. Раздеваясь, я смотрелся в зеркало платяного шкафа, стоявшего рядом с кроватью. Типично французская манера расставлять мебель. Удобно, пожалуй. И надо же — из всех возможных способов быть раненым... В самом деле смешно. Я надел пижаму и лег в постель. У меня было два спортивных журнала, и я снял с них бандероли. Один был оранжевый. Другой — желтый. В обоих будут те же сообщения, потому, какой бы я ни прочел первым, мне не захочется читать другой. «Ле Ториль» лучше, и я начал с него. Я прочел его от доски до доски, вплоть до писем в редакцию и загадок-шуток. Я потушил лампу. Может быть, удастся заснуть.

Мысль моя заработала. Старая обида. Да, глупо было получить такое ранение, да еще во время бегства на таком липовом фронте, как итальянский. В итальянском госпитале мы хотели основать общество. По-итальянски название его звучало смешно. Интересно, что сталось с другими, с итальянцами. Это было в Милане, в Главном госпитале, в корпусе Понте. А рядом был корпус Зонде. Перед госпиталем стоял памятник Понте, а может быть, Зонде. Там меня навестил тот полковник. Смешно было. Тогда в первый раз стало смешно. Я был весь забинтован. Но ему сказали про меня. И тут-то он и произнес свою изумительную речь: «Вы — иностранец, англичанин (все иностранцы назывались англичанами), отдали больше, чем жизнь». Какая речь! Хорошо бы написать ее светящимися буквами и повесить в редакции. Он и не

думал шутить. Он, должно быть, представлял себя на моем месте. «Che mala fortuna! Che mala fortuna!» [1]

Я, в сущности, раньше никогда не задумывался над этим. И теперь старался относиться к этому легко и не причинять беспокойства окружающим. Вероятно, это никогда не помешало бы мне, если бы не встреча с Брет, когда меня отправили в Англию. Я думаю, ей просто захотелось невозможного. Люди всегда так. Черт с ними, с людьми. Католическая церковь замечательно умеет помочь в таких случаях. Совет хороший, что и говорить. Не думать об этом. Отличный совет. Попробуй как-нибудь последовать ему. Попробуй.

Я лежал без сна и думал, и мысль перескакивала с предмета на предмет. Потом я не мог больше отогнать мыслей об этом и начал думать о Брет, и все остальное исчезло. Я думал о Брет, и мысли мои уже не перескакивали с предмета на предмет, а словно поплыли по мягким волнам. И тут, неожиданно для самого себя, я заплакал. Потом, немного спустя, мне стало легче, я лежал в постели и прислушивался к тяжелым вагонам, проезжавшим мимо по улице, а потом я заснул.

Вдруг я проснулся. Снаружи доносился шум. Я прислушался, и мне показалось, что я слышу знакомый голос. Я надел халат и подошел к двери. Внизу раздавался голос консьержки. Она очень сердилась. Услыхав свое имя, я окликнул ее.

— Это вы, мосье Барнс? — крикнула консьержка.

— Да, я.

— Здесь какая-то женщина, она шумит на всю улицу. Что за безобразие, в такую пору! Говорит, что ей нужно вас видеть. Я сказала, что вы спите.

Потом я услышал голос Брет. Спросонья я был уверен, что это Жоржет. Не знаю почему. Она ведь не знала моего адреса.

— Попросите ее наверх, пожалуйста.

Брет поднялась по лестнице. Я увидел, что она совсем пьяна.

— Как глупо,— сказала она.— Ужасный скандал вышел. Но ты ведь не спал, правда?

— Как ты думаешь, что я делал?

— Не знаю. А который час?

Я посмотрел на стенные часы. Было половина пятого.

— Понятия не имела, который час,— сказала Брет.— Можно человеку сесть? Не сердись, милый. Только что рассталась с графом. Он привез меня сюда.

— Ну, как он? — Я доставал коньяк, содовую и стаканы.

---

[1] Какое несчастье! *(ит.)*

— Одну каплю только,— сказала Брет.— Не спаивай меня. Граф? Ничего. Он свой.

— Он правда граф?

— Твое здоровье. Пожалуй, правда. Во всяком случае, достоин быть графом. Черт его дери, чего он только не знает о людях! И где он всего этого набрался. Держит сеть кондитерских в Америке.

Она отпила из своего стакана.

— Кажется, он сказал «сеть». Что-то в этом роде. Сплетает их — рассказал мне про них кое-что. Страшно интересно. Но он свой. Совсем свой. Никаких сомнений. Это сразу видно.

Она отпила еще глоток.

— А в общем, какое мне дело до него? Ты хоть не сердишься? Он, знаешь, очень помогает Зизи.

— А Зизи что, настоящий герцог?

— Очень может быть. Греческий, понимаешь? Художник он никудышный. Граф мне понравился.

— Где ты была с ним?

— О, повсюду. А сейчас он привез меня сюда. Предлагал мне десять тысяч долларов, если я поеду с ним в Биарриц. Сколько это на фунты?

— Около двух тысяч.

— Куча денег. Я сказала ему, что не могу. Он принял это очень мило. Сказала, что у меня слишком много знакомых в Биаррице.

Брет засмеялась.

— Лениво ты меня догоняешь,— сказала она. Я до сих пор только пригубил свой коньяк с содовой. Я отпил большой глоток.

— Вот это уже лучше,— сказала Брет.— Очень смешно. Он хотел, чтобы я поехала с ним в Канны. Говорю, у меня слишком много знакомых в Каннах. Монте-Карло. Говорю, у меня слишком много знакомых в Монте-Карло. И вообще повсюду. Это правда, между прочим. Так вот, я попросила привезти меня сюда.

Она смотрела на меня, поставив локоть на стол, подняв стакан.

— Что ты на меня так смотришь? Я сказала ему, что влюблена в тебя. И это тоже правда. Что ты на меня так смотришь? Он принял это очень мило. Хочет завтра повезти нас ужинать. Поедешь?

— Почему же нет?

— Ну, мне пора идти.

— Зачем?

— Я только хотела повидать тебя. Ужасно глупая затея.

Может быть, ты оденешься и сойдешь со мной вниз? Он ждет с машиной в двух шагах отсюда.

— Граф?

— Ну да. И шофер в ливрее. Хочет покатать меня. А потом позавтракать в Булонском лесу. Вино корзинами. Брал у Зелли. Дюжина бутылок мумма. Не соблазнишься?

— Мне утром нужно работать,— сказал я.— И я слишком отстал от вас, вам будет скучно со мной.

— Не будь идиотом.

— Не могу.

— Как хочешь. Передать ему привет?

— Непременно. Самый нежный.

— Спокойной ночи, милый.

— Как трогательно.

— А ну тебя.

Мы поцеловались на прощание, и Брет вздрогнула.

— Я пойду,— сказала она.— Спокойной ночи, милый.

— Зачем ты уходишь?

— Так лучше.

На лестнице мы еще раз поцеловались, и когда я крикнул консьержке, чтобы она потянула шнур, она что-то проворчала за дверью. Я поднялся к себе и смотрел в открытое окно, как Брет подходит к большому лимузину, дожидавшемуся у края тротуара под дуговым фонарем. Она вошла, и машина тронулась. Я отвернулся от окна. На столе стоял пустой стакан и стакан, наполовину наполненный коньяком с содовой. Я вынес их оба на кухню и вылил коньяк в раковину. Я погасил газ в столовой, сбросил туфли, сидя на постели, и лег. Вот какая она, Брет,— и о ней-то я плакал. Потом я вспомнил, как она только что шла по улице и как села в машину, и, конечно, спустя две минуты мне уже опять стало скверно. Ужасно легко быть бесчувственным днем, а вот ночью — это совсем другое дело.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Утром я спустился по Бульвару Сен-Мишель до улицы Суфло и выпил кофе с бриошами. Утро выдалось чудесное. Конские каштаны Люксембургского сада были в цвету. Чувствовалась приятная утренняя свежесть перед жарким днем. Я прочел газеты за кофе и выкурил сигарету. Цветочницы приходили с рынка и раскладывали свой дневной запас товара. Студенты шли мимо, кто в юридический институт, кто в Сорбонну. По бульвару сновали трамваи и люди, спешащие на работу. Я сел в автобус и доехал до церкви Мадлен, стоя на задней площадке. От церкви Мадлен

я прошел по Бульвару Капуцинов до Оперы, а оттуда в свою редакцию. Я прошел мимо продавца прыгающих лягушек и продавца игрушечных боксеров. Я шагнул в сторону, чтобы не наступить на нитки, посредством которых его помощница приводила боксеров в движение. Она стояла отвернувшись, держа нитки в сложенных руках. Продавец уговаривал двух туристов купить игрушку. Еще три туриста остановились и смотрели. Я шел следом за человеком, который толкал перед собою каток, печатая влажными буквами слова CINZANO на тротуаре. По всей улице люди спешили на работу. Приятно было идти на работу. Я пересек авеню Оперы и свернул к своей редакции.

Поднявшись к себе, я прочел французские утренние газеты, покурил, а потом сел за машинку и усердно проработал все утро. В одиннадцать часов я взял такси и поехал на Кэ-д'Орсей, вошел в министерство и просидел там с полчаса вместе с десятком корреспондентов, слушая, как представитель министерства иностранных дел, молодой дипломат в роговых очках, говорит и отвечает на вопросы. Председатель кабинета министров уехал в Лион, где он должен был выступить с речью, или, вернее, он уже находится на обратном пути. Несколько человек задавали вопросы, чтобы послушать самих себя, а кое-кто из представителей телеграфных агентств задавал вопросы, чтобы услышать ответы. Новостей не было. Из министерства я поехал в одном такси с Уолси и Крамом.

— Что вы делаете по вечерам, Джейк? — спросил Крам.— Вас нигде не видно.

— Я бываю там, в Латинском квартале.

— Как-нибудь соберусь туда. В кафе «Динго». Ведь там самое веселье?

— Да. Или в новом, в «Селекте».

— Я сколько раз собирался,— сказал Крам.— Но ведь вы знаете, когда у тебя жена и дети...

— В теннис играете? — спросил Уолси.

— Нет,— сказал Крам.— Можно сказать, что в этом году совсем не играл. Мне хотелось как-нибудь вырваться, но по воскресеньям всегда дождь, да и корты страшно переполнены.

— Англичане не работают по субботам,— сказал Уолси.

— Везет им, подлецам,— сказал Крам.— Ну, погодите. Не вечно же я буду журналистом. Будет и у меня время ездить за город.

— Вот что лучше всего: жить за городом и иметь свою машину.

— Я подумываю купить себе машину в будущем году.

Я постучал в стекло. Шофер затормозил.

— Я уже дома,— сказал я.— Зайдите, выпьем по стаканчику.

— Спасибо,— сказал Крам.

Уолси покачал головой.

— Мне нужно обработать, что он там наговорил сегодня.

Я сунул два франка в руку Крама.

— Вы с ума сошли, Джейк,— сказал он.— Я заплачу.

— Так это же за счет редакции.

— Бросьте. Платить буду я.

Я помахал им на прощанье. Крам высунул голову.

— В среду увидимся, за завтраком.

— Непременно.

Я на лифте поднялся в редакцию. Роберт Кон ждал меня.

— Хэлло, Джейк,— сказал он,— завтракать пойдем?

— Пойдем. Я только посмотрю, нет ли чего срочного.

— Где будем завтракать?

— Все равно.— Я осматривал свой письменный стол.— А вы где хотите завтракать?

— Может быть, к Ветцелю? Там хорошие закуски.

В ресторане мы заказали закуски и пиво. Официант принес пиво в высоких глиняных кружках — пиво было очень холодное, и на стенках выступили бусинки. Подали с десяток разных закусок.

— Весело вам было вчера? — спросил я.

— Нет. Не очень.

— Как пишется?

— Плохо. Не двигается у меня вторая книга.

— У всех так бывает.

— Я знаю. Но все-таки это меня мучает.

— А Южная Америка? Не забыли еще?

— Нет, не забыл.

— За чем же дело стало?

— Фрэнсис.

— Так возьмите ее с собой,— сказал я.

— Она не захочет. Это не для нее. Ей нужно большое общество.

— Тогда пошлите ее к черту.

— Не могу. У меня все-таки есть обязательства по отношению к ней.

Он отодвинул тарелку с нарезанными огурцами и взял маринованной селедки.

— Скажите, Джейк, что вы знаете о леди Брет Эшли?

— Леди Эшли — ее фамилия. Брет — имя. Она очень милая женщина,— сказал я.— Разводится с мужем и собирается выйти за Майкла Кэмбелла. Он сейчас в Шотландии. А что?

— Она необыкновенно интересная женщина.

— Не правда ли?

— В ней есть что-то такое, какая-то особая утонченность. Мне кажется, она очень чуткий и прямой человек.

— Она очень милая.

— Я не знаю, как вам объяснить,— сказал Кон.— Вероятно, это порода.

— Я вижу, она вам очень нравится.

— Очень. Мне даже кажется, что я влюблен в нее.

— Она пьяница,— сказал я.— Она влюблена в Майкла Кэмбелла и собирается за него замуж. У него со временем будет куча денег.

— Не верю, что она за него выйдет.

— Почему?

— Не знаю. Просто так, не верю. Вы давно ее знаете?

— Да,— сказал я.— Она была сестрой в госпитале, в котором я лежал во время войны.

— Она же совсем девочкой была, вероятно?

— Ей сейчас тридцать четыре года.

— Когда она вышла за Эшли?

— Во время войны. Ее возлюбленный как раз окочурился от дизентерии.

— Почему вы таким тоном говорите?

— Виноват. Я нечаянно. Я просто хотел изложить вам факты.

— Не верю, чтобы она вышла за кого-нибудь не по любви.

— Однако она это сделала дважды,— сказал я.

— Не верю.

— Так зачем же вы задаете мне дурацкие вопросы,— сказал я,— если вам не нравятся ответы?

— Я вас об этом не спрашивал.

— Вы просили сказать вам, что я знаю о Брет Эшли.

— Я не просил вас оскорблять ее.

— А ну вас к черту.

Он встал из-за стола с побелевшим лицом и стоял, белый и злой, позади тарелочек с закусками.

— Сядьте,— сказал я.— Не валяйте дурака.

— Возьмите свои слова обратно.

— Бросьте, что мы, приготовишки, что ли?

— Возьмите свои слова обратно.

— Хорошо. Все, что угодно. Я в жизни не слыхал о Брет Эшли. Теперь вы удовлетворены?

— Нет. Не это. Вы послали меня к черту.

— О, не ходите к черту,— сказал я.— Сидите здесь. Мы только что начали завтракать.

Кон улыбнулся и сел. Он, видимо, был рад, что можно сесть. Что бы он, в самом деле, стал делать, если б он не сел?

— Вы такие ужасно обидные вещи говорите, Джейк.

— Не сердитесь. У меня уж такой гадкий язык. Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю.

— Я знаю,— сказал Кон.— Вы же, можно сказать, мой лучший друг, Джейк.

«Вот те на»,— подумал я.

— Забудьте, что я сказал,— проговорил я вслух.— Не сердитесь.

— Ладно. Все хорошо. Мне просто в ту минуту стало обидно.

— Вот и отлично. Давайте закажем еще чего-нибудь.

Покончив с завтраком, мы пошли в кафе де ла Пэ и выпили кофе. Я чувствовал, что Кону хочется еще раз заговорить о Брет, но я не поддавался. Мы поговорили о том, о сем, потом я простился с ним и пошел в редакцию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В пять часов я был в отеле «Крийон» и поджидал Брет. Она запаздывала, и я сел и написал несколько писем. Письма вышли не очень складные, но я надеялся, что штамп отеля «Криойн» спасет положение. Брет все не приходила, и без четверти шесть я спустился в бар и выпил коктейль «Джек Роз» с барменом Жоржем. В баре Брет тоже не было, и я перед уходом еще раз заглянул наверх, потом взял такси и поехал в кафе «Селект». Пересекая Сену, я видел вереницу пустых барж на буксире; высоко сидя в воде, они шли по течению, и когда они проплывали под мостом, матросы отталкивались шестами. Река была красивая. В Париже всегда приятно ехать по мосту.

Такси, объехав памятник создателю семафора, который изображен выполняющим придуманный им маневр, свернуло на Бульвар Распай, и я откинулся назад, чтобы не видеть этого куска пути. Ехать по Бульвару Распай всегда было скучно. На линии Париж — Лион между Фонтенбло и Монтеро есть такое место, где я всегда испытываю скуку, пустоту и усталость, пока не проеду его. Вероятно, такие мертвые точки в пути возникают из-за каких-нибудь ассоциаций. В Париже есть улицы не менее уродливые, чем Бульвар Распай. Пешком я совершенно спокойно могу пройти ее. Но ездить по ней я не выношу. Может быть, я где-нибудь читал о ней. На Роберта Кона все в Париже так действовало. Удивительно, откуда у Кона эта неприязнь к Парижу? Уж не от Менкена ли? Менкен, кажется, ненавидит Париж. Много на свете молодых людей, которые любят и не любят по Менкену.

Такси остановилось перед кафе «Ротонда». Какое бы кафе на Монпарнасе вы ни назвали шоферу, садясь в такси на правом берегу Сены, он все равно привезет вас в «Ротонду». Через десять лет

ее место, вероятно, займет кафе «Купол». Но мне и так было уже близко. Я прошел мимо унылых столиков «Ротонды» к кафе «Селект». Внутри, у стойки, сидело несколько человек, а снаружи, в одиночестве, сидел Харви Стоун. Перед ним стояла горка блюдец, и он был очень небрит.

— Садитесь,— сказал Харви,— я поджидал вас.

— А в чем дело?

— Ни в чем. Просто поджидал вас.

— На скачках были?

— Нет. С воскресенья не был.

— Что вам пишут из Америки?

— Ничего. Решительно ничего.

— А в чем дело?

— Не знаю. Я порвал с ними. Я решительно порвал с ними.— Он наклонился вперед и посмотрел мне в глаза.— Знаете что я вам скажу, Джейк?

— Что?

— Я уже пять дней ничего не ел.

Я быстро подсчитал в уме. Три дня назад в «Нью-йоркском баре» Харви выиграл у меня двести франков в покерные кости.

— А в чем дело?

— Денег нет. Деньги не пришли.— Он помолчал.— Знаете, Джейк, это очень странно. Когда я такой, я люблю быть один. Мне хочется сидеть в своей комнате. Я как кошка.

Я порылся в кармане.

— Сотня устроит вас, Харви?

— Да.

— Вставайте. Пойдем обедать.

— Успеется. Выпейте со мной.

— Лучше бы вы поели.

— Нет. Когда я такой, мне все равно, есть или не есть.

Мы выпили. Харви прибавил мое блюдце к своей горке.

— Вы знаете Менкена, Харви?

— Да. А что?

— Какой он?

— Он ничего. Говорит очень смешные вещи. Я недавно обедал с ним, и мы заговорили о Гоффенхеймере. «Беда в том,— сказал Менкен,— что он прикидывается святошей». Это недурно.

— Верно, недурно.

— А вообще он выдохся,— продолжал Харви.— Он уже написал обо всем, что знает, а теперь берется за все то, чего не знает.

— Он, должно быть, правда ничего,— сказал я.— Только читать его я не могу.

— Ну, сейчас никто его не читает. Разве что те, кто когда-то читал труды Института Александра Гамильтона.

— Ну что ж,— сказал я.— И это было неплохо.

— Конечно,— поддакнул Харви.

Несколько минут мы сидели погруженные в глубокомысленное молчание.

— Еще стаканчик?

— Давайте,— сказал Харви.

— А вот Кон идет,— сказал я.

Роберт Кон переходил улицу.

— Кретин,— сказал Харви.

Кон подошел к нашему столику.

— Привет, друзья,— сказал он.

— Привет, Роберт,— сказал Харви.— Я только что говорил Джейку, что вы кретин.

— Что это значит?

— Скажите сразу. Не думайте. Что бы вы сделали, если бы могли сделать все, что вам хочется?

Кон задумался.

— Не надо думать. Выкладывайте сразу.

— Не знаю,— сказал Кон.— А зачем это вообще?

— Просто — что бы вы сделали? Первое, что придет в голову. Как бы глупо это ни было.

— Не знаю,— сказал Кон.— Пожалуй, я охотнее всего опять стал бы играть в футбол, теперь, когда у меня есть тренировка.

— Я ошибся,— сказал Харви.— Это не кретинизм. Это просто случай задержанного развития.

— Вы ужасно остроумны, Харви,— сказал Кон.— Вы дождетесь, что кто-нибудь съездит вас по физиономии.

Харви Стоун засмеялся.

— Вы так думаете? Не съездит, не беспокойтесь. Потому что мне на это наплевать. Я не боксер.

— Вряд ли вам было бы наплевать.

— Именно было бы. В этом ваша основная ошибка. Вы плохо соображаете.

— Хватит говорить обо мне.

— Как угодно,— сказал Харви.— Мне наплевать на вас. Вы для меня нуль.

— Довольно, Харви,— сказал я.— Выпейте еще портвейну.

— Нет,— сказал он.— Я пойду куда-нибудь и поем. Еще увидимся, Джейк.

Он встал из-за стола и пошел по улице. Я смотрел, как он пересекает мостовую, маленький, грузный, с неторопливой уверенностью пробираясь между машинами.

— Он всегда ужасно злит меня,— сказал Кон.— Не выношу его.

— А мне он нравится,— сказал я.— Я даже люблю его. Не нужно на него злиться.

— Я знаю,— сказал Кон.— Просто он действует мне на нервы.

— Поработали сегодня?

— Нет. Сегодня не клеилось. Сейчас мне гораздо труднее, чем когда я писал первую книгу. Никак не могу наладиться.

Бодрая уверенность, с какой он ранней весной вернулся из Америки, уже исчезла. Тогда он не сомневался в своем литературном таланте, и его мучила только жажда приключений. Теперь эта уверенность исчезла. Мне кажется, что я как-то не сумел отчетливо обрисовать Роберта Кона. Дело в том, что, пока он не влюбился в Брет, он никогда не говорил ничего такого, что отличало бы его от других людей. Он красиво играл в теннис, был хорошо сложен, ловок; недурно играл в бридж и чем-то неуловимо напоминал студента. Я ни разу не слышал, чтобы он в большой компании сказал что-нибудь необычное. Он носил рубашки фасона поло,— как мы их называли в колледже и как их, вероятно, называют и теперь,— но не старался казаться моложе своих лет. Не думаю, чтобы он очень любил франтить. Внешне он сформировался в Принстоне. Внутренне он сложился под влиянием двух женщин, воспитавших его. В нем была милая мальчишеская веселость, которую ни той, ни другой не удалось вытравить из него, и я, вероятно, не сумел этого показать. Например, играя в теннис, он очень любил выигрывать. Ему, должно быть, хотелось выиграть не меньше, чем знаменитой Ленглен. С другой стороны, он не дулся, когда проигрывал. После того как он влюбился в Брет, все его мастерство пошло прахом. Он стал проигрывать таким теннисистам, которые никогда и не мечтали побить его. Но относился он к этому очень мило.

Итак, мы сидели на террасе кафе «Селект», и Харви Стоун только что пересек улицу.

— Поедем в «Клозери-де-Лила»,— сказал я.

— У меня свидание.

— В котором часу?

— Фрэнсис придет в четверть восьмого.

— А вот и она.

Фрэнсис Клайн переходила улицу, направляясь к нам. Она была очень высокая, шагала быстро, размашисто. Она сделала нам знак и улыбнулась. Мы смотрели, как она пересекает улицу.

— Здравствуйте,— сказала она.— Очень рада, Джейк, что вы здесь. Мне нужно поговорить с вами.

— Хэлло, Фрэнсис,— сказал Кон. Он улыбался.

— Ах, здравствуй, Роберт! И ты здесь? — Она продолжала, говоря очень быстро: — Дурацкий у меня день сегодня. Он,— она кивнула на Кона,— не пришел домой к обеду.

— Я и не должен был.

— О, я знаю. Но ты не предупредил прислугу. Потом я сговорилась с Паулой, но ее не оказалось в редакции. Я поехала в «Ритц» и ждала ее там, а она не пришла, и у меня, конечно, не хватило денег, чтобы пообедать в «Ритце».

— Ну, и что же вы сделали?

— Ушла оттуда, конечно.— Она говорила нарочито веселым тоном.— Я всегда держу свое слово. Никто этого теперь не делает. Ну, как поживаете, Джейк?

— Хорошо.

— Привел в дансинг хорошенькую девушку, а потом улизнул с этой Брет.

— Она тебе не нравится? — спросил Кон.

— Я нахожу, что она совершенно очаровательна. А ты?

Кон промолчал.

— Послушайте, Джейк. Мне нужно поговорить с вами. Пойдемте со мной напротив, в кафе «Купол». А ты посидишь здесь, Роберт, ладно? Идем, Джейк.

Мы пересекли Бульвар Монпарнас и сели за столик. Подошел мальчишка-газетчик, и я купил парижский выпуск «Таймса».

— Что случилось, Фрэнсис?

— О, пустяки,— сказала она.— Он только хочет бросить меня.

— Как это бросить?

— Он всем говорил, что мы поженимся, и я сказала матери и всем, а теперь он не хочет.

— А что случилось?

— Он решил, что еще не успел насладиться жизнью. Я так и знала, что этим кончится, когда он поехал в Нью-Йорк.

Она взглянула на меня, блестя глазами и стараясь говорить небрежно.

— Я не выйду за него, если он этого не хочет. Конечно, не выйду. Я теперь ни за что не выйду за него. Но только мне кажется, сейчас немножко поздно, после того как мы прождали три года и я как раз получила развод.

Я молчал.

— Мы хотели торжественно отпраздновать, а вместо этого у нас сплошная драма. Он как ребенок. Бьет себя в грудь, плачет и просит меня не волноваться, но он говорит, что просто не может этого сделать.

— Плохо дело.

— Еще бы не плохо. Два с половиной года я на него потратила. Теперь я даже не знаю, захочет ли кто на мне жениться. Два года назад я могла выйти за любого, там, в Каннах. Все старички, которые хотели остепениться и искали элегантную жену, за мной бегали. А теперь сомневаюсь, найду ли я кого-нибудь.

— Бросьте, вы и сейчас можете выйти за любого.

— Нет, не думаю. И потом, я люблю его. И я хотела бы иметь детей. Я всегда считала, что у нас будут дети.— Она ясными глазами смотрела на меня.— Я никогда особенно не любила детей, но мне не хочется думать, что у меня их никогда не будет. Я всегда считала, что у меня будут дети и тогда я полюблю их.

— У него есть дети.

— Да, есть. У него есть дети, и у него есть деньги, и у него мать богатая, и он написал книгу, а то, что я пишу, никто не хочет печатать, решительно никто. А пишу я вовсе не так плохо. И денег у меня совсем нет. Я могла бы выговорить себе алименты, но я хотела получить развод как можно скорее.— Она снова очень ясно взглянула на меня.— Это несправедливо. С одной стороны, я сама виновата. Но все-таки не во всем. Конечно, надо было быть умней. А когда я говорю ему, он просто начинает плакать и говорит, что не может жениться. А почему он не может жениться? Я была бы хорошей женой. Со мной легко ладить. Я ему не мешаю. Но это не помогает.

— Скверная история.

— Да, скверная история. Но что толку говорить об этом. Пойдемте обратно, в «Селект».

— Я, сами понимаете, ничем не могу вам помочь.

— Нет, не можете. Только не говорите ему, что я вам сказала. Я знаю, что он хочет.— Тут она впервые оставила свой тягостно веселый тон.— Он хочет вернуться в Нью-Йорк один и быть там, когда выйдет его книга, чтобы иметь успех у девчонок. Вот чего он хочет.

— А может быть, он и не будет иметь успеха. И, по-моему, он вовсе не такой. Серьезно.

— Вы, Джейк, не знаете его так, как я. Именно этого он хочет. Я знаю. Знаю. Именно из-за этого он не хочет жениться. Он хочет этой осенью один насладиться своей славой.

— Вернемся в «Селект»?

— Да. Пойдемте.

Мы встали из-за столика — нам так ничего и не подали — и пошли через улицу в кафе «Селект», где Кон сидел за мраморным столиком и, улыбаясь, поджидал нас.

— Ну, чему ты рад? — спросила его Фрэнсис.— Доволен всем на свете?

— Мне смешно, что вы с Джейком секретничаете.

— О, то, что я сказала Джейку, не секрет. Об этом скоро все узнают. Я только хотела преподнести это Джейку в приличной форме.

— О чем это? О том, что ты уезжаешь в Англию?

— Да, о том, что я уезжаю в Англию. Ах, Джейк! Об этом я и забыла сказать. Я еду в Англию.

— Так это же отлично.

— Да, это всегда так делается в порядочном обществе. Роберт отправляет меня в Англию. Он дает мне двести фунтов, и я еду погостить к друзьям. Правда, это будет очаровательно? Кстати, друзья еще ничего об этом не знают.

Она повернулась к Кону и улыбнулась ему. Он уже не улыбался.

— Ты хотел дать мне только сто фунтов, правда, Роберт? Но я заставила его дать двести. Он ведь очень щедрый. Не правда ли, Роберт?

Я не понимаю, как можно было говорить Роберту Кону такие ужасные вещи. Есть люди, которым говорить оскорбительные вещи невозможно. Кажется, мир развалится, в полном смысле слова развалится тут же, на глазах, если сказать им такое. Но вот Кон сидел и слушал все это. Вот все это происходило при мне, и я даже не испытывал желания остановить ее. И это еще оказались милые шутки по сравнению с тем, что было дальше.

— Как ты можешь так говорить, Фрэнсис? — прервал ее Кон.

— Он еще спрашивает! Я еду в Англию. Я еду к друзьям погостить. Случалось вам гостить у друзей, которым вы не нужны? О, им придется так или иначе принять меня. «Как поживаете, дорогая? Сколько лет, сколько зим! Как поживает уважаемая матушка?» Да, как поживает уважаемая матушка? Она вложила все свои деньги во французский военный заем. Да, да. Вероятно, кроме нее, ни один человек на свете этого не сделал. «А как Роберт?» Или еще как-нибудь, очень осторожно, вокруг да около. «Будьте осторожны, не упоминайте о нем, дорогая. Бедняжка Фрэнсис так много пережила». Правда, Роберт, это будет весело? Как по-вашему, Джейк, весело будет?

Она повернулась ко мне, улыбаясь своей нестерпимо ясной улыбкой. Она была очень довольна, что есть кому слушать ее.

— А что ты будешь делать, Роберт? Я сама виновата, я знаю. Я во всем сама виновата. Когда я заставила тебя отделаться от этой девочки, секретарши твоего журнала, я должна была понять, что ты так же отделаешься от меня. Джейк не знает этой истории. Рассказать ему?

— Замолчи, Фрэнсис, ради бога.

— Нет, я расскажу ему. У Роберта в редакции была секретарша. Совершенно очаровательная девочка, и он считал, что она восхитительна, а потом появилась я, и он решил, что я тоже в достаточной мере восхитительна. Так вот, я заставила его отделаться от нее, а он в свое время, когда редакция перекочевала, привез ее в Провинстаун из Кармеля, и он даже не оплатил ей обратный проезд. И все это, чтобы доставить мне удовольствие. Тогда он находил меня интересной. Правда, Роберт?

Вы не подумайте, Джейк,— с секретаршей все было совершенно платонически. Даже и не платонически. Вообще ничего такого. Просто она была очень хорошенькая. А сделал он это, чтобы доставить мне удовольствие. Ну, что ж, взявший меч от меча и погибнет. Кстати сказано, правда? Советую тебе запомнить это, Роберт, для твоей очередной книги. Понимаете, Роберт собирает материал для новой книги. Так ведь, Роберт? Вот из-за этого он и бросает меня. Он решил, что я не фотогенична. Видите ли, все время, пока мы жили вместе, он так был занят своей книгой, что ничего про нас не запомнил. Так вот, он отправляется на поиски свежего материала. Ну что ж,— надеюсь, он набредет на что-нибудь безумно интересное.

Послушай, Роберт, дорогой мой. Вот что я тебе скажу. Ты не рассердишься? Никогда не устраивай сцен своим дамам сердца. Постарайся. Потому что ты не умеешь устраивать сцен и не плакать, а когда ты плачешь, тебе очень жалко себя и ты не можешь запомнить, что́ говорит твоя партнерша. Так ты никогда ни одного диалога не запомнишь. Ты постарайся не волноваться. Я знаю, это ужасно трудно. Но помни: это же во имя литературы. Мы все должны приносить жертвы во имя литературы. Вот я, например. Я еду в Англию и не прекословлю. Все во имя литературы. Мы все обязаны помогать молодым писателям. Не правда ли, Джейк? Но вы не молодой писатель. А ты, Роберт? Тебе тридцать четыре года. Впрочем, для великого писателя это, по-моему, немного. Вспомните Гарди. Вспомните Анатоля Франса. Он как раз недавно умер. Но Роберт считает, что Франс писатель неважный. Это ему его друзья-французы сказали. Сам он не очень-то свободно читает по-французски. Он не был так талантлив, как ты, правда, Роберт? Как ты думаешь, приходилось ему отправляться на поиски материала? А что, по-твоему, он говорил своим любовницам, когда не хотел жениться на них? Интересно, он тоже плакал? Ах, что мне пришло в голову! — Она хлопнула себя по губам рукой в перчатке.— Я знаю, Джейк, настоящую причину, почему Роберт не хочет на мне жениться. Меня только что осенило. Откровение сошло на меня в кафе «Селект». Какая мистика, правда?

Со временем тут прибьют дощечку. Как в Лурде. Сказать, Роберт? Ну, слушай. Это проще простого. Как это раньше не пришло мне в голову. Видите ли, Роберт всегда хотел иметь любовницу, и если он на мне не женится, значит, у него была любовница. «Знаете, она больше двух лет была его любовницей». Понимаете? А если он на мне женится, как он всегда обещал,— тогда сразу конец всякой романтике. Правда, я очень остроумно все это вывела? И так оно и есть. Посмотрите на него и скажите, что это не так. Куда вы, Джейк?

— Мне нужно зайти в бар повидать Харви Стоуна.

Кон поднял глаза, когда я выходил в бар. Он был очень бледен. Почему он сидел тут? Почему он сидел и слушал все это?

Я стоял, прислонившись к стойке, и мне их видно было в окно. Фрэнсис все еще говорила, с ясной улыбкой заглядывая ему в лицо каждый раз, как спрашивала: «Не правда ли, Роберт?» А может быть, теперь она этого не спрашивала. Может быть, она говорила что-нибудь другое. Я сказал бармену, что мне ничего не нужно, и вышел через другую дверь. Выйдя, я оглянулся и сквозь двойную толщу стекла увидел их за столиком. Она все еще говорила. Я переулком прошел до Бульвара Распай. Мимо ехало такси, я остановил его и сказал шоферу адрес своей квартиры.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда я начал подниматься по лестнице, консьержка постучала в стеклянную дверь своей каморки; я остановился, и она вышла ко мне. Она протянула мне несколько писем и телеграмму.

— Вот почта. И еще к вам приходила дама.

— Она оставила свою карточку?

— Нет. С ней был господин. Та самая, которая приходила сегодня ночью. Вы знаете, она оказалась очень милая.

— Она была с кем-нибудь из моих знакомых?

— Не знаю. Он никогда здесь не бывал. Он очень большой. Очень, очень большой. Она очень милая. Очень, очень милая. Ночью она, должно быть, была немножко...— Она подперла голову рукой и стала раскачиваться взад и вперед.— Скажу вам откровенно, мосье Барнс. Ночью она мне не показалась такой gentille [1]. Ночью я была другого мнения о ней. Но поверьте мне, она очень, очень милая. Она из очень хорошей семьи. Это по всему видно.

[1] Милая *(фр.)*.

— Они ничего не просили передать?

— Просили. Они сказали, что заедут через час.

— Когда они придут, попросите их наверх.

— Хорошо, мосье Барнс. А эта дама, эта дама не кто-нибудь. Немножко взбалмошная, может быть, но не кто-нибудь.

Консьержка, прежде чем стать консьержкой, держала ларек с напитками на парижском ипподроме. Ее трудовая жизнь протекала на кругу, но это не мешало ей изучать публику в ложах, и она с гордостью сообщала мне, кто из моих посетителей хорошо воспитан, кто из хорошей семьи, кто спортсмен,— слово это она произносила в нос и с ударением на последнем слоге. Единственное неудобство заключалось в том, что люди, не относящиеся ни к одной из этих категорий, рисковали никогда не застать меня дома. Один из моих друзей, весьма недокормленного вида художник, который, очевидно, в глазах мадам Дюзинель не был ни хорошо воспитан, ни из хорошей семьи, ни спортсмен, написал мне письмо с просьбой выхлопотать для него пропуск, чтобы он мог пройти мимо моей консьержки, если ему захочется заглянуть ко мне вечерком.

Я поднялся к себе, стараясь угадать, чем Брет пленила мою консьержку. Телеграмма была от Билла Гортона с известием, что он приезжает пароходом «Франция». Я положил почту на стол, пошел в ванную, разделся и принял душ. Когда я вытирался, у входной двери послышался звонок. Я надел халат и туфли и пошел к двери. Это была Брет. За ней стоял граф. В руках он держал большой букет роз.

— Хэлло, милый! — сказала Брет.— Вы не желаете нас принять?

— Пожалуйста. Я только что искупался.

— Вот счастливец — искупался.

— Только душ принял. Садитесь, граф Миппипопуло. Что будем пить?

— Не знаю, сэр, большой ли вы любитель цветов,— сказал граф,— но я взял на себя смелость принести вам эти розы.

— Дайте их мне.— Брет взяла букет.— Налейте сюда воды, Джейк.

Я вышел на кухню, налил воды в большой глиняный кувшин, и Брет сунула в него розы и поставила их на середину обеденного стола.

— Ну и денек выдался!

— Вы не помните, мы как будто условились встретиться в «Крийоне»?

— Нет. Разве мы условились? Значит, я была пьяна до бесчувствия.

— Вы были совсем пьяная, дорогая,— сказал граф.

— Да. Граф был ужасно мил.

— Консьержка теперь в восторге от вас.

— Ну, еще бы. Я дала ей двести франков.

— Какая глупость!

— Не свои, его,— сказала она, кивая на графа.

— Я решил, что нужно дать ей что-нибудь за беспокойство вчера ночью. Было очень поздно.

— Он изумителен,— сказала Брет.— Он всегда помнит все, что было.

— Как и вы, дорогая.

— Фантазируете,— сказала Брет.— И кому это нужно? Послушайте, Джейк, вы дадите нам сегодня выпить?

— Доставайте, а я пока оденусь. Вы ведь знаете, где что найти.

— Как будто знаю.

Пока я одевался, я слышал, как Брет ставит на стол сифон и стаканы, а потом я услышал их голоса. Я одевался медленно, сидя на кровати. Я чувствовал себя усталым, и на душе было скверно. Брет вошла в комнату со стаканом в руке и села на кровать.

— Что с тобой, милый? Не в духе?

Она поцеловала меня в лоб.

— Ах, Брет, я так тебя люблю.

— Милый,— сказала она. Потом: — Хочешь, чтобы я отправила его?

— Нет. Он славный.

— Я пойду отправлю его.

— Нет, не надо.

— Да, да, я отправлю его.

— Нельзя же так вдруг.

— Нельзя, по-твоему? Посиди здесь. Он без ума от меня, поверь мне.

Она вышла из комнаты. Я лег ничком на кровать. Мне было очень тяжело. Я слышал, как они разговаривали, но не прислушивался. Брет вошла и села на кровать.

— Милый мой, бедненький! — Она погладила меня по голове.

— Что ты ему сказала? — Я лежал отвернувшись. Я не хотел видеть ее.

— Послала его за шампанским. Он любит покупать шампанское.— Потом, немного погодя: — Тебе лучше, милый? Легче голове?

— Легче.

— Лежи спокойно. Он поехал на другой конец города.

— Нельзя ли нам жить вместе, Брет? Нельзя ли нам просто жить вместе?

— Не думаю. Я бы изменяла тебе направо и налево. Ты бы этого не вынес.

— Сейчас выношу ведь.

— Это другое дело. В этом я виновата, Джейк. Уж такая я уродилась.

— Нельзя ли нам уехать на время из города?

— Это ни к чему не приведет. Поедем, если хочешь. Но я не смогу спокойно жить за городом. Даже с любимым.

— Знаю.

— Это ужасно. Я думаю, можно не говорить тебе, что я тебя люблю.

— Что я тебя люблю, ты знаешь.

— Давай помолчим. Все слова впустую. Я уезжаю от тебя, да и Майкл возвращается.

— Почему ты уезжаешь?

— Так лучше для тебя. И лучше для меня.

— Когда ты едешь?

— Как можно скорее.

— Куда?

— В Сан-Себастьян.

— Нельзя ли нам поехать вместе?

— Нет. Это было бы уже совсем дико, после того как мы только что все обсудили.

— Мы ни до чего не договорились.

— Ах, ты же знаешь не хуже меня. Не упрямься, милый.

— Ну конечно,— сказал я.— Я знаю,что ты права. Просто я раскис, а когда я раскисаю, я говорю глупости.

Я сел, нагнулся, нашел свои ботинки возле кровати и надел их. Потом встал.

— Не надо так глядеть, милый.

— А как ты хочешь, чтобы я глядел?

— Ах, не ломайся. Я завтра уезжаю.

— Завтра?

— Да. Разве я не говорила? Завтра.

— Тогда пойдем выпьем. Граф сейчас вернется.

— Да, пора бы ему вернуться. Ты знаешь, замечательно, как он покупает шампанское. Для него это страшно важно.

Мы пошли в столовую. Я взял бутылку коньяку и налил Брет и себе. У дверей зазвонил колокольчик. Я пошел отворять — вернулся граф. За его спиной стоял шофер с корзиной шампанского.

— Куда поставить, сэр? — спросил граф.

— На кухню,— ответила Брет.

— Поставьте туда, Анри,— показал рукой граф.— Теперь ступайте вниз и принесите лед.— Пока корзину водворяли на ме-

сто, граф стоял в дверях кухни и смотрел ей вслед.— Надеюсь, вино вам понравится,— сказал он.— Я знаю, что сейчас у нас в Америке редко приходится отведать хорошего вина, и не считаю себя знатоком. Но это я взял у приятеля, который занимается виноделием.

— Где только у вас нет приятелей,— сказала Брет.

— У него свои виноградники. На тысячи акров.

— Как его фамилия? — спросила Брет.— Вдова Клико?

— Нет,— ответил граф.— Мумм. Он барон.

— Это замечательно,— сказала Брет.— Мы все с титулами. Почему у вас, Джейк, нет титула?

— Уверяю вас, сэр,— граф дотронулся до моего рукава,— титул никогда не приносит пользы. Чаще всего это стоит денег.

— Ну, не знаю. Иногда это очень удобно,— сказала Брет.

— Мне это никогда никакой пользы не приносило.

— Вы не умеете им пользоваться. Мне мой титул всегда открывал огромный кредит.

— Садитесь, пожалуйста, граф,— сказал я.— Разрешите взять у вас трость.

Граф через стол, освещенный газовой лампой, смотрел на Брет. Она курила сигарету и стряхивала пепел на ковер. Увидев, что я заметил это, она сказала:

— Послушайте, Джейк, так я могу испортить ваш ковер. Дайте человеку пепельницу.

Я нашел несколько пепельниц и расставил их. Шофер принес ведро со льдом, посыпанным солью.

— Заморозьте две бутылки, Анри! — крикнул граф.

— Больше ничего не прикажете, мосье?

— Нет. Подождите внизу с машиной.— Он повернулся к Брет и ко мне.— Поедем обедать в Булонский лес?

— Как хотите,— сказала Брет.— Я лично есть не хочу.

— А я никогда не откажусь от хорошего обеда,— сказал граф.

— Принести вино, мосье? — спросил шофер.

— Да, Анри, принесите,— сказал граф. Он вынул толстый портсигар из свиной кожи и протянул его мне.— Не угодно ли настоящую американскую сигару?

— Спасибо,— сказал я.— Я докурю свою сигарету.

Он срезал кончик сигары золотой гильотинкой, висевшей на цепочке от часов.

— Я люблю, когда сигара как следует тянется,— сказал граф.— Половина сигар, которые куришь, не тянутся.

Он раскурил сигару и, попыхивая, глядел через стол на Брет.

— А когда вы получите развод, леди Эшли, у вас титула уже не будет.

— Не будет. Какая жалость.

— Нет,— сказал граф.— Вам титул не нужен. В вас и так видна порода.

— Благодарю вас. Вы очень любезны.

— Я не шучу.— Граф выпустил струю дыма.— Я ни в ком еще не видел столько породы, сколько в вас. Это в вас есть. Вот и все.

— Очень мило с вашей стороны,— сказала Брет.— Мама была бы польщена. Может быть, вы это напишете, а я пошлю ей в письме?

— Я бы и ей это сказал,— ответил граф.— Я не шучу. Я никогда не подшучиваю над людьми. Шутить над людьми — значит наживать себе врагов. Я всегда это говорю.

— Вы правы,— сказала Брет.— Вы страшно правы. Я всегда вышучиваю людей, и у меня нет ни одного друга на свете. Кроме вот Джейка.

— Над ним вы не подшучиваете.

— Вот именно.

— А может быть, все-таки,— спросил граф,— и над ним подшучиваете?

Брет взглянула на меня, и в уголках ее глаз собрались морщинки.

— Нет,— сказала она.— Над ним я не стала бы подшучивать.

— Вот видите,— сказал граф,— не подшучиваете.

— Господи, какой скучный разговор,— сказала Брет.— Не попробовать ли шампанского?

Граф наклонился и встряхнул бутылки в блестящем ведре.

— Оно еще недостаточно холодное. Вы все время пьете, дорогая. Почему вы не хотите просто поболтать?

— Я и так наболталась. Я всю себя выболтала Джейку.

— Мне бы хотелось, дорогая, послушать, как вы по-настоящему разговариваете. Когда вы говорите со мной, вы даже не кончаете фраз.

— Предоставляю вам кончать их. Пусть каждый кончает их по своему усмотрению.

— Это очень любопытный способ.—Граф наклонился и встряхнул бутылки.— Все же мне бы хотелось послушать, как вы разговариваете.

— Вот дурень, правда? — сказала Брет.

— Ну, вот,— граф вытащил бутылку из ведра,— теперь, должно быть, холодное.

Я принес полотенце, и он насухо вытер бутылку и поднял ее.

— Я предпочитаю пить шампанское из больших бутылок. Оно лучше, но его трудно заморозить.— Он держал бутылку и смотрел на нее.

Я поставил стаканы.

— Не откупорить ли? — предложила Брет.

— Да, дорогая. Сейчас я откупорю.

Шампанское было изумительное.

— Вот это вино! — Брет подняла свой стакан.— Надо выпить за что-нибудь. «За здоровье его величества».

— Это вино слишком хорошо для тостов, дорогая. Не следует примешивать чувства к такому вину. Вкус теряется.

Стакан Брет был пуст.

— Вы должны написать книгу о винах, граф,— сказал я.

— Мистер Барнс,— ответил граф,— все, что я требую от вин, это — наслаждаться ими.

— Давайте насладимся еще немного.— Брет подставила свой стакан. Граф осторожно наполнил его.

— Пожалуйста, дорогая. Насладитесь этим медленно, а потом можете напиться.

— Что-о? Напиться?

— Дорогая, вы очаровательны, когда напьетесь.

— Вы слышите, что он говорит?

— Мистер Барнс,— граф наполнил мой стакан,— это единственная женщина из всех, кого я знавал на своем веку, которая так же очаровательна пьяная, как и трезвая.

— Вы не много, должно быть, видели на своем веку.

— Ошибаетесь, дорогая. Я очень много видел на своем веку, очень, очень много.

— Пейте и не разговаривайте,— сказала Брет.— Мы все много видели на своем веку. Не сомневаюсь, что Джейк видел ничуть не меньше вашего.

— Дорогая, я уверен, что мистер Барнс очень много видел. Не думайте, сэр, что я этого не думаю. Но я тоже много видел.

— Конечно, видели, милый,— сказала Брет.— Я просто пошутила.

— Я участвовал в семи войнах и четырех революциях,— сказал граф.

— Воевали? — спросила Брет.

— Случалось, дорогая. И был ранен стрелами. Вам приходилось видеть раны от стрел?

— Покажите.

Граф встал, расстегнул жилет и распахнул верхнюю ру-

башку. Он задрал нижнюю до подбородка, открыв черную грудь и могучие брюшные мышцы, вздувавшиеся в свете газовой лампы.

— Видите?

Пониже того места, где кончались ребра, было два белых бугорка.

— Посмотрите сзади, где они вышли.— Повыше поясницы было два таких же шрама, в палец толщиной.

— Ну-ну! Вот это действительно.

— Насквозь.

Граф засовывал рубашку в брюки.

— Где это вас? — спросил я.

— В Абиссинии. Мне был тогда двадцать один год.

— А что вы делали? — спросила Брет.— Вы были в армии?

— Я ездил по делам, дорогая.

— Я же вам говорила, что он свой.— Брет повернулась ко мне.— Я люблю вас, граф. Вы прелесть.

— Я счастлив, дорогая. Но только это неправда.

— Не будьте идиотом.

— Понимаете, мистер Барнс, именно потому, что я очень много пережил, я теперь могу так хорошо всем наслаждаться. Вы не согласны со мной?

— Согласен. Вполне.

— Я знаю,— сказал граф.— В этом весь секрет. Нужно найти истинные ценности.

— А с вашими ценностями никогда ничего не случается? — спросила Брет.

— Нет. Больше не случается.

— Никогда не влюбляетесь?

— Всегда,— сказал граф.— Я всегда влюблен.

— А как это отражается на ваших ценностях?

— Это входит в число моих ценностей.

— Нет у вас никаких ценностей. Вы мертвый — и больше ничего.

— Нет, дорогая. Вы не правы. Я совсем не мертвый.

Мы выпили три бутылки шампанского, и граф оставил корзину у меня на кухне. Мы пообедали в одном из ресторанов Булонского леса. Обед был хороший. Еда занимала почетное место среди ценностей графа. Как и вино. Граф был в ударе во время обеда. Брет тоже. Вечер прошел приятно.

— Куда вы хотите поехать? — спросил граф после обеда. В ресторане уже никого, кроме нас, не было. Оба официанта стояли, прислонившись к двери. Им хотелось домой.

— Можно поехать на Монмартр,— сказала Брет.— Правда, как хорошо мы провели время?

Граф сиял. Он был чрезвычайно доволен.

— Вы — милейшие люди,— сказал он. Он уже опять курил сигару.— Отчего вы не поженитесь?

— Мы хотим жить каждый по-своему,— сказал я.

— Не хотим портить друг другу карьеру,— сказала Брет.— Пойдемте. Выйдем отсюда.

— Выпейте еще коньяку,— сказал граф.

— Там выпьем.

— Нет. Выпьем здесь, здесь тихо.

— Подите вы с вашей тишиной,— сказала Брет.— Что это мужчины вечно ищут тишину?

— Мы любим тишину,— сказал граф,— как вы, дорогая, любите шум.

— Ну, ладно,— сказала Брет.— Выпьем здесь.

— Гарсон! — позвал граф.

— Что прикажете?

— Какой у вас самый старый коньяк?

— Тысяча восемьсот одиннадцатого года, мосье.

— Подайте бутылку.

— Ну-ну. Зафорсил. Верните официанта, Джейк.

— Послушайте, дорогая. Старый коньяк стоит своих денег в гораздо большей степени, чем все остальные мои древности.

— У вас много древностей?

— Полон дом.

В конце концов мы поехали на Монмартр. У Зелли было тесно, дымно и шумно. Музыка резала уши. Мы с Брет танцевали. Было так тесно, что мы еле могли двигаться. Негр-барабанщик помахал Брет. Мы попали в затор и танцевали на одном месте, как раз против него.

— Как поживайт?

— Отлично.

— Это карашо.

Белые зубы так и сверкали.

— Это мой большой друг,— сказала Брет.— Изумительный барабанщик.

Музыка кончилась, и мы пошли к столику, за которым сидел граф. Потом музыка снова заиграла, и мы танцевали. Я посмотрел на графа. Он сидел за столиком и курил сигару. Музыка опять кончилась.

— Пойдем к нему.

Брет пошла было к столику. Но музыка опять заиграла, и мы снова танцевали, стиснутые толпой.

— Ты не умеешь танцевать, Джейк. Лучше всех танцует Майкл.

— Он замечательно танцует.

— У него вообще много достоинств.

— Он мне нравится,— сказал я.— Я ужасно люблю его.

— Я выйду за него замуж,— сказала Брет.— Странно, я целую неделю о нем не думала.

— А разве ты ему не пишешь?

— Нет. Никогда не пишу писем.

— Но он, конечно, пишет?

— О да! И очень хорошие письма.

— Когда вы поженитесь?

— Почем я знаю? Как только развод получу. Майкл уговаривает свою мать, чтобы она раскошелилась.

— Может быть, я могу помочь?

— Брось дурить. У его родни куча денег.

Музыка кончилась. Мы подошли к столику. Граф встал.

— Очень мило,— сказал он.— На вас было очень, очень приятно смотреть.

— А вы не танцуете, граф? — спросил я.

— Нет. Я слишком стар.

— Да бросьте,— сказала Брет.

— Дорогая, я танцевал бы, если бы это доставляло мне удовольствие. Мне доставляет удовольствие смотреть, как вы танцуете.

— Отлично,— сказала Брет.— Я еще как-нибудь потанцую для вас. Да, а где же ваш дружок Зизи?

— Вот что я вам скажу. Я помогаю ему, но я предпочитаю его не видеть.

— С ним трудно.

— Знаете, мне кажется, что из него выйдет художник. Но я лично предпочитаю не видеть его.

— Джейк тоже.

— У меня от него мурашки по спине бегают.

— Да.— Граф пожал плечами.— Нельзя знать, что из него выйдет. Но его отец был большим другом моего отца.

— Идем танцевать,— сказала Брет.

Мы танцевали. Была толкотня и давка.

— Ох, милый! — сказала Брет.— Я такая несчастная.

Я очень ясно почувствовал,— как это иногда бывает,— что все это уже происходило когда-то.

— Минуту назад ты была довольна и счастлива.

Барабанщик громко запел:

— «Напрасно дважды...»

— Все это ухнуло.

— А что случилось?

— Не знаю. Мне просто скверно.

«. . . . . .»,— пропел барабанщик. Потом снова взялся за свои палочки.

— Хочешь уйти?

У меня было такое чувство, какое бывает во время кошмара — как будто все повторяется, как будто я все это уже раз проделал и теперь должен проделать снова.

«. . . . . .»,— негромко тянул барабанщик.

— Уйдем,— сказала Брет.— Ты как?

«. . . . . .»,— громко крикнул барабанщик и ухмыльнулся Брет.

— Хорошо,— сказал я. Мы вышли из толпы.

Брет пошла в гардеробную.

— Брет хочет уйти,— сказал я графу.

Он кивнул.

— Вот как? Отлично. Возьмите машину. Я еще посижу немного, мистер Барнс.

Мы пожали друг другу руки.

— Я чудесно провел вечер,— сказал я.— Прошу вас, позвольте мне...— Я вынул бумажник.

— Бросьте, мистер Барнс,— сказал граф.

Брет, уже в манто, подошла к столику. Она поцеловала графа и положила ему руку на плечо, чтобы он не вставал. Когда мы выходили, я оглянулся в дверях, и за его столиком уже сидели три девицы. Мы сели в просторную машину. Брет сказала шоферу адрес своего отеля.

— Нет, не подымайся,— сказала она у подъезда. Она позвонила, и двери открыли.

— Серьезно?

— Да. Пожалуйста.

— Спокойной ночи, Брет,— сказал я.— Мне очень грустно, что ты чувствуешь себя несчастной.

— Спокойной ночи, Джейк. Спокойной ночи, милый. Мы больше не увидимся.— Мы поцеловались, стоя перед дверью. Она оттолкнула меня. Мы снова поцеловались.— Не надо! — сказала Брет.

Она быстро повернулась и вошла в отель. Шофер отвез меня домой. Я дал ему двадцать франков, он поднес руку к козырьку, сказал: «Спокойной ночи, мосье»,— и уехал. Я позвонил. Дверь открылась, я поднялся к себе и лег в постель.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я увиделся с Брет только после ее возвращения из Сан-Себастьяна. Оттуда я получил от нее открытку с видом бухты Конча. Она писала: «Милый! Здесь хорошо и спокойно! Привет всем. Брет».

И Роберта Кона я не видел. Я слышал, что Фрэнсис уехала в Англию, а от Кона я получил записку, в которой он сообщал, что уезжает из города на несколько недель, еще сам не знает куда, но что он непременно хочет отправиться со мной в Испанию на рыбную ловлю, как мы сговаривались прошлой зимой. Адрес, писал он, я всегда могу узнать у его банкира.

Брет не было, Кон не докучал мне своими горестями, я даже радовался, что не нужно играть в теннис, работы было очень много. Я часто бывал на скачках, обедал с друзьями и поздно засиживался в редакции, делая загон материала, чтобы в конце июня, когда мы с Биллом Гортоном поедем в Испанию, можно было все оставить на секретаря. Билл Гортон приехал, пожил у меня несколько дней и отправился в Вену. Он был очень весел и говорил, что в Штатах чудесно. В Нью-Йорке чудесно. Театральный сезон прошел с блеском, и появился целый выводок молодых светил среди боксеров полутяжелого веса. От каждого из них можно было ожидать, что он разовьется, наберет веса и побьет самого Демпси. Билл просто сиял. Он заработал уйму денег своей последней книгой и собирался заработать еще больше. Мы хорошо провели с ним время в Париже, а потом он отправился в Вену. Он хотел вернуться через три недели, и тогда мы должны были поехать в Испанию ловить рыбу, а потом в Памплону, на фиесту [1]. Он писал, что в Вене чудесно. Потом — открытка из Будапешта: «Джейк, в Будапеште чудесно». Потом пришла телеграмма: «Приеду понедельник».

В понедельник вечером он явился. Я услыхал, как остановилось его такси, подошел к окну и окликнул его; он помахал мне и стал подниматься по лестнице со своими чемоданами. Я вышел к нему на лестницу и взял один из чемоданов.

— Ну,— сказал я,— ты, кажется, чудесно покатался?

— Чудесно,— сказал он.— Будапешт совершенно изумительный город.

---

[1] Фиеста — празднество *(исп.)*.

— А Вена?

— Совсем не то, Джейк. Совсем не то. Она оказалась хуже, чем я думал.

— А что такое? — Я доставал стаканы и сифон.

— Пьян был, Джейк. Я был пьян.

— Вот странно! На, выпей.

Билл потирал лоб.

— Удивительное дело,— сказал он.— Не знаю, как это случилось. Вдруг, ни с того ни с сего, случилось.

— И долго?

— Четыре дня, Джейк. Ровно четыре дня.

— Где же ты был?

— Не помню. Послал тебе открытку. Это помню отлично.

— А еще что-нибудь делал?

— Не уверен. Возможно.

— Ну, дальше. Рассказывай.

— Не могу вспомнить. Я все рассказал, что помню.

— Ну, ну, дальше. Выпей вот это и вспомни.

— Может быть, кое-что и вспомню,— сказал Билл.— Припоминаю состязание боксеров. Грандиозное состязание на Венский приз. Участвовал негр. Негра помню отлично.

— Ну, дальше.

— Изумительный негр. Похож на Тигра Флауэрса, но толще раза в четыре. Вдруг все стали швыряться. Кроме меня. Негр только что свалил с ног венца. Негр поднял руку в перчатке. Хотел сказать речь. Страшно благородно выглядел негр. Начал говорить. Тогда белый венец ударил его. Тогда он нокаутировал белого венца. Тогда все стали швыряться стульями. Негр поехал домой в нашей машине. Не успел взять свое платье. Надел мое пальто. Теперь все вспомнил. Большой спортивный вечер.

— А чем кончилось?

— Одолжил негру кое-что из одежды и поехал с ним добывать его деньги. Нам заявили, что негр еще им должен за повреждение зала. Кто же переводил? Я, что ли?

— Вероятно, не ты.

— Правильно. Совсем не я. Кто-то другой. Мы еще звали его профессором, кажется. Теперь вспомнил его. Учится музыке.

— Ну и что из этого вышло?

— Ничего хорошего, Джейк. Нет на свете справедливости. Импресарио заявил, что негр обещал сдаться местному чемпиону. Что негр нарушил контракт. Нельзя нокаутировать венского чемпиона в Вене. «Боже мой, мистер Гортон,— сказал негр.— Целых сорок минут я только и делал, что старался ему сдаться.

Этот белый мальчик, должно быть, надорвался, замахиваясь на меня. Я и пальцем его не тронул».

— Деньги получили?

— Никаких денег, Джейк. Все, что мы выручили, это одежду негра. Часы его тоже пропали. Замечательный негр. Не нужно мне было ездить в Вену. Неважный город, Джейк. Неважный.

— А негр что?

— Уехал обратно, в Кельн. Живет там. Женат. Дети есть. Обещал написать мне и вернуть деньги, которые я одолжил ему. Изумительный негр. Надеюсь, я не перепутал адрес.

— Будем надеяться.

— Ну, ладно, пойдем обедать,— сказал Билл.— Или, может быть, ты хочешь еще путевых очерков?

— Валяй.

— Пойдем обедать.

Мы спустились вниз и вышли на Бульвар Сен-Мишель. Был теплый июньский вечер.

— Куда пойдем?

— Пообедаем на острове?

— Давай.

Мы пошли вниз по Бульвару. На перекрестке улицы Ден-Фер-Рошеро и Бульвара стоит статуя двух мужчин в развевающихся одеждах.

— Я знаю, кто это.— Билл остановился, разглядывая памятник.— Эти господа выдумали фармакологию. Не втирай мне очки. Я знаю цену твоему Парижу.

Мы пошли дальше.

— Вот набивка чучел,— сказал Билл.— Хочешь купить что-нибудь? Чучело собачки?

— Пойдем,— сказал я.— Ты хлебнул лишнего.

— Очень хорошенькие собачки,— сказал Билл.— Они очень украсят твою квартиру.

— Пойдем.

— Только одну собачку. В сущности, мне, конечно, наплевать. Но послушай, Джейк,— только одну-единственную собачку.

— Пойдем.

— Когда ты купишь ее, ты в ней души не будешь чаять. Простой обмен ценностями. Ты даешь деньги. Тебе дают чучело собачки.

— Купим на обратном пути.

— Ладно. Пусть будет по-твоему. Дорога в ад вымощена некупленными чучелами собак. Не моя вина.

Мы пошли дальше.

— Что тебе вдруг полюбились собаки?

— Всегда любил собак. Всегда был большим любителем чучел.

Мы остановились у киоска и выпили.

— Несомненно, люблю выпить,— сказал Билл.— Не мешало бы и тебе, Джейк, попробовать.

— Ты на сто сорок четыре очка впереди меня.

— Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях.

— Где ты успел выпить?

— Заезжал в «Крийон». Жорж смешал мне несколько коктейлей. Жорж — великий человек. Знаешь, в чем секрет его успеха? Никогда не падает духом.

— Если ты выпьешь еще три рюмки перно, ты упадешь духом.

— На людях не упаду. Как только я почувствую, что падаю духом, я уйду. Я как кошка.

— Где ты видел Харви Стоуна?

— В «Крийоне». Харви слегка упал духом. Три дня ничего не ел. Вообще прекратил есть. Уходит, как кошка. Довольно грустно.

— Он ничего.

— Чудесный. Все-таки лучше бы он не уходил, как кошка. Неприятно.

— Что будем делать вечером?

— Не играет роли. Лишь бы не падать духом. А вдруг тут есть крутые яйца? Если тут есть крутые яйца, мы можем не тащиться на остров.

— Не выдумывай,— сказал я.— Мы пойдем и пообедаем честь честью.

— Я только предлагаю,— сказал Билл.— Хочешь идти?

— Идем.

Мы пошли дальше по Бульвару. Нас обогнал фиакр. Билл посмотрел ему вслед.

— Видишь этот фиакр? Я закажу из него чучело и подарю тебе к рождеству. Всем своим друзьям подарю по чучелу. Я натуралист.

Нас обогнало такси; кто-то, сидящий в нем, помахал рукой, потом постучал шоферу, чтобы тот остановился. Шофер осадил к тротуару. В такси сидела Брет.

— Прекрасная незнакомка,— сказал Билл,— собирается похитить нас.

— Хэлло! — сказала Брет.— Хэлло!

— Познакомьтесь: Билл Гортон, леди Эшли.

Брет улыбнулась Биллу.

— Я только что приехала. Даже ванны не успела принять. Майкл приезжает сегодня вечером.

— Отлично. Пообедайте с нами, и мы все пойдем встречать его.

— Мне нужно помыться.

— Ну, ерунда! Пойдемте.

— Мне нужно принять ванну. Он приедет не раньше девяти.

— Тогда пойдем выпьем, а потом примете ванну.

— Это можно. Очень разумная мысль.

Мы сели в такси. Шофер оглянулся.

— Подъезжайте к ближайшему бистро,— сказал я.

— Уж лучше поедем в «Клозери»,— сказала Брет.— Не могу пить их противный коньяк.

— «Клозери-де-Лила».

Брет повернулась к Биллу.

— Вы давно в этом чумном городе?

— Только сегодня приехал из Будапешта.

— А как было в Будапеште?

— Чудесно. В Будапеште было чудесно.

— Спросите его про Вену.

— Вена,— сказал Билл,— очень странный город.

— Очень похож на Париж.— Брет улыбнулась ему, и в уголках ее глаз собрались морщинки.

— Правильно,— сказал Билл.— Очень похож на Париж в данную минуту.

— Да, нелегко будет вас догнать.

Мы уселись на террасе кафе «Клозери». Брет заказала виски с содовой, я себе тоже, а Билл взял еще рюмку перно.

— Как живете, Джейк?

— Отлично,— сказал я.— Я прекрасно провел время.

Брет посмотрела на меня.

— Я сделала глупость, что уехала,— сказала она.— Идиотство уезжать из Парижа.

— Хорошо провели время?

— Ничего. Интересно было. Но не слишком весело.

— Кого-нибудь видели?

— Нет, почти что никого. Я совсем не выходила.

— Разве вы не купались?

— Нет. Ничего не делала.

— Похоже на Вену,— сказал Билл.

Брет посмотрела на него, морща уголки глаз.

— Ах, вот как было в Вене.

— В Вене было по-всякому.

Брет снова улыбнулась ему.

— Ваш друг очень мил, Джейк.

— Он ничего,— сказал я.— Он занимается набивкой чучел.

— Это было в чужой стране,— сказал Билл.— А кроме того, все животные были покойники.

— Еще глоточек,— сказала Брет,— и я побежала. Пошлите, пожалуйста, за такси.

— Да вот они стоят. Как раз напротив.

— Ладно.

Мы выпили по последней и посадили Брет в такси.

— Не забудьте, в «Селекте» к десяти часам. Пусть он тоже приходит. И Майкл будет.

— Мы придем,— сказал Билл.

Машина тронулась, и Брет помахала нам рукой.

— Вот это женщина,— сказал Билл.— Ужасно мила. Кто такой Майкл?

— Тот, за кого она собирается замуж.

— Ну-ну,— сказал Билл.— Судьба мне знакомиться с людьми именно в этой стадии. Что им послать? Может быть, чучела скаковых лошадей?

— Давай пообедаем.

— Она правда с титулом? — осведомился Билл, когда машина везла нас на остров Сен-Луи.

— О да! Записана в родословной книге и все такое.

— Ну-ну.

Мы пообедали в ресторане мадам Леконт на дальнем конце острова. Там было полно американцев, и нам пришлось стоять и дожидаться места. Кто-то включил ресторан Леконт в список, находящийся в Американском женском клубе, охарактеризовав его как оригинальный уголок на парижской набережной, еще не тронутый американцами, и поэтому мы три четверти часа дожидались столика. Билл обедал здесь в 1918 году, сейчас же после объявления перемирия, и мадам Леконт встретила его с распростертыми объятиями.

— Столика мы все-таки этим не заработали,— сказал Билл.— Но великолепная женщина.

Обед был хороший: жареная курица с зеленым горошком и картофельным пюре, салат, яблочный пирог и сыр.

— У вас просто не протолкнешься,— сказал Билл мадам Леконт.

Она подняла руку.

— И не говорите!

— Разбогатеете.

— Надеюсь.

Выпив кофе и по рюмочке коньяку, мы попросили счет, который, как всегда, был написан мелом на грифельной доске,

что, несомненно, составляло одну из «оригинальных» черт ресторана, заплатили, пожали мадам Леконт руку и направились к двери.

— Вас совсем больше не видно, мосье Барнс,— сказала мадам Леконт.

— Слишком много соотечественников.

— Приходите к завтраку. Тогда не так полно.

— Хорошо. Непременно приду.

Мы шли под деревьями, окаймлявшими реку в том конце острова, который обращен к Орлеанской набережной. За рекой виднелись полуразрушенные стены старых домов.

— Их сносят. Там проложат улицу.

— Видимо, так,— сказал Билл.

Мы обошли кругом весь остров. По темной реке, сияя огнями, быстро и бесшумно скользнул паровичок и исчез под мостом. Ниже по течению собор Богоматери громоздился на вечернем небе. С Бетюнской набережной мы перешли на левый берег по деревянному мосту; мы постояли на мосту, глядя вниз по реке на собор. Отсюда остров казался очень темным, деревья — тенями, дома тянулись в небо.

— Красиво все-таки,— сказал Билл.— До чего я рад, что вернулся.

Мы облокотились на деревянные перила моста и смотрели вверх по реке на огни больших мостов. Вода была гладкая и черная. Она не плескалась о быки моста. Мимо нас прошел мужчина с девушкой. Они шли обнявшись.

Мы перешли мост и поднялись по улице Кардинала Лемуана. Подъем был крутой, и мы шли пешком до самой площади Контрэскарп. Свет дугового фонаря падал сквозь листья деревьев, а под деревьями стоял готовый к отправлению автобус. Из открытых дверей кафе «Веселый негр» доносилась музыка. В окно кафе «Для любителей» я увидел длинную, обитую цинком стойку. Снаружи, на террасе, сидели рабочие за вином. В открытой кухне кафе «Для любителей» служанка жарила картофель на постном масле. Тут же стоял чугунок с тушеным мясом. Служанка накладывала мясо на тарелку для старика, который стоял возле нее с бутылкой красного вина в руке.

— Хочешь выпить?

— Нет,— сказал Билл.— С меня хватит.

Мы свернули вправо с площади Контрэскарп и пошли ровными, узкими улочками, между высокими старинными домами. Одни дома выдвигались вперед, другие отступали назад. Мы вышли на улицу По-де-Фер и шли по ней до улицы Сен-Жак, потом свернули к югу, вдоль чугунной ограды обогнули больницу Валь-де-Грас и вышли на Бульвар Дю-Пор-Рояль.

— Теперь куда? — спросил я.— Зайдем в «Селект» и посидим с Брет и Майклом?

— Ну что ж.

Мы пошли по Бульвару Дю-Пор-Рояль, пока он не перешел в Бульвар Монпарнас, и дальше, мимо «Клозери-де-Лила», ресторана Лавиня, Дамуа и всех маленьких кафе, пересекли улицу против «Ротонды» и мимо его огней и столиков дошли до кафе «Селект».

Майкл вышел к нам навстречу из-за столиков. Он сильно загорел, и вид у него был цветущий.

— Хэлло, Джейк,— сказал он.— Хэлло! Хэлло! Как живете, дружище?

— Вы прекрасно поправились, Майкл.

— О да! Я страшно поправился. Я ничего не делал, только гулял. Гулял с утра до вечера. И только одну рюмочку с матерью за чаем.

Билл прошел в бар. Он разговаривал с Брет, которая сидела на высоком табурете, положив ногу на ногу. Она была без чулок.

— Рад видеть вас, Джейк,— сказал Майкл.— Я слегка пьян, знаете ли. Такой странный случай. Посмотрите на мой нос.

У него было пятно запекшейся крови на переносице.

— Это от чемоданов одной старушки,— сказал Майкл.— Я хотел достать их, чтобы помочь ей, а они посыпались на меня.

Брет поманила его из бара своим длинным мундштуком, морща уголки глаз.

— Старушка,— сказал Майкл.— Ее чемоданы так и посыпались на меня. Пойдемте к Брет. Она такая прелесть. Ты — очаровательная женщина, Брет. Откуда у тебя эта шляпа?

— Приятель подарил. Тебе не нравится?

— Ужасная шляпа. Купи себе хорошую шляпу.

— Ну конечно, мы теперь такие богатые,— сказала Брет.— Кстати, ты знаком с Биллом? Вы страшно внимательны, Джейк.— Она повернулась к Майклу.— Это — Билл Гортон. Этот пьяница — Майкл Кэмбелл. Мистер Кэмбелл — злостный банкрот.

— Ну да. Знаете, вчера в Лондоне я встретил своего бывшего компаньона. Того, кто подкузьмил меня.

— Что он сказал?

— Угостил меня стаканчиком. Я решил, что не стоит отказываться. Знаешь, Брет, ты такая прелесть! Правда, она красавица?

— Уж и красавица. С таким-то носом!

— Очаровательный нос. Повернись ко мне носом. Ну, разве она не очаровательна?

— Неужели нельзя было устроить, чтобы он остался в Шотландии?

— Послушай, Брет, пойдем пораньше домой.

— Веди себя прилично, Майкл. Здесь дамы сидят.

— Правда, она очаровательна? Как по-вашему, Джейк?

— Сегодня вечером бокс,— сказал Билл.— Хотите пойти?

— Бокс,— повторил Майкл.— Кто против кого?

— Леду и еще кто-то.

— Леду очень хорош,— сказал Майкл.— Мне хотелось бы посмотреть,— он старался взять себя в руки,— но я не могу пойти. У меня свидание, вот с ней. Послушай, Брет, купи себе новую шляпу.

Брет нахлобучила фетровую шляпу на один глаз и улыбнулась из-под широких полей.

— Вы оба ступайте на бокс. Мне придется отвезти мистера Кэмбелла прямо домой.

— Я не пьян,— сказал Майкл.— Может быть, чуть-чуть. Послушай, Брет, ты очаровательна.

— Ступайте,— сказала Брет.— Мистер Кэмбелл начинает заговариваться. Что это за взрывы нежности, Майкл?

— Послушай, ты очаровательна.

Мы попрощались.

— Мне очень жаль, что я не могу пойти с вами,— сказал Майкл. Брет засмеялась. В дверях я оглянулся. Майкл оперся рукой о стойку и, наклонившись к Брет, что-то говорил ей. Брет смотрела на него спокойно, но уголки ее глаз улыбались.

Выйдя на улицу, я спросил:

— Ну что? Пошли на бокс?

— Пошли,— сказал Билл.— Только не пешком.

— Майкл совсем ошалел от своей возлюбленной,— сказал я в такси.

— Ну,— сказал Билл,— за это его и осуждать не приходится.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Встреча боксеров Леду и Фрэнсиса состоялась 20 июня. Встреча была интересной. На другое утро я получил письмо от Роберта Кона, из Андайи. Он живет очень тихо, писал он, купается, иногда играет в гольф и очень много в бридж. В Андайи великолепный пляж, но он ждет не дождется, когда поедет с нами ловить рыбу. Скоро ли я приеду? Если я буду так добр и куплю ему двойную лесу, он вернет мне деньги, когда я приеду.

В то же утро, сидя в редакции, я написал Кону, что мы с Биллом выезжаем из Парижа двадцать пятого,— в противном случае я буду телеграфировать,— и встретимся с ним в Байонне, а оттуда автобусом поедем через горы в Памплону. В тот же вечер около семи часов я заглянул в кафе «Селект» — повидаться с Майклом и Брет. Их там не было, и я пошел в кафе «Динго». Они сидели в баре за стойкой.

— Хэлло, милый.— Брет протянула мне руку.

— Хэлло, Джейк,— сказал Майкл.— Я, кажется, был навеселе вчера вечером?

— Мягко выражаясь,— сказала Брет.— Просто безобразие.

— Послушайте,— сказал Майкл,— когда вы едете в Испанию? Вы ничего не имеете против, если мы поедем с вами?

— Это будет замечательно.

— Вы серьезно ничего не имеете против? Я, знаете, бывал в Памплоне. Брет ужасно хочется поехать. Но мы наверно не будем вам обузой?

— Не говорите глупостей.

— Я слегка пьян, знаете ли. А то бы я не решился так прямо спросить вас. Вы наверно ничего не имеете против?

— Замолчи, Майкл,— сказала Брет.— Что ж ты хочешь, чтобы он тебе ответил? Я его после сама спрошу.

— Но вы ничего не имеете против?

— Если вы еще раз спросите, я рассержусь. Мы с Биллом едем двадцать пятого утром.

— Кстати, где Билл? — спросила Брет.

— Он в Шантильи, приглашен к кому-то на обед.

— Он славный.

— Чудесный,— сказал Майкл.— Именно чудесный.

— Ты же не помнишь его,— сказала Брет.

— Помню. Отлично помню его. Вот что, Джейк, мы приедем двадцать пятого вечером. Брет не может рано встать.

— Ну конечно!

— Если пришлют деньги и если вы наверно ничего не имеете против.

— Деньги пришлют. Я позабочусь об этом.

— Скажите, что нужно выписать.

— Два или три удилища с катушками, лесы и мух.

— Я не буду рыбу удить,— сказала Брет.

— Тогда два спиннинга. И Биллу не придется покупать.

— Хорошо,— сказал Майкл.— Я пошлю телеграмму нашему сторожу.

— Вот будет чудесно! — сказала Брет.— Испания! Повеселимся на славу.

— Двадцать пятого — когда это?

— В субботу.

— Придется поспешить со сборами.

— Ну вот что,— сказал Майкл,— я иду к парикмахеру.

— А мне нужно ванну принять,— сказала Брет.— Проводите меня до отеля, Джейк, будьте другом.

— Мы живем в замечательном отеле,— сказал Майкл.— По-моему, это бордель.

— Мы оставили свои вещи здесь, в кафе, когда приехали, и в отеле нас спросили, на сколько часов нам нужна комната. Страшно обрадовались, что мы остаемся на ночь.

— Уверен, что это бордель,— сказал Майкл.— Уж мне ли не знать.

— Ох, замолчи и ступай подстригись.

Майкл ушел. Брет и я остались сидеть за стойкой.

— Выпьем еще?

— Пожалуй.

— Теперь легче стало,— сказала Брет.

Мы пошли по улице Деламбр.

— Мы еще не виделись с тобой после моего приезда,— сказала Брет.

— Нет.

— Как живешь, Джейк?

— Отлично.

Брет взглянула на меня.

— Послушай,— сказала она.— Роберт Коп тоже едет с вами?

— Да. А что?

— Ты не думаешь, что ему будет тяжело?

— А почему?

— Как ты думаешь, с кем я ездила в Сан-Себастьян?

— Поздравляю,— сказал я.

Мы пошли дальше.

— Зачем ты это сказал?

— Не знаю. А что ты хочешь, чтобы я сказал?

Мы пошли дальше и свернули за угол.

— Он неплохо вел себя. Только с ним скучно.

— Вот как?

— Я думала, это пойдет ему на пользу.

— Советую тебе серьезно заняться благотворительностью.

— Не говори гадостей.

— Не буду.

— Ты правда не знал?

— Нет,— сказал я.— Вероятно, я не думал об этом.

— Как по-твоему, ему не будет слишком тяжело?

— Это его дело,— сказал я.— Напиши ему, что ты едешь. Он же всегда может не поехать.

— Я напишу ему, чтобы он мог отказаться заранее.

После этого я не видел Брет до вечера 24 июня.

— От Кона было что-нибудь?

— Да. Он в восторге.

— О, господи!

— Я сама удивилась. Пишет, что ждет не дождется свидания со мной.

— Может быть, он думает, что ты едешь одна?

— Нет. Я написала ему, что мы едем все вместе. И Майкл и все.

— Он бесподобен.

— Правда?

Они рассчитывали, что деньги придут на следующий день. Мы условились встретиться в Памплоне: они едут прямо на Сан-Себастьян, а там пересаживаются. Мы все встретимся в Памплоне, в отеле Монтойи. Если они не приедут до понедельника, то мы едем без них в горы, в Бургете, ловить рыбу. В Бургете ходит автобус. Я записал им подробный маршрут, чтобы они могли найти нас.

Мы с Биллом уехали утренним поездом с вокзала Орсэ. Был чудесный день, не слишком жаркий, и местность с самого начала была красивая. Мы пошли в вагон-ресторан и позавтракали. Уходя, я спросил у проводника билетики на обед в первую очередь.

— Все занято до пятой очереди.

— Что такое?

В этом поезде никогда не подавали обед больше чем в две очереди, и всегда было сколько угодно свободных мест.

— Все расписано,— сказал проводник вагона-ресторана.— Пятая очередь будет в три тридцать.

— Плохо дело,— сказал я Биллу.

— Дай ему десять франков.

— Возьмите,— сказал я.— Мы хотим пообедать в первую очередь.

Проводник сунул десять франков в карман.

— Спасибо,— сказал он.— Я бы посоветовал вам запастись сандвичами. Все места на первые четыре очереди заказаны через управление дороги.

— Вы далеко пойдете, приятель,— сказал ему Билл по-английски.— Очевидно, дай я вам пять франков, вы посоветовали бы нам спрыгнуть с поезда.

— Comment? [1]

---

[1] Что? *(фр.)*

— Подите к черту! — сказал Билл.— Велите подать сандвичи и бутылку вина. Скажи ему, Джейк.

— И пришлите в соседний вагон.— Я объяснил ему, где мы сидим.

В нашем купе сидели муж с женой и подросток-сын.

— Вы, кажется, американцы? — спросил муж.— Приятное путешествие?

— Чудесное,— сказал Билл.

— Хорошо делаете. Путешествуйте, пока молоды. Вот мы с мамашей давно собирались в Европу, но пришлось немного подождать.

— Мы могли поехать десять лет назад, если бы ты хотел,— сказала жена.— Но ты всегда говорил: сперва посмотрим Америку! Что ни говори, а видели мы немало.

— В нашем поезде полно американцев,— сказал муж.— Целых семь вагонов. Все из Дейтона, штат Огайо. Это паломники. Они побывали в Риме, а теперь едут в Биарриц и Лурд.

— Ах, вот оно что! Паломники. Святоши сопливые,— сказал Билл.

— Из каких вы краев?

— Я из Канзас-Сити,— сказал я.— А он из Чикаго.

— Оба едете в Биарриц?

— Нет. Мы едем в Испанию ловить рыбу.

— Я сам этим никогда не занимался. Но у нас многие увлекаются. В нашем штате Монтана лучшие места для рыбной ловли. Я тоже рыбачил с приятелями, но никогда не увлекался.

— Страх как много ты рыбачил, когда ездил с приятелями,— сказала жена.

Он подмигнул нам.

— Женщины все одинаковы. Как только почуют флягу с вином или кружку пива, то уж ты, значит, пропащий человек.

— Мужчины всегда так,— сказала жена, обращаясь к нам. Она погладила свои полные колени.— Я голосовала против сухого закона, чтобы сделать ему удовольствие и потому что я люблю, чтобы в доме было пиво, а теперь он вот что говорит. Удивительно, чего ради мы за них замуж выходим.

— А вы знаете,— сказал Билл,— что эта орава отцов пилигримов захватила вагон-ресторан до половины четвертого?

— Что вы говорите? Этого быть не может!

— Пойдите попробуйте достать место.

— Тогда, мамаша, не пойти ли нам еще раз позавтракать?

Она встала и оправила платье.

— Посмотрите, пожалуйста, за нашими вещами. Идем, Хьюберт.

Они втроем отправились в ресторан. Немного спустя по вагону прошел проводник, объявляя о первой обеденной очереди, и паломники под предводительством своих патеров потянулись по коридору. Наш сосед с семейством не возвращался. По коридору прошел официант с нашими сандвичами и бутылкой шабли, и мы позвали его.

— Достанется вам сегодня,— сказал я.

Он кивнул.

— Сейчас начинают, в десять тридцать.

— А когда мы есть будем?

— А я когда есть буду?

Он поставил бутылку и два стакана, мы заплатили за сандвичи и дали ему на чай.

— Я приду за тарелками,— сказал он,— или захватите их с собой.

Мы ели сандвичи, пили шабли и любовались видом из окна. Хлеба только что начали колоситься, и поля пестрели цветами мака. Пастбища были зеленые, мелькали живописные рощи, а иногда большие реки и вдали, среди деревьев,— замки.

В Туре мы вышли и купили еще бутылку вина, и когда мы вернулись, джентльмен из Монтаны с женой и сыном Хьюбертом уже удобно расположились в купе.

— А в Биаррице хорошее купанье? — спросил Хьюберт.

— Мальчишка с ума сходит, пока не дорвется до воды,— сказала его мать.— В этом возрасте трудно сидеть смирно в поезде.

— Там хорошее купанье,— сказал я.— Но опасно в бурную погоду.

— Вы пообедали? — спросил Билл.

— Да, пообедали. Мы просто остались сидеть за столом, когда они пришли, и там, наверное, подумали, что мы с ними. Официант сказал нам что-то по-французски, а потом троих отправили обратно.

— Они, конечно, приняли нас за паломников,— сказал муж.— Все-таки большая сила католическая церковь. Жаль, что вы, молодые люди, не католики. Тогда бы вы вовремя пообедали.

— Я католик,— сказал я.— Вот это-то и обидно.

Наконец в четверть пятого нам подали обед. Билл уже начал выходить из себя. Он взял за пуговицу патера, который возвращался в свое купе во главе партии паломников.

— Скажите, отец, а протестантам есть полагается?

— Я ничего не знаю. Разве у вас нет билетиков?

— Этак, пожалуй, и к Клану примкнешь,— сказал Билл.

Патер оглянулся на него.

В вагоне-ресторане официанты в пятый раз подавали обед.

Официант, прислуживавший нам, пропотел насквозь. Его белая куртка под мышками была лиловая.

— Он, наверно, много вина пьет.

— Или носит лиловое белье.

— Давай спросим его.

— Не надо. Он слишком устал.

В Бордо поезд стоял полчаса, и мы вышли через вокзал на улицу. Для поездки в город было слишком мало времени. Потом мы ехали по Ландам и любовались закатом. Между соснами виднелись широкие выжженные просеки, уходившие вдаль, точно улицы, а в конце их высились лесистые холмы. В половине восьмого мы пошли ужинать и любовались видом из открытого окна вагона-ресторана. Вся местность — песок и сосна, и повсюду заросли вереска. Попадались поляны с домиками, а время от времени показывалась лесопилка. Стемнело, и за окном чувствовались жаркие темные пески, а к девяти часам мы приехали в Байонну. Муж, жена и Хьюберт попрощались с нами за руку. Они ехали дальше, до Ла-Негресс, где была пересадка на Биарриц.

— Желаю вам всего лучшего,— сказал муж.

— Будьте поосторожнее на бое быков.

— Может быть, увидимся в Биаррице,— сказал Хьюберт.

Мы сошли с поезда, неся чемоданы и чехлы с удочками, и через темный вокзал вышли на освещенную площадь, где стояли фиакры и автобусы отелей. Там, среди шоферов и агентов, дожидался Роберт Кон. Он не сразу увидел нас. Потом пошел нам навстречу.

— Хэлло, Джейк! Как доехали?

— Отлично,— сказал я.— Это Билл Гортон.

— Здравствуйте.

— Идемте,— сказал Роберт.— У меня фиакр.— Он был немного близорук, я раньше никогда не замечал этого. Он пристально и с видимым смущением вглядывался в незнакомое лицо Билла.

— Мы поедем в мой отель. Там хорошо. Вполне приемлемо.

Мы сели в фиакр, кучер пристроил чемоданы на козлы, потом взобрался сам, щелкнул кнутом, и мы через темный мост поехали в город.

— Я очень рад познакомиться с вами,— сказал Роберт Биллу.— Я столько слышал о вас от Джейка, и я читал ваши книги. Вы привезли мне леску, Джейк?

Фиакр остановился перед отелем, и мы все вылезли и вошли. Отель был хороший, и люди за конторкой очень приветливы, и мы с Биллом получили по уютной маленькой комнате.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Утро было ясное, улицы поливали водой, и мы втроем позавтракали в кафе. Байонна красивый город. Он похож на очень чистый испанский город и лежит на большой реке. Уже сейчас, так рано утром, на мосту через реку было очень жарко. Мы прошли через мост, а потом погуляли по городу.

Я отнюдь не был уверен, что удочки Майкла вовремя придут из Шотландии, поэтому мы стали искать магазин рыболовных принадлежностей и в конце концов купили Биллу удочку где-то во втором этаже над галантерейной лавкой. Хозяин отлучился, и нам пришлось дожидаться его. Наконец он пришел, и мы купили недорогую, весьма приличную удочку и два сачка.

Выйдя из магазина, мы пошли посмотреть на собор. Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то,— не помню чего. Мне собор показался красивым, красивым и неярким, как испанские церкви. Потом мы пошли дальше, мимо старой крепости, и дошли до здания конторы, откуда должен был отправляться автобус. Там нам сказали, что автобусное движение откроется не раньше 1 июля. В туристском бюро мы узнали, сколько надо заплатить за автомобиль до Памплоны, и в большом гараже возле Городского театра наняли машину за четыреста франков. Она должна была заехать за нами в отель через сорок минут, и мы зашли в то же кафе на площади и выпили пива. Становилось жарко, но в воздухе еще пахло свежестью раннего утра, и сидеть в кафе было приятно. Подул ветерок, и чувствовалось, что прохладой тянет с моря. По площади расхаживали голуби, и дома были желтые, словно прокаленные солнцем, и мне не хотелось уходить из кафе. Но пора было идти в отель, сложить вещи и уплатить по счету. Расплатившись за пиво,— мы бросили жребий, и, кажется, платил Кон,— мы пошли в отель. На меня с Биллом пришлось только по шестнадцати франков плюс десять процентов надбавки за услуги, и мы отправили свои чемоданы вниз и стали ждать Роберта Кона. Пока мы ждали, я увидел на паркете вестибюля таракана, не меньше трех дюймов длиной. Я показал его Биллу, а потом наступил на него каблуком. Мы решили, что он, вероятно, только что приполз из сада. В отеле действительно было необыкновенно чисто.

Наконец Кон спустился вниз, и мы все вышли к машине. Машина оказалась большая, с откидным верхом, шофер был в белом пыльнике с голубым воротником и такими же обшлагами, и мы попросили его опустить верх. Он погрузил наши чемоданы, и машина тронулась. Мы ехали длинной улицей по направлению к окраине, мимо цветущих садов, и оглядывались назад, прощаясь с городом, а потом очутились среди зеленых холмов, и

дорога пошла в гору. То и дело мы обгоняли воловьи и коровьи упряжки, тащившие повозки басков, мелькали аккуратные выбеленные фермы. Бискайя — плодородный, цветущий край, дома чистенькие, деревни, видимо, зажиточные. В каждом селении была площадка для игры в пелоту, где ребятишки кидали мяч под жарким солнцем. На церквах виднелись надписи, запрещающие кидать мяч о церковные стены, домики были крыты красной черепицей,— а потом дорога свернула и пошла еще круче, и мы стали подниматься по склону горы, и под нами была долина, а холмы уходили назад, в сторону моря. Моря не было видно. Оно было слишком далеко. Видны были только холмы и еще холмы, и чувствовалось, в какой стороне море.

Мы пересекли испанскую границу. Там была речка и мост и в одном конце его — толстые усатые французы в кепи, а в другом — испанские карабинеры в лакированных треуголках, с короткими ружьями за спиной. У нас открыли только один чемодан, взяли наши документы и заглянули в них. С той и с другой стороны кордона было по большой лавке и по гостинице. Шоферу пришлось зайти в помещение пограничной стражи и заполнить какие-то бумаги, и мы вылезли из машины и подошли к реке посмотреть, есть ли там форель. Билл пытался заговорить по-испански с одним из карабинеров, но из этого ничего не вышло. Роберт Кон, показывая пальцем на воду, спросил, водится ли здесь форель, и карабинер сказал, что да, но ее немного.

Я спросил его, ловит ли он рыбу, и он ответил, что нет, он этим не занимается.

К мосту подходил бородатый старик с длинными, выгоревшими на солнце волосами, в сшитой из мешковины одежде. Он опирался на длинную палку, а за спиной у него, головой вниз, висел козленок со связанными ногами.

Карабинер махнул ему саблей, чтобы он воротился. Старик, не сказав ни слова, повернул и пошел обратно по белой дороге в Испанию.

— Почему старика не пустили? — спросил я.

— У него нет пропуска.

Я предложил карабинеру сигарету. Он взял и поблагодарил меня.

— Что же он будет делать? — спросил я.

Карабинер сплюнул в пыль.

— Да просто перейдет реку вброд.

— Много у вас тут контрабанды?

— Да,— сказал он,— бывает.

Вышел шофер, на ходу складывая бумаги и пряча их во внутренний карман. Мы все сели в машину, и она покатила по белой пыльной дороге в Испанию. Сначала местность была почти

такая же, как до границы; потом, все время поднимаясь в гору по спиралью вьющейся дороге, мы перевалили через вершину, и тут-то и началась настоящая Испания. Показались длинные бурые хребты, поросшие редкой сосной, и буковые леса на далеких склонах гор. Дорога сперва шла по верху ущелья, а потом нырнула вниз, и шофер вдруг дал гудок, затормозил и свернул в сторону, чтобы не наехать на двух ослов, заснувших на дороге. Горы остались позади, и мы въехали в дубовый лес, где паслись белые козы. Потом пошли поляны, поросшие травой, и прозрачные ручьи, мы пересекли один ручей, миновали сумрачную деревушку и снова стали подниматься в гору. Мы поднимались выше и выше и опять добрались до перевала и повернули, и дорога пошла вниз, забирая вправо, и к югу открылась новая цепь высоких гор — бурые, словно спекшиеся на солнце и причудливо изборожденные ущельями.

Немного погодя горы кончились, появились деревья по обе стороны дороги, и ручей, и поля спелой пшеницы, и дорога бежала дальше, очень белая и прямая, а потом мы въехали на пригорок, и слева на вершине горы показался старинный замок, тесно окруженный строениями, и колыхаемое ветром пшеничное поле, поднимающееся до самых стен. Я оглянулся через плечо — я сидел впереди рядом с шофером. Роберт Кон спал, но Билл смотрел по сторонам и кивнул мне. Потом мы пересекли равнину, и справа в пролетах между деревьями сверкала на солнце широкая река, а вдали над равниной уже вставало Памплонское плато, и видны были городские стены, и высокий темный собор, и кресты на куполах других церквей. Позади плато были горы, и повсюду, куда ни повернись, были еще горы, а белая дорога бежала впереди нас по равнине прямо к Памплоне.

Обогнув плато, мы с другой стороны въехали в город по пыльной дороге, круто поднимавшейся между двумя рядами тенистых деревьев, а потом спустились в новую часть города, которую строят за стенами старого. Мы проехали мимо арены боя быков — высокое белое здание, казавшееся бетонным под солнцем, а потом переулком выехали на центральную площадь и остановились у подъезда отеля Монтойи.

Шофер помог нам вытащить чемоданы. Вокруг машины столпились ребятишки, и на площади было жарко, деревья зеленели, флаги висели на своих шестах, и приятно было уйти от солнца в тень аркады, которая тянется вокруг всей площади. Монтойа обрадовался нам, пожал нам руки и дал нам хорошие комнаты с окнами на площадь, а потом мы умылись, почистились и спустились в столовую к обеду. Шофер тоже остался обедать, а потом мы заплатили ему, и он уехал обратно, в Байонну.

В отеле Мантойи две столовые. Одна во втором этаже с ок-

нами на площадь. Другая внизу, на целый этаж ниже уровня площади, и оттуда можно выйти на улицу позади отеля, по которой рано утром пробегают быки, когда их через весь город гонят к арене. В этой столовой всегда прохладно, и мы очень хорошо позавтракали. Первая трапеза на испанской земле — это каждый раз серьезное испытание: закуски, кушанья из яиц, два мясных блюда, овощи, салат, десерт и фрукты. Нужно много вина, чтобы все это одолеть. Роберт Кон пытался сказать, что не хочет второго мясного блюда, но мы не стали переводить его слова, и служанка принесла ему что-то взамен, кажется, холодного мяса. С самой нашей встречи в Байонне Кон нервничал. Он не знал, знаем ли мы, что он ездил с Брет в Сан-Себастьян, и это смущало его.

— Ну,— сказал я,— Брет и Майкл должны приехать сегодня вечером.

— Я сомневаюсь, чтобы они приехали,— сказал Кон.

— Почему? — спросил Билл.— Конечно, приедут.

— Они всегда опаздывают,— сказал я.

— Я почти уверен, что они не приедут,— сказал Роберт Кон.

Он сказал это таким тоном, точно он что-то знает, чего мы не знаем, и мы оба разозлились.

— Держу пари на пятьдесят песет, что сегодня вечером они будут здесь,— сказал Билл. Он всегда держит пари, когда злится, и поэтому обычно заключает глупые пари.

— Хорошо,— сказал Кон.— Пари. Помните, Джейк, пятьдесят песет.

— Я и сам запомню,— сказал Билл.

Я видел, что он злится, и хотел успокоить его.

— Они приедут, без всякого сомнения,— сказал я.— Только, может быть, не сегодня.

— Хотите отказаться от пари? — спросил Кон.

— Нет. С какой стати? Давайте хоть на сто песет.

— Пожалуйста. Принимаю.

— Ну, довольно,— сказал я.— А то вам придется зарегистрировать у меня пари и заплатить мне проценты.

— Ладно,— сказал Кон. Он улыбнулся.— Все равно вы их отыграете у меня в бридж.

— Вы их еще не выиграли,— сказал Билл.

Мы вышли на площадь и под аркадой пошли в кафе Ирунья пить кофе. Кон сказал, что пойдет к парикмахеру побриться.

— Послушай,— сказал мне Билл,— есть у меня шансы выиграть это пари?

— Плохие у тебя шансы. Они еще никуда не приезжали вовремя. Если они не получили денег, то, конечно, сегодня не приедут.

— Я сразу пожалел, как только рот открыл. Но я не мог не вызвать его. Он как будто ничего, но откуда он знает больше нашего? Майкл и Брет уславливались с нами.

Я увидел Кона — он шел к нам через площадь.

— Вот он идет.

— Пусть лучше бросит свои еврейские повадки и не важничает.

— Парикмахерская закрыта,— сказал Кон.— Только в четыре откроется.

Мы пили кофе в кафе Ирунья, сидя в тени аркады, в удобных плетеных креслах, и смотрели на площадь. Потом Билл ушел писать письма, а Кон отправился в парикмахерскую. Она все еще была закрыта, и он решил пойти в отель и принять ванну, но я еще посидел на террасе кафе, а потом пошел прогуляться по городу. Было очень жарко, но я держался теневой стороны улиц, и прошелся по рынку, и радовался, что я снова здесь. Я зашел в ayuntamiento [1] и разыскал старика, который каждый год заказывал для меня билеты на бой быков, и узнал, что он получил деньги, высланные мной из Парижа, и возобновил абонемент, так что все это было улажено. Он был архивариусом, и все архивы города помещались в его конторе. Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу. В его конторе была дверь, обитая зеленым сукном, и вторая, из плотного дерева, и когда я ушел, оставив его среди архивов, занимавших сплошь все столы, и притворил обе двери, и вышел на улицу, швейцар остановил меня, чтобы почистить мне пиджак.

— Вы, должно быть, ехали в автомобиле,— сказал он.

На воротнике и плечах лежал толстый слой пыли.

— Да, из Байонны.

— Вот-вот,— сказал он.— Я так и знал, что вы ехали в автомобиле, по тому, как пыль легла.

Я дал ему две медных монеты.

Я увидел собор в конце улицы и направился к нему. Когда я в первый раз увидел его, фасад показался мне некрасивым, но теперь он мне нравился. Я вошел. Внутри было мглисто и темно, колонны уходили ввысь, и люди молились, и пахло ладаном, и было несколько изумительных высоких витражей. Я встал на колени и начал молиться и помолился обо всех, кого вспомнил, о Брет и Майкле, о Билле, Роберте Коне, и о себе, и о всех матадорах, отдельно о каждом, кого я любил, и гуртом о всех остальных, потом я снова помолился о себе, и пока я молился о себе, я почувствовал, что меня клонит ко сну, поэтому я стал молиться о том, чтобы бои быков прошли удачно, и чтобы

[1] Муниципалитет *(исп.)*.

фиеста была веселая, и чтобы нам наловить побольше рыбы. Я старался вспомнить, о чем бы еще помолиться, и подумал, что хорошо бы иметь немного денег, и я помолился о том, чтобы мне нажить кучу денег, и потом начал думать, как бы я мог их нажить, и, думая о наживе, я вспомнил графа и подумал о том, где он теперь, и пожалел, что не видел его с того вечера на Монмартре, и старался вспомнить что-то смешное, что Брет рассказала мне про него, и так как я все это время стоял на коленях, опершись лбом о деревянную спинку скамьи, и думал о том, что я молюсь, то мне было немного стыдно, и я жалел, что я такой никудышный католик, но я понимал, что ничего тут не могу поделать, по крайней мере сейчас, а может быть, и никогда, но что все-таки это — великая религия, и как бы хорошо предаться набожным мыслям, и, может быть, в следующий раз мне это удастся; а потом я стоял под жарким солнцем на паперти собора, и указательный, средний и большой пальцы правой руки все еще были влажные, и я чувствовал, как они сохнут на солнце. Солнце палило жестоко, и я переулками, прячась в тени зданий, вернулся в отель.

Вечером, за ужином, оказалось, что Роберт Кон принял ванну, побрился, подстригся и вымыл голову и что его волосы чем-то смазаны, чтобы не торчали. Он нервничал, и я ничем не старался ему помочь. Поезд из Сан-Себастьяна прибывал в девять часов, и Брет с Майклом могли приехать только этим поездом. Без двадцати девять, когда мы еще и половины ужина не съели, Роберт Кон встал из-за стола и сказал, что пойдет встречать их на вокзал. Я сказал, что пойду вместе с ним,— просто чтобы поддразнить его. Билл сказал, что скорей повесится, чем уйдет, не доев ужина. Я сказал, что мы сейчас же вернемся.

Мы пошли на вокзал. Я наслаждался волнением Кона. Я надеялся, что Брет приедет этим поездом. На вокзале оказалось, что поезд опаздывает, и мы дожидались его, сидя в темноте на багажной тележке за вокзалом. Я никогда, кроме как на войне, не видел, чтобы человек так волновался, как Роберт Кон, или был в таком нетерпении. Я наслаждался этим. Свинство было наслаждаться этим, но я и чувствовал себя свиньей. Кон обладал удивительной способностью пробуждать в человеке все самое скверное.

Наконец мы услышали далекий свист внизу, с другой стороны плато, а потом увидели поднимающиеся в гору огни паровоза. Мы вошли в вокзал и стояли в толпе встречающих у самой решетки; поезд подошел и остановился, и пассажиры потянулись к выходу.

Их не было в толпе пассажиров. Мы подождали, пока все прошли через вокзал и сели в автобусы, или наняли фиакры,

или пошли пешком в темноте с друзьями и родственниками.

— Я так и знал, что они не приедут,— сказал Кон.

Мы шли обратно, в отель.

— А я думал, может быть, все-таки приедут,— сказал я.

Когда мы вернулись в столовую, Билл ел фрукты и допивал бутылку вина.

— Не приехали?

— Нет.

— Ничего, Кон, если я отдам вам сто песет завтра утром? — спросил Билл.— Я еще не обменял свои деньги.

— Да не нужно,— сказал Роберт Кон.— Давайте лучше держать другое пари. Можно держать пари на бой быков?

— Можно,— сказал Билл,— только не нужно.

— Это все равно что держать пари на войну,— сказал я.— Здесь не требуется материальной заинтересованности.

— Мне очень любопытно посмотреть бой быков,— сказал Роберт.

К нашему столику подошел Монтойа. В руках у него была телеграмма.

— Это вам.— Он передал ее мне.

Я прочел: «Остались ночевать Сан-Себастьяне».

— Это от них,— сказал я. Я спрятал телеграмму в карман. В другое время я показал бы ее.

— Они остановились в Сан-Себастьяне,— сказал я.— Посылают вам привет.

Почему меня подмывало бесить его, я и сам не знаю. Впрочем, знаю. Я слепо, непримиримо ревновал к тому, что с ним случилось. Хоть я и считал случившееся в порядке вещей — это ничего не меняло. Я, несомненно, ненавидел его. Не думаю, чтобы я по-настоящему ненавидел его до той минуты, когда он за завтраком напустил на себя всезнающий вид и потом отправился наводить красоту в парикмахерскую. И я спрятал телеграмму в карман. Как бы то ни было, телеграмма была адресована мне.

— Ну, что ж,— сказал я.— Самое правильное уехать с дневным автобусом в Бургете. Если они приедут завтра вечером, пусть догоняют нас.

Из Сан-Себастьяна было только два поезда: один рано утром и другой, вечерний, который мы только что ходили встречать.

— Это неплохая мысль,— сказал Кон.

— Чем скорее мы доберемся до реки, тем лучше.

— Мне все равно, когда бы ни ехать,— сказал Билл,— чем скорее, тем лучше.

Мы посидели в кафе Ирунья и выпили кофе, а потом прошлись до арены, погуляли в поле и под деревьями на краю об-

рыва, смотрели вниз на темную реку, и я рано лег спать. Билл и Кон, вероятно, поздно засиделись в кафе, потому что я уже спал, когда они пришли.

Утром я взял три билета на автобус до Бургете. Он отходил в два часа дня. Раньше этого ехать было не на чем. Я сидел в кафе Ирунья и читал газеты, когда увидел Роберта Кона, пересекающего площадь. Он подошел к моему столику и сел против меня в плетеное кресло.

— Это очень уютное кафе,— сказал он.— Хорошо выспались, Джейк?

— Я спал как колода.

— Я спал неважно. Да мы с Биллом и легли поздно.

— Где вы были?

— Здесь. А когда здесь закрыли, мы пошли в другое кафе. Где хозяин говорит по-немецки и по-английски.

— Кафе Суисо.

— Вот-вот. Очень симпатичный старик. По-моему, его кафе лучше этого.

— Днем там нехорошо,— сказал я.— Слишком жарко. Между прочим, я взял билеты на автобус.

— Я не поеду сегодня. Вы с Биллом поезжайте вперед.

— Я же взял вам билет.

— Дайте его сюда. Я получу деньги обратно.

— Пять песет стоит.

Роберт Кон достал серебряную монету в пять песет и отдал ее мне.

— Я должен остаться,— сказал он.— Понимаете, боюсь, что вышло недоразумение.

— Имейте в виду,— сказал я,— что они могут приехать и через три дня, и через четыре, раз они развлекаются в Сан-Себастьяне.

— В том-то и дело,— сказал Роберт.— Я боюсь, что они рассчитывали встретить меня в Сан-Себастьяне и поэтому остались там.

— Почему вы так думаете?

— Потому что я писал Брет об этом.

— Почему же, черт возьми, вы не остались там и не дождались их...— начал было я, но остановился. Я решил, что эта мысль сама придет ему в голову, но, кажется, этого так и не произошло.

Теперь он уже не стеснялся, ему приятно было говорить со мной, после того как он дал мне понять, что между ним и Брет что-то есть.

— Мы с Биллом уедем сейчас же после завтрака,— сказал я.

— Жаль, что я не могу. Всю зиму мы мечтали об этой рыбной

ловле.— Он даже загрустил.— Но я должен остаться. Серьезно, должен. Как только они приедут, я сейчас же привезу их.

— Надо найти Билла.

— Я пойду к парикмахеру.

— Ну, увидимся за завтраком.

Я нашел Билла в его комнате. Он брился.

— Да, да, он все поведал мне вчера вечером,— сказал Билл.— Изливал душу. Говорит, что у него с Брет было назначено свиданье в Сан-Себастьяне.

— Врет, сволочь!

— Ну, ну,— сказал Билл.— Не злись. Рано злиться, мы еще только выехали. Но все-таки, где тебя угораздило подружиться с этим типом?

— Не спрашивай уж, ради бога.

Билл повернул ко мне свое наполовину выбритое лицо, а потом продолжал говорить в зеркало, намыливая себе щеки.

— Если я не ошибаюсь, прошлой зимой он приходил ко мне в Нью-Йорке с письмом от тебя? К счастью, я завзятый путешественник. А почему ты заодно не прихватил с собой еще парочку еврейских друзей? — Он потер большим пальцем подбородок, посмотрел на него и снова начал скрести.

— Твои друзья тоже не все первый сорт.

— Верно. Попадаются и неважные. Но куда им до Роберта Кона. А смешнее всего, что он славный. Он мне нравится. Но он совершенно невозможен.

— Он бывает очень мил.

— Знаю. В этом-то и весь ужас.

Я засмеялся.

— Тебе хорошо смеяться,— сказал Билл.— Ты не сидел с ним вчера до двух часов ночи.

— А что, трудно было?

— Ужасно. Что это у него за история с Брет? Неужели между ними что-то было?

Он взялся за подбородок и поворачивал его вправо и влево.

— Ну конечно. Она ездила с ним в Сан-Себастьян.

— Господи, как глупо! Зачем она это сделала?

— Ей хотелось уехать из города, а она никуда не может ездить одна. Говорит, она думала, что это пойдет ему на пользу.

— Почему люди делают такие сверхъестественные глупости? Почему она не поехала с кем-нибудь из своих? Или с тобой? — Он поперхнулся и торопливо прибавил: — Или со мной? Почему не со мной? — Он внимательно посмотрел на себя в зеркало, шлепнул на каждую скулу по большому комку мыльной пены.— Вот честное лицо. Вот лицо, которому может довериться каждая женщина.

— Она никогда его не видела.

— Напрасно. Все женщины должны видеть его. Это лицо нужно воспропзвести на всех киноэкранах по всей стране. Каждой женщине после венчанья нужно вручать снимок с этого лица. Матери должны говорить дочерям об этом лице. Сын мой,— он ткнул в мою сторону бритвой,— пробивайся на Запад с этим лицом и возвысься вместе с отчизной.

Он нагнулся над тазом, обмыл лицо холодной водой, вытер его одеколоном, потом внимательно посмотрел на себя в зеркало, оттягивая длинную верхнюю губу.

— О, господи! — сказал он.— Какое мерзкое лицо!

Он помолчал, все так же глядя в зеркало.

— А что касается этого Роберта Кона,— сказал Билл,— то меня тошнит от него, и пусть отправляется ко всем чертям, и я очень рад, что он остается здесь и что мы поедем ловить рыбу без него.

— Вот это верно.

— Мы едем ловить форель. Мы едем ловить форель на реке Ирати, и мы сейчас за завтраком накачаемся здешним вином, а потом чудесно прокатимся на автобусе.

— Отлично. Пойдем в кафе Ирунья и приступим,— сказал я.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На площади сильно припекало, когда мы после завтрака, нагруженные чемоданами и спиннингами в чехлах, пошли к автобусу, чтобы ехать в Бургете. На крыше автобуса уже сидели люди, по лестнице карабкались еще пассажиры. Билл влез наверх, и Роберт Кон сел рядом с ним, чтобы занять место для меня, а я пошел обратно, в отель, и захватил на дорогу несколько бутылок вина. Когда я вернулся, автобус был набит битком. На чемоданах и ящиках, загромождавших крышу, сидели пассажиры, и все женщины обмахивались веерами. Было очень жарко. Роберт слез, освободив занятое для меня место, и я примостился на единственной деревянной скамье, тянувшейся вдоль крыши.

Роберт Кон стоял в тени аркады и ждал, когда мы тронемся. У наших ног полулежал баск с большим мехом на коленях. Он протянул мех Биллу и мне, и когда я поднял мех, чтобы хлебнуть, баск так внезапно и похоже взревел, подражая автомобильному гудку, что я пролил вино, и все засмеялись. Он извинился и настоял, чтобы я хлебнул еще раз. Немного погодя он опять изобразил гудок, и я во второй раз попался. У него это хорошо выходило. Баски были очень довольны; сосед Билла заговорил с ним по-испански, и Билл ничего не понял, поэтому он протянул

ему одну из наших бутылок вина. Сосед отказался. Слишком жарко, и он слишком много выпил за завтраком. Когда Билл вторично протянул ему бутылку, он отпил большой глоток, а потом бутылка пошла по рукам в нашем конце автобуса. Каждый вежливо отпивал глоток, а потом они заставили нас закупорить бутылку и убрать ее. Они наперебой протягивали нам свои мехи с вином. Это все были крестьяне, ехавшие в горы.

Наконец, после того как имитатор гудка еще разок-другой обманул нас, автобус тронулся, и Роберт Кон помахал нам на прощанье, и все баски помахали ему в ответ. Как только дорога вывела нас за город, стало прохладно. Приятно было сидеть так высоко и проезжать под самыми деревьями. Дорога спускалась под гору, автобус шел очень быстро, подымая тучи пыли, и пыль оседала на деревьях, а сквозь листву нам виден был город, встающий позади нас на крутом обрыве над рекой. Баск, прислонившись к моим коленям, указал горлышком меха на город и подмигнул нам. Потом кивнул головой.

— Неплохо, а?

— Чудесный народ эти баски,— сказал Билл.

Баск, сидевший у моих ног, загорел до цвета седельной кожи. На нем была черная блуза, как и на всех остальных. Загорелую шею бороздили морщины. Он повернулся и протянул Биллу свой мех. Билл передал ему одну из наших бутылок. Баск повел указательным пальцем перед носом Билла и возвратил ему бутылку, прихлопнув пробку ладонью. Он вскинул мех с вином.

— Подымайте,— сказал он.— Выше! Выше!

Билл поднял мех и, закинув голову, подставил рот под струю вина. Когда он, перестав пить, опустил мех, струйка вина потекла по его подбородку.

— Нет! Нет! — заговорили баски.— Не так.— Кто-то выхватил мех из рук его хозяина, который сам собирался показать, как нужно пить. Выхватил мех молодой парень, и, держа его в вытянутых руках, он высоко вскинул его и крепко сжал, так что вино, зашипев, полилось ему в рот. Он держал мех далеко от себя, и винная струя, описывая пологую траекторию, лилась ему в рот, и он глотал спокойно и размеренно.

— Эй, ты! — крикнул хозяин меха.— Чье вино дуешь?

Молодой парень помахал ему мизинцем и улыбнулся нам глазами. Потом он резко остановил струю, подняв горлышко, и опустил мех на руки владельца. Он подмигнул нам. Владелец грустно встряхнул мех.

Мы въехали в какую-то деревню, остановились у трактира, и водитель взял на автобус несколько посылок. Потом мы покатили дальше. За деревней дорога начала подыматься в гору. Кругом были засеянные поля, к ним отлого спускались скали-

стые склоны. Пашни ползли вверх по откосам. Теперь, когда мы забрались выше, ветер сильнее колыхал колосья. Дорога была белая и пыльная, и пыль поднималась из-под колес и повисала в воздухе за нами. Дорога вела все выше в горы, и цветущие поля остались внизу. Теперь только изредка попадались клочки пашен на голых склонах гор по обе стороны ручьев. Мы круто свернули к обочине, чтобы пропустить упряжку мулов,— шесть мулов, шедших друг за другом, тащили высокий, груженный товаром фургон. Фургон и мулы были покрыты пылью. Сейчас же за первым фургоном шла еще упряжка, таща второй фургон. Этот был гружен лесом, и когда мы проезжали мимо, возница откинулся назад и заложил деревянные тормозные колодки. Здесь местность была совсем голая, склоны каменистые, а спекшаяся глина — в глубоких бороздах от дождей.

За поворотом дороги неожиданно открылась зеленая долина, по которой протекал ручей. Направо и налево от ручья раскинулась деревня, виноградники доходили до самых домов.

Мы остановились перед лавкой, много пассажиров сошло с автобуса, и часть багажа на крыше вытащили из-под брезента и спустили вниз. Мы с Биллом тоже слезли и вошли в лавку. Это оказалось низкое, полутемное помещение, где с потолка свисали седла и упряжь, белые деревянные вилы, связки парусиновых башмаков на веревочной подошве, окорока и бруски сала, гирлянды чеснока и длинные колбасы. Здесь было прохладно и сумрачно, и мы стояли у длинного деревянного прилавка, за которым две женщины продавали вино. На полках позади них лежали съестные припасы и разный товар.

Мы выпили по рюмке агуардиенте [1] и заплатили сорок сентимо за обе рюмки. Я дал женщине пятьдесят сентимо, чтобы она оставила себе на чай, но она вернула мне монетку, решив, что я не расслышал цены.

Вошли двое из басков, ехавших с нами, и непременно хотели угостить нас. Они угостили нас, а потом мы угостили их, а потом они похлопали нас по плечу и еще раз угостили. Потом мы опять угостили их и вышли все вместе на солнцепек и полезли обратно, на крышу автобуса. Теперь для всех было достаточно места, и баск, который раньше лежал на железной крыше, теперь сидел между мной и Биллом. Женщина, которая наливала нам водку, вышла из лавки, вытирая руки о передник, и заговорила с кем-то, сидящим в автобусе. Вышел водитель с двумя пустыми почтовыми сумками и влез на свое место, потом автобус тронулся, и все помахали нам на прощанье.

Зеленая долина сразу осталась позади, и мы снова были

[1] Водка *(исп.)*.

в горах. Билл беседовал с баском — хозяином меха. Кто-то перегнулся к нам через спинку скамьи и спросил по-английски:

— Вы американцы?

— Да.

— Я жил там,— сказал он.— Сорок лет назад.

Это был старик, такой же смуглый, как все остальные, с седой щетинистой бородой.

— Ну, и как?

— Что вы говорите?

— Понравилось в Америке?

— Я был в Калифорнии. Очень понравилось.

— Отчего вы уехали?

— Что вы говорите?

— Отчего приехали обратно?

— Я приехал, чтобы жениться. Я собирался поехать опять, но жена моя не любит путешествовать. Вы откуда?

— Из Канзас-Сити.

— Я был там,— сказал он.— Я был в Чикаго, в Сент-Луисе, в Канзас-Сити, в Денвере, в Лос-Анджелесе, в Солт-Лейк-Сити.

Он тщательно перечислил все города.

— Долго вы были в Америке?

— Пятнадцать лет. Потом я приехал обратно и женился.

— Выпьем?

— Давайте,— сказал он.— Этого в Америке не достанешь, а?

— Сколько угодно, были бы деньги.

— А зачем вы приехали сюда?

— Мы приехали в Памплону, на фиесту.

— Вы любите бой быков?

— Очень. А вы?

— Да,— сказал он.— Пожалуй, люблю.— Потом, немного погодя: — А сейчас куда едете?

— В Бургете, рыбу ловить.

— Ну,— сказал он,— желаю вам наловить побольше.

Он пожал руку и мне и Биллу, потом опять повернулся к нам спиной. Остальные баски смотрели на него с уважением. Он уселся поудобнее, и каждый раз, когда я поворачивал голову, оглядывая местность, улыбался мне. Но усилия, которых стоил ему разговор с американцами, видимо, утомили его. Он больше не сказал ни слова.

Дорога неуклонно поднималась все выше. Местность была голая, почва глинистая, повсюду торчали камни. Трава не росла по обочине дороги. Оглядываясь назад, мы видели расстилавшуюся внизу долину. Далеко позади на горных склонах мелькали зеленые и бурые квадраты полей. Горизонт замыкали горы, темные, причудливых очертаний. По мере того как мы поднима-

лись выше, картина менялась. Автобус медленно вползал по крутой дороге, и на юге появлялись все новые горы. Потом дорога перевалила через гребень, выровнялась и вошла в лес. Это был лес пробкового дуба, и лучи солнца пучками проникали сквозь листву, а в глубине леса, среди деревьев, пасся скот. Потом лес кончился, дорога пошла по возвышенности, и впереди открылась волнистая зеленая равнина, а за ней высились темные горы. Они были не такие, как бурые, спекшиеся от зноя горы, которые остались позади. Эти были покрыты лесом, и по склонам их спускались облака. Зеленая равнина, прорезанная изгородями, уходила вдаль, пересекавшая ее с юга на север дорога белела между двумя рядами деревьев. Когда мы добрались до края возвышенности, мы увидели красные кровли и белые дома Бургете, выстроившиеся на равнине, а за ними, у вершины первой темной горы, блеснула серая железная крыша Ронсевальского монастыря.

— Вон Ронсеваль,— сказал я.

— Где?

— Вон там, где начинаются горы.

— Холодно,— сказал Билл.

— Здесь высоко,— сказал я.— Наверно, тысяча двести метров.

— Ужасно холодно,— сказал Билл.

Автобус спустился на ровную прямую дорогу, которая вела в Бургете. Мы проехали перекресток и пересекли мост через ручей. Дома Бургете тянулись по обе стороны дороги. Переулков не было. Автобус миновал церковь, здание школы и остановился. Мы с Биллом сошли, и водитель подал нам наши чемоданы и удочки в чехле. Подошел карабинер в треуголке и желтых ремнях крест-накрест.

— Что у вас тут?

Он ткнул пальцем в чехол с удочками. Я открыл чехол и показал ему. Он спросил, есть ли у нас разрешение на рыбную ловлю, и я предъявил его. Он посмотрел на число и помахал рукой.

— В порядке? — спросил я.

— Да. Конечно.

Мы пошли в гостиницу мимо выбеленных каменных домов, где целые семьи сидели на пороге и глазели на нас.

Толстая женщина, хозяйка гостиницы, вышла из кухни и поздоровалась с нами за руку. Она сняла очки, протерла их и снова надела. Поднимался ветер, и в гостинице было холодно. Хозяйка послала с нами служанку наверх показать комнату. Там были две кровати, умывальник, шкаф и большая гравюра в рамке — «Ронсевальская богородица». Ставни дрожали от

ветра. Комната выходила на север. Мы умылись, надели свитеры и спустились в столовую. Пол был каменный, потолок низкий, стены обшиты дубом. Ставни уже закрыли, в комнате стоял такой холод, что видно было дыхание.

— О, господи,— сказал Билл,— неужели и завтра будет такой мороз! Я не согласен шлепать по воде в такую погоду.

В дальнем углу, позади деревянных столов, стояло пианино, Билл подошел к нему и начал играть.

— Это чтобы согреться,— сказал он.

Я разыскал хозяйку и спросил ее, сколько стоит комната и стол. Она сложила руки под передником и сказала, не глядя на меня:

— Двенадцать песет.

— Что вы, мы в Памплоне платили не больше!

Она ничего не ответила, только сняла очки и протерла их кончиком передника.

— Это слишком дорого,— сказал я.— Мы в большом отеле платили столько же.

— Мы сделали ванную.

— А дешевле комнат у вас нет?

— Летом нет. Сейчас самый сезон.

Кроме нас, в гостинице не было ни души. Ладно, подумал я, всего-то на несколько дней.

— Это с вином?

— Конечно.

— Ладно,— сказал я.— Согласен.

Я вернулся к Биллу. Он дыхнул на меня, показывая, как холодно, и продолжая играть. Я сел за один из столов и стал разглядывать картины на стенах. На одной были кролики, мертвые, на другой фазаны, тоже мертвые, и на третьей мертвые утки. Все картины были темные и словно закоптелые. На буфете стояла целая батарея винных бутылок. Я пересмотрел их. Билл все еще играл.

— Как насчет горячего пунша с ромом? — спросил он.— Моей игрой надолго не согреешься.

Я вышел и объяснил хозяйке, что такое пунш с ромом и как его делать. Через несколько минут служанка принесла каменный кувшин, из которого валил пар. Билл отошел от пианино, и мы пили горячий пунш и прислушивались к ветру.

— Непохоже, чтобы тут было много рому.

Я подошел к буфету, взял бутылку с ромом и влил в кувшин полстакана.

— Явочным порядком,— сказал Билл.— Без разрешения властей.

Вошла служанка и стала накрывать к ужину.

— Основательно здесь продувает,— сказал Билл.

Служанка принесла большую миску горячего овощного супа и вино. На второе нам подали жареную форель, потом какого-то тушеного мяса и большое блюдо с земляникой. Вино мы пили не в убыток себе, и служанка смущенно, но с готовностью приносила его. Старуха хозяйка один раз заглянула в столовую и сосчитала пустые бутылки.

После ужина мы поднялись к себе и курили и читали в постели, чтобы согреться. Ночью я проснулся и услышал завывание ветра. Хорошо было лежать в теплой постели.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром, как только я проснулся, я подошел к окну и выглянул. Прояснилось, и на горах не было туч. Под окнами стояло несколько повозок и старый дилижанс с ветхой, растрескавшейся от непогоды деревянной крышей. Он, вероятно, стоял здесь с тех времен, когда еще не было автобусов. Козел вскочил на повозку, а оттуда на крышу дилижанса. Он тряс головой на коз, стоящих внизу, а когда я замахнулся на него, он спрыгнул на землю.

Билл еще спал, и я бесшумно оделся, натянул ботинки в коридоре и спустился вниз. Там все было тихо, и я откинул засов на двери и вышел. Утро было прохладное, солнце еще не высушило росу, выпавшую после того, как улегся ветер. Я поискал в сарае за гостиницей, нашел что-то вроде мотыги и пошел на берег ручья, чтобы накопать червей для наживки. Ручей был прозрачный и мелкий, но вряд ли в нем водилась форель. Я всадил мотыгу в мокрую траву и отвалил ком земли. Под ним оказались черви. Как только я приподнял землю, они ускользнули, и я стал копать осторожно и набрал очень много. Копая у самой воды, в мокрой земле, я наполнил червями две пустые банки из-под табака и сверху набросал земли. Козы смотрели, как я копаю.

Когда я вернулся в гостиницу, хозяйка была на кухне, и я сказал ей, чтобы она дала нам кофе и приготовила завтрак с собой. Билл проснулся и сидел на краю постели.

— Я видел тебя в окно,— сказал он.— Не хотел мешать тебе. Что ты делал? Зарывал свои деньги?

— Ах ты лентяй!

— Трудился для общего блага? Чудесно! Продолжай в том же духе каждое утро.

— Ну, довольно валяться,— сказал я.— Вставай.

— Что? Встать? Никогда не встану.

Он залез в постель и натянул одеяло до подбородка.

— Попробуй уговори меня встать.

Я молча собирал наше снаряжение и складывал его в мешок.

— Ну, что, не хочешь? — спросил Билл.

— Я иду вниз завтракать.

— Завтракать? Что же ты не сказал, что завтракать? Я думал, ты в шутку предлагаешь мне встать. Завтракать? Замечательно. Теперь ты рассуждаешь здраво. Пойди накопай еще червей, а я сейчас спущусь.

— Иди к черту!

— Трудись для общей пользы.— Билл натянул белье.— Проявляй иронию и жалость.

Я вышел из комнаты с мешком, сачками и удочками.

— Эй, вернись!

Я просунул голову в дверь.

— Неужели ты не проявишь хоть немного иронии и жалости?

Я показал ему пос.

— Это не ирония.

Спускаясь по лестнице, я слышал, как Билл напевал: «Ирония и Жалость. Когда ты узнаешь... О, дай им Иронию и дай им Жалость. О, дай нам Иронию. Когда ты узнаешь... Немного иронии. Немножечко жалости...» Он пел до тех пор, пока не спустился вниз. Пел он на мотив «В церкви звонят для меня, для тебя...». Я читал испанскую газету недельной давности.

— Что это за чепуха про иронию и жалость?

— Что? Ты не знаешь про Иронию и Жалость?

— Нет. Кто это выдумал?

— Все. В Нью-Йорке помешаны на этом. Как когда-то на циркачах Фрателлини.

Вошла служанка с кофе и намазанными маслом гренками. Или, вернее,— с намазанным маслом поджаренным хлебом.

— Спроси ее, есть ли у них джем,— сказал Билл.— Будь ироничен с ней.

— Есть у вас джем?

— Какая же это ирония? Жаль, что я не говорю по-испански.

Кофе был вкусный, и мы пили его из больших чашек. Служанка принесла стеклянную вазочку с малиновым джемом.

— Спасибо.

— Да не так! — сказал Билл.— Скажи что-нибудь ироническое. Сострн по адресу Примо-де-Ривера.

— Надо было сказать, что в Республике Рифов им не жизнь, а малина.

— Слабо,— сказал Билл.— Очень слабо. Не умеешь ты этого. Вот и все. Ты не понимаешь иронии. В тебе нет жалости. Скажи что-нибудь жалостливое.

— Роберт Кон.

— Недурно. Это уж лучше. Дальше: почему Кон достоин жалости? Будь ироничен.

Он отхлебнул большой глоток кофе.

— Да ну тебя! — сказал я.— Разве можно острить в такую рань.

— Вот видишь! А еще туда же — писателем хочешь быть. Ты всего-навсего газетчик. Экспатриированный газетчик. Ты должен быть полон иронии, как только встаешь с постели. Ты должен с раннего утра задыхаться от жалости.

— Ну, дальше,— сказал я.— От кого ты набрался такой чепухи?

— От всех. Ты что же, ничего не читаешь? Ни с кем не видаешься? Знаешь, кто ты? Ты — экспатриант. Почему ты не живешь в Нью-Йорке? Тогда ты все это знал бы. Чем я могу тебе помочь? Прикажешь приезжать каждый год и просвещать тебя?

— Выпей еще кофе,— сказал я.

— Кофе — это хорошо. Кофе тебе полезен. В нем есть кофеин. Все дело в кофеине. От кофеина он садится на ее коня, а она ложится в его могилу. Знаешь, что с тобой? Ты экспатриант, и притом худшего сорта. Неужели ты не слыхал об этом? Никто, покинувший свою родину, не написал ничего, достойного увидеть свет. Даже в газетах.

Он допил кофе.

— Ты экспатриант. Ты оторвался от родной почвы. Ты становишься манерным. Европейские лжеидеалы погубят тебя. Пьянство сведет тебя в могилу. Ты помешался на женщинах. Ты ничего не делаешь, все твое время уходит на разговоры. Ты экспатриант, ясно? Ты шатаешься по кафе.

— Какая роскошная жизнь,— сказал я.— А когда же я работаю?

— Ты и не работаешь. По одной версии тебя содержат женщины, по другой — ты не мужчина.

— Нет,— сказал я.— Просто несчастный случай.

— Никогда не упоминай об этом,— сказал Билл.— О таких вещах лучше не распространяться. Это должно быть скрыто под покровом тайны. Как первый велосипед Генри Форда.

До сих пор он сыпал как из решета, но теперь вдруг замолчал. Я боялся, как бы он не подумал, что задел меня, неосторожно сболтнув лишнее. Я хотел снова завести его.

— Никакого велосипеда не было,— сказал я.— Он верхом ездил.

— Я слышал про трехколесный велосипед.

— Ну, что ж,— сказал я.— Самолет тоже вроде велосипеда. Управление такое же.

— Только педали не нужно нажимать.

— Да,— сказал я.— Педали, пожалуй, нажимать не нужно.

— Ну, хватит,— сказал Билл.

— Как хочешь. Я только заступился за велосипед.

— И пишет Генри тоже хорошо,— сказал Билл.— А ты сам очень хороший. Тебе уже говорили, что ты хороший?

— Вовсе я не хороший.

— Послушай. Ты очень хороший, и я никого на свете так не люблю, как тебя. В Нью-Йорке я не мог бы тебе этого сказать. Там решили бы, что я гомосексуалист. Из-за этого разразилась Гражданская война. Авраам Линкольн был гомосексуалист. Он был влюблен в генерала Гранта. Так же как Джефферсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Дреде Скоте было подстроено Лигой сухого закона. Все это — половой вопрос. Полковника леди и Джуди О'Грэди лесбиянки обе в душе!

Он замолчал.

— Хочешь еще?

— Валяй,— сказал я.

— Больше ничего не знаю. Остальное доскажу за обедом.

— Ах ты чучело,— сказал я.

— Дрянь ты этакая!

Мы уложили завтрак и две бутылки вина в рюкзак, и Билл надел его. Я перекинул через плечо чехол с удочками и сачки. Мы пошли по дороге, потом пересекли поляну и нашли тропинку через луга, которая вела к лесистому склону ближайшей горы. Мы пошли по этой песчаной тропинке. Луга были волнистые, поросшие густой травой, но трава была низкая, оттого что здесь паслись овцы. Коровы паслись выше, в горах. Из лесу доносился звон их колокольчиков.

Тропинка привела нас к бревну, перекинутому через ручей. Бревно было обстругано, согнутое молодое деревцо служило перилами. Возле ручья, на песчаном дне мелкого прудика, чернели головастики. Мы поднялись на крутой берег и снова пошли волнистыми лугами. Оглянувшись, мы увидели белые домики и красные крыши Бургете и белую дорогу, по которой ехал грузовик, вздымая облако пыли.

Луга кончились, и мы вышли ко второму, более быстрому ручью. Песчаная дорога спускалась к броду, а дальше поднималась к лесу. Тропинка опять привела нас к бревну, перекинутому через ручей пониже брода, а потом она слилась с дорогой, и мы вошли в лес.

Это был буковый лес, очень старый. Корни деревьев выступали над землей, сучья были корявые. Мы шли по дороге между толстыми стволами старых буков, и солнечный свет, пропикая сквозь листву, пятнами лежал на траве. Несмотря на высокие деревья и густую листву, в лесу не было сумрачно. Никакого под-

леска — только мягкая трава, очень зеленая и свежая, и высокие серые деревья, расставленные просторно, словно в парке.

— Вот это природа,— сказал Билл.

Дорога вела вверх по склону, мы вошли в густой лес, и дорога по-прежнему поднималась в гору. Иногда она вдруг ныряла, а потом снова круто вела вверх. Все время мы слышали позванивание колокольчиков в лесу. Наконец мы вышли на гребень горы. Мы стояли на самой высокой точке самой высокой гряды лесистых гор, которые мы видели из Бургете. На прогалинке между деревьями, на солнечной стороне, росла земляника.

Дальше дорога выходила из лесу и шла вдоль гребня. Впереди уже не было лесистых гор, начинались обширные поля желтого дрока. Вдали темные деревья и серые валуны на отвесном берегу отмечали русло реки Ирати.

— Нам нужно идти этой дорогой вдоль гребня, пересечь эти горы, пройти лесом те горы, подальше, и спуститься в долину Ирати,— показал я Биллу.

— Прогулочка, доложу я вам!

— Это слишком далеко, чтобы дойти, половить рыбу и вернуться в тот же день без спешки.

— Вот именно, без спешки. Хорошо сказано. Нам придется гнать как сумасшедшим, чтобы вообще дойти туда и обратно и хоть что-нибудь наловить.

Путь был длинный, местность красивая, но мы очень устали, когда наконец спустились по крутой дороге, которая вела с лесистых гор в долину Рио-де-ла-Фабрика.

Дорога вышла из лесной тени на жаркое солнце. Впереди была река. За рекой вставал крутой горный склон. По склону росла гречиха, стояло несколько деревьев, под ними мы увидели белый домик. Было очень жарко, и мы остановились в тени деревьев возле плотины.

Билл прислонил мешок к дереву, мы свинтили удилища, надели катушки, привязали поводки и приготовились ловить рыбу.

— Ты уверен, что в этой луже водятся форели?

— Она кишит ими.

— Я буду ловить на муху. У тебя есть мухи Макгинти?

— На, возьми.

— А ты? На червяка?

— Да. Я здесь буду, у плотины.

— Ну, тогда я возьму мух с собой.— Он нацепил одну муху на крючок.— Куда мне лучше пойти? Вверх или вниз?

— Лучше всего вниз. Хотя их достаточно и повыше.

Билл пошел вдоль берега.

— Возьми банку с червями.

— Нет, не нужно. Если они не пойдут на муху, я просто побалуюсь, и все.

Билл стоял на берегу и смотрел на реку.

— Послушай! — крикнул он сквозь шум плотины.— Не спустить ли нам вино в родник, там, на дороге?

— Ладно! — крикнул я в ответ.

Билл помахал рукой и пошел вниз по течению. Я достал из мешка обе бутылки и понес их на дорогу, где из железной трубы вытекал родник. Пониже трубы лежала доска. Я приподнял ее и, поплотнее загнав пробки, опустил бутылки в воду. Вода была такая холодная, что пальцы и вся кисть сразу онемели. Я положил доску на место и ушел в надежде, что никто не найдет вино.

Я взял свой спиннинг, прислоненный к дереву, захватил банку с наживкой и сачок и пошел на плотину. Ее соорудили, чтобы сделать реку пригодной для сплава леса. Творило было поднято, и я сел на одно из обтесанных бревен и смотрел, как спокойная перед запрудой река бурно устремляется в водоскат. Под плотиной, там, где вода пенилась, было глубокое место. Когда я стал наживлять, из белой пены на водоскат прыгнула форель, и ее унесло вниз. Я еще не успел наживить, как вторая форель, описав такую же красивую дугу, прыгнула на водоскат и скрылась в грохочущем потоке. Я нацепил грузило и закинул лесу в пенистую воду у самой плотины.

Я не почувствовал, как взяла первая форель. Только начав выбирать лесу, я понял, что клюет, и вытащил форель из белой пены у водоската. Форель билась, сгибая удилище почти пополам, и я провел ее над плотиной и снял. Это была хорошая форель; я ударил ее головой о бревно и, когда она, затрепетав, вытянулась, опустил ее в мешок.

Пока я снимал ее, несколько форелей прыгнули на водоскат. Не успел я наживить и закинуть лесу, как еще одна клюнула, и я вытащил ее так же, как первую. Очень скоро я набрал шесть штук. Все они были приблизительно одной величины. Я положил их рядышком, голова к голове, и смотрел на них. Они были красивого цвета, твердые и крепкие от холодной воды. День был жаркий, поэтому я распорол им брюхо и выпотрошил, вынув все внутренности вместе с жабрами, и закинул все это на тот берег. Потом спустился вниз, вымыл форели в холодной гладкой и плотной воде перед плотиной, нарвал папоротника и уложил все форели в мешок: слой папоротника, потом три форели, потом еще слой папоротника, потом еще три форели, сверху тоже прикрыл папоротником. Переложенные папоротником форели были очень красивы. Я взял раздувшийся мешок и положил в тень под дерево.

На плотине было очень жарко, и я поставил банку с червями

в тень, рядом с мешком, достал книгу и уселся под деревом почитать, дожидаясь, когда Билл придет завтракать.

Было немного за полдень и тени маловато, но я сидел, прислонившись к стволу двух сросшихся деревьев, и читал. Читал я А.-Э. Мэзона — замечательный рассказ о том, как один человек замерз в Альпах и провалился в ледник и как невеста его решила ждать ровно двадцать четыре года, пока тело его покажется среди морен, и ее возлюбленный тоже ждал, и они все еще ждали, когда подошел Билл.

— Много наловил? — спросил он. Он держал и спиннинг, и сачок, и мешок с форелями в одной руке и был весь в поту. За шумом плотины я не слыхал, как он подошел.

— Шесть штук. А ты?

Билл сел, раскрыл мешок, положил крупную форель на траву. Он вынул еще три — одна больше другой — и положил их рядышком в тени дерева. Лицо у него было потное и счастливое.

— А твои какие?

— Помельче.

— Покажи.

— Я уже убрал их.

— Все-таки скажи, какие они?

— Они все с твою самую маленькую.

— Врешь!

— К сожалению, нет.

— Всех на червяка брал?

— Да.

— Вот лентяй!

Билл положил форели в мешок и пошел к реке, размахивая открытым мешком. Брюки его промокли до самого пояса, и я понял, что он удил, стоя в воде.

Я поднялся на дорогу и достал наши бутылки вина. Они были холодные. Пока я возвращался под деревья, влага бусинками выступила на бутылках. Я разложил завтрак на газете, откупорил одну бутылку, а другую прислонил к дереву. Билл подошел, вытирая руки, с мешком, набитым папоротником.

— Ну, посмотрим, что это за вино,— сказал он. Он вытащил пробку, поднял бутылку и отхлебнул.— У-у! Даже глаза щиплет.

— Дай попробовать.

Вино было холодное, как лед, с горьковатым привкусом.

— Не так уж плохо,— сказал Билл.

— Спасает то, что холодное,— сказал я.

Мы развернули свертки с едой.

— Курица.

— А вот крутые яйца.

— Соль есть?

— Сначала яйцо,— сказал Билл,— потом курица. Это даже Брайан понимал.

— Он умер. Я прочел вчера в газете.

— Ну? Не может быть!

— Верно. Брайан умер.

Билл положил наполовину очищенное яйцо.

— Джентльмены! — сказал он, разверпывая кусок газеты и доставая куриную ножку.— Я действую в обратном порядке. Во имя Брайана. В честь Великого Гражданина. Сначала курица, потом яйцо.

— Интересно, в какой день бог сотворил курицу?

— Ах,— сказал Билл, обсасывая ножку,— откуда нам это знать? Не нужно задавать вопросы. Короток наш жизненный путь на земле. Будем же наслаждаться, веровать и благодарить.

— Съешь яйцо.

Билл жестикулировал, держа куриную ножку в одной руке, а бутылку в другой.

— Насладимся благословенными дарами. Попользуемся птицами небесными. Попользуемся плодами виноградных лоз. Хочешь немножко попользоваться, брат мой?

— Пей, брат мой, прошу тебя.

Билл сделал большой глоток.

— Попользуйся, брат мой.— Он передал мне бутылку.— Отгоним сомнения. Не будем рыться обезьяньими руками в священных тайнах курятника. Примем это чудо на веру и возгласим в простоте души — прошу тебя, присоедини свой голос к моему,— что же мы возгласим, брат мой? — Он ткнул в меня куриной ножкой и продолжал: — Я скажу тебе. Мы возгласим,— я лично горжусь этим и хочу, чтобы ты, брат мой, преклонив колена, возгласил вместе со мной. Да не устыдится никто преклонить колена здесь, среди великой природы! Вспомни, что леса были первыми храмами господа. Преклоним колена и возгласим: не ешьте этой курицы — ибо это Менкен.

— Возьми,— сказал я,— попользуйся немножко вот этим.

Мы откупорили вторую бутылку.

— А в чем дело? — спросил я.— Ты не любил Брайана?

— Я любил Брайана,— сказал Билл.— Мы были как родные братья.

— Где ты с ним познакомился?

— Я с ним учился в школе Святого Креста, с ним и с Менкеном.

— И с боксером Фрэнки Фричем,— сказал я.

— Неправда. Фрэнки Фрич учился в Фордхэмском университете.

— А я учился в школе Лойолы вместе с епископом Мэннингом.

— Неправда,— сказал Билл.— Это я учился в школе Лойолы с епископом Мэннингом.

— Ты пьян,— сказал я.

— От вина?

— Вероятно.

— Это от сырости,— сказал Билл.— Нужно убрать эту собачью сырость.

— Выпьем еще?

— Это все, что у нас есть?

— Только две бутылки.

— Знаешь, кто ты? — Билл с нежностью смотрел на бутылку.

— Нет,— сказал я.

— Ты агент Лиги трезвенников.

— Я учился в школе Богоматери с Уэн Б. Уилером, главой Лиги.

— Неправда,— сказал Билл.— Это я учился в Коммерческом училище Остина с Уэн Б. Уилером. Он был нашим старостой.

— Все равно,— сказал я,— долой кабаки!

— Ты прав, дорогой одноклассник,— сказал Билл.— Долой кабаки, и я погибну вместе с ними!

— Ты пьян.

— От вина?

— От вина.

— Все может быть.

— Хочешь вздремнуть?

— Давай.

Мы легли головами в тень и смотрели вверх, сквозь сучья деревьев.

— Спишь?

— Нет,— сказал Билл.— Я думаю.

Я закрыл глаза. Приятно было лежать на земле.

— Послушай,— сказал Билл.— Что у тебя с Брет?

— А что?

— Ты был когда-нибудь влюблен в нее?

— Был.

— И долго это тянулось?

— С перерывами, а вообще очень долго.

— О, черт! — сказал Билл.— Прости, милый.

— Ничего,— сказал я.— Теперь уже мне наплевать.

— Правда?

— Правда. Только я предпочел бы не говорить об этом.

— Ты не сердишься, что я спросил?

— Чего ради я стал бы сердиться?

— Я буду спать,— сказал Билл. Он закрыл лицо газетой.— Послушай, Джейк,— сказал он,— ты правда католик?

— Формально.

— А что это значит?

— Не знаю.

— Ну, ладно, я буду спать,— сказал он.— Не болтай, пожалуйста, ты мне мешаешь.

Я тоже уснул. Когда я проснулся, Билл укладывал рюкзак. Было уже поздно, и тени деревьев вытянулись и легли на плотину. Я не мог разогнуться после сна на земле.

— Что с тобой? Ты проснулся? — спросил Билл.— Почему ты уж заодно не проспал всю ночь?

Я потянулся и протер глаза.

— Мне приснился чудесный сон,— сказал Билл.— Ничего не помню, но сон был чудесный.

— Мне как будто ничего не снилось.

— Напрасно,— сказал Билл.— Все наши крупнейшие бизнесмены были сновидцами и мечтателями. Вспомни Форда. Вспомни президента Кулиджа. Вспомни Рокфеллера. Вспомни Джо Дэвидсона.

Я развинтил наши спиннинги и уложил их в чехол. Катушки я положил в мешок со снаряжением. Билл уже собрал рюкзак, и мы сунули туда один из мешков с форелями. Другой понес я.

— Ну,— сказал Билл,— как будто все взяли.

— А червяки?

— Ну тебя с твоими червяками. Клади их сюда.

Он уже надел рюкзак, и я положил банки с червями в один из наружных карманов.

— Теперь все?

Я посмотрел кругом, не осталось ли чего на траве под вязами.

— Все.

Мы пошли по дороге, ведущей в лес. До Бургете было далеко, и уже стемнело, когда мы лугами спустились на дорогу и шли к гостинице между двумя рядами освещенных домов.

Мы пробыли в Бургете пять дней и хорошо порыбачили. Ночи стояли холодные, а дни знойные, и всегда дул ветерок, даже в самое жаркое время дня. Приятно было в такую жару входить в холодную воду, а потом сидеть на берегу и обсыхать на солнце. Мы нашли ручей с такой глубокой заводью, что в ней можно было плавать. Вечерами мы играли в бридж втроем — с англичанином, любителем рыбной ловли, по фамилии Харрис, который пришел пешком из Сен-Жан-Пье-де-Пор и жил в нашей гостинице. Он оказался очень славный и два раза ходил с нами на реку Ирати. Ни от Роберта Кона, ни от Брет и Майкла не было ни строчки.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда я в то утро спустился вниз к завтраку, Харрис, англичанин, уже сидел за столом. Надев очки, он читал газету. Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Доброе утро,— сказал он.— Вам письмо. Я заходил на почту, и мне дали его вместе с моими.

Письмо, прислоненное к чашке, ждало меня у моего прибора. Харрис снова углубился в газету. Я вскрыл письмо. Его переслали из Памплоны. Письмо было помечено «Сан-Себастьян, воскресенье»:

Дорогой Джейк!

Мы приехали сюда в пятницу, Брет раскисла в дороге, и я привез ее на три дня сюда к нашим старым друзьям, отдохнуть. Выезжаем в Памплону, отель Монтойи, во вторник приедем, в котором часу, не знаю. Пожалуйста, пришлите записку с автобусом, где вас найти в среду. Сердечный привет, и простите, что запоздали, но Брет правда расклеилась, а ко вторнику она поправится, и она почти здорова и сейчас. Я так хорошо ее знаю и стараюсь смотреть за ней, но это не так-то легко. Привет всей компании.

Майкл.

— Какой сегодня день? — спросил я Харриса.

— Кажется, среда. Да, правильно: среда. Удивительно, как здесь, в горах, теряешь счет дням.

— Да. Мы здесь уже почти неделю.

— Надеюсь, вы не собираетесь уезжать?

— Именно собираюсь. Боюсь, что нам придется уехать сегодня же дневным автобусом.

— Какая обида! Я рассчитывал, что мы еще раз вместе отправимся на Ирати.

— Нам нужно ехать в Памплону. Мы сговорились с друзьями встретиться там.

— Это очень грустно для меня. Мы так хорошо проводили здесь время.

— Поедем с нами в Памплону. В бридж будем играть, и потом, там будет замечательная фиеста.

— Охотно бы поехал. Спасибо за приглашение. Но я все-таки лучше побуду здесь. У меня осталось так мало времени для рыбной ловли.

— Вам хочется наловить самых крупных форелей в Ирати?

— Очень хочется. Там попадаются огромные.

— Я сам с удовольствием еще разок поудил бы.

— Давайте. Останьтесь еще на день. Будьте другом.

— Не могу. Нам правда необходимо ехать в город,— сказал я.

— Очень жаль.

После завтрака мы с Биллом грелись на солнце, сидя на скамейке перед гостиницей, и обсуждали положение. На дороге, ведущей из центра города к гостинице, появилась девушка. Она подошла к нам и достала телеграмму из кожаной сумки, которая болталась у нее на боку.

— Por ustedes? [1]

Я взглянул на телеграмму. Адрес: «Барнс, Бургете».

— Да. Это нам.

Она вынула книгу, я расписался и дал ей несколько медяков. Телеграмма была по-испански: «Vengo jueves Cohn».

Я показал телеграмму Биллу.

— Что значит Cohn? — спросил он.

— Вот дурацкая телеграмма! — сказал я.— Он мог послать десять слов за ту же цену. «Приеду четверг». Не очень-то вразумительно, правда?

— Здесь все сказано, что Кону нужно.

— Мы все равно поедем в Памплону. Нет смысла до фиесты тащить Брет и Майкла сюда и обратно. Ответим ему?

— Почему же не ответить,— сказал Билл.— Надо соблюдать приличия.

Мы пошли на почту и попросили телеграфный бланк.

— Что будем писать? — спросил Билл.

— «Приедем вечером». Вот и все.

Мы заплатили за телеграмму и вернулись в гостиницу. Харрис ждал нас, и мы втроем отправились в Ронсеваль. Осмотрели монастырь.

— Это очень интересно,— сказал Харрис, когда мы вышли.— Но знаете, я как-то не умею увлекаться такими вещами.

— Я тоже,— сказал Билл.

— Хотя это очень интересно,— сказал Харрис.— Я рад, что побывал здесь. Все никак не мог собраться.

— Все-таки это не то, что рыбу ловить? — спросил Билл. Ему нравился Харрис.

— Ну, еще бы!

Мы стояли перед древней часовней монастыря.

— Скажите, не кабачок ли там, через дорогу? — спросил Харрис.— Или глаза мои обманывают меня?

— Смахивает на кабачок,— сказал Билл.

— И мне сдается, что кабачок,— сказал я.

---

[1] Для вас? *(исп.)*

— Давайте,— сказал Харрис,— попользуемся им.— «Попользоваться» он перенял у Билла.

Мы заказали три бутылки вина. Харрис не позволил нам платить. Он хорошо говорил по-испански, и хозяин не взял денег ни с меня, ни с Билла.

— Вы не знаете, друзья, как мне приятно было с вами.

— Мы отлично провели время, Харрис.

Харрис был слегка пьян.

— Право, вы не знаете, как мне приятно было с вами. Я мало хорошего видел со времени войны.

— Мы еще когда-нибудь порыбачим вместе. Вот увидите, Харрис.

— Непременно. Мы так чудесно провели время.

— А если распить еще бутылочку?

— Чудесная мысль,— сказал Харрис.

— За эту я плачу,— сказал Билл.— А то мы пить не станем.

— Позвольте мне заплатить, для меня это такое удовольствие.

— А это будет удовольствие для меня,— сказал Билл.

Хозяин принес четвертую бутылку. Наши стаканы еще стояли на столе. Харрис поднял свой стакан.

— Знаете, этим хорошо можно попользоваться.

Билл хлопнул его по плечу.

— Вы славный, Харрис.

— Знаете, меня, собственно, зовут не Харрис, а Уилсон-Харрис. Это одна фамилия, через дефис, понимаете?

— Вы славный, Уилсон-Харрис,— сказал Билл.— Мы зовем вас Харрис, потому что любим вас.

— Знаете, Барнс, вы даже не понимаете, как мне хорошо с вами.

— Попользуйтесь еще стаканчиком,— сказал я.

— Правда, Барнс, вы не можете этого понять. Вот и все.

— Пейте, Харрис.

На обратном пути из Ронсеваля Харрис шел между нами. Мы позавтракали в гостинице, и Харрис проводил нас до автобуса. Он дал нам свою визитную карточку с лондонским домашним адресом, адресом конторы и адресом клуба, а когда мы сели в автобус, он вручил нам по конверту. Я вскрыл свой конверт и увидел там с десяток искусственных мух. Харрис сам приготовил их. Он всегда готовил их сам.

— Послушайте, Харрис...— начал я.

— Нет, нет! — сказал он. Он уже слезал с автобуса.— Это вовсе не первосортные мухи. Я просто подумал, что, когда вы будете насаживать их, вы, может быть, вспомните, как хорошо мы провели время.

Автобус тронулся. Харрис стоял у подъезда почты. Он помахал нам. Когда мы покатили по дороге, он повернулся и пошел обратно, к гостинице.

— Правда, Харрис очень милый? — сказал Билл.

— Он, кажется, в самом деле хорошо провел время.

— Он-то? Ну, еще бы!

— Жалко, что он не поехал с нами в Памплону.

— Ему хочется рыбу ловить.

— Да. И еще неизвестно, как наши англичане поладили бы между собой.

— Вот это верно.

Мы приехали в Памплону под вечер, и автобус остановился у подъезда отеля Монтойи. На площади протягивали электрические провода для освещения площади во время фиесты. Когда автобус остановился, к нему подошли несколько ребят, и таможенный чиновник велел всем сошедшим с автобуса развязать свои узлы тут же, на тротуаре. Мы вошли в отель, и на лестнице я встретил Монтойу. Он пожал нам руки, улыбаясь своей обычной смущенной улыбкой.

— Ваши друзья здесь,— сказал он.

— Мистер Кэмбелл?

— Да. Мистер Кон, мистер Кэмбелл и леди Эшли.

Он улыбался, словно хотел еще что-то сказать.

— Когда они приехали?

— Вчера. Я оставил для вас ваш старый номер.

— Вот спасибо. Вы дали мистеру Кэмбеллу номер с окнами на площадь?

— Да. Те комнаты, которые мы с вами выбрали.

— А где они сейчас?

— Они, кажется, пошли смотреть, как играют в пелоту.

— А что быки?

Монтойа улыбнулся.

— Сегодня вечером,— сказал он.— Сегодня в семь часов привезут вильярских, а завтра — мьюрских. Вы все пойдете смотреть?

— Непременно. Они никогда не видели выгрузки быков.

Монтойа положил мне руку на плечо.

— Значит, там увидимся.

Он снова улыбнулся. Он всегда улыбался так, точно бой быков был нашей с ним личной тайной; немного стыдной, но очень глубокой тайной, о которой знали только мы. Он всегда улыбался так, точно для посторонних в этой тайне, которую мы одни с ним понимали, было что-то непристойное. Не следовало открывать ее людям, которым не дано понять ее.

— Ваш друг тоже aficionado? — Монтойа улыбнулся Биллу.

— Да. Он нарочно приехал из Нью-Йорка, чтобы увидеть праздник святого Фермина.

— Неужели? — Монтойа вежливо удивился.— Но он не такой aficionado, как вы.

Он опять смущенно положил мне руку на плечо.

— Такой же,— сказал я.— Он настоящий aficionado.

— Но все-таки не такой, как вы.

Aficion значит страсть. Aficionado — это тот, кто страстно увлекается боем быков. Все хорошие матадоры останавливались в отеле Монтойи; то есть те, что были aficionado, останавливались у него. Матадоры, работающие только ради денег, иногда останавливались, но никогда не заезжали во второй раз. Хорошие матадоры приезжали каждый год. В комнате Монтойи висели их фотографии с собственноручными надписями. Они были подарены либо Хуанито Монтойе, либо его сестре. Фотографии тех матадоров, которых Монтойа признавал, висели в рамках на стене. Фотографии матадоров, лишенных aficion, Монтойа держал в ящике стола. На многих были самые лестные надписи. Но это не имело значения. Однажды Монтойа все их вынул из ящика и бросил в корзину. Он не желал хранить их у себя.

Мы часто говорили с ним о быках и о матадорах. Я останавливался в отеле Монтойи уже несколько лет подряд. Разговор наш никогда не бывал длинным. Нам просто доставляло удовольствие обменяться мнениями. Нередко люди, приехавшие издалека, прежде чем покинуть Памплону, заходили на несколько минут к Монтойе, чтобы поговорить о быках. Все это были страстные любители боя быков. Такие всегда могли получить номер, даже когда отель был переполнен. Монтойа иногда знакомил меня с ними. Сперва они держались очень чопорно и относились ко мне, как к американцу, с насмешливым недоверием. Почему-то считалось, что американцу недоступна подлинная страсть. Он может притворяться или принимать возбуждение за страсть, но не может быть настоящим aficionado. Когда же они убеждались в подлинности моей страсти, а для этого не существовало ни пароля, ни каких-либо обязательных вопросов, скорей это была своего рода устная проверка, некий искус, во время которого вопросы ставились осторожно, с недомолвками — тогда они так же смущенно клали мне руку на плечо или говорили: «Buen hombre» [1]. Но чаще они старались коснуться меня. Казалось, это прикосновение нужно им, чтобы удостовериться в моей aficion.

Матадору, который страстно любил бой быков, Монтойа прощал все. Он прощал нервные припадки, трусость, дурные, необъяснимые поступки, любые прегрешения. За страсть к бою быков он

[1] Хороший человек *(исп.)*.

прощал все. Так он сразу простил мне всех моих друзей. Он не подчеркивал этого, просто нам обоим было как-то неловко говорить о них, как неловко говорить об участи лошадей на арене боя быков.

Билл прямо поднялся наверх, как только мы вошли, и теперь мылся и переодевался в своей комнате.

— Ну что,— сказал он,— наговорился по-испански?

— Он сказал мне, что быков привезут сегодня вечером.

— Давай разыщем наших и пойдем туда.

— Ладно. Они, должно быть, сидят в кафе.

— Билеты взял?

— Взял. На все выгрузки.

— А это интересно? — Он перед зеркалом натягивал кожу на лице, проверяя, не осталось ли невыбритых мест под челюстью.

— Интересно,— сказал я.— Быков по одному выпускают из клетки в корраль, а волы поджидают их и не дают им бодаться, а быки кидаются на волов, и волы бегают вокруг, как старые девы, и стараются унять их.

— А они бодают волов?

— Бодают. Иногда бык прямо кидается на вола и убивает его.

— А волы ничего не могут поделать?

— Нет. Они стараются подружиться с быками.

— А на что они вообще, волы?

— Чтобы успокоить быков, не давать им ломать рога о каменные стены или бодать друг друга.

— Приятное, должно быть, занятие быть волом.

Мы спустились вниз, вышли из отеля и зашагали через площадь к кафе Ирунья. На площади одиноко стояли две будки для продажи билетов. Окошечки с надписями: «Sol, Sol y Sombra, Sombra» [1] были закрыты. Они откроются только накануне фиесты.

Белые плетеные столики и кресла кафе Ирунья стояли не только под аркадой, но занимали весь тротуар. Я поискал глазами Брет и Майкла. Они оказались здесь. Брет, Майкл и Роберт Кон. Брет была в берете, какие носят баски. Майкл тоже. Роберт Кон был без шляпы и в очках. Брет увидела нас и помахала рукой. Пока мы подходили к их столику, она, сощурившись, смотрела на нас.

— Хэлло, друзья! — крикнула она.

Брет сияла от радости. В рукопожатии Майкла чувствовалась дружеская теплота, Роберт Кон пожал нам руки потому, что мы только что приехали.

— Где вы пропадали? — спросил я.

— Я привез их сюда,— сказал Кон.

---

[1] Солнце, солнце и тень, тень *(исп.)*.

— Какая чушь,— сказала Брет.— Мы давно бы приехали, если бы не вы.

— Никогда бы вы не приехали.

— Какая чушь! А вы оба загорели. Посмотрите, какой Билл черный.

— Хорошая ловля была? — спросил Майкл.— Нам так хотелось приехать.

— Хорошая. Мы жалели, что вас нет.

— Мне хотелось приехать,— сказал Кон,— но я решил, что нужно их привезти.

— Привезти нас! Какая чушь!

— Правда, хорошая была ловля? — спросил Майкл.— Много наловили?

— Бывали дни, по десятку на брата. С нами был один англичанин.

— По фамилии Харрис,— сказал Билл.— Не знавали такого, Майкл? Он тоже был на войне.

— Вот счастливец! — сказал Майкл.— Веселое было времечко. О, кто вернет мне те лучезарные дни!

— Не ломайся.

— Вы были на войне, Майкл? — спросил Кон.

— Еще бы!

— Он доблестно сражался,— сказала Брет.— Расскажи им, как твоя лошадь понесла на Пикадилли.

— Не хочу. Я уже четыре раза рассказывал.

— А мне ни разу не рассказывали,— сказал Роберт Кон.

— Не хочу рассказывать. Это бросает тень на меня.

— Расскажи им про твои медали.

— Не хочу. Этот случай бросает черную тень на меня.

— А что это за история?

— Брет вам расскажет. Она рассказывает все случаи, которые бросают на меня тень.

— Ну, Брет, расскажите.

— Рассказать?

— Я сам расскажу.

— Какие вы получили медали, Майкл?

— Никаких медалей я не получал.

— Совсем никаких?

— Не знаю. Должно быть, я получил все медали, какие полагаются. Но я никогда не просил, чтобы мне их выдали. А потом устроили грандиозный банкет и ждали, что приедет принц Уэльский, и в билете было написано, чтобы быть при знаках отличия. Ну, ясное дело, у меня их не было, я заехал к своему портному, показал билет, он проникся уважением ко мне, я воспользовался этим и говорю ему: «Достаньте мне медали». Он говорит: «Какие,

сэр?» А я говорю: «Все равно, какие-нибудь. Дайте мне несколько штук». А он говорит: «Какие вы получали медали, сэр?» А я говорю: «Почем я знаю? Неужели вы думаете, что я трачу время на чтение армейских бюллетеней? Дайте мне любые, только побольше. Выберите сами». Он и дал мне медали, знаете, маленькие такие, целую коробку, а я сунул коробку в карман и забыл про них. Ну, поехал я на банкет, а в тот вечер убили сына Вудро Вильсона, и принц не приехал, и король не приехал, и знаков отличия не полагалось, и все пыхтели, снимая их с себя, а мои лежали у меня в кармане.

Он сделал паузу и ждал, чтобы мы засмеялись.

— Это все?

— Все. Может быть, я плохо рассказал.

— Очень плохо,— сказала Брет.— Но это не важно.

Мы все засмеялись.

— Ах да,— сказал Майкл,— вспомнил. На банкете была тоска смертная, я не выдержал и ушел. Вечером, попозже, я нашел у себя в кармане коробку. Что это такое? — подумал я. Медали? Дурацкие военные медали. Я взял и срезал их — знаете, их нашивают на такую колодку — и роздал. Каждой девчонке по медали. Так сказать, на память. Они были потрясены. Вот это вояка! Раздает медали в кабаке. Такому все нипочем.

— Расскажи до конца,— сказала Брет.

— По-вашему, это не смешно было? — спросил Майкл.

Мы все смеялись.

— Очень смешно было. Ей-богу. Так вот — портной пишет мне письмо с просьбой вернуть медали. Присылает человека за ними. Полгода письма пишет. Оказывается, кто-то принес ему медали, чтобы он их почистил. Какой-то военный. Страшно дорожил ими, чуть с ума не сошел.— Майкл помолчал — Печально кончилось для портного,— сказал он.

— Да что вы говорите! — сказал Билл.— А я-то думал, что вы его просто осчастливили.

— Удивительный портной. Сейчас этому трудно поверить, глядя на меня,— сказал Майкл.— Я платил ему сто фунтов в год, чтобы не приставал. И он никогда не присылал счетов. Мое банкротство сразило его. Это случилось сейчас же после истории с медалями. Оттого и письма были такие сердитые.

— А как вы обанкротились? — спросил Билл.

— Двумя способами,— сказал Майкл.— Сначала постепенно, а потом сразу.

— А из-за чего?

— Из-за друзей,— сказал Майкл.— У меня была куча друзей. Вероломных друзей. А кроме того, у меня были кредиторы. Я думаю, ни у кого в Англии не было столько кредиторов, как у меня.

— Расскажи им про суд,— сказала Брет.

— Этого я не помню,— сказал Майкл.— Я был чуточку пьян.

— Чуточку! — воскликнула Брет.— Ты был пьян как стелька!

— Удивительный случай,— сказал Майкл.— На днях встретил своего бывшего компаньона. Предложил поднести мне стаканчик.

— Расскажи им про своего ученого адвоката,— сказала Брет.

— Не хочу,— сказал Майкл.— Ученый адвокат тоже был пьян. Вообще это мрачная тема. Мы идем смотреть, как выгружают быков, или нет?

— Пошли.

Мы подозвали официанта, расплатились и отправились на другой конец города. Я пошел было с Брет, но Роберт Кон нагнал нас и пошел подле Брет с другой стороны. Так мы и шли втроем,— мимо ayuntamiento с развевающимися на балконе флагами, и дальше, мимо рынка, и по крутой улочке, ведущей к мосту через Аргу. Много народу шло вместе с нами смотреть быков, экипажи спускались под гору и переезжали через мост, и над толпой пешеходов высились кнуты, лошади и кучера. Пройдя мост, мы свернули на дорогу, ведущую к корралю. Мы прошли мимо винной лавки, где в окне висело объявление: «Хорошее вино, 30 сентимо литр».

— Вот куда будем ходить, если останемся без денег,— сказала Брет.

Когда мы проходили мимо лавки, женщина, стоявшая в дверях, посмотрела на нас. Она крикнула что-то через плечо, и три девушки подошли к окну и уставились на нас. Они смотрели на Брет.

У ворот корраля два контролера отбирали билеты у входящих. Мы прошли в ворота. За оградой росли деревья и стояло низкое каменное здание. В конце двора виднелась каменная стена корраля с отверстиями, которые, словно бойницы, шли по фасаду каждого из двух загонов. К стене была прислонена лестница, и люди поднимались по ней и становились на широкие перегородки между загонами. Когда мы по траве под деревьями подходили к лестнице, мы прошли мимо больших, выкрашенных серой краской клеток, в которых стояли быки. В каждой клетке было по одному быку. Они приехали поездом из кастильской ганадерии, и их на вокзале выгрузили с товарных платформ и привезли сюда, чтобы выпустить из клеток в корраль. На каждой клетке была обозначена фамилия и клеймо владельца ганадерии.

Мы влезли на лестницу и примостились на стене, откуда виден был корраль. Каменные стены были выбелены, на земле постлана солома, и вдоль стен стояли деревянные кормушки и корыта для воды.

— Посмотрите туда,— сказал я.

За рекой, на плато, поднимался город. Древние валы и крепостные стены были сплошь усеяны людьми. Три ряда укреплений чернели людьми, словно три наведенные тушью линии. Выше, в окнах домов, повсюду виднелись головы. На деревья, у края плато, взобрались мальчишки.

— Они точно ждут чего-то,— сказала Брет.

— Они хотят видеть быков.

Майкл и Билл стояли на противоположной стене загона. Они помахали нам. Запоздавшие зрители стояли за нами, нажимая на нас, когда их теснили сзади.

— Почему они не начинают? — спросил Роберт Кон.

К одной из клеток привязали мула, и он потащил ее к воротам в стене корраля. Служители корраля, вооруженные ломами, подталкивали и приподымали клетку, чтобы она стала прямо против ворот. На стене уже стояли другие люди, готовясь открыть ворота корраля и дверцу клетки. Открылись ворота в задней стене корраля, и, крутя головой, поводя тощими боками, вбежали два вола. Они стали рядом недалеко от стены, головой к воротам, откуда должен был появиться бык.

— Вид у них невеселый,— сказала Брет.

Люди на стене нагнулись и открыли ворота корраля. Потом они открыли дверцу клетки.

Я перегнулся через стену, пытаясь заглянуть в клетку. Там было темно. Кто-то постучал по клетке железным прутом. Внутри точно взорвалось что-то. Бык шумел, всаживая рога направо и налево в деревянные доски клетки. Потом я увидел темную морду и тень от рогов, и, стуча копытами по гулким доскам, бык ринулся в корраль, заскользил передними ногами по соломе, остановился, дрожа всем телом, со вздувшимися горбом шейными мышцами и, задрав голову, оглядел толпу на каменных стенах. Оба вола попятились к стене, опустив голову, не спуская глаз с быка.

Бык увидел волов и кинулся на них. Один из загонщиков, стоявший за кормушкой, громко крикнул, хлопая шляпой по деревянным докам, и бык, забыв о волах, повернул, подобрался, подскочил к кормушке и стал быстро-быстро бодаться правым рогом, стараясь всадить его в загонщика.

— Господи, как он хорош! — сказала Брет.

Бык стоял как раз под нами.

— Посмотрите, как он умеет пользоваться рогами,— сказал я.— У него левый и правый удар, как у боксера.

— Неужели?

— Посмотрите.

— Не могу уследить.

— Подождите. Сейчас выпустят другого.

В воротах уже стояла вторая клетка. В дальнем углу корраля загонщик отвлекал внимание быка, прячась за дощатую загородку, и пока бык смотрел в его сторону, ворота открыли, и второй бык ворвался в корраль.

Он кинулся прямо на волов, и два загонщика выбежали из-за досок и стали громко кричать, стараясь перехватить его. Они кричали: «А-а! А-а! Торо!» — и размахивали руками, но бык не повернул; волы стали боком, чтобы принять удар, и бык всадил рога в одного из них.

— Отвернитесь,— сказал я Брет.

Но она смотрела на быка как зачарованная.

— Вот и отлично,— сказал я,— если вам не противно.

— Я видела,— сказала она.— Я видела, как он ударил сначала левым, потом правым рогом.

— Молодец!

Вол как упал, так и остался лежать, вытянув шею, отвернув голову. Внезапно бык оставил его и ринулся к другому волу, который все время стоял в дальнем углу корраля, крутя головой и следя за быком. Вол неуклюже побежал, бык нагнал его, легонько толкнул в бок, отвернулся и свирепо, со вздувшимся загривком, посмотрел на усеявших степы людей. Вол подошел к нему и сделал вид, что хочет обнюхать его, и бык несколько раз небрежно боднул вола. Потом бык обнюхал вола, и они вместе рысцой побежали к первому быку.

Когда следующий бык вышел из клетки, все трое — оба быка и вол — стояли вместе, сдвинув головы, выставив рога против вновь прибывшего. В несколько минут вол подружился с быком, успокоил его и присоединил к стаду. Когда выгрузили последних двух быков, все стадо собралось в одном месте.

Вол, которого сшиб первый бык, поднялся на ноги и стал, опираясь о каменную стену. Быки не подходили к нему, и он не пытался присоединиться к стаду.

Мы слезли со стены вместе с толпой и еще раз взглянули на быков через отверстия в стене корраля. Теперь все они стояли смирно, опустив головы. Выйдя за ворота, мы взяли экипаж и поехали в кафе. Майкл и Билл пришли через полчаса после нас. По дороге они несколько раз заходили выпить.

Мы все сидели за столиком в кафе.

— Удивительно все-таки,— сказала Брет.

— А последние быки так же хороши для боя, как первые? — спросил Роберт Кон.— Они, мне кажется, слишком быстро успокоились.

— Они все друг друга знают,— сказал я.— Они страшны только в одиночку или по двое, по трое.

— То есть как это только? — сказал Билл.— По-моему, они всегда достаточно страшные.

— Бык испытывает желание убить, только когда он один. Конечно, если бы ты вошел к ним, ты тем самым, вероятно, отделил бы одного из них от стада, и тогда он был бы опасен.

— Это слишком сложно для меня,— сказал Билл.— Пожалуйста, Майкл, никогда не отделяйте меня от стада.

— Знаете,— сказал Майкл,— это все-таки изумительные быки. Вы видели, какие у них рога?

— Еще бы,— сказала Брет.— Я раньше понятия не имела, какие они.

— А вы видели, как он забодал вола? — спросил Майкл.— Замечательно!

— Невесело быть волом,— сказал Роберт Кон.

— Вы так думаете? — сказал Майкл.— А мне кажется, что вам понравилось бы быть волом.

— Что вы хотите сказать, Майкл?

— У них очень покойная жизнь. Они всегда молчат и трутся возле быков.

Всем стало неловко. Билл засмеялся. Роберт Кон обиделся. Майкл продолжал болтать:

— По-моему, вам понравилось бы. Могли бы спокойно молчать. Послушайте, Роберт, скажите хоть слово, нельзя же просто сидеть и молчать.

— Я говорил, Майкл. Разве вы не помните? Я сказал о волах.

— Ну, скажите еще что-нибудь. Скажите что-нибудь смешное. Вы же видите, нам всем очень весело.

— Перестань, Майкл. Ты пьян,— сказала Брет.

— Нет, я не пьян. Я говорю серьезно. Я желал бы знать, долго еще Роберт Кон будет, как эти волы, тереться возле Брет?

— Замолчи, Майкл! Покажи, что ты хорошо воспитан.

— К черту воспитание! Кто вообще хорошо воспитан, кроме быков? А правда, быки чудесные? Понравились они вам, Билл? Отчего вы молчите, Роберт? Что вы сидите здесь с похоронной физиономией? Предположим, что Брет спуталась с вами. Ну, и что ж? Она путалась со многими, почище вас.

— Замолчите,— сказал Кон. Он встал из-за стола.— Замолчите, Майкл.

— Пожалуйста, не становитесь в позицию, как будто вы собираетесь ударить меня. Не испугаете. Скажите мне, Роберт, какого черта вы таскаетесь за Брет, как несчастный вол какой-то? Разве вы не видите, что вы лишний? Я всегда знаю, когда я лишний. Почему же вы не знаете, когда вы лишний? Вы приехали в Сан-Себастьян, где никто вас не ждал, и таскаетесь за Брет, как несчастный вол какой-то. По-вашему, это хорошо?

— Замолчите. Вы пьяны.

— Может быть, я и пьян. А вы почему не пьяны? Почему вы никогда не напиваетесь? Не очень-то вам весело было в Сан-Себастьяне. Никто из наших знакомых не приглашал вас к себе. И что же, они не правы, по-вашему? Скажите. Я даже сам просил их. Но они не захотели. Так что же, не правы они, по-вашему? Скажите. Ну, отвечайте же. Правы они или нет?

— Отстаньте, Майкл.

— По-моему, они правы. А по-вашему, не правы? Что вы таскаетесь за Брет? Что у вас за манеры? Как вы думаете, каково это мне?

— О манерах ты лучше помолчал бы,— сказала Брет.— У тебя у самого изумительные манеры.

— Пойдемте, Роберт,— сказал Билл.

— Чего ради вы за ней таскаетесь?

Билл встал из-за стола и потянул Кона за рукав.

— Не уходите,— сказал Майкл.— Роберт Кон хочет заказать вина.

Билл ушел с Коном. Кон был изжелта-бледен. Майкл продолжал болтать. Я молча сидел и слушал. Брет казалась рассерженной.

— Послушай, Майкл,— прервала она его,— перестань дурака валять. Это не значит, что он не прав,— сказала она, повернувшись ко мне.

Майкл сразу заговорил спокойным тоном. Мы все были в ладу друг с другом.

— Я вовсе не так пьян, как вам кажется,— сказал он.

— Я знаю, что ты не пьян,— сказала Брет.

— Мы все немного выпили,— сказал я.

— Я говорил только то, что думаю.

— Но в каких ужасных выражениях,— засмеялась Брет.

— Все равно, он дурак. Приехал в Сан-Себастьян, где он никому не был нужен. Он терся возле Брет и глаз не сводил с нее. Меня просто тошнило.

— Да, он очень плохо вел себя,— сказала Брет.

— Вы поймите. У Брет были любовники и раньше. Она мне все рассказывает. Она давала мне письма этого Кона, но я не стал читать.

— Страшно благородно с твоей стороны.

— Нет, вы послушайте, Джейк. У Брет были любовники. Но все-таки не евреи, и они не приставали к ней после.

— Отличные были ребята,— сказала Брет.— Но все это чушь, не стоит и говорить. Мы с Майклом понимаем друг друга.

— Она давала мне письма Роберта Кона. Я не стал их читать.

— Ты никаких писем не стал бы читать, милый. И моих не прочел бы.

— Не могу читать писем,— сказал Майкл.— Странно, правда?

— Ты вообще не можешь читать.

— Нет. Это неправда. Я уйму читаю. Когда я дома, я всегда читаю.

— Ты скоро писать начнешь,— сказала Брет.— Так вот, Майкл, не расстраивайся. Нужно с этим примириться. Он здесь, ничего не поделаешь. Не порть нам фиесту.

— Тогда пусть ведет себя прилично.

— Он будет вести себя прилично. Я скажу ему.

— Лучше вы скажите ему, Джейк. Скажите ему, чтоб он вел себя прилично или убирался отсюда.

— Ну да,— сказал я.— Кому же и говорить это, как не мне.

— Послушай, Брет. Скажи Джейку, как Роберт тебя называет. Это, знаете, просто перл.

— Ой, нет. Не могу.

— Скажи. Мы ведь все друзья. Правда, Джейк, мы друзья?

— Не могу я этого сказать Джейку. Это слишком глупо.

— Тогда я скажу.

— Не надо, Майкл. Не валяй дурака.

— Он называет ее Цирцеей,— сказал Майкл.— Уверяет, что она превращает мужчин в свиней. Замечательно сказано. Как жаль, что я не писатель.

— А Майкл хорошо мог бы писать,— сказала Брет.— Как он письма пишет!

— Я знаю,— сказал я.— Он писал мне из Сан-Себастьяна.

— Это что! — сказала Брет.— Он может ужасно забавно писать.

— Это она заставила меня написать. Она притворялась, что больна.

— Я и была больна.

— Пойдемте,— сказал я.— Ужинать пора.

— Как мне держаться с Коном? — спросил Майкл.

— Держите себя так, как будто ничего не случилось.

— Мне-то вообще наплевать,— сказал Майкл.— Я ничуть не смущен.

— Если он заговорит об этом, скажите, что вы были пьяны.

— Правильно. И, что смешнее всего, я, кажется, действительно был пьян.

— Идемте,— сказала Брет.— Вы заплатили за эту отраву? Мне надо до ужина ванну принять.

Мы пересекли площадь. Уже стемнело, и вокруг всей площади, под аркадой, светились огни кафе. Мы пошли к отелю по усыпанной гравием дорожке под деревьями.

Брет и Майкл поднялись наверх, а я остановился поговорить с хозяином.

— Ну, как вам понравились быки? — спросил Монтойа.

— Понравились. Хорошие быки.

— Неплохие.— Монтойа покачал головой.— Но они не слишком хороши.

— Чем они вам не понравились?

— Сам не знаю. Просто у меня такое чувство, что они не очень хороши.

— Понимаю.

— Но они неплохие.

— Да, неплохие.

— А вашим друзьям они понравились?

— Очень.

— Вот и хорошо,— сказал Монтойа.

Я поднялся наверх. Билл стоял на балконе своей комнаты и смотрел на площадь. Я подошел к нему.

— Где Кон?

— У себя в комнате.

— Как он?

— Да скверно, конечно. Майкл безобразно вел себя. Он невозможен, когда пьян.

— Он не был пьян.

— Какого черта не был! Я-то знаю, сколько мы выпили по дороге в кафе.

— Он после протрезвился.

— Пусть так. Он безобразно вел себя. Я сам не очень-то люблю Кона, и, по-моему, ехать ему в Сан-Себастьян было нелепо, но говорить человеку такие вещи просто непозволительно.

— Как тебе быки понравились?

— Очень. Замечательно, как их выводят.

— Завтра привезут мьюрских.

— Когда фиеста начнется?

— Послезавтра.

— Нужно следить за Майклом, чтобы он не напивался. А то это слишком безобразно.

— Пора почиститься к ужину.

— Да. Я думаю, будет весело.

— А то как же?

Ужин в самом деле прошел очень весело. Брет надела черное вечернее платье без рукавов. Она была очень красива. Майкл делал вид, будто ничего не случилось. Мне пришлось подняться наверх и привести Роберта Кона. Он держался холодно и церемонно, и лицо его все еще было желтовато-бледное и замкнутое, но под конец он повеселел. Он не мог не смотреть на Брет. По-види-

мому, это доставляло ему радость. Ему, должно быть, приятно было видеть, что она такая красивая, и знать, что она уезжала с ним и что все об этом знают. Этого никто не мог у него отнять. Билл очень много острил. Острил и Майкл. Они были хорошей парой.

Такие ужины я запомнил со времен войны. Много вина, нарочитая беспечность и предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить. Под влиянием вина гнетущее чувство покинуло меня, и я пришел в хорошее настроение. Все они казались такими милыми людьми.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Не знаю, в котором часу я лег. Помню, что я разделся, надел халат и вышел на балкон. Я знал, что я очень пьян, и, вернувшись в комнату, зажег лампу над изголовьем кровати и стал читать. Я читал книгу Тургенева. Вероятно, я несколько раз прочел одни и те же две страницы. Это был рассказ из «Записок охотника». Я уже раньше читал его, но мне казалось, что я читаю его впервые. Картины природы рисовались очень отчетливо, и тяжесть в голове проходила. Я был очень пьян, и мне не хотелось закрывать глаза, потому что комната сразу начала бы кружиться. Лучше еще почитать — тогда это пройдет.

Я слышал, как Брет и Роберт Кон поднялись по лестнице. Кон попрощался перед дверью ее комнаты и пошел по коридору к себе. Я слышал, как Брет зашла в комнату рядом с моей. Майкл уже был в постели. Он пришел вместе со мной час тому назад. Когда она вошла, он проснулся и они заговорили. Я слышал их смех. Я потушил свет и постарался заснуть. Читать уже не нужно было. Я мог закрыть глаза и не чувствовать головокружения. Но я не мог уснуть. Непонятно, почему в темноте все представляется иначе, чем при свете. Какое там, к черту, непонятно!

Когда-то я все это обдумал и целых полгода, ложась спать, не тушил электричества. Нечего сказать — блестящая идея! Впрочем, черт с ними, с женщинами. Черт с тобой, Брет Эшли.

С женщинами так хорошо дружить. Ужасно хорошо. Прежде всего нужно быть влюбленным в женщину, чтобы иметь надежную основу для дружбы. Я пользовался дружбой Брет. Я не думал о том, что ей достается. Я получал что-то, ничего не давая взамен. Это только отсрочило предъявление счета. Счет всегда приходит. На это, по крайней мере, можно твердо надеяться.

Я думал, что я за все заплатил. Не так, как женщины,— платят, и платят, и платят. Не какое-то там воздаяние или кара. Просто обмен ценностями. Что-то уступаешь, а взамен получаешь что-то другое. Или работаешь ради чего-нибудь. Так или иначе за все, хоть отчасти хорошее, платишь. Многое из того, за что я пла-

тил, нравилось мне, и я хорошо проводил время. Платишь либо знанием, либо опытом, либо риском, либо деньгами. Пользоваться жизнью — не что иное, как умение получать нечто равноценное истраченным деньгам и сознавать это. А получать полной ценой за свои деньги можно. Наш мир—солидная фирма. Превосходная как будто теория. Через пять лет, подумал я, она покажется мне такой же глупой, как все мои остальные превосходные теории.

Может быть, это и не так. Может быть, с годами начинаешь кое-что понимать. Мне все равно, что такое мир. Все, что я хочу знать, это — как в нем жить. Пожалуй, если додуматься, как в нем жить, тем самым поймешь, каков он.

Все-таки лучше бы Майкл не вел себя так безобразно с Коном. Майкл не умеет пить. Брет умеет пить. Билл умеет пить. Кон никогда не напивается. Майкл, когда перейдет черту, нехорош. Мне приятно, когда он оскорбляет Кона. Все-таки лучше бы он этого не делал, потому что после я сам себе противен. Это и есть нравственность: если после противно. Нет, это, должно быть, безнравственность. Смелое утверждение. Сколько чепухи по ночам лезет мне в голову. Какая чушь, сказала бы Брет. Какая чушь! Когда водишься с англичанами, привыкаешь думать их словечками. Английская разговорная речь — по крайней мере, у людей высшего круга — содержит, должно быть, меньшее число слов, чем эскимосский язык. Правда, я понятия не имею об эскимосском языке. Может быть, это прекрасный язык. Ну, скажем, прокезский. И о нем понятия не имею. Англичане говорят интонационными речениями. Одно речение может выражать все, что угодно. Все-таки они мне нравятся. Мне нравится, как они говорят. Харрис, например. Однако Харрис не принадлежит к высшему кругу.

Я снова зажег свет и начал читать. Я читал тот же рассказ Тургенева. Я знал, что, прочтя его сейчас, в состоянии обостренной восприимчивости, вызванном чрезмерным количеством выпитого коньяка, я надолго запомню его и после мне будет казаться, что все это на самом деле случилось со мной. Этого у меня не отнимешь. Вот еще кое-что, за что платишь и чего отнять нельзя. Спустя какое-то время, уже под утро, я наконец заснул.

Следующие два дня мы провели очень тихо, и скандалов больше не было. Памплона готовилась к фиесте. На перекрестках рабочие ставили ворота, которыми загораживают поперечные улицы по утрам, когда выпущенные из корраля быки бегут через весь город к цирку. Рабочие рыли ямы и вкапывали столбы, на каждом столбе был обозначен его номер и надлежащее место. За городом, на плато, служители цирка тренировали тощих лошадей, гоняя их по твердому, спекшемуся на солнце грунту позади цирка. Главные ворота были открыты, внутри подметали трибуны для зрителей. Арену уже укатали и полили водой, и плотники чинили барьер в

тех местах, где доски расшатались или дали трещины. С края арены, стоя на ровном, укатанном песке, можно было посмотреть вверх на пустой амфитеатр и увидеть, как старухи подметают пол в ложах.

Снаружи уже были поставлены заборы, которые тянулись от последней улицы до входа в цирк, образуя длинный загон; утром, в день первого боя быков, по этому проходу толпа будет бежать впереди быков. На окраине города, там, где откроется ярмарка лошадей и рогатого скота, цыгане разбили табор под деревьями. Торговцы вином и водкой сколачивали свои ларьки. На одном ларьке была реклама анисовой водки. Жаркое солнце освещало полотнище с надписью «Anis del Toro», висевшее на деревянных досках. На большой площади в центре города еще не было видно никаких перемен. Мы сидели в белых плетеных креслах на террасе кафе и смотрели на подходившие автобусы, из которых вылезали крестьяне, приехавшие на базар, потом смотрели, как отъезжают переполненные автобусы, а внутри сидели крестьяне с сумками, где лежало купленное в городе добро. На площади не было других признаков жизни, кроме высоких серых автобусов, голубей и человека, который из кишки поливал улицы и усыпанную гравием площадь.

По вечерам бывало пасео — гулянье. После обеда, в течение часа, все красивые девушки и офицеры местного гарнизона, все модники и модницы Памплоны прогуливались по улице, примыкающей к площади, меж тем как террасы кафе наполнялись обычной послеобеденной публикой.

Каждое утро я сидел в кафе, прочитывал мадридские газеты, а потом гулял по улицам или отправлялся за город. Иногда Билл гулял со мной. Иногда он писал в своей комнате. Роберт Кон проводил утро за изучением испанского языка или старался попасть в парикмахерскую, чтобы побриться. Брет и Майкл никогда не показывались раньше двенадцати. Потом мы все пили вермут в кафе. Мы вели тихую жизнь, и никто не напивался. Раза два я ходил в церковь, один раз с Брет. Она сказала, что хотела бы послушать, как я исповедуюсь, но я объяснил ей, что, во-первых, это невозможно, а во-вторых, вовсе не так интересно, как кажется, и, кроме того, я говорил бы на языке, которого она не знает. Когда мы вышли из церкви, мы встретили Кона, и хотя было очевидно, что он выследил нас, он держался просто и мило, и мы втроем отправились в цыганский табор, и одна из цыганок погадала Брет.

Было прекрасное утро, над горами плыли высокие белые облака. Ночью прошел небольшой дождь, и на плато пахло свежестью и прохладой, и оттуда открывался чудесный вид. Нам всем было хорошо и покойно, и я ничего не имел против Кона. Невозможно было раздражаться в такой чудесный день.

Это был последний день перед фиестой.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В воскресенье, 6 июля, ровно в полдень, фиеста взорвалась. Иначе этого назвать нельзя. Люди прибывали из деревень все утро, но они растворялись в городе, и их не было заметно. Площадь под жарким солнцем была так же тиха, как в любой будний день. Крестьяне собирались в винных лавках подальше от центра. Там они пили, готовясь к фиесте. Они столь недавно покинули свои равнины и горы, что им требовалось время для переоценки ценностей. Они не могли сразу решиться на цены в дорогих кафе. В винных лавках они получали полной мерой за свои деньги. Деньги еще представляли определенную ценность, измеряемую рабочими часами и бушелями проданного хлеба. В разгаре фиесты им уже будет все равно, сколько платить и где покупать. Но в первый день праздника святого Фермина они с раннего утра засели в винных лавках на узких улочках города. Я шел в собор к утренней службе и по дороге слышал их пение, доносившееся из открытых дверей лавок. Они понемножку разгорячались. Служба начиналась в одиннадцать часов, народу в соборе было много. День святого Фермина — местный престольный праздник.

Выйдя из собора, я спустился под гору и пошел по улице, ведущей к площади. Было около двенадцати часов. За столиком в кафе сидели Роберт Кон и Билл. Мраморные столики и белые плетеные кресла исчезли. Их заменили чугунные столики и крепкие складные стулья. Кафе напоминало военное судно, готовое к бою. Сегодня нельзя было просидеть все утро над газетами, ничего не заказывая. Не успел я сесть, как ко мне подошел официант.

— Что вы пьете? — спросил я Билла и Роберта.

— Херес,— сказал Кон.

— Jerez,— сказал я официанту.

Не успел официант принести херес, как над площадью взвилась ракета — сигнал открытия фиесты. Ракета вспыхнула, и серый шар дыма повис высоко в воздухе над театром «Гаяр», на другом конце площади. Серый шар висел в небе, словно только что разорвалась шрапнель, и пока я смотрел на него, взвилась еще одна ракета, выпуская струйки дыма под ярким солнцем. Я увидел яркую вспышку света, и в небе появилось еще одно облачко дыма. Когда взвилась вторая ракета, под аркадой, где минуту назад было пусто, толпилось уже столько народу, что официант едва пробрался к нашему столику, держа бутылку в высоко поднятой руке. Люди со всех сторон устремлялись на площадь, и слышно было, как по улице приближаются дудки, флейты и барабаны. Оркестр играл riau-riau — дудки пронзительно, барабаны дробно,— а за музыкантами, приплясывая, шли мужчины и подростки. Когда музыка замолкала, они все становились на корточки посреди ули-

цы, а когда флейты и дудки взвизгивали и плоские, гулкие барабаны начинали выбивать сухую дробь, они все вскакивали и пускались в пляс. Толпа была такая густая, что видны были только плечи и головы танцоров, ходившие вверх и вниз.

По площади, согнувшись, шел человек и играл на свирели, за ним с криком бежали дети и дергали его за полы. Он пересекал площадь, а дети бежали за ним, и он, не переставая дудеть, прошел мимо кафе и свернул в переулок. Мы увидели его бессмысленное рябое лицо, когда он шел мимо нас, играя на свирели, а за ним по пятам бежали дети, дергали его и кричали.

— Это, должно быть, местный дурачок,— сказал Билл.— Ох, поглядите-ка!

По улице двигались танцоры. Вся улица сплошь была запружена танцорами — одни мужчины. Они танцевали под свой собственный оркестр из дудок и барабанов. Это был какой-то союз, и все были в синих рабочих блузах с красными платками вокруг шеи, и на двух шестах несли большое полотнище. Окруженные толпой, они вступили на площадь, и полотнище плясало вверх и вниз вместе с ними.

«Да здравствует вино! Да здравствуют иностранцы!» — было написано на полотнище.

— Где иностранцы? — спросил Роберт Коп.

— Иностранцы — это мы,— сказал Билл.

Беспрерывно взвивались ракеты. Теперь все столики были заняты. Площадь пустела, и толпа растекалась по кафе.

— Где Брет и Майкл? — спросил Билл.

— Я пойду приведу их,— сказал Коп.

— Приведите.

Фиеста началась по-настоящему. Она продолжалась день и ночь в течение семи суток. Пляска продолжалась, пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом поступке. Шла фиеста, и она продолжалась семь дней.

Днем состоялась пышная религиозная процессия. Святого Фермина носили из церкви в церковь. В процессии шли все сановники города, гражданские и духовные. Мы не видели их,— толпа была слишком велика. Впереди и позади процессии отплясывали riau-riau. В толпе выделялась группа танцоров в желтых рубашках. Все, что нам удалось увидеть от процессии сквозь густую толпу, заливавшую тротуары и прилегающие к площади улицы,— это

деревянных индейцев тридцати футов вышиной и таких же арапов, короля и королеву, торжественно вальсирующих под звуки riau-riau.

Все стояли перед часовней, куда за святым Фермином проследовали сановники, оставив у входа военную охрану. Макеты великанов стояли пустые; танцевавшие в них люди стояли возле, а карлики мелькали в толпе со своими пузырями. Мы вошли было в часовню, где пахло ладаном и откуда гуськом выходили люди, чтобы пройти обратно, в церковь, но Брет остановили в дверях, потому что она была без шляпы, и мы повернули и пошли по улице, ведущей от часовни к городу. На обоих тротуарах стояли люди, дожидавшиеся возвращения процессии. Несколько танцоров, взявшись за руки, стали танцевать вокруг Брет. На шее у них висели большие венки из белых головок чеснока. Они взяли Билла и меня за руки и поставили в круг, рядом с Брет. Билл тоже танцевал. Все они пели. Брет хотела танцевать, но они ей не дали. Они хотели танцевать вокруг нее, как вокруг статуи. Когда пение оборвалось пронзительным riau-riau, они втолкнули нас в винную лавку.

Мы подошли к стойке. Брет усадили на бочку с вином. В полутемной лавке было полно мужчин, и все они пели низкими, жесткими голосами. Позади стойки наливали вино из бочек. Я выложил деньги за вино, но один из мужчин собрал монеты и сунул их мне обратно в карман.

— Я хочу мех для вина,— сказал Билл.

— Здесь рядом есть лавка,— сказал я.— Сейчас пойду куплю.

Танцоры не хотели отпускать меня. Трое их сидели рядом с Брет на высокой бочке и учили ее пить из меха. Они повесили ей на шею венок из чеснока. Один совал ей в руку стакан. Другой учил Билла песенке. Напевал ему в ухо. Отбивал такт на спине Билла.

Я объяснил им, что сейчас вернусь. Выйдя из лавки, я пошел по улице в поисках мастерской, где я видел мехи для вина. На тротуарах толпился народ, у многих лавок ставни были закрыты, и я не мог найти ее. Я дошел до самой церкви, оглядывая обе стороны улицы. Потом я спросил одного из толпы, и он взял меня за локоть и привел в мастерскую. Ставни были закрыты, но дверь стояла настежь.

Внутри пахло дубленой кожей и горячей смолой. В углу сидел человек и выводил по трафарету надписи на готовых мехах. Мехи пучками свисали с потолка. Приведший меня снял один, надул его, туго завинтил крышку и прыгнул на него.

— Видите! Не течет.

— Мне нужно еще один. Только большой.

Он снял с потолка большой мех, в который вошел бы целый

галлон, и приложил его ко рту. Щеки его сильно раздувались вместе с мехом. Потом он, держась за стул, встал на мех обеими ногами.

— На что они вам? Продадите в Байонне?

— Нет. Пить буду из них.

Он хлопнул меня по спине.

— Buen hombre! Восемь песет за оба. Самая дешевая цена.

Человек, который выводил надписи на мехах и бросал их в кучу, поднял голову.

— Верно,— сказал он.— Восемь песет — это дешево.

Я заплатил, вышел на улицу и вернулся в винную лавку. Внутри было еще темней и очень тесно. Я не увидел ни Брет, ни Билла, и мне сказали, что они в задней комнате. Девушка за стойкой наполнила для меня оба меха. В один вошло два литра. В другой — пять литров. Все это стоило три песеты и шестьдесят сентимо. Кто-то, стоявший рядом со мной и кого я видел первый раз в жизни, пытался заплатить за вино, но в конце концов заплатил я. Тогда он угостил меня стаканом вина. Он не позволил мне угостить его в ответ, но сказал, что не откажется промочить горло из нового меха. Он поднял большой пятилитровый мех, сжал его, и вино струей полилось ему в самое горло.

— Ну вот,— сказал он и отдал мне мех.

В задней комнате Брет и Билл сидели на бочках, окруженные танцорами. Каждый держал руку на плече соседа, и все пели. Майкл сидел за столиком вместе с какими-то людьми без пиджаков и ел с ними из одной чашки рыбу, приправленную луком и уксусом. Все они пили вино и макали хлеб в масло с уксусом.

— Хэлло, Джейк, хэлло! — крикнул Майкл.— Идите сюда. Разрешите познакомить вас с моими друзьями. Мы тут слегка закусываем.

Майкл познакомил меня со всеми сидящими за столиком. Они подсказывали ему свои фамилии и послали за вилкой для меня.

— Перестань объедать их, Майкл! — крикнула Брет со своей бочки.

— Нет, зачем же я лишу вас обеда,— сказал я тому, кто протягивал мне вилку.

— Ешьте,— сказал он,— для того поставлено.

Я отвинтил крышку большого меха и пустил его по кругу. Все по очереди выпили, высоко держа мех в вытянутых руках.

Снаружи, покрывая пение, доносилась музыка проходившей процессии.

— Как будто процессия идет? — спросил Майкл.

— Nada,— сказал кто-то.— Это ничего. Пейте. Поднимите мех.

— Где они вас разыскали? — спросил я Майкла.

— Кто-то привел меня сюда,— ответил Майкл.— Мне сказали, что вы здесь.

— А где Кон?

— Он раскис! — крикнула Брет.— Его куда-то убрали.

— Где он?

— Не знаю.

— Откуда нам знать? — сказал Билл.— По-моему, он умер.

— Он не умер,— сказал Майкл.— Я знаю, что он не умер. Он просто раскис от *Anis del Mono*.

Когда Майкл сказал *Anis del Mono*, один из сидевших за столиком достал мех из-за пазухи и протянул его мне.

— Нет,— сказал я.— Нет, спасибо.

— Пейте. Пейте. Подымите мех!

Я отхлебнул. Водка отдавала лакрицей, и от нее по всему телу разливалось тепло. Я чувствовал, как у меня становится тепло в желудке.

— Где же все-таки Кон?

— Не знаю,— сказал Майкл.— Сейчас спрошу. Где наш пьяный товарищ? — спросил он по-испански.

— Вы хотите видеть его?

— Да,— сказал я.

— Я не хочу,— сказал Майкл.— Это вот он хочет.

Владелец анисовой водки вытер губы и встал.

— Пойдемте.

В одной из задних комнат Роберт Кон спокойно спал на сдвинутых бочках. Лицо его было едва видно в темноте. Его накрыли чьим-то пиджаком, а другой подложили ему под голову. С его шеи на грудь спускался большой венок из чеснока.

— Не будите его,— прошептал приведший меня.— Пусть проспится.

Два часа спустя Кон появился. На его шее все еще болтался венок из головок чеснока. Испанцы приветствовали его криками. Кон протер глаза и засмеялся.

— Я, кажется, вздремнул,— сказал он.

— Что вы, и не думали,— сказала Брет.

— Вы просто были мертвы,— сказал Билл.

— А не пойти ли нам поужинать? — спросил Кон.

— Вы что, есть захотели?

— Да. А что? Я проголодался.

— Поешьте чесноку, Роберт,— сказал Майкл.— Поешьте.— Кон не ответил. Он выспался и был совершенно трезв.

— Пойдемте ужинать,— сказала Брет.— Мне еще нужно принять ванну.

— Идем,— сказал Билл.— Доставим Брет в отель.

Мы попрощались со множеством людей, пожали множество рук и вышли. На улице было темно.

— Как вы думаете, который теперь час? — спросил Кон.

— Уже завтра,— ответил Майкл.— Вы проспали два дня.

— Нет, правда,— сказал Кон,— который час?

— Десять часов.

— Сколько мы выпили!

— Вы хотите сказать, сколько *мы* выпили. Вы-то спать улеглись.

Когда мы шли к отелю по темным улицам, мы видели, как в небо взвивались ракеты. А когда подходили к отелю, в конце переулка увидели площадь, запруженную густой толпой, обступившей танцоров.

Ужин в отеле подали обильный. Это была первая трапеза по удвоенным на время фиесты ценам, и к обычному меню прибавили несколько блюд. После ужина мы пошли в город. Помню, что я решил не ложиться всю ночь, чтобы в шесть часов утра посмотреть, как быки побегут по улицам. Но мне очень захотелось спать и около четырех часов я лег и уснул. Остальные не ложились.

Моя комната была заперта, а я не мог найти ключ и улегся на одну из кроватей в комнате Кона, этажом выше. Всю ночь на улицах шумела фиеста, но я был такой сонный, что это не помешало мне спать. Разбудил меня треск разорвавшейся ракеты — сигнал, что на окраине города быков выпустили из корраля. Сейчас они промчатся по всему городу, устремляясь в цирк. Я спал тяжело и, просыпаясь, чувствовал, что опоздал. Я накинул пальто Кона и вышел на балкон. Внизу, подо мной, узкая улочка была безлюдна. На всех балконах теснились зрители. Вдруг улицу залила толпа. Люди бежали все вместе, сбившись в кучу. Они пробежали мимо отеля и свернули к цирку, потом появились еще люди, они бежали быстрее, а за ними несколько человек отставших уже пробежали во весь дух. После них образовался небольшой просвет, и затем по улице, крутя рогами, галопом промчались быки. Минута — и все исчезло за углом. Один из толпы упал, скатился в канаву и лежал неподвижно. Но быки пронеслись мимо, не заметив его. Они бежали плотным стадом.

После того как быки скрылись из виду, со стороны цирка донесся рев толпы. Рев долго не умолкал. И наконец — треск разорвавшейся ракеты, возвестивший, что быки пробежали сквозь толпу на арену, а оттуда в загон. Я вернулся в комнату и лег в постель. Все время я простоял босиком на каменном полу балкона. Я подумал, что вся наша компания сейчас, вероятно, в цирке. Согревшись в постели, я заснул.

Я проснулся, когда пришел Кон. Он начал раздеваться и по-

дошел к окну, чтобы закрыть его, потому что с балкона через улицу, как раз напротив, люди заглядывали к нам.

— Ну, видели? — спросил я.

— Да. Мы все были там.

— Жертвы были?

— Один бык врезался в толпу на арене и помял человек семь.

— Брет не испугалась?

— Это произошло так быстро, что никто не обратил внимания.

— Жалко, что я проспал.

— Мы не знали, где вы. Мы подходили к вашей комнате, но дверь была заперта.

— А где вы были ночью?

— Танцевали в каком-то клубе.

— Мне очень спать захотелось,— сказал я.

— А мне как спать хочется! — сказал Кон.— Когда же это кончится?

— Только через неделю.

Билл приоткрыл дверь и просунул голову.

— Где ты был, Джейк?

— Я смотрел на них с балкона. Ну как?

— Замечательно.

— Куда ты идешь?

— Спать.

Все проспали до двенадцати. Мы позавтракали за одним из столов, расставленных под аркадой. Город был переполнен. Нам пришлось дожидаться свободного места. После завтрака мы пошли в кафе Ирунья. Там было тесно, и чем ближе подходило время боя быков, тем становилось теснее, и толпа вокруг столиков все густела. В кафе стояло низкое, многоголосое жужжанье, как всегда перед боем быков. В другие дни кафе никогда не жужжало так, как бы переполнено оно ни было. Жужжанье нарастало, оно захватывало и нас, и мы уже были частью его.

Я запасся шестью билетами на все бои. Три места были barrera, в первом ряду, у самой арены, а три sobrepuerta — скамьи с деревянными спинками в одном из средних рядов амфитеатра. Майкл считал, что Брет лучше сидеть повыше для первого раза, и Кон пожелал сидеть с ними. Мы с Биллом решили сесть в первом ряду, а лишний билет я отдал официанту и попросил продать его. Билл начал учить Кона, что делать и куда смотреть, чтобы не замечать лошадей. Билл уже видел бой быков.

— Об этом я ни капли не беспокоюсь. Я только боюсь, что мне будет скучно,— сказал Кон.

— Вы так думаете?

— Не смотрите на лошадь после того, как бык забодает ее,— сказал я Брет.— Следите за быком и за тем, как пикадор старается

не подпустить его, а потом не смотрите на лошадь, если она ранена, пока она не околеет.

— Я немного волнуюсь,— сказала Брет.— Не знаю, смогу ли я все это выдержать.

— Отлично выдержите. Неприятно только смотреть на лошадей, а они бывают не больше двух-трех минут с каждым быком. Вы просто отвернитесь, когда страшно будет.

— Все будет хорошо,— сказал Майкл.— Я присмотрю за ней.

— Я думаю, вы не соскучитесь,— сказал Билл.

— Я схожу в отель за биноклем и вином,— сказал я.— Потом вернусь сюда. Только не напивайтесь.

— Я пойду с тобой,— сказал Билл.

Брет улыбнулась нам.

Мы пошли кругом под аркадой, чтобы не идти по жаре через площадь.

— Злит меня этот Кон,— сказал Билл.— Такое в нем чисто еврейское зазнайство, что он, видите ли, не ждет от боя быков ничего, кроме скуки.

— А мы поглядим на него в бинокль,— сказал я.

— Да ну его к чертям!

— Они и так его припекают.

— Ну и пусть.

На лестнице отеля мы встретили Монтойу.

— Пойдемте,— сказал Монтойа.— Хотите познакомиться с Педро Ромеро?

— Очень даже,— сказал Билл.— Идем к нему.

Мы поднялись за хозяином на второй этаж и пошли по коридору.

— Он занимает восьмой номер,— сказал Монтойа.— Сейчас его одевают к бою быков.

Монтойа постучал в дверь и отворил ее. Комната была мрачная, окно, выходившее в узкий переулок, давало мало света. В комнате стояли две кровати, стыдливо разделенные перегородкой. Горело электричество. Юноша в костюме матадора стоял очень прямо. Лицо его было строго. Расшитая куртка висела на спинке стула. Ему только что намотали пояс вокруг талии. На нем была белая полотняная рубашка, черные волосы блестели в электрическом свете. Личный слуга его, закрепив пояс, встал с колен и отступил. Педро Ромеро рассеянно и с большим достоинством наклонил голову и пожал нам руки. Монтойа сказал ему, что мы настоящие aficionado и что мы хотим пожелать ему успеха. Ромеро слушал очень серьезно. Потом он повернулся ко мне. Никогда в жизни не видел я такого красавца.

— Вы идете на бой быков? — спросил он по-английски.

— Вы говорите по-английски? — спросил я, чувствуя себя идиотом.

— Нет,— ответил он и улыбнулся.

Один из трех мужчин, сидевших на кроватях, подошел к нам и спросил, говорим ли мы по-французски.

— Если хотите, я буду переводить. Может быть, вы желаете спросить что-нибудь у Педро Ромеро?

Мы поблагодарили его. О чем могли бы мы спросить? Юноше было девятнадцать лет, он был один, если не считать слуги и трех прихлебателей, а через двадцать минут начнется бой. Мы сказали: «Mucha suerte» [1], пожали ему руку и вышли. Когда мы закрывали дверь, он стоял очень прямо, красивый и всем чужой, один в комнате, где сидели его прихлебатели.

— Чудесный малый, не правда ли? — спросил Монтойа.

— Красивый мальчик,— сказал я.

— С виду он настоящий тореро,— сказал Монтойа.— Чистейшей воды.

— Чудесный малый.

— Вот посмотрим, каков он на арене,— сказал Монтойа.

Большой мех с вином был прислонен к стене в моей комнате. Мы взяли мех и полевой бинокль, заперли дверь и спустились вниз.

Бой быков прошел удачно. Билл и я были в восхищении от Педро Ромеро. Монтойа сидел через десять мест от нас. После того как Ромеро убил первого быка, Монтойа поймал мой взгляд и кивнул головой. Это — настоящий. Настоящих матадоров давно не было. Из двух других матадоров первый работал хорошо, второй посредственно. Но не могло быть и сравнения с Ромеро, хотя быки попались ему неважные.

Несколько раз во время боя быков я оборачивался и смотрел в бинокль на Майкла, Брет и Кона. По-видимому, они чувствовали себя хорошо. Брет была спокойна. Все трое сидели наклонившись вперед, опираясь на бетонные перила.

— Дай мне бинокль,— сказал Билл.

— Ну, как Кон, скучает? — спросил я.

— Вот хвастун.

При выходе из цирка, после окончания боя быков, мы попали в давку. Нельзя было пробраться сквозь толпу, пришлось отдаться ей, и она медленно, словно глетчер, несла нас к городу. Мы испытывали то чувство легкой тревоги, которое обычно испытываешь после боя быков, и были в приподнятом настроении, как всегда после по-настоящему хорошего боя. Фиеста была в разгаре. Барабаны били, дудки пронзительно свистели, и людской

[1] Желаем удачи *(исп.)*.

поток то и дело прерывался кучками танцоров. Танцоры плясали в гуще толпы, и нам не видно было, что они выделывают ногами. Мы видели только головы и плечи, ходившие вверх и вниз, вверх и вниз. В конце концов мы выбрались из толпы и зашагали в кафе. Официант оставил три свободных стула, мы заказали по абсенту и разглядывали толпу на площади и танцоров.

— Как ты думаешь, что это за танец? — спросил Билл.

— Что-то вроде хоты.

— Он не всегда одинаковый,— сказал Билл.— Они под разную музыку танцуют по-разному.

— Замечательно танцуют.

Напротив нас в начале улицы танцевала группа подростков. Они выделывали очень сложные па, и лица у них были серьезные и сосредоточенные. Все они, танцуя, смотрели на свои ноги. Их туфли на веревочной подошве топали и хлопали по мостовой. Носки сходились, пятки сходились, лодыжки сходились. Потом музыка резко оборвалась, па на месте кончилось, и танцоры, приплясывая, двинулись по улице.

— Идут наши аристократы,— сказал Билл.

Они пересекали улицу.

— Хэлло, друзья,— сказал я.

— Хэлло, джентльмены! — сказала Брет.— Вы заняли для нас места? Как мило.

— Знаете,— сказал Майкл,— этот, как его, Ромеро, это здорово. Правда?

— Он просто очарователен,— сказала Брет.— А зеленые штаны!

— Брет глаз не сводила с них.

— Завтра непременно возьму у вас бинокль.

— Ну, как? Хорошо было?

— Чудесно. Просто замечательно. Вот это зрелище!

— А лошади?

— Я не могла не смотреть на них.

— Она глаз не сводила с них,— сказал Майкл.— Она молодчина.

— Конечно, это ужасно, что с ними делают,— сказала Брет.— Но я не могла не смотреть.

— А вам не было дурно?

— Ни капельки.

— А Роберту Кону было дурно,— ввернул Майкл.— Вы совсем позеленели, Роберт.

— Первая лошадь меня расстроила,— сказал Кон.

— Вы не очень скучали, правда? — спросил Билл.

Кон засмеялся.

— Нет. Не скучал. Забудьте про это, пожалуйста.

— Ладно,— сказал Билл,— если только вы не скучали.

— Непохоже было, чтоб он скучал,— сказал Майкл.— Я думал, его стошнит.

— Да нет, мне вовсе не было так скверно. И всего только одну минуту.

— Я был уверен, что его стошнит. Вы не скучали, правда ведь, Роберт?

— Довольно об этом, Майкл. Я уже сказал, что зря так говорил.

— А ему все-таки было дурно. Он буквально позеленел.

— Хватит, Майкл!

— Никогда не скучайте на своем первом бое быков, Роберт,— сказал Майкл.— А то может выйти скандал.

— Хватит, Майкл,— сказала Брет.

— Он говорит, что Брет садистка,— сказал Майкл,— Брет не садистка. Она просто красивая, здоровая женщина.

— Вы садистка, Брет? — спросил я.

— Надеюсь, что нет.

— Он говорит, что Брет садистка только потому, что у нее здоровый желудок.

— Долго ли он будет здоровым?

Билл заговорил о другом и отвлек Майкла от Роберта Кона. Официант принес рюмки с абсентом.

— Вам правда понравилось? — обратился Билл к Кону.

— Нет, не скажу, чтобы мне понравилось. Но это необычайное зрелище.

— Ах, черт! Ну и зрелище! — сказала Брет.

— Только вот если бы лошадей не было,— сказал Кон.

— Это не важно,— сказал Билл.— Очень скоро перестаешь замечать все противное.

— Все-таки жутко вначале,— сказала Брет.— Самое страшное для меня, это когда бык кидается на лошадь.

— Быки были прекрасные,— сказал Кон.

— Хорошие быки,— сказал Майкл.

— Следующий раз я хочу сидеть внизу.— Брет отхлебнула абсент из рюмки.

— Она хочет получше рассмотреть матадоров,— сказал Майкл.

— Они стоят того,— сказала Брет.— Этот Ромеро еще совсем ребенок.

— Он поразительно красивый малый,— сказал я.— Мы заходили к нему в комнату. В жизни не видел такого красивого мальчика.

— Как вы думаете, сколько ему лет?

— Лет девятнадцать — двадцать.

— Подумать только!

Второй день боя быков прошел еще удачнее первого. Брет сидела в первом ряду между Майклом и мной, а Билл с Коном пошли наверх. Героем дня был Ромеро. Не думаю, чтобы Брет видела других матадоров. Да их никто не видел, кроме самых заядлых специалистов. Все свелось к одному Ромеро. Было еще два матадора, но они в счет не шли. Я сидел рядом с Брет и объяснял ей, в чем суть. Я учил ее следить за быком, а не за лошадью, когда бык кидается на пикадоров, учил следить за тем, как пикадор вонзает острие копья, чтобы она поняла, в чем тут суть, чтобы она видела в бое быков последовательное действие, ведущее к предначертанной развязке, а не только нагромождение бессмысленных ужасов. Я показал ей, как Ромеро своим плащом уводит быка от упавшей лошади и как он останавливает его плащом и поворачивает его плавно и размеренно, никогда не обессиливая быка. Она видела, как Ромеро избегал резких движений и берег своих быков для последнего удара, стараясь не дергать и не обессиливать их, а только слегка утомить. Она видела, как близко к быку работает Ромеро, и я показал ей все трюки, к которым прибегают другие матадоры, чтобы казалось, что они работают близко к быку. Она поняла, почему ей нравится, как Ромеро действует плащом, и не нравится, как это делают другие.

Ромеро не делал ни одного лишнего движения, он всегда работал точно, чисто и непринужденно. Другие матадоры поднимали локти, извивались штопором, прислонялись к быку, после того как рога миновали их, чтобы вызвать ложное впечатление опасности. Но все показное портило работу и оставляло неприятное чувство. Ромеро заставлял по-настоящему волноваться, потому что в его движениях была абсолютная чистота линий и потому что, работая очень близко к быку, он ждал спокойно и невозмутимо, пока рога минуют его. Ему не нужно было искусственно подчеркивать опасность. Брет поняла, почему движения матадора прекрасны, когда он стоит вплотную к быку, и почему те же движения смешны на малейшем от него расстоянии. Я рассказал ей, что после смерти Хоселито все матадоры выработали такую технику боя, которая создает видимость опасности и заставляет волноваться зрителей, между тем как матадору ничего не грозит. Ромеро показывал мастерство старой школы — четкость движений при максимальном риске, уменье готовить быка к последнему удару, подчинять его своей воле, давая почувствовать, что сам он недостижим.

— Ни одного неловкого движения не сделал,— сказала Брет.

— И не сделает, пока ему не станет страшно,— сказал я.

— Он никогда не испугается,— сказал Майкл.— Он слишком много знает.

— Он с самого начала все знал. Другим за всю жизнь не выучиться тому, что он знал от рожденья.

— И какой красавец,— сказала Брет.

— Знаете, она, кажется, влюбилась в этого тореро,— сказал Майкл.

— Ничего нет удивительного.

— Джейк, будьте другом. Не хвалите его больше. Лучше расскажите ей, как они бьют своих престарелых матерей.

— Расскажи мне, как они пьянствуют.

— Просто ужасно,— сказал Майкл.— Пьянствуют с утра до вечера и только и делают, что бьют своих несчастных матерей.

— Он похож на такого,— сказала Брет.

— А ведь правда похож,— сказал я.

К мертвому быку подвели и пристегнули мулов, потом бичи захлопали, служители побежали, мулы, рванувшись, пустились вскачь, и бык, с откинутой головой и одним торчащим рогом, заскользил по арене, оставляя на песке широкую полосу, и скрылся в красных воротах.

— Сейчас еще один бык — и конец.

— Уже? — сказала Брет. Она подалась вперед и облокотилась на барьер. Ромеро махнул рукой, отсылая пикадоров на их места, и стоял один, держа плащ у самой груди, глядя через арену туда, откуда должен был появиться бык.

Когда бой кончился, мы вышли и стали протискиваться сквозь толпу.

— Черт знает, как это изматывает,— сказала Брет.— Я вся размякла.

— Ничего, сейчас выпьем,— сказал Майкл.

На другой день Педро Ромеро не выступал. Быки были мьюрские, и бой прошел очень плохо. Следующий день был пустой по расписанию. Но фиеста продолжалась весь день и всю ночь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Дождь шел с утра. Горы заволокло поднявшимся с моря туманом. Не видно было горных вершин. Плато стало мрачным и тусклым, и очертания деревьев и домов изменились. Я вышел за город, чтобы посмотреть на ненастье. Темные тучи наползали на горы с моря.

Флаги на площади, мокрые, висли на белых шестах, к фасадам домов липли влажные полотнища, а дождь то моросил, то лил как из ведра, загоняя всех под аркаду, и вся площадь покрылась лужами, потемневшие мокрые улицы опустели; но фиеста не прекращалась. Ее только загнало под крышу.

В цирке люди теснились на крытых местах, спасаясь от дождя, и смотрели состязание бискайских и наваррских танцоров и певцов, потом танцоры из Валь-Карлоса в своих национальных костюмах танцевали на улице под глухой стук мокрых от дождя барабанов, а впереди на крупных, толстоногих лошадях, покрытых мокрыми попонами, ехали промокшие дирижеры оркестров. Толпа уже переполнила все кафе под аркадой, и туда же пришли танцоры и уселись за столики, вытянув туго обмотанные белые ноги, стряхивая воду с обшитых бубенцами колпаков и развешивая для просушки свои красные и фиолетовые куртки на спинках стульев. Дождь лил все сильнее.

Я оставил всю компанию в кафе и один пошел в отель побриться к обеду. Когда я брился у себя в комнате, в дверь постучали.

— Войдите! — крикнул я.

Вошел Монтойа.

— Как поживаете? — спросил он.

— Отлично,— сказал я.

— Сегодня нет боя.

— Нет,— сказал я,— сегодня только дождь.

— Где ваши друзья?

— В кафе Ирунья.

Монтойа улыбнулся своей смущенной улыбкой.

— Вот что,— сказал он.— Вы знаете американского посла.

— Да,— сказал я.— Американского посла все знают.

— Он сейчас здесь, в Памплоне.

— Да,— сказал я.— Его уже все видели.

— Я тоже его видел,— сказал Монтойа. Он помолчал. Я продолжал бриться.

— Садитесь,— сказал я.— Я попрошу, чтобы подали вина.

— Нет, нет. Мне нужно идти.

Я кончил бриться, наклонился над тазом и обмыл лицо холодной водой. Монтойа все стоял и казался еще более смущенным, чем всегда.

— Вот что,— сказал он.— Ко мне только что присылали из «Гранд-отеля» с приглашением от посольских для Педро Ромеро и Марсьяла Лаланда на чашку кофе сегодня вечером.

— Ну,— сказал я,— Марсьялу это не повредит.

— Марсьял сегодня весь день в Сан-Себастьяне. Он уехал утром на машине с Маркесом. Не думаю, чтобы они сегодня вернулись.

Монтойа стоял смущенный. Он ждал, чтобы я сказал что-нибудь.

— Не передавайте Ромеро приглашение,— сказал я.

— Вы думаете?

— Безусловно.

Монтойа просиял.

— Я пришел спросить вас, потому что вы американец,— сказал он.

— Я бы так поступил.

— Вот,— сказал Монтойа,— берут такого мальчика. Они не знают, чего он стоит. Они не знают, кем он может стать. Любому иностранцу легко захвалить его. Начинается с чашки кофе в «Гранд-отеле», а через год он конченый человек.

— Как Альгабено,— сказал я.

— Да, как Альгабено.

— Это такая публика,— сказал я.— Здесь есть одна американка, которая коллекционирует матадоров.

— Я знаю. Они выбирают самых молодых.

— Да,— сказал я.— Старые жиреют.

— Или сходят с ума, как Галло.

— Ну, что ж,— сказал я,— дело простое. Не передавайте ему приглашение, только всего.

— Он такой чудесный малый,— сказал Монтойа.— Он должен держаться своих. Незачем ему заниматься такой ерундой.

— Не хотите ли выпить? — спросил я.

— Нет, нет, мне нужно идти,— сказал Монтойа. Он вышел.

Я спустился вниз, вышел на улицу и пошел под аркадой вокруг площади. Дождь все еще лил. Я заглянул в кафе Ирунья, нет ли там наших, но их там не было, и я обошел площадь кругом и вернулся в отель. Они все сидели за обедом в столовой первого этажа.

Они сильно опередили меня, и не стоило даже пытаться догнать их. Билл нанимал чистильщиков обуви для Майкла. Чистильщики заглядывали в дверь, и Билл подзывал каждого и заставлял обрабатывать ноги Майкла.

— Одиннадцатый раз мне чистят ботинки,— сказал Майкл.— Знаете, Билл просто осел.

Весть, очевидно, распространилась среди чистильщиков. Вошел еще один.

— Limpia botas? [1] — спросил он Билла.

— Не мне,— сказал Билл.— Вот этому сеньору.

Чистильщик встал на колени рядом со своим коллегой и занялся свободным ботинком Майкла, который уже и так сверкал в электрическом свете.

— Чудила этот Билл,— сказал Майкл.

Я пил красное вино и так отстал от них, что мне было слегка неловко за эту возню с ботинками. Я посмотрел кругом. За сосед-

[1] Почистить ботинки? *(исп.)*

ним столиком сидел Педро Ромеро. Когда я кивнул ему, он встал и попросил меня перейти к его столику и познакомиться с его другом. Их столик был рядом и почти касался нашего. Я познакомился с его другом, мадридским спортивным критиком — маленьким человеком с худым лицом. Я сказал Ромеро, как я восхищен его работой, и он весь просиял. Мы говорили по-испански, а мадридский критик немного знал французский язык. Я протянул руку к нашему столику за своей бутылкой вина, но критик остановил меня. Ромеро засмеялся.

— Выпейте с нами,— сказал он по-английски.

Он очень стеснялся своего английского языка, но ему нравилось говорить по-английски, и немного погодя он стал называть слова, в которых был неуверен, и спрашивал меня о них. Ему особенно хотелось знать, как по-английски Corrida de toros, точный перевод. Английское название, означающее «бой быков», казалось ему сомнительным. Я объяснил, что «бой быков» по-испански значит lidia toro. Испанское слово corrida по-английски значит бег быков. А по-французски — Course de taureaux, ввернул критик. Испанского слова для боя быков нет.

Педро Ромеро сказал, что выучился немного по-английски в Гибралтаре. Родился он в Ронде. Это недалеко от Гибралтара. Искусству тореро он учился в Малаге, в тамошней школе тавромахии. В школе он пробыл всего три года. Критик подтрунивал над тем, что Ромеро употребляет много малагских выражений. Ему девятнадцать лет, сказал Ромеро. Его старший брат работает с ним в качестве бандерильеро, но живет не в этом отеле, а в другом, поменьше, вместе со всей куадрильей. Ромеро спросил меня, сколько раз я видел его на арене. Я сказал, что только три. Я тут же спохватился, что на самом деле я видел его всего два раза, но мне не захотелось объяснять ему мою ошибку.

— Где вы видели меня раньше? В Мадриде?

— Да,— соврал я. Я читал отчеты в спортивных журналах о его двух выступлениях в Мадриде и поэтому был спокоен.

— Первое выступление или второе?

— Первое.

— Я очень плохо работал,— сказал он.— Второе прошло лучше. Помните? — повернулся он к критику.

Он нисколько не был смущен. Он говорил о своей работе так, словно смотрел на нее со стороны. В нем не было и тени тщеславия или бахвальства.

— Я очень рад, что вам нравится моя работа,— сказал он.— Но вы еще настоящей моей работы не видели. Завтра, если попадется хороший бык, я надеюсь показать ее вам.

Сказав это, он улыбнулся, опасаясь, как бы я или критик не подумали, что он хвастает.

— Буду очень рад, если увижу,— сказал критик.— Мне хочется, чтобы вы меня убедили.

— Ему не очень нравится моя работа.— Ромеро повернулся ко мне. Лицо его было серьезно.

Критик сказал, что ему очень нравится работа Ромеро, но что ей еще не хватает законченности.

— Вот завтра увидите, если попадется хороший бык.

— Вы видели завтрашних быков? — спросил меня критик.

— Да. Я видел, как их выгружали.

Педро Ромеро наклонился вперед.

— Ну, как ваше мнение?

— Очень хороши,— сказал я.— Все — около двадцати шести арроба. Очень короткие рога. Разве вы их не видели?

— Видел, конечно,— сказал Ромеро.

— Двадцати шести арроба не потянут,— сказал критик.

— Нет,— сказал Ромеро.

— У них бананы вместо рогов,— сказал критик.

— По-вашему, бананы? — спросил Ромеро. Он с улыбкой повернулся ко мне.— И по-вашему, бананы?

— Нет,— сказал я,— рога как рога.

— Очень короткие,— сказал Педро Ромеро.— Очень, очень короткие. Но все-таки не бананы.

— Послушайте, Джейк,— позвала Брет с соседнего столика.— Что же вы нас бросили?

— Это только временно,— сказал я.— Мы говорим о быках.

— Не важничайте.

— Скажите ему, что быки безрогие! — крикнул Майкл. Он был пьян.

Ромеро вопросительно взглянул на меня.

— Очень пьяный,— сказал я.— Borracho! Muy borracho!

— Что же вы нас не знакомите с вашими друзьями? — сказала Брет. Она не сводила глаз с Педро Ромеро. Я спросил, не выпьют ли они кофе с нами. Оба встали. Лицо у Ромеро было очень смуглое. Держался он превосходно.

Я представил их всем по очереди, и они уже хотели сесть, но не хватило места, и мы все перешли пить кофе к большому столу у стены. Майкл велел подать бутылку фундадору и рюмки для всех. Было много пьяной болтовни.

— Скажи ему, что, по-моему, писать — занятие гнусное,— говорил Билл.— Скажи, скажи ему. Скажи ему, мне стыдно, что я писатель.

Педро Ромеро сидел рядом с Брет и слушал ее.

— Ну, скажи ему! — кричал Билл.

Ромеро, улыбаясь, поднял голову.

— Этот сеньор,— сказал я,— писатель.

Ромеро с почтением посмотрел на Билла.

— И тот тоже,— сказал я, указывая на Кона.

— Он похож на Виляльту,— сказал Ромеро, глядя на Билла.— Правда, Рафаэль, он похож на Виляльту?

— Не нахожу,— ответил критик.

— Правда,— по-испански сказал Ромеро,— он очень похож на Виляльту. А пьяный сеньор чем занимается?

— Ничем.

— Потому он и пьет?

— Нет. Он собирается жениться на этой сеньоре.

— Скажите ему, что все быки безрогие! — крикнул Майкл, очень пьяный, с другого конца стола.

— Что он говорит?

— Он пьян.

— Джейк! — крикнул Майкл,— скажите ему, что быки безрогие!

— Вы понимаете? — спросил я.

— Да.

Я был уверен, что он не понял, поэтому и не беспокоился.

— Скажите ему, что Брет хочет посмотреть, как он надевает свои зеленые штаны.

— Хватит, Майкл.

— Скажите ему, что Брет до смерти хочется знать, как он влезает в свои штаны.

— Хватит.

Все это время Ромеро вертел свою рюмку и разговаривал с Брет. Брет говорила по-французски, а он говорил по-испански и немного по-английски и смеялся.

Билл наполнил рюмки.

— Скажите ему, что Брет хочет...

— Ох, заткнитесь, Майкл, ради Христа!

Ромеро поднял глаза и улыбнулся.

— Это я понял,— сказал он.

В эту минуту в столовую вошел Монтойа. Он уже хотел улыбнуться мне, но тут увидел, что Педро Ромеро, держа большую рюмку коньяку в руке, весело смеется, сидя между мной и женщиной с обнаженными плечами, а вокруг стола одни пьяные. Он даже не кивнул.

Монтойа вышел из комнаты. Майкл встал, готовясь провозгласить тост.

— Выпьем за...— начал он.

— Педро Ромеро,— сказал я. Все встали. Ромеро принял тост очень серьезно, и мы все чокнулись и осушили наши рюмки, причем я старался, чтобы все кончилось скорей, так как Майкл пытался объяснить, что он хотел выпить совсем за другое. Но все

сошло благополучно, и Педро Ромеро пожал всем руки и вышел вместе с критиком.

— Бог мой! Какой очаровательный мальчик,— сказала Брет.— Что бы я дала, чтобы посмотреть, как он влезает в свой костюм. Он, наверное, пользуется рожком для ботинок.

— Я хотел сказать ему это,— начал Майкл,— а Джейк все время перебивал меня. Зачем вы перебиваете меня? Вы думаете, вы лучше меня говорите по-испански?

— Отстаньте, Майкл! Никто вас не перебивал.

— Нет, я хотел бы это выяснить.— Он отвернулся от меня.— Вы думаете, Кон, вы важная птица? Вы думаете, вам место в нашей компании? В компании, которая хочет повеселиться? Ради бога, не шумите так, Кон.

— Бросьте, Майкл,— сказал Кон.

— Вы думаете, вы здесь нужны Брет? Вы думаете, с вами веселей? Отчего вы все время молчите?

— Все, что я имел сказать, Майкл, я уже сказал вам на днях.

— Я, конечно, не писатель.— Ноги плохо держали Майкла, и он опирался на стол.— Я не гений. Но я знаю, когда я лишний. Почему вы, Кон, не чувствуете, когда вы лишний? Уходите. Уходите, ради всего святого. Уберите свою скорбную еврейскую физиономию. Разве я не прав?

Он посмотрел на нас.

— Конечно, прав,— сказал я.— Пойдемте все в кафе Ирунья.

— Нет, вы скажите, разве я не прав? Я люблю эту женщину.

— Ох, не начинай сначала. Хватит уже, Майкл,— сказала Брет.

— Разве я не прав, Джейк?

Кон все еще сидел за столом. Лицо его стало изжелта-бледным, как всегда, когда его оскорбляли, но вместе с тем казалось, ему это приятно. Он тешил себя ребячливой полупьяной игрой в герои: все это из-за его связи с титулованной леди.

— Джейк,— сказал Майкл. Он чуть не плакал.— Вы знаете, что я прав. Послушайте, вы! — Он повернулся к Кону.— Уходите! Сейчас же уходите!

— Не уйду, Майкл,— сказал Кон.

— Ах, не уйдете! — Майкл пошел к нему вокруг стола.

Кон встал и снял очки. Он стоял наготове, изжелта-бледный, с полуопущенными руками, гордо и бесстрашно ожидая нападения, готовый дать бой за свою даму сердца.

Я обхватил Майкла.

— Идем в кафе,— сказал я.— Ведь не можете вы ударить его здесь, в отеле.

— Верно! — сказал Майкл.— Очень верная мысль.

Мы пошли к дверям. Пока Майкл, спотыкаясь, поднимался по

ступенькам, я посмотрел через плечо и увидел, что Кон снова надевает очки. Билл сидел за столом и наливал себе рюмку фундадору. Брет сидела, глядя прямо перед собой.

Когда мы вышли на площадь, дождя уже не было и луна пыталась выглянуть из-за туч. Дул ветер. Играл военный оркестр, и в дальнем конце площади толпа собралась вокруг пиротехника и его сына, пускавших шары с нагретым воздухом. Шары поднимались толчками, по диагонали, и ветер разрывал их или прибивал к одному из домов на площади. Иногда они падали в толпу. Магний вспыхивал, шар взрывался, и люди разбегались. Никто не танцевал на площади, гравий был слишком мокрый.

Брет вышла из отеля с Биллом и Коном и подошла к нам. Мы стояли в толпе и смотрели на дона Мануэля Оркито, короля фейерверка, который стоял на маленьком помосте, осторожно подталкивая палками шары, стоял высоко над толпой и пускал шары по ветру. Ветер сбивал все шары, и лицо дона Мануэля блестело от пота в свете его сложного фейерверка, который падал в толпу, взрывался и прыгал, брызжа искрами и треща под ногами. Каждый раз, как светящийся бумажный пузырь крепился, вспыхивал и падал, в толпе поднимались крики.

— Не повезло дону Мануэлю,— сказал Билл.

— Откуда вы знаете, что его зовут дон Мануэль? — спросила Брет.

— В афише сказано. Дон Мануэль Оркито, пиротехник esta ciudad [1].

— Globos illuminados [2],— сказал Майкл.— Коллекция globos illuminados. Так сказано в афише.

Ветер относил звуки оркестра.

— Хоть бы один поднялся,— сказала Брет.— Этот дон Мануэль прямо из себя выходит.

— Он, должно быть, целый месяц готовился, чтобы они взлетели и получилось: «Слава святому Фермину»,— сказал Билл.

— Globos illuminados,— сказал Майкл.— Целая куча дурацких globos illuminados.

— Идемте,— сказала Брет.— Чего мы тут стоим?

— Ее светлость желает выпить,— сказал Майкл.

— Как это ты догадался? — сказала Брет.

В кафе было тесно и очень шумно. Никто на нас не обратил внимания. Свободного столика мы не нашли. Стоял оглушительный шум.

— Давайте уйдем отсюда,— сказал Билл.

Под аркадой продолжалось гулянье. Кое-где за столиками

---

[1] Этого города *(исп.)*.

[2] Светящиеся шары *(исп.)*.

сидели англичане и американцы из Биаррица в спортивных костюмах. Многие женщины разглядывали гуляющих в лорнет. Мы встретили девушку из Биаррица, с которой недавно нас познакомил Билл. Она жила с подругой в «Гранд-отеле». У подруги разболелась голова, и она пошла спать.

— Вот бар,— сказал Майкл. Это был «Миланский бар», тесный второразрядный кабачок, где можно было перекусить и где в задней комнате танцевали. Мы все сели за столик и заказали бутылку фундадору. В кабачке было пустовато. Никакого веселья не замечалось.

— Фу, как здесь скучно,— сказал Билл.

— Еще слишком рано.

— Возьмем фундадор с собой и придем попозже,— сказал Билл.— Не хочу я сидеть тут в такой вечер.

— Пойдемте обратно и поглядим на англичан,— сказал Майкл.— Люблю глядеть на англичан.

— Они ужасны,— сказал Билл.— Откуда они взялись?

— Они приехали из Биаррица,— сказал Майкл.— Они приехали посмотреть на забавную, миленькую испанскую фиесту.

— Я им покажу фиесту,— сказал Билл.

— Вы ужасно красивая девушка,— обратился Майкл к знакомой Билла.— Откуда вы явились?

— Хватит, Майкл.

— Послушайте, она же прелестна. Где я был? Где были мои глаза? Вы просто прелесть. Скажите, мы знакомы? Пойдемте со мной и Биллом. Мы пропишем англичанам фиесту.

— Я им покажу фиесту,— сказал Билл.— Какого черта им здесь нужно?

— Идем,— сказал Майкл.— Только мы втроем. Пропишем фиесту английской сволочи. Надеюсь, вы не англичанка? Я шотландец. Ненавижу англичан. Я им покажу фиесту. Идем, Билл.

В окно нам видно было, как все трое, взявшись под руки, зашагали к кафе. На площади взвивались ракеты.

— Я еще посижу здесь,— сказала Брет.

— Я останусь с вами,— сказал Кон.

— Ох, нет! — сказала Брет.— Ради бога, уйдите куда-нибудь. Разве вы не видите, что нам с Джейком нужно поговорить?

— Этого я не знал,— сказал Кон.— Я просто хотел тут посидеть, потому что я слегка пьян.

— Вот уж действительно причина. Если вы пьяны, ступайте спать. Ступайте спать.

— Достаточно грубо я с ним обошлась? — спросила Брет. Кон уже ушел.— Господи, как он мне надоел!

— Веселья от него мало.

— Он угнетает меня.

— Он очень плохо ведет себя.

— Ужасно плохо. А имел случай показать, как нужно вести себя.

— Он, наверно, и сейчас стоит за дверью.

— Да. С него станется. Знаешь, я теперь поняла, что с ним творится. Он не может поверить, что это ничего не значило.

— Я знаю.

— Никто другой не вел бы себя так. Ох, как мне это все надоело! А Майкл-то. Майкл тоже хорош.

— Майклу очень тяжело.

— Да. Но из этого не следует, что нужно быть свиньей.

— Все ведут себя плохо,— сказал я.— Дай только случай.

— Ты бы иначе себя вел.— Брет взглянула на меня.

— Я был бы таким же идиотом, как Кон.

— Милый, зачем мы говорим такую чушь?

— Хорошо. Давай говорить о чем хочешь.

— Не сердись. У меня нет никого, кроме тебя, а мне так скверно сегодня.

— У тебя есть Майкл.

— Да, Майкл. Вот тоже сокровище, правда?

— Послушай,— сказал я.— Майклу очень тяжело, что Кон здесь околачивается и не отходит от тебя.

— Будто я не знаю, милый. Пожалуйста, не говори об этом, мне и так тошно.

Я никогда еще не видел, чтобы Брет так нервничала. Она избегала моего взгляда и упорно смотрела в стену.

— Хочешь пройтись?

— Да. Пойдем.

Я закупорил бутылку фундадору и отдал ее буфетчику.

— Выпьем еще,— сказала Брет.— У меня нервы разгулялись.

Мы выпили еще по рюмке мягкого, душистого коньяку.

— Идем,— сказала Брет.

Когда мы вышли, я увидел Кона, выходящего из-под аркады.

— Ну конечно, вот он,— сказала Брет.

— Он не может уйти от тебя.

— Бедняга!

— А мне ни капли его не жаль. Я сам его ненавижу.

— Я тоже,— она вздрогнула,— ненавижу за то, что он так страдает.

Я взял ее под руку, и мы пошли по неширокой улице прочь от толпы и огней площади. На улице было темно и мокро, и мы пошли к укреплениям на окраину города. Мы проходили мимо открытых дверей винных лавок, откуда свет падал на черную мокрую улицу и доносились внезапные взрывы музыки.

— Хочешь зайти?

— Нет.

На окраине мы шли по мокрой траве, потом поднялись на каменный крепостной вал. Я постелил газету на камень, и Брет села. По ту сторону темной равнины видны были горы. Дул сильный ветер, и тучи то и дело закрывали луну. Под нами чернели глубокие рвы укреплений. Позади были деревья, и тень от собора, и силуэт очерченного лунным светом города.

— Не горюй,— сказал я.

— Мне очень скверно,— сказала Брет.— Давай помолчим.

Мы смотрели на равнину. Длинными рядами стояли под луной темные деревья. По дороге, поднимающейся в гору, двигались автомобильные фары. На вершине горы светились огни крепости. Внизу, налево, текла река. Она вздулась от дождя, вода была черная и гладкая, деревья темные. Мы сидели на валу и смотрели. Брет глядела прямо перед собой. Вдруг она вздрогнула.

— Холодно.

— Хочешь вернуться?

— Пойдем парком.

Мы сошли с вала. Тучи снова заволакивали небо. В парке под деревьями было темно.

— Джейк, ты еще любишь меня?

— Да,— сказал я.

— Знаешь, я погибла,— сказала Брет.

— Что ты?

— Я погибла. Я с ума схожу по этому мальчишке, Ромеро. Я, наверное, влюбилась в него.

— Я не стал бы этого делать на твоем месте.

— Не могу с собой сладить. Я погибла. У меня все рвется внутри.

— Не делай этого.

— Не могу с собой сладить. Я никогда не могла с собой сладить.

— Это надо прекратить.

— Как же я прекращу? Не могу я ничего прекратить. Посмотри.

Она протянула мне руку.

— Все во мне вот так дрожит.

— Не надо этого делать.

— Не могу с собой сладить. Я все равно погибла. Неужели ты не понимаешь?

— Нет.

— Я должна что-нибудь сделать. Я должна сделать что-

нибудь такое, чего мне по-настоящему хочется. Я потеряла уважение к себе.

— Совсем тебе не нужно этого делать.

— Милый, не мучь меня. Как ты думаешь, легко мне терпеть этого несчастного Кона и скандалы, которые устраивает Майкл?

— Знаю, что не легко.

— Не могу же я все время напиваться.

— Нет.

— Милый, пожалуйста, останься со мной. Ты останешься со мной и поможешь мне?

— Конечно.

— Я не говорю, что это хорошо. Хотя для меня это хорошо. Господи, никогда я не чувствовала себя такой дрянью.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал?

— Пойдем,— сказала Брет.— Пойдем разыщем его.

Мы вместе шли в темноте под деревьями по усыпанной гравием аллее, потом аллея кончилась, и мы через ворота парка вышли на улицу, ведущую в город.

Педро Ромеро был в кафе. Он сидел за столиком с другими матадорами и спортивными критиками. Все они курили сигары. Когда мы вошли, они посмотрели на нас. Ромеро поклонился, улыбаясь. Мы сели за столик в середине комнаты.

— Попроси его перейти к нам и выпить с нами.

— Подожди. Он сам придет.

— Не могу смотреть на него.

— А на него приятно смотреть,— сказал я.

— Всю жизнь я делала все, что мне хочется.

— Знаю.

— Я чувствую себя такой дрянью.

— Будет тебе,— сказал я.

— Господи! — сказала Брет.— Чего только женщинам не приходится выносить.

— Разве?

— Ох, я чувствую себя такой дрянью.

Я посмотрел в их сторону. Педро Ромеро улыбнулся. Он сказал что-то сидящим с ним за столиком и встал. Он подошел к нашему столику. Я встал, и мы пожали друг другу руки.

— Не хотите ли выпить?

— Позвольте мне угостить вас,— сказал он. Он отодвинул стул и сел, безмолвно испросив разрешение у Брет. Держался он превосходно. Но продолжал курить. Сигара хорошо шла к его лицу.

— Вы любите сигары? — спросил я.

— Очень. Я всегда курю сигары.

Это придавало ему вес. С сигарой он казался старше. Я обратил внимание на кожу его лица. Она была чистая, гладкая и очень смуглая. На скуле виднелся треугольный шрам. Я видел, что он смотрит на Брет. Он чувствовал, что между ними что-то есть. Он, должно быть, почувствовал это, когда Брет пожала ему руку. Но он вел себя очень осторожно. Я думаю, он был уверен, но боялся сделать промах.

— Вы завтра выступаете? — спросил я.

— Да,— сказал он.— Альгабено был ранен сегодня в Мадриде. Вы слышали?

— Нет,— сказал я.— Тяжело?

Он покачал головой.

— Пустяки. Вот сюда.— Он показал на свою ладонь.

Брет потянулась к его руке и расправила пальцы.

— А-а, вы умеете гадать? — сказал он по-английски.

— Немного. Не хотите?

— Хочу, я очень люблю это.— Он положил руку на стол, ладонью вверх.— Скажите, что я буду жить вечно и стану миллионером.— Он все еще был очень вежлив, но более уверен в себе.— Посмотрите,— сказал он,— есть ли у меня там быки?

Он засмеялся. Рука у него была очень красивая, с сухим запястьем.

— Тут тысячи быков,— сказала Брет. Все ее волнение прошло. Она была очень хороша.

— Отлично,— засмеялся Ромеро.— По тысяче дуро за штуку,— сказал он мне по-испански.— Скажите еще что-нибудь.

— Хорошая рука,— сказала Брет.— Я думаю, он проживет очень долго.

— Говорите мне, а не вашему другу.

— Я говорю, что вы долго проживете.

— Знаю,— сказал Ромеро.— Я никогда не умру.

Я постучал костяшками пальцев по столу. Ромеро заметил это. Он покачал головой.

— Нет. Этого не нужно. Быки — мои лучшие друзья.

Я перевел его слова Брет.

— Вы убиваете своих друзей? — спросила она.

— Всегда,— сказал он по-английски и засмеялся.— Чтобы они не убили меня.— Он посмотрел на нее через стол.

— Вы хорошо говорите по-английски.

— Да,— сказал он.— Иногда говорю неплохо. Только об этом никто не должен знать. Не годится, чтобы тореро говорил по-английски.

— Почему? — спросила Брет.

— Не годится. Все будут недовольны. У нас так не полагается.

— Почему будут недовольны?

— Просто так. Тореро не должен быть такой.

— А какой же?

Он засмеялся, нахлобучил шляпу на глаза, передвинул сигару во рту и сделал сердитое лицо.

— Как те за столом,— сказал он. Я поглядел туда. Он в точности передразнил выражение лица Насионаля. Он улыбнулся, и лицо его приняло прежнее выражение.— Нет. Я должен забыть английский язык.

— Только не сейчас,— сказала Брет.

— Не надо?

— Не надо.

— Ну, не буду.

Он снова засмеялся.

— Я хочу такую шляпу,— сказала Брет.

— Хорошо, я вам достану.

— Отлично. Смотрите же, достаньте.

— Непременно. Сегодня же достану.

Я встал. Ромеро тоже поднялся.

— Сидите,— сказал я.— Я пойду разыщу наших друзей и приведу их сюда.

Он посмотрел на меня. Это был взгляд, в последний раз спрашивающий, все ли ясно. Все было ясно.

— Садитесь,— сказала ему Брет.— Поучите меня говорить по-испански.

Он сел и взглянул на нее через стол. Я вышел. Люди, сидевшие за столиком матадоров, провожали меня жесткими взглядами. Приятного в этом было мало. Двадцать минут спустя, когда я вернулся и заглянул в кафе, Брет и Педро Ромеро уже не было. На столике еще стояли стаканы из-под кофе и наши три пустые рюмки. Подошел официант с салфеткой, собрал стаканы и рюмки и вытер стол.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

У входа в «Миланский бар» я нашел Билла, Майкла и Эдну. Эдной звали знакомую Билла.

— Нас выставили,— сказала Эдна.

— С помощью полиции,— сказал Майкл.— Там, в баре, сидят люди, которым я не по вкусу.

— Я уже четыре раза удерживала их от драки,— сказала Эдна.— Вы должны помочь мне.

Лицо у Билла пылало.

— Идем опять туда, Эдна,— сказал он.— Идите туда и потанцуйте с Майклом.

— Это же глупо,— сказала Эдна.— Ну, опять будет скандал.

— Биаррицкие свиньи,— сказал Билл.

— Идем,— сказал Майкл.— Бар это или не бар? Не имеют они права занимать все помещение.

— Славный ты мой Майкл,— сказал Билл.— Приезжает такая английская свинья и оскорбляет Майкла и портит нам фиесту.

— Это такие мерзавцы,— сказал Майкл.— Ненавижу англичан.

— Не смеют они оскорблять Майкла,— сказал Билл.— Майкл — замечательный малый. Не смеют они оскорблять Майкла. Я этого не потерплю. Не все ли равно, банкрот он или не банкрот.— Голос у него сорвался.

— Да, не все ли равно? — сказал Майкл.— Мне лично все равно. Джейку тоже. Может быть, вам не все равно?

— Все равно,— сказала Эдна.— А вы правда банкрот?

— Ну конечно. Вам все равно, Билл?

Билл обнял Майкла за плечи.

— Я сам хотел бы быть банкротом. Я бы этой сволочи показал.

— Просто они англичане,— сказал Майкл.— Наплевать на то, что говорят англичане.

— Подлые свиньи,— сказал Билл.— Сейчас пойду и выволоку их.

— Билл! — Эдна взглянула на меня.— Пожалуйста, не ходите туда, Билл. Они же дураки.

— Правильно,— сказал Майкл.— Дураки. Я так и знал, что все оттого, что они дураки.

— Не позволю говорить про Майкла такие вещи,— сказал Билл.

— Вы их знаете? — спросил я Майкла.

— Нет. Первый раз в жизни вижу. Они говорят, что знают меня.

— Не потерплю,— сказал Билл.

— Идем отсюда. Пойдемте в кафе Суисо,— сказал я.

— Это шайка Эдниных друзей из Биаррица,— сказал Билл.

— Да они просто дураки,— сказала Эдна.

— Один из них Чарли Блэкмен из Чикаго,— сказал Билл.

— В жизни не бывал в Чикаго,— сказал Майкл.

Эдна расхохоталась и никак не могла остановиться.

— Ну, вы, банкроты, уведите меня отсюда.

— Из-за чего был скандал? — спросил я Эдну. Мы шли через площадь в кафе Суисо. Билл исчез.

— Я не знаю, как это вышло, но кто-то позвал полицию, чтобы вывести Майкла из задней комнаты, где танцуют. Там были какие-то люди, которые встречались с Майклом в Каннах. А что такое с Майклом?

— Он, вероятно, должен им,— сказал я.— Люди обычно сердятся на это.

На площади, перед билетными кассами, дожидались две очереди. Люди сидели на стульях или просто на земле, завернувшись в одеяла и старые газеты. Они заняли очередь, чтобы утром, когда откроются кассы, купить билеты на бой быков. Тучи расходились, светила луна. Многие в очереди спали.

Не успели мы занять столик на террасе кафе Суисо и заказать фундадору, как появился Роберт Кон.

— Где Брет? — спросил он.

— Не знаю.

— Она была с вами.

— Она, должно быть, пошла спать.

— Нет.

— Я не знаю, где она.

Лицо его в электрическом свете было изжелта-бледно. Он не садился.

— Скажите мне, где она.

— Сядьте,— сказал я.— Я не знаю, где она.

— Вы лжете!

— Отстаньте.

— Скажите мне, где Брет.

— Ничего я вам не скажу.

— Вы знаете, где она.

— Если бы и знал, вам не сказал бы.

— Да подите вы к черту, Кон! — крикнул Майкл через стол.— Брет сбежала с мальчишкой матадором. У них сейчас медовый месяц.

— Замолчите!

— Да подите вы к черту,— томно протянул Майкл.

— Это правда? — Кон повернулся ко мне.

— Подите к черту!

— Она была с вами. Это правда?

— Подите к черту!

— Я заставлю вас сказать,— он шагнул вперед,— сводник проклятый!

Я замахнулся на него, но он успел увернуться от удара. Я видел, как лицо его отклонилось в сторону под электрическим фонарем. Потом он ударил меня, и я сел на тротуар. Когда я на-

чал подниматься на ноги, он еще два раза ударил меня. Я упал навзничь под один из столиков. Я хотел встать, но почувствовал, что у меня нет ног. Я знал, что должен подняться и ударить его. Майкл помог мне встать. Кто-то вылил мне на голову графин воды. Майкл поддерживал меня, и я заметил, что сижу на стуле. Майкл тер мне уши.

— Я думал, из вас дух вон,— сказал Майкл.

— А где же, черт возьми, были вы?

— Да здесь же.

— Не пожелали вмешиваться?

— Он и Майкла сшиб с ног,— сказала Эдна.

— Но я мог бы встать,— сказал Майкл.— Я просто так лежал.

— Скажите, так бывает каждый вечер на ваших фиестах? — спросила Эдна.— Кажется, это был мистер Кон?

— Уже все прошло,— сказал я.— Голова только немного кружится.

Около нас стояло несколько официантов, а кругом собралась толпа.

— Vaya,— сказал Майкл.— Ступайте отсюда. Уходите.

Официанты заставили толпу разойтись.

— На это стоило посмотреть,— сказала Эдна.— Он настоящий боксер.

— Он боксер и есть.

— Жалко, что Билла здесь не было,— сказала Эдна.— Хотелось бы мне посмотреть, как Билл свалился бы. Мне всегда хотелось посмотреть, как Билла сшибут с ног. Он такой длинный.

— Я все ждал, что он ударит официанта,— сказал Майкл,— и его арестуют. Очень был бы рад, если бы мистера Роберта Кона засадили в тюрьму.

— Ну, вот еще,— сказал я.

— Что вы,— сказала Эдна.— Вы шутите.

— Нет, не шучу,— сказал Майкл.— Я не из тех, кто любит, чтобы их поколачивали. Я даже ни в какие игры не играю.

Майкл выпил рюмку фундадору.

— Я, знаете, и охоты никогда не любил. Всегда может случиться, что тебя придавит лошадь. Как вы себя чувствуете, Джейк?

— Хорошо.

— Вы мне нравитесь,— сказала Эдна Майклу.— Вы правда банкрот?

— Я отчаянный банкрот,— сказал Майкл.— Я всем на свете должен. Неужели у вас нет долгов?

— Куча.

— Я всем на свете должен,— сказал Майкл.— Я сегодня занял сто песет у Монтойи.

— Неправда,— сказал я.

— Я отдам ему,— сказал Майкл.— Я всегда всем отдаю.

— Оттого вы и банкрот, да? — сказала Эдна.

Я встал. Голоса их доходили до меня откуда-то очень издалека. Все казалось каким-то скверным фарсом.

— Я пойду в отель,— сказал я. Потом я услышал, что они говорят обо мне.

— А он дойдет один? — спросила Эдна.

— Лучше проводим его.

— Я дойду,— сказал я.— Не ходите со мной. Мы еще увидимся.

Я пошел прочь от кафе. Они остались за столиком. Я оглянулся на них и на пустые столы. За одним из столиков сидел официант, подперев голову руками.

Когда я шел через площадь к отелю, все выглядело иначе и по-новому. Никогда я не видел этих деревьев. Никогда не видел шестов с флагами, не видел фасада театра. Все изменилось. Такое чувство у меня уже было однажды, когда я возвращался домой с загородного футбольного поля. Я нес чемодан с моим спортивным снаряжением и шел по дороге от вокзала к городу, в котором жил всю жизнь, и все было по-новому. В садах сгребали сухие листья и жгли их на обочине, и я остановился и долго смотрел. Все было непривычно. Потом я пошел дальше, и мне казалось, что ноги мои где-то далеко и что все предметы приближаются ко мне издалека, и я слышал, как ноги мои шагают где-то на большом расстоянии от меня. В самом начале игры меня ударили каблуком по голове. Вот так же я сейчас переходил площадь. Так же поднимался по лестнице отеля. На то, чтобы подняться по лестнице, потребовалось много времени, и мне казалось, что в руке у меня чемодан. В моей комнате горел свет. Билл вышел ко мне в коридор.

— Послушай,— сказал он,— поднимись и зайди к Кону. С ним что-то стряслось, и он спрашивал тебя.

— Ну его к черту.

— Ступай. Ступай, зайди к нему.

Мне не хотелось взбираться еще выше.

— Что ты так смотришь на меня?

— Вовсе я на тебя не смотрю. Ступай наверх и зайди к Кону. С ним что-то неладно.

— А ты не пьян ли? — сказал я.

— Да, пьян,— сказал Билл.— А ты все-таки ступай наверх и зайди к Кону. Он хочет тебя видеть.

— Ладно,— сказал я. Вот только по лестнице взбираться не

хотелось. Я поднимался по лестнице и тащил свой воображаемый чемодан. Я прошел по коридору до номера Кона. Дверь была закрыта, и я постучался.

— Кто там?

— Барнс.

— Войдите, Джейк.

Я отворил дверь, вошел в комнату и поставил свой чемодан. В комнате было темно. Кон лежал ничком на кровати в темноте.

— Хэлло, Джейк.

— Не называйте меня Джейком.

Я стоял у двери. Точно так же я тогда пришел домой. Теперь мне нужно было горячую ванну. Полную горячую ванну, чтобы вытянуться как следует.

— Где ванная? — спросил я.

Кон плакал. Лежал, уткнувшись лицом в подушку, и плакал. На нем была белая рубашка «поло», как те, что он носил в Принстоне.

— Я виноват, Джейк. Пожалуйста, простите меня.

— Еще чего.

— Пожалуйста, простите меня, Джейк.

Я ничего не ответил. Я просто стоял у двери.

— Я себя не помнил. Вы же понимаете, как это вышло.

— Ну, ладно.

— Я просто не мог этого вынести.

— Вы назвали меня сводником.

Мне было все равно. Я хотел горячую ванну. Я хотел очень полную, горячую ванну.

— Я знаю. Пожалуйста, забудьте про это. Я просто себя не помнил.

— Ну, ладно.

Он плакал. Голос у него был смешной. Он лежал в белой рубашке на кровати в темноте. В рубашке «поло».

— Я завтра утром уеду.

Теперь он плакал беззвучно.

— Я просто не мог этого вынести. Я прошел через муки ада, Джейк. Это был сущий ад. С тех пор как мы сюда приехали, Брет обращается со мной так, как будто я ей совсем чужой. Я просто не мог этого вынести. Мы жили вместе в Сан-Себастьяне. Вы, должно быть, знаете. Я не могу этого вынести.

Так он и лежал на кровати.

— Вот что,— сказал я.— Я пойду приму ванну.

— Вы были моим единственным другом, и я так любил Брет.

— Ну,— сказал я,— до свиданья.

— И все это ни к чему,— сказал он.— Все ни к чему.

— Что именно?

— Все. Джейк, скажите, что вы больше не сердитесь.

— Да нет,— сказал я.— Ладно.

— Я так измучился. Я прошел через муки ада, Джейк. Теперь все кончено. Все.

— Ну,— сказал я,— до свиданья. Мне пора.

Он повернулся, сел на край постели, потом встал.

— До свиданья, Джейк,— сказал он.— Вы подадите мне руку?

— Конечно. Почему же нет?

Мы пожали друг другу руки. В темноте я не мог разглядеть его лица.

— Ну,— сказал я,— завтра утром увидимся.

— Я утром уезжаю.

— Ах да! — сказал я.

Я вышел. Кон стоял в дверях своего номера.

— Как вы себя чувствуете, Джейк? — спросил он.

— Хорошо,— сказал я.— Все в порядке.

Я никак не мог найти ванную комнату. Наконец нашел. Там была глубокая каменная ванна. Я отвернул кран, но вода не шла. Я посидел на краю ванны. Когда я встал и хотел уйти, оказалось, что я снял ботинки. Я поискал их, нашел и понес вниз. Я нашел свой номер, разделся и лег в постель.

Проснулся я с головной болью от грома оркестра, проходившего по улице. Я вспомнил, что обещал Эдне, приятельнице Билла, пойти с ней посмотреть, как быки бегут в цирк по улицам города. Я оделся, спустился вниз и вышел в прохладу раннего утра. Люди, торопясь в цирк, быстрым шагом пересекали площадь. От билетных касс через всю площадь тянулись те же две очереди — ждали семи часов, когда начнут продавать билеты. Я торопливо пересек площадь и вошел в кафе. Официант сказал мне, что мои друзья были здесь и ушли.

— Сколько их было?

— Два сеньора и одна сеньорита.

Значит, все в порядке. Эдна была с Биллом и Майклом. Накануне вечером она боялась, что они раскиснут. Поэтому она просила меня, чтобы я непременно пошел с ней. Я выпил кофе и вместе с толпой торопливо зашагал к цирку. Я уже твердо держался на ногах. Только очень болела голова. Все вокруг было четким и ясным, и в городе пахло ранним утром.

На дороге, ведущей с окраины города в цирк, было грязно. Вдоль всего забора, который тянулся до самого цирка, стояла толпа, а наружные балконы и крыша цирка были сплошь усеяны людьми. Я услышал взрыв ракеты и понял, что не поспею в цирк

к приходу быков, и потому протиснулся сквозь толпу к забору. Меня плотно прижали к деревянным доскам. В проходе, огороженном заборами, полиция подгоняла толпу. Люди шли или трусили рысцой в сторону цирка. Потом появились бегущие люди. Какой-то пьяный поскользнулся и упал. Двое полицейских подхватили его и оттащили к забору. Теперь люди бежали быстро. Потом раздался дружный крик толпы, и, просунув голову между досками забора, я увидел, как быки сворачивают с улицы в длинный загон, ведущий в цирк. Быки бежали быстро и нагоняли толпу. Вдруг еще один пьяный отбежал от забора, держа обеими руками куртку, словно плащ матадора. Он хотел поработать с быками. Оба полицейских ринулись к нему, один схватил его за шиворот, другой ударил дубинкой, потом притиснули его к забору и стояли, прижавшись к доскам, пока не пробежали последние из толпы и быки. Впереди быков бежало так много народу, что в воротах цирка образовалась пробка, и когда быки, тяжелые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу, один бык вырвался вперед, всадил рог в спину бегущему впереди человеку и поднял его на воздух. Когда рог вошел в тело, руки человека повисли, голова запрокинулась, и бык поднял его, а затем бросил на землю. Бык погнался еще за одним из бегущих, но тот скрылся в толпе, и толпа прорвалась в ворота, а за нею быки. Красные ворота цирка закрылись, с наружных балконов люди протискивались вовнутрь амфитеатра, раздался крик, потом — снова крик.

Человек, которого бык забодал, лежал ничком в истоптанной грязи. Люди перелезали через забор, и мне ничего не было видно, потому что толпа тесно окружила его. Из цирка доносились крики. Каждый крик означал, что бык кинулся на толпу. По силе крика можно было определить, насколько страшно то, что там происходит. Потом взвилась ракета, и это значило, что волы загнали быков с арены в корраль. Я отошел от забора и отправился обратно, в город.

Вернувшись в город, я опять зашел в кафе выпить кофе с гренками. Официанты подметали пол и вытирали столики. Один официант подошел ко мне и принял заказ.

— Что-нибудь случилось во время encierro?

— Я всего не видел. Один из толпы серьезно ранен.

— Куда?

— Вот так.— Я положил одну руку на поясницу, а другую на то место груди, где, по-моему, рог должен был выйти наружу. Официант кивнул головой и салфеткой смахнул крошки со столика.

— Тяжелая рана,— сказал он.— И все ради спорта. Ради забавы.

Он отошел и вернулся, неся кофейник и молочник с длинными ручками. Он налил кофе и молока. Из длинных носиков две струи потекли в большую чашку. Официант кивнул головой.

— Тяжелая рана, если в спину,— сказал он. Он поставил кофейник и молочник и присел к столику.— Глубокая рана. Ради забавы. Просто забава. Что вы на это скажете?

— Не знаю.

— То-то. Ради забавы. Забавно, видите ли!

— Вы не aficionado?

— Я? Что такое быки? Животные. Грубые животные.— Он встал и положил руку на поясницу.— В спину и насквозь. Сквозная рана в спину. Ради забавы, видите ли.

Он покачал головой и отошел, захватив кофейники. По улице мимо кафе шли двое мужчин. Официант окликнул их. Лица у них были серьезные. Один из них покачал головой.

— Muerto! — крикнул он.

Официант кивнул. Они пошли дальше. Они, видимо, куда-то спешили. Официант подошел к моему столику.

— Слышали? Muerto! Умер. Он умер. Рог прошел насквозь. Захотелось весело провести утро. Es muy flamenco [1].

— Печально.

— Не вижу,— сказал официант,— не вижу в этом ничего забавного.

Днем мы узнали, что убитого звали Висенте Гиронес и что приехал он из-под Тафальи. На другой день мы прочли в газетах, что ему было двадцать восемь лет, что у него была ферма, жена и двое детей. Как и до женитьбы, он каждый год приезжал на фиесту. Еще через день из Тафальи приехала его жена проститься с покойником, а назавтра в часовне св. Фермина было отпевание, и члены тафальского танцевального общества понесли гроб на вокзал. Впереди выступали барабаны, и дудки свистели, а позади гроба шла жена покойного и его двое детей. За ними шли все члены танцевальных обществ Памплоны, Эстельи, Тафальи и Сангесы, которые смогли остаться на похороны. Гроб погрузили в багажный вагон, а вдова с детьми, все трое, сели рядом в открытом вагоне третьего класса. Поезд резко дернул, потом плавно пошел под уклон, огибая плато, и умчался в Тафалью по равнине, где ветер колыхал пшеничные поля.

Быка, который убил Висенте Гиронеса, звали Черногубый, он числился под номером 118 в ганадерии Санхеса Таберно и был третьим быком, убитым Педро Ромеро на арене в тот же день. Под ликование толпы ему отрезали ухо и передали его Педро Ромеро,

[1] Это уже слишком *(исп.)*.

тот, в свою очередь, передал его Брет, а она завернула ухо в мой носовой платок и оставила и то и другое, вместе с окурками сигарет «Муратти», в ящике почного столика, возле своей кровати, в отеле Монтойи, в Памплоне.

Когда я вернулся в отель, ночной сторож еще сидел на скамье возле дверей. Он просидел здесь всю ночь, и ему очень хотелось спать. Он встал, когда я вошел в отель. Три служанки, ходившие в цирк смотреть быков, вошли вместе со мной. Они, пересмеиваясь, стали подниматься по лестнице. Я тоже поднялся наверх и вошел в свой номер. Я снял ботинки и лег на кровать. Дверь на балкон была раскрыта, и солнце ярко светило в комнату. Спать мне не хотелось. Вчера я лег не раньше половины четвертого, а в шесть меня разбудила музыка. Челюсть болела с обеих сторон. Я пощупал ее большим и средним пальцами. Проклятый Кон. Ему бы ударить кого-нибудь, когда его в первый раз оскорбили, и уехать. Он так был уверен, что Брет любит его. Он вообразил, что должен остаться, и беззаветная любовь восторжествует. В дверь постучали.

— Войдите.

Вошли Билл и Майкл. Они сели на кровать.

— Вот так encierro,— сказал Билл.— Вот так encierro.

— А вы не были? — спросил Майкл.— Билл, позвоните, чтобы подали пива.

— Ну и утречко! — сказал Билл. Он вытер лицо.— Господи, ну и утречко! А тут еще Джейк. Бедняга Джейк, живая боксерская мишень.

— Что случилось на арене?

— О, господи! — сказал Билл.— Что там случилось, Майкл?

— Да бежали эти бычищи,— сказал Майкл.— А впереди толпа, один поскользнулся, упал, и все повалились кучей.

— А быки налетели прямо на них,— сказал Билл.

— Я слышал, как там вопили.

— Это Эдна вопила,— сказал Билл.

— Какие-то люди выскакивали из толпы и размахивали рубашками.

— Один бык бежал по кругу и перебрасывал всех через барьер.

— Человек двадцать унесли в лазарет,— сказал Майкл.

— Ну и утречко! — сказал Билл.— Полиция то и дело забирала самоубийц, которые так и лезли прямо на рога.

— В конце концов волы загнали их,— сказал Майкл.

— Но это продолжалось не меньше часа.

— В сущности, это продолжалось четверть часа,— возразил Майкл.

— Бросьте,— сказал Билл.— Вы же были на войне. Для меня это продолжалось два с половиной часа.

— Где же пиво? — спросил Майкл.

— А куда вы дели очаровательную Эдну?

— Мы только что проводили ее домой. Она пошла спать.

— Понравилось ей?

— Очень. Мы сказали, что здесь каждое утро так.

— Она была потрясена,— сказал Майкл.

— Она хотела, чтобы мы тоже вышли на арену,— сказал Билл.— Она за энергичные действия.

— Я объяснил ей, что это будет нечестно по отношению к моим кредиторам,— сказал Майкл.

— Ну и утречко! — сказал Билл.— А ночь-то!

— Как ваша челюсть, Джейк? — спросил Майкл.

— Болит,— сказал я.

Билл засмеялся.

— Почему ты не запустил в него стулом?

— Вам хорошо говорить,— сказал Майкл.— Он и вас бы сшиб. Я просто не успел оглянуться. Только что он стоял против меня, и вот уже я сижу на тротуаре, а Джейк валяется под столом.

— А куда он после пошел? — спросил я.

— Вот она! — сказал Майкл.— Вот божественная леди с пивом.

Служанка поставила на стол поднос с бутылками пива и стаканами.

— А теперь принесите еще три бутылки,— сказал Майкл.

— Куда Кон пошел после того, как ударил меня? — спросил я Билла.

— А вы ничего не знаете? — Майкл откупоривал бутылку пива. Он налил пива в один из стаканов, подняв его к самому горлышку.

— Правда не знаешь? — спросил Билл.

— Он вернулся сюда и нашел Брет и мальчишку матадора в его номере, а потом он изуродовал бедного, несчастного матадора.

— Что?

— Да, да.

— Ну и ночка! — сказал Билл.

— Он чуть не убил бедного, несчастного матадора. Потом Кон хотел увезти Брет. Вероятно, хотел сделать из нее честную женщину. Ужасно трогательная сцена.

Он залпом выпил стакан пива.

— Он осел.

— А потом что?

— Ну Брет ему показала. Отделала его. Она, должно быть, была великолепна.

— Еще бы! — сказал Билл.

— Тогда Кон совсем обмяк и хотел пожать руку матадору. Он и Брет хотел пожать руку.

— Знаю. Он мне тоже пожал руку.

— Вот как? Ну, они отказались. Матадор держался молодцом. Он ничего не говорил, но после каждого удара подымался на ноги и потом опять падал. Кон так и не сумел уложить его. Потешно, должно быть, было.

— Откуда вы все это знаете?

— От Брет. Я видел ее утром.

— И чем это кончилось?

— Вот слушайте: матадор сидел на кровати. Он уже раз пятнадцать падал, но все еще лез драться. Брет удерживала его и не давала ему встать. Он хоть и ослабел, но Брет не могла удержать его, и он встал. Тогда Кон сказал, что он больше не станет драться. Что этого нельзя. Что это было бы подло. Тогда матадор, спотыкаясь, пошел на него. Кон попятился к стене. «Так вы не станете драться?» — «Нет,— сказал Кон.— Мне было бы стыдно». Тогда матадор из последних сил ударил его по лицу и сел на пол. Брет говорит, что он не мог встать. Кон хотел поднять его и положить на кровать. Он сказал, что если Кон дотронется до него, то он убьет его, и что он все равно убьет его утром, если Кон еще будет в городе. Кон плакал, и Брет отделала его, и он хотел пожать им руки. Это я уже рассказывал.

— Расскажите конец,— сказал Билл.

— Ну, матадор сидел на полу. Он собирался с силами, чтобы встать и еще раз ударить Кона. Брет отказалась от всяких рукопожатий, а Кон плакал и говорил, как сильно он ее любит, а она говорила ему, что нельзя быть таким ослом. Потом Кон нагнулся, чтобы пожать руку матадору. Знаете — разойдемся, мол, по-хорошему. Просил прощения. А матадор размахнулся и еще раз ударил его по лицу.

— Молодец мальчишка,— сказал Билл.

— Теперь Кону крышка,— сказал Майкл.— Я уверен, что у Кона навсегда пропала охота драться.

— Когда вы видели Брет?

— Сегодня. Ей нужно было взять кое-что из вещей. Она ухаживает за своим Ромеро.

Он начал еще бутылку пива.

— Брет порядком замучилась. Но она любит ходить за больными. Так и мы с ней сошлись. Она ухаживала за мной.

— Я знаю,— сказал я.

— Я здорово пьян,— сказал Майкл.— Пожалуй, я и дальше буду пить. Все это смешно, но не очень-то приятно. Не очень-то приятно для меня.

Он выпил пиво.

— Я, знаете ли, выразил Брет свое мнение. Я сказал ей, что если она будет путаться с евреями и матадорами и тому подобной публикой, то это добром не кончится.— Он наклонился ко мне.— Послушайте, Джейк, можно я выпью вашу бутылку? Вам принесут еще.

— Пожалуйста,— сказал я.— Я все равно не собирался пить.

Майкл начал откупоривать бутылку.

— Может быть, вы откроете?

Я снял проволоку, вытащил пробку и налил ему пива.

— Знаете,— продолжал Майкл,— Брет была великолепна. Она всегда великолепна. Я устроил ей скандал по поводу евреев и матадоров и тому подобной публики, а она знаете что сказала: «Ну да. Хлебнула я счастья с вашей британской аристократией!»

Он отпил из стакана.

— Это великолепно. Знаете, этот Эшли, который дал ей титул, был моряком. Девятый баронет. Когда он бывал дома, он не желал спать на кровати. Заставлял Брет спать на полу. Под конец, когда он совсем рехнулся, он грозил, что убьет ее. Спал всегда с заряженным пистолетом. Брет вынимала патроны, когда он засыпал. Нельзя сказать, чтобы она много счастья видела в жизни. Свинство, в сущности. Она так всему радуется.

Он встал. Руки у него дрожали.

— Я пойду к себе. Постараюсь уснуть.

Он улыбнулся.

— Мы слишком мало спим из-за этой фиесты. Я намерен прекратить это и хорошенько выспаться. Очень скверно так мало спать. Ужасно треплет нервы.

— Встретимся в двенадцать в кафе Ирунья,— сказал Билл.

Майкл вышел. Мы слышали, как он отворил дверь в соседнюю комнату. Потом он позвонил, пришла служанка и постучала в дверь.

— Принесите полдюжины пива и бутылку фундадору,— сказал ей Майкл.

— Si, señorito [1].

— Я иду спать,— сказал Билл.— Бедняга Майкл. Ужасный скандал вышел из-за него вчера.

---

[1] Да, господин *(исп.)*.

— Где? В «Миланском баре»?

— Да. Там был какой-то тип, который когда-то заплатил долги Брет и Майкла в Каннах. Он страшно хамил.

— Я знаю эту историю.

— А я не знал. Отвратительно, что кто-то имеет право ругать Майкла.

— Вот это-то и скверно.

— Просто отвратительно. Бесит меня, что кто-то имеет на это право. Ну, я иду спать.

— В цирке были убитые?

— Как будто нет. Только тяжело раненные.

— А в проходе одного забодали.

— Вот как? — сказал Билл.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В полдень мы все трое собрались в кафе. Кафе было переполнено. Мы ели креветок и пили пиво. Город был переполнен. Все улицы запрудила толпа. Большие автомобили из Биаррица и Сан-Себастьяна то и дело подъезжали и выстраивались по краю площади. Они привозили публику на бой быков. Подъезжали и туристские автобусы. В одном автобусе приехало двадцать пять англичанок. Они сидели в большой белой машине и в бинокль смотрели на фиесту. Танцоры были совершенно пьяны. Шел последний день фиесты.

Фиеста текла сплошным потоком, и только машины и автобусы с приезжими казались небольшими островками. Когда машины пустели, приезжих поглощала толпа. Потом их уже не было видно, и только кое-где среди крестьян в черных блузах, густо облепивших столики кафе, мелькали их столь неуместные здесь спортивные костюмы. Фиеста поглощала даже англичан из Биаррица, и они были незаметны, пока близко не пройдешь мимо их столика. На улицах не умолкала музыка. Барабаны трещали, дудки свистели. Внутри кафе, держась за край стола или обняв друг друга за плечи, мужчины пели жесткими голосами.

— Вот Брет идет,— сказал Билл.

Я поднял глаза и увидел, что она идет сквозь толпу на площади, высоко подняв голову, словно фиеста разыгрывалась в ее честь и это ей и лестно, и немножко смешно.

— Хэлло, друзья! — сказала она.— Смерть выпить хочется.

— Дайте еще кружку пива,— сказал Билл официанту.

— И креветок?

— Кон уехал? — спросила Брет.

— Да,— сказал Билл.— Он нанял машину.

Подали пиво. Брет хотела поднять стеклянную кружку, но рука у нее дрожала. Она заметила это, улыбнулась и, наклонившись, отпила большой глоток.

— Хорошее пиво.

— Очень хорошее,— сказал я. Меня беспокоил Майкл. Я был уверен, что он не спал. Он, вероятно, все время пил, но, по-видимому, держал себя в руках.

— Я слышала, Джейк, что Кон избил вас,— сказала Брет.

— Нет. Сшиб меня с ног. Только всего.

— Но он избил Педро Ромеро,— сказала Брет.— Он сильно избил его.

— Как он?

— Ничего, обойдется. Он не хочет выходить из комнаты.

— А как он выглядит?

— Плохо. Он сильно избит. Я сказала ему, что уйду на минутку повидаться с вами.

— Он будет выступать?

— Конечно. Я пойду с вами, если вы ничего не имеете против.

— Как поживает твой дружок? — спросил Майкл. Он не слышал ни слова из того, что говорила Брет.— Брет завела себе матадора,— сказал он.— У нее был еврей, по имени Кон, но он оказался негодным.

Брет встала.

— Я не стану слушать такую чушь, Майкл.

— Как поживает твой дружок?

— Отлично,— сказала Брет.— Увидишь его сегодня на арене.

— Брет завела себе матадора,— сказал Майкл.— Красавчика матадора.

— Проводите меня, пожалуйста, Джейк. Мне нужно поговорить с вами.

— Расскажи ему про своего матадора,— сказал Майкл.— К черту твоего матадора! — Он так двинул столик, что кружки пива и блюда креветок с грохотом полетели на пол.

— Пошли,— сказала Брет.— Уйдем отсюда.

Пробираясь сквозь толпу на площади, я спросил:

— Ну, как?

— После завтрака я не увижу его до самого боя. Придут его друзья одевать его. Он говорит, что они очень сердятся из-за меня.

Брет сияла. Она была счастлива. Солнце сверкало, день стоял ясный.

— Я точно переродилась,— сказала Брет.— Ты себе представить не можешь, Джейк.

— Тебе что-нибудь нужно от меня?

— Нет, только пойдем со мной в цирк.

— За завтраком увидимся?

— Нет. Я с ним буду завтракать.

Мы стояли под аркадой у подъезда отеля. Из отеля выносили столики и ставили их под аркадой.

— Хочешь пройтись по парку? — спросила Брет.— Я не хочу возвращаться в отель. Он, вероятно, спит.

Мы прошли мимо театра, до конца площади, потом миновали ярмарку, двигаясь вместе с толпой между рядами ларьков и балаганов. Потом свернули на улицу, которая вела к Пасео-де-Сарасате. Мы увидели публику в парке,— сплошь элегантно одетые люди. Они прогуливались по кругу в дальнем конце парка.

— Только не туда,— сказала Брет.— Мне сейчас не хочется, чтобы на меня глазели.

Мы стояли под ярким солнцем. День выдался жаркий и ясный после дождя и туч с моря.

— Надеюсь, ветер уляжется,— сказала Брет.— А то это плохо для него.

— И я надеюсь.

— Он говорит, что быки хорошие.

— Хорошие.

— Это часовня святого Фермина?

Брет смотрела на желтую стену часовни.

— Да. Отсюда в воскресенье началась процессия.

— Зайдем. Хочешь? Я бы помолилась за него, да и вообще.

Мы вошли в обитую кожей, тяжелую, но легко поддавшуюся дверь. Внутри было темно. Молящихся собралось много. Их стало видно, когда глаза привыкли к полумраку. Мы стали рядом на колени у одной из длинных деревянных скамей. Немного погодя я почувствовал, что Брет выпрямилась, и увидел, что она смотрит прямо перед собой.

— Уйдем,— хрипло прошептала она.— Выйдем отсюда. На меня это очень действует.

Когда мы вышли на жаркую, залитую солнцем улицу, Брет поглядела на качающиеся от ветра верхушки деревьев. Молитва, видимо, не успокоила ее.

— Не знаю, почему я так нервничаю в церкви,— сказала Брет.— Никогда мне не помогает.

Мы пошли дальше.

— Не гожусь я для религиозного настроения,— сказала Брет.— Лицо неподходящее.

— Знаешь,— помолчав, сказала Брет,— я совсем за него не волнуюсь. Я просто радуюсь за него.

— Это хорошо.

— Но лучше бы все-таки, чтобы ветер улегся.

— Может быть, к пяти уляжется.

— Будем надеяться.

— Ты бы помолилась,— засмеялся я.

— Никогда мне не помогает. Никогда еще ничего не исполнилось, о чем я молилась. А у тебя?

— О да.

— Чушь! — сказала Брет.— Хотя, может быть, у кого-нибудь так бывает. У тебя не очень набожный вид, Джейк.

— Я очень набожный.

— Чушь! — сказала Брет.— Давай сегодня без проповеди. Сегодня и так будет сумасшедший день.

Ни разу со времени ее поездки с Коном я не видел ее такой счастливой и беззаботной. Мы снова стояли перед подъездом отеля. Все столики были вынесены, и за ними уже сидели люди и ели.

— Присмотри за Майклом,— сказала Брет.— Не давай ему очень распускаться.

— Ваш друзья пошла наверху,— сказал немец-метрдотель. Он вечно подслушивал. Брет обернулась к нему.

— Благодарю вас. Вы еще что-то хотели сказать?

— Нет, м-эм.

— Хорошо,— сказала Брет.

— Оставьте нам столик на троих,— сказал я немцу.

Он улыбнулся своей гнусной, румяно-белой улыбочкой.

— Мэдэм будет кушать здесь?

— Нет,— сказала Брет.

— Тогда я думиль, один столь для два довольно?

— Не разговаривай с ним,— сказала Брет.— Майкл, наверно, наскандалил,— сказала она, когда мы поднимались по лестнице. На лестнице мы встретили Монтойу. Он поклонился, но без улыбки.

— Встретимся в кафе,— сказала Брет.— Спасибо тебе, Джейк.

Мы остановились у дверей наших комнат. Брет прямо пошла дальше по коридору до номера Ромеро. Она вошла не постучавшись. Она просто открыла дверь, вошла и притворила ее за собой.

Я постоял немного перед дверью Майкла, потом постучал. Ответа не было. Я взялся за ручку, и дверь отворилась. В ком-

нате все было вверх дном. Чемоданы стояли раскрытые, повсюду валялась одежда. Возле кровати выстроились пустые бутылки. Майкл лежал на постели, и лицо его казалось посмертной маской, снятой с него самого. Он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Привет, Джейк,— сказал он очень медленно.— Я хочу соснуть. Я давно уже хо-чу со-снуть.

— Дайте я накрою вас.

— Не надо. Мне и так тепло. Не уходите. Я е-ще не сплю.

— Сейчас уснете, не расстраивайтесь, дорогой мой.

— Брет завела себе матадора,— сказал Майкл.— Зато еврей ее уехал.

Он повернул голову и посмотрел на меня.

— Это замечательно, правда?

— Да. А теперь спите, Майкл. Вам нужно поспать.

— Я за-сыпаю. Я хочу немного со-снуть.

Он закрыл глаза. Я вышел из комнаты и тихо притворил дверь. В моей комнате сидел Билл и читал газету.

— Ты видел Майкла?

— Да.

— Пойдем завтракать.

— Я не стану завтракать здесь. Этот немец очень хамил, когда я вел Майкла по лестнице.

— Он и с нами хамил.

— Пойдем позавтракаем в городе.

Мы спустились по лестнице. Вверх по лестнице поднималась служанка с подносом, накрытым салфеткой.

— Это Брет несут завтрак.

— И малышу,— сказал я.

На террасе под аркадой к нам подошел немец-метрдотель. Его красные щеки лоснились. Он был очень вежлив.

— Я оставляль столь для два джентльмены,— сказал он.

— Возьмите его себе,— сказал Билл. Мы перешли на другую сторону.

Мы поели в ресторане на одной из улиц, выходящих на площадь. В ресторане сидели одни мужчины. Было дымно, пьяно и шумно. Еда оказалась хорошая, вино тоже. Мы мало разговаривали. Потом мы пошли в кафе и смотрели, как фиеста достигает точки кипения. Брет пришла вскоре после завтрака. Она сказала, что заглянула в комнату Майкла и что он спит.

Когда фиеста закипела и, перелившись через край, хлынула к цирку, мы пошли вместе с толпой. Брет сидела в первом ряду между мной и Биллом. Прямо под нами был кальехон — проход между первым рядом и красным деревянным барьером. Бетонные скамьи позади нас быстро наполнялись. Впереди, за красным

барьером, желтел укатанный песок арены. В тени он казался немного отяжелевшим от дождя, но на солнце он был сухой, твердый и гладкий. Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены туго свернутые, запачканные кровью плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив их к барьеру, так что видны были обернутые красным рукоятки шпаг. Они развертывали красные, в темных пятнах мулеты и вставляли в них палки, чтобы ткань натягивалась и чтобы матадору было за что держать ее. Брет внимательно следила за ними. Все, что касалось ремесла матадора, интересовало ее.

— Его именем помечены все плащи и мулеты,— сказала она.— Почему это называется мулетой?

— Не знаю.

— Их когда-нибудь стирают?

— Не думаю. Они могут полинять.

— Они, должно быть, жесткие от крови,— сказал Билл.

— Странно,— сказала Брет.— Совсем не обращаешь внимания на кровь.

Внизу, в узком проходе, служители заканчивали приготовления. Все места были заняты. Наверху все ложи были заняты. Не оставалось ни одного пустого места, кроме кресла в ложе президента. Когда он появится, начнется бой. Напротив нас, по ту сторону гладкого песка, в высоких воротах корраля, стояли матадоры, перекинув плащи через руку, и болтали между собой в ожидании сигнала выйти на арену. Брет смотрела на них в бинокль.

— Хотите взглянуть?

Я посмотрел в бинокль и увидел всех трех матадоров. Ромеро стоял в середине, налево от него Бельмонте, направо Марсьял. За ними стояли их куадрильи, а еще дальше, в воротах корраля и на открытом пространстве загона — пикадоры. Ромеро был в черном костюме. Треуголку он низко надвинул на глаза. Треуголка мешала мне разглядеть его лицо, но мне показалось, что оно сильно изуродовано. Он смотрел прямо перед собой. Марсьял осторожно курил сигарету, пряча ее в горсть. Бельмонте тоже смотрел прямо перед собой, лицо у него было изможденное, желтое, длинная волчья челюсть выдавалась вперед. Он смотрел в пространство. Казалось, ни он, ни Ромеро не имеют ничего общего с остальными. Они были совсем одни. Над ними, в ложах, послышались хлопки — появился президент,— и я передал Брет бинокль. Раздались аплодисменты. Заиграла музыка. Брет смотрела в бинокль.

— Возьмите,— сказала она.

В бинокль я увидел, что Бельмонте что-то говорит Ромеро.

Марсьял выпрямился, бросил сигарету — и, смотря прямо перед собой, подняв голову, размахивая свободной рукой, три матадора открыли церемониальное шествие. За ними, развернувшись, двинулись три куадрильи, одинаково шагая, подхватив плащи и размахивая свободной рукой, а позади ехали пикадоры, подняв свои длинные копья. Шествие замыкали две упряжки мулов и служители. Матадоры поклонились, не снимая треуголок, перед ложей президента, потом подошли к барьеру под нами. Педро Ромеро снял тяжелый, расшитый золотом плащ и передал его через барьер своему личному слуге. Он что-то сказал ему. Теперь, когда Ромеро стоял так близко, было видно, что губы у него вздулись и вокруг глаз кровоподтеки. Опухшее лицо было в багровых пятнах.

Слуга Ромеро взял плащ, взгляпул на Брет, подошел к нам и передал ей плащ.

— Разверните его перед собой,— сказал я.

Брет наклонилась вперед. Плащ был тяжелый и негнущийся от золота. Слуга Ромеро оглянулся, покачал головой и сказал что-то. Мой сосед перегнулся к Брет.

— Он не хочет, чтобы вы развертывали его,— сказал он.— Он хочет, чтобы вы сложили его и держали на коленях.

Брет сложила тяжелый плащ.

Ромеро не смотрел на нас. Он говорил с Бельмонте. Бельмонте послал свой парадный плащ друзьям. Он смотрел на них, улыбаясь своей волчьей улыбкой, одними губами. Ромеро перегнулся через барьер и спросил воды. Ему принесли кувшин, и Ромеро налил воды на подкладку своего боевого плаща и потом ногой в туфле затоптал нижний край в песок.

— Зачем это он? — спросила Брет.

— Чтобы тяжелее был на ветру.

— Лицо у него нехорошее,— сказал Билл.

— Ему самому нехорошо,— сказала Брет.— Его бы надо в постель уложить.

Первого быка убивал Бельмонте. Бельмонте работал очень хорошо. Но он получал тридцать тысяч песет за выход, и люди всю ночь простояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на него, и поэтому толпа требовала, чтобы он работал лучше, чем очень хорошо. Главное обаяние Бельмонте в том, что он работает близко к быку. В бое быков различают территорию быка и территорию матадора. Пока матадор находится на своей территории, он в сравнительной безопасности. Каждый раз, как он вступает на территорию быка, ему угрожает смерть. Бельмонте в свою лучшую пору всегда работал на территории быка. Этим он давал ощущение надвигающейся трагедии. Люди шли на бой быков, чтобы видеть Бельмонте, чтобы испытать это ощущение и, может быть, увидеть смерть

Бельмонте. Пятнадцать лет назад говорили, что, если хочешь увидеть Бельмонте на арене, делай это скорее, пока он еще жив. С тех пор он убил больше тысячи быков. После того как он перестал выступать, о его работе ходили легенды, и когда он вернулся на арену, публика была разочарована, потому что ни один матадор во плоти не мог работать так близко к быку, как того требовала легенда, не исключая, конечно, и самого Бельмонте.

К тому же Бельмонте ставил условия, требовал, чтобы его быки были не слишком крупные и рога их не слишком опасные, и потому предвкушение трагической развязки отпадало, и публика, которая ждала от изнуренного свищом Бельмонте втрое больше того, что Бельмонте когда-либо был в состоянии дать, считала себя обкраденной и обманутой, и от презрения волчья челюсть Бельмонте еще дальше выступала вперед, и лицо его становилось все желтей, и он двигался все с большим трудом, по мере того как усиливалась боль, и в конце концов толпа перешла от криков к действиям, но его лицо по-прежнему выражало одно холодное презрение. Он думал, что сегодня у него будет большой день, но это оказался день издевательств и оскорблений, и под конец подушки, куски хлеба и овощи полетели в него на арену, где он некогда одерживал свои величайшие победы. Только челюсть его все сильней выдвигалась вперед. Иногда, при особенно оскорбительном выкрике, он поворачивал голову и улыбался своей зубастой, волчьей, безгубой улыбкой, а боль, которую причиняло ему каждое движение, терзала его все сильней и сильней, пока его желтое лицо не стало цвета пергамента, и после того как он убил второго быка и кончилось швыряние подушками и хлебом, после того как он приветствовал президента с той же волчьей улыбкой и с тем же презрительным взглядом и передал через барьер шпагу, чтобы ее вытерли и убрали в футляр, он зашел в кальехон и оперся о барьер под нашими местами, спрятав голову в руки, ничего не видя, ничего не слыша, только пересиливая боль. Когда он наконец поднял голову, он попросил воды. Он сделал несколько глотков, прополоскал рот, выплюнул воду, взял свой плащ и вернулся на арену.

Публика была против Бельмонте, и потому она была за Ромеро. Она аплодировала ему с той минуты, как он отделился от барьера и пошел на быка. Бельмонте тоже следил за Ромеро, все время, не подавая виду, украдкой следил за ним. На Марсьяла он не обращал внимания. Все, что мог сделать Марсьял, он знал наперед. Он вернулся на арену для состязания с Марсьялом, считая исход предрешенным. Он думал, что будет состязаться с Марсьялом и другими корифеями декадентской школы, и он знал, что его честная работа будет так выгодно отличаться от лжекрасоты декадентской техники, что одного его появления на арене окажется достаточно.

Ромеро испортил ему первый выход. Ромеро делал постоянно, делал — плавно, спокойно и красиво — все то, что Бельмонте теперь лишь изредка мог заставить себя сделать. Публика чувствовала это, даже туристы из Биаррица, даже американский посол и тот под конец понял. На такое состязание Бельмонте не пошел бы, потому что оно могло кончиться только тяжелой раной или смертью. Бельмонте утратил прежнюю силу. Он уже не испытывал минуты величайшего подъема на арене. Он не был уверен, что такие минуты вообще возможны. Все стало другим, и жизнь теперь только изредка вспыхивала в нем. И сейчас в его работе бывали проблески прежнего величия, но они не имели цены, потому что он учел их заранее, когда, выйдя из автомобиля и облокотившись на забор, выбирал быков полегче из стада своего друга, хозяина ганадерии. И потому он имел дело с двумя некрупными покладистыми быками, почти без рогов, и если он порою чувствовал, что к нему возвращается величие,— только малая частица его сквозь ни на миг не отпускавшую боль,— это было величие учтенное, запроданное, и он не испытывал удовлетворения. Он еще мог быть великим, но от сознания этого бой быков уже не становился, как прежде, счастьем.

В Педро Ромеро было величие. Он любил бой, и я видел, что он любит быков, и видел, что он любит Брет. Весь день, если только это зависело от него, он работал напротив нас. Ни разу он не взглянул на нее. Поэтому он работал лучше, и работал хорошо не только для нее, но и для себя. Оттого, что он не взглядывал на нее, ища одобрения, он внутренне делал все для себя, и это придавало ему силы, и вместе с тем он делал все и для нее. Но он делал это так, что это не было ему во вред. Напротив, именно потому он весь тот день так хорошо работал.

Его первое китэ пришлось прямо под нами. Все три матадора по очереди перехватывают быка после того, как он кинется на пикадора. Первый на очереди был Бельмонте. Вторым — Марсьял. Потом настала очередь Ромеро. Все трое стояли слева от лошади. Пикадор, надвинув шляпу на лоб, направил копье под острым углом на быка, глубоко вонзил шпоры и, держа поводья левой рукой, заставил лошадь двинуться вперед. Бык смотрел зорко. Казалось, он смотрит на белую лошадь, но на самом деле он следил за треугольным острием копья. Ромеро заметил, что бык начинает поворачивать голову. Он не хотел кидаться на лошадь. Ромеро взмахнул плащом, привлекая взгляд быка красным цветом. Бык рванулся, кинулся, но вместо яркого плаща перед ним очутилась белая лошадь, и пикадор, далеко перегнувшись через голову лошади, всадил стальной наконечник длинной палки орехового дерева в бугор мышц между лопатками быка и, опираясь на нее, медленно повернул лошадь, так что стальное острие вошло глубже и

кровь показалась на лопатке быка, которого готовили для Бельмонте.

Раненый бык не упорствовал. У него не было сильного желания бодать лошадь. Он повернул, отделился от пикадора и лошади, и Ромеро увел его своим плащом. Он увел его мягко и плавно, потом остановился и, стоя прямо против быка, протянул ему плащ. Хвост быка взвился, бык кинулся, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, сделал веронику. Влажный, тяжелый от песка плащ расправился, словно надувшийся парус, и Ромеро сделал полный оборот под самой мордой быка. Теперь они снова стояли друг против друга. Ромеро улыбнулся. Бык снова кинулся, плащ Ромеро снова надулся парусом, и он опять сделал веронику, на этот раз в другую сторону. Ромеро так близко пропускал мимо себя быка, что человек, и бык, и плащ, описывающий полный круг перед мордой быка, сливались в одно резко очерченное целое. Все это происходило так неторопливо и размеренно, что казалось, Ромеро убаюкивает быка. Он сделал четыре полных оборота, закончил полуоборотом, который поставил его к быку спиной, и, перекинув плащ через левую руку, опершись правой о бедро, пошел навстречу аплодисментам, а бык стоял неподвижно, глядя на его удаляющуюся спину.

Со своими быками он работал безупречно. Его первый бык плохо видел. После двух вероник Ромеро уже знал в точности, насколько зрение быка повреждено. Он приноровился к этому. Это не было блестящей работой. Это было только безупречной работой. Толпа требовала, чтобы быка заменили. Поднялся шум. Ничего замечательного нельзя сделать с быком, который не различает цветов, но президент не отдавал приказа о замене.

— Почему его не заменят? — спросила Брет.

— За него заплатили. Никому не хочется терпеть убытки.

— Это несправедливо по отношению к Ромеро.

— Смотрите, как он справляется с быком, который не видит красного цвета.

— Не люблю смотреть на такие вещи.

Тягостно следить за такой работой, если тебе не безразличен тот, кому приходится ее делать. Так как бык не видел ни расцветки плаща, ни красного сукна мулеты, Ромеро пришлось дразнить его своим телом. Он подходил вплотную к быку, чтобы бык видел его, а когда бык кидался, он перехватывал нападение мулетой и заканчивал маневр по всем правилам классической школы. Туристам из Биаррица это не нравилось. Они думали, что Ромеро трусит, потому что, подставляя быку мулету вместо своего тела, он каждый раз отступал на полшага в сторону. Им больше нравилось, когда Бельмонте имитировал самого себя или когда Марсьял

имитировал Бельмонте. Трое таких умников сидели сзади нас во втором ряду.

— Чего он боится? Бык такой глупый, он только на мулету лезет.

— Просто новичок. Еще не научился.

— Но раньше, с плащом, он был очень хорош.

— Волнуется, очевидно.

В середине арены, совсем один, Ромеро продолжал все ту же игру и подходил так близко, дразня быка своим телом, что бык ясно видел его, подходил еще ближе, и бык тупо глядел на него, наконец подходил вплотную, и бык, решив, что можно действовать наверняка, опускал голову, кидался, но в последнюю секунду Ромеро подставлял красную мулету тем легким, еле заметным движением, которое так возмущало биаррицких знатоков тавромахии.

— Сейчас он должен убить его,— сказал я Брет.— Бык все еще сильный. Он не дал себя измотать.

В середине арены Ромеро, стоя против быка, вытащил шпагу из складок мулеты, поднялся на носки и направил клинок. Бык кинулся, и Ромеро кинулся. Левая рука Ромеро набросила мулету на морду быка, чтобы ослепить его, левое плечо вдвинулось между рогами, шпага опустилась, и на одно мгновение бык и Ромеро, который возвышался над быком, сжимая высоко поднятой правой рукой эфес шпаги, вошедшей до отказа между лопатками быка, слились воедино. Потом группа распалась. Ромеро, легко оттолкнувшись от быка, стоял, подняв руку, лицом к быку, и его белая рубашка, разорванная под мышкой, развевалась от ветра, а бык с торчащим между лопатками красным эфесом, опустив голову, шатался на подгибающихся ногах.

— Сейчас упадет,— сказал Билл.

Ромеро стоял так близко к быку, что бык видел его. Не опуская руки, он заговорил с быком. Бык подобрался, потом голова его выдвинулась вперед, и он начал падать, сначала медленно, потом вдруг перевернулся на спину, задрав все четыре ноги.

Ромеро подали шпагу, и, держа ее острием вниз, с мулетой в левой руке, он направился к ложе президента, поклонился, выпрямился, подошел к барьеру и отдал шпагу и мулету своему слуге.

— Трудный бык,— сказал тот.

— В пот вогнал,— сказал Ромеро. Он вытер лицо. Слуга протянул ему кувшин с водой. Ромеро смочил губы. Пить из кувшина ему было больно. Он не взглянул на нас.

Марсьял имел большой успех. Ему все еще хлопали, когда появился последний бык Ромеро. Это был тот самый бык, который утром вырвался вперед и убил одного из толпы.

Во время работы с первым быком избитое лицо Ромеро было очень заметно. Каждое движение открывало его. Напряженная, кропотливая работа с быком, который плохо видел, подчеркивала его состояние. Драка с Коном не повлияла на его мужество, но лицо его было изуродовано и тело избито. Теперь он избавлялся от этого. Избавлялся с каждым маневром. Бык попался хороший, крупный, с настоящими рогами, и он послушно поворачивал и кидался. Таких именно быков любил Ромеро.

Когда он кончил работать мулетой и готовился убить быка, толпа потребовала, чтобы он продолжал. Зрители не хотели, чтобы Ромеро убивал быка, не хотели, чтобы зрелище кончилось. Ромеро продолжал работать. Он словно давал урок боя быков. Он проделал все маневры, один за другим, законченно, медленно, плавно и четко. Не было ни трюков, ни фальши. Не было резких движений. И каждый раз, как маневр достигал кульминационной точки, внезапно и больно сжималось сердце. Толпа требовала, чтобы это длилось без конца.

Бык стоял, расставив ноги, подготовленный к последнему удару, и Ромеро убил его у самого барьера, под нами. Он убил не так, как убил предыдущего быка, когда у него не было выбора, а так, как ему хотелось. Он встал прямо против быка, вытащил шпагу из складок мулеты и нацелился. Бык смотрел на него. Ромеро заговорил с быком и слегка хлопнул его по ноге. Бык пригнул голову, а Ромеро ждал его, сдвинув ноги, опустив мулету, нацеливаясь шпагой. Когда Ромеро взмахнул низко опущенной мулетой, бык кинулся на нее, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, не трогаясь с места, вонзил шпагу между лопаток быка, потом отклонился влево, закрыв собой мулету,— и все было кончено. Бык попытался шагнуть вперед, ноги его стали подгибаться, он зашатался, помедлил, потом упал на колени, и старший брат Ромеро, зайдя сзади, нагнулся над быком и всадил короткий нож в загривок быка у основания рогов. Первый раз он промахнулся. Он снова всадил нож, и бык рухнул, дернулся и застыл. Брат Ромеро, ухватившись одной рукой за рог, в другой держа нож, посмотрел вверх, на ложу президента. По всему амфитеатру махали платками. Президент посмотрел вниз из своей ложи и махнул носовым платком. Брат Ромеро отрезал черное корявое ухо мертвого быка и побежал с ним к Ромеро. Бык, черный и грузный, с вывалившимся языком, лежал на песке. Мальчишки сбегались к нему со всех концов арены. Они окружили его кольцом и начали плясать вокруг мертвого быка.

Ромеро взял ухо из рук своего брата и поднял его к ложе президента. Президент наклонил голову, и Ромеро, стараясь опередить бросившуюся за ним толпу, побежал к нам. Он перегнулся через барьер и протянул ухо Брет. Потом кивнул головой и

улыбнулся. Толпа уже окружала его. Брет протянула ему плащ.

— Понравилось? — крикнул Ромеро.

Брет ничего не ответила. Они, улыбаясь, смотрели друг на друга. Брет держала ухо в руке.

— Не запачкайтесь кровью,— сказал Ромеро и засмеялся.

Толпа требовала его. Несколько подростков криками приветствовали Брет. В толпе, кроме мальчишек, были танцоры и пьяные. Ромеро, повернувшись, попытался пробиться сквозь толпу. Но толпа окружила его, она хотела вынести его на руках. Он отбивался, выскользнул было и, окруженный толпой, бросился бежать к выходу. Он не хотел, чтобы его вынесли на руках. Но его не отпустили и подняли. Ему было неудобно, ноги болтались, а все тело было избито. Несколько человек подняли его и побежали с ним к выходу. Рука его лежала на чьем-то плече. Он обернулся и виновато взглянул на нас. Толпа выбежала вслед за ним в ворота цирка.

Мы втроем вернулись в отель. Брет поднялась наверх. Мы с Биллом пошли в столовую первого этажа, поели крутых яиц и выпили несколько бутылок пива. Пришел Бельмонте, уже в обычном платье, с ним был его импресарио и еще двое. Они сели за соседний столик и заказали еду. Бельмонте ел очень мало. Они должны были ехать семичасовым поездом в Барселону. На Бельмонте была рубашка в голубую полоску и темный пиджак, он ел яйца всмятку. Остальные ели полный обед. Бельмонте ничего не говорил. Он только отвечал на вопросы.

Билла утомил бой быков. И меня утомил. Зрелище боя всегда очень волновало нас обоих. Мы молча ели крутые яйца, и я смотрел на Бельмонте и на людей за его столиком. Видимо, это были люди серьезные и деловитые.

— Пойдем в кафе,— сказал Билл.— Мне хочется абсента.

Шел последний день фиесты. Небо заволакивало тучами. Площадь была полна народу, пиротехники готовили фейерверк к вечеру и накрывали его буковыми ветками. Кругом стояли мальчишки. Мы прошли мимо стоек с ракетами на длинных бамбуковых палках. Перед кафе собралась большая толпа. Играла музыка, плясали танцоры. Проносили великанов и карликов.

— Где Эдна? — спросил я Билла.

— Не знаю.

Мы смотрели, как наступает вечер последнего дня фиесты. От абсента все казалось лучше. Я пил его без сахара, и он приятно горчил.

— Мне жаль Кона,— сказал Билл.— Ему было очень тяжело.

— А ну его к черту,— сказал я.
— Куда, по-твоему, он поехал?
— В Париж.
— А что, по-твоему, он там будет делать?
— А ну его к черту.
— Что, по-твоему, он будет делать?
— Сойдется опять со своей старой любовью.
— А кто его старая любовь?
— Некая Фрэнсис.
Мы выпили еще абсента.
— Когда ты уезжаешь? — спросил я.
— Завтра.
Немного погодя Билл сказал:
— Ну, что же, фиеста прошла чудесно.
— Да,— сказал я,— все время чем-то были заняты.
— Даже не верится. Похоже на изумительный кошмар.
— Почему не верится? — сказал я.— Я всему поверю. Включая кошмары.
— Что с тобой? Скверно?
— До черта скверно.
— Выпей еще абсента. Эй, подойдите сюда. Еще абсента этому сеньору.
— Мне очень скверно,— сказал я.
— Выпей,— сказал Билл.— Пей медленно.
Становилось темно. Фиеста продолжалась. Я начал пьянеть, но от этого не чувствовал себя лучше.
— Ну как?
— Скверно.
— Хочешь еще?
— Не поможет.
— Попробуй. Никогда нельзя знать, может быть, именно эта рюмка поможет. Эй, вы! Еще абсента этому сеньору.
Я сразу налил воды в абсент и размешал, вместо того чтобы дать ей стечь каплями. Билл бросил в стакан кусочек льда. Я ложкой помешал лед в темной, мутной смеси.
— Вкусно?
— Очень.
— Не пей так быстро. Тебя стошнит.
Я поставил стакан. Я вовсе не собирался пить быстро.
— Я пьян.
— Еще бы!
— Этого ты хотел, да?
— Именно. Напейся. Разгони тоску.
— Ну, хорошо, я пьян. Этого ты хотел?
— Сядь.

— Не хочу,— сказал я.— Я пойду в отель.

Я был очень пьян. Я не помню, чтобы я когда-нибудь был так пьян. Вернувшись в отель, я поднялся наверх. Дверь в комнату Брет была приоткрыта. Я сунул голову в комнату. Майкл сидел на кровати. Он помахал мне бутылкой.

— Джейк,— сказал он.— Идите сюда, Джейк.

Я вошел в комнату и сел. Комната ходила ходуном, если я не смотрел в одну точку.

— Знаете, ведь Брет уехала с этим матадором.

— Неправда.

— Правда. Она искала вас, хотела проститься. Они уехали семичасовым.

— Вот как?

— Зря это она,— сказал Майкл.— Не следовало ей этого делать.

— Да.

— Хотите выпить? Я сейчас позвоню, чтобы подали пива.

— Я пьян,— сказал я.— Я пойду к себе и лягу.

— Вдрызг? Я сам был вдрызг.

— Да,— сказал я.— Вдрызг.

— Ну, ладно,— сказал Майкл.— Идите спать, Джейк.

Я вышел из комнаты, пошел к себе и лег на кровать. Кровать закачалась, я приподнялся и стал смотреть в стену, чтобы остановить качку. За окном, на площади, шумела фиеста. Но она утратила всякий смысл. Потом приходили Майкл и Билл, звали меня вниз, пообедать с ними. Я притворился спящим.

— Он спит. Не трогайте его.

— Он пьян как стелька,— сказал Майкл. Они вышли.

Я встал, вышел на балкон и стал смотреть, как танцуют на площади. Мир перестал кружиться. Он был очень ясный и четкий, лишь слегка затуманенный по краям. Я умылся, пригладил волосы. Лицо мое в зеркале показалось мне странным. Потом спустился вниз, в столовую.

— Вот он! — сказал Билл.— Молодец, Джейк! Я же знал, что ты не раскиснешь.

— Привет, старый пьянчуга! — сказал Майкл.

— Я захотел есть и проснулся.

— Поешь супцу,— сказал Билл.

Мы пообедали втроем, и казалось, что за нашим столиком не хватает по крайней мере шести человек.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Наутро все было позади. Фиеста кончилась. Я проснулся около девяти часов, принял ванну, оделся и сошел вниз. Площадь была пуста, улицы безлюдны. На площади дети подбирали палки от ракет. Кафе только еще открывались, официанты выносили удобные плетеные кресла и расставляли их вокруг мраморных столиков в тени аркады. Повсюду подметали улицы и поливали водой из кишки.

Я сел в удобное плетеное кресло и откинулся на спинку. Официант не спешил подойти ко мне. Объявления о выгрузке быков и о добавочных поездах все еще белели на колоннах. Вышел официант в синем фартуке, с тряпкой и ведром воды, и начал срывать объявления, отдирая бумагу полосами и смывая ее в тех местах, где она прилипла к камню. Фиеста кончилась.

Я выпил кофе, и немного спустя пришел Билл. Я смотрел, как он идет через площадь. Он сел за мой столик и заказал кофе.

— Ну,— сказал он,— вот и конец.

— Да,— сказал я.— Когда ты едешь?

— Еще не знаю. Пожалуй, возьмем машину. Разве ты не в Париж?

— Нет. У меня в запасе еще неделя. Я думаю поехать в Сан-Себастьян.

— Мне уже хочется домой.

— А что Майкл думает делать?

— Он едет в Сен-Жан-де-Люс.

— Давай возьмем машину и доедем все вместе до Байонны. Ты можешь сесть там на вечерний поезд.

— Хорошо. После завтрака поедем.

— Ладно. Я найму машину.

Мы позавтракали и заплатили по счету. Монтойа не подходил к нам. Счет принесла одна из служанок. Машина ждала у подъезда. Шофер взвалил часть вещей на крышу автомобиля и привязал их, остальные сложил рядом со своим сиденьем, и мы сели. Машина пересекла площадь, свернула на поперечную улицу, проехала под деревьями, потом пошла под гору, прочь от Памплоны. Дорога не показалась мне очень долгой. У Майкла была бутылка фундадору. Я только раза два хлебнул. Мы перевалили через горы, оставили позади Испанию, проехали по белым дорогам через густолиственную, влажную, зеленую Бискайю и наконец въехали в Байонну.

Мы сдали вещи Билла на хранение, и он взял билет до Парижа. Поезд его уходил в семь десять. Мы вышли из вокзала. Наша машина ждала у подъезда.

— Что мы сделаем с машиной? — спросил Билл.

— А, наплевать,— сказал Майкл.— Давайте еще покатаемся.

— Ладно,— сказал Билл.— Куда мы поедем?

— Поедем в Биарриц и выпьем.

— Майкл Расточитель,— сказал Билл.

Мы поехали в Биарриц и оставили машину у дверей фешенебельного ресторана. Мы вошли в бар, уселись на высоких табуретах и выпили виски с содовой.

— За это я плачу,— сказал Майкл.

— Бросим кости.

Мы выбросили покерные кости из глубокой кожаной чашки. Билл выиграл в первом туре. Майкл проиграл мне и вручил бармену стофранковую бумажку. Порция виски стоила двенадцать франков. Мы еще выпили, и опять проиграл Майкл. Каждый раз он давал бармену на чай. В соседней комнате играл хороший джаз. Это был приятный бар. Мы еще выпили. Я выиграл в первом же туре, выбросив четыре короля. Билл и Майкл продолжали играть. Майкл выбросил четыре валета и выиграл. Второй тур выиграл Билл. В решающем туре Майкл выбросил три короля и оставил их без прикупа. Он передал чашку Биллу. Билл потряс ее, выбросил кости — три короля, туз и дама.

— Вам платить,— сказал Билл.— Майкл Старый Шулер.

— Мне очень жаль,— сказал Майкл,— но этого я не могу.

— В чем дело?

— Денег нет,— сказал Майкл.— Ничего не осталось. У меня ровно двадцать франков в кармане. Нате, возьмите двадцать франков.

Билл слегка изменился в лице.

— У меня только-только хватило расплатиться с Монтойей. И то слава богу.

— Выпишите чек, я вам дам денег,— сказал Билл.

— Очень вам благодарен, но я не имею права выписывать чеки.

— А где вы думаете достать денег?

— Немного я получу. Мне должны прислать деньги за полмесяца. В Сен-Жан-де-Люс есть гостиница, где я могу жить в кредит.

— Что мы будем делать с машиной? — спросил меня Билл.— Может быть, отпустим ее?

— Пусть подождет. Хотя на что она нам?

— Давайте выпьем еще по одной,— сказал Майкл.

— Отлично. За это я плачу,— сказал Билл.— А у Брет есть деньги? — Он повернулся к Майклу.

— Вряд ли. Я почти весь счет Монтойи оплатил из ее денег.

— У нее хоть какие-нибудь деньги есть при себе? — спросил я.

— Вряд ли. У нее никогда нет денег. Она получает пятьсот фунтов в год, и триста пятьдесят из них уходит на проценты жидам.

— Недурно наживаются,— сказал Билл.

— Неплохо. Кстати, они не евреи. Мы просто зовем их так. Они, кажется, шотландцы.

— Так у нее совсем нет денег? — спросил я.

— Вероятно. Все, что у нее было, она отдала мне перед отъездом.

— Ну что ж,— сказал Билл,— остается только выпить еще по одной.

— Верно,— сказал Майкл.— Говорить о деньгах — занятие пустое.

— Вы правы,— сказал Билл. Мы с Биллом разыграли, кому платить. Билл проиграл и заплатил. Мы вышли к дожидавшейся машине.

— Куда вы хотите ехать, Майкл? — спросил Билл.

— Давайте просто покатаемся. Это, может быть, поднимет мой кредит. Покатаемся немного.

— Отлично. Мне хочется взглянуть на побережье. Давайте поедем в Андай.

— На побережье у меня нет никакого кредита.

— Как знать,— сказал Билл.

Мы поехали по дороге, идущей вдоль побережья. Зеленели луга, мелькали белые, под красными крышами виллы, клочки леса, и по краю далеко отступившего от берега очень синего моря кудрявились волны. Мы проехали через Сен-Жан-де-Люс и другие прибрежные городки, расположенные подальше. Позади холмистой равнины, по которой мы ехали, видны были горы, отделявшие нас от Памплоны. Дорога вела все дальше. Билл взглянул на часы. Нам пора было возвращаться. Он постучал в стекло и велел шоферу ехать обратно. Машина, разворачиваясь, задом въехала в придорожную траву. За нами был лес, впереди, под нами,— луговина, а дальше — море.

Мы остановились в Сен-Жан-де-Люс, у подъезда отеля, где Майкл собирался жить, и он вышел из машины. Шофер внес его чемоданы. Майкл стоял возле машины.

— Прощайте, друзья,— сказал Майкл.— Замечательная была фиеста.

— Всего хорошего, Майкл,— сказал Билл.

— Скоро увидимся,— сказал я.

— О деньгах не беспокойтесь,— сказал Майкл.— Вы заплатите, Джейк, за машину, а я вам пришлю свою долю.

— Прощайте, Майкл.

— Прощайте, друзья. Спасибо вам.

Он пожал руку Биллу и мне. Машина отъехала, и мы помахали ему. Он стоял на дороге и смотрел нам вслед. В Байонну мы приехали перед самым отходом поезда. Носильщик принес чемоданы Билла из камеры хранения. Я проводил его до решетки на перроне.

— Ну прощай, Джейк,— сказал Билл.

— Прощай, дружище!

— Очень хорошо было. Я очень хорошо провел время.

— В Париже задержишься?

— Нет. Семнадцатого на пароход. Ну прощай!

— Прощай, Билл!

Он прошел через дверцу в решетке к поезду. Носильщик шел впереди с чемоданами. Я смотрел, как отходит поезд. Билл стоял у одного из окон. Окно проехало, весь поезд проехал, рельсы опустели. Я вышел через вокзал к автомобилю.

— Сколько с меня? — спросил я шофера. За путь до Байонны мы уговорились заплатить сто пятьдесят песет.

— Двести песет.

— А сколько вы возьмете, чтобы завезти меня на обратном пути в Сан-Себастьян?

— Пятьдесят песет.

— Вы шутите.

— Тридцать пять песет.

— Это слишком дорого,— сказал я.— Отвезите меня в отель «Панье-Флёри».

У подъезда отеля я заплатил шоферу и дал ему на чай. Машина была покрыта пылью. Я провел чехлом спиннинга по стенке машины. Эта пыль было последнее, что связывало меня с Испанией и фиестой. Шофер завел мотор, и машина покатила по улице. Я смотрел, как она сворачивает на дорогу в Испанию. Я вошел в отель и снял номер. Мне дали тот же номер, в котором я жил, когда Билл, и Кон, и я были в Байонне. Казалось, это было когда-то очень давно. Я умылся, переменил рубашку и пошел в город.

В газетном киоске я купил номер «Нью-Йорк геральд» и зашел в кафе почитать его. Странно было снова очутиться во Франции. Все здесь отдавало провинциальной тишиной и спокойствием. Я почти жалел, что не поехал с Биллом в Париж, но Париж — это значило бы продолжение фиесты. С меня пока довольно было фиест. В Сан-Себастьяне будет тихо. Сезон откроется не раньше августа. Я сниму хороший номер в отеле и буду читать и купаться. Там прекрасный пляж. Набережная обсажена чудесными деревьями, и много детей со своими нянями проводят там лето до открытия сезона. По вечерам оркестр будет играть под деревьями напротив

кафе «Маринас». Я буду сидеть в кафе «Маринас» и слушать музыку.

— Как у вас тут кормят? — спросил я официанта. К кафе примыкал ресторан.

— Хорошо. Очень хорошо. Здесь очень хорошо кормят.

— Отлично.

Я пошел в ресторан и пообедал. Для Франции это был обильный обед, но после испанских трапез он показался мне несколько скудным. За неимением другой компании я заказал бутылку «шато марго». Приятно было пить медленно, и смаковать вино, и пить в одиночестве. Бутылка вина — хорошая компания. Потом я выпил кофе. Официант посоветовал мне бискайский ликер, под названием «иссара». Он принес бутылку с ликером и наполнил рюмку. Он сказал, что иссару делают из пиренейских цветов. Из настоящих пиренейских цветов. Ликер видом напоминал вежеталь, а запахом — итальянский ликер стрега. Я велел официанту убрать пиренейские цветы и принести мне французский vieux marc. Марс оказался вкусным. После кофе я выпил вторую рюмку.

Официант, по-видимому, немного обиделся за пиренейские цветы, поэтому я щедро дал ему на чай. Это обрадовало его. Хорошо жить в стране, где так легко и просто доставлять людям радость. В Испании никогда нельзя знать наперед, поблагодарит ли тебя официант. Во Франции же все построено на четкой финансовой основе. Нет страны, где жизнь была бы проще. Никто не осложняет отношений, становясь твоим другом по каким-то неясным причинам. Если хочешь, чтобы тебя любили, стоит только истратить немного денег. Я истратил немного денег, и официант полюбил меня. Он оценил мои достоинства. Он будет рад снова увидеть меня. Когда-нибудь я снова приду сюда обедать, и он рад будет меня видеть и захочет, чтобы я сел за его столик. Это будет искренняя любовь, потому что у нее будет разумное основание. Я почувствовал, что вернулся во Францию.

На другое утро я всем в отеле дал слишком много на чай, чтобы приобрести еще друзей, и утренним поездом уехал в Сан-Себастьян. На вокзале я дал носильщику на чай ровно столько, сколько считал нужным, потому что сомневался, что еще когда-нибудь увижусь с ним. Мне только хотелось иметь несколько добрых друзей-французов в Байонне на случай, что я вернусь туда. Я знал, что если они запомнят меня, то будут мне верными друзьями.

В Ируне была пересадка, и нужно было предъявить паспорт. Мне жаль было покидать Францию. Во Франции так легко жилось. Я знал, что делаю глупость, возвращаясь в Испанию. В Испании никогда ничего нельзя предугадать. Я знал, что глупо возвращаться в Испанию, но я стал в очередь со своим паспортом,

открыл чемоданы и показал содержимое таможенному чиновнику, взял билет, прошел через дверцу, сел в поезд и через сорок минут и восемь туннелей очутился в Сан-Себастьяне.

Даже в жаркий день в Сан-Себастьяне чувствуется как бы прохлада раннего утра. Кажется, что листья на деревьях никогда не бывают совсем сухими. Улицы такие, точно их только что поливали. В самый жаркий день на некоторых улицах тенисто и прохладно. Я выбрал отель в центре города, где я уже останавливался, и получил комнату с балконом, откуда открывался вид на городские крыши. За крышами высился зеленый склон горы.

Я распаковал свои вещи и сложил книги на столик в головах кровати, достал бритвенный прибор, повесил кое-что из одежды в большой шкаф и собрал белье, чтобы отдать его в стирку. Потом я принял душ в ванной и спустился вниз завтракать. В Испании часы еще не перевели на летнее время, поэтому я пришел рано. Я перевел свои часы. Приехав в Сан-Себастьян, я выиграл час.

Когда я шел в столовую, портье вручил мне бланк из полиции, чтобы я его заполнил. Я подписал бланк, потом отправил телеграмму в отель Монтойи с просьбой все письма и телеграммы на мое имя пересылать по такому-то адресу. Я высчитал, сколько дней пробуду в Сан-Себастьяне, телеграфировал в редакцию, чтобы мою корреспонденцию сохраняли, но все телеграммы в течение шести дней пересылали в Сан-Себастьян. Потом я пошел в столовую и позавтракал.

После завтрака я поднялся к себе, немного почитал и заснул. Проснулся я в половине пятого. Я достал купальный костюм, завернул его вместе с гребенкой в полотенце, вышел на улицу и зашагал к бухте Конча. Начинался отлив. Желтый прибрежный песок был гладкий и твердый. Я вошел в кабинку, разделся, надел купальный костюм и пошел по гладкому песку к морю. Приятно было идти босиком по теплому песку. Купающихся, в воде и на берегу, было довольно много. Вдали, там, где края бухты почти сходились, замыкая гавань, за белой линией прибоя виднелось открытое море. Несмотря на отлив, изредка подкатывали медленные волны. Появлялась легкая зыбь, потом волны тяжелели и плавно набегали на теплый песок. Я вошел в воду. Вода была холодная. Когда подкатила волна, я нырнул, поплыл под водой и поднялся на поверхность, уже не чувствуя холода. Я подплыл к плоту, подтянулся и лег на горячие доски. На другом конце плота отдыхали молодой человек и девушка. Девушка отстегнула бретельку своего купального костюма и повернулась спиной к солнцу. Молодой человек лежал ничком на плоту и разговаривал с ней. Она смеялась его словам и подставляла под солнечные лучи загорелую спину. Я лежал на плоту под солнцем, пока не обсох. Потом я несколь-

ко раз нырнул. Один раз я нырнул глубоко, почти до самого дна. Я плыл с открытыми глазами, и кругом было зелено и темно. Плот отбрасывал густую тень. Я выплыл около плота, посидел на нем, еще раз нырнул, пробыл под водой как можно дольше и поплыл к берегу. Я полежал на берегу, чтобы обсохнуть, зашел в кабинку, снял купальный костюм, окатился холодной водой и вытерся насухо.

Я прошел берегом под деревьями до казино, а потом по одной из прохладных улиц вышел к кафе «Маринас». Внутри кафе играл оркестр, и я сидел на террасе, наслаждаясь прохладой среди жаркого дня, и пил лимонад со льдом, а потом выпил большой стакан виски с содовой. Я долго просидел на террасе кафе «Маринас», читал газеты, смотрел на публику и слушал музыку.

Позже, когда стало темнеть, я погулял по набережной вдоль бухты и наконец вернулся в отель ужинать. Велосипедисты, участники пробега «Вокруг Бискайи», отдыхали эту ночь в Сан-Себастьяне. Они сидели в столовой, за отдельным длинным столом, со своими тренерами и импресарио. Все они были французы и бельгийцы, и они уделяли немало внимания еде, но это не мешало им веселиться. На верхнем конце стола сидели две хорошенькие француженки, в которых было много чисто монмартрского шика. Я не мог определить, с кем из молодых людей они приехали. Все, сидевшие за длинным столом, говорили на арго и обменивались шутками, непонятными для посторонних, и случалось, что шуток, сказанных вполголоса в дальнем конце стола, не повторяли, когда девушки просили об этом. Старт финального перегона Сан-Себастьян — Бильбао был назначен на пять часов утра. Велосипедисты пили много вина, лица у них были темные, обожженные солнцем. К гонкам они относились серьезно, только когда состязались между собой. Они так часто соревновались друг с другом, что было почти безразлично, кто победит в этом пробеге. Особенно в чужой стране. Финансовую сторону всегда можно уладить.

У одного из гонщиков, добившегося преимущества в две минуты, был чирей, который причинял ему сильную боль. Он не мог сидеть как следует. У него была багровая от загара шея и выгоревшие на солнце светлые волосы. Остальные подтрунивали над ним. Он постучал вилкой по столу.

— Слушайте,— сказал он,— завтра мой нос так плотно прилипнет к рулю, что только легкий ветерок будет овевать мои чирья.

Одна из девушек взглянула на него через стол, и он, покраснев, засмеялся. Они говорили, что испанцы не умеют ездить на велосипеде.

Я пил кофе на террасе с представителем крупного велосипедного завода. Он сказал, что пробег был очень интересный и его

стоило посмотреть, если бы только Ботекиа не выбыл из строя в Памплоне. Очень мешала пыль, но испанские дороги лучше французских. По его мнению, только велогонки — настоящий спорт. Следил ли я за пробегом «Вокруг Франции»? Только по газетам? «Вокруг Франции» было величайшим спортивным событием. Организуя этот пробег и сопровождая гонщиков, он узнал Францию. Мало кто знает Францию. Всю весну, все лето и всю осень он провел на дорогах с гонщиками. Смотрите, сколько автомобилей теперь сопровождает из города в город все пробеги. Франция — богатая страна и с каждым годом становится спортивней. Со временем она будет самой спортивной страной. И это благодаря велогонкам. И еще футболу. Он знает Францию. La France sportive. Он знает велосипедный спорт. Мы выпили коньяку. Но, конечно, и в Париж вернуться неплохо. Париж — самый спортивный город в мире. Знаю ли я кабачок «Веселый негр»? Еще бы не знать. Если я как-нибудь загляну туда, я его застану. Непременно загляну. Мы там опять выпьем по рюмочке коньяку. Непременно выпьем. Они отправляются утром, без четверти шесть. Встану ли я к их отъезду? Постараюсь, непременно. Может быть, разбудить меня? Будет очень интересно. Я скажу портье, чтобы меня разбудили. Он с удовольствием сам разбудит меня. Зачем же затруднять его, я скажу портье, чтобы меня разбудили. Мы разошлись, попрощавшись до утра.

Назавтра, когда я проснулся, гонщики и сопровождавшие их автомобили уже покрыли трехчасовой путь. Кофе и газеты мне подали в постель, потом я оделся и, захватив купальный костюм, отправился на пляж. Утро еще не кончилось, все было свежо, прохладно и влажно. Под деревьями гуляли дети с нянями в форме или в крестьянском платье. Испанские дети были красивы. Под одним деревом сидели чистильщики сапог и разговаривали с солдатом. У солдата была только одна рука. Начался прилив, дул крепкий ветер, и набегали большие волны.

Я разделся в одной из кабинок, пересек узкую полосу пляжа и вошел в воду. Я поплыл, стараясь не попадать в волну, но иногда она накрывала меня. Выплыв в спокойную воду, я повернулся и лег на спину. Лежа на спине, я видел только небо и чувствовал легкое укачивание зыби. Я перевернулся и поплыл обратно, и большая волна вынесла меня на берег, потом я опять поплыл, стараясь держаться между волнами и не давать им захлестывать меня. Когда я устал плавать между волнами, я повернул и поплыл к плоту. Вода была бурливая и холодная. Мне казалось, что утонуть невозможно. Я плыл медленно, меня словно тихо уносило течением, потом взобрался на плот и сидел, обсыхая на уже нагретых солнцем досках. Я смотрел на бухту, на старый город, на казино, на ряд деревьев вдоль набережной, на белые крылечки и золотые буквы

вывесок больших отелей. Вдали, справа, почти замыкая бухту, виднелся зеленый холм с замком. Плот покачивался от движения воды. С левой стороны узкого прохода в открытое море высился другой холм. Я подумал, что хорошо бы переплыть бухту, но побоялся судорог.

Я обсыхал на солнце и вглядывался в усеянный купающимися пляж. Они казались очень маленькими. Немного спустя я встал, уперся пальцами ног в край плота и, когда он накренился под моей тяжестью, нырнул точно и глубоко, потом поднялся на поверхность, подталкиваемый водой, отряхнулся от соленой воды и не спеша, размеренно поплыл к берегу.

Одевшись и заплатив за кабинку, я пошел обратно, в отель. Велосипедисты оставили в читальне несколько номеров журнала «Авто». Я собрал их, вышел с ними из отеля и уселся в кресле на солнечной стороне, чтобы почитать их и войти в курс спортивной жизни Франции. Вскоре из отеля вышел портье с синим конвертом в руках.

— Вам телеграмма, сэр.

Я подсунул палец под заклеенный край, развернул телеграмму и прочел. Ее переслали из Парижа.

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПРИЕЗЖАЙ МАДРИД ОТЕЛЬ МОНТАНА НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ БРЕТ

Я дал портье на чай и перечел телеграмму. По тротуару шагал почтальон. Он вошел в отель. У него были пышные усы и вид бравого служаки. Потом он вышел из отеля. За ним по пятам шел портье.

— Еще телеграмма для вас, сэр.

— Спасибо,— сказал я.

Я вскрыл телеграмму. Ее переслали из Памплоны.

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПРИЕЗЖАЙ МАДРИД ОТЕЛЬ МОНТАНА НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ БРЕТ

Портье не уходил, вероятно дожидаясь чаевых.

— Когда есть поезд на Мадрид?

— Уже ушел в девять утра. Есть почтовый в одиннадцать, а потом Южный экспресс в десять вечера.

— Возьмите мне билет на экспресс. Деньги вам сейчас дать?

— Как вам угодно,— сказал он.— Могу поставить на счет.

— Пожалуйста.

Итак, Сан-Себастьян полетел к черту. Мне кажется, я смутно ждал чего-то в этом роде. Я увидел, что портье еще стоит в дверях.

— Пожалуйста, дайте мне телеграфный бланк.

Он принес бланк, я достал свое вечное перо и вывел:

ЛЕДИ ЭШЛИ ОТЕЛЬ МОНТАНА МАДРИД ПРИЕДУ ЗАВТРА ЭКСПРЕССОМ ЦЕЛУЮ ДЖЕЙК

Теперь, кажется, все. Так, так. Сначала отпусти женщину с одним мужчиной. Представь ей другого и дай ей сбежать с ним. Теперь поезжай и привези ее обратно. А под телеграммой поставь «целую». Так, именно так. Я пошел в отель завтракать.

Я плохо спал эту ночь в Южном экспрессе. Утром я позавтракал в вагоне-ресторане и любовался поросшими сосной горами между Авилой и Эскуриалом. Я увидел в окно дворец, серый, длинный и холодный под солнцем, и ничуть не восхитился. Вдали, по ту сторону иссушенной солнцем равнины, на вершине невысокой горы показался белый плотный массив Мадрида.

Мадридский Северный вокзал — конечная станция. Все маршруты кончаются здесь. Поезда не идут дальше. Перед вокзалом стояли извозчики и такси и шеренга отельных агентов. Было похоже на провинциальный город. Я взял такси, и мы поехали в гору, сначала парком, потом мимо нежилого дворца и недостроенной церкви над обрывом, выше и выше, пока не добрались до новой, жаркой части города. Машина ровной улицей выехала на Пуэрта-дель-Соль, пересекла оживленную, шумную площадь и выбралась на Каррера-Сан-Херонимо. Для защиты от зноя у всех магазинов навесы были опущены, ставни на солнечной стороне улицы закрыты. Машина подъехала к тротуару и остановилась. Я увидел вывеску на втором этаже: «Отель Монтана». Шофер внес мои чемоданы и поставил их возле лифта. Лифт не действовал, и я пошел наверх пешком. На втором этаже была медная дощечка с надписью: «Отель Монтана». Я позвонил, но никто не вышел. Я еще раз позвонил, и дверь открыла хмурая служанка.

— Леди Эшли здесь? — спросил я.

Она тупо посмотрела на меня.

— У вас живет англичанка?

Она повернулась и кликнула кого-то. К двери подошла очень толстая женщина. Ее седые, густо напомаженные волосы жесткими фестонами лежали вокруг лица. Она была низкого роста и выглядела внушительно.

— Muy buenos [1], — сказал я. — У вас живет англичанка? Я хотел бы повидать ее.

— Muy buenos. Да, здесь живет англичанка. Конечно, вы можете повидать ее, если она хочет вас видеть.

— Она хочет меня видеть.

— Я пошлю спросить у нее.

— Очень жарко.

— Летом в Мадриде всегда очень жарко.

---

[1] Здравствуйте *(исп.)*.

— Зато зимой как холодно.

— Да, зимой очень холодно.

Остановлюсь ли я тоже в отеле Монтана?

Этого я еще не решил, но я попросил бы принести мои вещи снизу, чтобы они не пропали. В отеле Монтана никогда ничего не пропадает. В других гостиницах — да. Но не здесь. Нет. В ее отеле прислугу нанимают с большим разбором. Рад слышать это. Все же я предпочел бы, чтобы мои вещи принесли наверх.

Вернулась служанка и сказала, что английская женщина хочет видеть английского мужчину сейчас же, немедленно.

— Ну вот,— сказал я.— Видите. Я вам так и говорил.

— Верно.

Я шел за спиной служанки по длинному темному коридору. Дойдя до конца, она постучала в одну из дверей.

— Хэлло,— сказала Брет.— Это ты, Джейк?

— Я.

— Входи, входи.

Я открыл дверь. Служанка притворила ее за мной. Брет лежала в постели. Она только что пригладила волосы и еще держала щетку в руке. В комнате был тот беспорядок, какой бывает только у людей, привыкших всегда держать прислугу.

— Милый! — сказала Брет.

Я подошел к кровати и обнял ее. Она целовала меня, и я чувствовал, что, целуя меня, она думает о чем-то другом. Она дрожала, прижавшись ко мне. Она очень похудела.

— Милый! Это было просто ужасно.

— Расскажи мне все.

— Нечего рассказывать. Он только вчера уехал. Я заставила его уехать.

— Почему ты не оставила его при себе?

— Не знаю. Есть вещи, которых нельзя делать. Хотя думаю, я ему не принесла вреда.

— Ты, вероятно, ничего, кроме добра, не принесла ему.

— Он вообще не должен ни с кем связываться. Я это сразу поняла.

— Разве?

— О, черт! — сказала она.— Не будем об этом говорить. Никогда не будем об этом говорить.

— Ладно.

— Все-таки было неприятно, что он стыдится меня. Знаешь, он сначала стыдился меня.

— Да, что ты?

— Да, да. Его, должно быть, ругали за меня в кафе. Он хотел, чтобы я отпустила волосы. Представляешь себе меня с длинными волосами? На кого бы я была похожа!

— Вот чудак.

— Он говорил, что это придаст мне женственности. Я была бы просто уродом.

— Ну и что же?

— Ничего. Это скоро прошло. Он недолго стыдился меня.

— А почему ты писала, что нужна моя помощь?

— Я не знала, сумею ли я заставить его уехать, и у меня не было ни гроша, чтобы уехать самой. Он, знаешь, все хотел дать мне денег. Я сказала ему, что мне деньги девать некуда. Он знал, что это неправда. Но не могла же я брать у него деньги.

— Конечно.

— Ох, не будем говорить об этом. Хотя кое-что было забавно. Дай мне, пожалуйста, сигарету.

Я дал ей закурить.

— Он выучился английскому языку, когда был официантом в Гибралтаре.

— Да.

— Кончилось тем, что он предложил мне руку и сердце.

— Серьезно?

— Конечно. А я даже за Майкла не могу выйти.

— Может быть, он думал, что станет лордом Эшли?

— Нет. Не потому. Он серьезно хотел жениться на мне. Чтобы я не могла уйти от него, говорил он. Он хотел сделать так, чтобы я никогда не могла уйти от него. Но только после того, как я стану женственней.

— Теперь тебе будет спокойнее.

— Да. Мне опять хорошо. Я с ним забыла этого несчастного Кона.

— Это хорошо.

— Знаешь, я бы осталась с ним, но я видела, что это плохо для него. Мы с ним отлично ладили.

— Если не считать твоей наружности.

— О, к этому он бы привык.

Она потушила сигарету.

— Мне, знаешь, тридцать четыре года. Не хочу я быть такой дрянью, которая занимается тем, что губит мальчишек.

— Ну конечно.

— Не хочу я этого. Мне сейчас хорошо, знаешь. Мне сейчас спокойно.

— Это хорошо.

Она отвернулась. Я подумал, что она хочет достать еще сигарету. Потом я увидел, что она плачет. Я чувствовал, как она плачет. Дрожит и плачет. Она не поднимала глаз. Я снова обнял ее.

— Не будем никогда говорить об этом. Пожалуйста, не будем никогда говорить об этом.

— Брет, дорогая моя!

— Я вернусь к Майклу.— Я крепче обнял ее, чувствуя, как она плачет.— Он ужасно милый и совершенно невозможный. Он как раз такой, какой мне нужен.

Она не поднимала глаз. Я гладил ее волосы. Я чувствовал, как она дрожит.

— Не хочу я быть такой дрянью,— сказала она.— Но только, Джейк, прошу тебя, никогда не будем говорить об этом.

Мы ушли из отеля Монтана. Когда я хотел уплатить по счету, хозяйка не взяла денег. Счет был оплачен.

— Ну, ладно, пусть,— сказала Брет.— Теперь уж это не важно.

Мы взяли такси и поехали в «Палас-отель», оставили там вещи, заказали места в Южном экспрессе на тот же вечер и зашли в бар при отеле выпить коктейль. Мы сидели у стойки на высоких табуретах и смотрели, как бармен встряхивал мартини в большом никелированном миксере.

— Удивительно, как чинно и благородно бывает в баре большого отеля,— сказал я.

— В наше время только бармены и жокеи еще умеют быть вежливыми.

— Каким бы вульгарным ни был отель, в баре всегда приятно.

— Странно.

— Бармены всегда очаровательны.

— Знаешь,— сказала Брет,— так оно и есть. Ему только девятнадцать лет. Поразительно, правда?

Мы чокнулись стаканами, когда они рядышком стояли на стойке. От холода они покрылись бусинками. За окном со спущенной шторой угадывался летний зной Мадрида.

— Я люблю, чтобы в коктейле была маслина,— сказал я бармену.

— Вы совершенно правы, сэр. Пожалуйста.

— Спасибо.

— Простите, что не предложил вам.

Бармен отошел подальше вдоль стойки, чтобы не слышать нашего разговора. Брет отпила из своего стакана, не поднимая его с деревянной стойки. Потом она взяла стакан в руки. Теперь, после того как она отпила глоток, она уже могла поднять его, не расплескав коктейля.

— Вкусно. Правда, приятный бар?

— Все бары приятные.

— Знаешь, сначала я просто не верила. Он родился в тысяча девятьсот пятом году. Я тогда училась в парижском пансионе. Ты подумай!

— Что ты хочешь, чтобы я подумал?

— Не ломайся. Можешь ты угостить свою даму или нет?

— Пожалуйста, еще два мартини.

— Так же, как первые, сэр?

— Было очень вкусно.— Брет улыбнулась бармену.

— Благодарю вас, мэм.

— Ну, будь здоров,— сказала Брет.

— Будь здорова!

— Знаешь,— сказала Брет,— до меня он знал только двух женщин. Он никогда ничем не интересовался, кроме боя быков.

— Еще успеет.

— Не знаю. Он думает, что главное была я сама. А не то что вообще фиеста и все такое.

— Пусть ты.

— Да. Именно я.

— Ты, кажется, не хотела больше об этом говорить.

— Как-то само собой получается.

— Лучше не говори, тогда все это останется при тебе.

— Я и не говорю, а только хожу вокруг да около. Знаешь, Джейк, мне все-таки очень хорошо.

— Так и должно быть.

— Знаешь, все-таки приятно, когда решишь не быть дрянью.

— Да.

— Это нам отчасти заменяет бога.

— У некоторых людей есть бог,— сказал я.— Таких даже много.

— Мне от него никогда проку не было.

— Выпьем еще по мартини?

Бармен смешал еще две порции и налил коктейль в чистые стаканы.

— Где мы будем обедать? — спросил я Брет. В баре было прохладно. Чувствовалось, что на улице за окном очень жарко.

— Здесь? — предложила Брет.

— Здесь, в отеле, скверно. Вы знаете ресторан «Ботэн»? — спросил я бармена.

— Да, сэр. Если угодно, я напишу вам адрес.

— Благодарю вас.

Мы пообедали в ресторане «Ботэн», на втором этаже. Это один из лучших ресторанов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили «риоха альта». Брет ела мало. Она всегда мало ела. Я съел очень сытный обед и выпил три бутылки «риоха альта».

— Как ты себя чувствуешь, Джейк? — спросила Брет.— Господи! Ну, и обед же ты съел!

— Я чувствую себя отлично. Хочешь что-нибудь на сладкое?

— Ох, нет.

Брет курила.

— Ты любишь поесть, правда? — сказала она.

— Да,— сказал я.— Я вообще многое люблю.

— Например?

— О! — сказал я.— Я многое люблю. Хочешь что-нибудь на сладкое?

— Ты меня уже спрашивал,— сказала Брет.

— Да,— сказал я.— Совершенно верно. Выпьем еще бутылку?

— Хорошее вино.

— Ты почти не пила,— сказал я.

— Пила. Ты не заметил.

— Закажем две бутылки,— сказал я. Вино подали. Я отлил немного в свой стакан, потом налил Брет, потом наполнил свой стакан. Мы чокнулись.

— Будь здоров! — сказала Брет. Я осушил свой стакан и еще раз наполнил его. Брет дотронулась до моего локтя.

— Не напивайся, Джейк,— сказала она.— Не из-за чего.

— Почем ты знаешь?

— Не надо,— сказала она.— Все будет хорошо.

— Я вовсе не напиваюсь,— сказал я.— Я просто попиваю винцо. Я люблю выпить винца.

— Не напивайся,— сказала она.— Не напивайся, Джейк.

— Хочешь покататься? — спросил я.— Хочешь покататься по городу?

— Правильно,— сказала Брет.— Я еще не видела Мадрида. Надо посмотреть Мадрид.

— Я только допью,— сказал я.

Спустившись вниз, мы через столовую первого этажа вышли на улицу. Один из официантов пошел за такси. Было жарко и солнечно. В конце улицы, на маленькой площади, обсаженной деревьями и поросшей травой, была стоянка такси. Подъехала машина, на подножке, держась за окно, ехал официант. Я дал ему на чай, сказал шоферу, куда ехать, и сел рядом с Брет. Машина покатила по улице. Я откинулся на спинку сиденья. Брет подвинулась ко мне. Мы сидели близко друг к другу. Я обнял ее одной рукой, и она удобно прислонилась ко мне. Было очень жарко и солнечно, и дома были ослепительно белые. Мы свернули на Гран-Виа.

— Ах, Джейк! — сказала Брет.— Как бы нам хорошо было вместе.

Впереди стоял конный полицейский в хаки и регулировал движение. Он поднял палочку. Шофер резко затормозил, и от толчка Брет прижало ко мне.

— Да,— сказал я.— Этим можно утешаться, правда?

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА [1]

Эта книга писалась в Париже, в Ки-Уэст, Флорида; в Пиготе, Арканзас; в Канзас-Сити, Миссури; в Шеридане, Вайоминг; а окончательная редакция была завершена в Париже весной 1929 года.

Когда я писал первый вариант, в Канзас-Сити с помощью кесарева сечения родился мой сын Патрик, а когда я работал над окончательной редакцией, в Оук-Парке, Иллинойс, застрелился мой отец. Мне еще не было тридцати ко времени окончания этой книги, и она вышла в свет в день биржевого краха. Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, может быть, он уже больше не мог терпеть. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений.

Я помню все эти события и все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге и которую я сам сочинял изо дня в день. Никогда еще я не был так счастлив, как сочиняя все это — страну, и людей, и то, что с ними происходило. Каждый день я перечитывал все с самого начала и потом писал дальше и каждый день останавливался, когда еще хорошо писалось и когда мне было ясно, что произойдет дальше.

Меня не огорчало, что книга получается трагическая, так как я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешен. Но убедиться, что можешь сочинять, и притом настолько правдиво, что самому приятно читать написанное и начинать с этого каждый свой рабочий день,— было радостью, какой я никогда не знал раньше. Все прочее пустяки по сравнению с этим.

У меня уже вышел один роман в 1926 году. Но когда я за него принимался, я совершенно не знал, как нужно работать над романом: я писал слишком быстро и каждый день кончал только тогда, когда мне уже нечего было больше сказать. Поэтому первый вариант был очень плох. Я написал его за полгода, и потом мне пришлось все переписывать заново. Но, переписывая, я многому научился.

Мой издатель, Чарльз Скрибнер, который превосходно разби-

[1] Предисловие написано для иллюстрированного издания 1948 года.

рается в лошадях, знает все, что, вероятно, допустимо знать об издательском деле, и, как ни странно, кое-что смыслит в книгах, спросил меня, как я отношусь к иллюстрациям и согласен ли я, чтобы моя книга вышла иллюстрированным изданием. На такой вопрос нетрудно ответить: если только художник не такой же мастер своего дела, как писатель — своего (или лучший), ничто не может быть ужаснее для писателя, чем видеть живые в его памяти места, людей и вещи изображенными на бумаге кем-то, кто ничего этого не знает.

Напиши я роман, действие которого происходит на Багамских островах, я хотел бы, чтобы иллюстрации к нему сделал Уинслоу Хомер, но чтобы при этом он ничего не иллюстрировал, а просто нарисовал бы Багамские острова и то, что он там видел. Будь я Мопассаном (чего можно пожелать каждому, живому и мертвому), я взял бы в качестве иллюстрации к своим книгам рисунки и картину Тулуз-Лотрека и кое-какие пленеры Ренуара среднего периода, а нормандские пейзажи вовсе не позволил бы иллюстрировать, потому что никакому художнику не сделать это лучше.

Можно и еще придумывать, кого бы ты хотел взять в иллюстраторы, будь ты тем или другим писателем. Но писателей этих уже нет и этих художников тоже нет, как нет и Макса Перкинса, и многих, умерших в прошлом году. Нынешний год хорош уже тем, что, какие бы потери ни ждали нас в этом году, он не будет хуже, чем прошлый, или 1944-й, или начало зимы и весна 1945-го. То были урожайные годы по части потерь.

Когда мы встречали этот год в Сан-Вэлли, Айдахо, с шампанским, купленным в складчину, кто-то затеял игру, состоявшую в том, что нужно было проползать на спине под натянутой веревкой или под деревянной палкой так, чтобы не коснуться ее животом, носом, шнурами тирольской куртки или еще чем-нибудь. Я сидел в уголке с мисс Ингрид Бергман, попивая складчинское шампанское, и я сказал ей: «Дочка, этот год будет худшим из худших». (Эпитеты опускаются.)

Мисс Бергман спросила, почему я так думаю. Для нее пока все годы были хорошими, и ей трудно было со мной согласиться. Я сказал, что недостаточный запас слов и плохая дикция мешают мне объяснить подробнее, но есть много разрозненных примет, которые не предвещают ничего хорошего, а это зрелище богачей и весельчаков, ползающих не то под палкой, не то под натянутой веревкой, еще укрепляет мои дурные предчувствия. На том мы и покончили.

Итак, эта книга впервые вышла в свет в 1929 году, в тот самый день, когда разразился крах на нью-йоркской бирже. Иллюстрированное издание должно появиться нынешней осенью. За

это время умер Скотт Фицджеральд, умер Том Вулф, умер Джим Джойс (чудесный товарищ, непохожий на официального Джойса, выдуманного биографами, тот, что однажды в подпитии спросил меня, не кажутся ли мне его книги чересчур провинциальными); умер Джон Бишоп, умер Макс Перкинс. Умерло и много таких, кому следовало умереть; одни повисли кверху ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили, худо ли, хорошо ли, в разбомбленных немецких городах. А сколько умерло безвестных, безымянных, и часто очень любивших жизнь.

Называется эта книга «Прощай, оружие!», а кроме первых трех лет, после того как она была написана, в мире почти все время где-нибудь да идет война. Многих тогда удивляло — почему этот человек так занят и поглощен мыслями о войне, но теперь, после 1933 года, быть может, даже им стало понятно, почему писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война. Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе, надеюсь, даже очень пристрастен. Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне,— самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну,— свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.

Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили ему это, и позаботился бы о том, чтобы все было сделано по возможности гуманно и прилично (ведь среди расстреливаемых могут попасться разные люди) и чтобы все тела были преданы погребению. Можно было бы даже похоронить их в целлофане или использовать какой-нибудь другой современный синтетический материал. А если бы под конец нашлись доказательства, что я сам каким-либо образом повинен в начавшейся войне, пусть бы и меня, как это ни печально, расстрелял тот же стрелковый взвод, а потом пусть бы меня похоронили в целлофане, или без, или просто бросили мое голое тело на склоне горы.

Итак — вот вам книга, спустя без малого двадцать лет, и вот вам предисловие к ней.

Финка-Виджия,
Сан-Франсиско-де-Паула, Куба
30 июня 1948 г.

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тот год поздним летом мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали голыш и галька, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая и совсем голубая в протоках. По дороге мимо домика шли войска, и пыль, которую они поднимали, садилась на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начали опадать в тот год, и мы смотрели, как идут по дороге войска, и клубится пыль, и падают листья, подхваченные ветром, и шагают солдаты, а потом только листья остаются лежать на дороге, пустой и белой.

Равнина была плодородна, на ней было много фруктовых садов, а горы за равниной были бурые и голые. В горах шли бои, и по ночам видны были вспышки разрывов. В темноте это напоминало зарницы; только ночи были прохладные, и в воздухе не чувствовалось приближения грозы.

Иногда в темноте мы слышали, как под нашими окнами проходят войска и тягачи везут мимо нас орудия. Ночью движение на дороге усиливалось, шло много мулов с ящиками боеприпасов по обе стороны вьючного седла, ехали серые грузовики, в которых сидели солдаты, и другие, с грузом под брезентовой покрышкой, подвигавшиеся вперед не так быстро. Днем тоже проезжали тягачи с тяжелыми орудиями на прицепе, длинные тела орудий были прикрыты зелеными ветками, и поверх тягачей лежали зеленые густые ветки и виноградные лозы. К северу от нас была долина, а за нею каштановая роща и дальше еще одна гора, на нашем берегу реки. Ту гору тоже пытались взять, но безуспешно, и осенью, когда начались дожди, с каштанов облетели все листья, и ветки оголились, и стволы почернели от дождя. Виноградники тоже поредели и оголились, и все кругом было мокрое, и бурое, и мертвое по-осеннему. Над рекой стояли туманы, и на горы наползали облака, и грузовики разбрызгивали грязь на дороге, и солдаты шли грязные и мокрые в своих плащах; винтовки у них

были мокрые, и две кожаные патронные сумки на поясе, серые кожаные сумки, тяжелые от обойм с тонкими 6,5-миллиметровыми патронами, торчали спереди под плащами так, что казалось, будто солдаты, идущие по дороге, беременны на шестом месяце.

Проезжали маленькие серые легковые машины, которые шли очень быстро; обычно рядом с шофером сидел офицер, и еще офицеры сидели сзади. Эти машины разбрызгивали грязь сильней, чем грузовики, и если один из офицеров был очень мал ростом и сидел сзади между двумя генералами, и оттого что он был так мал, лицо его не было видно, а только верх кепи и узкая спина, и если машина шла особенно быстро,— это, вероятно, был король. Он жил в Удине и почти каждый день ездил этой дорогой посмотреть, как идут дела, а дела шли очень плохо.

С приходом зимы начались сплошные дожди, а с дождями началась холера. Но ей не дали распространиться, и в армии за все время умерло от нее только семь тысяч.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В следующем году было много побед. Была взята гора по ту сторону долины и склон, где росла каштановая роща, и на плато к югу от равнины тоже были победы, и в августе мы перешли реку и расположились в Гориции, в доме, где стены были увиты пурпурной вистарией, и в саду с высокой оградой был фонтан и много густых тенистых деревьев. Теперь бои шли в ближних горах, меньше чем за милю от нас. Город был очень славный, а наш дом очень красивый. Река протекала позади нас, и город заняли без всякого труда, но горы за ним не удавалось взять, и я был очень рад, что австрийцы, как видно, собирались вернуться в город когда-нибудь, если окончится война, потому что они бомбардировали его не так, чтобы разрушить, а только слегка, для порядка. Население оставалось в городе, и там были госпитали, и кафе, и артиллерия в переулках, и два публичных дома — один для солдат, другой для офицеров; и когда кончилось лето и ночи стали прохладными, бои в ближних горах, помятое снарядами железо моста, разрушенный туннель у реки, на месте бывшего боя, деревья вокруг площади и двойной ряд деревьев вдоль улицы, ведущей на площадь,— все это и то, что в городе были девицы, что король проезжал мимо на своей серой машине и теперь можно было разглядеть его лицо и маленькую фигурку с длинной шеей и седую бородку пучком, как у козла,— все это, и неожиданно обнаженная внутренность домов, у которых снарядом разрушило стену, штукатурка и щебень в садах, а иногда и на улице, и то, что на Карсо дела шли хорошо, сильно отличало осень этого года

от прошлой осени, когда мы стояли в деревне. Война тоже стала другая.

Дубовый лес на горе за городом погиб. Этот лес был зеленый летом, когда мы пришли в город, но теперь от него остались только пни и расщепленные стволы, и земля была вся разворочена, и однажды, под конец осени, с того места, где прежде был дубовый лес, я увидел облако, которое надвигалось из-за горы. Оно двигалось очень быстро, и солнце стало тускло-желтое, и потом все сделалось серым, и небо заволокло, и облако спустилось на гору, и вдруг накрыло нас, и это был снег. Снег падал косо по ветру, голая земля скрылась под ним, так что только пни деревьев торчали, снег лежал на орудиях, и в снегу были протоптаны дорожки к отхожим местам за траншеями.

Вечером, спустившись в город, я сидел за бутылкой асти у окна публичного дома, того, что для офицеров, в обществе приятеля и двух стаканов. За окном падал снег, и, глядя, как он падает, медленно и грузно, мы понимали, что на этот год кончено. Горы в верховьях реки не были взяты; ни одна гора за рекой тоже не была взята. Это все осталось на будущий год. Мой приятель увидел на улице нашего полкового священника, осторожно ступавшего по слякоти, и стал стучать по стеклу, чтобы привлечь его внимание. Священник поднял голову. Он увидел нас и улыбнулся. Мой приятель поманил его пальцем. Священник покачал головой и прошел мимо. Вечером в офицерской столовой, после спагетти, которые все ели очень серьезно и торопливо, поднимая их на вилке так, чтобы концы повисли в воздухе и можно было опустить их в рот, или же только приподнимая вилкой и всасывая в рот без перерыва, а потом запивая вином из плетеной фляги,— она качалась на металлической стойке, и нужно было нагнуть указательным пальцем горлышко фляги, и вино, прозрачно-красное, терпкое и приятное, лилось в стакан, придерживаемый той же рукой,— после спагетти капитан принялся дразнить священника.

Священник был молод и легко краснел и носил такую же форму, как и все мы, только с крестом из темно-красного бархата над левым нагрудным карманом серого френча. Капитан, специально для меня, говорил на ломаном итальянском языке, почему-то считая, что так я лучше пойму все и ничего не упущу.

— Священник сегодня с девочка,— сказал капитан, поглядывая на священника и на меня. Священник улыбнулся и покраснел и покачал головой. Капитан часто зубоскалил на его счет.

— Разве нет? — спросил капитан.— Я сегодня видеть священник у девочка.

— Нет,— сказал священник. Остальные офицеры забавлялись зубоскальством капитана.

— Священник с девочка нет,— продолжал капитан.— Свя-

щенник с девочка никогда,— объяснил он мне. Он взял мой стакан и наполнил его, все время глядя мне в глаза, но не теряя из виду священника.

— Священник каждую ночь сам по себе.— Все кругом засмеялись.— Вам понятно? Священник каждую ночь сам по себе.— Капитан сделал жест рукой и громко захохотал. Священник отнесся к этому, как к шутке.

— Папа хочет, чтобы войну выиграли австрийцы,— сказал майор.— Он любит Франца-Иосифа. Вот откуда у австрийцев и деньги берутся. Я — атеист.

— Вы читали когда-нибудь «Черную свинью»? — спросил лейтенант.— Я вам достану. Вот книга, которая пошатнула мою веру.

— Это грязная и дурная книга,— сказал священник.— Не может быть, чтоб она вам действительно нравилась.

— Очень полезная книга,— сказал лейтенант.— Там все сказано про священников. Вам понравится,— сказал он мне.

Я улыбнулся священнику, и он улыбнулся мне в ответ из-за пламени свечи.

— Не читайте этого,— сказал он.

— Я вам достану,— сказал лейтенант.

— Все мыслящие люди атеисты,— сказал майор.— Впрочем, я и масонства не признаю.

— А я признаю масонство,— сказал лейтенант.— Это благородная организация.

Кто-то вошел, и в отворенную дверь я увидел, как падает снег.

— Теперь уже наступления не будет, раз выпал снег,— сказал я.

— Конечно, нет,— сказал майор.— Взять бы вам теперь отпуск. Поехать в Рим, в Неаполь, в Сицилию...

— Пусть он едет в Амальфи,— сказал лейтенант.— Я дам вам письмо к моим родным в Амальфи. Они вас полюбят, как сына.

— Пусть он едет в Палермо.

— А еще лучше на Капри.

— Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруццах и погостили у моих родных в Капракотта,— сказал священник.

— Очень ему нужно ехать в Абруццы. Там снегу больше, чем здесь. Что ему, на крестьян любоваться? Пусть едет в центры культуры и цивилизации.

— Туда, где есть красивые девушки. Я дам вам адреса в Неаполе. Очаровательные молодые девушки — и все при мамашах. Ха-ха-ха!

Капитан раскрыл кулак, подняв большой палец и растопырив остальные, как делают, когда показывают китайские тени.

На стене была тень от его руки. Он снова заговорил на ломаном языке:

— Вы уехать вот такой,— он указал на большой палец,— а вернуться вот такой.— Он дотронулся до мизинца. Все засмеялись.

— Смотрите,— сказал капитан. Он снова растопырил пальцы. Снова пламя свечи отбросило на стену их тень. Он начал с большого и назвал по порядку все пять пальцев: sotto-tenente [1] (большой), tenente [2] (указательный), capitano [3] (средний), maggiore [4] (безымянный) и tenente-colonello [5] (мизинец).— Вы уезжаете sotto-tenente! Вы возвращаетесь tenente-colonello!

Кругом все смеялись. Китайские тени капитана имели большой успех. Он посмотрел на священника и закричал:

— Священник каждую ночь сам по себе! — Все засмеялись.

— Поезжайте в отпуск сейчас же,— сказал майор.

— Жаль, я не могу поехать с вами вместе, все вам показать,— сказал лейтенант.

— Когда будете возвращаться, привезите граммофон.

— Привезите хороших оперных пластинок.

— Привезите Карузо.

— Карузо не привозите. Он воет.

— Попробуйте вы так повыть!

— Он воет. Говорю вам, он воет.

— Мне бы хотелось, чтоб вы побывали в Абруццах,— сказал священник. Все остальные шумели.— Там хорошая охота. Народ у нас славный, и зима хоть холодная, но ясная и сухая. Вы могли бы пожить у моих родных. Мой отец страстный охотник.

— Ну, пошли,— сказал капитан.—Мы идти в бордель, а то закроют.

— Спокойной ночи,— сказал я священнику.

— Спокойной ночи,— сказал он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда я возвратился из отпуска, мы все еще стояли в том же городе. В окрестностях было теперь гораздо больше артиллерии, и уже наступила весна. Поля были зеленые, и на лозах были маленькие зеленые побеги; на деревьях у дороги появились маленькие листочки, и с моря тянул ветерок. Я увидел город, и холм, и

[1] Младший лейтенант *(ит.)*.
[2] Лейтенант *(ит.)*.
[3] Капитан *(ит.)*.
[4] Майор *(ит.)*.
[5] Подполковник *(ит.)*.

старый замок на уступе холма, а дальше горы, бурые горы, чуть тронутые зеленью на склонах. В городке стало больше орудий, открылось несколько новых госпиталей, на улицах встречались англичане, иногда англичанки, и от обстрела пострадало еще несколько домов. Было тепло, пахло весной, и я прошел по обсаженной деревьями улице, теплой от солнца, лучи которого падали на стену, и увидел, что мы занимаем все тот же дом и что ничего как будто не изменилось за это время. Дверь была открыта, на скамейке у стены сидит на солнце солдат, санитарная машина ожидала у бокового входа, а за дверьми меня встретил запах каменных полов и больницы. Ничего не изменилось, только теперь была весна. Я заглянул в дверь большой комнаты и увидел, что майор сидит за столом, окно раскрыто и солнце светит в комнату. Он не видел меня, и я не знал, явиться ли мне с рапортом или сначала пойти наверх и почиститься. Я решил пойти наверх.

Комната, которую я делил с лейтенантом Риньяльди, выходила во двор. Окно было распахнуто, моя кровать была застлана одеялом, и на стене висели мои вещи, противогаз в продолговатом жестяном футляре, стальная каска на том же крючке. В ногах кровати стоял мой сундучок, а на сундучке мои зимние сапоги, блестевшие от жира. Моя винтовка австрийского образца с восьмигранным воронеными стволом и удобным, красивым, темного ореха прикладом висела между постелями. Я вспомнил, что телескопический прицел к ней заперт в сундучке. Риньяльди, лейтенант, лежал на второй кровати и спал. Он проснулся, услышав мои шаги, и поднял голову с подушки.

— Ciao! [1] — сказал он.— Ну, как провели время?

— Превосходно.

Мы пожали друг другу руки, а потом он обнял меня за шею и поцеловал.

— Уф! — сказал я.

— Вы грязный,— сказал он.— Вам нужно умыться. Где вы были, что делали? Выкладывайте все сразу.

— Я был везде. В Милане, Флоренции, Риме, Неаполе, Вилла-Сан-Джованни, Мессине, Таормине...

— Прямо железнодорожный справочник. Ну, а интересные приключения были?

— Да.

— Где?

— Milano, Firenze, Roma, Napoli...

— Хватит. Скажите, какое было самое лучшее?

— В Милане.

— Потому что это было первое. Где вы ее встретили? В «Ко-

[1] Привет! *(ит.)*

ва»? Куда вы пошли? Как все было? Выкладывайте сразу. Оставались на ночь?

— Да.

— Подумаешь. Теперь и у нас здесь замечательные девочки. Новенькие, первый раз на фронте.

— Да ну?

— Не верите? Вот пойдем сегодня, увидите сами. А в городе появились хорошенькие молодые англичанки. Я теперь влюблен в мисс Баркли. Я вас познакомлю. Я, вероятно, женюсь на мисс Баркли.

— Мне нужно умыться и явиться с рапортом. А что, работы теперь нет?

— После вашего отъезда мы только и знаем, что отмороженные конечности, желтуху, триппер, умышленное членовредительство, воспаление легких, твердые и мягкие шанкры. Раз в неделю кого-нибудь пришибает осколком скалы. Есть несколько настоящих раненых. С будущей недели война опять начнется. То есть, вероятно, опять начнется. Так говорят. Как, по-вашему, стоит мне жениться на мисс Баркли,— разумеется, после войны?

— Безусловно,— сказал я и налил полный таз воды.

— Вечером вы мне все расскажете,— сказал Ринальди.— А сейчас я должен еще поспать, чтобы явиться к мисс Баркли свежим и красивым.

Я снял френч и рубашку и умылся холодной водой из таза. Растираясь полотенцем, я глядел по сторонам, и в окно, и на Ринальди, лежавшего на постели с закрытыми глазами. Он был красив, одних лет со мной, родом из Амальфи. Он любил свою работу хирурга, и мы были большими друзьями. Почувствовав мой взгляд, он открыл глаза.

— У вас деньги есть?

— Есть.

— Одолжите мне пятьдесят лир.

Я вытер руки и достал бумажник из внутреннего кармана френча, висевшего на стене. Ринальди взял бумажку, сложил ее, не вставая с постели, и сунул в карман брюк. Он улыбнулся.

— Мне нужно произвести на мисс Баркли впечатление человека со средствами. Вы мой добрый, верный друг и финансовый покровитель.

— Ну вас к черту,— сказал я.

Вечером в офицерской столовой я сидел рядом со священником, и его очень огорчило и неожиданно обидело, что я не поехал в Абруццы. Он писал обо мне отцу, и к моему приезду готовились. Я сам жалел об этом не меньше, чем он, и мне было непонятно, почему я не поехал. Мне очень хотелось поехать, и я попытался объяснить, как тут одно цеплялось за другое, и в конце

концов он понял и поверил, что мне действительно хотелось поехать, и все почти уладилось. Я выпил много вина, а потом кофе со стрега и, хмелея, рассуждал о том, как это выходит, что человеку не удается сделать то, что хочется; никогда не удается.

Мы с ним разговаривали, пока другие шумели и спорили. Мне хотелось поехать в Абруццы. Но я не поехал в места, где дороги обледенелые и твердые, как железо, где в холод ясно и сухо, и снег сухой и рассыпчатый, и заячьи следы на снегу, и крестьяне снимают шапку и зовут вас «дон», и где хорошая охота. Я не поехал в такие места, а поехал туда, где дымные кафе и ночи, когда комната идет кругом, и нужно смотреть в стену, чтобы она остановилась, пьяные ночи в постели, когда знаешь, что больше ничего нет, кроме этого, и так странно просыпаться потом, не зная, кто это рядом с тобой, и мир в потемках кажется нереальным и таким остро волнующим, что нужно начать все сызнова, не зная и не раздумывая в ночи, твердо веря, что больше ничего нет, и нет, и нет, и не раздумывая. И вдруг задумаешься очень глубоко и заснешь и иногда наутро проснешься, и того, что было, уже нет, и все так резко, и ясно, и четко, и иногда споры о плате. Иногда все-таки еще хорошо, и тепло, и нежно, и завтрак и обед. Иногда приятного не осталось ничего, и рад выбраться поскорее на улицу, но на следующий день всегда опять то же, и на следующую ночь. Я пытался рассказать о ночах, и о том, какая разница между днем и ночью, и почему ночь лучше, разве только день очень холодный и ясный, но я не мог рассказать этого, как не могу и сейчас. Если с вами так бывало, вы поймете. С ним так не бывало, но он понял, что я действительно хотел поехать в Абруццы, но не поехал, и мы остались друзьями, похожие во многом и все же очень разные. Он всегда знал то, чего я не знал и что, узнав, всегда был готов позабыть. Но это я понял только позднее, а тогда не понимал. Между тем мы все еще сидели в столовой. Все уже поели, но продолжали спорить. Мы со священником замолчали, и капитан крикнул:

— Священнику скучно. Священнику скучно без девочек.

— Мне не скучно,— сказал священник.

— Священнику скучно. Священник хочет, чтоб войну выиграли австрийцы,— сказал капитан. Остальные прислушались. Священник покачал головой.

— Нет,— сказал он.

— Священник не хочет, чтоб мы наступали. Правда, вы не хотите, чтоб мы наступали?

— Нет. Раз идет война, мне кажется, мы должны наступать.

— Должны наступать. Будем наступать.

Священник кивнул.

— Оставьте его в покое,— сказал майор.— Он славный малый.

— Во всяком случае, он тут ничего не может поделать,— сказал капитан. Мы все встали и вышли из-за стола.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утром меня разбудила батарея в соседнем саду, и я увидел, что в окно светит солнце, и встал с постели. Я подошел к окну и выглянул. Гравий на дорожках был мокрый и трава влажная от росы. Батарея дала два залпа, и каждый раз воздух сотрясался, как при взрыве, и от этого дребезжало окно и хлопали полы моей пижамы. Орудий не было видно, но снаряды летели, по-видимому, прямо над нами. Неприятно было, что батарея так близко, но приходилось утешаться тем, что орудия не из самых тяжелых. Глядя в окно, я услышал грохот грузовика, выезжавшего на дорогу. Я оделся, спустился вниз, выпил кофе на кухне и прошел в гараж.

Десять машин выстроились в ряд под длинным навесом. Это были тупоносые, с громоздким кузовом, санитарные автомобили, выкрашенные в серое, похожие на мебельные фургоны. Во дворе у такой же машины возились механики. Еще три находились в горах, при перевязочных пунктах.

— Эта батарея бывает под обстрелом? — спросил я у одного из механиков.

— Нет, signor tenente [1]. Она защищена холмом.

— Как у вас дела?

— Ничего. Вот эта машина никуда не годится, а остальные все в исправности.— Он прервал работу и улыбнулся.— Вы были в отпуску?

— Да.

Он вытер руки о свой свитер и ухмыльнулся.

— Хорошо время провели?

Его товарищи тоже заухмылялись.

— Неплохо,— сказал я.— А что с этой машиной?

— Никуда она не годится. То одно, то другое.

— Сейчас в чем дело?

— Поршневые кольца менять надо.

Я оставил их у машины, которая казалась обобранной и униженной, оттого что мотор был открыт и части выложены на подножку, а сам вошел под навес и одну за другой осмотрел все машины. Я нашел их сравнительно чистыми, одни были только что вымыты, другие уже слегка запылились. Я внимательно оглядел

[1] Господин лейтенант *(ит.)*.

шины, ища порезов или царапин от камней. Казалось, все в полном порядке. Ничто, по-видимому, не менялось от того, здесь ли я и наблюдаю за всем сам или же нет. Я воображал, что состояние машин, возможность доставать те или иные части, бесперебойная эвакуация больных и раненых с перевязочных пунктов в горах, доставка их на распределительный пункт и затем размещение по госпиталям, указанным в документах, в значительной степени зависят от меня. Но, по-видимому, здесь я или нет, не имело значения.

— Были какие-нибудь затруднения с частями? — спросил я старшего механика.

— Нет.

— Где теперь склад горючего?

— Все там же.

— Прекрасно,— сказал я, вернулся в дом и выпил еще одну чашку кофе в офицерской столовой. Кофе был светло-серого цвета, сладкий от сгущенного молока. За окном было чудесное весеннее утро. Уже появилось то ощущение сухости в носу, которое предвещает, что день будет жаркий. В этот день я объезжал посты в горах и вернулся в город уже под вечер.

Дела, как видно, поправились за время моего отсутствия. Я слыхал, что скоро ожидается переход в наступление. Дивизия, которую мы обслуживали, должна была идти в атаку в верховьях реки, и майор сказал мне, чтобы я позаботился о постах на время атаки. Атакующие части должны были перейти реку повыше ущелья и рассыпаться по горному склону. Посты для машин нужно было выбрать как можно ближе к реке и держать под прикрытием. Определить для них места должна была, конечно, пехота, но считалось, что план разрабатываем мы. Это была одна из тех условностей, которые создают у вас иллюзию военной деятельности.

Я был весь в пыли и грязи и прошел в свою комнату, чтобы умыться. Ринальди сидел на кровати с английской грамматикой Хюго в руках. Он был в полной форме, на нем были черные башмаки, и волосы его блестели.

— Чудесно,— сказал он, увидя меня.— Вы пойдете со мной в гости к мисс Баркли.

— Нет.

— Да. Вы пойдете, потому что я вас прошу, и смотрите, чтобы вы ей понравились.

— Ну ладно. Дайте только привести себя в порядок.

— Умойтесь и идите как есть.

Я умылся, пригладил волосы, и мы собрались идти.

— Постойте,— сказал Ринальди,— пожалуй, не мешает выпить.— Он открыл свой сундучок и вынул бутылку.

— Только не стрега,— сказал я.

— Нет. Граппа.

— Идет.

Он налил два стакана, и мы чокнулись, отставив указательные пальцы. Граппа была очень крепкая.

— Еще по одному?

— Идет,— сказал я.

Мы выпили по второму стакану граппы. Ринальди убрал бутылку, и мы спустились вниз. Было жарко идти по городу, но солнце уже садилось, и было приятно. Английский госпиталь помещался в большой вилле, выстроенной каким-то немцем перед войной. Мисс Баркли была в саду. С ней была еще одна сестра. Мы увидели за деревьями их белые форменные платья и пошли прямо к ним. Ринальди отдал честь. Я тоже отдал честь, но более сдержанно.

— Здравствуйте,— сказала мисс Баркли.— Вы, кажется, не итальянец?

— Нет.

Ринальди разговаривал с другой сестрой. Они смеялись.

— Как странно — служить в итальянской армии.

— Собственно, это ведь не армия. Это только санитарный отряд.

— А все-таки странно. Зачем вы это сделали?

— Не знаю,— сказал я.— Есть вещи, которые нельзя объяснить.

— Разве? А меня всегда учили, что таких вещей нет.

— Это очень мило.

— Мы непременно должны поддерживать такой разговор?

— Нет,— сказал я.

— Слава богу.

— Что это у вас за трость? — спросил я.

Мисс Баркли была довольно высокого роста. Она была в белом платье, которое я принял за форму сестры милосердия, блондинка с золотистой кожей и серыми глазами. Она показалась мне очень красивой. В руках у нее была тонкая ротанговая трость, нечто вроде игрушечного стека.

— Это — одного офицера, он был убит в прошлом году.

— Простите...

— Он был очень славный. Я должна была выйти за него замуж, а его убили на Сомме.

— Там была настоящая бойня.

— Вы там были?

— Нет.

— Мне рассказывали,— сказала она.— Здесь война совсем

не такая. Мне прислали эту тросточку. Его мать прислала. Ее вернули с другими его вещами.

— Вы долго были помолвлены?

— Восемь лет. Мы выросли вместе.

— Почему же вы не вышли за него раньше?

— Сама не знаю,— сказала она.— Очень глупо. Это я, во всяком случае, могла для него сделать. Но я думала, что так ему будет хуже.

— Понимаю.

— Вы любили когда-нибудь?

— Нет,— сказал я.

Мы сели на скамью, и я посмотрел на нее.

— У вас красивые волосы,— сказал я.

— Вам нравятся?

— Очень.

— Я хотела отрезать их, когда он умер.

— Что вы.

— Мне хотелось что-нибудь для него сделать. Я не придавала значения таким вещам; если б он хотел, он мог бы получить все. Он мог бы получить все, что хотел, если б я только понимала. Я бы вышла за него замуж или просто так. Теперь я все это понимаю. Но тогда он собирался на войну, а я ничего не понимала.

Я молчал.

— Я тогда вообще ничего не понимала. Я думала, так для него будет хуже. Я думала, может быть, он не в силах будет перенести это. А потом его убили, и теперь все кончено.

— Кто знает.

— Да, да,— сказала она.— Теперь все кончено.

Мы оглянулись на Ринальди, который разговаривал с другой сестрой.

— Как ее зовут?

— Фергюсон. Эллен Фергюсон. Ваш друг, кажется, врач?

— Да. Он очень хороший врач.

— Как это приятно. Так редко встречаешь хорошего врача в прифронтовой полосе. Ведь это прифронтовая полоса, правда?

— Конечно.

— Дурацкий фронт,— сказала она.— Но здесь очень красиво. Что, наступление будет?

— Да.

— Тогда у нас будет работа. Сейчас никакой работы нет.

— Вы давно работаете сестрой?

— С конца пятнадцатого года. Я пошла тогда же, когда и он. Помню, я все носилась с глупой мыслью, что он попадет в тот

госпиталь, где я работала. Раненный сабельным ударом, с повязкой вокруг головы. Или с простреленным плечом. Что-нибудь романтическое.

— Здесь самый романтический фронт,— сказал я.

— Да,— сказала она.— Люди не представляют, что такое война во Франции. Если б они представляли, это не могло бы продолжаться. Он не был ранен сабельным ударом. Его разорвало на куски.

Я молчал.

— Вы думаете, это будет продолжаться вечно?

— Нет.

— А что же произойдет?

— Сорвется где-нибудь.

— Мы сорвемся. Мы сорвемся во Франции. Нельзя устраивать такие вещи, как на Сомме, и не сорваться.

— Здесь не сорвется,— сказал я.

— Вы думаете?

— Да. Прошлое лето все шло очень удачно.

— Может сорваться,— сказала она.— Всюду может сорваться.

— И у немцев тоже.

— Нет,— сказала она.— Не думаю.

Мы подошли к Ринальди и мисс Фергюсон.

— Вы любите Италию? — спрашивал Ринальди мисс Фергюсон по-английски.

— Здесь недурно.

— Не понимаю.— Ринальди покачал головой.

— Abbastanza bene [1],— перевел я. Он покачал головой.

— Это нехорошо. Вы любите Англию?

— Не очень. Я, видите ли, шотландка.

Ринальди вопросительно посмотрел на меня.

— Она шотландка и поэтому больше Англии любит Шотландию,— сказал я по-итальянски.

— Но Шотландия — это ведь Англия.

Я перевел мисс Фергюсон его слова.

— Pas encore [2],— сказала мисс Фергюсон.

— Еще нет?

— И никогда не будет. Мы не любим англичан.

— Не любите англичан? Не любите мисс Баркли?

— Ну, это совсем другое. Нельзя понимать так буквально.

Немного погодя мы простились и ушли. По дороге домой Ринальди сказал:

---

[1] Недурно *(ит.)*.
[2] Еще нет *(фр.)*.

— Вы понравились мисс Баркли больше, чем я. Это ясно, как день. Но та шотландка тоже очень мила.

— Очень,— сказал я. Я не обратил на нее внимания.— Она вам нравится?

— Нет,— сказал Ринальди.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На следующий день я снова пошел к мисс Баркли. Ее не было в саду, и я свернул с боковому входу виллы, куда подъезжали санитарные машины. Войдя, я увидел старшую сестру госпиталя, которая сказала мне, что мисс Баркли на дежурстве.

— Война, знаете ли.

Я сказал, что знаю.

— Вы тот самый американец, который служит в итальянской армии? — спросила она.

— Да, мэм.

— Как это случилось? Почему вы не пошли к нам?

— Сам не знаю,— сказал я.— А можно мне теперь перейти к вам?

— Боюсь, что теперь нельзя. Скажите, почему вы пошли в итальянскую армию?

— Я жил в Италии,— сказал я,— и я говорю по-итальянски.

— О! — сказала она.— Я изучаю итальянский. Очень красивый язык.

— Говорят, можно выучиться ему в две недели.

— Ну нет, я не выучусь в две недели. Я уже занимаюсь несколько месяцев. Если хотите повидать ее, можете зайти после семи часов. Она сменится к этому времени. Но не приводите с собой разных итальянцев.

— Несмотря на красивый язык?

— Да. Несмотря даже на красивые мундиры.

— До свидания,— сказал я.

— A rivederci, tenente [1].

— A rivederla.— Я отдал честь и вышел. Невозможно отдавать честь иностранцам так, как это делают в Италии, и при этом не испытывать смущения. Итальянская манера отдавать честь, видимо, не рассчитана на экспорт.

День был жаркий. Утром я ездил в верховья реки, к предмостному укреплению у Плавы. Оттуда должно было начаться наступление. В прошлом году продвигаться по тому берегу было невозможно, потому что лишь одна дорога вела от перевала к пон-

[1] До свидания, лейтенант *(ит.)*.

тонному мосту и она почти на протяжении мили была открыта пулеметному и орудийному огню. Кроме того, она была недостаточно широка, чтобы вместить весь необходимый для наступления транспорт, и австрийцы могли устроить там настоящую бойню. Но итальянцы перешли реку и продвинулись по берегу в обе стороны, так что теперь они удерживали на австрийском берегу реки полосу мили в полторы. Это давало им опасное преимущество, и австрийцам не следовало допускать, чтобы они закрепились там. Я думаю, тут проявлялась взаимная терпимость, потому что другое предмостное укрепление, ниже по реке, все еще оставалось в руках австрийцев. Австрийские окопы были ниже, на склоне горы, всего лишь в нескольких ярдах от итальянских позиций. Раньше на берегу был городок, но его разнесли в щепы. Немного дальше были развалины железнодорожной станции и разрушенный мост, который нельзя было починить и использовать, потому что он просматривался со всех сторон.

Я проехал по узкой дороге вниз, к реке, оставил машину на перевязочном пункте под выступом холма, переправился через понтонный мост, защищенный отрогом горы, и обошел окопы на месте разрушенного городка и у подножия склона. Все были в блиндажах. Я увидел сложенные наготове ракеты, которыми пользовались для вызова огневой поддержки артиллерии или для сигнализации, когда была перерезана связь. Было тихо, жарко и грязно. Я посмотрел через проволочные заграждения на австрийские позиции. Никого не было видно. Я выпил с знакомым капитаном в одном из блиндажей и через мост возвратился назад.

Достраивалась новая широкая дорога, которая переваливала через гору и зигзагами спускалась к мосту. Наступление должно было начаться, как только эта дорога будет достроена. Она шла лесом, круто изгибаясь. План был такой: все подвозить по новой дороге, пустые же грузовики и повозки, санитарные машины с ранеными и весь обратный транспорт направлять по старой узкой дороге. Перевязочный пункт находился на австрийском берегу под выступом холма, и раненых должны были на носилках нести через понтонный мост. Предполагалось сохранить этот порядок и после начала наступления. Как я себе представлял, последняя миля с небольшим новой дороги, там, где кончался уклон, должна была простреливаться австрийской артиллерией. Дело могло обернуться скверно. Но я нашел место, где можно было укрыть машины после того, как они пройдут этот последний опасный перегон, и где они могли дожидаться, пока раненых перенесут через понтонный мост. Мне хотелось проехать по новой дороге, но она не была еще закончена. Она была широкая, с хорошо рассчитанным профилем, и ее изгибы выглядели очень живописно в просветах на лесистом склоне горы. Для машин с их сильными тор-

мозами спуск будет нетруден, и, во всяком случае, вниз ведь они пойдут порожняком. Я поехал по узкой дороге обратно.

Двое карабинеров задержали машину. Впереди на дороге разорвался снаряд, и пока мы стояли, разорвалось еще три. Это были 77-миллиметровки, и когда они летели, слышен был свистящий шелест, а потом резкий, короткий взрыв, вспышка, и серый дым застилал дорогу. Карабинеры сделали нам знак ехать дальше. Поравнявшись с местами взрывов, я объехал небольшие воронки и почувствовал запах взрывчатки и запах развороченной глины, и камня, и свежераздробленного кремня. Я вернулся в Горицию, на нашу виллу, и, как я уже сказал, пошел к мисс Баркли, которая оказалась на дежурстве.

За обедом я ел очень быстро и сейчас же снова отправился на виллу, где помещался английский госпиталь. Вилла была очень большая и красивая, и перед домом росли прекрасные деревья. Мисс Баркли сидела на скамейке в саду. С ней была мисс Фергюсон. Они, казалось, обрадовались мне, и спустя немного мисс Фергюсон попросила извинения и встала.

— Я вас оставлю вдвоем,— сказала она.— Вы отлично обходитесь без меня.

— Не уходите, Эллен,— сказала мисс Баркли.

— Нет, уж я пойду. Мне надо писать письма.

— Покойной ночи,— сказал я.

— Покойной ночи, мистер Генри.

— Не пишите ничего такого, что смутило бы цензора.

— Не беспокойтесь. Я пишу только про то, в каком красивом месте мы живем и какие все итальянцы храбрые.

— Продолжайте в том же роде, и вы получите орден.

— Буду очень рада. Покойной ночи, Кэтрин.

— Я скоро зайду к вам,— сказала мисс Баркли. Мисс Фергюсон скрылась в темноте.

— Она славная,— сказал я.

— О да. Она очень славная. Она сестра.

— А вы разве не сестра?

— О нет. Я то, что называется VAD [1]. Мы работаем очень много, но нам не доверяют.

— А почему?

— Не доверяют тогда, когда дела нет. Когда работы много, тогда доверяют.

— В чем же разница?

— Сестра — это вроде доктора. Нужно долго учиться. А VAD кончают только краткосрочные курсы.

— Понимаю.

---

[1] Voluntary Aid Department *(англ.)*.

— Итальянцы не хотели допускать женщин так близко к фронту. Так что у нас тут особый режим. Мы никуда не выходим.

— Но я могу приходить сюда?

— Ну конечно. Здесь не монастырь.

— Давайте забудем про войну.

— Это не так просто. В таком месте трудно забыть про войну.

— А все-таки забудем.

— Хорошо.

Мы посмотрели друг на друга в темноте. Она мне показалась очень красивой, и я взял ее за руку. Она не отняла руки, и я потянулся и обнял ее за талию.

— Не надо,— сказала она. Я не отпускал ее.

— Почему?

— Не надо.

— Надо,— сказал я.— Так хорошо.

Я наклонился в темноте, чтобы поцеловать ее, и что-то обожгло меня коротко и остро. Она сильно ударила меня по лицу. Удар пришелся по глазам и переносице, и на глазах у меня выступили слезы.

— Простите меня,— сказала она.

Я почувствовал за собой некоторое преимущество.

— Вы поступили правильно.

— Нет, вы меня, пожалуйста, простите,— сказала она.— Но это так противно получилось — сестра с офицером в выходной вечер. Я не хотела сделать вам больно. Вам больно?

Она смотрела на меня в темноте. Я был зол и в то же время испытывал уверенность, зная все наперед, точно ходы в шахматной партии.

— Вы поступили совершенно правильно,— сказал я.— Я ничуть не сержусь.

— Бедненький!

— Видите ли, я живу довольно нелепой жизнью. Мне даже не приходится говорить по-английски. И потом, вы такая красивая.

Я смотрел на нее.

— Зачем вы все это говорите? Я ведь просила у вас прощения. Мы уже помирились.

— Да,— сказал я.— И мы перестали говорить о войне.

Она засмеялась. Первый раз я услышал, как она смеется. Я следил за ее лицом.

— Вы славный,— сказала она.

— Вовсе нет.

— Да. Вы добрый. Хотите, я сама вас поцелую?

Я посмотрел ей в глаза и снова обнял ее за талию и поцеловал. Я поцеловал ее крепко, и сильно прижал к себе, и старался раскрыть ей губы; они были крепко сжаты. Я все еще был зол,

и когда я ее прижал к себе, она вдруг вздрогнула. Я крепко прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, и ее губы раскрылись и голова откинулась на мою руку, и я почувствовал, что она плачет у меня на плече.

— Милый! — сказала она.— Вы всегда будете добры ко мне, правда?

«Кой черт»,— подумал я. Я погладил ее волосы и потрепал ее по плечу. Она плакала.

— Правда, будете? — Она подняла на меня глаза.— Потому что у нас будет очень странная жизнь.

Немного погодя я проводил ее до дверей виллы, и она вошла, а я отправился домой. Вернувшись домой, я поднялся к себе в комнату. Ринальди лежал на постели. Он посмотрел на меня.

— Итак, ваши дела с мисс Баркли подвигаются?

— Мы с ней друзья.

— Вы сейчас похожи на пса в охоте.

Я не понял.

— На кого?

Он пояснил.

— Это вы,— сказал я,— похожи на пса, который...

— Стойте,— сказал он.— Еще немного, и мы наговорим друг другу обидных вещей.— Он засмеялся.

— Покойной ночи,— сказал я.

— Покойной ночи, кутинька.

Я подушкой сшиб его свечу и улегся в темноте. Ринальди поднял свечу, зажег и продолжал читать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Два дня я объезжал посты. Когда я вернулся домой, было уже очень поздно, и только на следующий вечер я увиделся с мисс Баркли. В саду ее не было, и мне пришлось дожидаться в канцелярии госпиталя, когда она спустится вниз. По стенам комнаты, занятой под канцелярию, стояло много мраморных бюстов на постаментах из раскрашенного дерева. Вестибюль перед канцелярией тоже был уставлен ими. По общему свойству мраморных статуй они все казались на одно лицо. На меня скульптура всегда нагоняла тоску; еще бронза куда ни шло, но мраморные бюсты неизменно напоминают кладбище. Есть, впрочем, одно очень красивое кладбище — в Пизе. А скверных мраморных статуй больше всего в Генуе. Эта вилла принадлежала раньше какому-то немецкому богачу, и бюсты, наверно, стоили ему немало денег. Интересно, чьей они работы и сколько за них было уплачено. Я пытался определить, предки это или еще кто-нибудь; но у них у всех был

однообразно-классический вид. Глядя на них, ничего нельзя было угадать.

Я сидел на стуле, держа кепи в руках. Нам полагалось даже в Гориции носить стальные каски, но они были неудобны и казались непристойно бутафорскими в городе, где гражданское население не было эвакуировано. Я свою надевал, когда выезжал на посты, и, кроме того, я имел при себе английский противогаз — противогазовую маску, как их тогда называли. Мы только начали получать их. Они и в самом деле были похожи на маски. Все мы также обязаны были носить автоматические пистолеты; даже врачи и офицеры санитарных частей. Я ощущал свой пистолет, прислоняясь к спинке стула. Замеченный без пистолета подлежал аресту. Ринальди вместо пистолета набивал кобуру туалетной бумагой. Я носил свой без обмана и чувствовал себя вооруженным до тех пор, пока мне не приходилось стрелять из него. Это был пистолет системы «астра», калибра 7,65, с коротким стволом, который так подскакивал при спуске курка, что попасть в цель было совершенно немыслимо. Упражняясь в стрельбе, я брал прицел ниже мишени и старался сдержать судорогу нелепого ствола, и наконец я научился с двадцати шагов попадать не дальше ярда от намеченной цели, и тогда мне вдруг стало ясно, как нелепо вообще носить пистолет, и вскоре я забыл о нем, и он болтался у меня сзади на поясе, не вызывая никаких чувств, кроме разве легкого стыда при встрече с англичанами или американцами. И вот теперь я сидел на стуле, и дежурный канцелярист неодобрительно поглядывал на меня из-за конторки, а я рассматривал мраморный пол, постаменты с мраморными бюстами и фрески на стенах в ожидании мисс Баркли. Фрески были недурны. Фрески всегда хороши, когда краска на них начинает трескаться и осыпаться.

Я увидел, что Кэтрин Баркли вошла в вестибюль, и встал. Она не казалась высокой, когда шла мне навстречу, но она была очень хороша.

— Добрый вечер, мистер Генри,— сказала она.

— Добрый вечер,— сказал я. Канцелярист за конторкой прислушивался.

— Посидим здесь или выйдем в сад?

— Давайте выйдем. В саду прохладнее.

Я пошел за ней к двери, канцелярист глядел нам вслед. Когда мы уже шли по усыпанной гравием дорожке, она сказала:

— Где вы были?

— Я выезжал на посты.

— И вы не могли меня предупредить хоть запиской?

— Нет,— сказал я.— Не вышло. Я думал, что вернусь в тот же день.

— Все-таки нужно было дать мне знать, милый.

Мы свернули с аллеи и шли дорожкой под деревьями. Я взял ее за руку, потом остановился и поцеловал ее.

— Нельзя ли нам пойти куда-нибудь?

— Нет,— сказала она.— Мы можем только гулять здесь. Вас очень долго не было.

— Сегодня третий день. Но теперь я вернулся.

Она посмотрела на меня.

— И вы меня любите?

— Да.

— Правда, ведь вы сказали, что вы меня любите?

— Да,— солгал я.— Я люблю вас.

Я не говорил этого раньше.

— И вы будете звать меня Кэтрин?

— Кэтрин.

Мы прошли еще немного и опять остановились под деревом.

— Скажите: ночью я вернулся к Кэтрин.

— Ночью я вернулся к Кэтрин.

— Милый, вы ведь вернулись, правда?

— Да.

— Я так вас люблю, и это было так ужасно. Вы больше не уедете?

— Нет. Я всегда буду возвращаться.

— Я вас так люблю. Положите опять сюда руку.

— Она все время здесь.

Я повернул ее к себе, так что мне видно было ее лицо, когда я целовал ее, и я увидел, что ее глаза закрыты. Я поцеловал ее закрытые глаза. Я решил, что она, должно быть, слегка помешанная. Но не все ли равно? Я не думал о том, чем это может кончиться. Это было лучше, чем каждый вечер ходить в офицерский публичный дом, где девицы виснут у вас на шее и в знак своего расположения, в промежутках между путешествиями наверх с другими офицерами, надевают ваше кепи задом наперед. Я знал, что не люблю Кэтрин Баркли, и не собирался ее любить. Это была игра, как бридж, только вместо карт были слова. Как в бридже, нужно было делать вид, что играешь на деньги или еще на что-нибудь. О том, на что шла игра, не было сказано ни слова. Но мне было все равно.

— Куда бы нам пойти,— сказал я. Как всякий мужчина, я не умел долго любезничать стоя.

— Некуда,— сказала она. Она вернулась на землю из того мира, где была.

— Посидим тут немножко.

Мы сели на плоскую каменную скамью, и я взял Кэтрин Баркли за руку. Она не позволила мне обнять ее.

— Вы очень устали? — спросила она.

— Нет.

Она смотрела вниз, на траву.

— Скверную игру мы с вами затеяли.

— Какую игру?

— Не прикидывайтесь дурачком.

— Я не думаю.

— Вы славный,— сказала она,— и вы стараетесь играть как можно лучше. Но игра все-таки скверная.

— Вы всегда угадываете чужие мысли?

— Не всегда. Но ваши я знаю. Вам незачем притворяться, что вы меня любите. На сегодня с этим кончено. О чем бы вы хотели теперь поговорить?

— Но я вас в самом деле люблю.

— Знаете что, не будем лгать, когда в этом нет надобности. Вы очень мило провели свою роль, и теперь все в порядке. Я ведь не совсем сумасшедшая. На меня если и находит, то чуть-чуть и ненадолго.

Я сжал ее руку.

— Кэтрин, дорогая...

— Как смешно это звучит сейчас: «Кэтрин». Вы не всегда одинаково это произносите. Но вы очень славный. Вы очень добрый, очень.

— Это и наш священник говорит.

— Да, вы добрый. И вы будете навещать меня?

— Конечно.

— И вам незачем говорить, что вы меня любите. С этим пока что кончено.— Она встала и протянула мне руку.— Спокойной ночи.

Я хотел поцеловать ее.

— Нет,— сказала она.— Я страшно устала.

— А все-таки поцелуйте меня,— сказал я.

— Я страшно устала, милый.

— Поцелуйте меня.

— Вам очень хочется?

— Очень.

Мы поцеловались, но она вдруг вырвалась.

— Не надо. Спокойной ночи, милый.

Мы дошли до дверей, и я видел, как она переступила порог и пошла по вестибюлю. Мне нравилось следить за ее движениями. Она скрылась в коридоре. Я пошел домой. Ночь была душная, и наверху, в горах, не стихало ни на минуту. Видны были вспышки на Сан-Габриеле.

Перед «Вилла-Росса» я остановился. Ставни были закрыты, но внутри еще шумели. Кто-то пел. Я поднялся к себе. Ринальди вошел, когда я раздевался.

— Ага,— сказал он.— Дело не идет на лад. Бэби в смущении.

— Где вы были?

— На «Вилла-Росса». Очень пользительно для души, бэби. Мы пели хором. А вы где были?

— Заходил к англичанам.

— Слава богу, что я не спутался с англичанами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На следующий день, возвращаясь с первого горного поста, я остановил машину у smistimento [1], где раненые и больные распределялись по их документам и на документах делалась отметка о направлении в тот или иной госпиталь. Я сам вел машину и остался сидеть у руля, а шофер понес документы для отметки. День был жаркий, и небо было очень синее и яркое, а дорога белая и пыльная. Я сидел на высоком сиденье фиата и ни о чем не думал. Мимо по дороге проходил полк, и я смотрел, как шагают ряды. Люди были разморены и потны. Некоторые были в стальных касках, но большинство несло их прицепленными к ранцам. Многим каски были слишком велики и почти накрывали уши. Офицеры все были в касках, но подобранных по размеру. Это была часть бригады Базиликата. Я узнал их полосатые, красные с белым, петлицы. Полк уже давно прошел, но мимо все еще тянулись отставшие,— те, кто не в силах был шагать в ногу со своим отделением. Они были измучены, все в поту и в пыли. Некоторые казались совсем больными. Когда последний отставший прошел, на дороге показался еще солдат. Он шел прихрамывая. Он остановился и сел у дороги. Я вылез и подошел к нему.

— Что с вами?

Он посмотрел на меня, потом встал.

— Я уже иду.

— А в чем дело?

— Все война, ну ее к...

— Что с вашей ногой?

— Не в ноге дело. У меня грыжа.

— Почему же вы идете пешком? — спросил я.— Почему вы не в госпитале?

— Не пускают. Лейтенант говорит, что я нарочно сбросил бандаж.

— Покажите мне.

— Она вышла.

— С какой стороны?

[1] Эвакопункт *(ит.)*.

— Вот здесь.

Я ощупал его живот.

— Кашляните,— сказал я.

— Как бы от этого не стало хуже. Она уже и так вдвое больше, чем утром.

— Садитесь в машину,— сказал я.— Когда бумаги моих раненых будут готовы, я сам отвезу вас и сдам в вашу санитарную часть.

— Он скажет, что я нарочно.

— Тут они не смогут придраться,— сказал я.— Это не рана. У вас ведь это было и раньше?

— Но я потерял бандаж.

— Вас направят в госпиталь.

— А нельзя мне с вами остаться, tenente?

— Нет, у меня нет на вас документов.

В дверях показался шофер с документами раненых, которых мы везли.

— Четверых в сто пятый. Двоих в сто тридцать второй,— сказал он. Это были госпитали на другом берегу.

— Садитесь за руль,— сказал я.

Я помог солдату с грыжей взобраться на сиденье рядом с нами.

— Вы говорите по-английски? — спросил он.

— Да.

— Что вы скажете об этой проклятой войне?

— Скверная штука.

— Еще бы не скверная, черт дери. Еще бы не скверная.

— Вы бывали в Штатах?

— Бывал. В Питтсбурге. Я догадался, что вы американец.

— Разве я плохо говорю по-итальянски?

— Я сразу догадался, что вы американец.

— Еще один американец,— сказал шофер по-итальянски, взглянув на солдата с грыжей.

— Послушайте, лейтенант. Вы непременно должны меня доставить в полк?

— Да.

— Штука-то в том, что старший врач знает про мою грыжу. Я выбросил к черту бандаж, чтобы мне стало хуже и не пришлось опять идти на передовую.

— Понимаю.

— Может, вы отвезете меня куда-нибудь в другое место?

— Будь мы ближе к фронту, я мог бы сдать вас на первый медицинский пункт. Но здесь, в тылу, нельзя без документов.

— Если я вернусь, мне сделают операцию, а потом все время будут держать на передовой.

Я подумал.

— Хотели бы вы все время торчать на передовой? — спросил он.

— Нет.

— О черт! — сказал он.— Что за мерзость эта война.

— Слушайте,— сказал я.— Выйдите из машины, упадите и набейте себе шишку на голове, а я на обратном пути захвачу вас и отвезу в госпиталь. Мы на минуту остановимся, Альдо.

Мы съехали на обочину и остановились. Я помог ему вылезть.

— Здесь вы меня и найдете, лейтенант,— сказал он.

— До свидания,— сказал я. Мы поехали дальше и обогнали полк приблизительно в миле пути, потом переправились через реку, мутную от талого снега и быстро бегущую между устоев моста, и дорогой, пересекающей равнину, добрались до госпиталей, где нужно было сдать раненых. На обратном пути я сам сидел у руля и быстро гнал пустую машину туда, где ждал солдат из Питтсбурга. Сначала мы миновали полк, еще более разморенный и двигавшийся еще медленнее; потом отставших. Потом мы увидели посреди дороги санитарную повозку. Двое санитаров поднимали солдата с грыжей. Они вернулись за ним. Увидя меня, он покачал головой. Его каска свалилась, и лоб, у самых волос, был окровавлен. На носу была содрана кожа, и на кровавую ссадину налипла пыль, и в волосах тоже была пыль.

— Посмотрите, какая шишка, лейтенант,— закричал он.— Но ничего не поделаешь. Они вернулись за мной.

Когда я вернулся на виллу, было пять часов, и я пошел туда, где мыли машины, принять душ. Потом я составлял рапорт, сидя в своей комнате у открытого окна, в брюках и нижней рубашке. Наступление было назначено на послезавтра, и я должен был выехать со своими машинами к Плаве. Уже давно я не писал в Штаты, и я знал, что нужно написать, но я столько времени откладывал это, что теперь писать было уже почти невозможно. Не о чем было писать. Я послал несколько открыток Zona di Guerra[1], вычеркнув из текста все, кроме «я жив и здоров». Так скорее дойдут. Эти открытки очень понравятся в Америке — необычные и таинственные. Необычной и таинственной была война в этой зоне, но мне она казалась хорошо обдуманной и жестокой по сравнению с другими войнами, которые велись против австрийцев. Австрийская армия была создана ради побед Наполеона — любого Наполеона. Хорошо, если бы и у нас был Наполеон, но у нас был только Il Generale Cadorna, жирный и благоденствующий, и Vittorio Emmanuele, маленький человек с худой длинной шеей и козлиной бородкой. В правобережной армии был герцог

[1] Военная зона *(ит.)*.

Аоста. Пожалуй, он был слишком красив для великого полководца, но у него была внешность настоящего мужчины. Многие хотели бы, чтоб королем был он. У него была внешность короля. Он приходился королю дядей и командовал третьей армией. Мы были во второй армии. В третьей армии было несколько английских батарей. В Милане я познакомился с двумя английскими артиллеристами оттуда. Они были очень милые, и мы отлично провели вечер. Они были большие и застенчивые, и все их смущало и в то же время очень им нравилось. Лучше бы мне служить в английской армии. Все было бы проще. Но я бы, наверно, погиб. Ну, в санитарном отряде едва ли. Нет, даже и в санитарном отряде. Случалось, и шоферы английских санитарных машин погибали. Но я знал, что не погибну. В эту войну нет. Она ко мне не имела никакого отношения. Для меня она казалась не более опасной, чем война в кино. Все-таки я от души желал, чтобы она кончилась. Может быть, этим летом будет конец. Может быть, австрийцев побьют. Их всегда били в прежних войнах. А что особенного в этой войне? Все говорят, что французы выдохлись. Ринальди рассказывал, что французские солдаты взбунтовались и войска пошли на Париж. Я спросил его, что же было дальше, и он сказал: «Ну, их остановили». Мне хотелось побывать в Австрии без всякой войны. Мне хотелось побывать в Шварцвальде. Мне хотелось побывать на Гарце. А где это Гарц, между прочим? Бои теперь шли в Карпатах. Туда мне не хотелось. Хотя, пожалуй, и это было бы недурно. Не будь войны, я мог бы поехать в Испанию. Солнце уже садилось, и день остывал. После ужина я пойду к Кэтрин Баркли. Мне хотелось, чтобы она сейчас была здесь со мной. Мне хотелось, чтобы мы вместе были в Милане. Хорошо бы поужинать в «Кова» и потом душным вечером пройти по Виа Манцони, и перейти мост, и свернуть вдоль канала, и пойти в отель с Кэтрин Баркли. Может быть, она пошла бы. Может быть, она представила бы себе, будто я — тот офицер, которого убили на Сомме, и вот мы входим в главный подъезд и швейцар снимает фуражку и я останавливаюсь у конторки портье спросить ключ и она дожидается у лифта и потом мы входим в кабину лифта и он ползет вверх очень медленно позвякивая на каждом этаже, а потом вот и наш этаж и мальчик-лифтер отворяет дверь и она выходит и я выхожу и мы идем по коридору и я ключом отпираю дверь и вхожу и потом снимаю телефонную трубку и прошу чтобы принесли бутылку капри бьянка в серебряном ведерке полном льда и слышно как лед звенит в ведерке все ближе по коридору и мальчик стучится и я говорю поставьте пожалуйста у двери. Потому что мы все с себя сбросили потому что так жарко и окно раскрыто и ласточки летают над крышами домов и когда уже совсем стемнеет и подойдешь к окну крошеч-

ные летучие мыши носятся над домами и над верхушками деревьев и мы пьем капри и дверь на запоре и так жарко и только простыня и целая ночь и мы всю ночь любим друг друга жаркой ночью в Милане. Вот так все должно быть. Я быстро поужинаю и пойду к Кэтрин Баркли.

За столом слишком много было разговоров, и я пил вино, потому что сегодня вечером мы не были бы братьями, если б я не выпил немного, и я разговаривал со священником об архиепископе Айрленде, по-видимому, очень достойном человеке, об его несправедливой судьбе, о несправедливостях по отношению к нему, в которых я, как американец, был отчасти повинен и о которых я понятия не имел, но делал вид, что мне все это отлично известно. Было бы невежливо ничего об этом не знать, выслушав такое блестящее объяснение сути всего дела, в конце концов, видимо, основанного на недоразумении. Я нашел, что у него очень красивое имя, и к тому же он был родом из Миннесоты, так что имя выходило действительно чудесное: Айрленд Миннесотский, Айрленд Вископсинский, Айрленд Мичиганский. Нет, не в том дело. Тут дело гораздо глубже. Да, отец мой. Верно, отец мой. Возможно, отец мой. Нет, отец мой. Что ж, может быть, и так, отец мой. Вам лучше знать, отец мой. Священник был хороший, но скучный. Офицеры были не хорошие, но скучные. Король был хороший, но скучный. Вино было плохое, но не скучное. Оно снимало с зубов эмаль и оставляло ее на нёбе.

— И священника посадили за решетку,— говорил Рокка,— потому что нашли при нем трехпроцентные бумаги. Это было во Франции, конечно. Здесь бы его никогда не арестовали. Он утверждал, что решительно ничего не знает о пятипроцентных. Случилось все это в Безье. Я как раз там был и, прочтя об этом в газетах, отправился в тюрьму и попросил, чтобы меня допустили к священнику. Было совершенно очевидно, что бумаги он украл.

— Не верю ни одному слову,— сказал Ринальди.

— Это как вам угодно,— сказал Рокка.— Но я рассказываю об этом для нашего священника. История очень поучительная. Он священник, он ее сумеет оценить.

Священник улыбнулся.

— Продолжайте,— сказал он.— Я слушаю.

— Конечно, часть бумаг так и не нашли, но все трехпроцентные оказались у священника, и еще облигации каких-то местных займов, не помню точно каких. Итак, я пришел в тюрьму,— вот тут-то и начинается самое интересное,— и стою у его камеры и говорю, будто перед исповедью: «Благословите меня, отец мой, ибо вы согрешили».

Все громко захохотали.

— И что же он ответил? — спросил священник.

Рокка не обратил на него внимания и принялся растолковывать мне смысл шутки:

— Понимаете, в чем тут соль?

По-видимому, это была очень остроумная шутка, если ее правильно понять. Мне подлили еще вина, и я рассказал анекдот об английском рядовом, которого поставили под душ. Потом майор рассказал анекдот об одиннадцати чехословаках и венгерском капрале. Выпив еще вина, я рассказал анекдот о жокее, который нашел пенни. Майор сказал, что есть забавный итальянский анекдот о герцогине, которой не спалось по ночам. Тут священник ушел, и я рассказал анекдот о коммивояжере, который приехал в Марсель в пять часов утра, когда дул мистраль. Майор сказал, что до него дошли слухи, что я умею пить. Я отрицал это. Он сказал, что это верно и что, Бахус свидетель, он проверит, так это или нет. Только не Бахус, сказал я. Не Бахус. Да, Бахус, сказал он. Я должен пить на выдержку с Басси Филиппо Винченца. Басси сказал нет, это несправедливо, потому что он уже выпил вдвое больше, чем я. Я сказал, что это гнусная ложь, Бахус или не Бахус, Филиппо Винченца Басси или Басси Филиппо Винченца ни капли не проглотил за весь вечер, и как его, собственно, зовут? Он спросил, а как меня зовут — Энрико Федерико или Федерико Энрико? Я сказал, Бахуса к черту, а кто крепче, тот и победит, и майор дал нам старт кружками красного вина. Выпив половину кружки, я не захотел продолжать. Я вспомнил, куда иду.

— Басси победил,— сказал я.— Он крепче. Мне пора идти.

— Верно, ему пора,— сказал Ринальди.— У него свидание. Уж я знаю.

— Мне пора идти.

— До другого раза,— сказал Басси.— До другого раза, когда у вас сил будет больше.

Он хлопнул меня по плечу. На столе горели свечи. Все офицеры были очень веселы.

— Спокойной ночи, господа,— сказал я.

Ринальди вышел вместе со мной. Мы остановились у подъезда, и он сказал:

— Вы бы лучше не ходили туда пьяным.

— Я не пьян, Ринин. Честное слово.

— Вы бы хоть пожевали кофейных зерен.

— Ерунда.

— Я вам сейчас принесу, бэби. Пока погуляйте здесь.— Он вернулся с пригоршней жареных кофейных зерен.— Пожуйте, бэби, и да хранит вас бог.

— Бахус,— сказал я.

— Я провожу вас.

— Да я в полном порядке.

Мы шли вдвоем по городу, и я жевал кофейные зерна. У въезда в аллею, которая вела к вилле англичан, Ринальди пожелал мне спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— сказал он.— Почему бы и вам не зайти?

Он покачал головой.

— Нет,— сказал он.— Я предпочитаю более простые удовольствия.

— Спасибо за кофейные зерна.

— Не стоит, бэби. Не стоит.

Я пошел по аллее. Очертания кипарисов по сторонам были четкие и ясные. Я оглянулся и увидел, что Ринальди стоит и смотрит мне вслед, и я помахал ему рукой.

Я сидел в приемной виллы, ожидая Кэтрин Баркли. Кто-то вошел в вестибюль. Я встал, но это была не Кэтрин. Это была мисс Фергюсон.

— Хэлло,— сказала она.— Кэтрин просила меня передать вам, что, к сожалению, она сегодня не может с вами увидеться.

— Как жаль. Она не больна, надеюсь?

— Она не совсем здорова.

— Скажите ей, пожалуйста, что я очень огорчен.

— Скажу.

— А может быть, мне зайти завтра утром?

— Зайдите.

— Очень вам благодарен,— сказал я.— Покойной ночи.

Я вышел из приемной, и мне вдруг стало тоскливо и неуютно. Я очень небрежно относился к свиданию с Кэтрин, я напился и едва не забыл прийти, но когда оказалось, что я ее не увижу, мне стало тоскливо и я почувствовал себя одиноким.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На другой день мы узнали, что ночью в верховьях реки будет атака и мы должны выехать туда с четырьмя машинами. Никто ничего не знал толком, хотя все говорили с большим апломбом, выказывая свои стратегические познания. Я сидел в первой машине, и, когда мы проезжали мимо ворот английского госпиталя, я велел шоферу остановиться. Остальные машины затормозили. Я вышел и велел шоферам ехать дальше и ждать нас на перекрестке у Кормонской дороги, если мы их не нагоним раньше. Я торопливым шагом прошел по аллее и, войдя в приемную, попросил вызвать мисс Баркли.

— Она на дежурстве.

— Нельзя ли мне повидать ее на одну минуту?

Послали санитара узнать, и он вернулся с ней вместе.

— Я зашел узнать о вашем здоровье. Мне сказали, что вы на дежурстве, и я попросил вас вызвать.

— Я вполне здорова,— сказала она.— Вероятно, это от жары меня вчера разморило.

— Мне надо идти.

— Я на минутку выйду с вами.

— Вы себя совсем хорошо чувствуете? — спросил я, когда мы вышли.

— Да, милый. Вы сегодня придете?

— Нет. Я сейчас еду — сегодня потеха на Плаве.

— Потеха?

— Едва ли будет что-нибудь серьезное.

— А когда вы вернетесь?

— Завтра.

Она что-то расстегнула и сняла с шеи. Она вложила это мне в руку.

— Это святой Антоний,— сказала она.— А завтра вечером приходите.

— Разве вы католичка?

— Нет. Но святой Антоний, говорят, очень помогает.

— Буду беречь его ради вас. Прощайте.

— Нет,— сказала она.— Не прощайте.

— Слушаюсь.

— Будьте умницей и берегите себя. Нет, здесь нельзя целоваться. Нельзя.

— Слушаюсь.

Я оглянулся и увидел, что она стоит на ступенях. Она помахала мне рукой, и я послал ей воздушный поцелуй. Она еще помахала рукой, и потом аллея кончилась, и я уже усаживался в машину, и мы тронулись. Святой Антоний был в маленьком медальоне из белого металла. Я открыл медальон и вытряхнул его на ладонь.

— Святой Антоний? — спросил шофер.

— Да.

— У меня тоже есть.— Его правая рука отпустила руль, отстегнула пуговицу и вытащила из-под рубашки такой же медальон.— Видите?

Я положил святого Антония обратно в медальон, собрал в комок тоненькую золотую цепочку и все вместе спрятал в боковой карман.

— Вы его не наденете на шею?

— Нет.

— Лучше надеть. А иначе зачем он?

— Хорошо,— сказал я. Я расстегнул замок золотой цепочки, надел ее на шею и снова застегнул замок. Святой повис на моем форменном френче, и я раскрыл ворот, отстегнул воротник рубашки и опустил святого Антония под рубашку. Сидя в машине, я чувствовал на груди его металлический футляр. Скоро я позабыл о нем. После своего ранения я его больше не видел. Вероятно, его снял кто-нибудь на перевязочном пункте.

Переправившись через мост, мы поехали быстрее, и скоро впереди на дороге мы увидели пыль от остальных машин. Дорога сделала петлю, и мы увидели все три машины; они казались совсем маленькими, пыль вставала из-под колес и уходила за деревья. Мы поравнялись с ними, обогнали их и свернули на другую дорогу, которая шла в гору. Ехать в колонне совсем не плохо, если находишься в головной машине, и я уселся поудобнее и стал смотреть по сторонам. Мы ехали по предгорью со стороны реки, и когда дорога забралась выше, на севере показались высокие горы, на которых уже лежал снег. Я оглянулся и увидел, как остальные три машины поднимаются в гору, отделенные друг от друга облаками пыли. Мы миновали длинный караван навьюченных мулов; рядом с мулами шли погонщики в красных фесках. Это были берсальеры.

После каравана мулов нам уже больше ничего не попадалось навстречу, и мы взбирались с холма на холм и потом длинным отлогим склоном спустились в речную долину. Здесь дорога была обсажена деревьями, и за правой шпалерой деревьев я увидел реку, неглубокую, прозрачную и быструю. Река обмелела и текла узкими протоками среди полос песка и гальки, а иногда, как сияние, разливалась по устланному галькой дну. У самого берега я видел глубокие ямы, вода в них была голубая, как небо. Я видел каменные мостики, дугой перекинутые через реку, к которым вели тропинки, ответвлявшиеся от дороги, и каменные крестьянские дома с канделябрами грушевых деревьев вдоль южной стены, и низкие каменные ограды в полях. Дорога долго шла по долине, а потом мы свернули и снова стали подниматься в гору. Дорога круто поднималась вверх, вилась и кружила в каштановой роще и наконец пошла вдоль кряжа горы. В просветах между деревьями видна была долина, и там, далеко внизу, блестела на солнце извилина реки, разделявшей две армии. Мы поехали по новой каменистой военной дороге, проложенной по самому гребню кряжа, и я смотрел на север, где тянулись две цепи гор, зеленые и темные до линии вечных снегов, а выше белые и яркие в лучах солнца. Потом, когда опять начался подъем, я увидел третью цепь гор, высокие снеговые горы, белые, как мел, и изрезанные причудливыми складками, а за ними вдалеке вставали еще горы, и нельзя было сказать, видишь ли их или это только кажет-

ся. Это все были австрийские горы, а у нас таких не было. Впереди был закругленный поворот направо, и в просвет между деревьями я увидел, как дорога дальше круто спускается вниз. По этой дороге двигались войска, и грузовики, и мулы с горными орудиями, и, когда мы ехали по ней вниз, держась у самого края, мне была видна река далеко внизу, шпалы и рельсы, бегущие рядом, старый железнодорожный мост, а за рекой, у подножья горы, разрушенные дома городка, который мы должны были взять.

Уже почти стемнело, когда мы спустились вниз и выехали на главную дорогу, проложенную вдоль берега реки.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дорога была запружена транспортом и людьми; по обе стороны ее тянулись щиты из рогожи и соломенных циновок, и циновки перекрывали ее сверху, делая похожей на вход в цирк или селение дикарей. Мы медленно продвигались по этому соломенному тупнелю и наконец выехали на голое, расчищенное место, где прежде была железнодорожная станция. Дальше дорога была прорыта в береговой насыпи, и по всей длине ее в насыпи были сделаны укрытия, и в них засела пехота. Солнце садилось, и, глядя поверх насыпи, я видел австрийские наблюдательные аэростаты, темневшие на закатном небе над горами по ту сторону реки. Мы поставили машины за развалинами кирпичного завода. В обжигательных печах и нескольких глубоких ямах оборудованы были перевязочные пункты. Среди врачей было трое моих знакомых. Главный врач сказал мне, что, когда начнется и наши машины примут раненых, мы повезем их замаскированной дорогой вдоль берега и потом вверх, к перевалу, где расположен пост и где раненых будут ждать другие машины. Только бы на дороге не образовалась пробка, сказал он. Другого пути не было. Дорогу замаскировали, потому что она просматривалась с австрийского берега. Здесь, на кирпичном заводе, береговая насыпь защищала нас от ружейного и пулеметного огня. Через реку вел только один полуразрушенный мост. Когда начнется артиллерийский обстрел, наведут еще один мост, а часть войск переправится вброд у изгиба реки, где мелко. Главный врач был низенький человек с подкрученными кверху усами. Он был в чине майора, участвовал в ливийской войне и имел две нашивки за ранения. Он сказал, что если все пройдет хорошо, он представит меня к награде. Я сказал, что, надеюсь, все пройдет хорошо, и поблагодарил его за доброту. Я спросил, есть ли здесь большой блиндаж, где могли бы поместиться шоферы, и он вызвал солдата проводить меня. Я по-

шел за солдатом, и мы очень быстро дошли до блиндажа, который оказался очень удобным. Шоферы были довольны, и я оставил их там. Главный врач пригласил меня выпить с ним и еще с двумя офицерами. Мы выпили рому, и я почувствовал себя среди друзей. Становилось темно. Я спросил, в котором часу начнется атака, и мне сказали, что как только совсем стемнеет. Я вернулся к шоферам. Они сидели в блиндаже и разговаривали, и когда я вошел, они замолчали. Я дал им по пачке сигарет «Македония», слабо набитых сигарет, из которых сыпался табак, и нужно было закрутить конец, прежде чем закуривать. Маньера чиркнул зажигалкой и дал всем закурить. Зажигалка была сделана в виде радиатора фиата. Я рассказал им все, что узнал.

— Почему мы не видели поста, когда сюда ехали? — спросил Пассини.

— Он как раз за поворотом, где мы свернули.

— Да, весело будет ехать по этой дороге,— сказал Маньера.

— Дадут нам жизни австрийцы, так их и так.

— Уж будьте покойны.

— А как насчет того, чтобы поесть, лейтенант? Когда начнется, нечего будет и думать об еде.

— Сейчас пойду узнаю,— сказал я.

— Нам тут сидеть или можно выйти наружу?

— Лучше сидите тут.

Я отправился к главному врачу, и он сказал, что походная кухня сейчас прибудет и шоферы могут прийти за похлебкой. Котелки он им даст, если у них своих нет. Я сказал, что, кажется, у них есть свои. Я вернулся назад и сказал шоферам, что приду за ними, как только привезут еду. Маньера сказал, что хорошо бы ее привезли, прежде чем начнется обстрел. Они молчали, пока я не ушел. Они все четверо были механики и ненавидели войну.

Я пошел проведать машины и посмотреть, что делается кругом, а затем вернулся в блиндаж к шоферам. Мы все сидели на земле, прислонившись к стенке, и курили. Снаружи было уже почти темно. Земля в блиндаже была теплая и сухая, и я прислонился к стенке плечами и расслабил все мышцы тела.

— Кто идет в атаку? — спросил Гавуцци.

— Берсальеры.

— Одни берсальеры?

— Кажется, да.

— Для настоящей атаки здесь слишком мало войск.

— Вероятно, это просто диверсия, а настоящая атака будет не здесь.

— А солдаты, которые идут в атаку, это знают?

— Не думаю.

— Конечно, не знают,— сказал Маньера.— Знали бы, так не пошли бы.

— Еще как пошли бы,— сказал Пассини.— Берсальеры дураки.

— Они храбрые солдаты и соблюдают дисциплину,— сказал я.

— Они здоровые парни, и у них у всех грудь широченная. Но все равно они дураки.

— Вот гренадеры молодцы,— сказал Маньера. Это была шутка. Все четверо захохотали.

— Это при вас было, tenente, когда они отказались идти, а потом каждого десятого расстреляли?

— Нет.

— Было такое дело. Их выстроили и отсчитали каждого десятого. Карабинеры их расстреливали.

— Карабинеры,— сказал Пассини и сплюнул на землю.— Но гренадеры-то: шести футов росту. И отказались идти.

— Вот отказались бы все, и война бы кончилась,— сказал Маньера.

— Ну, гренадеры вовсе об этом не думали. Просто струсили. Офицеры-то все были из знати.

— А некоторые офицеры одни пошли.

— Двоих офицеров застрелил сержант за то, что они не хотели идти.

— Некоторые рядовые тоже пошли.

— Которые пошли, тех и не выстраивали, когда брали десятого.

— Одного моего земляка там расстреляли,— сказал Пассини.— Большой такой, красивый парень, высокий, как раз для гренадера. Вечно в Риме. Вечно с девочками. Вечно с карабинерами.— Он засмеялся.— Теперь у его дома поставили часового со штыком, и никто не смеет навещать его мать, и отца, и сестер, а его отца лишили всех гражданских прав, и даже голосовать он не может. И закон их больше не защищает. Всякий приходи и бери у них что хочешь.

— Если б не страх, что семье грозит такое, никто бы не пошел в атаку.

— Ну да. Альпийские стрелки пошли бы. Полк Виктора-Эммануила пошел бы. Пожалуй, и берсальеры тоже.

— А ведь и берсальеры удирали. Теперь они стараются забыть об этом.

— Вы напрасно позволяете нам вести такие разговоры, tenente. Evviva l'esercito! [1] — ехидно заметил Пассини.

---

[1] Да здравствует армия! *(ит.)*

— Я эти разговоры уже слышал,— сказал я.— Но покуда вы сидите за рулем и делаете свое дело...

— ...и говорите достаточно тихо, чтобы не могли услышать другие офицеры,— закончил Маньера.

— Я считаю, что мы должны довести войну до конца,— сказал я.— Война не кончится, если одна сторона перестанет драться. Будет только хуже, если мы перестанем драться.

— Хуже быть не может,— почтительно сказал Пассини.

— Нет ничего хуже войны.

— Поражение еще хуже.

— Вряд ли,— сказал Пассини по-прежнему почтительно.— Что такое поражение? Ну, вернемся домой.

— Враг пойдет за вами. Возьмет ваш дом. Возьмет ваших сестер.

— Едва ли,— сказал Пассини.— Так уж за каждым и пойдет. Пусть каждый защищает свой дом. Пусть не выпускает сестер за дверь.

— Вас повесят. Вас возьмут и отправят опять воевать. И не в санитарный транспорт, а в пехоту.

— Так уж каждого и повесят.

— Не может чужое государство заставить за себя воевать,— сказал Маньера.— В первом же сражении все разбегутся.

— Как чехи.

— Вы просто не знаете, что значит быть побежденным, вот вам и кажется, что это не так уж плохо.

— Tenente,— сказал Пассини,— вы как будто разрешили нам говорить. Так вот, слушайте. Страшнее войны ничего нет. Мы тут в санитарных частях даже не можем понять, какая это страшная штука — война. А те, кто поймет, как это страшно, те уже не могут помешать этому, потому что сходят с ума. Есть люди, которым никогда не понять. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делают войну.

— Я знаю, что война — страшная вещь, но мы должны довести ее до конца.

— Конца нет. Война не имеет конца.

— Нет, конец есть.

Пассини покачал головой.

— Войну не выигрывают победами. Ну, возьмем мы Сан-Габриеле. Ну, возьмем Карсо, и Монфальконе, и Триест. А потом что? Видели вы сегодня все те дальние горы? Что же, вы думаете, мы можем их все взять? Только если австрийцы перестанут драться. Одна сторона должна перестать драться. Почему не перестать драться нам? Если они доберутся до Италии, они устанут и уйдут обратно. У них есть своя родина. Так нет же, непременно нужно воевать.

— Вы настоящий оратор.

— Мы думаем. Мы читаем. Мы не крестьяне. Мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят эту войну.

— Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда. Вот почему мы воюем.

— Эти люди еще наживаются на войне.

— Многие даже и не наживаются,— сказал Пассини.— Они слишком глупы. Они делают это просто так. Из глупости.

— Ну, хватит,— сказал Маньера.— Мы слишком разболтались, даже для tenente.

— Ему это нравится,— сказал Пассини.— Мы его обратим в свою веру.

— Но пока хватит,— сказал Маньера.

— Что ж, дадут нам поесть, tenente? — спросил Гавуцци.

— Сейчас я узнаю,— сказал я.

Гордини встал и вышел вместе со мной.

— Может, что-нибудь нужно сделать, tenente? Я вам ничем не могу помочь? — Он был самый тихий из всех четырех.

— Если хотите, идемте со мной,— сказал я,— узнаем, как там.

Было уже совсем темно, и длинные лучи прожекторов сновали над горами. На нашем фронте в ходу были огромные прожекторы, установленные на грузовиках, и порой, проезжая ночью близ самых позиций, можно было увидеть такой грузовик, остановившийся в стороне от дороги, офицера, направляющего свет, и перепуганную команду. Мы прошли заводским двором и остановились у главного перевязочного пункта. Снаружи над входом был небольшой навес из зеленых ветвей, и ночной ветер шуршал в темноте высохшими на солнце листьями. Внутри был свет. Главный врач, сидя на ящике, говорил по телефону. Один из врачей сказал мне, что атака на час отложена. Он предложил мне коньяку. Я оглядел длинные столы, инструменты, сверкающие при свете, тазы и бутыли с притертыми пробками. Гордини стоял за моей спиной. Главный врач отошел от телефона.

— Сейчас начинается,— сказал он.— Решили не откладывать.

Я выглянул наружу, было темно, и лучи австрийских прожекторов сновали над горами позади нас. С минуту было тихо, потом все орудия позади нас открыли огонь.

— Савойя,— сказал главный врач.

— А где обед? — спросил я. Он не слышал. Я повторил.

— Еще не подвезли.

Большой снаряд пролетел и разорвался на заводском дворе. Еще один разорвался, и в шуме разрыва можно было расслы-

шать более дробный шум от осколков кирпича и комьев грязи, дождем сыпавшихся вниз.

— Что-нибудь найдется перекусить?

— Есть немного pasta asciutta [1],— сказал главный врач.

— Давайте что есть.

Главный врач сказал что-то санитару, тот скрылся в глубине помещения и вынес оттуда металлический таз с холодными макаронами. Я передал его Гордини.

— Нет ли сыра?

Главный врач ворчливо сказал еще что-то санитару, тот снова нырнул вглубь и принес четверть круга белого сыра.

— Спасибо,— сказал я.

— Я вам не советую сейчас идти.

Что-то поставили на землю у входа снаружи. Один из санитаров, которые принесли это, заглянул внутрь.

— Давайте его сюда,— сказал главный врач.— Ну, в чем дело? Прикажете нам самим выйти и взять его?

Санитары подхватили раненого под руки и за ноги и внесли в помещение.

— Разрежьте рукав,— сказал главный врач.

Он держал пинцет с куском марли. Остальные два врача сняли шинели.

— Ступайте,— сказал главный врач санитарам.

— Идемте, tenente,— сказал Гордини.

— Подождите лучше, пока огонь прекратится,— не оборачиваясь, сказал главный врач.

— Люди голодны,— сказал я.

— Ну, как вам угодно.

Выйдя на заводской двор, мы пустились бежать. У самого берега разорвался снаряд. Другого мы не слышали, пока вдруг не ударило возле нас. Мы оба плашмя бросились на землю и в шуме и грохоте разрыва услышали жужжание осколков и стук падающих кирпичей. Гордини поднялся на ноги и побежал к блиндажу. Я бежал за ним, держа в руках сыр, весь в кирпичной пыли, облепившей его гладкую поверхность. В блиндаже три шофера по-прежнему сидели у стены и курили.

— Ну, вот вам, патриоты,— сказал я.

— Как там машины? — спросил Маньера.

— В порядке,— сказал я.

— Напугались, tenente?

— Есть грех,— сказал я.

Я вынул свой ножик, открыл его, вытер лезвие и соскоблил верхний слой сыра. Гавуцци протянул мне таз с макаронами.

---

[1] Блюдо из макарон *(ит.)*.

— Начинайте вы.

— Нет,— сказал я.— Поставьте на пол. Будем есть все вместе.

— Вилок нет.

— Ну и черт с ними,— сказал я по-английски.

Я разрезал сыр на куски и разложил на макаронах.

— Прошу,— сказал я.

Они придвинулись и ждали. Я погрузил пальцы в макароны и стал тащить. Потянулась клейкая масса.

— Повыше поднимайте, tenente.

Я поднял руку до уровня плеча, и макароны отстали. Я опустил их в рот, втянул и поймал губами концы, прожевал, потом взял кусочек сыру, прожевал и запил глотком вина. Вино отдавало ржавым металлом. Я передал флягу Пассини.

— Дрянь,— сказал я.— Слишком долго оставалось во фляге. Я вез ее с собой в машине.

Все четверо ели, наклоняя подбородки к самому тазу, откидывая назад головы, всасывая концы. Я еще раз набрал полный рот, и откусил сыру, и отпил вина. Снаружи что-то бухнуло, и земля затряслась.

— Четырехсотдвадцатимиллиметровое или миномет,— сказал Гавуцци.

— В горах такого калибра не бывает,— сказал я.

—У них есть орудия Шкода. Я видел воронки.

— Трехсотпятимиллиметровые.

Мы продолжали есть. Послышался кашель, шипение, как при пуске паровоза, и потом взрыв, от которого опять затряслась земля.

— Блиндаж не очень глубокий,— сказал Пассини.

— А вот это, должно быть, миномет.

— Точно.

Я надкусил свой ломоть сыру и глотнул вина. Среди продолжавшегося шума я уловил кашель, потом послышалось: чух-чух-чух-чух, потом что-то сверкнуло, точно настежь распахнули летку домны, и рев, сначала белый, потом все краснее, краснее, краснее в стремительном вихре. Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что вырвался из самого себя и лечу, и лечу, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мертв и что напрасно думают, будто умираешь, и все. Потом я поплыл по воздуху, но, вместо того чтобы подвигаться вперед, скользил назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя. Земля была разворочена, и у самой моей головы лежала расщепленная деревянная балка. Голова моя тряслась, и я вдруг услышал чей-то плач. Потом словно кто-то вскрикнул. Я хотел шевельнуться, но я не мог шевельнуться. Я слышал пулемет-

пую и ружейную стрельбу за рекой и по всей реке. Раздался громкий всплеск, и я увидел, как взвились осветительные снаряды, и разорвались, и залили все белым светом, и как взлетели ракеты, и услышал взрывы мин, и все это в одно мгновение, и потом я услышал, как совсем рядом кто-то сказал: «Mamma mia! [1] О mamma mia!» Я стал вытягиваться и извиваться и наконец высвободил ноги и перевернулся и дотронулся до него. Это был Пассини, и, когда я дотронулся до него, он вскрикнул. Он лежал ногами ко мне, и в коротких вспышках света мне было видно, что обе ноги у него раздроблены выше колен. Одну оторвало совсем, а другая висела на сухожилии и лохмотьях штанины, и обрубок корчился и дергался, словно сам по себе. Он закусил свою руку и стонал: «О mamma mia, mamma mia!» — и потом: «Dio te salve, Maria [2]. Dio te salve, Maria. О Иисус, дай мне умереть! Христос, дай мне умереть, mamma mia, mamma mia! Пречистая дева Мария, дай мне умереть. Не могу я. Не могу. Не могу. О Иисус, пречистая дева, не могу я. О-о-о-о!» Потом, задыхаясь: «Mamma, mamma mia!» Потом он затих, кусая свою руку, а обрубок все дергался.

— Portaferiti! [3] — закричал я, сложив руки воронкой.— Portaferiti! — Я хотел подползти к Пассини, чтобы наложить ему на ноги турникет, но я не мог сдвинуться с места. Я попытался еще раз, и мои ноги сдвинулись немного. Теперь я мог подтягиваться на локтях. Пассини не было слышно. Я сел рядом с ним, расстегнул свой френч и попытался оторвать подол рубашки. Ткань не поддавалась, и я надорвал край зубами. Тут я вспомнил об его обмотках. На мне были шерстяные носки, но Пассини ходил в обмотках. Все шоферы ходили в обмотках. Но у Пассини оставалась только одна нога. Я отыскал конец обмотки, но, разматывая, я увидел, что не стоит накладывать турникет, потому что он уже мертв. Я проверил и убедился, что он мертв. Нужно было выяснить, что с остальными тремя. Я сел, и в это время что-то качнулось у меня в голове, точно гирька от глаз куклы, и ударило меня изнутри по глазам. Ногам стало тепло и мокро, и башмаки стали теплые и мокрые внутри. Я понял, что ранен, и наклонился и положил руку на колено. Колена не было. Моя рука скользнула дальше, и колено было там, вывернутое на сторону. Я вытер руку о рубашку, и откуда-то снова стал медленно разливаться белый свет, и я посмотрел на свою ногу, и мне стало очень страшно. «Господи,— сказал я,— вызволи меня отсюда!» Но я знал, что должны быть еще трое. Шоферов было четверо.

---

[1] Мама моя! *(ит.)*
[2] Спаси тебя бог, Мария *(ит.)*.
[3] Носилки! *(ит.)*

Пассини убит. Остаются трое. Кто-то подхватил меня под мышки, и еще кто-то стал поднимать мои ноги.

— Должны быть еще трое,— сказал я.— Один убит.

— Это я, Маньера. Мы ходили за носилками, но не нашли. Как вы, tenente?

— Где Гордини и Гавуцци?

— Гордини на пункте, ему делают перевязку. Гавуцци держит ваши ноги. Возьмите меня за шею, tenente. Вы тяжело ранены?

— В ногу. А что с Гордини?

— Отделался пустяками. Это была мина. Снаряд из миномета.

— Пассини убит.

— Да. Убит.

Рядом разорвался снаряд, и они оба бросились на землю и уронили меня.

— Простите, tenente,— сказал Маньера.— Держитесь за мою шею.

— Вы меня опять уроните.

— Это с перепугу.

— Вы не ранены?

— Ранены оба, но легко.

— Гордини сможет вести машину?

— Едва ли.

Пока мы добрались до пункта, они уронили меня еще раз.

— Сволочи! — сказал я.

— Простите, tenente,— сказал Маньера.— Больше не будем.

В темноте у перевязочного пункта лежало на земле много раненых. Санитары входили и выходили с носилками. Когда они, проходя, приподнимали занавеску, мне виден был свет, горевший внутри. Мертвые были сложены в стороне. Врачи работали, до плеч засучив рукава, и были красны, как мясники. Носилок не хватало. Некоторые из раненых стонали, но большинство лежало тихо. Ветер шевелил листья в ветвях навеса над входом, и ночь становилась холодной. Все время подходили санитары, ставили носилки на землю, освобождали их и снова уходили. Как только мы добрались до пункта, Маньера привел фельдшера, и он наложил мне повязку на обе ноги. Он сказал, что потеря крови незначительна благодаря тому, что столько грязи набилось в рану. Как только можно будет, меня возьмут на операцию. Он вернулся в помещение пункта. Гордини вести машину не может, сказал Маньера. У него раздроблено плечо и разбита голова. Сгоряча он не почувствовал боли, но теперь плечо у него онемело. Он там сидит у кирпичной стены. Маньера и Гавуцци погрузили в свои машины раненых и уехали. Им ранение не мешало. Пришли три

английские машины с двумя санитарами на каждой. Ко мне подошел один из английских шоферов, его привел Гордини, который был очень бледен и совсем плох на вид. Шофер наклонился ко мне.

— Вы тяжело ранены? — спросил он. Это был человек высокого роста, в стальных очках.

— Обе ноги.

— Надеюсь, не серьезно. Хотите сигарету?

— Спасибо.

— Я слыхал, вы потеряли двух шоферов?

— Да. Один убит, другой — тот, что вас привел.

— Скверное дело. Может быть, нам взять их машины?

— Я как раз хотел просить вас об этом.

— Они у нас будут в порядке, а потом мы их вам вернем. Вы ведь из двести шестого?

— Да.

— Славное у вас там местечко. Я вас видел в городе. Мне сказали, что вы американец.

— Да.

— А я англичанин.

— Неужели?

— Да, англичанин. А вы думали — итальянец? У нас в одном отряде есть итальянцы.

— Очень хорошо, если вы возьмете наши машины,— сказал я.

— Мы вам возвратим их в полном порядке.— Он выпрямился.— Ваш шофер очень просил меня с вами сговориться.— Он похлопал Гордини по плечу. Гордини вздрогнул и улыбнулся. Англичанин легко и бегло заговорил по-итальянски:

— Ну, все улажено. Я сговорился с твоим tenente. Мы берем обе ваши машины. Теперь тебе не о чем тревожиться.— Он прервал себя.— Надо еще как-нибудь устроить, чтобы вас вытащили отсюда. Я сейчас поговорю с врачами. Мы возьмем вас с собой, когда поедем.

Он направился ко входу, осторожно ступая между ранеными. Я увидел, как приподнялось одеяло, которым занавешен был вход, стал виден свет, и он вошел туда.

— Он позаботится о вас, tenente,— сказал Гордини.

— Как вы себя чувствуете, Франко?

— Ничего.

Он сел рядом со мной. В это время одеяло, которым занавешен был вход на пункт, приподнялось, и оттуда вышли два санитара и с ними высокий англичанин. Он подвел их ко мне.

— Вот американский tenente,— сказал он по-итальянски.

— Я могу подождать,— сказал я.— Тут есть гораздо более тяжело раненные. Мне не так уж плохо.

— Ну, ну, ладно,— сказал он,— нечего разыгрывать героя.— Затем по-итальянски: — Поднимайте осторожно, особенно ноги. Ему очень больно. Это законный сын президента Вильсона.

Они подняли меня и внесли в помещение пункта. На всех столах оперировали. Маленький главный врач свирепо оглянулся на нас. Он узнал меня и помахал мне щипцами.

— Ça va bien? [1]

— Ça va [2].

— Это я его принес,— сказал высокий англичанин по-итальянски.— Единственный сын американского посла. Он полежит тут, пока вы сможете им заняться. А потом я первым же рейсом отвезу его.— Он наклонился ко мне.— Я посмотрю, чтобы вам выправили документы, тогда дело пойдет быстрее.— Он нагнулся, чтобы пройти в дверь, и вышел. Главный врач разнял щипцы и бросил их в таз. Я следил за его движениями. Теперь он накладывал повязку. Потом санитары сняли раненого со стола.

— Давайте мне американского tenente,— сказал один из врачей.

Меня подняли и положили на стол. Он был твердый и скользкий. Кругом было много крепких запахов, запахи лекарств и сладкий запах крови. С меня сняли брюки, и врач стал диктовать фельдшеру-ассистенту, продолжая работать:

— Множественные поверхностные ранения левого и правого бедра, левого и правого колена, правой ступни. Глубокие ранения правого колена и ступни. Рваные раны на голове (он вставил зонд: «Больно?» — «О-о-о, черт! Да!») с возможной трещиной черепной кости. Ранен на боевом посту.— Так вас, по крайней мере, не предадут военно-полевому суду за умышленное членовредительство,— сказал он.— Хотите глоток коньяку? Как это вас вообще угораздило? Захотелось покончить жизнь самоубийством? Дайте мне противостолбнячную сыворотку и пометьте на карточке крестом обе ноги. Так, спасибо. Сейчас я немножко вычищу, промою и сделаю вам перевязку. У вас прекрасно свертывается кровь.

Ассистент, поднимая глаза от карточки:

— Чем нанесены ранения?

Врач:

— Чем это вас?

Я, с закрытыми глазами:

— Миной.

---

[1] Ну как, ничего? *(фр.)*

[2] Ничего *(фр.)*.

Врач, делая что-то, причиняющее острую боль, и разрезая ткани:

— Вы уверены?

Я, стараясь лежать спокойно и чувствуя, как в животе у меня вздрагивает, когда скальпель врезается в тело:

— Кажется, так.

Врач, обнаружив что-то, заинтересовавшее его:

— Осколки неприятельской мины. Если хотите, я еще пройду зондом с этой стороны, но в этом нет надобности. Теперь я здесь смажу и... Что, жжет? Ну, это пустяки в сравнении с тем, что будет после. Боль еще не началась. Принесите ему стопку коньяку. Шок притупляет ощущение боли. Но все равно опасаться нам нечего, если только не будет заражения, а это теперь случается редко. Как ваша голова?

— О господи! — сказал я.

— Тогда лучше не пейте много коньяку. Если есть трещина, может начаться воспаление, а это ни к чему. Что, вот здесь — больно?

Меня бросило в пот.

— О господи! — сказал я.

— По-видимому, все-таки есть трещина. Я сейчас забинтую, а вы не вертите головой.

Он начал перевязывать. Руки его двигались очень быстро, и перевязка выходила тугая и крепкая.

— Ну вот, счастливый путь, и Vive la France! [1]

— Он американец,— сказал другой врач.

— А мне показалось, вы сказали: француз. Он говорит по-французски,— сказал врач.— Я его знал раньше. Я всегда думал, что он француз.— Он выпил полстопки коньяку.— Ну, давайте что-нибудь посерьезнее. И приготовьте еще противостолбнячной сыворотки.— Он помахал мне рукой. Меня подняли и понесли; одеяло, служившее занавеской, мазнуло меня по лицу. Фельдшер-ассистент стал возле меня на колени, когда меня уложили.

— Фамилия? — спросил он вполголоса.— Имя? Возраст? Чин? Место рождения? Какой части? Какого корпуса? — И так далее.— Неприятно, что у вас и голова задета, tenente. Но сейчас вам, вероятно, уже лучше. Я вас отправлю с английской санитарной машиной.

— Мне хорошо,— сказал я.— Очень вам благодарен.

Боль, о которой говорил врач, уже началась, и все происходящее вокруг потеряло смысл и значение. Немного погодя подъехала английская машина, меня положили на носилки, потом посилки подняли на уровень кузова и вдвинули внутрь. Рядом

[1] Да здравствует Франция! *(фр.)*

были еще носилки, и на них лежал человек, все лицо которого было забинтовано, только нос, совсем восковой, торчал из бинтов. Он тяжело дышал. Еще двое носилок подняли и просунули в ременные лямки наверху. Высокий шофер-англичанин подошел и заглянул в дверцу.

— Я поеду потихоньку,— сказал он.— Постараюсь не беспокоить вас.— Я чувствовал, как завели мотор, чувствовал, как шофер взобрался на переднее сиденье, чувствовал, как он выключил тормоз и дал скорость. Потом мы тронулись. Я лежал неподвижно и не сопротивлялся боли.

Когда начался подъем, машина сбавила скорость, порой она останавливалась, порой давала задний ход на повороте, наконец довольно быстро поехала в гору. Я почувствовал, как что-то стекает сверху. Сначала падали размеренные и редкие капли, потом полилось струйкой. Я окликнул шофера. Он остановил машину и обернулся к окошку.

— Что случилось?

— У раненого надо мной кровотечение.

— До перевала осталось совсем немного. Одному мне не вытащить носилок.

Машина тронулась снова. Струйка все лилась. В темноте я не мог разглядеть, в каком месте она просачивалась сквозь брезент. Я попытался отодвинуться в сторону, чтобы на меня не попадало. Там, где мне натекло за рубашку, было тепло и липко. Я озяб, и нога болела так сильно, что меня тошнило. Немного погодя струйка полилась медленнее, и потом снова стали стекать капли, и я услышал и почувствовал, как брезент носилок задвигался, словно человек там старался улечься удобнее.

— Ну, как там? — спросил англичанин, оглянувшись.— Мы уже почти доехали.

— Мне кажется, он умер,— сказал я.

Капли падали очень медленно, как стекает вода с сосульки после захода солнца. Было холодно ночью в машине, поднимавшейся в гору. На посту санитары вытащили носилки и заменили другими, и мы поехали дальше.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В палате полевого госпиталя мне сказали, что после обеда ко мне придет посетитель. День был жаркий, и в комнате было много мух. Мой вестовой нарезал бумажных полос и, привязав их к палке в виде метелки, махал, отгоняя мух. Я смотрел, как они садились на потолок. Когда он перестал махать и заснул, они все сле-

тели вниз, и я сдувал их и в конце концов закрыл лицо руками и тоже заснул. Было очень жарко, и когда я проснулся, у меня зудило в ногах. Я разбудил вестового, и он полил мне на повязки минеральной воды. От этого постель стала сырой и прохладной. Те из нас, кто не спал, переговаривались через всю палату. Время после обеда было самое спокойное. Утром три санитара и врач подходили к каждой койке по очереди, поднимали лежавшего на ней и уносили в перевязочную, чтобы можно было оправить постель, пока ему делали перевязку. Путешествие в перевязочную было не особенно приятно, но я тогда не знал, что можно оправить постель, не поднимая человека. Мой вестовой вылил всю воду, и постель стала прохладная и приятная, и я как раз говорил ему, в каком месте почесать мне подошвы, чтобы унять зуд, когда один из врачей привел в палату Ринальди. Он вошел очень быстро и наклонился над койкой и поцеловал меня. Я заметил, что он в перчатках.

— Ну, как дела, бэби? Как вы себя чувствуете? Вот вам...— Он держал в руках бутылку коньяку. Вестовой принес ему стул, и он сел.— И еще приятная новость. Вы представлены к награде. Рассчитывайте на серебряную медаль, но, может быть, выйдет только бронзовая.

— За что?

— Ведь вы серьезно ранены. Говорят так: если вы докажете, что совершили подвиг, получите серебряную. А не то будет бронзовая. Расскажите мне подробно, как было дело. Совершили подвиг?

— Нет,— сказал я.— Когда разорвалась мина, я ел сыр.

— Не дурите. Не может быть, чтобы вы не совершили какого-нибудь подвига или до того, или после. Припомните хорошенько.

— Ничего не совершал.

— Никого не переносили на плечах, уже будучи раненным? Гордини говорит, что вы перенесли на плечах несколько человек, но главный врач первого поста заявил, что это невозможно. А подписать представление к награде должен он.

— Никого я не носил. Я не мог шевельнуться.

— Это не важно,— сказал Ринальди.

Он снял перчатки.

— Все-таки мы, пожалуй, добьемся серебряной. Может быть, вы отказались принять медицинскую помощь раньше других?

— Не слишком решительно.

— Это не важно. А ваше ранение? А мужество, которое вы проявили,— ведь вы же все время просились на передний край. К тому же операция закончилась успешно.

— Значит, реку удалось форсировать?

— Еще как удалось! Захвачено около тысячи пленных. Так сказано в сводке. Вы ее не видели?

— Нет.

— Я вам принесу. Это блестящий coup de main [1].

— Ну, а как там у вас?

— Великолепно. Все обстоит великолепно. Все гордятся вами. Расскажите же мне, как было дело? Я уверен, что вы получите серебряную. Ну, говорите. Рассказывайте все по порядку.— Он помолчал, раздумывая.— Может быть, вы еще и английскую медаль получите. Там был один англичанин. Я его повидаю, спрошу, не согласится ли он поговорить о вас. Что-нибудь он, наверно, сумеет сделать. Болит сильно? Выпейте. Вестовой, сходите за штопором. Посмотрели бы вы, как я удалил одному пациенту три метра тонких кишок. Об этом стоит написать в «Ланцет». Вы мне переведете, и я пошлю в «Ланцет». Я совершенствуюсь с каждым днем. Бедный мой бэби, а как ваше самочувствие? Где же этот чертов штопор? Вы такой терпеливый и тихий, что я забываю о вашей ране.— Он хлопнул перчатками по краю кровати.

— Вот штопор, signor tenente,— сказал вестовой.

— Откупорьте бутылку. Принесите стакан. Выпейте, бэби. Как ваша голова? Я смотрел историю болезни. Трещины нет. Этот врач первого поста просто коновал. Я бы сделал все так, что вы бы и боли не почувствовали. У меня никто не чувствует боли. Уж так я работаю. С каждым днем я работаю все легче и лучше. Вы меня простите, бэби, что я так много болтаю. Я очень расстроен, что ваша рана серьезна. Ну, пейте. Хороший коньяк. Пятнадцать лир бутылка. Должен быть хороший. Пять звездочек. Прямо отсюда я пойду к этому англичанину, и он вам выхлопочет английскую медаль.

— Ее не так легко получить.

— Вы слишком скромны. Я пошлю офицера связи. Он умеет обращаться с англичанами.

— Вы не видели мисс Баркли?

— Я ее приведу сюда. Я сейчас же пойду и приведу ее сюда.

— Не уходите,— сказал я.— Расскажите мне о Горнции. Как девочки?

— Нет девочек. Уже две недели их не сменяли. Я больше туда и не хожу. Просто безобразие! Это уже не девочки, это старые боевые товарищи.

— Совсем не ходите?

— Только заглядываю иногда узнать, что нового. Так, мимо-

[1] Выпад, удар *(фр.)*.

ходом! Они все спрашивают про вас. Просто безобразие! Держат их так долго, что мы становимся друзьями.

— Может быть, нет больше желающих ехать на фронт?

— Не может быть. Девочек сколько угодно. Просто скверная организация. Придерживают их для тыловых героев.

— Бедный Ринальди! — сказал я.— Один-одинешенек на войне, и нет ему даже новых девочек.

Ринальди налил и себе коньяку.

— Это вам не повредит, бэби. Пейте.

Я выпил коньяк и почувствовал, как по всему телу разливается тепло. Ринальди налил еще стакан. Он немного успокоился. Он поднял свой стакан.

— За ваши доблестные раны! За серебряную медаль! Скажите-ка, бэби, все время лежать в такую жару — это вам не действует на нервы?

— Иногда.

— Я такого даже представить не могу. Я б с ума сошел.

— Вы и так сумасшедший.

— Хоть бы вы поскорее приехали. Не с кем возвращаться домой после ночных похождений. Некого дразнить. Не у кого занять денег. Нет моего сожителя и названого брата. И зачем вам понадобилась эта рана?

— Вы можете дразнить священника.

— Уж этот священник! Вовсе не я его дразню. Дразнит капитан. А мне он нравится. Если вам попадобится священник, берите нашего. Он собирается навестить вас. Готовится к этому заблаговременно.

— Я его очень люблю.

— Это я знаю. Мне даже кажется иногда, что вы с ним немножко то самое. Ну, вы знаете.

— Ничего вам не кажется.

— Нет, иногда кажется.

— Да ну вас к черту!

Он встал и надел перчатки.

— До чего ж я люблю вас изводить, бэби. А ведь, несмотря на вашего священника и вашу англичанку, вы такой же, как и я, в душе.

— Ничего подобного.

— Конечно, такой же. Вы настоящий итальянец. Весь — огонь и дым, а внутри ничего нет. Вы только прикидываетесь американцем. Мы с вами братья и любим друг друга.

— Ну, будьте паинькой, пока меня нет,— сказал я.

— Я к вам пришлю мисс Баркли. Без меня вам с ней лучше. Вы чище и нежнее.

— Ну вас к черту!

— Я ее пришлю. Вашу прекрасную холодную богиню. Английскую богиню. Господи, да что еще делать с такой женщиной, если не поклоняться ей? На что еще может годиться англичанка?

— Вы просто невежественный брехливый даго.

— Кто?

— Невежественный макаронник.

— Макаронник. Сами вы макаронник... с мороженой рожей.

— Невежественный. Тупой.— Я видел, что это слово кольнуло его, и продолжал: — Некультурный. Безграмотный. Безграмотный тупица.

— Ах, так? Я вот вам кое-что скажу о ваших невинных девушках. О ваших богинях. Между невинной девушкой и женщиной разница только одна. Когда берешь девушку, ей больно. Вот и все.— Он хлопнул перчаткой по кровати.— И еще с девушкой никогда не знаешь, как это ей понравится.

— Не злитесь.

— Я не злюсь. Я просто говорю вам это, бэби, для вашей же пользы. Чтобы избавить вас от лишних хлопот.

— В этом вся разница?

— Да. Но миллионы таких дураков, как вы, этого не знают.

— Очень мило с вашей стороны, что вы мне сказали.

— Не стоит ссориться, бэби. Я вас слишком люблю. Но не будьте дураком.

— Нет. Я буду таким умным, как вы.

— Не злитесь, бэби. Засмейтесь. Выпейте еще. Мне пора идти.

— Вы все-таки славный малый.

— Вот видите. В душе вы такой же, как я. Мы — братья по войне. Поцелуйте меня на прощанье.

— Вы слюнтяй.

— Нет. Просто я более чуткий.

Я почувствовал его дыхание у своего лица.

— До свидания. Я скоро к вам еще приду.— Его дыхание отодвинулось.— Не хотите целоваться, не надо. Я к вам пришлю вашу англичанку. До свидания, бэби. Коньяк под кроватью. Поправляйтесь скорее.

Он исчез.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уже смеркалось, когда вошел священник. Принесли суп, потом убрали тарелки, и я лежал, глядя на ряды коек и на верхушку дерева за окном, слегка качающуюся от легкого вечернего ветра. Ветер проникал в окно, и с приближением ночи стало прохладнее. Мухи облепили теперь потолок и висевшие на шнурах

электрические лампочки. Свет зажигали, только если ночью приносили раненого или когда что-нибудь делали в палате. Оттого что после сумерек сразу наступала темнота и уже до утра было темно, мне казалось, что я опять стал маленьким. Похоже было, как будто сейчас же после ужина тебя укладывают спать. Вестовой прошел между койками и остановился. С ним был еще кто-то. Это был священник. Он стоял передо мной, смуглый, невысокий и смущенный.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он. На полу у постели он положил какие-то свертки.

— Хорошо, отец мой.

Он сел на стул, принесенный для Ринальди, и смущенно поглядел в окно. Я заметил, что у него очень усталый вид.

— Я только на минутку,— сказал он.— Уже поздно.

— Еще не поздно. Как там у нас?

Он улыбнулся.

— Потешаются надо мной по-прежнему.— Голос у него тоже звучал устало.— Все, слава богу, здоровы. Я так рад, что у вас все обошлось,— сказал он.— Вам не очень больно?

Он казался очень усталым, а я не привык видеть его усталым.

— Теперь уже нет.

— Мне очень скучно без вас за столом.

— Я и сам хотел бы вернуться поскорее. Мне всегда приятно было беседовать с вами.

— Я вам тут кое-что принес,— сказал он. Он поднял с пола свертки.— Вот сетка от москитов. Вот бутылка вермута. Вы любите вермут? Вот английские газеты.

— Пожалуйста, разверните их.

Он обрадовался и стал вскрывать бандероли. Я взял в руки сетку от москитов. Вермут он приподнял, чтобы показать мне, а потом поставил опять на стол у постели. Я взял одну газету из пачки. Мне удалось прочитать заголовок, повернув газету так, чтобы на нее падал слабый свет из окна. Это была «Ньюс оф уорлд».

— Остальное — иллюстрированные листки,— сказал он.

— С большим удовольствием прочитаю их. Откуда они у вас?

— Я посылал за ними в Местре. Я достану еще.

— Вы очень добры, что навестили меня, отец мой. Выпьете стакан вермута?

— Спасибо, не стоит. Это вам.

— Нет, выпейте стаканчик.

— Ну, хорошо. В следующий раз я вам принесу еще.

Вестовой принес стаканы и откупорил бутылку. Пробка раскрошилась, и пришлось протолкнуть кусочек в бутылку. Я видел, что священника это огорчило, но он сказал:

— Ну, ничего. Не важно.

— За ваше здоровье, отец мой.

— За ваше здоровье.

Потом он держал стакан в руке, и мы глядели друг на друга. Время от времени мы пытались завести дружеский разговор, но это сегодня как-то не удавалось.

— Что с вами, отец мой? У вас очень усталый вид.

— Я устал, но я не имею на это права.

— Это от жары.

— Нет. Ведь еще только весна. На душе у меня тяжело.

— Вам опротивела война?

— Нет. Но я ненавижу войну.

— Я тоже не нахожу в ней удовольствия,— сказал я.

Он покачал головой и посмотрел в окно.

— Вам она не мешает. Вам она не видна. Простите. Я знаю, вы ранены.

— Это случайность.

— И все-таки, даже раненный, вы не видите ее. Я убежден в этом. Я сам не вижу ее, но я ее чувствую немного.

— Когда меня ранило, мы как раз говорили о войне. Пассини говорил.

Священник поставил стакан. Он думал о чем-то другом.

— Я их понимаю, потому что я сам такой, как они,— сказал он.

— Но вы совсем другой.

— А на самом деле я такой же, как они.

— Офицеры ничего не видят.

— Не все. Есть очень чуткие, им еще хуже, чем нам.

— Таких немного.

— Здесь дело не в образовании и не в деньгах. Здесь что-то другое. Такие люди, как Пассини, даже имея образование и деньги, не захотели бы быть офицерами. Я бы не хотел быть офицером.

— По чину вы все равно что офицер. И я офицер.

— Нет, это не все равно. А вы даже не итальянец. Вы иностранный подданный. Но вы ближе к офицерам, чем к рядовым.

— В чем же разница?

— Мне трудно объяснить. Есть люди, которые хотят воевать. В нашей стране много таких. Есть другие люди, которые не хотят воевать.

— Но первые заставляют их.

— Да.

— А я помогаю этому.

— Вы иностранец. Вы патриот.

— А те, что не хотят воевать? Могут они помешать войне?

— Не знаю.

Он снова посмотрел в окно. Я следил за выражением его лица.

— Разве они когда-нибудь могли помешать?

— Они не организованы и поэтому не могут помешать ничему, а когда они организуются, их вожди предают их.

— Значит, это безнадежно?

— Нет, ничего безнадежного. Но бывает, что я не могу надеяться. Я всегда стараюсь надеяться, но бывает, что не могу.

— Но война кончится же когда-нибудь?

— Надеюсь.

— Что вы тогда будете делать?

— Если можно будет, вернусь в Абруццы.

Его смуглое лицо вдруг осветилось радостью.

— Вы любите Абруццы?

— Да, очень люблю.

— Вот и поезжайте туда.

— Это было бы большое счастье. Жить там и любить бога и служить ему.

— И пользоваться уважением,— сказал я.

— Да, и пользоваться уважением. А что?

— Ничего. У вас для этого есть все основания.

— Не в том дело. Там, на моей родине, считается естественным, что человек может любить бога. Это не гнусная комедия.

— Понимаю.

Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Вы понимаете, но вы не любите бога.

— Нет.

— Совсем не любите? — спросил он.

— Иногда по ночам я боюсь его.

— Лучше бы вы любили его.

— Я мало кого люблю.

— Нет,— сказал он.— Неправда. Те ночи, о которых вы мне рассказывали. Это не любовь. Это только похоть и страсть. Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать собой. Хочется служить.

— Я никого не люблю.

— Вы полюбите. Я знаю, что полюбите. И тогда вы будете счастливы.

— Я и так счастлив. Всегда счастлив.

— Это совсем другое. Вы не можете понять, что это, пока не испытаете.

— Хорошо,— сказал я,— если когда-нибудь я пойму, я скажу вам.

— Я слишком долго сижу с вами и слишком много болтаю.— Он искренне забеспокоился.

— Нет. Не уходите. А любовь к женщине? Если б я в самом деле полюбил женщину, тоже было бы так?

— Этого я не знаю. Я не любил ни одной женщины.

— А свою мать?

— Да, мать я, вероятно, любил.

— Вы всегда любили бога?

— С самого детства.

— Так,— сказал я. Я не знал, что сказать.— Вы совсем еще молоды.

— Я молод,— сказал он.— Но вы зовете меня отцом.

— Это из вежливости.

Он улыбнулся.

— Правда, мне пора идти,— сказал он.— Вам от меня ничего не нужно? — спросил он с надеждой.

— Нет. Только разговаривать с вами.

— Я передам от вас привет всем нашим.

— Спасибо за подарки.

— Не стоит.

— Приходите еще навестить меня.

— Приду. До свидания.— Он потрепал меня по руке.

— Прощайте,— сказал я на диалекте.

— Ciao,— повторил он.

В комнате было темно, и вестовой, который все время сидел в ногах постели, встал и пошел его проводить. Священник мне очень нравился, и я желал ему когда-нибудь возвратиться в Абруццы. В офицерской столовой ему отравляли жизнь, и он очень мило сносил это, но я думал о том, какой он у себя на родине. В Капракотта, рассказывал он, в речке под самым городом водится форель. Запрещено играть на флейте по ночам. Молодые люди поют серенады, и только играть на флейте запрещено. Я спросил — почему. Потому что девушкам вредно слушать флейту по ночам. Крестьяне зовут вас «дон» и снимают при встрече шляпу. Его отец каждый день охотится и заходит поесть в крестьянские хижины. Там это за честь считают. Иностранцу, чтобы получить разрешение на охоту, надо представить свидетельство, что он никогда не подвергался аресту. На Гран-Сассо д'Италиа водятся медведи, но это очень далеко. Аквила — красивый город. Летом по вечерам прохладно, а весна в Абруццах самая прекрасная во всей Италии. Но лучше всего осень, когда можно охотиться в каштановых рощах. Дичь очень хороша, потому что питается виноградом. И завтрака с собой никогда не нужно брать, крестьяне считают за честь, если поешь у них в доме вместе с ними. Немного погодя я заснул.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Палата была длинная, с окнами по правой стене и дверью в углу, которая вела в перевязочную. Один ряд коек, где была и моя, стоял вдоль стены, напротив окон, а другой — под окнами, напротив стены. Лежа на левом боку, я видел дверь перевязочной. В глубине была еще одна дверь, в которую иногда входили люди. Когда у кого-нибудь начиналась агония, его койку загораживали ширмой так, чтобы никто не видел, как он умирает, и только башмаки и обмотки врачей и санитаров видны были из-под ширмы, а иногда под конец слышался шепот. Потом из-за ширмы выходил священник, и тогда санитары снова заходили за ширму и выносили оттуда умершего, с головой накрытого одеялом, и несли его вдоль прохода между койками, и кто-нибудь складывал ширму и убирал ее.

В это утро палатный врач спросил меня, чувствую ли я себя в силах завтра выехать. Я сказал, что да. Он сказал, что в таком случае меня отправят рано утром. Для меня лучше, сказал он, совершить переезд теперь, пока еще не слишком жарко.

Когда поднимали с койки, чтобы нести в перевязочную, можно было посмотреть в окно и увидеть новые могилы в саду. Там, у двери, выходящей в сад, сидел солдат, который мастерил кресты и писал на них имена, чины и названия полка тех, кто был похоронен в саду. Он также выполнял поручения раненых и в свободное время сделал мне зажигалку из пустого патрона от австрийской винтовки. Врачи были очень милые и казались очень опытными. Им непременно хотелось отправить меня в Милан. Нас торопились всех выписать и отправить в тыл, чтобы освободить все койки к началу наступления.

Вечером, накануне моего отъезда из полевого госпиталя, пришел Ринальди и с ним наш главный врач. Они сказали, что меня отправляют в Милан, в американский госпиталь, который только что открылся. Ожидалось прибытие из Америки нескольких санитарных отрядов, и этот госпиталь должен был обслуживать их и всех других американцев в итальянской армии. В Красном Кресте их было много. Соединенные Штаты объявили войну Германии, но не Австрии.

Итальянцы были уверены, что Америка объявит войну и Австрии, и поэтому они очень радовались приезду американцев, хотя бы просто служащих Красного Креста. Меня спросили, как я думаю, объявит ли президент Вильсон войну Австрии, и я сказал, что это вопрос дней. Я не знал, что мы имеем против Австрии, но казалось логичным, что раз объявили войну Германии, значит,

объявят и Австрии. Меня спросили, объявим ли мы войну Турции. Я сказал: да, вероятно, мы объявим войну Турции. А Болгарии? Мы уже выпили несколько стаканов коньяку, и я сказал: да, черт побери, и Болгарии тоже и Японии. Как же так, сказали они, ведь Япония союзница Англии. Все равно, этим гадам англичанам доверять нельзя. Японцы хотят Гавайские острова, сказал я. А где это Гавайские острова? В Тихом океане. А почему японцы их хотят? Да они их и не хотят вовсе, сказал я. Это все одни разговоры. Японцы прелестный маленький народ, любят танцы и легкое вино. Совсем как французы, сказал майор. Мы отнимем у французов Ниццу и Савойю. И Корсику отнимем, и Адриатическое побережье, сказал Ринальди. К Италии возвратится величие Рима, сказал майор. Мне не нравится Рим, сказал я. Там жарко и полно блох. Вам не нравится Рим? Нет, я люблю Рим. Рим — мать народов. Никогда не забуду, как Ромул сосал Тибр. Что? Ничего. Поедемте все в Рим. Поедемте в Рим сегодня вечером и больше не вернемся. Рим — прекрасный город, сказал майор. Отец и мать народов, сказал я. Roma женского рода, сказал Ринальди. Roma не может быть отцом. А кто же тогда отец? Святой дух? Не богохульствуйте. Я не богохульствую, я прошу разъяснения. Вы пьяны, бэби. Кто меня напоил? Я вас напоил, сказал майор. Я вас напоил, потому что люблю вас и потому что Америка вступила в войну. Дальше некуда, сказал я. Вы утром уезжаете, бэби, сказал Ринальди. В Рим, сказал я. Нет, в Милан, сказал майор, в «Кристаль-Палас», в «Кова», к Кампари, к Биффи, в Galleria. Счастливчик. В «Гран-Италиа», сказал я, где я возьму взаймы у Жоржа. В «Ла Скала», сказал Ринальди. Вы будете ходить в «Ла Скала». Каждый вечер, сказал я. Вам будет не по карману каждый вечер, сказал майор. Билеты очень дороги. Я выпишу предъявительский чек на своего дедушку, сказал я. Какой чек? Предъявительский. Он должен уплатить, или меня посадят в тюрьму. Мистер Кэнингэм в банке устроит мне это. Я живу предъявительскими чеками. Неужели дедушка отправит в тюрьму патриота-внука, который умирает за спасение Италии? Да здравствует американский Гарибальди, сказал Ринальди. Да здравствуют предъявительские чеки, сказал я. Не надо шуметь, сказал майор. Нас уже несколько раз просили не шуметь. Так вы правда завтра едете, Федерико? Я же вам говорил, он едет в американский госпиталь, сказал Ринальди. К красоткам сестрам. Не то что бородатые сиделки полевого госпиталя. Да, да, сказал майор, я знаю, что он едет в американский госпиталь. Мне не мешают бороды, сказал я. Если кто хочет отпустить бороду — на здоровье. Отчего бы вам не отпустить бороду, signor maggiore? Она не влезет в противогаз. Влезет. В противогаз все влезет. Я раз наблевал в противогаз. Не так громко, бэби, сказал Ринальди. Мы

все знаем, что вы были на фронте. Ах вы, милый бэби, что я буду делать, когда вы уедете? Нам пора, сказал майор. А то начинаются сантименты. Слушайте, у меня для вас есть сюрприз. Ваша англичанка. Знаете? Та, к которой вы каждый вечер ходили в английский госпиталь? Она тоже едет в Милан. Она и еще одна сестра едут на службу в американский госпиталь. Из Америки еще не прибыли сестры. Я сегодня говорил с начальником их riparto [1]. У них слишком много женщин здесь, на фронте. Решили отправить часть в тыл. Как это вам нравится, бэби? Ничего? А? Будете жить в большом городе и любезничать со своей англичанкой. Почему я не ранен? Еще успеете, сказал я. Нам пора, сказал майор. Мы пьем и шумим и беспокоим Федерико. Не уходите. Нет, нам пора. До свидания. Счастливый путь. Всего хорошего. Ciao. Ciao. Ciao. Поскорее возвращайтесь, бэби. Ринальди поцеловал меня. От вас пахнет лизолом. До свидания, бэби. До свидания. Всего хорошего. Майор похлопал меня по плечу. Они вышли на цыпочках. Я чувствовал, что совершенно пьян, но заснул.

На следующее утро мы выехали в Милан и ровно через двое суток прибыли на место. Ехать было скверно. Мы долго стояли на запасном пути, не доезжая Местре, и ребятишки подходили и заглядывали в окна. Я уговорил одного мальчика сходить за бутылкой коньяку, но он вернулся и сказал, что есть только граппа. Я велел ему взять граппу, и когда он принес бутылку, я сказал, чтобы сдачу он оставил себе, и мой сосед и я напились пьяными и проспали до самой Виченцы, где я проснулся, и меня вырвало прямо на пол. Это не имело значения, потому что моего соседа несколько раз вырвало на пол еще раньше. Потом я думал, что умру от жажды, и на остановке в Вероне я окликнул солдата, который прохаживался взад и вперед у поезда, и он принес мне воды. Я разбудил Жоржетти, соседа, который напился вместе со мной, и предложил ему воды. Он сказал, чтобы я ее вылил ему на голову, и снова заснул. Солдат не хотел брать монету, которую я предложил ему за труды, и принес мне мясистый апельсин. Я сосал и выплевывал кожицу и смотрел, как солдат ходит взад и вперед у товарного вагона на соседнем пути, и немного погодя поезд дернул и тронулся.

[1] Отряд *(ит.)*.



«Фиеста» («И восходит солнце»)



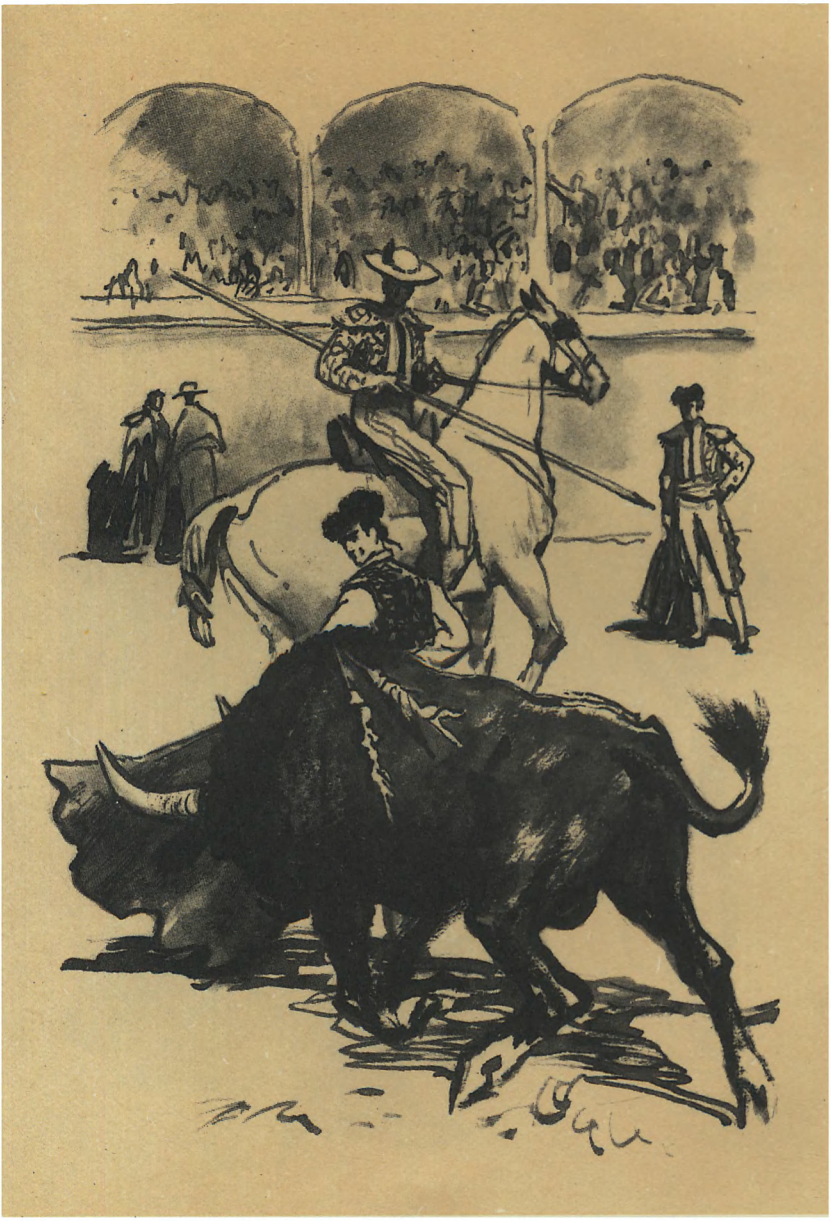
«Фиеста» («И восходит солнце»)



«Фиеста» («И восходит солнце»)



«Фиеста» («И восходит солнце»)



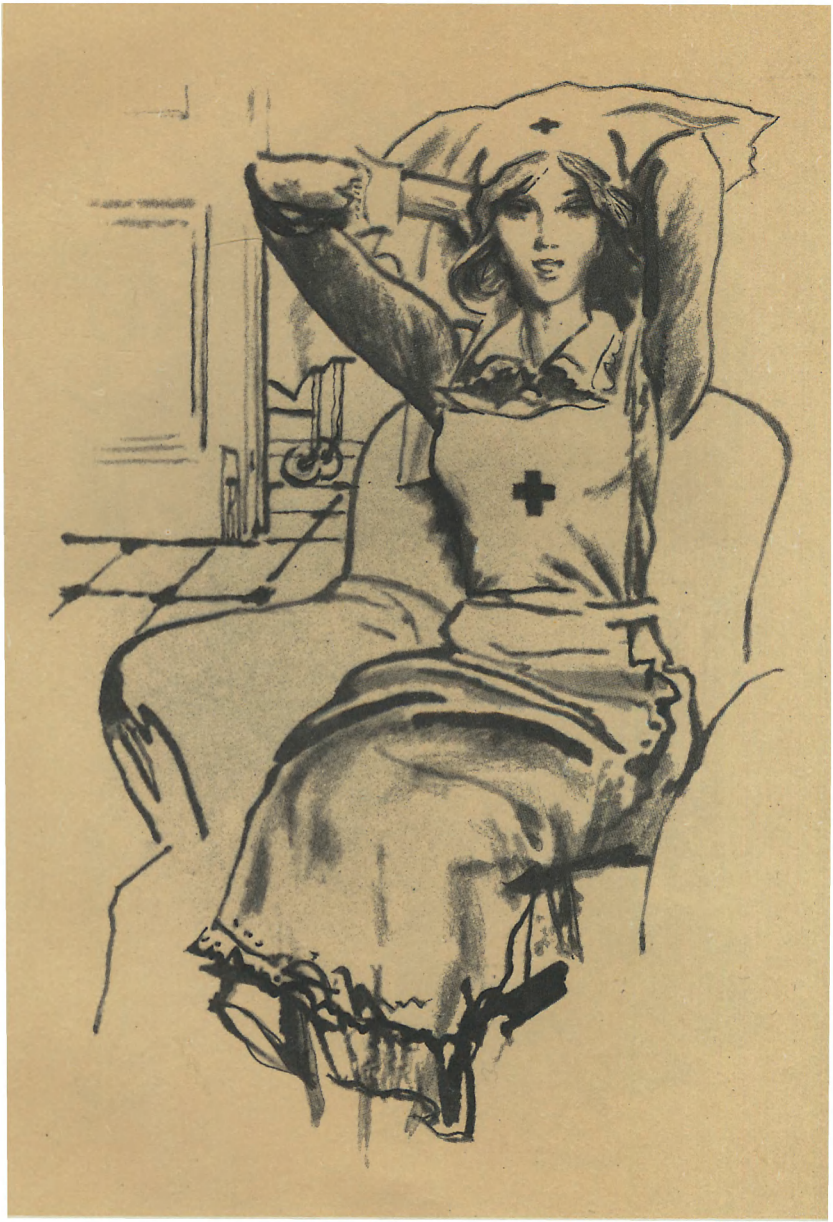
«Фиеста» («И восходит солнце»)



«Прощай, оружие!»



«Прощай, оружие!»



«Прощай, оружие!»

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мы приехали в Милан рано утром, и нас выгрузили на товарной станции. Санитарный автомобиль повез меня в американский госпиталь. Лежа в автомобиле на носилках, я не мог определить, какими улицами мы едем, но, когда носилки вытащили, я увидел рыночную площадь и распахнутую дверь закусочной, откуда девушка выметала сор. Улицу поливали, и пахло ранним утром. Санитары поставили носилки на землю и вошли в дом. Потом они вернулись вместе со швейцаром. Швейцар был седоусый, в фуражке с галунами, но без ливреи. Носилки не умещались в кабине лифта, и они заспорили, что лучше: снять ли меня с носилок и поднять на лифте или нести на носилках по лестнице. Я слушал их спор. Они порешили — на лифте. Меня стали поднимать с носилок.

— Легче, легче,— сказал я.— Осторожнее.

В кабине было тесно, и, когда мои ноги согнулись, мне стало очень больно.

— Выпрямите мои ноги,— сказал я.

— Нельзя, signor tenente. Не хватает места.

Человек, сказавший это, поддерживал меня одной рукой, а я его обхватил за шею. Его дыхание обдало меня металлическим запахом чеснока и красного вина.

— Ты потише,— сказал другой санитар.

— А что я, не тихо, что ли?

— Потише, говорят тебе,— повторил другой, тот, что держал мои ноги.

Я увидел, как затворились двери кабины, захлопнулась решетка, и швейцар надавил кнопку четвертого этажа. У швейцара был озабоченный вид. Лифт медленно пошел вверх.

— Тяжело? — спросил я человека, от которого пахло чесноком.

— Ничего,— сказал он. На лице у него выступил пот, и он кряхтел. Лифт поднимался все выше и наконец остановился. Человек, который держал мои ноги, отворил дверь и вышел. Мы очутились на площадке. На площадку выходило несколько дверей с медными ручками. Человек, который держал мои ноги, нажал кнопку. Мы услышали, как за дверью затрещал звонок. Никто не отозвался. Потом по лестнице поднялся швейцар.

— Где они все? — спросили санитары.

— Не знаю,— сказал швейцар.— Они спят внизу.

— Позовите кого-нибудь.

Швейцар позвонил, потом постучался, потом отворил дверь и вошел. Когда он вернулся, за ним шла пожилая женщина в очках. Волосы ее были растрепаны, и прическа разваливалась, она была в форме сестры милосердия.

— Я не понимаю,— сказала она.— Я не понимаю по-итальянски.

— Я говорю по-английски,— сказал я.— Нужно устроить меня куда-нибудь.

— Ни одна палата не готова. Мы еще никого не ждали.

Она старалась подобрать волосы и близоруко щурилась на меня.

— Покажите, куда меня положить.

— Не знаю,— сказала она.— Мы никого не ждали. Я не могу положить вас куда попало.

— Все равно куда,— сказал я. Затем швейцару по-итальянски: — Найдите свободную комнату.

— Они все свободны,— сказал швейцар.— Вы здесь первый раненый.— Он держал фуражку в руке и смотрел на пожилую сестру.

— Да положите вы меня куда-нибудь, ради бога! — Боль в согнутых ногах все усиливалась, и я чувствовал, как она насквозь пронизывает кость. Швейцар скрылся за дверью вместе с седой сестрой и быстро вернулся.

— Идите за мной,— сказал он.

Меня понесли длинным коридором и внесли в комнату со спущенными шторами. В ней пахло новой мебелью. У стены стояла кровать, в углу — большой зеркальный шкаф. Меня положили на кровать.

— Я не могу дать простынь,— сказала женщина,— простыни все заперты.

Я не стал разговаривать с ней.

— У меня в кармане деньги,— сказал я швейцару.— В том, который застегнут на пуговицу.

Швейцар достал деньги. Оба санитара стояли у постели с шапками в руках.

— Дайте им обоим по пять лир и пять лир возьмите себе. Мои бумаги в другом кармане. Можете отдать их сестре.

Санитары взяли под козырек и сказали спасибо.

— До свидания,— сказал я.— Вам тоже большое спасибо.

Они еще раз взяли под козырек и вышли.

— Вот,— сказал я сестре,— это моя карточка и история болезни.

Женщина взяла бумаги и посмотрела на них сквозь очки. Бумаг было три, и они были сложены.

— Я не знаю, что делать,— сказала она.— Я не умею читать по-итальянски. Я ничего не могу сделать без распоряжения врача.— Она расплакалась и сунула бумаги в карман передника.— Вы американец? — спросила она сквозь слезы.

— Да. Положите, пожалуйста, бумаги на столик у кровати.

В комнате было полутемно и прохладно. С кровати мне было видно большое зеркало в шкафу, но не было видно, что в нем отражалось. Швейцар стоял в ногах кровати. У него было славное лицо, и он казался мне добрым.

— Вы можете идти,— сказал я ему.— И вы тоже,— сказал я сестре.— Как вас зовут?

— Миссис Уокер.

— Идите, миссис Уокер. Я попытаюсь уснуть.

Я остался один в комнате. В ней было прохладно и не пахло больницей. Матрац был тугой и удобный, и я лежал не двигаясь, почти не дыша, радуясь, что боль утихает. Немного погодя мне захотелось пить, и я нашел у изголовья грушу звонка и позвонил, но никто не явился. Я заснул.

Проснувшись, я огляделся по сторонам. Сквозь ставни проникал солнечный свет. Я увидел большой гардероб, голые стены и два стула. Мои ноги в грязных бинтах, как палки, торчали на кровати. Я старался не шевелить ими. Мне хотелось пить, и я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как отворилась дверь, и оглянулся, и увидел сестру, не вчерашнюю, а другую. Она показалась мне молодой и хорошенькой.

— Доброе утро,— сказал я.

— Доброе утро,— сказала она и подошла к кровати.— Нам не удалось вызвать доктора. Он уехал на Комо. Мы не знали, что сегодня привезут кого-нибудь. А что у вас?

— Я ранен. Оба колена и ступни, и голова тоже задета.

— Как вас зовут?

— Генри, Фредерик Генри.

— Я сейчас вас умою. Но повязок мы не можем трогать до прихода доктора.

— Скажите, мисс Баркли здесь?

— Нет. У нас такой нет.

— Что это за женщина, которая плакала, когда меня привезли?

Сестра рассмеялась.

— Это миссис Уокер. Она дежурила ночью и заснула. Она не думала, что кого-нибудь привезут.

Разговаривая, она раздевала меня, и когда сняла все, кроме повязок, то стала меня умывать, очень легко и ловко. Умывание меня очень освежило. Голова моя была забинтована, но она обмыла везде вокруг бинта.

— Где вы получили ранение?
— На Изонцо, к северу от Плавы.
— Где это?
— К северу от Гориции.
Я видел, что все эти названия ничего не говорят ей.
— Вам очень больно?
Она вложила мне градусник в рот.
— Итальянцы ставят под мышку,— сказал я.
— Не разговаривайте.
Вынув градусник, она посмотрела температуру и сейчас же стряхнула.
— Какая температура?
— Вам не полагается знать.
— Скажите какая.
— Почти нормальная.
— У меня никогда не поднимается температура. А ведь мои ноги набиты старым железом.
— То есть как это?
— Там и осколки мины, и старые гвозди, и пружины от матраца, и всякий хлам.
Она покачала головой и улыбнулась.
— Если б у вас было в ноге хоть одно постороннее тело, оно дало бы воспаление, и у вас поднялась бы температура.
— А вот посмотрим,— сказал я,— увидим, что извлекут при операции.
Она вышла из комнаты и возвратилась вместе с пожилой сестрой, которая дежурила ночью. Вдвоем они постелили мне простыни, не поднимая меня. Это было ново для меня и очень ловко проделано.
— Кто заведует госпиталем?
— Мисс Ван-Кампен.
— Сколько тут сестер?
— Только мы две.
— А больше не будет?
— Должны приехать еще.
— А когда?
— Не знаю. Нельзя больному быть таким любопытным.
— Я не больной,— сказал я.— Я раненый.
Они покончили с постелью, и я лежал теперь на свежей, чистой простыне, укрытый другой такой же. Миссис Уокер вышла и возвратилась с пижамой в руках. Они натянули ее на меня, и я почувствовал себя одетым и очень чистым.
— Вы страшно любезны,— сказал я. Сестра, которую звали мисс Гэйдж, усмехнулась.— Я хотел бы попросить стакан воды.
— Пожалуйста. А потом можно и позавтракать.

— Я не хочу завтракать. Если можно, я попросил бы открыть ставни.

В комнате был полумрак, и когда ставни раскрыли, ее наполнил яркий солнечный свет, и я увидел балкон и за ним черепицы крыш и дымовые трубы. Я посмотрел поверх черепичных крыш и увидел белые облака и очень синее небо.

— Вы не знаете, когда должны приехать остальные сестры?

— А что? Разве вы недовольны нашим уходом?

— Вы очень любезны.

— Может быть, вам нужен подсов?

— Пожалуй.

Они приподняли меня и поддержали, но это оказалось бесполезным. Потом я лежал и глядел в открытую дверь на балкон.

— Когда доктор должен прийти?

— Как только вернется. Мы звонили по телефону на Комо, чтобы он приехал.

— Разве нет других врачей?

— Он наш госпитальный врач.

Мисс Гэйдж принесла графин с водой и стакан. Я выпил три стакана, и потом они обе ушли, и я еще некоторое время смотрел в окно и потом снова заснул. Второй завтрак я съел, а после завтрака ко мне зашла заведующая, мисс Ван-Кампен. Я ей не понравился, и она не понравилась мне. Она была маленького роста, мелочно подозрительная и надутая высокомерием. Она задала мне множество вопросов и, по-видимому, считала почти позором службу в итальянской армии.

— Можно мне получить вина к обеду? — спросил я.

— Только по предписанию врача.

— А до его прихода нельзя?

— Ни в коем случае.

— Вы полагаете, что он все-таки явится?

— Ему звонили по телефону.

Она ушла, и в комнату вернулась мисс Гэйдж.

— Зачем вы нагрубили мисс Ван-Кампен? — спросила она, после того как очень ловко сделала для меня все, что нужно.

— Я не хотел грубить, но она очень задирает нос.

— Она сказала, что вы требовательны и грубы.

— Ничего подобного. Но, в самом деле, что за госпиталь без врача?

— Он должен приехать. Ему звонили по телефону на Комо.

— А что он там делает? Купается в озере?

— Нет. У него там клиника.

— Почему же не возьмут другого врача?

— Шш. Шш. Будьте паинькой, и он скоро приедет.

Я попросил позвать швейцара и, когда он пришел, сказал ему по-итальянски, чтобы он купил мне бутылку чинцано в винной лавке, флягу кьянти и вечернюю газету. Он пошел и принес бутылки завернутыми в газету, развернул их, откупорил по моей просьбе и поставил под кровать. Больше ко мне никто не приходил, и я лежал в постели и читал газету, известия с фронта и списки убитых офицеров и полученных ими наград, а потом опустил вниз руку, и достал бутылку с чинцано, и поставил ее холодным дном себе на живот, и пил понемножку, и между глотками снова ставил бутылку на живот, отпечатывая кружки на коже, и смотрел, как небо над городскими крышами становится все темней и темней. Над крышами летали ласточки и летали ночные ястребы, и я следил за их полетом и пил чинцано. Мисс Гэйдж принесла мне гоголь-моголь в стакане. Когда она вошла, я сунул бутылку за кровать.

— Мисс Ван-Кампен велела подлить сюда немного хересу,— сказала она.— Не нужно ей грубить. Она уже не молода, а заведовать госпиталем — большая ответственность. Миссис Уокер слишком стара, и от нее очень мало помощи.

— Она замечательная женщина,— сказал я,— поблагодарите ее от меня.

— Я сейчас принесу вам поужинать.

— Не стоит,— сказал я.— Я не голоден.

Когда она внесла поднос и поставила его на столик у постели, я поблагодарил ее и немного поел. Потом стало совсем темно, и мне видно было, как по небу сновали лучи прожекторов. Некоторое время я следил за ними, потом заснул. Я спал крепко, но один раз проснулся весь в поту от страха и потом заснул снова, стараясь не возвращаться в только что виденный сон. Я проснулся опять задолго до рассвета, и слышал, как пели петухи, и лежал без сна, пока не начало светать. Это утомило меня, и, когда совсем рассвело, я снова заснул.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Солнце ярко светило в комнату, когда я проснулся. Мне показалось, что я опять на фронте, и я вытянулся на постели. Стало больно в ногах, и я посмотрел на них и, увидев грязные бинты, вспомнил, где нахожусь. Я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как в коридоре затрещал звонок и кто-то, мягко ступая резиновыми подошвами, прошел по коридору. Это была мисс

Гэйдж; при ярком солнечном свете она казалась старше и не такой хорошенькой.

— Доброе утро,— сказала она.— Ну, как спали?

— Хорошо, благодарю вас,— сказал я.— Нельзя ли позвать ко мне парикмахера?

— Я заходила к вам, и вы спали вот с этим в руках.— Она открыла шкаф и показала мне бутылку с чинцано. Бутылка была почти пуста.— Я и другую бутылку из-под кровати тоже поставила туда,— сказала она.— Почему вы не попросили у меня стакан?

— Я боялся, что вы не позволите мне пить.

— Я бы и сама выпила с вами.

— Вот это вы молодец.

— Вам вредно пить одному,— сказала она.— Никогда этого не делайте.

— Больше не буду.

— Ваша мисс Баркли приехала,— сказала она.

— Правда?

— Да. Она мне не нравится.

— Потом понравится. Она очень славная.

Она покачала головой.

— Не сомневаюсь, что она чудо. Вы можете немножко подвинуться сюда? Вот так, хорошо. Я вас приведу в порядок к завтраку.— Она умыла меня с помощью тряпочки, мыла и теплой воды.— Приподнимите руку,— сказала она.— Вот так, хорошо?

— Нельзя ли, чтоб парикмахер пришел до завтрака?

— Сейчас скажу швейцару.— Она вышла и скоро вернулась.— Швейцар пошел за ним,— сказала она и опустила тряпочку в таз с водой.

Парикмахер пришел вместе со швейцаром. Это был человек лет пятидесяти, с подкрученными кверху усами. Мисс Гэйдж кончила свои дела и вышла, а парикмахер намылил мне щеки и стал брить. Он делал все очень торжественно и воздерживался от разговора.

— Что же вы молчите? Рассказывайте новости,— сказал я.

— Какие новости?

— Все равно какие. Что слышно в городе?

— Теперь война,— сказал он.— У неприятеля повсюду уши.— Я огляпулся на него.— Пожалуйста, не вертите головой,— сказал он и продолжал брить.— Я ничего не скажу.

— Да что с вами такое? — спросил я.

— Я итальянец. Я не вступаю в разговоры с неприятелем.

Я не настаивал. Если он сумасшедший, то чем скорей он уберет от меня бритву, тем лучше. Один раз я попытался рассмотреть его.— Берегитесь,— сказал он.— Бритва острая.

Когда он кончил, я уплатил что следовало и прибавил поллиры на чай. Он вернул мне деньги.

— Я не возьму. Я не на фронте. Но я итальянец.

— Убирайтесь к черту!

— С вашего разрешения,— сказал он и завернул свои бритвы в газету. Он вышел, оставив пять медных монет на столике у кровати. Я позвонил. Вошла мисс Гэйдж.

— Будьте так добры, пришлите ко мне швейцара.

— Пожалуйста.

Швейцар пришел. Он с трудом удерживался от смеха.

— Что, этот парикмахер сумасшедший?

— Нет, signorino. Он ошибся. Он меня не расслышал, и ему показалось, будто я сказал, что вы австрийский офицер.

— О господи,— сказал я.

— Ха-ха-ха,— захохотал швейцар.— Вот потеха! «Только пошевелись он, говорит, и я бы ему...» — Швейцар провел пальцем по шее.— Ха-ха-ха! — Он никак не мог удержаться от смеха.— А когда я сказал ему, что вы не австриец! Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха,— сказал я сердито.— Вот была бы потеха, если б он перерезал мне глотку. Ха-ха-ха.

— Да нет же, signorino. Нет, нет. Он до смерти испугался австрийца. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха,— сказал я.— Убирайтесь вон.

Он вышел, и мне было слышно, как он хохочет за дверью. Я услышал чьи-то шаги в коридоре. Я оглянулся на дверь. Это была Кэтрин Баркли.

Она вошла в комнату и подошла к постели.

— Здравствуйте, милый! — сказала она. Лицо у нее было свежее и молодое и очень красивое. Я подумал, что никогда не видел такого красивого лица.

— Здравствуйте! — сказал я. Как только я ее увидел, я понял, что влюблен в нее. Все во мне перевернулось. Она посмотрела на дверь и увидела, что никого нет. Тогда она присела на край кровати, наклонилась и поцеловала меня. Я притянул ее к себе и поцеловал и почувствовал, как бьется ее сердце.

— Милая моя,— сказал я.— Как хорошо, что вы приехали.

— Это было нетрудно. Вот остаться, пожалуй, будет труднее.

— Вы должны остаться,— сказал я.— Вы прелесть.— Я был как сумасшедший. Мне не верилось, что она действительно здесь, и я крепко прижимал ее к себе.

— Не надо,— сказала она.— Вы еще нездоровы.

— Я здоров. Иди ко мне.

— Нет. Вы еще слабы.

— Да. Ничего я не слаб. Иди.
— Вы меня любите?
— Я тебя очень люблю. Я просто с ума схожу. Ну иди же.
— Слышите, как сердце бьется?
— Что мне сердце? Я хочу тебя. Я с ума схожу.
— Вы меня правда любите?
— Перестань говорить об этом. Иди ко мне. Ты слышишь? Иди, Кэтрин.
— Ну, хорошо, но только на минутку.
— Хорошо,— сказал я.— Закрой дверь.
— Нельзя. Сейчас нельзя.
— Иди. Не говори ничего. Иди ко мне.

Кэтрин сидела в кресле у кровати. Дверь в коридор была открыта. Безумие миновало, и мне было так хорошо, как ни разу в жизни.

Она спросила:

— Теперь ты веришь, что я тебя люблю?
— Ты моя дорогая,— сказал я.— Ты останешься здесь. Тебя никуда не переведут. Я с ума схожу от любви к тебе.
— Мы должны быть страшно осторожны. Мы совсем голову потеряли. Так нельзя.
— Ночью можно.
— Мы должны быть страшно осторожны. Ты должен быть осторожен при посторонних.
— Я буду осторожен.
— Ты должен, непременно. Ты хороший. Ты меня любишь, да?
— Не говори об этом. А то я тебя не отпущу.
— Ну, я больше не буду. Ты должен меня отпустить. Мне пора идти, милый, правда.
— Возвращайся сейчас же.
— Я вернусь, как только можно будет.
— До свидания.
— До свидания, хороший мой.

Она вышла. Видит бог, я не хотел влюбляться в нее. Я ни в кого не хотел влюбляться. Но, видит бог, я влюбился и лежал на кровати в миланском госпитале, и всякие мысли кружились у меня в голове, и мне было удивительно хорошо, и наконец в комнату вошла мисс Гэйдж.

— Доктор приезжает,— сказала она.— Он звонил с Комо.
— Когда он будет здесь?
— Он приедет вечером.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

До вечера ничего не произошло. Доктор был тихий, худенький человечек, которого война, казалось, выбила из колеи. С деликатным и утонченным отвращением он извлек из моего бедра несколько мелких стальных осколков. Он применил местную анестезию, или, как он говорил, «замораживание», от которого ткани одеревенели и боль не чувствовалась, пока зонд, скальпель или ланцет не проникали глубже замороженного слоя. Можно было точно определить, где этот слой кончается, и вскоре деликатность доктора истощилась, и он сказал, что лучше прибегнуть к рентгену. Зондирование ничего не дает, сказал он.

Рентгеновский кабинет был при Ospedale Maggiore [1], и доктор, который делал просвечивание, был шумный, ловкий и веселый. Пациента поддерживали за плечи, так что он сам мог видеть на экране самые крупные из инородных тел. Снимки должны были прислать потом. Доктор попросил меня написать в его записной книжке мое имя, полк и что-нибудь на память. Он объявил, что все инородное — безобразие, мерзость, гадость. Австрийцы просто сукины дети. Скольких я убил? Я не убивал ни одного, но мне очень хотелось сказать ему приятное, и я сказал, что убил тьму австрийцев. Со мной была мисс Гэйдж, и доктор обнял ее за талию и сказал, что она прекраснее Клеопатры. Понятно ей? Клеопатра — бывшая египетская царица. Да, как бог свят, она прекраснее. Санитарная машина отвезла нас обратно, в наш госпиталь, и через некоторое время, после многих перекладываний с носилок на носилки, я наконец очутился наверху, в своей постели. После обеда прибыли снимки; доктор пообещал, что, как бог свят, они будут готовы после обеда, и сдержал обещание. Кэтрин Баркли показала мне снимки. Они были в красных конвертах, и она вынула их из конвертов, и мы вместе рассматривали их на свет.

— Это правая нога,— сказала она и вложила снимок опять в конверт.— А это левая.

— Положи их куда-нибудь,— сказал я,— а сама иди ко мне.

— Нельзя,— сказала она.— Я пришла только на минуточку, показать тебе снимки.

Она ушла, и я остался один. День был жаркий, и мне очень надоело лежать в постели. Я попросил швейцара пойти купить мне газеты, все газеты, какие только можно достать.

---

[1] Главный госпиталь *(ит.)*.

Пока я его дожидался, в комнату вошли три врача. Я давно заметил, что врачи, которым не хватает опыта, склонны прибегать друг к другу за помощью и советом. Врач, который не в состоянии как следует вырезать вам аппендикс, пошлет вас к другому, который не сумеет толком удалить вам гланды. Эти три врача были тоже из таких.

— Вот наш молодой человек,— сказал госпитальный врач, тот, у которого были деликатные движения.

— Здравствуйте,— сказал высокий, худой врач с бородой. Третий врач, державший в руках рентгеновские снимки в красных конвертах, ничего не сказал.

— Снимем повязки? — вопросительно произнес врач с бородой.

— Безусловно. Снимите, пожалуйста, повязки, сестра,— сказал госпитальный врач мисс Гэйдж.

Мисс Гэйдж сняла повязки. Я посмотрел на свои ноги. Когда я лежал в полевом госпитале, они были похожи на заветревший мясной фарш. Теперь их покрывала корка, и колено распухло и побелело, а икра обмякла, но гноя не было.

— Очень чисто,— сказал госпитальный врач.— Очень чисто и хорошо.

— Гм,— сказал врач с бородой. Третий врач заглянул через плечо госпитального врача.

— Согните, пожалуйста, колено,— сказал бородатый врач.

— Не могу.

— Проверим функционирование сустава? — вопросительно произнес бородатый врач. У него на рукаве, кроме трех звездочек, была еще полоска. Это означало, что он состоит в чине капитана медицинской службы.

— Безусловно,— сказал госпитальный врач. Вдвоем они осторожно взялись за мою правую ногу и стали сгибать ее.

— Больно,— сказал я.

— Так, так. Еще немножко, доктор.

— Довольно. Дальше не идет,— сказал я.

— Функционирование неполное,— сказал бородатый врач. Он выпрямился.— Разрешите еще раз взглянуть на снимки, доктор.— Третий врач подал ему один из снимков.— Нет. Левую ногу, пожалуйста.

— Это левая нога, доктор.

— Да, верно. Я смотрел не с той стороны.— Он вернул снимок. Другой снимок он разглядывал несколько минут.— Видите, доктор? — Он указал на одно из инородных тел, ясно и отчетливо видное на свет. Они рассматривали снимок еще несколько минут.

— Я могу сказать только одно,— сказал бородатый врач в

чине капитана.— Это вопрос времени. Месяца три, а возможно, и полгода.

— Безусловно, ведь должна накопиться вновь синовиальная жидкость.

— Безусловно. Это вопрос времени. Я не взял бы на себя вскрыть такой коленный сустав, прежде чем вокруг осколка образуется капсула.

— Вполне разделяю ваше мнению, доктор.

— Для чего полгода? — спросил я.

— Полгода, чтобы вокруг осколка образовалась капсула и можно было без риска вскрыть коленный сустав.

— Я этому не верю,— сказал я.

— Вы хотите сохранить ногу, молодой человек?

— Нет,— сказал я.

— Что?

— Я хочу, чтобы ее отрезали,— сказал я,— так, чтобы можно было приделать к ней крючок.

— Что вы хотите сказать? Крючок?

— Он шутит,— сказал госпитальный врач и очень деликатно потрепал меня по плечу.— Он хочет сохранить ногу. Это очень мужественный молодой человек. Он представлен к серебряной медали за храбрость.

— От души поздравляю,— сказал врач в чине капитана. Он пожал мне руку.— Я могу только сказать, что во избежание риска необходимо выждать, по крайней мере, полгода, прежде чем вскрывать такое колено. Разумеется, вы вольны придерживаться другого мнения.

— Благодарю вас,— сказал я.— Ваше мнение для меня очень ценно.

Врач в чине капитана взглянул на часы.

— Нам пора идти,— сказал он.— Желаю вам всего хорошего.

— Вам также всего хорошего и большое спасибо,— сказал я.

Я пожал руку третьему врачу: «Capitano Varini — tenente Enry»,— и все трое вышли из комнаты.

— Мисс Гэйдж,— позвал я. Она вошла.— Пожалуйста, попросите госпитального врача еще на минутку ко мне.

Он пришел, держа кепи в руке, и стал у кровати.

— Вы хотели меня видеть?

— Да. Я не могу ждать операции полгода. Господи, доктор, приходилось вам когда-нибудь полгода лежать в постели?

— Вы не будете все время лежать. Сначала вам нужно будет погреть раны на солнце. Потом вы начнете ходить на костылях.

— Полгода, а потом операция?

— Это наименее рискованный путь. Нужно выждать, когда вокруг инородных тел образуется капсула и снова накопится синовиальная жидкость. Тогда можно без риска вскрыть коленный сустав.

— А вы сами уверены, что мне нужно так долго ждать?

— Это наименее рискованный путь.

— Кто этот врач в чине капитана?

— Это очень хороший миланский хирург.

— Ведь он в чине капитана, правда?

— Да, но он очень хороший хирург.

— Я не желаю, чтобы в моей ноге копался какой-то капитан. Если бы он чего-нибудь стоил, он был бы майором. Я знаю, что такое капитан, доктор.

— Он очень хороший хирург, и я с его мнением считаюсь больше, чем с чьим бы то ни было.

— Можно показать мою ногу другому хирургу?

— Безусловно, если вы захотите. Но я лично последовал бы совету доктора Варелла.

— Вы можете пригласить ко мне другого хирурга?

— Я приглашу Валентини.

— Кто он такой?

— Хирург из Ospedale Maggiore.

— Идет. Я вам буду очень признателен. Поймите, доктор, не могу я полгода лежать в постели.

— Вы не будете лежать в постели. Сначала вы будете принимать солнечные ванны. Потом можно перейти к легким упражнениям. Потом, когда образуется капсула, мы сделаем операцию.

— Но я не могу ждать полгода.

Доктор деликатным движением погладил кепи, которое он держал в руке, и улыбнулся.

— Вам так не терпится возвратиться на фронт?

— А почему бы и нет?

— Как это прекрасно! — сказал он.— Благородный молодой человек.— Он наклонился и очень деликатно поцеловал меня в лоб.— Я пошлю за Валентини. Не волнуйтесь и не нервничайте. Будьте умницей.

— Стакан вина, доктор? — предложил я.

— Нет, благодарю. Я не пью.

— Ну, один стаканчик.— Я позвонил, чтобы швейцар принес стаканы.

— Нет, нет, благодарю вас, меня ждут.

— До свидания,— сказал я.

— До свидания.

Спустя два часа в комнату вошел доктор Валентини. Он очень

торопился, и кончики его усов торчали кверху. Он был в чине майора, у него было загорелое лицо, и он все время смеялся.

— Как это вас угораздило? — сказал он.— Ну-ка, покажите снимки. Так. Вот оно что. Да вы, я вижу, здоровы, как бык. А кто эта хорошенькая девушка? Ваша возлюбленная? Так я и думал. Уж эта мне чертова война! Здесь болит? Вы молодец. Починим, будете как новенький. Тут больно? Еще бы не больно. Как они любят делать больно, эти доктора. А чем вас до сих пор лечили? Эта девушка говорит по-итальянски? Надо ее выучить. Очаровательная девушка. Я бы взялся давать ей уроки. Я сам лягу в этот госпиталь. Нет, лучше я буду бесплатно принимать у нее все роды. Она понимает, что я говорю? Она вам принесет хорошего мальчишку. Светловолосого, как она сама. Так, хорошо. Так, отлично. Очаровательная девушка. Спросите ее, не согласится ли она со мной поужинать. Нет, я не хочу ее у вас отбивать. Спасибо. Большое вам спасибо, мисс. Вот и все. Вот и все, что я хотел знать.— Он похлопал меня по плечу.— Повязку накладывать не надо.

— Стакан вина, доктор Валентини?

— Вина! Ну конечно... Десять стаканов. Где оно у вас?

— В шкафу. Мисс Баркли достанет бутылку.

— Ваше здоровье. Ваше здоровье, мисс. Очаровательная девушка. Я вам принесу вина получше этого.— Он вытер усы.

— Когда, по-вашему, можно делать операцию?

— Завтра утром. Не раньше. Нужно освободить кишечник. Вычистить из вас все. Я зайду к старушке внизу и распоряжусь. До свидания. Завтра увидимся. Я вам принесу вина получше этого. А у вас здесь очень славно. До свидания, до завтра. Выспитесь хорошенько. Я приду рано.

Он помахал мне с порога, его усы топорщились, коричневое лицо улыбалось. На рукаве у него была звездочка в окаймлении, потому что он был в чине майора.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В ту ночь летучая мышь влетела в комнату через раскрытую дверь балкона, в которую нам видна была ночь над крышами города. В комнате было темно, только ночь над городом слабо светила в балконную дверь, и летучая мышь не испугалась и стала носиться по комнате, словно под открытым небом. Мы лежали и смотрели на нее, и, должно быть, она нас не видела, потому что мы лежали очень тихо. Когда она улетела, мы увидели луч прожектора и смотрели, как светлая полоса передвигалась по небу и потом исчезла, и снова стало темно. Среди ночи поднялся ветер, и мы услышали голоса артиллеристов у зенитного орудия на со-

седней крыше. Было прохладно, и они надевали плащи. Я вдруг встревожился среди ночи, как бы кто не вошел, но Кэтрин сказала, что все спят. Один раз среди ночи мы заснули, и когда я проснулся, Кэтрин не было в комнате, но я услышал ее шаги в коридоре, и дверь отворилась, и она подошла к постели и сказала, что все в порядке: она была внизу, и там все спят. Она подходила к двери мисс Ван-Кампен и слышала, как та дышит во сне. Она принесла сухих галет, и мы ели их, запивая вермутом. Мы были очень голодны, но она сказала, что утром все это нужно будет из меня вычистить. Под утро, когда стало светать, я заснул снова, и когда проснулся, увидел, что ее снова нет в комнате. Она пришла, свежая и красивая, и села на кровать, и пока я лежал с градусником во рту, взошло солнце, и мы почувствовали запах росы на крышах и потом запах кофе, который варили артиллеристы у орудия на соседней крыше.

— Сейчас хорошо бы погулять,— сказала Кэтрин.— Будь тут кресло, я могла бы вывести тебя.

— А как бы я сел в кресло?

— Уж как-нибудь.

— Вот поехать бы в парк, позавтракать на воздухе.— Я поглядел в отворенную дверь.

— Нет, сейчас мы займемся другим делом,— сказала она.— Нужно приготовить тебя к приходу твоего друга доктора Валентини.

— А правда замечательный доктор?

— Мне он не так понравился, как тебе. Но он, должно быть, хороший врач.

— Иди ко мне, Кэтрин. Слышишь? — сказал я.

— Нельзя. А как хорошо было ночью!

— А нельзя тебе взять дежурство и на эту ночь?

— Я и буду дежурить, вероятно. Но только ты меня не захочешь.

— Захочу.

— Не захочешь. Тебе еще никогда не делали операции. Ты не знаешь, какое у тебя будет самочувствие.

— Знаю. Очень хорошее.

— Тебя будет тошнить, и тебе не до меня будет.

— Ну, тогда иди ко мне сейчас.

— Нет,— сказала она.— Мне нужно вычертить кривую твоей температуры, милый, и приготовить тебя.

— Значит, ты меня не любишь, раз не хочешь прийти.

— Какой ты глупый! — Она поцеловала меня.— Ну вот, кривая готова. Температура все время нормальная. У тебя такая чудесная температура.

— А ты вся чудесная.

— Нет, нет. Вот у тебя температура чудесная. Я страшно горжусь твоей температурой.

— Наверно, у всех наших детей будет замечательная температура.

— Боюсь, что у наших детей будет отвратительная температура.

— А что нужно сделать, чтобы приготовить меня для Валентини?

— Пустяки, только это не очень приятно.

— Мне жаль, что тебе приходится с этим возиться.

— А мне нисколько. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой до тебя дотрагивался. Я глупая. Я взбешусь, если кто-нибудь до тебя дотронется.

— Даже Фергюсон?

— Особенно Фергюсон, и Гэйдж, и эта, как ее?

— Уокер?

— Вот-вот. Слишком много здесь сестер. Если не прибудут еще раненые, нас переведут отсюда. Здесь теперь четыре сестры.

— Наверное, прибудут еще. Четыре сестры не так уж много. Госпиталь большой.

— Надеюсь, что прибудут. Что мне делать, если меня захотят перевести отсюда? А ведь так и будет, если не прибавится раненых.

— Я тогда тоже уеду.

— Не говори глупостей. Ты еще не можешь никуда ехать. Но ты поскорее поправляйся, милый, и тогда мы с тобой куда-нибудь поедем.

— А потом что?

— Может быть, война кончится. Не вечно же будут воевать?

— Я поправлюсь,— сказал я.— Валентини меня вылечит.

— Еще бы, с такими-то усами! Только знаешь, милый, когда тебе дадут эфир, думай о чем-нибудь другом — только не о нас с тобой. А то ведь под наркозом многие болтают.

— О чем же мне думать?

— О чем хочешь. О чем хочешь, только не о нас с тобой. Думай о своих родных. Или о какой-нибудь другой девушке.

— Нет.

— Ну, тогда читай молитву. Это произведет прекрасное впечатление.

— А может быть, я не буду болтать.

— Возможно. Не все ведь болтают.

— Вот я и не буду.

— Не хвались, милый. Пожалуйста, не хвались. Ты такой хороший, не нужно тебе хвалиться.

— Я ни слова не скажу.

— Опять ты хвалишься, милый. Совсем тебе ни к чему хвалиться. Просто, когда тебе скажут дышать глубже, начни читать молитву, или стихи, или еще что-нибудь. Тогда все будет хорошо, и я буду гордиться тобой. Я вообще горжусь тобой. У тебя такая чудесная температура, и ты спишь, как маленький мальчик, обнимаешь подушку и думаешь, что это я. А может быть, не я, а другая? Какая-нибудь итальянская красавица?

— Нет, ты.

— Ну конечно, я. И я тебя очень люблю, и Валентин приведет твою ногу в полный порядок. Как хорошо, что мне не придется быть при этом.

— А ты будешь дежурить ночью?

— Да. Но тебе будет все равно.

— Увидим.

— Ну, вот и все, милый. Теперь ты совсем чистый, и снаружи и внутри. Скажи мне вот что: сколько женщин ты любил в своей жизни?

— Ни одной.

— И меня нет?

— Тебя — да.

— А скольких еще?

— Ни одной.

— А скольких — как это говорят? — скольких ты знал?

— Ни одной.

— Ты говоришь неправду.

— Да.

— Так и надо. Ты мне все время говори неправду. Я так и хочу. Они были хорошенькие?

— Я ни одной не знал.

— Правильно. Они были очень привлекательные?

— Понятия не имею.

— Ты только мой. Это верно, и больше ты никогда ничей не был. Но мне все равно, если даже и не так. Я их не боюсь. Только ты мне не рассказывай про них. А когда женщина говорит мужчине про то, сколько это стоит?

— Не знаю.

— Ну конечно, ты не знаешь. А она говорит ему, что любит его? Скажи мне. Я хочу знать.

— Да. Если он этого хочет.

— А он говорит ей, что любит ее? Скажи. Это очень важно.

— Говорит, если хочет.

— Но ты никогда не говорил? Верно?

— Нет.

— Нет, верно? Скажи мне правду.

— Нет,— солгал я.

— Ты не говорил,— сказала она.— Я так и знала, что ты не говорил. Ты милый, и я тебя очень, очень люблю.

Солнце высоко стояло над крышами, и я видел шпили собора с солнечными бликами на них. Я был чист снаружи и внутри и ожидал прихода врача.

— Значит, так? — сказала Кэтрин.— Она говорит все, что ему хочется?

— Не всегда.

— А я буду всегда. Я буду всегда говорить все, что ты пожелаешь, и я буду делать все, что ты пожелаешь, и ты никогда не захочешь других женщин, правда? — Она посмотрела на меня радостно.— Я буду делать то, что тебе хочется, и говорить то, что тебе хочется, и тогда все будет чудесно, правда?

— Да.

— Ну, вот ты и готов к операции. А теперь скажи, чего бы тебе хотелось сейчас?

— Иди ко мне.

— Хорошо. Иду.

— Ты моя очень, очень, очень любимая,— сказал я.

— Вот видишь,— сказала она.— Я делаю все, что ты хочешь.

— Ты у меня умница.

— Я только боюсь, что ты еще не совсем мной доволен.

— Ты умница.

— Я хочу того, чего хочешь ты. Меня больше нет. Только то, чего хочешь ты.

— Милая.

— Ты доволен? Правда, ты доволен? Ты не хочешь других женщин?

— Нет.

— Видишь, ты доволен. Я делаю все, что ты хочешь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда я проснулся после операции, было не так, словно я куда-то исчезал. При этом не исчезаешь. Только берет удушье. Это не похоже на смерть, это просто удушье от газа, так что перестаешь чувствовать, а после все равно, как будто был сильно пьян, только когда рвет, то одной желчью и потом не делается лучше. В ногах постели я увидел мешки с песком. Они придавливали стержни, торчавшие из гипсовой повязки. Немного погодя я увидел мисс Гэйдж, и она спросила:

— Ну, как?

— Лучше,— сказал я.

— Он прямо чудо сделал с вашим коленом.

— Сколько это длилось?

— Два с половиной часа.

— Я говорил какие-нибудь глупости?

— Нет, нет, ничего. Не разговаривайте. Лежите спокойно.

Меня тошнило, и Кэтрин оказалась права. Мне было все равно, кто дежурит эту ночь.

В госпитале было теперь еще трое, кроме меня: тощий парень из Джорджии, работник Красного Креста, больной малярией, славный парень из Нью-Йорка, тоже тощий на вид, больной малярией и желтухой, и милейший парень, который вздумал отвинтить колпачок от дистанционной трубки австрийского снаряда, чтобы взять себе на память. Это был комбинированный шрапнельно-фугасный снаряд, какими австрийцы пользовались в горах: шрапнель с дистанционной трубкой двойного действия.

Все сестры очень любили Кэтрин Баркли за то, что она без конца готова была дежурить по ночам. Малярики не требовали много забот, а тот, который отвинтил колпачок взрывателя, был с нами в дружбе и звонил ночью только при крайней необходимости, и все свободное от работы время она проводила со мной. Я очень любил ее, и она любила меня. Днем я спал, а когда мы не спали, то писали друг другу записки и пересылали их через Фергюсон. Фергюсон была славная девушка. Я ничего не знал о ней, кроме того, что у нее один брат в пятьдесят второй дивизии, а другой — в Месопотамии и что она очень привязана к Кэтрин Баркли.

— Придете к нам на свадьбу, Ферджи? — спросил я ее как-то.

— Вы никогда не женитесь.

— Женимся.

— Нет, не женитесь.

— Почему?

— Поссоритесь до свадьбы.

— Мы никогда не ссоримся.

— Еще успеете.

— Мы никогда не будем ссориться.

— Значит, умрете. Поссоритесь или умрете. Так всегда бывает. И никто не женится.

Я протянул к ней руку.

— Не трогайте меня,— сказала она.— Я и не думаю плакать. Может быть, у вас все обойдется. Только смотрите, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Если что-нибудь с ней случится из-за вас, я вас убью.

— Ничего с ней не случится.

— Ну, так смотрите. Надеюсь, что у вас все обойдется. Сейчас вам хорошо.

— Сейчас нам чудесно.

— Так вот, не ссорьтесь и чтобы с ней ничего не случилось.

— Ладно.

— Смотрите же. Я не желаю, чтоб она осталась с младенцем военного времени на руках.

— Вы славная девушка, Ферджи.

— Ничего не славная. Не подлизывайтесь ко мне. Как ваша нога?

— Прекрасно.

— А голова? — Она дотронулась пальцами до моей макушки. Ощущение было такое, как если трогают затекшую ногу.

— Голова меня никогда не беспокоит.

— От такой шишки легко можно было остаться кретином. Совсем не беспокоит?

— Нет.

— Ваше счастье. Записка готова? Я иду вниз.

— Вот, возьмите,— сказал я.

— Вы должны попросить ее, чтоб она на время отказалась от ночных дежурств. Она очень устает.

— Хорошо. Я ее попрошу.

— Я хотела подежурить ночь, но она мне не дает. Другие рады уступить свою очередь. Можете дать ей немного отдохнуть.

— Хорошо.

— Мисс Ван-Кампен уже поговаривает о том, что вы всегда спите до полудня.

— Этого можно было ожидать.

— Хорошо бы вам настоять, чтоб она несколько ночей не дежурила.

— Я бы и сам хотел.

— Вовсе вы бы не хотели. Но если вы ее уговорите, я буду уважать вас.

— Я ее уговорю.

— Что-то не верится.

Она взяла записку и вышла. Я позвонил, и очень скоро вошла мисс Гэйдж.

— Что случилось?

— Я просто хотел поговорить с вами. Как по-вашему, не пора ли мисс Баркли отдохнуть немного от ночных дежурств? У нее очень усталый вид. Почему она так долго в ночной смене?

Мисс Гэйдж посмотрела на меня.

— Я ваш друг,— сказала она.— Ни к чему вам так со мной разговаривать.

— Что вы хотите сказать?

— Не прикидывайтесь дурачком. Это все, что вам нужно было?

— Выпейте со мной вермуту.

— Хорошо. Но потом я сразу же уйду.— Она достала бутылку из шкафа и поставила на столик стакан.

— Вы берите стакан,— сказал я.— Я буду пить из бутылки.

— За ваше здоровье! — сказала мисс Гэйдж.

— Что там Ван-Кампен говорила насчет того, что я долго сплю по утрам?

— Просто скрипела на эту тему. Она называет вас «наш привилегированный пациент».

— Ну ее к черту!

— Она не злая,— сказала мисс Гэйдж.— Просто она старая и с причудами. Вы ей сразу не понравились.

— Это верно.

— А мне вы нравитесь. И я вам друг. Помните это.

— Вы на редкость славная девушка.

— Бросьте. Я знаю, кто, по-вашему, славный. Как нога?

— Прекрасно.

— Я принесу холодной минеральной воды и полью вам немного. Вероятно, зудит под гипсом. Сегодня жарко.

— Вы славная.

— Сильно зудит?

— Нет. Все очень хорошо.

— Надо поправить мешки с песком.— Она нагнулась.— Я вам друг.

— Я это знаю.

— Нет, вы не знаете. Но когда-нибудь узнаете.

Кэтрин Баркли не дежурила три ночи, но потом она снова пришла. Было так, будто каждый из нас уезжал в долгое путешествие и теперь мы встретились снова.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Нам чудесно жилось в то лето. Когда мне разрешили вставать, мы стали ездить в парк на прогулку. Я помню коляску, медленно переступающую лошадь, спину кучера впереди и его лакированный цилиндр, и Кэтрин Баркли рядом со мной на сиденье. Если наши руки соприкасались, хотя бы слегка ее рука касалась моей, это нас волновало. Позднее, когда я уже мог передвигаться на костылях, мы ходили обедать к Биффи или в «Гран-Италиа» и выбирали столик снаружи, в Galleria. Официанты входили и выходили, и прохожие шли мимо, и на покрытых скатертями столах стояли свечи с абажурами, и вскоре нашим излюбленным местом стал «Гран-Италиа», и Жорж, метрдотель, всегда оставлял нам столик. Он был замечательный метрдотель, и мы предоставляли

ему выбирать меню, пока мы сидели, глядя на прохожих, и на тонувшую в сумерках Galleria, и друг на друга. Мы пили сухое белое капри, стоявшее в ведерке со льдом; впрочем, мы перепробовали много других вин: фреза, барбера и сладкие белые вина. Из-за войны в ресторане не было специального официанта для вин, и Жорж смущенно улыбался, когда я спрашивал такие вина, как фреза.

— Что можно сказать о стране, где делают вино, имеющее вкус клубники,— сказал он.

— А чем плохо? — спросила Кэтрин.— Мне даже нравится.

— Попробуйте, леди, если вам угодно,— сказал Жорж.— Но позвольте мне захватить бутылочку марго для tenente.

— Я тоже хочу попробовать, Жорж.

— Сэр, я бы вам не советовал. Оно и вкуса клубники не имеет.

— А вдруг? — сказала Кэтрин.— Это было бы просто замечательно.

— Я сейчас подам его,— сказал Жорж,— и, когда желание леди будет удовлетворено, я его уберу.

Вино было не из важных. Жорж был прав, оно не имело и вкуса клубники. Мы снова перешли на капри. Один раз у меня не хватило денег, и Жорж одолжил мне сто лир.

— Ничего, ничего, tenente,— сказал он.— Бывает со всяким. Я знаю, как это бывает. Если вам или леди понадобятся деньги, у меня всегда найдутся.

После обеда мы шли по Galleria мимо других ресторанов и мимо магазинов со спущенными железными шторами и останавливались у киоска, где продавались сандвичи: сандвичи с ветчиной и латуком и сандвичи с анчоусами на крошечных румяных булочках, не длиннее указательного пальца. Мы брали их с собой, чтоб съесть, когда проголодаемся ночью. Потом мы садились в открытую коляску у выхода из Galleria против собора и возвращались в госпиталь. Швейцар выходил на крыльцо госпиталя помочь мне управиться с костылями. Я расплачивался с кучером, и мы ехали наверх в лифте. Кэтрин выходила в том этаже, где жили сестры, а я поднимался выше и на костылях шел по коридору в свою комнату; иногда я раздевался и ложился в постель, а иногда сидел на балконе, положив ногу на стул, и следил за полетом ласточек над крышами, и ждал Кэтрин. Когда она приходила наверх, было так, будто она вернулась из далекого путешествия, и я шел на костылях по коридору вместе с нею, и нес тазики, и дожидался у дверей или входил с нею вместе — смотря по тому, был больной из наших друзей или нет, и, когда она оканчивала все свои дела, мы сидели на балконе моей комнаты. Потом я ложился в постель, и когда все уже спали и она была уверена, что никто

не позовет, она приходила ко мне. Я любил распускать ее волосы, и она сидела на кровати, не шевелясь, только иногда вдруг быстро наклонялась поцеловать меня, и я вынимал шпильки и клал их на простыню, и узел на затылке едва держался, и я смотрел, как она сидит, не шевелясь, и потом вынимал две последние шпильки, и волосы распускались совсем, и она наклоняла голову, и они закрывали нас обоих, и было как будто в палатке или за водопадом.

У нее были удивительно красивые волосы, и я иногда лежал и смотрел, как она закручивает их при свете, который падал из открытой двери, и они даже ночью блестели, как блестит иногда вода перед самым рассветом. У нее было чудесное лицо и тело и чудесная гладкая кожа. Мы лежали рядом, и я кончиками пальцев трогал ее щеки и лоб, и под глазами, и подбородок, и шею и говорил: «Совсем как клавиши рояля»,— и тогда она гладила пальцами мой подбородок и говорила: «Совсем как наждак, если им водить по клавишам рояля».

— Что, колется?

— Да нет же, милый. Это я просто чтоб подразнить тебя.

Ночью все было чудесно, и если мы могли хотя бы касаться друг друга — это уже было счастье. Помимо больших радостей, у нас еще было множество мелких выражений любви, а когда мы бывали не вместе, мы старались внушать друг другу мысли на расстоянии. Иногда это как будто удавалось, но, вероятно, это было потому, что, в сущности, мы оба думали об одном и том же.

Мы говорили друг другу, что в тот день, когда она приехала в госпиталь, мы поженились, и мы считали месяцы со дня своей свадьбы. Я хотел, чтобы мы на самом деле поженились, но Кэтрин сказала, что тогда ей придется уехать, и что как только мы начнем улаживать формальности, за ней станут следить и нас разлучат. Придется все делать по итальянским брачным законам, и с формальностями будет страшная возня. Я хотел, чтобы мы поженились на самом деле, потому что меня беспокоила мысль о ребенке, когда эта мысль приходила мне в голову, но для себя мы считали, что мы женаты, и беспокоились не так уж сильно, и, пожалуй, мне нравилось, что мы не женаты на самом деле. Я помню, как один раз ночью мы заговорили об этом и Кэтрин сказала:

— Но, милый, ведь мне сейчас же придется уехать отсюда.

— А может быть, не придется.

— Непременно придется. Меня отправят домой, и мы не увидимся, пока не кончится война.

— Я буду приезжать в отпуск.

— Нельзя успеть в Шотландию и обратно за время отпуска. И потом, я от тебя не уеду. Для чего нам жениться сейчас? Мы и так женаты. Уж больше женатыми и быть нельзя.

— Я хочу этого только из-за тебя.

— Никакой «меня» нет. Я — это ты. Пожалуйста, не выдумывай отдельной «меня».

— Я думал, девушки всегда хотят замуж.

— Так оно и есть. Но, милый, ведь я замужем. Я замужем за тобой. Разве я плохая жена?

— Ты чудесная жена.

— Видишь ли, милый, я уже один раз пробовала дожидаться замужества.

— Я не хочу слышать об этом.

— Ты знаешь, что я люблю только тебя одного. Не все ли тебе равно, что кто-то другой любил меня?

— Не все равно.

— Ведь он погиб, а ты получил все, что же тут ревновать?

— Пусть так, но я не хочу слышать об этом.

— Беднепький мой! А вот я знаю, что у тебя были всякие женщины, и меня это не трогает.

— Нельзя ли нам пожениться как-нибудь тайно? Вдруг со мной что-нибудь случится или у тебя будет ребенок.

— Брак существует только церковный или гражданский. А тайно мы и так женаты. Видишь ли, милый, это было бы для меня очень важно, если б я была религиозна. Но я не религиозна.

— Ты дала мне святого Антония.

— Это просто на счастье. Мне тоже его дали.

— Значит, тебя ничто не тревожит?

— Только мысль о том, что нас могут разлучить. Ты моя религия. Ты для меня все на свете.

— Ну, хорошо. Но я женюсь на тебе, как только ты захочешь.

— Ты так говоришь, милый, точно твой долг сделать из меня порядочную женщину. Я вполне порядочная женщина. Не может быть ничего стыдного в том, что дает счастье и гордость. Разве ты не счастлив?

— Но ты никогда не уйдешь от меня к другому?

— Нет, милый. Я от тебя никогда ни к кому не уйду. Мне кажется, с нами случится все самое ужасное. Но не нужно тревожиться об этом.

— Я и не тревожусь. Но я тебя так люблю, а ты уже до меня кого-то любила.

— А что было дальше?

— Он погиб.

— Да, а если бы это не случилось, я бы не встретила тебя. Меня нельзя назвать непостоянной, милый. У меня много недостатков, но я очень постоянна. Увидишь, тебе даже надоест мое постоянство.

— Я скоро должен буду вернуться на фронт.

— Не будем думать об этом, пока ты еще здесь. Понимаешь,

милый, я счастлива, и нам хорошо вдвоем. Я очень давно уже не была счастлива, и, может быть, когда мы с тобой встретились, я была почти сумасшедшая. Может быть, совсем сумасшедшая. Но теперь мы счастливы, и мы любим друг друга. Ну, давай будем просто счастливы. Ведь ты счастлив, правда? Может быть, тебе не нравится во мне что-нибудь? Ну, что мне сделать, чтобы тебе было приятно? Хочешь, я распущу волосы? Хочешь?

— Да, а потом ложись тут.

— Хорошо. Только раньше обойду больных.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Так проходило лето. О днях я помню немногое, только то, что было очень жарко и газеты были полны побед. У меня был здоровый организм, и раны быстро заживали, так что очень скоро после того, как я впервые встал на костыли, я смог бросить их и ходить только с палкой. Тогда я начал в Ospedale Maggiore лечебные процедуры для сгибания колен, механотерапию, прогревание фиолетовыми лучами в зеркальном ящике, массаж и ванны. Я ходил туда после обеда и на обратном пути заходил в кафе, и пил вино, и читал газеты. Я не бродил по городу: из кафе мне всегда хотелось вернуться прямо в госпиталь. Мне хотелось только одного: видеть Кэтрин. Все остальное время я рад был как-нибудь убить. Чаще всего по утрам я спал, а после обеда иногда ездил на скачки и потом на механотерапию. Иногда я заходил в англо-американский клуб и сидел в глубоком кожаном кресле перед окном и читал журналы. Нам уже не разрешалось выходить вдвоем после того, как я бросил костыли, потому что неприлично было сестре гулять одной с больным, который по виду не нуждался в помощи, и поэтому днем мы редко бывали вместе. Иногда, впрочем, удавалось пообедать вместе где-нибудь в городе, если и Фергюсон была с нами. Мы с Кэтрин считались друзьями, и мисс Ван-Кампен принимала это положение, потому что Кэтрин много помогала ей в госпитале. Она решила, что Кэтрин из очень хорошей семьи, и это окончательно расположило ее в нашу пользу. Мисс Ван-Кампен придавала большое значение происхождению и сама принадлежала к высшему обществу. К тому же в госпитале было немало дел и хлопот, и это отвлекало ее. Лето было жаркое, и у меня в Милане было много знакомых, но я всегда спешил вернуться в госпиталь с наступлением сумерек. Фронт продвинулся к Карсо, уже был взят Кук, на другом берегу против Плавы, и теперь наступали на плато Баинзицца. На западном фронте дела были не так хороши. Казалось, что война тянется уже очень долго. Мы теперь тоже вступили в войну, но я считал, что попадо-

бится не меньше года, чтобы переправить достаточное количество войск и подготовить их к бою. На следующий год можно было ждать много плохого, а может быть, много хорошего. Итальянские войска несли огромные потери. Я не представлял себе, как это может продолжаться. Даже если займут все плато Баинзицца и Монте-Сан-Габриеле, дальше есть множество гор, которые останутся у австрийцев. Я видел их. Все самые высокие горы дальше. На Карсо удалось продвинуться вперед, но внизу, у моря, болота и топи. Наполеон разбил бы австрийцев в долине. Он никогда не стал бы сражаться с ними в горах. Он дал бы им спуститься и разбил бы их под Вероной. Но на западном фронте все еще никто никого не разбивал. Может быть, войны теперь не кончаются победой. Может быть, они вообще не кончаются. Может быть, это новая Столетняя война. Я положил газету на место и вышел из клуба. Я осторожно спустился по ступеням и пошел по Виа Манцони. Перед «Гранд-отелем» я увидел старика Мейерса и его жену, выходивших из экипажа. Они возвращались со скачек. Она была женщина с большим бюстом, одетая в блестящий черный шелк. Он был маленький и старый, с седыми усами, страдал плоскостопием и ходил, опираясь на палку.

— Как поживаете? Как здоровье? — Она подала мне руку.

— Привет! — сказал Мейерс.

— Ну, как скачки?

— Замечательно. Просто чудесно. Я три раза выиграла.

— А как ваши дела? — спросил я Мейерса.

— Ничего. Я выиграл один раз.

— Я никогда не знаю, как его дела,— сказала миссис Мейерс.— Он мне никогда не говорит.

— Мои дела хороши,— сказал Мейерс. Он старался быть сердечным.— Надо бы вам как-нибудь съездить на скачки.— Когда он говорил, создавалось впечатление, что он смотрит не на вас или что он принимает вас за кого-то другого.

— Непременно,— сказал я.

— Я приеду в госпиталь навестить вас,— сказала миссис Мейерс.— У меня кое-что есть для моих мальчиков. Вы ведь все мои мальчики. Вы все мои милые мальчики.

— Вам будут там очень рады.

— Такие милые мальчики. И вы тоже. Вы один из моих мальчиков.

— Мне пора идти,— сказал я.

— Передайте от меня привет всем моим милым мальчикам. Я им привезу много вкусных вещей. Я запасла хорошей марсалы и печенья.

— До свидания,— сказал я.— Вам все будут страшно рады.

— До свиданпя,— сказал Мейерс.— Заходите в Galleria. Вы знаете мой столпк. Мы там бываем каждый день.— Я пошел дальше по улице. Я хотел купить в «Кова» что-нибудь для Кэтрин. Войдя в «Кова», я выбрал коробку шоколада, и пока продавщица завертывала ее, я подошел к стойке бара. Там сидели двое англичан и несколько летчиков. Я выпил мартини, ни с кем не заговарпвая, расплатился, взял у кондитерского прилавка свою коробку шоколада и пошел в госпиталь. Перед небольшим баром на улице, которая ведет к «Ла Скала», я увидел несколько знакомых: вице-консула, двух молодых людей, учившихся пению, и Этторе Моретти, итальянца из Сан-Франциско, служившего в пталья́нской армии. Я зашел выпить с ними. Одного из певцов звали Ральф Симмонс, и он пел под именем Эприко дель Кредо. Я пе имел представления о том, как он поет, но он всегда был на пороге каких-то великих событий. Он был толст, и у него шелушилась кожа вокруг носа и рта, точно при сенном насморке. Он только что возвратился после выступления в Пьяченце. Он пел в «Тоске», и все было изумительно.

— Да ведь вы меня никогда не слышали,— сказал он.

— Когда вы будете петь здесь?

— Осенью я выступлю в «Ла Скала».

— Пари держу, что в него будут швырять скамейками,— сказал Этторе.— Вы слышали про то, как в него швырялп скамейками в Модене?

— Это враки.

— В него швыряли скамейками,— сказал Этторе.— Я был при этом. Я сам швырнул шесть скамеек.

— Вы просто жалкий макаронник из Фриско.

— У него скверное итальянское произношение,— сказал Этторе.— Где бы он ни выступал, в него швыряют скамейками.

— Во всей северной Италии нет театра хуже, чем в Пьяченце,— сказал другой тенор.— Верьте мне, препаршивый театришко.— Этого тенора звали Эдгар Саундерс, и пел он под имепем Эдуардо Джованни.

— Жаль, меня там не было, а то бы я посмотрел, как в вас швыряли скамейками,— сказал Этторе.— Вы же не умеете петь по-итальянски.

— Он дурачок,— сказал Эдгар Саундерс.— Швырять скамейками — ничего умнее не может придумать.

— Ничего умнее публика не может придумать, когда вы поете,— сказал Этторе.— А потом вы возвращаетесь в Америку и рассказываете о своих триумфах в «Ла Скала». Да вас после первой же ноты выгнали бы из «Ла Скала».

— Я буду петь в «Ла Скала»,— сказал Симмонс.— В октябре я буду петь в «Тоске».

— Придется пойти, Мак,— сказал Этторе вице-консулу.— Им может понадобиться защита.

— Может быть, американская армия подоспеет к ним на защиту,— сказал вице-консул.— Хотите еще стакан, Симмонс? Саундерс, еще стаканчик?

— Давайте,— сказал Саундерс.

— Говорят, вы получаете серебряную медаль,— сказал мне Этторе.— А как вас представили — за какие заслуги?

— Не знаю. Я еще вообще не знаю, получу ли.

— Получите. Ах, черт, что будет с девушками в «Кова»! Они вообразят, что вы один убили две сотни австрийцев или захватили целый окоп. Уверяю вас, я за свои отличия честно поработал.

— Сколько их у вас, Этторе? — спросил вице-консул.

— У него все, какие только бывают,— сказал Симмонс.— Это же ради него ведется война.

— Я был представлен два раза к бронзовой медали и три раза к серебряной,— сказал Этторе.— Но получил только одну.

— А что случилось с остальными? — спросил Симмонс.

— Операция неудачно закончилась,— сказал Этторе.— Если операции заканчиваются неудачно, медалей не дают.

— Сколько раз вы были ранены, Этторе?

— Три раза тяжело. У меня три нашивки за ранения. Вот смотрите.— Он потянул кверху сукно рукава. Нашивки были параллельные серебряные полоски на черном фоне, настроченные на рукав дюймов на восемь ниже плеча.

— У вас ведь тоже есть одна,— сказал мне Этторе.— Уверяю вас, это очень хорошо — иметь нашивки. Я их предпочитаю медалям. Уверяю вас, дружище, три такие штучки — это уже кое-что. Чтоб получить хоть одну, нужно три месяца пролежать в госпитале.

— Куда вы были ранены, Этторе? — спросил вице-консул.

Этторе засучил рукав.

— Вот сюда.— Он показал длинный красный гладкий рубец.— Потом сюда, в ногу. Я не могу показать, потому что это под обмоткой; и еще в ступню. В ноге омертвел кусочек кости, и от него скверно пахнет. Каждое утро я выбираю оттуда осколки, но запах не проходит.

— Чем это вас? — спросил Симмонс.

— Ручной гранатой. Такая штука, вроде толкушки для картофеля. Так и снесла кусок ноги с одной стороны. Вам эти толкушки знакомы? — Он обернулся ко мне.

— Конечно.

— Я видел, как этот мерзавец ее бросил,— сказал Этторе.— Меня сбило с ног, и я уже думал, что песенка спета, но от этих толкушек, в общем, мало проку. Я застрелил мерзавца из винтов-

ки. Я всегда ношу винтовку, чтобы нельзя было узнать во мне офицера.

— Какой у него был вид? — спросил Симмонс.

— И всего только одна граната была у мерзавца,— сказал Этторе.— Не знаю, зачем он ее бросил. Наверно, он давно ждал случая бросить гранату. Никогда не видел настоящего боя, должно быть. Я положил мерзавца на месте.

— Какой у него был вид, когда вы его застрелили? — спросил Симмонс.

— А я почем знаю? — сказал Этторе.— Я выстрелил ему в живот. Я боялся промахнуться, если буду стрелять в голову.

— Давно вы в офицерском чине, Этторе? — спросил я.

— Два года. Я скоро буду капитаном. А вы давно в чине лейтенанта?

— Третий год.

— Вы не можете быть капитаном, потому что вы плохо знаете итальянский язык,— сказал Этторе.— Говорить вы умеете, но читаете и пишете плохо. Чтоб быть капитаном, нужно иметь образование. Почему вы не переходите в американскую армию?

— Может быть, перейду.

— Я бы тоже ничего против не имел. Сколько получает американский капитан, Мак?

— Не знаю точно. Около двухсот пятидесяти долларов, кажется.

— Ах, черт! Чего только не сделаешь на двести пятьдесят долларов. Переходили бы вы скорей в американскую армию, Фред. Может, и меня тогда пристроите.

— Охотно.

— Я умею командовать ротой по-итальянски. Мне ничего не стоит выучиться и по-английски.

— Вы будете генералом,— сказал Симмонс.

— Нет, для генерала я слишком мало знаю. Генерал должен знать чертову гибель всяких вещей. Молодчики вроде вас всегда воображают, что война — пустое дело. У вас бы смекалки не хватило даже для капрала.

— Слава богу, мне этого и не нужно,— сказал Симмонс.

— Может, еще понадобится. Вот как призовут всех таких лежебок... Ах, черт, хотел бы я, чтобы вы оба попали ко мне во взвод. И Мак тоже. Я бы сделал вас своим вестовым, Мак.

— Вы славный малый, Этторе,— сказал Мак.— Но боюсь, что вы милитарист.

— Я буду полковником еще до окончания войны,— сказал Этторе.

— Если только вас не убьют раньше.

— Не убьют.— Он дотронулся большим и указательным паль-

цами до звездочек на воротнике.— Видали, что я сделал? Всегда нужно дотронуться до звездочек, когда кто-нибудь говорит о смерти на войне.

— Ну, пошли, Сим,— сказал Саундерс, вставая.

— Поехали.

— До свидания,— сказал я.— Мне тоже пора.— Часы в баре показывали без четверти шесть.— Ciao, Этторе.

— Ciao, Фред,— сказал Этторе.— Это здорово, что вы получите серебряную медаль.

— Не знаю, получу ли.

— Наверняка получите, Фред. Я слышал, что вы наверняка получите ее.

— Ну, до свидания,— сказал я.— Смотрите не попадите в беду, Этторе.

— Не беспокойтесь обо мне. Я не пью и не шляюсь. Я не забулдыга и не бабник. Я знаю, что хорошо и что плохо.

— До свидания,— сказал я.— Я рад, что вас произведут в капитаны.

— Мне не придется ждать производства. Я стану капитаном за боевые заслуги. Вы же знаете. Три звездочки со скрещенными шпагами и короной сверху. Вот это я и есть.

— Всего хорошего.

— Всего хорошего. Когда вы возвращаетесь на фронт?

— Теперь уже скоро.

— Ну, еще увидимся.

— До свидания.

— До свидания. Не хворайте.

Я пошел переулком, откуда через проходной двор можно было выйти к госпиталю. Этторе было двадцать три года. Он вырос у дяди в Сан-Франциско и только что приехал погостить к родителям в Турин, когда объявили войну. У него была сестра, которая вместе с ним воспитывалась у американского дяди и в этом году должна была окончить педагогический колледж. Он был из тех стандартизованных героев, которые на всех нагоняют скуку. Кэтрин его терпеть не могла.

— У нас тоже есть герои,— говорила она,— но знаешь, милый, они обычно гораздо тише.

— Мне он не мешает.

— Мне тоже, но уж очень он тщеславный, и потом, он на меня нагоняет скуку, скуку, скуку.

— Он и на меня нагоняет скуку.

— Ты это для меня говоришь, милый. Но это ни к чему. Можно представить себе его на фронте, и, наверно, он там делает свое дело, но я таких мальчишек не выношу.

— Ну, и не стоит обращать на него внимание.

— Это ты опять для меня говоришь, и я буду стараться, чтоб он мне нравился, но, право же, он противный, противный мальчишка.

— Он сегодня говорил, что будет капитаном.

— Как хорошо! — сказала Кэтрин.— Он, наверно, очень доволен.

— Ты бы хотела, чтоб у меня был чин повыше?

— Нет, милый. Я только хочу, чтобы у тебя был такой чин, чтобы нас пускали в хорошие рестораны.

— Для этого у меня достаточно высокий чин.

— У тебя прекрасный чин. Я вовсе не хочу, чтоб у тебя был более высокий чин. Это могло бы вскружить тебе голову. Ах, милый, я так рада, что ты не тщеславный. Я бы все равно вышла за тебя, даже если б ты был тщеславный, но это так спокойно, когда муж не тщеславный.

Мы тихо разговаривали, сидя на балконе. Луне пора было взойти, но над городом был туман, и она не взошла, и потом начало моросить, и мы вошли в комнату. Туман перешел в дождь, и спустя немного дождь полил очень сильно, и мы слышали, как он барабанит по крыше. Я встал и подошел к двери, чтобы посмотреть, не заливает ли в комнату, но оказалось, что нет, и я оставил дверь открытой.

— Кого ты еще видел? — спросила Кэтрин.

— Мистера и миссис Мейерс.

— Странная они пара.

— Говорят, на родине он сидел в тюрьме. Его выпустили, чтоб он мог умереть на свободе.

— И с тех пор он счастливо живет в Милане?

— Не знаю, счастливо ли.

— Достаточно счастливо после тюрьмы, надо полагать.

— Она собирается сюда с подарками.

— Она привозит великолепные подарки. Ты, конечно, тоже ее милый мальчик?

— А как же.

— Вы все ее милые мальчики,— сказала Кэтрин.— Она особенно любит милых мальчиков. Слышишь — дождь.

— Сильный дождь.

— А ты меня никогда не разлюбишь?

— Нет.

— И это ничего, что дождь?

— Ничего.

— Как хорошо. А то я боюсь дождя.

— Почему?

Меня клонило ко сну. За окном упорно лил дождь.

— Не знаю, милый. Я всегда боялась дождя.

— Я люблю дождь.

— Я люблю гулять под дождем. Но для любви это плохая примета.

— Я тебя всегда буду любить.

— Я тебя буду любить в дождь, и в снег, и в град, и... что еще бывает?

— Не знаю. Мне что-то спать хочется.

— Спи, милый, а я буду любить тебя, что бы ни было.

— Ты в самом деле боишься дождя?

— Когда я с тобой, нет.

— Почему ты боишься?

— Не знаю.

— Скажи.

— Не заставляй меня.

— Скажи.

— Нет.

— Скажи.

— Ну, хорошо. Я боюсь дождя, потому что иногда мне кажется, что я умру в дождь.

— Что ты!

— А иногда мне кажется, что ты умрешь.

— Вот это больше похоже на правду.

— Вовсе нет, милый. Потому что я могу тебя уберечь. Я знаю, что могу. Но себе ничем не поможешь.

— Пожалуйста, перестань. Я сегодня не хочу слушать сумасшедшие шотландские бредни. Нам не так много осталось быть вместе.

— Что же делать, если я шотландка и сумасшедшая. Но я перестану. Это все глупости.

— Да, это все глупости.

— Это все глупости. Это только глупости. Я не боюсь дождя. Я не боюсь дождя. Ах, господи, господи, если б я могла не бояться!

Она плакала. Я стал утешать ее, и она перестала плакать. Но дождь все шел.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Как-то раз после обеда мы отправились на скачки. С нами были Фергюсон и Кроуэлл Роджерс, тот самый, что был ранен в глаза при разрыве дистанционной трубки. Пока девушки одевались, мы с Роджерсом сидели на кровати в его комнате и просматривали в спортивном листке отчеты о последних скачках и имена предполагаемых победителей. У Кроуэлла вся голова была забинтована,

и он очень мало интересовался скачками, но постоянно читал спортивный листок и от нечего делать следил за всеми лошадьми. Он говорил, что все лошади — страшная дрянь, но лучших тут нет. Старый Мейерс любил его и давал ему советы. Мейерс всегда выигрывал, но не любил давать советы, потому что это уменьшало выдачу. На скачках было много жульничества. Жокеи, которых выгнали со всех ипподромов мира, работали в Италии. Советы Мейерса всегда были хороши, но я не любил спрашивать его, потому что иногда он не отвечал вовсе, а когда отвечал, видно было, что ему очень не хочется это делать, но по каким-то причинам он считал себя обязанным подсказывать нам, и Кроуэллу он подсказывал с меньшей неохотой, чем другим. У Кроуэлла были повреждены глаза, один глаз был повреждён серьезно, и у Мейерса тоже что-то было неладно с глазами, и поэтому он любил Кроуэлла. Мейерс никогда не говорил жене, на какую лошадь он ставит, и она то выигрывала, то проигрывала, чаще проигрывала, и все время болтала.

Вчетвером мы в открытом экипаже поехали в Сан-Сиро. День был прекрасный, и мы ехали через парк, потом ехали вдоль трамвайных путей и наконец выехали за город, где дорога была очень пыльная. По сторонам тянулись виллы за железными оградами и большие запущенные сады, и канавы с проточной водой, и огороды с запыленной зеленью на грядках. Вдали на равнине виднелись фермерские дома и обширные зеленые участки с каналами искусственного орошения, а на севере поднимались горы. По дороге к ипподрому двигалось много экипажей, и контролер у ворот пропустил нас без билетов, потому что мы были в военной форме. Мы вышли из экипажа, купили программу, пересекли круг и по гладкому плотному дерну дорожки пошли к паддоку. Трибуны были деревянные и старые, а ниже трибун были кассы, и еще другой ряд касс был возле конюшен. У забора толпились солдаты. На паддоке было довольно много народу. Под деревьями, за большой трибуной, конюхи проводили лошадей. Мы увидели знакомых и раздобыли для Фергюсон и Кэтрин стулья и стали смотреть на лошадей.

Они ходили по кругу, гуськом, опустив голову, на поводу у конюхов. Одна лошадь была вороная с лиловатым отливом, и Кроуэлл клялся, что она крашеная. Мы всмотрелись получше и решили, что, пожалуй, он прав. Эту лошадь вывели только за минуту, перед тем как дали сигнал седлать. Мы разыскали ее в программе по номеру у конюха на рукаве, и там значилось: вороной мерин, кличка «Япалак». Предстоял заезд для лошадей, ни разу не бравших приза больше тысячи лир. Кэтрин была твердо убеждена, что у лошади искусственно изменена масть. Фергюсон сказала, что она не уверена. Мне это дело тоже казалось подозри-

тельным. Мы все решили играть эту лошадь и поставили сто лир. В расчетном листке было сказано, что выдача за нее будет тридцатипятикратная. Кроуэлл пошел покупать билеты, и мы остались и смотрели, как жокеи сделали еще один круг под деревьями и потом выехали на дорожку и медленным галопом направились к повороту, на место старта.

Мы поднялись на трибуну, чтоб следить за скачкой. В то время в Сан-Сиро не было резиновой ленточки, и стартер выровнял всех лошадей,— они казались совсем маленькими вдали на дорожке,— и затем, хлопнув своим длинным бичом, дал старт. Они прошли мимо нас; вороная лошадь скакала впереди, и на повороте оставила всех других далеко за собой. Я смотрел в бинокль, как они шли по задней дорожке, и видел, что жокей изо всех сил старается сдержать ее, но он не мог сдержать ее, и когда они вышли из-за поворота на переднюю дорожку, вороная шла на пятнадцать корпусов впереди остальных. Пройдя столб, она сделала еще полкруга.

— Ах, как чудно,— сказала Кэтрин.— Мы получим больше трех тысяч лир. Просто замечательная лошадь.

— Надеюсь,— сказал Кроуэлл,— краска не слиняет до выдачи.

— Нет, правда, чудесная лошадь,— сказала Кэтрин.— Интересно, мистер Мейерс на нее ставил?

— Выиграли? — крикнул я Мейерсу. Он кивнул.

— А я нет,— сказала миссис Мейерс.— А вы, дети, на кого ставили?

— На Япалака.

— Да ну? За него тридцать пять дают.

— Нам понравилась его масть.

— А мне нет. Он мне показался каким-то жалким. Говорили, что на него не стоит ставить.

— Выдача будет небольшая,— сказал Мейерс.

— По подсчетам, тридцать пять,— сказал я.

— Выдача будет небольшая,— сказал Мейерс.— Его заиграли в последнюю минуту.

— Кто?

— Кэмптон со своими ребятами. Вот увидите. Хорошо, если вдвое выдадут.

— Значит, мы не получим три тысячи лир? — сказала Кэтрин.— Мне не нравятся эти скачки. Просто жульничество.

— Мы получим двести лир.

— Это чепуха. Это нам ни к чему. Я думала, мы получим три тысячи.

— Жульничество и гадость,— сказала Фергюсон.

— Правда, не будь тут жульничества, мы бы на нее не ста-

вили,— сказала Кэтрин.— Но мне нравилось, что мы получим три тысячи лир.

— Идемте вниз, выпьем чего-нибудь и узнаем, какая выдача,— сказал Кроуэлл.

Мы спустились вниз, к доске, где вывешивали номера победителей, и в это время зазвенел сигнал к выдаче, и против Япалака вывесили «восемнадцать пятьдесят». Это значило, что выдача меньше чем вдвое.

Мы спустились в бар под большой трибуной и выпили по стакану виски с содовой. Мы натолкнулись там на двух знакомых итальянцев и Мак-Адамса, вице-консула, и они все пошли вместе с нами наверх. Итальянцы держали себя очень церемонно. Мак-Адамс завел разговор с Кэтрин, а мы пошли вниз делать ставки. У одной из касс стоял мистер Мейерс.

— Спросите его, на какую он ставит,— сказал я Кроуэллу.

— Какую играете, мистер Мейерс? — спросил Кроуэлл.

Мейерс вынул свою программу и карандашом указал на номер пятый.

— Вы не возражаете, если мы тоже на нее поставим? — спросил Кроуэлл.

— Валяйте, валяйте. Только не говорите жене, что это я вам посоветовал.

— Давайте выпьем чего-нибудь,— сказал я.

— Нет, спасибо. Я никогда не пью.

Мы поставили на номер пятый сто лир в ординаре и сто в двойном и выпили еще по стакану виски с содовой. Я был в прекрасном настроении, и мы подцепили еще двоих знакомых итальянцев и выпили с каждым из них и потом вернулись наверх. Эти итальянцы тоже были очень церемонны и не уступали в этом отношении тем двоим, которых мы повстречали раньше. Из-за их церемонности никому не сиделось на месте. Я отдал Кэтрин билеты.

— Какая лошадь?

— Не знаю. Это по выбору мистера Мейерса.

— Вы даже не знаете ее клички?

— Нет. Можно посмотреть в программе. Кажется, пятый номер.

— Ваша доверчивость просто трогательна,— сказала она. Номер пятый выиграл, но выдача была ничтожная.

Мистер Мейерс сердился.

— Нужно ставить двести лир, чтобы получить двадцать,— сказал он.— Двенадцать лир за десять. Не стоит труда. Моя жена выиграла двадцать лир.

— Я пойду с вами вниз,— сказала Кэтрин.

Все итальянцы встали. Мы спустились вниз и подошли к паддоку.

— Тебе тут нравится? — спросила Кэтрин.

— Да. Ничего себе.

— В общем, тут забавно,— сказала она.— Но знаешь, милый, я не выношу, когда так много знакомых.

— Не так уж их много.

— Правда. Но эти Мейерсы и этот из банка с женой и дочерьми...

— Он платит по моим чекам,— сказал я.

— Ну, не он, кто-нибудь другой платил бы. А эта последняя четверка итальянцев просто ужасна.

— Можно остаться здесь и отсюда смотреть следующий заезд.

— Вот это чудесно. И знаешь что, милый, давай поставим на такую лошадь, которой мы совсем не знаем и на которую не ставит мистер Мейерс.

— Давай.

Мы поставили на лошадь с кличкой «Свет очей», и она пришла четвертой из пяти. Мы облокотились на ограду и смотрели на лошадей, которые проносились мимо нас, стуча копытами, и видели горы вдали и Милан за деревьями и полями.

— Я здесь себя чувствую как-то чище,— сказала Кэтрин.

Лошади, мокрые и дымящиеся, возвращались через ворота. Жокеи успокаивали их, подъезжая к деревьям, чтобы спешиться.

— Давай выпьем чего-нибудь. Только здесь, чтобы видеть лошадей.

— Сейчас принесу,— сказал я.

— Мальчик принесет,— сказала Кэтрин. Она подняла руку, и к нам подбежал мальчик из бара «Пагода» возле конюшен. Мы сели за круглый железный столик.

— Ведь правда, лучше, когда мы одни?

— Да,— сказал я.

— Я себя чувствовала такой одинокой, когда с нами были все эти люди.

— Здесь очень хорошо,— сказал я.

— Да. Ипподром замечательный.

— Недурной.

— Не давай мне портить тебе удовольствие, милый. Мы вернемся наверх, как только ты захочешь.

— Нет,— сказал я. Мы останемся здесь и будем пить. А потом пойдем и станем у рва с водой на стипль-чезе.

— Ты так добр ко мне,— сказала она.

После того как мы побыли вдвоем, нам приятно было опять увидеть остальных. Мы прекрасно провели день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В сентябре наступили первые холодные ночи, потом и дни стали холодные, и на деревьях в парке начали желтеть листья, и мы поняли, что лето прошло. На фронте дела шли очень плохо, и Сан-Габриеле все не удавалось взять. На плато Баинзицца боев уже не было, а к середине месяца прекратились бои и под Сан-Габриеле. Взять его так и не удалось. Этторе уехал на фронт. Лошадей увезли в Рим, и скачек больше не было. Кроуэлл тоже уехал в Рим, откуда должен был эвакуироваться в Америку. В городе два раза вспыхивали антивоенные бунты, и в Турине тоже были серьезные беспорядки. Один английский майор сказал мне в клубе, что итальянцы потеряли полтораста тысяч человек на плато Баинзицца и под Сан-Габриеле. Он сказал, что, кроме того, они сорок тысяч потеряли на Карсо. Мы выпили, и он разговорился. Он сказал, что в этом году уже не будет боев и что итальянцы откусили больше, чем могли проглотить. Он сказал, что наступление во Фландрии обернулось скверно. Если и дальше будут так же мало беречь людей, как в эту осень, то союзники через год выдохнутся. Он сказал, что мы все уже выдохлись и что это ничего до тех пор, пока мы сами этого не знаем. Мы все выдохлись. Вся штука в том, чтоб не признавать этого. Та страна, которая последней поймет, что она выдохлась, выиграет войну. Мы выпили еще. Не из штаба ли я? Нет. А он — да. Все чушь. Мы сидели вдвоем, развалившись на одном из больших кожаных диванов клуба. Сапоги у него были из матовой кожи и тщательно начищены. Это были роскошные сапоги. Он сказал, что все чушь. У всех на уме только дивизии и пополнения. Грызутся из-за дивизий, а как получат их, так сейчас и угробят. Все выдохлись. Победа все время за немцами. Вот это, черт подери, солдаты! Старый гунн, вот это солдат. Но и они выдохлись тоже. Мы все выдохлись. Я спросил про русских. Он сказал, что и они уже выдохлись. Я скоро сам увижу, что они выдохлись. Да и австрийцы выдохлись тоже. Вот если бы им получить несколько дивизий гуннов, тогда бы они справились. Думает ли он, что они перейдут в наступление этой осенью? Конечно, да. Итальянцы выдохлись. Все знают, что они выдохлись. Старый гунн пройдет через Трентино и перережет у Виченцы железнодорожное сообщение,— вот наши итальянцы и готовы. Австрийцы уже пробовали это в шестнадцатом, сказал я. Но без немцев. Верно, сказал я. Но они вряд ли пойдут на это, сказал он. Это слишком просто. Они придумают что-нибудь посложнее и на этом окончательно выдохнутся. Мне пора, сказал я. Пора возвращаться в госпиталь.

— До свидания,— сказал он. Потом весело: — Всяческих благ.— Пессимизм его суждений находился в резком противоречии с его веселым нравом.

Я зашел в парикмахерскую и побрился, а потом пошел в госпиталь. Моя нога к этому времени уже поправилась настолько, что большего пока нельзя было ожидать. Три дня назад я был на освидетельствовании. Мне оставалось лишь несколько процедур, чтобы закончить курс лечения в Ospedale Maggiore, и я шел по переулку, стараясь не хромать. Под навесом старик вырезывал силуэты. Я остановился посмотреть. Две девушки стояли перед ним, и он вырезывал их силуэты вместе, поглядывая на них, откинув голову набок и очень быстро двигая ножницами. Девушки хихикали. Он показал мне силуэты, прежде чем наклеить их на белую бумагу и передать девушкам.

— Что, хороши? — сказал он.— Не угодно ли вам, tenente?

Девушки ушли, рассматривая свои силуэты и смеясь. Обе были хорошенькие. Одна из них служила в закусочной напротив госпиталя.

— Пожалуй,— сказал я.

— Только снимите кепи.

— Нет. В кепи.

— Так будет хуже,— сказал старик.— Впрочем,— его лицо прояснилось,— так будет воинственнее.

Он задвигал ножницами по черной бумаге, потом разнял обе половинки листа, наклеил два профиля на картон и подал мне.

— Сколько вам?

— Ничего, ничего.— Он помахал рукой.— Я вам их просто так сделал.

— Пожалуйста.— Я вынул несколько медяков.— Доставьте мне удовольствие.

— Нет. Я сделал их для собственного удовольствия. Подарите их своей милой.

— Спасибо и до свидания.

— До скорой встречи.

Я вернулся в госпиталь. Для меня были в канцелярии письма, одно официальное и еще несколько. Мне предоставлялся трехнедельный отпуск для поправления здоровья, после чего я должен был вернуться на фронт. Я внимательно перечел это. Да, так и есть. Отпуск будет считаться с 4 октября, когда я закончу курс лечения. В трех неделях двадцать один день. Это выходит 25 октября. Я сказал, что погуляю еще немного, и пошел в ресторан через несколько домов от госпиталя поужинать и просмотреть за столом письма и «Коррьере делла сера». Одно письмо было от моего деда, в нем были семейные новости, патриотические наставления, чек на двести долларов и несколько газетных вырезок. Потом было

скучное письмо от нашего священника, письмо от одного знакомого летчика, служившего во французской авиации, который попал в веселую компанию и об этом рассказывал, и записка от Риальди, спрашивавшего, долго ли я еще намерен отсиживаться в Милане и вообще какие новости. Он просил, чтоб я привез ему граммофонные пластинки по приложенному списку. Я заказал к ужину бутылку кьянти, затем выпил кофе с коньяком, дочитал газету, положил все письма в карман, оставил газету на столе вместе с чаевыми и вышел. В своей комнате в госпитале я снял форму, надел пижаму и халат, опустил занавеси на балконной двери и, полулежа в постели, принялся читать бостонские газеты, из тех, что привозила своим мальчикам миссис Мейерс. Команда «Чикаго-Уайт-Сокс» взяла приз Американской лиги, а в Национальной лиге впереди шла команда «Нью-Йорк-Джайэнтс». Бейб Рут играл теперь за Бостон. Газеты были скучные, новости были затхлые и узкоместные, известия с фронта устарелые. Из американских новостей только и говорилось, что об учебных лагерях. Я радовался, что я не в учебном лагере. Кроме спортивных известий, я ничего не мог читать, да и это читал без малейшего интереса. Когда читаешь много газет сразу, невозможно читать с интересом. Газеты были не очень новые, но я все же читал их. Я подумал, закроются ли спортивные союзы, если Америка по-настоящему вступит в войну. Должно быть, нет. В Милане по-прежнему бывают скачки, хотя война в разгаре. Во Франции скачек уже не бывает. Это оттуда привезли нашего Япалака. Дежурство Кэтрин начиналось только с девяти часов. Я слышал ее шаги по коридору, когда она пришла на дежурство, и один раз видел ее в раскрытую дверь. Она обошла несколько палат и наконец вошла в мою.

— Я сегодня поздно, милый,— сказала она.— Много дела. Ну, как ты?

Я рассказал ей про газеты и про отпуск.

— Чудесно,— сказала она.— Куда же ты думаешь ехать?

— Никуда. Думаю остаться здесь.

— И очень глупо. Ты выбери хорошее местечко, и я тоже поеду с тобой.

— А как же ты это сделаешь?

— Не знаю. Как-нибудь.

— Ты прелесть.

— Вовсе нет. Но в жизни не так уж трудно устраиваться, когда нечего терять.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Я только подумала, как ничтожны теперь препятствия, которые казались непреодолимыми.

— По-моему, это довольно трудно будет устроить.

— Ничуть, милый. В крайнем случае я просто брошу все и уеду. Но до этого не дойдет.

— Куда же нам поехать?

— Все равно. Куда хочешь. Где мы никого не знаем.

— А тебе совсем все равно, куда ехать?

— Да. Только бы уехать.

Она была какая-то напряженная и озабоченная.

— Что случилось, Кэтрин?

— Ничего. Ничего не случилось.

— Неправда.

— Правда. Ровно ничего.

— Я знаю, что неправда. Скажи, дорогая. Мне ты можешь сказать.

— Ничего не случилось.

— Скажи.

— Я не хочу. Я боюсь, это тебя огорчит или встревожит.

— Да нет же.

— Ты уверен? Меня это не огорчает, но я боюсь огорчить тебя.

— Раз это тебя не огорчает, то и меня тоже нет.

— Мне не хочется говорить.

— Скажи.

— Это необходимо?

— Да.

— У меня будет ребенок, милый. Уже почти три месяца. Но ты не будешь огорчаться, правда? Не надо. Не огорчайся.

— Не буду.

— Правда не будешь?

— Конечно.

— Я все делала. Я все пробовала, но ничего не помогло.

— Я и не думаю огорчаться.

— Так уж вышло, и я не стала огорчаться, милый. И ты не огорчайся и не тревожься.

— Я тревожусь только о тебе.

— Ну вот! Как раз этого и не надо. У всех родятся дети. У других все время родятся дети. Совершенно естественная вещь.

— Ты прелесть.

— Вовсе нет. Но ты не думай об этом, милый. Я постараюсь не причинять тебе беспокойства. Я знаю, что сейчас я тебе причинила беспокойство. Но ведь до сих пор я держалась молодцом, правда? Тебе и в голову не приходило?

— Нет.

— И дальше так будет. Ты совсем не должен огорчаться. Я вижу, что ты огорчен. Перестань. Перестань сейчас же. Хо-

чешь выпить чего-нибудь, милый? Я знаю, стоит тебе выпить, и ты развеселишься.

— Нет. Я и так веселый. А ты прелесть.

— Вовсе нет. Но я все улажу, и мы будем вместе, а ты только выбери место, куда нам поехать. Октябрь, наверно, будет чудесный. Мы чудесно проведем это время, милый, а когда ты будешь на фронте, я буду писать тебе каждый день.

— А ты где будешь?

— Я еще не знаю. Но непременно в самом замечательном месте. Я обо всем позабочусь.

Мы притихли и перестали разговаривать. Кэтрин сидела на постели, и я смотрел на нее, но мы не прикасались друг к другу. Каждый из нас был сам по себе, как бывает, когда в комнату входит посторонний и все вдруг настораживаются. Она протянула руку и положила ее на мою.

— Ты не сердишься, милый, скажи?

— Нет.

— И у тебя нет такого чувства, будто ты попал в ловушку?

— Немножко есть, пожалуй. Но не из-за тебя.

— Я и не думаю, что из-за меня. Не говори глупостей. Я хочу сказать — вообще в ловушку.

— Физиология всегда ловушка.

Она вдруг далеко ушла от меня, хотя не шевельнулась и не отняла руки.

— Всегда — нехорошее слово.

— Прости.

— Да нет, ничего. Но ты понимаешь, у меня никогда не было ребенка, и я никогда никого не любила. И я старалась быть такой, как ты хотел, а ты вдруг говоришь «всегда».

— Ну давай я отрежу себе язык,— предложил я.

— Милый! — Она вернулась ко мне издалека.— Не обращай внимания.— Мы снова были вместе, и настороженность исчезла.— Ведь, правда же, мы с тобой — одно, и не стоит придираться к пустякам.

— И не нужно.

— А бывает. Люди любят друг друга, и придираются к пустякам, и ссорятся, и потом вдруг сразу перестают быть одно.

— Мы не будем ссориться.

— И не надо. Потому что ведь мы с тобой только вдвоем против всех остальных в мире. Если что-нибудь встанет между нами, мы пропали, они нас схватят.

— Им до нас не достать,— сказал я.— Потому что ты очень храбрая. С храбрыми не бывает беды.

— Все равно, и храбрые умирают.

— Но только один раз.

— Так ли? Кто это сказал?

— Трус умирает тысячу раз, а храбрый только один?

— Ну да. Кто это сказал?

— Не знаю.

— Сам был трус, наверно,— сказала она.— Хорошо разбирался в трусах, но в храбрых не смыслил ничего. Храбрый, может быть, две тысячи раз умирает, если он умен. Только он об этом не рассказывает.

— Не знаю. Храброму в душу не заглянешь.

— Да. Этим он и силен.

— Ты говоришь со знанием дела.

— Ты прав, милый. На этот раз ты прав.

— Ты сама храбрая.

— Нет,— сказала она.— Но я бы хотела быть храброй.

— А я не храбрый,— сказал я.— Я знаю себе цену. У меня было достаточно времени, чтобы узнать. Я точно бейсболист, который выбивает двадцать два за сезон и знает, что на большее он не способен.

— Что это значит: «выбивает двадцать два за сезон»? Звучит очень важно.

— Совсем не важно. Это значит — очень посредственный игрок нападения в бейсбольной команде.

— Но все-таки игрок нападения,— поддразнила она меня.

— Кажется, нам друг друга не переспорить,— сказал я.— Но ты храбрая.

— Нет. Но надеюсь когда-нибудь стать храброй.

— Мы оба храбрые,— сказал я.— Когда я выпью, так я совсем храбрый.

— Мы замечательные люди,— сказала Кэтрин. Она подошла к шкафу и достала коньяк и стакан.— Выпей, милый,— сказала она.— Это тебе за хорошее поведение.

— Да мне не хочется.

— Выпей, выпей.

— Ну, хорошо.— Я налил треть стакана коньяку и выпил.

— Однако,— сказала она.— Я знаю, что коньяк — напиток героев. Но не надо увлекаться.

— Где мы будем жить после войны?

— Вероятно, в богадельне,— сказала она.— Три года я была очень наивна и надеялась, что война кончится к рождеству. Но теперь я надеюсь, что она кончится, когда наш сын будет лейтенантом.

— А может, он будет генералом.

— Если это столетняя война, он и до генерала успеет дослужиться.

— Ты не хочешь выпить?

— Нет. Ты от коньяка всегда веселеешь, милый, а у меня голова кружится.

— Ты никогда не пила коньяк?

— Нет, милый. Я ужасно старомодная жена.

Я потянулся за бутылкой и налил себе еще коньяку.

— Надо пойти взглянуть на твоих соотечественников,— сказала Кэтрин.— Может, ты пока почитаешь газеты?

— Тебе непременно нужно идти?

— Если не сейчас, то позже.

— Лучше сейчас.

— Я скоро вернусь.

— Я успею дочитать газеты,— сказал я.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Ночью стало холодно, и на следующий день шел дождь. Когда я возвращался из Ospedale Maggiore, дождь был очень сильный, и я насквозь промок. Балкон моей комнаты заливало потоками дождя, и ветер гнал их в стекло балконной двери. Я переоделся и выпил коньяку, но у коньяка был неприятный вкус. Ночью я почувствовал себя плохо, и наутро после завтрака меня вырвало.

— Картина ясная,— сказал госпитальный врач.— Взгляните на белки его глаз, мисс.

Мисс Гэйдж взглянула. Мне дали зеркало, чтобы и я мог взглянуть. Белки глаз были желтые, это была желтуха. Я проболел две недели. Из-за этого сорвался мой отпуск, который мы собирались провести вместе. Мы хотели поехать в Палланцу на Лаго-Маджоре. Там хорошо осенью, когда начинают желтеть листья. Есть где погулять, и в озере можно ловить форель. Там было бы лучше, чем в Стрезе, потому что в Палланце народу меньше. В Стрезу так удобно ездить из Милана, что там всегда полно знакомых. Близ Палланцы есть очень славные деревушки, и на гребной лодке можно добираться до рыбачьих островов, а на самом большом острове есть ресторан. Но нам не пришлось поехать.

Как-то, когда я лежал больной желтухой, мисс Ван-Кампен вошла в комнату, распахнула дверцы гардероба и увидела пустые бутылки. Я только что послал швейцара вынести целую охапку бутылок, и, наверно, она видела, как он выходил с ними, и пришла посмотреть, нет ли еще. Больше всего было бутылок из-под вермута, бутылок из-под марсалы, бутылок из-под капри, пустых фляг из-под кьянти и несколько бутылок было из-под коньяка. Швейцар унес самые большие бутылки, те, в которых был вермут, и оплетенные соломой фляги из-под кьянти, а бутылки из-под коньяка он оставил напоследок. Те бутылки, которые нашла мисс

Ван-Кампен, были из-под коньяка, и одна бутылка, в виде медведя, была из-под кюммеля. Бутылка-медведь привела мисс Ван-Кампен в особенную ярость. Она взяла ее в руки. Медведь сидел на задних лапах, подняв переднюю, в его стеклянной голове была пробка, а ко дну пристало несколько липких кристалликов. Я засмеялся.

— Тут был кюммель,— сказал я.— Самый лучший кюммель продают в таких бутылках-медведях. Его привозят из России.

— Это все бутылки из-под коньяка, если не ошибаюсь? — спросила мисс Ван-Кампен.

— Мне отсюда не видно,— сказал я.— Но по всей вероятности — да.

— Сколько времени это продолжается?

— Я сам покупал их и приносил сюда,— сказал я.— Меня часто навещали итальянские офицеры, и я держал коньяк, чтоб угощать их.

— Но сами вы не пили?

— Сам тоже пил.

— Коньяк! – сказала она.— Одиннадцать пустых бутылок из-под коньяка и эта медвежья жидкость.

— Кюммель.

— Сейчас я пришлю кого-нибудь, чтобы их убрали. Больше у вас нет пустых бутылок?

— Пока — нет.

— А я еще жалела вас, когда вы заболели желтухой. Жалость к вам — это зря потраченная жалость.

— Благодарю вас.

— Я готова понять, что вам не хочется возвращаться на фронт. Но вы могли бы изобрести что-нибудь более остроумное, чем вызвать у себя желтуху потреблением алкоголя.

— Чем?

— Потреблением алкоголя. Вы очень хорошо слышали, что я сказала.— Я молчал.— Боюсь, что, если вы не придумаете чего-нибудь еще, вам придется отправиться на фронт, как только пройдет ваша желтуха. Не думаю, чтобы после умышленно вызванной желтухи полагался отпуск для поправления здоровья.

— Вы не думаете?

— Не думаю.

— Вы когда-нибудь болели желтухой, мисс Ван-Кампен?

— Нет, но я не раз наблюдала эту болезнь.

— Вы заметили, какое удовольствие она доставляет больным?

— Вероятно, это все же лучше, чем фронт.

— Мисс Ван-Кампен,— сказал я,— вы когда-нибудь видели человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, лягнул бы самого себя в мошонку?

Мисс Ван-Кампен пропустила вопрос мимо ушей. Она должна была или пропустить его мимо ушей, или уйти из моей комнаты. Уходить ей не хотелось, потому что она невзлюбила меня уже давно и теперь готовилась свести со мной счеты.

— Я видела много людей, которые спасались от фронта умышленным членовредительством.

— Вопрос не в том. Умышленное членовредительство я и сам видел. Я спросил, видели ли вы когда-нибудь человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, лягнул бы себя ногой в мошонку? Потому что это ощущение ближе всего к желтухе, и я думаю, что не многим женщинам оно знакомо. Вот я и спросил, была ли у вас когда-нибудь желтуха, мисс Ван-Кампен, потому что...

Мисс Ван-Кампен вышла из комнаты. Немного спустя вошла мисс Гэйдж.

— Что вы такое сказали Ван-Кампен? Она взбешена.

— Мы сравнивали различные ощущения. Я высказал предположение, что ей никогда не случалось рожать...

— Вы сумасшедший,— сказала Гэйдж.— Она готова содрать с вас кожу живьем.

— Она уже ее содрала,— сказал я.— Она провалила мой отпуск, а теперь, пожалуй, захочет подвести меня под полевой суд. С нее станется.

— Она всегда вас недолюбливала,— сказал Гэйдж.— А из-за чего вышел разговор?

— Она говорит, что я нарочно допился до желтухи, чтобы не возвращаться на фронт.

— Пфф,— сказала Гэйдж.— Да я присягну, что вы никогда капли в рот не брали. Все присягнут, что вы никогда капли в рот не брали.

— Она нашла бутылки.

— Сто раз я вам говорила: нужно убирать эти бутылки. Где они?

— В гардеробе.

— У вас есть чемодан?

— Нет. Суньте в этот рюкзак.

Мисс Гэйдж упаковала бутылки в рюкзак.

— Я их отдам швейцару,— сказала она, направляясь к двери.

— Одну минуту,— сказала мисс Ван-Кампен.— Эти бутылки я захвачу.— С ней был швейцар.— Возьмите это, пожалуйста,— сказала она.— Я хочу показать их доктору, когда буду докладывать ему.

Она пошла по коридору. Швейцар понес рюкзак. Он знал, что в нем.

Ничего не случилось, только мой отпуск пропал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В тот вечер, когда я должен был ехать на фронт, я послал швейцара на вокзал занять для меня место в вагоне, как только поезд придет из Турина. Поезд уходил в полночь. Состав формировался в Турине и около половины одиннадцатого прибывал в Милан и стоял у перрона до самого отправления. Чтоб получить место, нужно было попасть на вокзал раньше, чем придет поезд. Швейцар взял с собой приятеля, пулеметчика в отпуску, работавшего в портняжной мастерской, и был уверен, что вдвоем им удастся занять для меня место. Я дал им денег на перронные билеты и велел захватить мой багаж. У меня был большой рюкзак и две походные сумки.

Около пяти часов я распрощался в госпитале и вышел. Швейцар уже снес мой багаж к себе в швейцарскую, и я сказал, что буду на вокзале незадолго до полуночи. Его жена назвала меня «signorino» и заплакала. Потом вытерла глаза, потрясла мою руку и заплакала снова. Я потрепал ее по плечу, и она заплакала еще раз. Это была низенькая, пухлая, седая женщина с добрым лицом. Она всегда штопала мне носки. Когда она плакала, у нее все лицо точно расползалось. Я пошел в бар на углу и там стал дожидаться, глядя в окно. На улице было темно, и холодно, и туманно. Я уплатил за стакан кофе с граппой и смотрел, как люди идут мимо в полосе света от окна. Я увидел Кэтрин и постучал в окно. Она глянула, увидела меня и улыбнулась, и я вышел ей навстречу. На ней был темно-синий плащ и мягкая фетровая шляпа. Мы вместе пошли по тротуару мимо винных погребков, потом через рыночную площадь и дальше по улице и, пройдя под аркой, вышли на соборную площадь. Ее пересекали трамвайные рельсы, а за ними был собор. Он был белый и мокрый в тумане. Мы перешли рельсы. Слева от нас были магазины с освещенными витринами и вход в Galleria. Над площадью туман сгущался, и собор вблизи был очень большой, а камень стен мокрый.

— Хочешь, войдем?

— Нет,— сказала Кэтрин.

Мы пошли дальше. В тени одного из каменных контрфорсов стоял солдат с девушкой, и мы прошли мимо них. Они стояли, вплотную прижавшись к стене, и он укрыл ее своим плащом.

— Они похожи на нас,— сказал я.

— Никто не похож на нас,— сказала Кэтрин. Она думала не о радостном.

— Им даже пойти некуда.

— Может быть, так для них лучше.

— Не знаю. Все-таки нужно, чтоб у каждого было куда пойти.

— У них есть собор,— сказала Кэтрин.

Мы уже миновали его. Мы перешли на другую сторону и оглянулись на собор. Он был красивый в тумане. Мы стояли перед магазином кожаных изделий. В витрине были сапоги для верховой езды, рюкзак и пьексы. Все это было разложено отдельно: рюкзак посредине, сапоги с одной стороны, пьексы — с другой. Кожа была темная, гладкая и лоснилась, точно на потертом седле. Электрический свет бросал длинные блики на тускло лоснившуюся кожу.

— Когда-нибудь мы с тобой походим на лыжах.

— Через два месяца начинается лыжный сезон в Мюррене,— сказала Кэтрин.

— Давай поедем туда.

— Давай,— сказала она. Мы прошли вдоль других витрин и свернули в переулок.

— Я здесь ни разу не была.

— Этой дорогой я всегда ходил в Ospedale Maggiore,— сказал я.

Переулок был узкий, и мы держались правой стороны. В густом тумане встречалось много прохожих. Во всех лавках, мимо которых мы проходили, были освещены окна. Мы загляделись на пирамиду сыра в одном окне. Перед оружейной лавкой я остановился.

— Зайдем на минутку. Мне нужно кое-что купить.

— А что?

— Пистолет.

Мы вошли, и я отстегнул свой пояс и вместе с пустой кобурой положил его на прилавок. За прилавком стояли две женщины. Они показали мне несколько пистолетов.

— Мне нужно, чтоб он пришелся по размеру,— сказал я, открывая кобуру. Кобура была серая, кожаная, я купил ее по случаю, чтобы носить в городе.

— А это хорошие пистолеты? — спросила Кэтрин.

— Все они примерно одинаковы. Можно испытать вот этот? — спросил я у женщины.

— Здесь у нас теперь негде стрелять,— сказала она.— Но он очень хороший. Вы не пожалеете.

Я спустил курок и оттянул затвор. Пружина была довольно тугая, но действовала исправно. Я прицелился и снова спустил курок.

— Он не новый,— сказала женщина.— Он принадлежал одному офицеру, первоклассному стрелку.

— А куплен был у вас?

— Да.

— Как он попал к вам опять?

— Через вестового этого офицера.

— Может быть, и мой у вас,— сказал я.— Сколько?

— Пятьдесят лир. Это очень дешево.

— Хорошо. Дайте мне еще две запасные обоймы и коробку патронов.

Она достала обоймы и патроны из-под прилавка.

— Может быть, вам нужна сабля? — спросила женщина.— У меня есть подержанные сабли, очень дешево.

— Я еду на фронт.

— А, ну тогда вам не нужна сабля,— сказала она.

Я заплатил за патроны и пистолет, зарядил обойму и вставил ее на место, вложил пистолет в пустую кобуру, набил патронами обе запасные обоймы и спрятал их в кожаные кармашки кобуры, потом надел пояс и застегнул его. Тяжесть пистолета оттягивала пояс. Все-таки, подумал я, оружие форменного образца лучше. Всегда можно достать патроны.

— Теперь мы в полном вооружении,— сказал я.— Это единственное, что мне нужно было сделать до отъезда. Кто-то взял мой старый, когда меня отправляли в госпиталь.

— Только бы он был хороший,— сказала Кэтрин.

— Может быть, вам еще что-нибудь угодно? — спросила женщина.

— Как будто нет.

— Пистолет со шнуром,— сказала она.

— Да, я заметил.

Женщине хотелось продать еще что-нибудь.

— Может, вам нужен свисток?

— Как будто нет.

Женщина сказала «до свидания», и мы вышли на улицу. Кэтрин посмотрела в окно. Женщина выглянула и поклонилась нам.

— Что это за зеркальце в деревянной оправе?

— Это чтобы приманивать птиц. С таким зеркальцем выходят в поле, жаворонки летят на блеск, тут их и убивают.

— Изобретательный народ итальянцы,— сказала Кэтрин.— У вас, в Америке, жаворонков не стреляют, милый, правда?

— Разве что случайно.

Мы пересекли улицу и пошли по другой стороне.

— Мне теперь лучше,— сказала Кэтрин.— Мне было очень скверно, когда мы вышли.

— Нам всегда хорошо, когда мы вместе.

— Мы всегда будем вместе.

— Да, если не считать, что сегодня в полночь я уезжаю.

— Не думай об этом, милый.

Мы шли по улице. В тумане огни были желтыми.

— Ты не устал? — спросила Кэтрин.

— А ты?

— Нет. Приятно бродить так.

— Но только не нужно очень долго.

— Хорошо.

Мы дошли до угла и свернули в переулок, где не было фонарей. Я остановился и поцеловал Кэтрин. Целуя ее, я чувствовал ее руку на своем плече. Она натянула на себя мой плащ так, что мы оба были укрыты им. Мы стояли на тротуаре у высокой стены.

— Пойдем куда-нибудь,— сказал я.

— Хорошо,— сказала Кэтрин. Мы шли по переулку, пока не дошли до более широкой улицы, выходившей на канал. На другой стороне были кирпичные дома. Впереди, в конце улицы, я увидел трамвай, который въезжал на мост.

— У моста мы найдем экипаж,— сказал я. Мы стояли на мосту в тумане, дожидаясь экипажа. Мимо прошло несколько трамваев, набитых людьми, которые торопились домой. Потом проехал экипаж, но в нем кто-то сидел. Стал накрапывать дождь.

— Пойдем пешком или сядем в трамвай? — сказала Кэтрин.

— Сейчас найдем экипаж,— сказал я.— Здесь их много.

— Вот как раз подъезжает,— сказала она.

Кучер остановил лошадь и опустил металлический значок у своего счетчика. Верх был поднят, и на плаще у кучера были капли дождя. Его лакированный цилиндр блестел от воды. Мы уселись вместе на заднем сиденье, от поднятого верха там было темно.

— Куда ты велел ему ехать?

— К вокзалу. Напротив вокзала есть отель, туда мы и зайдем.

— А в отель разве можно так? Без багажа.

— Можно,— сказал я.

Мы долго ехали к вокзалу переулками под дождем.

— А обедать мы не будем? — спросила Кэтрин.— Я что-то уже проголодалась.

— Мы пообедаем у себя в номере.

— Мне не во что переодеться. У меня нет даже ночной сорочки.

— А мы купим,— сказал я и окликнул кучера: — Поезжайте по Виа Манцони.

Он кивнул и на следующем углу свернул налево. На Виа Манцони Кэтрин стала искать магазин.

— Вот здесь,— сказала она. Я остановил кучера, и Кэтрин слезла, перешла тротуар и скрылась внутри. Я сидел, откинувшись, в экипаже и ждал ее. Шел дождь, и я чувствовал запах мокрой улицы и дымящихся боков лошади под дождем. Кэтрин вышла со свертком, села, и мы поехали дальше.

— Я ужасная транжирка, милый,— сказала она,— но сорочка такая красивая.

У отеля я попросил Кэтрин подождать в экипаже, а сам вошел и переговорил с управляющим. Номеров было сколько угодно. Я вернулся к экипажу, заплатил кучеру, и мы с Кэтрин вместе вошли в отель. Мальчик с блестящими пуговицами понес сверток. Управляющий поклоном пригласил нас в лифт. Кругом было много красного плюша и бронзы. Управляющий поднялся вместе с нами.

— Monsieur и madame угодно обедать у себя в номере?

— Да. Пришлите, пожалуйста, карточку,— сказал я.

— Угодно что-нибудь по особому заказу? Дичь или суфле?

Лифт миновал три этажа, позвякивая у каждого, потом звякнул и остановился.

— Какая у вас есть дичь?

— Можно приготовить фазана или вальдшнепа.

— Вальдшнепа,— сказал я. Мы пошли по коридору. Ковер был потертый. Справа и слева было много дверей. Управляющий остановился, отпер одну из дверей и распахнул ее.

— Вот, прошу вас. Прелестная комната.

Мальчик с блестящими пуговицами положил сверток на стол посреди комнаты. Управляющий раздвинул оконные портьеры.

— Туманно сегодня,— сказал он. Комната была обставлена красной плюшевой мебелью. Было много зеркал, два кресла и широкая кровать с атласным одеялом. Вторая дверь вела в ванную.

— Я сейчас пришлю карточку,— сказал управляющий. Он поклонился и вышел.

Я подошел к окну и посмотрел на улицу, потом потянул за шнур, и толстые плюшевые портьеры сдвинулись. Кэтрин сидела на постели и смотрела на хрустальный подсвечник. Она сняла шляпу, и ее волосы блестели при свете. Она увидела себя в одном из зеркал и подпесла руки к волосам. Я увидел ее в трех других зеркалах. Она казалась невеселой. Она сбросила свой плащ на постель.

— Что с тобой, дорогая?

— Я никогда еще не чувствовала себя девкой,— сказала она. Я подошел к окну и раздвинул портьеры и посмотрел на улицу. Я не думал, что так будет.

— Ты не девка.

— Я знаю, милый. Но неприятно чувствовать, будто это так.— Голос ее был сухой и тусклый.

— Это самый лучший отель, где мы могли устроиться,— сказал я.

Я смотрел в окно. На другой стороне площади светились огни вокзала. Мимо ехали экипажи, и мне были видны деревья в пар-

ке. Огни отеля отражались в мокрой мостовой. «О черт,— думал я,— неужели сейчас время спорить?»

— Иди сюда,— сказала Кэтрин. Сухость исчезла из ее голоса.— Иди сюда. Я уже пай-девочка.

Я повернулся к постели. Кэтрин улыбалась.

Я подошел и сел на постель рядом с ней и поцеловал ее.

— Ты моя пай-девочка.

— Конечно, твоя,— сказала она.

После обеда нам стало легче, а потом сделалось совсем хорошо, и вскоре мы почувствовали, что эта комната наш дом. Раньше моя комната в госпитале была нашим домом, и точно так же этот номер отеля стал нашим домом.

Кэтрин села, накинув на плечи мой френч. Мы сильно проголодались, а обед был хороший, и мы выпили бутылку капри и бутылку сент-эстефа. Большую часть выпил я, но и Кэтрин выпила немного, и ей стало совсем хорошо. Нам подали вальдшнепа с картофелем, суфле, пюре из каштанов, салат и сабайон на сладкое.

— Хорошая комната,— сказала Кэтрин.— Чудесная комната. Как жаль, что мы раньше не догадались здесь поселиться.

— Смешная комната. Но славная.

— Замечательная вещь разврат,— сказала Кэтрин.— Люди, которые им занимаются, по-видимому, делают это со вкусом. Этот красный плюш просто бесподобен. Именно то, что надо. А зеркала, разве не прелесть?

— Ты милая.

— Не знаю, каково проснуться в такой комнате наутро. Но вообще это прекрасная комната.

Я налил еще стакан сент-эстефа.

— Мне бы хотелось согрешить по-настоящему,— сказала Кэтрин.— Все, что мы делаем, так невинно и просто. Я не верю, что мы делаем что-то дурное.

— Ты изумительная.

— Только я голодна. Я ужасно голодна.

— Ты простая, ты замечательная.

— Я простая. Никто не понимал этого до тебя.

— Как-то, когда мы только что познакомились, я целый день думал о том, как мы с тобой поедем вместе в отель «Кавур» и как все будет.

— Это было нахальство с твоей стороны. Но ведь это не «Кавур», правда?

— Нет. Туда бы нас не пустили.

— Когда-нибудь пустят. Но вот видишь, милый, в этом разница между нами. Я никогда ни о чем не думала.

— Совсем никогда?

— Ну, немножко,— сказала она.

— Ах ты, милая!

Я налил еще стакан вина.

— Я совсем простая,— сказала Кэтрин.

— Спачала я думал иначе. Мне показалось, что ты сумасшедшая.

— Я и была немножко сумасшедшая. Но не как-нибудь пособенному сумасшедшая. Я тебя не смутила тогда, милый?

— Изумительная вещь вино,— сказал я.— Забываешь все плохое.

— Чудесная вещь,— сказала Кэтрин.— Но у моего отца от него сделалась очень сильная подагра.

— У тебя есть отец?

— Да,— сказала Кэтрин.— У него подагра. Но тебе совсем не нужно будет с ним встречаться. А у тебя разве нет отца?

— Нет,— сказал я.— У меня отчим.

— А он мне понравится?

— Тебе не нужно будет с ним встречаться.

— Нам с тобой так хорошо,— сказала Кэтрин.— Меня больше ничего не интересует. Я такая счастливая жена.

Пришел официант и убрал посуду. Немного погодя мы притихли, и было слышно, как идет дождь. Внизу, на площади, прогудел автомобиль.

Но слышу мчащих все быстрей
Крылатых времени коней,—

сказал я.

— Я знаю эти стихи,— сказал Кэтрин.— Это Марвелл. Только ведь это о девушке, которая не хотела жить с мужчиной.

Голова у меня была очень ясная и свежая, и мне хотелось говорить о житейском.

— Где ты будешь рожать?

— Не знаю. В самом лучшем месте.

— Как ты все устроишь?

— Самым лучшим образом. Не беспокойся, милый. До окончания войны у нас может быть еще много детей.

— Нам скоро пора.

— Я знаю. Если хочешь, считай, что уже пора.

— Нет.

— Тогда не нервничай, милый. Ты был совсем хороший все время, а теперь ты начинаешь нервничать.

— Не буду. Ты мне будешь часто писать?

— Каждый день. Ваши письма просматривают?

— Там так плохо знают английский язык, что это не имеет значения.

— Я буду писать очень путано,— сказала Кэтрин.
— Но не слишком уж путано.
— Нет, только чуть-чуть путано.
— Пожалуй, нужно идти.
— Хорошо, милый.
— Мне не хочется уходить из нашего домика.
— И мне тоже.
— Но нужно идти.
— Хорошо. Мы ведь никогда еще долго не жили дома.
— Еще поживем.
— Я тебе приготовлю хорошенький домик к твоему возвращению.
— Может быть, я вернусь очень скоро.
— Вдруг тебя ранят чуть-чуть в ногу.
— Или в мочку уха.
— Нет, я хочу, чтоб твои уши остались, как они есть.
— А ноги нет?
— В ноги ты уже был ранен.
— Надо нам идти, дорогая.
— Хорошо. Иди ты первый.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мы не стали вызывать лифт, а спустились по лестнице. Ковер на лестнице был потертый. Я уплатил за обед, когда его принесли, и официант, который принес его, сидел у дверей. Он вскочил и поклонился, и я прошел с ним в контору и уплатил за номер. Управляющий принял меня как друга и отказался получить вперед, но, расставшись со мной, он позаботился посадить у дверей официанта, чтоб я не сбежал, не заплатив. По-видимому, такие случаи у него бывали, даже с друзьями. Столько друзей заводишь во время войны.

Я попросил официанта сходить за экипажем, и он взял у меня из рук сверток Кэтрин и, раскрыв зонт, вышел. Из окна мы видели, как он переходил улицу под дождем. Мы стояли в конторе и глядели в окно.

— Как ты себя чувствуешь, Кэт?
— Спать хочется.
— А мне тоскливо и есть хочется.
— У тебя есть с собой какая-нибудь еда?
— Да, в походной сумке.

Я увидел подъезжавший экипаж. Он остановился, лошадь стала, понурив голову под дождем, официант вылез, раскрыл зонт и пошел к отелю. Мы встретили его в дверях и под зонтом про-

шли по мокрому тротуару к экипажу. В сточной канаве бежала вода.

— Ваш сверток на сиденье,— сказал официант. Он стоял с зонтом, пока мы усаживались, и я дал ему на чай.

— Спасибо. Счастливого пути,— сказал он.

Кучер подобрал вожжи, и лошадь тронулась. Официант повернулся со своим зонтом и направился к отелю. Мы поехали вдоль тротуара, затем повернули налево и выехали к вокзалу с правой стороны. Два карабинера стояли у фонаря, куда почти не попадал дождь. Их шляпы блестели под фонарем. При свете вокзальных огней дождь был прозрачный и чистый. Из-под навеса вышел носильщик, пряча от дождя голову в воротник.

— Нет,— сказал я.— Спасибо. Не требуется.

Он снова укрылся под навесом. Я обернулся к Кэтрин. Ее лицо было в тени поднятого верха.

— Что ж, попрощаемся?

— Я войду.

— Не надо.

— До свидания, Кэт.

— Скажи ему адрес госпиталя.

— Хорошо.

Я сказал кучеру, куда ехать. Он кивнул.

— До свидания,— сказал я.— Береги себя и малепькую Кэтрин.

— До свидания, милый.

— До свидания,— сказал я.

Я вышел под дождь, и кучер тронул. Кэтрин высунулась, и при свете фонаря я увидел ее лицо. Она улыбалась и махала рукой. Экипаж покатил по улице. Кэтрин указывала пальцем в сторону навеса. Я оглянулся; там был только навес и двое карабинеров. Я понял, что она хочет, чтобы я спрятался от дождя. Я встал под навес и смотрел, как экипаж сворачивает за угол. Потом я прошел через здание вокзала и вышел к поезду.

На перроне меня дожидался швейцар. Я вошел за ним в вагон, протолкался сквозь толпу в проходе и, отворив дверь, втиснулся в переполненное купе, где в уголке сидел пулеметчик. Мой рюкзак и походные сумки лежали над его головой в сетке для багажа. Много народу стояло в коридоре, и сидевшие в купе оглянулись на нас, когда мы вошли. В поезде не хватало мест, и все были настроены враждебно. Пулеметчик встал, чтоб уступить мне место. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я оглянулся. Это был очень высокий и худой артиллерийский капитан с красным рубцом на щеке. Он видел все через стеклянную дверь и вошел вслед за мной.

— В чем дело? — спросил я. Я повернулся к нему лицом. Он

был выше меня ростом, и его лицо казалось очень худым в тени козырька, и рубец был свежий и глянцевитый. Все кругом смотрели на меня.

— Так не делают,— сказал он.— Нельзя посылать солдата заранее занимать место.

— А вот я так сделал.

Он глотнул воздух, и я увидел, как его кадык поднялся и опустился. Пулеметчик стоял около пустого места. Через стеклянную перегородку коридора смотрели люди. Кругом все молчали.

— Вы не имеете права. Я пришел сюда на два часа раньше вас.

— Чего вы хотите?

— Сидеть.

— Я тоже.

Я смотрел ему в лицо и чувствовал, что кругом все против меня. Я не осуждал их. Он был прав. Но я хотел сидеть. Кругом все по-прежнему молчали.

«А черт!» — подумал я.

— Садитесь, signor capitano,— сказал я. Пулеметчик посторонился, и высокий капитан сел. Он посмотрел на меня. Во взгляде у него было беспокойство. Но место осталось за ним.— Достаньте мои вещи,— сказал я пулеметчику. Мы вышли в коридор. Я дал швейцару и пулеметчику по десять лир. Они вышли из вагона и прошли по всей платформе, заглядывая в окна, но мест не было.

— Может быть, кто-нибудь сойдет в Брешии,— сказал швейцар.

— В Брешии еще сядут,— сказал пулеметчик. Я простился с ними, и они пожали мне руку и ушли. Они оба были расстроены. Все мы, оставшиеся без мест, стояли в коридоре, когда поезд тронулся. Я смотрел в окно на стрелки и фонари, мимо которых мы ехали. Дождь все еще шел, и скоро окна стали мокрыми, и ничего нельзя было разглядеть. Позднее я лег спать на полу в коридоре, засунув сначала свой бумажник с деньгами и документами под рубашку и брюки, так что он пришелся между бедром и штаниной. Я спал всю ночь и просыпался только на остановках в Брешии и Вероне, где в вагон входили еще новые пассажиры, но тотчас же засыпал снова. Одну походную сумку я подложил себе под голову, а другую обхватил руками, и кто не хотел наступить на меня, вполне мог через меня перешагнуть. По всему коридору на полу спали люди. Другие стояли, держась за оконные поручни или прислонившись к дверям. Этот поезд всегда уходил переполненным.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Была уже осень, и деревья все были голые и дороги покрыты грязью. Из Удине в Горицию я ехал на грузовике. По пути нам попадались другие грузовики, и я смотрел по сторонам. Тутовые деревья были голые, и земля в полях бурая. Мокрые мертвые листья лежали на дороге между рядами голых деревьев, и рабочие заделывали выбоины на дороге щебнем, который они брали из куч, сложенных вдоль обочины дороги, под деревьями. Показался город, но горы над ним были отрезаны туманом. Мы переехали реку, и я увидел, что вода сильно поднялась. В горах шли дожди. Мы въехали в город, минуя фабрики, а потом дома и виллы, и я увидел, что еще больше домов разрушено за это время снарядами. На узкой улице мы встретили автомобиль английского Красного Креста. Шофер был в кепи, и у него было худое и сильно загорелое лицо. Я его не знал. Я слез с грузовика на большой площади перед мэрией; шофер подал мне мой рюкзак, я надел его, пристегнул обе сумки и пошел к нашей вилле. Это не было похоже на возвращение домой.

Я шел по мокрому гравию аллеи и смотрел на виллу, белевшую за деревьями. Окна все были закрыты, но дверь была распахнута. Я вошел и застал майора за столом в комнате с голыми стенами, на которых висели только карты и отпечатанные на машинке бумажки.

— Привет! — сказал он.— Ну, как здоровье? — Он постарел и как будто ссохся.

— В порядке,— сказал я.— Как у вас дела?

— Все уже кончилось,— сказал он.— Снимите свое снаряжение и садитесь.

Я положил рюкзак и обе сумки на пол, а кепи — на рюкзак. Потом взял стул, стоявший у стены, и сел к столу.

— Лето было скверное,— сказал майор.— Вы вполне оправились?

— Да.

— Вы получили свои награды?

— Да. Все в лучшем виде. Благодарю вас.

— Покажите-ка.

Я распахнул свой плащ, чтобы видны были две ленточки.

— А самые медали вы тоже получили?

— Нет. Только документы.

— Медали придут потом. На это нужно больше времени.

— Куда вы меня теперь направите?

— Машины все в разъезде. Шесть на севере, в Капоретто. Вы знаете Капоретто?

— Да,— сказал я. Мне припомнился маленький белый городок с колокольней в долине. Городок был чистенький, и на площади был красивый фонтан.

— Вот они там. Сейчас много больных. Бои кончились.

— А где остальные?

— Две в горах, а четыре все еще на Баинзицце. Оба других санитарных отряда в Карсо, с третьей армией.

— Куда вы меня направите?

— Вы можете взять те четыре машины, которые на Баинзицце, если хотите. Смените Джино, он уже давно там. Это все ведь случилось уже после вас, кажется?

— Да.

— Скверное было дело. Мы потеряли три машины.

— Я слышал.

— Да, вам писал Ринальди.

— Где Ринальди?

— Он здесь, в госпитале. Летом и осенью ему жарко пришлось.

— Могу себе представить.

— Да, скверно было,— сказал майор.— Вы не представляете, до чего скверно. Я часто думал, как вам повезло, что вы были ранены вначале.

— Я и сам так считаю.

— В том году будет еще хуже,— сказал майор.— Возможно, они уже сейчас перейдут в наступление. Так говорят, но я не думаю. Слишком поздно. Видели реку?

— Да. Вода поднялась.

— Не думаю, чтоб наступление началось сейчас, когда в горах уже идут дожди. Скоро выпадет снег. А что наши соотечественники? Увидим мы еще американцев, кроме вас?

— Готовится армия в десять миллионов.

— Хорошо бы хоть часть попала к нам. Но французы всех перехватят. Сюда не доедет ни один человек. Ну, ладно. Вы сегодня переночуйте здесь, а завтра утром отправляйтесь на маленькой машине и смените Джино. Я дам вам кого-нибудь, кто знает дорогу. Джино вам все расскажет. Там еще постреливают немного, но, в общем, все уже кончилось. Вам любопытно будет побывать на Баинзицце.

— Очень рад буду побывать там. Очень рад, что я опять с вами.

Он улыбнулся.

— Вы очень любезны. Я устал от этой войны. Если б я уехал, не думаю, чтобы мне захотелось вернуться.

— Настолько все скверно?

— Да. Настолько и даже хуже. Идите умойтесь и разыщите своего друга Ринальди.

Я взял свой багаж и понес его по лестнице наверх. Ринальди в комнате не было, но вещи его были на месте, и я сел на кровать, снял обмотки и стащил с правой ноги башмак. Потом я прилег на кровати. Я устал, и правая нога болела. Мне показалось глупо лежать на постели в одном башмаке, поэтому я сел, расшнуровал второй башмак, сбросил его на пол и снова прилег на одеяло. В комнате было душно от закрытого окна, но я слишком устал, чтобы встать и раскрыть его. Я увидел, что все мои вещи сложены в одном углу комнаты. Уже начинало темнеть. Я лежал на кровати, и думал о Кэтрин, и ждал Ринальди. Я решил думать о Кэтрин только вечерами, перед сном. Но я устал, и мне нечего было делать, поэтому я лежал и думал о ней. Я думал о ней, когда Ринальди вошел в комнату. Он был все такой же. Разве только слегка похудел.

— Ну, бэби,— сказал он.

Я приподнялся на постели. Он подошел, сел рядом и обнял меня.

— Славный мой, хороший бэби.— Он хлопнул меня по спине, и я схватил его за плечи.

— Славный мой бэби,— сказал он.— Покажите-ка мне колено.

— Придется штаны снимать.

— Снимите штаны, бэби. Здесь все свои. Я хочу посмотреть, как вас там обработали.

Я встал, спустил брюки и снял с колена повязку. Ринальди сел на пол и стал слегка сгибать и разгибать мне ногу. Он провел рукой по шраму, соединил большие пальцы над коленной чашечкой и остальными легонько потряс колено.

— И дальше у вас не сгибается?

— Нет.

— Это просто преступление, что вас выписали. Они должны были добиться полного функционирования сустава.

— Было гораздо хуже. Нога была как палка.

Ринальди попробовал еще. Я следил за его руками. У него были ловкие руки хирурга. Я поглядел на его голову, на его волосы, блестящие и гладко расчесанные на пробор. Он согнул ногу слишком сильно.

— Уф! — сказал я.

— Вам надо было еще полечиться механотерапией,— сказал Ринальди.

— Раньше было хуже.

— Знаю, бэби. В таких вещах я смыслю больше вас.— Он поднялся и сел на кровать.— Сама операция сделана неплохо.— С моим коленом было покончено.— Теперь рассказывайте.

— Нечего рассказывать,— сказал я.— Жил тихо и мирно.

— Можно подумать, что вы семейный человек,— сказал он.— Что с вами?

— Ничего,— сказал я.— А вот что с вами?

— Эта война меня доконает,— сказал Ринальди.— Я совсем скис.— Он обхватил свое колено руками.

— Ого! — сказал я.

— В чем дело? Что, у меня не может быть человеческих чувств?

— Нет. Вы, видно, провели веселое лето. Расскажите.

— Все лето и всю осень я оперировал. Я работаю без отдыха. Я один работаю за всех. Самые трудные случаи оставляют мне. Честное слово, бэби, я становлюсь отличным хирургом.

— Это звучит уже лучше.

— Я никогда не думаю. Нет, честное слово, я не думаю, я просто оперирую.

— И правильно.

— Но сейчас, бэби, дело другое. Сейчас оперировать не приходится, и на душе у меня омерзительно. Это ужасная война, бэби. Можете мне поверить. Ну, а теперь развеселите меня немножко. Вы привезли пластинки?

— Да.

Они лежали в моем рюкзаке, в коробке, завернутые в бумагу. Я слишком устал, чтобы доставать их.

— А у вас разве хорошо на душе, бэби?

— Омерзительно.

— Эта война ужасна,— сказал Ринальди.— Ну, ладно. Вот мы с вами напьемся, так станет веселее. Развеем тоску по ветру. И все будет хорошо.

— У меня была желтуха,— сказал я.— Мне нельзя напиваться.

— Ах, бэби, в каком виде вы ко мне вернулись: рассудительный, с больной печенью. Нет, в самом деле, скверная штука война. И зачем только мы в нее ввязались?

— Давайте все-таки выпьем. Напиваться я не хочу, но выпить можно.

Ринальди подошел к умывальнику у другой стены и достал два стакана и бутылку коньяка.

— Это австрийский коньяк,— сказал он.— Семь звездочек. Все, что удалось захватить на Сан-Габриеле.

— Вы там были?

— Нет. Я нигде не был. Я все время был здесь и оперировал. Смотрите, бэби, это ваш старый стакан для полоскания зубов. Я его все время берег, чтобы он мне напоминал о вас.

— Или о том, что нужно чистить зубы.

— Нет. У меня свой есть. Я его берег, чтобы он мне напоминал, как вы по утрам старались отчиститься от «Вилла-Росса», и ругались, и глотали аспирин, и проклинали девок. Каждый раз, когда я смотрю на этот стакан, я вспоминаю, как вы старались вычистить свою совесть зубной щеткой.— Он подошел к постели.— Ну, поцелуйте меня и скажите, что вы уже перестали быть рассудительным.

— Не подумаю я вас целовать. Вы обезьяна.

— Ну, ну. Я знаю, вы хороший англосаксонский пай-мальчик. Я знаю. Вас совесть заела, я знаю. Я подожду, когда мой англосаксонский мальчик опять станет зубной щеткой счищать с себя публичный дом.

— Налейте коньяку в стакан.

Мы чокнулись и выпили. Ринальди посмеивался надо мной.

— Вот подпою вас, выпу вашу печень, вставлю вам хорошую итальянскую печенку и сделаю вас опять человеком.

Я протянул стакан, чтобы он налил мне еще коньяку. Уже совсем стемнело. Со стаканом в руке я пошел к окну и раскрыл его. Дождя уже не было. Стало холоднее, и в ветвях сгустился туман.

— Не выливайте коньяк в окно,— сказал Ринальди.— Если вы не можете выпить, дайте мне.

— Подите вы, знаете куда,— сказал я. Я рад был снова увидеть Ринальди. Целых два года он занимался тем, что дразнил меня, и я всегда любил его. Мы очень хорошо понимали друг друга.

— Вы женились? — спросил он, сидя на постели. Я стоял у окна, прислонясь к стене.

— Нет еще.

— Вы влюблены?

— Да.

— В ту англичанку?

— Да.

— Бедный бэби! Ну, а она вас тоже любит?

— Да.

— И доказала вам это на деле?

— Заткнитесь.

— Охотно. Вы увидите, что я человек исключительной деликатности. А что, она...

— Ринн! — сказал я.— Пожалуйста, заткнитесь. Если вы хотите, чтоб мы были друзьями, заткнитесь.

— Мне нечего хотеть, чтоб мы были друзьями, бэби. Мы и так друзья.

— Вот и заткнитесь.

— Слушаюсь.

Я подошел к кровати и сел рядом с Ринальди. Он держал стакан и смотрел в пол.

— Теперь понимаете, Ринин?

— Да, да, конечно. Всю свою жизнь я натыкаюсь на священные чувства. За вами я таких до сих пор не знал. Но, конечно, и у вас они должны быть.— Он смотрел в пол.

— А разве у вас нет?

— Нет.

— Никаких?

— Никаких.

— Вы позволили бы мне говорить что угодно о вашей матери, о вашей сестре?

— И даже о *вашей* сестре,— живо сказал Ринальди.

Мы оба засмеялись.

— Каков сверхчеловек! — сказал я.

— Может быть, я ревную,— сказал Ринальди.

— Нет, не может быть.

— Не в этом смысле. Я хотел сказать другое. Есть у вас женатые друзья?

— Есть,— сказал я.

— А у меня нет,— сказал Ринальди.— Таких, которые были бы счастливы со своими женами, нет.

— Почему?

— Они меня не любят.

— Почему?

— Я змей. Я змей познания.

— Вы все перепутали. Это древо было познания.

— Нет, змей.— Он немного развеселился.

— Вас портят глубокомысленные рассуждения,—сказал я.

— Я люблю вас, бэби,— сказал он.— Вы меня одергиваете, когда я становлюсь великим итальянским мыслителем. Но я знаю многое, чего не могу объяснить. Я больше знаю, чем вы.

— Да. Это верно.

— Но вам будет легче прожить. Хоть и с угрызениями совести, а легче.

— Не думаю.

— Да, да. Это так. Мне уже и теперь только тогда хорошо, когда я работаю.— Он снова стал смотреть в пол.

— Это у вас пройдет.

— Нет. Есть еще только две вещи, которые я люблю: одна вредит моей работе, а другой хватает на полчаса или на пятнадцать минут. Иногда меньше.

— Иногда гораздо меньше.

— Может быть, я сделал успехи, бэби. Вы ведь не знаете. Но я знаю эти две вещи и свою работу.

— Узнаете и другое.

— Нет. Мы никогда ничего не узнаем. Мы родимся со всем тем, что у нас есть, и больше ничему не научаемся. Мы никогда не узнаем ничего нового. Мы начинаем путь уже законченными. Счастье ваше, что вы не латиняшка.

— Никаких латинян не существует. Это вот рассуждения латиняшина. Вы гордитесь своими недостатками.

Ринальди поднял глаза и засмеялся.

— Ну, хватит, бэби. Я устал рассуждать.— У него был усталый вид, еще когда он вошел в комнату.— Скоро обед. Я рад, что вы вернулись. Вы мой лучший друг и мой брат по оружию.

— Когда братья по оружию обедают? — спросил я.

— Сейчас. Выпьем еще раз за вашу печенку.

— Это что, по апостолу Павлу?

— Вы не точны. Там было вино и желудок. Вкусите вина ради пользы желудка.

— Чего хотите,— сказал я.— Ради чего угодно.

— За вашу милую,— сказал Ринальди. Он поднял свой стакан.

— Принимаю.

— Я больше не скажу о ней ни одной гадости.

— Не невольте себя.

Он выпил весь коньяк.

— У меня чистая душа,— сказал он.— Я такой же, как вы, бэби. Я себе тоже заведу английскую девушку. Собственно говоря, я первый познакомился с вашей девушкой, но она для меня слишком высокая. И высокую девушку в сестры,— продекламировал он.

— Вы сама чистота,— сказал я.

— Не правда ли? Потому-то меня и называют Чистейший Ринальди.

— Свинейший Ринальди.

— Ну, ладно, бэби, идем обедать, пока я еще не утратил своей чистоты.

Я умылся, пригладил волосы, и мы снова сошли вниз. Ринальди был слегка пьян. В столовой еще не все было готово к обеду.

— Пойду принесу коньяк,— сказал Ринальди. Он поднялся

наверх. Я сел за стол, и он вернулся с бутылкой и налил себе и мне по полстакана коньяку.

— Слишком много,— сказал я, и поднял стакан, и посмотрел в него на свет лампы, стоявшей посреди стола.

— На пустой желудок не много. Замечательная вещь. Совершенно выжигает внутренности. Хуже для вас не придумаешь.

— Ну что ж.

— Систематическое саморазрушение,— сказал Ринальди.— Портит желудок и вызывает дрожь в руках. Самая подходящая вещь для хирурга.

— Вы мне советуете?

— От всей души. Другого сам не употребляю. Проглотите это, бэби, и готовьтесь захворать.

Я выпил половину. В коридоре послышался голос вестового, выкликавший: «Суп! Суп готов!»

Вошел майор, кивнул нам и сел. За столом он казался очень маленьким.

— Больше никого? — спросил он. Вестовой поставил перед ним суповую миску, и он сразу налил полную тарелку.

— Никого,— сказал Ринальди.— Разве только священник придет. Знай он, что Федерико здесь, он бы пришел.

— Где он? — спросил я.

— В триста седьмом,— сказал майор. Он был занят своим супом. Он вытер рот, тщательно вытирая подкрученные кверху седые усы.— Придет, вероятно. Я был там и оставил записку, что вы приехали.

— Прежде шумнее было в столовой,— сказал я.

— Да, у нас теперь тихо,— сказал майор.

— Сейчас я буду шуметь,— сказал Ринальди.

— Выпейте вина, Энрико,— сказал майор. Он наполнил мой стакан. Принесли спагетти, и мы все занялись едой. Мы доедали спагетти, когда вошел священник. Он был все такой же, маленький и смуглый и весь подобранный. Я встал, и мы пожали друг другу руки. Он положил мне руку на плечо.

— Я пришел, как только узнал,— сказал он.

— Садитесь,— сказал майор.— Вы опоздали.

— Добрый вечер, священник,— сказал Ринальди.

— Добрый вечер, Ринальди,— сказал священник. Вестовой принес ему супу, но он сказал, что начнет со спагетти.

— Как ваше здоровье? — спросил он меня.

— Прекрасно,— сказал я.— Что у вас тут слышно?

— Выпейте вина, священник,— сказал Ринальди.— Вкусите вина ради пользы желудка. Это же из апостола Павла, вы знаете?

— Да, я знаю,— сказал священник вежливо. Ринальди наполнил его стакан.

— Уж этот апостол Павел! — сказал Ринальди.— Он-то и причина всему.

Священник взглянул на меня и улыбнулся. Я видел, что зубоскальство теперь не трогает его.

— Уж этот апостол Павел,— сказал Ринальди.— Сам был кобель и бабник, а как не стало силы, так объявил, что это грешно. Сам уже не мог ничего, так взялся поучать тех, кто еще в силе. Разве не так, Федерико?

Майор улыбнулся. Мы в это время ели жаркое.

— Я никогда не критикую святых после захода солнца,— сказал я. Священник поднял глаза от тарелки и улыбнулся мне.

— Ну вот, теперь и он за священника,— сказал Ринальди.— Где все добрые старые зубоскалы? Где Кавальканти? Где Бруди? Где Чезаре? Что ж, так мне и дразнить этого несчастного священника одному, без всякой поддержки?

— Он хороший священник,— сказал майор.

— Он хороший священник,— сказал Ринальди.— И все-таки священник. Я стараюсь, чтоб в столовой все было, как в прежние времена. Я хочу доставить удовольствие Федерико. Ну вас к черту, священник!

Я заметил, что майор смотрит на него и видит, что он пьян. Его худое лицо было совсем белое. Волосы казались очень черными над белым лбом.

— Ничего, Ринальди,— сказал священник.— Ничего.

— Ну вас к черту! — сказал Ринальди.— Вообще все к черту! — сказал Ринальди.— Вообще все к черту! — Он откинулся на спинку стула.

— Он много работал и переутомился,— сказал майор, обращаясь ко мне. Доев мясо, он корочкой подобрал с тарелки соус.

— Плевать я хотел на вас,— сказал Ринальди,— обращаясь к столу.— И вообще все и всех к черту! — Он вызывающе оглядел вокруг, глаза его были тусклы, лицо бледно.

— Ну, ладно,— сказал я.— Все и всех к черту!

— Нет, нет,— сказал Ринальди.— Так нельзя. Так нельзя. Говорят вам: так нельзя. Мрак и пустота, и больше ничего нет. Больше ничего нет, слышите? Ни черта. Я знаю это, когда не работаю.

Священник покачал головой. Вестовой убрал жаркое.

— Почему вы едите мясо? — обернулся Ринальди к священнику.— Разве вы не знаете, что сегодня пятница?

— Сегодня четверг,— сказал священник.

— Вракп. Сегодня пятница. Вы едите тело Спасителя. Это божье мясо. Я знаю. Это дохлая австрпячина. Вот что вы едите.

— Белое мясо — офицерское,— сказал я, вспоминая старую шутку.

Рипальди засмеялся. Он наполнил свой стакан.

— Не слушайте меня,— сказал он.— Я немного спятил.

— Вам бы нужно поехать в отпуск,— сказал священник.

Майор укоризненно покачал головой. Рипальди посмотрел на священника.

— По-вашему, мне нужно ехать в отпуск?

Майор укоризненно качал головой, глядя на священника. Рипальди тоже смотрел на священника.

— Как хотите,— сказал священник.— Если вам не хочется, то не надо.

— Ну вас к черту! — сказал Рипальди.— Они стараются от меня избавиться. Каждый вечер они стараются от меня избавиться. Я отбиваюсь, как могу. Что ж такого, если у меня *это*? *Это* у всех. *Это* у всего мира. Сначала,— он продолжал тоном лектора,— это только маленький прыщик. Потом мы замечаем сыпь на груди. Потом мы уже ничего не замечаем. Мы возлагаем все надежды на ртуть.

— Или сальварсан,— спокойно прервал его майор.

— Ртутный препарат,— сказал Рипальди. Он говорил теперь очень приподнятым тоном.— Я знаю кое-что получше. Добрый, славный священник,— сказал он,— у вас никогда не будет *этого*. А у бэби будет. Это авария на производстве. Это просто авария на производстве.

Вестовой подал десерт и кофе. На сладкое было что-то вроде хлебного пудинга с густой подливкой. Лампа коптила; черная копоть оседала на стекле.

— Дайте сюда свечи и уберите лампу,— сказал майор.

Вестовой принес две зажженные свечи, прилепленные к блюдцам, и взял лампу, задув ее по дороге. Рипальди успокоился. Он как будто совсем пришел в себя. Мы все разговаривали, а после кофе вышли в вестибюль.

— Ну, мне нужно в город,— сказал Рипальди.— Покойной ночи, священник.

— Покойной ночи, Рипальди,— сказал священник.

— Еще увидимся, Фреди,— сказал Рипальди.

— Да,— сказал я.— Приходите пораньше.

Он состроил гримасу и вышел. Майор стоял рядом с нами.

— Он переутомлен и очень издерган,— сказал он.— К тому же он решил, что у него сифилис. Не думаю, но возможно. Он лечится от сифилиса. Покойной ночи, Энрико. Вы на рассвете выедете?

— Да.

— Ну так до свидания,— сказал он.— Счастливый путь! Педуцци разбудит вас и поедет вместе с вами.

— До свидания.

— До свидания. Говорят, австрийцы собираются наступать, но я не думаю. Не хочу думать. Во всяком случае, это будет не здесь. Джино вам все расскажет, телефонная связь теперь налажена.

— Я буду часто звонить.

— Непременно. Покойной ночи. Не давайте Ринальди так много пить.

— Постараюсь.

— Покойной ночи, священник.

— Покойной ночи.

Он ушел в свой кабинет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Я подошел к двери и выглянул на улицу. Дождь перестал, но был сильный туман.

— Может быть, посидим у меня в комнате? — предложил я священнику.

— Только я очень скоро должен идти.

— Все равно, пойдемте.

Мы поднялись по лестнице и вошли в мою комнату. Я прилег на постель Ринальди. Священник сел на койку, которую вестовой приготовил для меня. В комнате было темно.

— Как же вы себя все-таки чувствуете? — спросил он.

— Хорошо. Просто устал сегодня.

— Вот и я устал, хотя, казалось бы, не от чего.

— Как дела на войне?

— Мне кажется, война скоро кончится. Не знаю почему, но у меня такое чувство.

— Откуда оно у вас?

— Вы заметили, как изменился наш майор? Словно притих. Многие теперь так.

— Я и сам так,— сказал я.

— Лето было ужасное,— сказал священник. В нем появилась уверенность, которой я за ним не знал раньше.— Вы себе не представляете, что это было. Только тот, кто побывал там, может себе это представить. Этим летом многие поняли, что такое война. Офицеры, которые, казалось, не способны понять, теперь поняли.

— Что же должно произойти? — Я поглаживал одеяло ладонью.

— Не знаю, но мне кажется, долго так продолжаться не может.

— Что же произойдет?

— Перестанут воевать.

— Кто?

— И те и другие.

— Будем надеяться,— сказал я.

— Вы в это не верите?

— Я не верю в то, что сразу перестанут воевать и те и другие.

— Да, конечно. Это было бы слишком хорошо. Но когда я вижу, что делается с людьми, мне кажется, так продолжаться не может.

— Кто выиграл летнюю кампанию?

— Никто.

— Австрийцы выиграли,— сказал я.— Они не отдали итальянцам Сан-Габриеле. Они выиграли. Они не перестанут воевать.

— Если у них такие же настроения, как у нас, могут и перестать. Они ведь тоже прошли через все это.

— Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать.

— Вы меня обескураживаете.

— Я только говорю, что думаю.

— Значит, вы думаете, так оно и будет продолжаться? Ничего не произойдет?

— Не знаю. Но думаю, что австрийцы не перестанут воевать, раз они одержали победу. Христианами нас делает поражение.

— Но ведь австрийцы и так христиане — за исключением босняков.

— Я не о христианской религии говорю. Я говорю о христианском духе.

Он промолчал.

— Мы все притихли, потому что потерпели поражение. Кто знает, каким был бы Христос, если бы Петр спас его в Гефсиманском саду.

— Все таким же.

— Не уверен,— сказал я.

— Вы меня обескураживаете,— повторил он.— Я верю, что должно что-то произойти, и молюсь об этом. Я чувствую, как оно надвигается.

— Может, что-нибудь и произойдет,— сказал я.— Но только с нами. Если б у них были такие же настроения, как у нас, тогда другое дело. Но они побили нас. У них настроения другие.

— У многих из солдат всегда были такие настроения. Это вовсе не потому, что они теперь побиты.

— Они были побиты с самого начала. Они были побиты тогда,

когда их оторвали от земли и надели на них солдатскую форму. Вот почему крестьянин мудр — потому что он с самого начала потерпел поражение. Дайте ему власть, и вы увидите, что он по-настоящему мудр.

Он ничего не ответил. Он думал.

— И у меня тоже тяжело на душе,— сказал я.— Потому-то я стараюсь не думать о таких вещах. Я о них не думаю, но стоит мне начать разговор, и это само собой приходит мне в голову.

— А я ведь надеялся на что-то.

— На поражение?

— Нет. На что-то большее.

— Ничего большего нет. Разве только победа. Но это, может быть, еще хуже.

— Долгое время я надеялся на победу.

— Я тоже.

— А теперь — сам не знаю.

— Что-нибудь должно быть: или победа, или поражение.

— В победу я больше не верю.

— И я не верю. Но я не верю и в поражение. Хотя, пожалуй, это было бы лучше.

— Во что же вы верите?

— В сон,— сказал я. Он встал.

— Простите, что я отнял у вас столько времени. Но я так люблю с вами беседовать.

— Мне тоже очень приятно беседовать с вами. Это я просто так сказал насчет сна, в шутку.

Я встал, и мы за руку попрощались в темноте.

— Я теперь ночую в триста седьмом,— сказал он.

— Завтра с утра я уезжаю на пост.

— Мы увидимся, когда вы вернетесь.

— Тогда погуляем и поговорим.— Я проводил его до двери.

— Не спускайтесь,— сказал он.— Как приятно, что вы снова здесь. Хотя для вас это не так приятно.— Он положил мне руку на плечо.

— Для меня это неплохо,— сказал я.— Покойной ночи.

— Покойной ночи, ciao!

— Ciao! — сказал я. Мне до смерти хотелось спать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я проснулся, когда пришел Ринальди, но он не стал разговаривать, и я снова заснул. Утром, еще до рассвета, я оделся и уехал. Ринальди не проснулся, когда я выходил из комнаты.

Я никогда раньше не видел Каппеттцы, и было странно про-

езжать по тому берегу, где я получил свою рану, и потом подниматься по склону, весной еще занятому австрийцами. Там была проложена новая, крутая дорога, и по ней ехало много грузовиков. Выше склон становился отлогим, и я увидел леса и крутые холмы в тумане. Эти леса были взяты быстро, и их не успели уничтожить. Еще дальше, там, где холмы не защищали дорогу, она была замаскирована циновками по сторонам и сверху. Дорога доходила до разоренной деревушки. Здесь начинались позиции. Кругом было много артиллерии. Дома были полуразрушены, но все было устроено очень хорошо, и повсюду висели дощечки с указателями. Мы разыскали Джино, и он угостил нас кофе, и потом я вышел вместе с ним, и мы кое-кого повидали и осмотрели посты. Джино сказал, что английские машины работают дальше, у Равне. Он очень восхищался англичанами. Еще время от времени стреляют, сказал он, но раненых немного. Теперь, когда начались дожди, будет много больных. Говорят, австрийцы собираются наступать, но он этому не верит. Говорят, мы тоже собираемся наступать, но никаких подкреплений не прибыло, так что и это маловероятно. С продовольствием плохо, и он будет очень рад подкормиться в Гориции. Что мне вчера дали на обед? Я ему рассказал, и он нашел, что это великолепно. Особенное впечатление на него произвело dolce [1]. Я не описывал в подробностях, просто сказал, что было dolce, и, вероятно, он вообразил себе что-нибудь более изысканное, чем хлебный пудинг.

Знаю ли я, куда ему придется ехать? Я сказал, что не знаю, но что часть машин находится в Капоретто. Туда бы он охотно поехал. Это очень славный городок, и ему нравятся высокие горы, которые его окружают. Он был славный малый, и все его любили. Он сказал, что где действительно был ад,— это на Сан-Габриеле и во время атаки за Ломом, которая плохо кончилась. Он сказал, что в лесах по всему хребту Тернова, позади нас и выше нас, полно австрийской артиллерии и по ночам дорогу отчаянно обстреливают. У них есть батарея морских орудий, которые действуют ему на нервы. Их легко узнать по низкому полету снаряда. Слышишь залп, и почти тотчас же начинается свист. Обычно стреляют два орудия сразу, одно за другим, и при разрыве летят огромные осколки. Он показал мне такой осколок, иззубренный кусок металла с фут длиной. Металл был похож на баббит.

— Не думаю, чтоб они давали хорошие результаты,— сказал Джино.— Но мне от них страшно. У них такой звук, точно они летят прямо в тебя. Сначала удар, потом сейчас же свист и разрыв. Что за радость не быть раненым, если при этом умираешь от страха?

---

[1] Сладкое *(ит.)*.

Он сказал, что напротив нас стоят теперь полки кроатов и мадьяр. Наши войска все еще в наступательном порядке. Если австрийцы перейдут в наступление, отступать некуда. В невысоких горах сейчас же за плато есть прекрасные места для оборонительных позиций, но ничего не предпринято, чтоб подготовить их. Кстати, какое впечатление на меня произвела Баинзицца?

Я думал, что здесь более плоско, более похоже на плато. Я не знал, что местность так изрезана.

— Alto piano [1],— сказал Джино,— но не piano [2].

Мы спустились в погреб дома, где он жил. Я сказал, что, по-моему, кряж, если он плоский у вершины и имеет некоторую глубину, легче и выгоднее удерживать, чем цепь мелких гор. Атака в горах не более трудное дело, чем на ровном месте, настаивал я.

— Смотря какие горы,— сказал он.— Возьмите Сан-Габриеле.

— Да,— сказал я.— Но туго пришлось на вершине, где плоско. До вершины добрались сравнительно легко.

— Не так уже легко,— сказал он.

— Пожалуй,— сказал я.— Но все-таки это особый случай, потому что тут была скорее крепость, чем гора. Австрийцы укрепляли ее много лет.

Я хотел сказать, что тактически при военных операциях, связанных с передвижением, удерживать в качестве линии фронта горную цепь не имеет смысла, потому что горы слишком легко обойти. Здесь нужна максимальная маневренность, а в горах маневрировать трудно. И потом, при стрельбе сверху вниз всегда бывают перелеты. В случае отхода флангов лучшие силы останутся на самых высоких вершинах. Мне горная война не внушает доверия. Я много думал об этом, сказал я. Мы засядем на одной горе, они засядут на другой, а как начнется что-нибудь настоящее, и тем и другим придется слезать вниз.

— А что же делать, если граница проходит в горах? — спросил он.

Я сказал, что это у меня еще не продумано, и мы оба засмеялись. Но, сказал я, в прежнее время австрийцев всегда били в четырехугольнике веронских крепостей. Им давали спуститься на равнину, и там их били.

— Да,— сказал Джино.— Но то были французы, а стратегические проблемы всегда легко разрешать, когда ведешь бой на чужой территории.

— Да,— согласился я.— У себя на родине невозможно подходить к этому чисто научно.

---

[1] Плоскогорье *(ит.)*.

[2] Равнина *(ит.)*.

— Русские сделали это, чтобы заманить в ловушку Наполеона.

— Да, но ведь у русских столько земли. Попробуйте в Италии отступать, чтобы заманить Наполеона, и вы мигом очутитесь в Бриндизи.

— Отвратительный город,— сказал Джино.— Вы когда-нибудь там бывали?

— Только проездом.

— Я патриот,— сказал Джино.— Но не могу я любить Бриндизи или Таранто.

— А Баинзиццу вы любите? — спросил я.

— Это священная земля,— сказал он.— Но я хотел бы, чтобы она родила больше картофеля. Вы знаете, когда мы попали сюда, мы нашли поля картофеля, засаженные австрийцами.

— Что, здесь действительно так плохо с продовольствием? — спросил я.

— Я лично ни разу не наелся досыта, но у меня основательный аппетит, а голодать все-таки не приходилось. Офицерские обеды неважные. На передовых позициях кормят прилично, а вот на линии поддержки хуже. Что-то где-то не в порядке. Продовольствия должно быть достаточно.

— Спекулянты распродают его на сторону.

— Да, батальонам на передовых позициях дают все, что можно, а тем, кто поближе к тылу, приходится туго. Уже съели всю австрийскую картошку и все каштаны из окрестных рощ. Нужно бы кормить получше. У нас у всех основательный аппетит. Я уверен, что продовольствия достаточно. Очень скверно, когда солдатам не хватает продовольствия. Вы замечали, как это влияет на образ мыслей?

— Да,— сказал я.— Это не принесет победы, но может принести поражение.

— Не будем говорить о поражении. Довольно и так разговоров о поражении. Не может быть, чтобы все, что совершилось этим летом, совершилось понапрасну.

Я промолчал. Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «совершилось». Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и читали их на плакатах, которые расклейщики, бывало, нашлепывали поверх других плакатов; но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. Некоторые номера тоже сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия мест можно было еще произносить с каким-то зна-

чением. Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами. Джино был патриот, поэтому иногда то, что он говорил, разобщало нас, но он был добрый малый, и я понимал его патриотизм. Он с ним родился. Вместе с Педуцци он сел в машину, чтобы ехать в Горицию.

Весь день была буря. Ветер подгонял потоки, и всюду были лужи и грязь. Штукатурка на развалинах стен была серая и мокрая. Перед вечером дождь перестал, и с поста номер два я увидел мокрую голую осеннюю землю, тучи над вершинами холмов и мокрые соломенные циновки на дороге, с которых стекала вода. Солнце выглянуло один раз, перед тем как зайти, и осветило голый лес за кряжем горы. В лесу на этом кряже было много австрийских орудий, но стреляли не все. Я смотрел, как клубы шрапнельного дыма возникали вдруг в небе над разрушенной фермой, близ которой проходил фронт; пушистые клубы с желтобелой вспышкой в середине. Видна была вспышка, потом слышался треск, потом шар дыма вытягивался и редел на ветру. Много шрапнельных пуль валялось среди развалин и на дороге у разрушенного дома, где находился пост, но пост в этот вечер не обстреливали. Мы нагрузили две машины и поехали по дороге, замаскированной мокрыми циновками, сквозь щели которых проникали последние солнечные лучи. Когда мы выехали на открытую дорогу, солнце уже село. Мы поехали по открытой дороге, и когда, миновав поворот, мы снова въехали под квадратные своды соломенного туннеля, опять пошел дождь.

Ночью ветер усилился, и в три часа утра под сплошной пеленой дождя начался обстрел, и кроаты пошли через горные луга и перелески прямо на наши позиции. Они дрались в темноте под дождем, и контратакой осмелевших от страха солдат из окопов второй линии были отброшены назад. Рвались снаряды, взлетали ракеты под дождем, не утихал пулеметный и ружейный огонь по всей линии фронта. Они больше не пытались подойти, и кругом стало тише, и между порывами ветра и дождя мы слышали гул канонады далеко на севере.

На пост прибывали раненые: одних несли на носилках, другие шли сами, третьих тащили на плечах товарищи, возвращавшиеся с поля. Они промокли до костей и не помнили себя от страха. Мы нагрузили две машины тяжелоранеными, которые лежали в погребе дома, где был пост, и, когда я захлопнул дверцу второй машины и повернул задвижку, на лицо мне упали снежные хлопья. Снег густо и тяжело валил вместе с дождем.

Когда рассвело, буря еще продолжалась, но снега уже не было. Он растаял на мокрой земле, и теперь снова шел дождь. На

рассвете нас атаковали еще раз, но без успеха. Мы ждали атаки целый день, но все было тихо, пока не село солнце. Обстрел начался на юге, со стороны длинного, поросшего лесом горного кряжа, где была сосредоточена австрийская артиллерия. Мы тоже ждали обстрела, но его не было. Становилось темно. Наши орудия стояли в поле за деревней, и свист их снарядов звучал успокоительно.

Мы узнали, что атака на юге прошла без успеха. В ту ночь атака не возобновлялась, но мы узнали, что на севере фронт прорван. Ночью нам дали знать, чтобы мы готовились к отступлению. Мне сказал об этом капитан. Он получил сведения из штаба бригады. Немного спустя он вернулся от телефона и сказал, что все неправда. Штабу дан приказ во что бы то ни стало удержать позиции на Баинзицце. Я спросил о прорыве, и он сказал, что в штабе говорят, будто австрийцы прорвали фронт двадцать седьмого армейского корпуса в направлении Капоретто. На севере весь вчерашний день шли ожесточенные бои.

— Если эти сукины дети их пропустят, нам крышка,— сказал он.

— Это немцы атакуют,— сказал один из врачей. Слово «немцы» внушало страх. Мы никак не хотели иметь дело с немцами.

— Там пятнадцать немецких дивизий,— сказал врач.— Они прорвались, и мы будем отрезаны.

— В штабе бригады говорят, что мы должны удержать эти позиции. Говорят, прорыв не серьезный, и мы будем теперь держать линию фронта от Монте-Маджоре через горы.

— Откуда у них эти сведения?

— Из штаба дивизии.

— О том, что нужно готовиться к отступлению, тоже сообщили из штаба дивизии.

— Наше начальство — штаб армии,— сказал я.— Но здесь мое начальство — вы. Если вы велите мне ехать, я поеду. Но выясните точно, каков приказ.

— Приказ таков, что мы должны оставаться здесь. Ваше дело перевозить раненых на распределительный пункт.

— Нам иногда приходится перевозить и с распределительного пункта в полевые госпитали,— сказал я.— А скажите,— я никогда не видел отступления: если начинается отступление, каким образом эвакуируют всех раненых?

— Всех не эвакуируют. Забирают, сколько возможно, а прочих оставляют.

— Что я повезу на своих машинах?

— Госпитальное оборудование.

— Понятно,— сказал я.

На следующую ночь началось отступление. Стало известно,

что немцы и австрийцы прорвали фронт на севере и идут горными ущельями на Чивидале и Удине. Отступали под дождем, организованно, сумрачно и тихо. Ночью, медленно двигаясь по запруженным дорогам, мы видели, как проходили под дождем войска, ехали орудия, повозки, запряженные лошадьми, мулы, грузовики, и все это уходило от фронта. Было не больше беспорядка, чем при продвижении вперед.

В ту ночь мы помогали разгружать полевые госпитали, которые были устроены в уцелевших деревнях на плато, и отвозили раненых к Плаве, а назавтра весь день сновали под дождем, эвакуируя госпитали и распределительный пункт Плавы. Дождь лил упорно, и под октябрьским дождем армия Баиизиццы спускалась с плато и переходила реку там, где весной этого года были одержаны первые великие победы. В середине следующего дня мы прибыли в Горицию. Дождь перестал, и в городе было почти пусто. Проезжая по улице, мы увидели грузовик, на который усаживали девиц из солдатского борделя. Девиц было семь, и все они были в шляпах и пальто с маленькими чемоданчиками в руках. Две из них плакали. Третья улыбнулась нам, высунула язык и повертела им из стороны в сторону. У нее были толстые припухлые губы и черные глаза.

Я остановил машину, вышел и заговорил с хозяйкой. Девицы из офицерского дома уехали рано утром, сказала она. Куда они направляются? В Конельяно, сказала она. Грузовик тронулся. Девица с толстыми губами снова показала нам язык. Хозяйка помахала рукой. Две девицы продолжали плакать. Другие с любопытством оглядывали город. Я снова сел в машину.

— Вот бы нам ехать вместе с ними,— сказал Бонелло.— Веселая была бы поездка.

— Поездка и так будет веселая,— сказал я.

— Поездка будет собачья.

— Я это и подразумевал,— сказал я. Мы выехали на аллею, которая вела к нашей вилле.

— Хотел бы я быть там, когда эти пышечки расположатся на месте и примутся за дело.

— Вы думаете, они так сразу и примутся?

— Еще бы! Кто же во второй армии не знает этой хозяйки?

Мы были уже перед виллой.

— Ее называют мать игуменья,— сказал Бонелло.— Девицы новые, но се-то знает каждый. Их, должно быть, привезли только что перед отступлением.

— Теперь потрудятся.

— Вот и я говорю, что потрудятся. Хотел бы я позабавиться с ними на даровщинку. Все-таки дерут они там, в домах. Государство обжуливает нас.

— Отведите машину, пусть механик ее осмотрит,— сказал я.— Смените масло и проверьте дифференциал. Заправьтесь, а потом можете немного поспать.

— Слушаюсь.

Вилла была пуста. Ринальди уехал с госпиталем. Майор увез в штабной машине медицинский персонал. На окне оставлена была для меня записка с указанием погрузить на машины оборудование, сложенное в вестибюле, и следовать в Порденоне. Механики уже уехали. Я вернулся в гараж. Остальные две машины пришли, пока я ходил на виллу, и шоферы стояли во дворе. Опять стал накрапывать дождь.

— Я до того спать хочу, что три раза заснул по дороге от Плавы,— сказал Пиани.— Что будем делать, tenente?

— Сменим масло, смажем, заправимся, подъедем к главному входу и погрузим добро, которое нам оставили.

— И сразу в путь?

— Нет, часа три поспим.

— Черт, поспать — это хорошо,— сказал Бонелло.— А то бы я за рулем заснул.

— Как ваша машина, Аймо? — спросил я.

— В порядке.

— Дайте мне кожан, я помогу вам.

— Не нужно, tenente,— сказал Аймо.— Тут дела немного. Вы идите укладывать свои вещи.

— Мои вещи все уложены,— сказал я.— Я пойду вытащу весь этот хлам, что они нам оставили. Подавайте машины, как только управитесь.

Они подали машины к главному входу виллы, и мы нагрузили их госпитальным имуществом, которое было сложено в вестибюле. Скоро все было готово, и автомобили выстроились под дождем вдоль обсаженной деревьями аллеи. Мы вошли в дом.

— Разведите огонь в кухне и обсушитесь,— сказал я.

— Наплевать, буду мокрый,— сказал Пиани.— Я спать хочу.

— Я лягу на кровати майора,— сказал Бонелло.— Лягу там, где старикашке сны снились.

— Мне все равно, где ни спать,— сказал Пиани.

— Вот тут есть две кровати.— Я отворил дверь.

— Я никогда не был в этой комнате,— сказал Бонелло.

— Это была комната старой жабы,— сказал Пиани.

— Ложитесь тут оба,— сказал я.— Я разбужу вас.

— Если вы проспите, tenente, нас австрийцы разбудят,— сказал Бонелло.

— Не просплю,— сказал я.— Где Аймо?

— Пошел на кухню.

— Ложитесь спать,— сказал я.

— Я лягу,— сказал Пиани.— Я весь день спал сидя. У меня прямо лоб на глаза наезжает.

— Снимай сапоги,— сказал Бонелло.— Это жабина кровать.

— Плевать мне на жабу!

Пиани улегся на кровати, вытянув ноги в грязных сапогах, подложив руку под голову. Я пошел на кухню. Аймо развел в плите огонь и поставил котелок с водой.

— Надо приготовить немножко спагетти,— сказал он.— Захочется есть, когда проснемся.

— А вы спать не хотите, Бартоломео?

— Не очень. Как вода вскипит, я пойду. Огонь сам погаснет.

— Вы лучше поспите,— сказал я.— Поесть можно сыру и консервов.

— Так будет лучше,— сказал он.— Тарелка горячего подкрепит этих двух анархистов. А вы ложитесь спать.

— В комнате майора есть постель.

— Вот вы там и ложитесь.

— Нет, я пойду в свою старую комнату. Хотите выпить, Бартоломео?

— Когда будем выезжать, tenente. Сейчас это мне ни к чему.

— Если через три часа вы проснетесь, а я еще буду спать, разбудите меня, хорошо?

— У меня часов нет.

— В комнате майора есть стенные часы.

— Ладно.

Я прошел через столовую и вестибюль и по мраморной лестнице поднялся в комнату, где жили мы с Ринальди. Шел дождь. Я подошел к окну и выглянул. В надвигавшейся темноте я различил три машины, стоявшие одна за другой под деревьями. С деревьев стекала вода. Было холодно, и капли повисали на ветках. Я лег на постель Ринальди и не стал бороться со сном.

Прежде чем выехать, мы поели на кухне. Аймо приготовил спагетти с луком и накрошил в миску мясных консервов. Мы уселись за стол и выпили две бутылки вина из запасов, оставленных в погребе виллы. Было уже совсем темно, и дождь все еще шел. Пиани сидел за столом совсем сонный.

— Мне отступление больше нравится, чем наступление,— сказал Бонелло.— При отступлении мы пьем барбера.

— Это мы сейчас пьем. Завтра будем пить дождевую воду,— сказал Аймо.

— Завтра мы будем в Удине. Мы будем пить шампанское. Там все лежебоки живут. Проснись, Пиани! Мы будем пить шампанское завтра в Удине.

— Я не сплю,— сказал Пиани. Он положил себе на тарелку спагетти и мяса.— Томатного соуса не хватает, Барто.

— Нигде не нашел,— сказал Аймо.

— Мы будет пить шампанское в Удине,— сказал Бонелло. Он наполнил свой стакан прозрачным красным барбера.

— Не пришлось бы нам наглотаться дерьма еще до Удине,— сказал Пиани.

— Вы сыты, tenente? — спросил Аймо.

— Вполне. Передайте мне бутылку, Бартоломео.

— У меня еще есть по бутылке на брата, чтоб с собой взять,— сказал Аймо.

— Вы совсем не спали?

— Я не люблю долго спать. Я поспал немного.

— Завтра мы будем спать в королевской постели,— сказал Бонелло. Он был отлично настроен.

— Завтра, может статься, мы будем спать в дерьме,— сказал Пиани.

— Я буду спать с королевой,— сказал Бонелло. Он оглянулся, чтоб посмотреть, как я отнесся к его шутке.

— Ты будешь спать с дерьмом,— сказал Пиани сонным голосом.

— Это государственная измена, tenente,— сказал Бонелло.— Правда, это государственная измена?

— Замолчите,— сказал я.— Слишком вы разгулялись от капли вина.

Дождь лил все сильнее. Я поглядел на часы. Было половина десятого.

— Пора двигать,— сказал я и встал.

— Вы с кем поедете, tenente? — спросил Бонелло.

— С Аймо. Потом вы. Потом Пиани. Поедем по дороге на Кормонс.

— Боюсь, как бы я не заснул,— сказал Пиани.

— Хорошо. Я поеду с вами. Потом Бонелло. Потом Аймо.

— Это лучше всего,— сказал Пиани.— А то я совсем сплю.

— Я поведу машину, а вы немного поспите.

— Нет. Я могу вести, раз я знаю, что есть кому меня разбудить, если я засну.

— Я вас разбужу. Погасите свет, Барто.

— А пускай его горит,— сказал Бонелло.— Нам здесь больше не жить.

— У меня там сундучок в комнате,— сказал я.— Вы мне поможете его снести, Пиани?

— Мы сейчас возьмем,— сказал Пиани.— Пошли, Альдо.

Он вышел вместе с Бонелло. Я слышал, как они поднимались по лестнице.

— Хороший это город,— сказал Бартоломео Аймо. Он положил в свой вещевой мешок две бутылки вина и полкруга сыру.— Другого такого города нам уже не найти. Куда мы отступаем, tenente?

— За Тальяменто, говорят. Госпиталь и штаб будут в Порденоне.

— Тут лучше, чем в Порденоне.

— Я в Порденоне не был,— сказал я.— Я только проезжал мимо.

— Городок не из важных,— сказал Аймо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Когда мы выезжали из Гориции, город в темноте под дождем был пустой, только колонны войск и орудий проходили по главной улице. Еще было много грузовиков и повозок, все это ехало по другим улицам и соединялось на шоссе. Миновав дубильни, мы выехали на шоссе, где войска, грузовики, повозки, запряженные лошадьми, и орудия шли одной широкой, медленно движущейся колонной. Мы медленно, но неуклонно двигались под дождем, почти упираясь радиатором в задний борт нагруженного с верхом грузовика, покрытого мокрым брезентом. Вдруг грузовик остановился. Остановилась вся колонна. Потом она вновь тронулась, мы проехали еще немного и снова остановились. Я вылез и пошел вперед, пробираясь между грузовиками и повозками и под мокрыми мордами лошадей. Затор был где-то впереди. Я свернул с дороги, перебрался через канаву по дощатым мосткам и пошел по полю, начинавшемуся сразу же за канавой. Удаляясь от дороги, я все время видел между деревьями неподвижную под дождем колонну. Я прошел около мили. Колонна стояла на месте, хотя за неподвижным транспортом мне видно было, что войска идут. Я вернулся к машинам. Могло случиться, что затор образовался под самым Удине. Пиани спал за рулем. Я уселся рядом с ним и тоже заснул. Спустя несколько часов я услышал скрежет передачи на грузовике впереди нас. Я разбудил Пиани, и мы поехали, то подвигаясь вперед на несколько ярдов, то останавливаясь, то снова трогаясь. Дождь все еще шел.

Ночью колонна снова стала и не двигалась с места. Я вылез и пошел назад, проведать Бонелло и Аймо. В машине Бонелло с ним рядом сидели два сержанта инженерной части. Когда я подошел, они вытянулись и замерли.

— Их оставили чинить какой-то мост,— сказал Бонелло.— Они не могут найти свою часть, так я согласился их подвезти.

— Если господин лейтенант разрешит.

— Разрешаю,— сказал я.

— Наш лейтенант американец,— сказал Бонелло.— Он кого хочешь подвезет.

Один из сержантов улыбнулся. Другой спросил у Бонелло, из североамериканских я итальянцев или из южноамериканских.

— Он не итальянец. Он англичанин. Он англичанин из Северной Америки.

Сержанты вежливо выслушали, но не поверили. Я оставил их и пошел к Аймо. Рядом с ним в машине сидели две девушки, и он курил, откинувшись в угол.

— Барто, Барто! — сказал я. Он засмеялся.

— Поговорите с ними, tenente,— сказал он.— Я их не понимаю. Эй! — Он положил руку на бедро одной из девушек и дружески сжал его. Девушка плотнее закуталась в шаль и оттолкнула его руку.— Эй! — сказал он.— Скажите tenente, как вас зовут и что вы тут делаете.

Девушка свирепо поглядела на меня. Вторая девушка сидела потупившись. Та, которая смотрела на меня, сказала что-то на диалекте, но я ни слова не понял. Она была смуглая, лет шестнадцати на вид.

— Sorella? [1] — спросил я, указывая на вторую девушку.

Она кивнула головой и улыбнулась.

— Так,— сказал я и потрепал ее по колену. Я почувствовал, как она съежилась, когда я прикоснулся к ней. Сестра по-прежнему не поднимала глаз. Ей можно было дать годом меньше. Снова Аймо положил руку старшей на бедро, и она оттолкнула ее. Он засмеялся.

— Хороший человек.— Он указал на самого себя.— Хороший человек.— Он указал на меня.— Не надо бояться.

Девушка смотрела на него свирепо. Они были похожи на двух диких птиц.

— Зачем же она со мной поехала, если я ей не нравлюсь? — спросил Аймо.— Я их только поманил, а они сейчас же влезли в машину.— Он обернулся к девушке.— Не бойся,— сказал он.— Никто тебя не...— Он употребил грубое слово.— Тут негде...— Я видел, что она поняла слово, но больше ничего. В ее глазах, смотревших на него, был смертельный испуг. Она еще плотнее закуталась в свою шаль.— Машина полна,— сказал Аймо.— Никто тебя не... Тут негде...

Каждый раз, когда он произносил это слово, девушка съеживалась. Потом, вся съежившись и по-прежнему глядя на него, она заплакала. Я увидел, как у нее затряслись губы и слезы покатились по ее круглым щекам. Сестра, не поднимая глаз, взяла ее за

[1] Сестра? *(ит.)*

руку, и так они сидели рядом. Старшая, такая свирепая раньше, теперь громко всхлипывала.

— Испугалась, видно,— сказал Аймо.— Я вовсе не хотел пугать ее.

Он вытащил свой мешок и отрезал два куска сыру.

— Вот тебе,— сказал он.— Не плачь.

Старшая девушка покачала головой и продолжала плакать, но младшая взяла сыр и стала есть. Немного погодя младшая дала сестре второй кусок сыру, и они обе ели молча. Старшая все еще изредка всхлипывала.

— Ничего, скоро успокоится,— сказал Аймо.

Ему пришла в голову мысль.

— Девушка? — спросил он ту, которая сидела с ним рядом. Она усердно закивала головой.— Тоже девушка? — Он указал на сестру. Обе закивали, и старшая сказала что-то на диалекте.

— Ну, ну, ладно,— сказал Бартоломео.— Ладно.

Обе как будто приободрились.

Я оставил их в машине с Аймо, который сидел, откинувшись в угол, а сам вернулся к Пиани. Колонна транспорта стояла неподвижно, но мимо нее все время шли войска. Дождь все еще лил, и я подумал, что остановки в движении колонны иногда происходят из-за того, что у машин намокает проводка. Скорее, впрочем, от того, что лошади или люди засыпают на ходу. Но ведь случаются заторы и в городах, когда никто не засыпает на ходу. Все дело в том, что тут и автотранспорт и гужевой вместе. От такой комбинации толку мало. От крестьянских повозок вообще мало толку. Славные эти девушки у Барто. Невинным девушкам не место в отступающей армии. Две невинные девушки. Еще и религиозные, наверно. Не будь войны, мы бы, наверно, все сейчас лежали в постели. В постель свою ложусь опять. Кэтрин сейчас в постели, у нее две простыни, одна под ней, другая сверху. На каком боку она спит? Может быть, она не спит. Может быть, она лежит сейчас и думает обо мне. Вей, западный ветер, вей. Вот он и повеял, и не дождиком, а сильным дождем туча пролилась. Всю ночь льет дождь. Ты знал, что всю ночь будет лить дождь, которым туча пролилась. Смотри, как он льет. Когда бы милая моя со мной в постели здесь была. Когда бы милая моя Кэтрин. Когда бы милая моя с попутной тучей принеслась. Принеси ко мне мою Кэтрин, ветер. Что ж, вот и мы попались. Все на свете попались, и дождику не потушить огня.

— Спокойной ночи, Кэтрин,— сказал я громко.— Спи крепко. Если тебе очень неудобно, дорогая, ляг на другой бок,— сказал я.— Я принесу тебе холодной воды. Скоро наступит утро, и тебе будет легче. Меня огорчает, что тебе из-за него так неудобно. Постарайся уснуть, моя хорошая.

Я все время спала, сказала она. Ты разговаривал во сне. Ты нездоров?

Ты правда здесь?

Ну конечно, я здесь. И никуда не уйду. Это все для нас с тобой не имеет значения.

Ты такая красивая и хорошая. Ты от меня не уйдешь ночью?

Ну конечно, я не уйду. Я всегда здесь. Я с тобой, когда бы ты меня ни позвал.

— Ах ты .....! — сказал Пиани.— Поехали!

— Я задремал,— сказал я. Я посмотрел на часы. Было три часа утра. Я перегнулся через сиденье, чтобы достать бутылку барбера.

— Вы разговаривали во сне,— сказал Пиани.

— Мне снился сон по-английски,— сказал я.

Дождь немного утих, и мы двигались вперед. Перед рассветом мы опять остановились, и когда совсем рассвело, оказалось, что мы стоим на небольшой возвышенности, и я увидел весь путь отступления, простиравшийся далеко вперед, шоссе, забитое неподвижным транспортом, сквозь который просачивалась только пехота. Мы тронулись снова, но при дневном свете видно было, с какой скоростью мы подвигаемся, и я понял, что если мы хотим когда-нибудь добраться до Удине, нам придется свернуть с шоссе и ехать прямиком.

За ночь к колонне пристало много крестьян с проселочных дорог, и теперь в колонне ехали повозки, нагруженные домашним скарбом; зеркала торчали между матрацами, к задкам были привязаны куры и утки. Швейная машина стояла под дождем на повозке, ехавшей впереди нас. Каждый спасал, что у него было ценного. Кое-где женщины сидели на повозках, закутавшись, чтобы укрыться от дождя, другие шли рядом, стараясь держаться как можно ближе. В колонне были теперь и собаки, они бежали, прячась под днищами повозок. Шоссе было покрыто грязью, в канавах доверху стояла вода, и земля в полях за деревьями, окаймлявшими шоссе, казалась слишком мокрой и слишком вязкой, чтобы можно было отважиться ехать прямиком. Я вышел из машины и прошел немного вперед, отыскивая удобное место, чтобы осмотреться и выбрать поворот на проселок. Проселочных дорог было много, но я опасался попасть на такую, которая никуда не приведет. Я все их видел не раз, когда мы проезжали в машине по шоссе, но ни одной не запомнил, потому что машина шла быстро, и все они были похожи одна на другую. Я только знал, что от правильного выбора дороги будет зависеть, доберемся ли мы до места. Неизвестно было, где теперь австрийцы и как обстоят дела, но я был уверен, что, если дождь перестанет и над колонной появятся самолеты, все пропало. Пусть хоть несколько машин останется без

водителей или несколько лошадей падет,— и движение на дороге окончательно застопорится.

Дождь теперь лил не так сильно, и я подумал, что скоро может проясниться. Я прошел еще немного вперед, и, дойдя до узкой дороги с живой изгородью по сторонам, меж двух полей уходившей на север, решил, что по ней мы и поедем, и поспешил назад, к машинам. Я сказал Пиани, где свернуть, и пошел предупредить Аймо и Бонелло.

— Если она нас никуда не выведет, мы можем вернуться и снова примкнуть к колонне,— сказал я.

— А что же мне с этими делать? — спросил Бонелло. Его сержанты по-прежнему сидели рядом с ним. Они были небриты, но выглядели по-военному даже в этот ранний утренний час.

— Пригодятся, если нужно будет подталкивать машину,— сказал я. Я подошел к Аймо и сказал, что мы попытаемся проехать прямиком.

— А мне что делать с моим девичьим выводком?— спросил Аймо. Обе девушки спали.

— От них мало пользы,— сказал я.— Лучше бы вам взять кого-нибудь на подмогу, чтобы толкать машину.

— Они могут пересесть в кузов,— сказал Аймо.— В кузове есть место.

— Ну пожалуйста, если вам так хочется,— сказал я.— Но возьмите кого-нибудь с широкими плечами на подмогу.

— Берсальера,— улыбнулся Аймо.— Самые широкие плечи у берсальеров. Им измеряют плечи. Как вы себя чувствуете, tenente?

— Прекрасно. А вы?

— Прекрасно. Только очень есть хочется.

— Куда-нибудь мы доберемся этой дорогой, тогда остановимся и поедим.

— Как ваша нога, tenente?

— Прекрасно,— сказал я.

Стоя на подножке и глядя вперед, я видел, как машина Пиани отделилась от колонны и свернула на узкий проселок, мелькая в просветах голых ветвей изгороди. Бонелло повернул вслед за ним, а потом и Аймо сделал то же, и мы поехали за двумя передними машинами узкой проселочной дорогой с изгородью по сторонам. Дорога вела к ферме. Мы застали машины Пиани и Бонелло уже во дворе фермы. Дом был низкий и длинный, с увитым виноградом навесом над дверью. Во дворе был колодец, и Пиани уже доставал воду, чтобы наполнить свой радиатор. От долгой езды с небольшой скоростью вода вся выкипела. Ферма была брошена. Я оглянулся на дорогу. Ферма стояла на пригорке, и оттуда видно было далеко кругом, и мы увидели дорогу, изгородь, поля и ряд

деревьев вдоль шоссе, по которому шло отступление. Сержанты шарили в доме. Девушки проснулись и разглядывали дом, колодец, два больших санитарных автомобиля перед домом и трех шоферов у колодца. Один из сержантов вышел из дома со стенными часами в руках.

— Отнесите на место,— сказал я. Он посмотрел на меня, вошел в дом и вернулся без часов.

— Где ваш товарищ? — спросил я.

— Пошел в отхожее место.— Он взобрался на сиденье машины. Он боялся, что мы не возьмем его с собой.

— Как быть с завтраком, tenente? — спросил Бонелло.— Может, поедим чего-нибудь? Это не займет много времени.

— Как вы думаете, дорога, которая идет в ту сторону, приведет нас куда-нибудь?

— Понятно, приведет.

— Хорошо. Давайте поедим.

Пиани и Бонелло вошли в дом.

— Идем,— сказал Аймо девушкам. Он протянул руку, чтоб помочь им вылезть. Старшая из сестер покачала головой. Они не станут входить в пустой брошенный дом. Они смотрели нам вслед.

— Упрямые,— сказал Аймо.

Мы вместе вошли в дом. В нем было темно и просторно и чувствовалась покинутость. Бонелло и Пиани были на кухне.

— Есть тут особенно нечего,— сказал Пиани.— Все подобрали дочиста.

Бонелло резал большой белый сыр на кухонном столе.

— Откуда сыр?

— Из погреба. Пиани нашел еще вино и яблоки.

— Что ж, вот и завтрак.

Пиани вытащил деревянную затычку из большой, оплетенной соломой бутылки. Он наклонил ее и наполнил медный ковшик.

— Пахнет недурно,— сказал он.— Поищи какой-нибудь посуды, Барто.

Вошли оба сержанта.

— Берите сыру, сержанты,— сказал Бонелло.

— Пора бы ехать,— сказал один из сержантов, прожевывая сыр и запивая его вином.

— Поедем. Не беспокойтесь,— сказал Бонелло.

— Брюхо армии — ее ноги,— сказал я.

— Что? — спросил сержант.

— Поесть нужно.

— Да. Но время дорого.

— Наверно, сучьи дети, уже наелись,— сказал Пиани. Сержанты посмотрели на него. Они нас всех ненавидели.

— Вы знаете дорогу? — спросил меня один из них.

— Нет,— сказал я. Они посмотрели друг на друга.

— Лучше всего, если мы тронемся сейчас же,— сказал первый.

— Мы сейчас и тронемся,— сказал я.

Я выпил еще чашку красного вина. Оно казалось очень вкусным после сыра и яблок.

— Захватите сыр,— сказал я и вышел. Бонелло вышел вслед за мной с большой бутылью вина.

— Это слишком громоздко,— сказал я. Он посмотрел на вино с сожалением.

— Пожалуй, что так,— сказал он.— Дайте-ка мне фляги.

Он наполнил фляги, и немного вина пролилось на каменный пол. Потом он поднял бутыль и поставил ее у самой двери.

— Австрийцам не нужно будет выламывать дверь, чтобы найти вино,— сказал он.

— Надо двигать,— сказал я.— Мы с Пиани отправляемся вперед.

Оба сержанта уже сидели рядом с Бонелло. Девушки ели яблоки и сыр. Аймо курил. Мы поехали по узкой дороге. Я оглянулся на две другие машины и на фермерский дом. Это был хороший, низкий, прочный дом, и колодец был обнесен красивыми железными перилами. Впереди была дорога, узкая и грязная, и по сторонам ее шла высокая изгородь. Сзади, один за другим, следовали наши автомобили.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В полдень мы увязли на топкой дороге, по нашим расчетам, километрах в десяти от Удине. Дождь перестал еще утром, и уже три раза мы слышали приближение самолетов, видели, как они пролетали в небе над нами, следили, как они забирали далеко влево, и слышали грохот бомбежки на главном шоссе. Мы путались в сети проселочных дорог и не раз попадали на такие, которые кончались тупиком, но неизменно, возвращаясь назад и находя другие дороги, приближались к Удине. Но вот машина Аймо, давая задний ход, чтоб выбраться из тупика, застряла в рыхлой земле у обочины, и колеса, буксуя, зарывались все глубже и глубже до тех пор, пока машина не уперлась в землю дифференциалом. Теперь нужно было подкопаться под колеса спереди, подложить прутья, чтобы могли работать цепи, и толкать сзади до тех пор, пока машина не выберется на дорогу. Мы все стояли на дороге вокруг машины. Оба сержанта подошли к машине и осмотрели колеса. Потом они повернулись и пошли по дороге, не говоря ни слова. Я пошел за ними.

— Эй, вы! — сказал я.— Наломайте прутьев.

— Нам нужно идти,— сказал один.

— Ну, живо,— сказал я.— Наломайте прутьев.

— Нам нужно идти,— сказал один. Другой не говорил ничего. Они торопились уйти. Они не смотрели на меня.

— Я вам приказываю вернуться к машине и наломать прутьев,— сказал я. Первый сержант обернулся.

— Нам нужно идти. Через час вы будете отрезаны. Вы не имеете права приказывать нам. Вы нам не начальство.

— Я вам приказываю наломать прутьев,— сказал я. Они повернулись и пошли по дороге.

— Стой! — сказал я. Они продолжали идти по топкой дороге с изгородью по сторонам.— Стой, говорю! — крикнул я. Они прибавили шагу. Я расстегнул кобуру, вынул пистолет, прицелился в того, который больше разговаривал, и спустил курок. Я промахнулся и они оба бросились бежать. Я выстрелил еще три раза, и один упал. Другой пролез сквозь изгородь и скрылся из виду. Я выстрелил в него сквозь изгородь, когда он побежал по полю. Пистолет дал осечку, и я вставил новую обойму. Я видел, что второй сержант уже так далеко, что стрелять в него бессмысленно. Он был на другом конце поля и бежал, низко пригнув голову. Я стал заряжать пустую обойму. Подошел Бонелло.

— Дайте я его прикончу,— сказал он. Я передал ему пистолет, и он пошел туда, где поперек дороги лежал ничком сержант инженерной части. Бонелло наклонился, приставил дуло к его голове и нажал спуск. Выстрела не было.

— Надо оттянуть затвор,— сказал я. Он оттянул затвор и выстрелил дважды. Он взял сержанта за ноги и оттащил его на край дороги, так что он лежал теперь у самой изгороди. Он вернулся и отдал мне пистолет.

— Сволочь! — сказал он. Он смотрел на сержанта.— Вы видели, как я его застрелил, tenente?

— Нужно скорей наломать прутьев,— сказал я.— А что, в другого я так и не попал?

— Вероятно, нет,— сказал Аймо.— Так далеко из пистолета не попасть.

— Скотина! — сказал Пиани. Мы ломали прутья и ветки. Из машины все выгрузили. Бонелло копал перед колесами. Когда все было готово, Аймо завел мотор и включил передачу. Колеса стали буксовать, разбрасывая грязь и прутья. Бонелло и я толкали изо всех сил, пока у нас не затрещали суставы. Машина не двигалась с места.

— Раскачайте ее, Барто,— сказал я.

Он дал задний ход, потом снова передний. Колеса только глубже зарывались. Потом машина опять уперлась дифференциалом,

и колеса свободно вертелись в вырытых ими ямах. Я выпрямился.

— Попробуем веревкой,— сказал я.

— Я думаю, ничего не выйдет, tenente. Здесь не встать на одной линии.

— Нужно попробовать,— сказал я.— Иначе ее не вытащишь.

Машины Пиани и Бонелло могли встать на одной линии только по длине узкой дороги. Мы привязали одну машину к другой и стали тянуть. Колеса только вертелись на месте в колее.

— Ничего не получается,— закричал я.— Бросьте.

Пиани и Бонелло вышли из своих машин и вернулись к нам. Аймо вылез. Девушки сидели на камне, ярдах в двадцати от нас.

— Что вы скажете, tenente? — спросил Бонелло.

— Попробуем еще раз с прутьями,— сказал я.

Я смотрел на дорогу. Вина была моя. Я завел их сюда. Солнце почти совсем вышло из-за туч, и тело сержанта лежало у изгороди.

— Подстелим его френч и плащ,— сказал я. Бонелло пошел за ними. Я ломал прутья, а Пиани и Аймо копали впереди и между колес. Я надрезал плащ, потом разорвал его надвое и разложил в грязи под колесами, потом навалил прутьев. Мы приготовились, и Аймо взобрался на сиденье и включил мотор. Колеса буксовали, мы толкали изо всех сил. Но все было напрасно.

— Ну его к...! — сказал я.— Есть тут у вас что-нибудь нужное, Барто?

Аймо влез в машину к Бонелло, захватив с собой сыр, две бутылки вина и плащ. Бонелло, сидя за рулем, осматривал карманы френча сержанта.

— Выбросьте-ка этот френч,— сказал я.— А что будет с выводком Барто?

— Пусть садятся в кузов,— сказал Пиани.— Вряд ли мы далеко уедем.

Я отворил заднюю дверцу машины.

— Ну,— сказал я.— Садитесь.

Обе девушки влезли внутрь и уселись в уголке. Они как будто и не слыхали выстрелов. Я оглянулся назад. Сержант лежал на дороге в грязной фуфайке с длинными рукавами. Я сел рядом с Пиани, и мы тронулись. Мы хотели проехать через поле. Когда машины свернули на поле, я слез и пошел вперед. Если б нам удалось проехать через поле, мы бы выехали на дорогу. Нам не удалось проехать. Земля была слишком рыхлая и топкая. Когда машины застряли окончательно и безнадежно, наполовину уйдя колесами в грязь, мы бросили их среди поля и пошли к Удине пешком.

Когда мы вышли на дорогу, которая вела назад, к главному шоссе, я указал на нее девушкам.

— Идите туда,— сказал я.— Там люди.

Они смотрели на меня. Я вынул бумажник и дал каждой по десять лир.

— Идите туда,— сказал я, указывая пальцем.— Там друзья! Родные!

Они не поняли, но крепко зажали в руке деньги и пошли по дороге. Они оглядывались, словно боясь, что я отниму у них деньги. Я смотрел, как они шли по дороге, плотно закутавшись в шали, боязливо оглядываясь на нас. Все три шофера смеялись.

— Сколько вы дадите мне, если я пойду в ту сторону, tenente? — спросил Бонелло.

— Если уж они попадутся, так пусть лучше в толпе, чем одни,— сказал я.

— Дайте мне две сотни лир, и я пойду назад, прямо в Австрию,— сказал Бонелло.

— Там их у тебя отберут,— сказал Пиани.

— Может быть, война кончится,— сказал Аймо. Мы шли по дороге так быстро, как только могли. Солнце пробивалось сквозь тучи. Вдоль дороги росли тутовые деревья. Из-за деревьев мне видны были наши машины, точно два больших мебельных фургона, торчавшие среди поля. Пиани тоже оглянулся.

— Придется построить дорогу, чтоб вытащить их оттуда,— сказал он.

— Эх, черт, были бы у нас велосипеды! — сказал Бонелло.

— В Америке ездят на велосипедах? — спросил Аймо.

— Прежде ездили.

— Хорошая вещь,— сказал Аймо.— Прекрасная вещь велосипед.

— Эх, черт, были бы у нас велосипеды! — сказал Бонелло.— Я плохой ходок.

— Что это, стреляют? — спросил я. Мне показалось, что я слышу выстрелы где-то вдалеке.

— Не знаю,— сказал Аймо. Он прислушался.

— Кажется, да,— сказал я.

— Раньше всего мы увидим кавалерию,— сказал Пиани.

— По-моему, у них нет кавалерии.

— Тем лучше, черт возьми,— сказал Бонелло.— Я вовсе не желаю, чтобы какая-нибудь кавалерийская сволочь проткнула меня пикой.

— Ловко вы того сержанта прихлопнули, tenente,— сказал Пиани. Мы шли очень быстро.

— Я его застрелил,— сказал Бонелло.— Я за эту войну еще никого не застрелил, и я всю жизнь мечтал застрелить сержанта.

— Застрелил курицу на насесте,— сказал Пиани.— Не очень-то быстро он летел, когда ты в него стрелял.

— Все равно. Я теперь всегда буду помнить об этом. Я убил эту сволочь, сержанта.

— А что ты скажешь на исповеди? — спросил Аймо.

— Скажу так: благословите меня, отец мой, я убил сержанта.

Все трое засмеялись.

— Он анархист,— сказал Пиани.— Он не ходит в церковь.

— Пиани тоже анархист,— сказал Бонелло.

— Вы действительно анархисты? — спросил я.

— Нет, tenente. Мы социалисты. Мы все из Имолы.

— Вы там никогда не бывали?

— Нет.

— Эх, черт! Славное это местечко, tenente. Приезжайте туда к нам после войны, там есть что посмотреть.

— И там все социалисты?

— Все до единого.

— Это хороший город?

— Еще бы. Вы такого и не видели.

— Как вы стали социалистами?

— Мы все социалисты. Там все до единого — социалисты. Мы всегда были социалистами.

— Приезжайте, tenente. Мы из вас тоже социалиста сделаем.

Впереди дорога сворачивала влево и взбиралась на невысокий холм мимо фруктового сада, обнесенного каменной стеной. Когда дорога пошла в гору, они перестали разговаривать. Мы шли четверо в ряд, стараясь не замедлять шага.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Позднее мы вышли на дорогу, которая вела к реке. Длинная вереница брошенных грузовиков и повозок тянулась по дороге до самого моста. Никого не было видно. Вода в реке стояла высоко, и мост был взорван посередине; каменный свод провалился в реку, и бурая вода текла над ним. Мы пошли по берегу, выискивая место для переправы. Я знал, что немного дальше есть железнодорожный мост, и я думал, что, может быть, нам удастся переправиться там. Тропинка была мокрая и грязная. Людей не было видно, только брошенное имущество и машины. На самом берегу не было никого и ничего, кроме мокрого кустарника и грязной земли. Мы шли вдоль берега и наконец увидели железнодорожный мост.

— Какой красивый мост! — сказал Аймо. Это был длинный железнодорожный мост через реку, которая обычно высыхала до дна.

— Давайте скорее переходить на ту сторону, пока его не взорвали,— сказал я.

— Некому взрывать,— сказал Пиани.— Все ушли.

— Он, вероятно, минирован,— сказал Бонелло.— Идите вы первый, tenente.

— Каков анархист, а? — сказал Аймо.— Пусть он сам идет первый.

— Я пойду,— сказал я.— Вряд ли он так минирован, чтобы взорваться от шагов одного человека.

— Видишь,— сказал Пиани.— Вот что значит умный человек. Не то что ты, анархист.

— Был бы я умный, так не был бы здесь,— сказал Бонелло.

— А ведь неплохо сказано, tenente,— сказал Аймо.

— Неплохо,— сказал я. Мы были уже у самого моста. Небо опять заволокло тучами, и накрапывал дождь. Мост казался очень длинным и прочным. Мы вскарабкались на железнодорожную насыпь.

— Давайте по одному,— сказал я и вступил на мост. Я оглядывал шпалы и рельсы, ища проволочных силков или признаков мины, но ничего не мог заметить. Внизу, в просветах между шпалами, видна была река, грязная и быстрая. Впереди, за мокрыми полями, можно было разглядеть под дождем Удине. Перейдя мост, я огляделся. Чуть выше по течению на реке был еще мост. Пока я стоял и смотрел, по этому мосту проехала желтая, забрызганная грязью легковая машина. Парапет был высокий, и кузов машины, как только она въехала на мост, скрылся из виду. Но я видел головы шофера, человека, который сидел рядом с ним, и еще двоих на заднем сиденье. Все четверо были в немецких касках. Машина достигла берега и скрылась из виду за деревьями и транспортом, брошенным на дороге. Я оглянулся на Аймо, который в это время переходил, и сделал ему и остальным знак двигаться быстрее. Я спустился вниз и присел под железнодорожной насыпью. Аймо спустился вслед за мной.

— Вы видели машину? — спросил я.

— Нет. Мы смотрели на вас.

— Немецкая штабная машина проехала по верхнему мосту.

— Штабная машина?

— Да.

— Пресвятая дева!

Подошли остальные, и мы все присели в грязи под насыпью, глядя поверх нее на ряды деревьев, канаву и дорогу.

— Вы думаете, мы отрезаны, tenente?

— Не знаю. Я знаю только, что немецкая штабная машина поехала по этой дороге.

— Вы вполне здоровы, tenente? У вас не кружится голова?

— Не острите, Бонелло.

— А не выпить ли нам? — спросил Пиани.— Если уж мы отрезаны, так хотя бы выпьем.— Он отцепил свою фляжку от пояса и отвинтил пробку.

— Смотрите! Смотрите! — сказал Аймо, указывая на дорогу. Над каменным парапетом моста двигались немецкие каски. Они были наклонены вперед и подвигались плавно, с почти сверхъестественной быстротой. Когда они достигли берега, мы увидели тех, на ком они были надеты. Это была велосипедная рота. Я хорошо разглядел двух передовых. У них были здоровые, обветренные лица. Их каски низко спускались на лоб и закрывали часть щек. Карабины были пристегнуты к раме велосипеда. Ручные гранаты ручкой вниз висели у них на поясе. Их каски и серые мундиры были мокры, и они ехали неторопливо, глядя вперед и по сторонам. Впереди ехало двое, потом четверо в ряд, потом двое, потом сразу десять или двенадцать, потом снова десять, потом один, отдельно. Они не разговаривали, но мы бы их и не услышали из-за шума реки. Они скрылись из виду на дороге.

— Пресвятая дева! — сказал Аймо.

— Это немцы,— сказал Пиани.— Это не австрийцы.

— Почему здесь некому остановить их? — сказал я.— Почему этот мост не взорван? Почему вдоль насыпи нет пулеметов?

— Это вы нам скажите, tenente,— сказал Бонелло.

Я был вне себя от злости.

— С ума все посходили. Там, внизу, взрывают маленький мостик. Здесь, на самом шоссе, мост оставляют. Куда все девались? Что же, так их и не попытаются остановить?

— Это вы нам скажите, tenente,— повторил Бонелло.

Я замолчал. Меня это не касалось; мое дело было добраться до Порденоне с тремя санитарными машинами. Мне это не удалось. Теперь мое дело просто добраться до Порденоне. Но я, видно, не доберусь даже до Удине. Ну и черт с ним! Главное — это сохранить спокойствие и не угодить под пулю или в плен.

— Вы, кажется, открывали фляжку? — спросил я Пиани. Он протянул мне ее. Я отпил порядочный глоток.— Можно идти,— сказал я.— Спешить, впрочем, некуда. Хотите поесть?

— Тут не место останавливаться,— сказал Бонелло.

— Хорошо. Идем.

— Будем держаться здесь, под прикрытием?

— Лучше идти по верху. Они могут пройти и этим мостом. Гораздо хуже будет, если они очутятся у нас над головой, прежде чем мы их увидим.

Мы пошли по железнодорожному полотну. По обе стороны от нас тянулась мокрая равнина. Впереди за равниной был холм, и за ним Удине. Крыши расступались вокруг крепости на холме.

Видна была колокольня и башенные часы. В полях было много тутовых деревьев. В одном месте впереди путь был разобран. Шпалы тоже вырыты и сброшены под насыпь.

— Вниз, вниз! — сказал Аймо.

Мы бросились вниз, под насыпь. Новый отряд велосипедистов проезжал по дороге. Я выглянул из-за края насыпи и увидел, что они проехали мимо.

— Они нас видели и не остановились,— сказал Аймо.

— Перебьют нас здесь, tenente,— сказал Бонелло.

— Мы им не нужны,— сказал я.— Они гонятся за кем-то другим. Для нас опаснее, если они наткнутся на нас неожиданно.

— Я бы охотнее шел здесь, под прикрытием,— сказал Бонелло.

— Идите. Мы пойдем по полотну.

— Вы думаете, нам удастся пройти? — спросил Аймо.

— Конечно. Их еще не так много. Мы пройдем, когда стемнеет.

— Что эта штабная машина тут делала?

— Черт ее знает,— сказал я. Мы шли по полотну. Бонелло устал шагать по грязи и присоединился к нам. Линия отклонилась теперь к югу, в сторону от шоссе, и мы не видели, что делается на дороге. Мостик через канал оказался взорванным, но мы перебрались по остаткам свай. Впереди слышны были выстрелы.

За каналом мы опять вышли на линию. Она вела к городу прямиком, среди полей. Впереди виднелась другая линия. На севере проходило шоссе, на котором мы видели велосипедистов; к югу ответвлялась пешпрокая дорога, густо обсаженная деревьями. Я решил, что нам лучше всего повернуть к югу и, обогнув таким образом город, идти проселком на Кампоформио и Тальяментское шоссе. Мы могли оставить главный путь отступления в стороне, выбирая боковые дороги. Мне помнилось, что через равнину ведет много проселочных дорог. Я стал спускаться с насыпи.

— Идем,— сказал я. Я решил выбраться на проселок и с южной стороны обогнуть город. Мы все спускались с насыпи. Навстречу нам с проселочной дороги грянул выстрел. Пуля врезалась в грязь насыпи.

— Назад! — крикнул я. Я побежал по откосу вверх, скользя в грязи. Шоферы были теперь впереди меня. Я взобрался на насыпь так быстро, как только мог. Из густого кустарника еще два раза выстрелили, и Аймо, переходивший через рельсы, зашатался, споткнулся и упал ничком. Мы стащили его на другую сторону и перевернули на спину.— Нужно, чтобы голова была выше ног,— сказал я. Пиани передвинул его. Он лежал в грязи на откосе, ногами вниз, и дыхание вырывалось у него вместе с кровью.

Мы трое на корточках сидели вокруг него под дождем. Пуля попала ему в затылок, прошла кверху и вышла под правым глазом. Он умер, пока я пытался затампонировать оба отверстия. Пиани опустил его голову на землю, отер ему лицо куском марли из полевого пакета, потом оставил его.

— Сволочи! — сказал он.

— Это не немцы,— сказал я.— Немцев здесь не может быть.

— Итальянцы,— сказал Пиани таким тоном, точно это было ругательство,— italiani.

Бонелло ничего не говорил. Он сидел возле Аймо, не глядя на него. Пиани подобрал кепи Аймо, откатившееся под насыпь, и прикрыл ему лицо. Он достал свою фляжку.

— Хочешь выпить? — Пиани протянул фляжку Бонелло.

— Нет,— сказал Бонелло. Он повернулся ко мне.— Это с каждым из нас могло случиться на полотне.

— Нет,— сказал я.— Это потому, что мы хотели пройти полем.

Бонелло покачал головой.

— Аймо убит,— сказал он.— Кто следующий, tenente? Куда мы теперь пойдем?

— Это итальянцы стреляли,— сказал я.— Это не немцы.

— Будь здесь немцы, они бы, наверное, нас всех перестреляли,— сказал Бонелло.

— Итальянцы для нас опаснее немцев,— сказал я.— Арьергард всего боится. Немцы хоть знают, чего хотят.

— Это вы правильно рассудили, tenente,— сказал Бонелло.

— Куда мы теперь пойдем? — спросил Пиани.

— Лучше всего переждать где-нибудь до темноты. Если нам удастся пробраться на юг, все будет хорошо.

— Им придется перебить нас всех в доказательство, что они не зря убили одного,— сказал Бонелло.— Я не хочу рисковать.

— Мы переждем где-нибудь поближе к Удине и потом в темноте пройдем.

— Тогда пошли,— сказал Бонелло.

Мы спустились по северному откосу насыпи. Я огляпулся. Аймо лежал в грязи под углом к полотну. Он был совсем маленький, руки у него были вытянуты по швам, ноги в обмотках и грязных башмаках сдвинуты вместе, лицо накрыто кепи. Он выглядел очень мертвым. Шел дождь. Я относился к Аймо так хорошо, как мало к кому в жизни. У меня в кармане были его бумаги, и я знал, что должен буду написать его семье. Впереди за полянами виднелась ферма. Вокруг нее росли деревья, и к дому пристроены были службы. Вдоль второго этажа шла галерейка на сваях.

— Нам лучше держаться на расстоянии друг от друга,— сказал я.— Я пойду вперед.

Я двинулся по направлению к ферме. Через поле вела тропинка.

Проходя через поле, я был готов к тому, что в нас станут стрелять из-за деревьев вокруг дома или из самого дома. Я шел прямо к дому, ясно видя его перед собой. Галерея второго этажа соединялась с сеновалом, и между сваями торчало сено. Двор был вымощен камнем, и с ветвей деревьев стекали капли дождя. Посредине стояла большая пустая одноколка, высоко вздернув оглобли под дождем. Я прошел через двор и постоял под галереей. Дверь была открыта, и я вошел. Бонелло и Пиани вошли вслед за мной. Внутри было темно. Я прошел на кухню. В большом открытом очаге была зола. Над очагом вписли горшки, но они были пусты. Я пошарил кругом, но ничего съестного не нашел.

— Здесь на сеновале можно переждать,— сказал я.— Пиани, может быть, вам удастся раздобыть чего-нибудь поесть, так несите туда.

— Пойду поищу,— сказал Пиани.

— И я пойду,— сказал Бонелло.

— Хорошо,— сказал я.— А я загляну на сеновал.

Я отыскал каменную лестницу, которая вела наверх из хлева. От хлева шел сухой запах, особенно приятный под дождем. Скота не было, вероятно, его угнали, когда покидали ферму. Сеновал до половины был заполнен сеном. В крыше было два окна; одно заколочено досками, другое — узкое слуховое окошко на северной стороне. В углу был желоб, по которому сено сбрасывали вниз, в кормушку. Был люк, приходившийся над двором, куда во время уборки подъезжали возы с сеном, и над люком скрещивались балки. Я слышал стук дождя по крыше и чувствовал запах сена и, когда я спустился, опрятный запах сухого навоза в хлеву. Можно было оторвать одну доску и из окна на южной стороне смотреть во двор. Другое окно выходило на север, в поле. Если бы лестница оказалась отрезанной, можно было через любое окно выбраться на крышу и оттуда спуститься вниз или же съехать вниз по желобу. Сеновал был большой и, заслышав кого-нибудь, можно было спрятаться в сене. По-видимому, место было надежное. Я был уверен, что мы пробрались бы на юг, если бы в нас не стреляли. Не может быть, чтобы здесь были немцы. Они идут с севера и по дороге из Чивидале. Они не могли прорваться с юга. Итальянцы еще опаснее. Они напуганы и стреляют в первого встречного. Прошлой ночью в колонне мы слышали разговоры о том, что в отступающей армии на севере немало немцев в итальянских мундирах. Я этому не верил. Такие разговоры всегда слышишь во время войны. И всегда это проделывает неприятель. Вы никогда не услышите о том, что кто-то надел немецкие мун-

диры, чтобы создавать сумятицу в германской армии. Может быть, это и бывает, но об этом не говорят. Я не верил, что немцы пускаются на такие штуки. Я считал, что им это не нужно. Незачем им создавать у нас сумятицу в отступающей армии. Ее создают численность войск и недостаток дорог. Тут и без немцев концов не найдешь. И все-таки нас могут расстрелять, как переодетых немцев. Застрелили же Аймо. Сено приятно пахнет, и оттого, что лежишь на сеновале, исчезают все годы, которые прошли. Мы лежали на сеновале, и разговаривали, и стреляли из духового ружья по воробьям, когда они садились на край треугольного отверстия под самым потолком сеновала. Сеновала уже нет, и был такой год, когда пихты все повырубили, и там, где был лес, теперь только пни и сухой валежник. Назад не вернешься. Если не идти вперед, что будет? Не попадешь снова в Милан. А если попадешь— тогда что? На севере, в стороне Удине, слышались выстрелы. Слышны были пулеметные очереди. Орудийной стрельбы не было. Это кое-что значило. Вероятно, стянули часть войск к дороге. Я посмотрел вниз и в полумраке двора увидел Пиани. Он держал под мышкой длинную колбасу, какую-то банку и две бутылки вина.

— Полезайте наверх,— сказал я.— Вон там лестница.

Потом я сообразил, что нужно помочь ему, и спустился. От лежания на сене у меня кружилась голова. Я был как в полусне.

— Где Бонелло? — спросил я.

— Сейчас скажу,— сказал Пиани. Мы поднялись по лестнице. Усевшись на сено, мы разложили припасы. Пиани достал ножик со штопором и стал откупоривать одну бутылку.

— Запечатано воском,— сказал он.— Должно быть, недурно.— Он улыбнулся.

— Где Бонелло? — спросил я.

Пиани посмотрел на меня.

— Он ушел, tenente,— сказал он.— Он решил сдаться в плен.

Я молчал.

— Он боялся, что его убьют.

Я держал бутылку с вином и молчал.

— Видите ли, tenente, мы вообще не сторонники войны.

— Почему вы не ушли вместе с ним? — спросил я.

— Я не хотел вас оставить.

— Куда он пошел?

— Не знаю, tenente. Просто ушел, и все.

— Хорошо,— сказал я.— Нарежьте колбасу.

Пиани посмотрел на меня в полумраке.

— Я уже нарезал ее, пока мы разговаривали,— сказал он.

Мы сидели на сене и ели колбасу и пили вино. Это вино, должно быть, берегли к свадьбе. Оно было так старо, что потеряло цвет.

— Смотрите в это окно, Луиджи,— сказал я.— Я буду смотреть в то.

Мы пили каждый из отдельной бутылки, и я взял свою бутылку с собой, и забрался повыше, и лег плашмя на сено, и стал смотреть в узкое окошко на мокрую равнину. Не знаю, что я ожидал увидеть, но я не увидел ничего, кроме полей и голых тутовых деревьев и дождя. Я пил вино, и оно не бодрило меня. Его выдерживали слишком долго, и оно испортилось и потеряло свой цвет и вкус. Я смотрел, как темнеет за окном; тьма надвигалась очень быстро. Ночь будет черная, оттого что дождь. Когда совсем стемнело, уже не стоило смотреть в окно, и я вернулся к Пиани. Он лежал и спал, и я не стал будить его и молча посидел рядом. Он был большой, и сон у него был крепкий. Немного погодя я разбудил его, и мы тронулись в путь.

Это была очень странная ночь. Не знаю, чего я ожидал,— смерти, может быть, и стрельбы, и бега в темноте, но ничего не случилось. Мы выжидали, лежа плашмя за канавой у шоссе, пока проходил немецкий батальон, потом, когда он скрылся из виду, мы пересекли шоссе и пошли дальше, на север. Два раза мы под дождем очень близко подходили к немцам, но они не видели нас. Мы обогнули город с севера, не встретив ни одного итальянца, потом, немного погодя, вышли на главный путь отступления и всю ночь шли по направлению к Тальяменто. Я не представлял себе раньше гигантских масштабов отступления. Вся страна двигалась вместе с армией. Мы шли всю ночь, обгоняя транспорт. Нога у меня болела, и я устал, но мы шли очень быстро. Таким глупым казалось решение Бонелло сдаться в плен. Никакой опасности не было. Мы прошли сквозь две армии без всяких происшествий. Если б не гибель Аймо, казалось бы, что опасности никогда и не было. Никто нас не тронул, когда мы совершенно открыто шли по железнодорожному полотну. Гибель пришла неожиданно и бессмысленно. Я думал о том, где теперь Бонелло.

— Как вы себя чувствуете, tenente? — спросил Пиани. Мы шли по краю дороги, запруженной транспортом и войсками.

— Прекрасно.

— Я устал шагать.

— Что ж, нам теперь только и дела, что шагать. Тревожиться не о чем.

— Бонелло свалял дурака.

— Конечно, он свалял дурака.

— Как вы с ним думаете быть, tenente?

— Не знаю.

— Вы не можете отметить его как взятого в плен?

— Не знаю.

— Если война будет продолжаться, его родных могут притянуть к ответу.

— Война не будет продолжаться,— сказал какой-то солдат.— Мы идем домой. Война кончена.

— Все идут домой.

— Мы все идем домой.

— Прибавьте шагу, tenente,— сказал Пиани. Он хотел поскорей пройти мимо.

— Tenente? Кто тут tenente? Abbasso gli ufficiali! Долой офицеров!

Пиани взял меня под руку.

— Я лучше буду звать вас по имени,— сказал он.— А то не случилось бы беды. Были случаи расправы с офицерами.

Мы ускорили шаг и миновали эту группу.

— Я постараюсь сделать так, чтобы его родных не притянули к ответу,— сказал я, продолжая разговор.

— Если война кончилась, тогда все равно,— сказал Пиани.— Но я не верю, что она кончилась. Слишком было бы хорошо, если бы она кончилась.

— Это мы скоро узнаем,— сказал я.

— Я не верю, что она кончилась. Тут все думают, что она кончилась, но я не верю.

— Viva la Pace! [1]— выкрикнул какой-то солдат.— Мы идем домой.

— Славно было бы, если б мы все пошли домой,— сказал Пиани.— Хотелось бы вам пойти домой?

— Да.

— Не будет этого. Я не верю, что война кончилась.

— Andiamo a casa! [2]— закричал солдат.

— Они бросают винтовки,— сказал Пиани.— Снимают их и кидают на ходу. А потом кричат.

— Напрасно они бросают винтовки.

— Они думают, если они побросают винтовки, их не заставят больше воевать.

В темноте под дождем, прокладывая себе путь вдоль края дороги, я видел, что многие солдаты сохранили свои винтовки. Они торчали за плечами.

— Какой бригады? — окликнул офицер.

— Brigata di Pace! — закричал кто-то.— Бригады мира.

Офицер промолчал.

— Что он говорит? Что говорит офицер?

---

[1] Да здравствует мир! *(ит.)*

[2] По домам! *(ит.)*

— Долой офицера! Viva la Pace!

— Прибавьте шагу,— сказал Пиани.

Мы увидели два английских санитарных автомобиля, покинутых среди других машин на дороге.

— Из Гориции,— сказал Пиани.— Я знаю эти машины.

— Они опередили нас.

— Они раньше выехали.

— Странно. Где же шоферы?

— Где-нибудь впереди.

— Немцы остановились под Удине,— сказал я.— Мы все перейдем реку.

— Да,— сказал Пиани.— Вот почему я и думаю, что война будет продолжаться.

— Немцы могли продвинуться дальше,— сказал я.— Странно, почему они не продвигаются дальше.

— Не понимаю. Я ничего не понимаю в этой войне.

— Вероятно, им пришлось дожидаться обоза.

— Не понимаю,— сказал Пиани. Один, он стал гораздо деликатней. В компании других шоферов он был очень невоздержан на язык.

— Вы женаты, Луиджи?

— Вы ведь знаете, что я женат.

— Не потому ли вы не захотели сдаться в плен?

— Отчасти и потому. А вы женаты, tenente?

— Нет.

— Бонелло тоже нет.

— Нельзя все объяснять только тем, что человек женат или не женат. Но женатому, конечно, хочется вернуться к жене,— сказал я. Мне нравилось разговаривать о женах.

— Да.

— Как ваши ноги?

— Болят.

Перед самым рассветом мы добрались до берега Тальяменто и свернули вдоль вздувшейся реки к мосту, по которому шла переправа.

— Должны бы закрепиться на этой реке,— сказал Пиани. В темноте казалось, что река вздулась очень высоко. Вода бурлила, и русло как будто расширилось. Деревянный мост был почти в три четверти мили длиной, и река, которая обычно узкими протоками бежала в глубине по широкому каменистому дну, поднялась теперь почти до самого деревянного настила. Мы прошли по берегу и потом смешались с толпой, переходившей мост. Медленно шагая под дождем, в нескольких футах от вздувшейся реки, стиснутый плотно в толпе, едва не натыкаясь на зарядный ящик впереди, я смотрел в сторону и следил за рекой. Теперь, когда при-

шлось равнять свой шаг по чужим, я почувствовал сильную усталость. Оживления не было при переходе через мост. Я подумал, что́ было бы, если бы днем сюда сбросил бомбу самолет.

— Пиани! — сказал я.

— Я здесь, tenente.— В толчее он немного ушел от меня вперед. Никто не разговаривал. Каждый старался перейти как можно скорей, думал только об этом. Мы уже почти перешли. В конце моста, по обе стороны, стояли с фонарями офицеры и карабинеры. Их силуэты чернели на фоне неба. Когда мы подошли ближе, я увидел, как один офицер указал на какого-то человека в колонне. Карабинер пошел за ним и вернулся, держа его за плечо. Он повел его в сторону от дороги. Мы почти поравнялись с офицерами. Они всматривались в каждого проходившего в колонне, иногда переговариваясь друг с другом, выступая вперед, чтобы осветить фонарем чье-нибудь лицо. Еще одного взяли как раз перед тем, как мы поравнялись с ними. Это был подполковник. Я видел звездочки на его рукаве, когда его осветили фонарем. У него были седые волосы, он был низенький и толстый. Карабинеры потащили его в сторону от моста. Когда мы поравнялись с офицерами, я увидел, что они смотрят на меня. Потом один указал на меня и что-то сказал карабинеру. Я увидел, что карабинер направляется в мою сторону, проталкиваясь ко мне сквозь крайние ряды колонны, потом я почувствовал, что он ухватил меня за ворот.

— В чем дело? — спросил я и ударил его по лицу. Я увидел его лицо под шляпой, подкрученные кверху усы и кровь, стекавшую по щеке. Еще один нырнул в толпу, пробираясь к нам.

— В чем дело? — спросил я. Он не отвечал. Он выбирал момент, готовясь схватить меня. Я сунул руку за спину, чтоб достать пистолет.— Ты что, не знаешь, что не смеешь трогать офицера?

Второй схватил меня сзади и дернул мою руку так, что чуть не вывихнул ее. Я обернулся к нему, и тут первый обхватил меня за шею. Я бил его ногами и левым коленом угодил ему в пах.

— В случае сопротивления стреляйте,— услышал я чей-то голос.

— Что это значит? — попытался я крикнуть, но мой голос прозвучал глухо. Они уже оттащили меня на край дороги.

— В случае сопротивления стреляйте,— сказал офицер.— Уведите его.

— Кто вы такие?

— После узнаете.

— Кто вы такие?

— Полевая жандармерия,— сказал другой офицер.

— Почему же вы не просили меня подойти, вместо того чтоб напускать на меня эти самолеты?

Они не ответили. Они не обязаны были отвечать. Они были — полевая жандармерия.

— Отведите его туда, где все остальные,— сказал первый офицер.— Слышите, он говорит по-итальянски с акцентом.

— С таким же, как и ты, сволочь,— сказал я.

— Отведите его туда, где остальные,— сказал первый офицер.

Меня повели мимо офицеров в сторону от дороги на открытое место у берега реки, где стояла кучка людей. Когда мы шли, в той стороне раздались выстрелы. Я видел ружейные вспышки и слышал залп. Мы подошли. Четверо офицеров стояли рядом, и перед ними, между двумя карабинерами, какой-то человек. Немного дальше группа людей под охраной карабинеров ожидала допроса. Еще четыре карабинера стояли возле допрашивавших офицеров, опершись на свои карабины. Эти карабинеры были в широкополых шляпах. Двое, которые меня привели, подтолкнули меня к группе, ожидавшей допроса. Я посмотрел на человека, которого допрашивали. Это был маленький толстый седой подполковник, взятый в колонне. Офицеры вели допрос со всей деловитостью, холодностью и самообладанием итальянцев, которые стреляют, не опасаясь ответных выстрелов.

— Какой бригады?

Он сказал.

— Какого полка?

Он сказал.

— Почему вы не со своим полком?

Он сказал.

— Вам известно, что офицер всегда должен находиться при своей части?

Ему было известно.

Больше вопросов не было. Заговорил другой офицер.

— Из-за вас и подобных вам варвары вторглись в священные пределы отечества.

— Позвольте,— сказал подполковник.

— Предательство, подобное вашему, отняло у нас плоды победы.

— Вам когда-нибудь случалось отступать? — спросил подполковник.

— Итальянцы не должны отступать.

Мы стояли под дождем и слушали все это. Мы стояли против офицеров, а арестованный впереди нас и немного в стороне.

— Если вы намерены расстрелять меня,— сказал подполковник,— прошу вас, расстреливайте сразу, без дальнейшего доп-

роса. Этот допрос нелеп.— Он перекрестился. Офицеры заговорили между собой. Один написал что-то на листке блокнота.

— Бросил свою часть, подлежит расстрелу,— сказал он.

Два карабинера повели подполковника к берегу. Он шел под дождем, старик с непокрытой головой, между двумя карабинерами. Я не смотрел, как его расстреливали, но я слышал залп. Они уже допрашивали следующего. Это тоже был офицер, отбившийся от своей части. Ему не разрешили дать объяснения. Он плакал, когда читали приговор, написанный на листке из блокнота, и они уже допрашивали следующего, когда его расстреливали. Они все время спешили заняться допросом следующего, пока только что допрошенного расстреливали у реки. Таким образом, было совершенно ясно, что они тут уже ничего не могут поделать. Я не знал, ждать ли мне допроса или попытаться бежать немедленно. Совершенно ясно было, что я немец в итальянском мундире. Я представлял себе, как работает их мысль, если у них была мысль и если она работала. Это все были молодые люди, и они спасали родину. Вторая армия заново формировалась у Тальяменто. Они расстреливали офицеров в чине майора и выше, которые отбились от своих частей. Заодно они также расправлялись с немецкими агитаторами в итальянских мундирах. Они были в стальных касках. Несколько карабинеров были в таких же. Другие карабинеры были в широкополых шляпах. Самолеты — так их у нас называли. Мы стояли под дождем, и нас по одному выводили на допрос и на расстрел. Ни один из допрошенных до сих пор не избежал расстрела. Они вели допрос с неподражаемым бесстрастием и законоблюстительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает. Они допрашивали сейчас полковника линейного полка. Только что привели еще трех офицеров.

— Где ваш полк?

Я взглянул на карабинеров. Они смотрели на новых арестованных. Остальные смотрели на полковника. Я нырнул, проскочил между двумя конвойными и бросился бежать к реке, пригнув голову. У самого берега я споткнулся и с сильным плеском сорвался в воду. Вода была очень холодная, и я оставался под ней, сколько мог выдержать. Я чувствовал, как меня уносит течением, и я оставался под водой до тех пор, пока мне не показалось, что я уже не смогу всплыть. Я всплыл на поверхность, перевел дыхание и в ту же минуту снова ушел под воду. В полной форме и в башмаках нетрудно было оставаться под водой. Когда я всплыл во второй раз, я увидел впереди себя бревно, и догнал его, и ухватился за него одной рукой. Я спрятал за ним голову и даже не пытался выглянуть. Я не хотел видеть берег. Я слышал выстрелы,

когда бежал и когда всплыл первый раз. Звук их доносился до меня, когда я плыл под самой поверхностью воды. Сейчас выстрелов не было. Бревно колыхалось на воде, и я держался за него одной рукой. Я посмотрел на берег. Казалось, он очень быстро уходил назад. По реке плыло много лесу. Вода была очень холодная. Мы миновали островок, поросший кустарником. Я ухватился за бревно обеими руками, и оно понесло меня по течению. Берега теперь не было видно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Никогда не знаешь, сколько времени плывешь по реке, если течение быстрое. Кажется, что долго, а на самом деле, может быть, очень мало. Вода была холодная и стояла очень высоко, и по ней проплывало много разных вещей, смытых с берега во время разлива. По счастью, мне попалось тяжелое бревно, которое могло служить опорой, и я вытянулся в ледяной воде, положив подбородок на край бревна и стараясь как можно легче держаться обеими руками. Я боялся судорог, и мне хотелось, чтобы нас отнесло к берегу. Мы плыли вниз по реке, описывая длинную кривую. Уже настолько рассвело, что можно было разглядеть прибрежные кусты. Впереди был поросший кустарником остров, и течение отклонялось к берегу. У меня была мысль снять башмаки и одежду и достигнуть берега вплавь, но я решил, что не нужно. Я все время не сомневался, что как-нибудь попаду на берег, и мне трудно придется, если я останусь босиком. Необходимо было как-нибудь добраться до Местре.

Берег приблизился, потом откачнулся назад, потом приблизился снова. Мы теперь плыли медленнее. Берег был уже совсем близко. Можно было разглядеть каждую веточку ивняка. Бревно медленно повернулось, так что берег оказался позади меня, и я понял, что мы попали в водоворот. Мы медленно кружились на месте. Когда берег снова стал виден, уже совсем близко, я попробовал, держась одной рукой, другой загребать к берегу, помогая ногами, но мне не удалось подвести бревно ближе. Я боялся, что нас отнесет на середину, и, держась одной рукой, я подтянул ноги так, что они уперлись в бревно, и с силой оттолкнулся к берегу. Я видел кусты, но, несмотря на инерцию и на усилия, которые я делал, меня течением относило в сторону. Мне стало очень страшно, что я утону из-за башмаков, но я работал изо всех сил и боролся с водой, и когда я поднял глаза, берег шел на меня, и, преодолевая грозную тяжесть ног, я продолжал работать и плыть, пока не достиг его. Я уцепился за ветвь ивы и повис, не в силах подтянуться кверху, но я знал теперь, что не утону. На бревне

мне ни разу не приходило в голову, что я могу утонуть. Меня всего подвело и мутило от напряжения, и я держался за ветки и ждал. Когда мутить перестало, я немного продвинулся вперед и опять отдохнул, обхватив руками куст, крепко вцепившись в ветки. Потом я вылез из воды, пробрался сквозь ивняк и очутился на берегу. Уже почти рассвело, и никого не было видно. Я лежал плашмя на земле и слушал шум реки и дождя.

Немного погодя я встал и пошел вдоль берега. Я знал, что до Латизаны нет ни одного моста. Я считал, что нахожусь, вероятно, против Сан-Вито. Я стал раздумывать о том, что мне делать. Впереди был канал, подходивший к реке. Я пошел туда. Никого вокруг не было видно, и я сел под кустами на самом берегу канала, и снял башмаки, и вылил из них воду. Я снял френч, вынул из бокового кармана бумажник с насквозь промокшими документами и деньгами и потом выжал френч. Я снял брюки и выжал их тоже, потом рубашку и нижнее белье. Я долго шлепал и растирал себя ладонями, потом снова оделся. Кепи я потерял.

Прежде чем надеть френч, я спорол с рукавов суконные звездочки и положил их в боковой карман вместе с деньгами. Деньги намокли, но были целы. Я пересчитал их. Всего было три с лишним тысячи лир. Вся одежда была мокрая и липкая, и я размахивал руками, чтобы усилить кровообращение. На мне было шерстяное белье, и я решил, что не простужусь, если буду все время в движении. Пистолет у меня отняли на дороге, и я спрятал кобуру под френч. Я был без плаща, и мне было холодно под дождем. Я пошел по берегу канала. Уже совсем рассвело, и кругом было мокро, плоско и уныло. Поля были голые и мокрые; далеко за полями торчала в небе колокольня. Я вышел на дорогу. Впереди на дороге я увидел отряд пехоты, который шел мне навстречу. Я, прихрамывая, тащился по краю дороги, и солдаты прошли мимо и не обратили на меня внимания. Это была пулеметная часть, направлявшаяся к реке. Я пошел дальше.

В этот день я пересек венецианскую равнину. Это ровная низменная местность, и под дождем она казалась еще более плоской. Со стороны моря там лагуны и очень мало дорог. Все дороги идут по устьям реки к морю, и чтобы пересечь равнину, нужно идти тропинками вдоль каналов. Я пробирался по равнине с севера на юг и пересек две железнодорожные линии и много дорог, и наконец одна тропинка привела меня к линии, которая проходила по краю лагуны. Это была Триест-Венецианская магистраль, с высокой прочной насыпью, широким полотном и двухколейным путем. Немного дальше был полустанок, и я увидел часовых на посту. В другой стороне был мост через речку, впадавшую в лагуну. У моста тоже был часовой. Когда я шел полем на север, я видел, как по этому пути прошел поезд. На плоской равнине он

был виден издалека, и я решил, что, может быть, мне удастся здесь вскочить в поезд, идущий из Портогруаро. Я посмотрел на часовых и лег на откосе у самого полотна, так что мне был виден весь путь в обе стороны. Часовой у моста сделал несколько шагов вдоль пути по направлению ко мне, потом повернулся и пошел назад, к мосту.

Голодный, я лежал и ждал поезда. Тот, который я видел издали, был такой длинный, что паровоз тянул его очень медленно, и я был уверен, что мог бы вскочить на ходу. Когда я уже почти потерял надежду, я увидел приближающийся поезд. Паровоз шел прямо на меня, постепенно увеличиваясь. Я оглянулся на часового. Он ходил у ближнего конца моста, но по ту сторону пути. Таким образом, поезд, подойдя, должен был закрыть меня от него. Я следил за приближением паровоза. Он шел, тяжело пыхтя. Я видел, что вагонов очень много. Я знал, что в поезде есть охрана, и хотел разглядеть, где она, но не мог, потому что боялся, как бы меня не заметили. Паровоз уже почти поравнялся с тем местом, где я лежал. Когда он прошел мимо, тяжело пыхтя и отдуваясь даже на ровном месте, и машинист уже не мог меня видеть, я встал и шагнул ближе к проходящим вагонам. Если охрана смотрит из окна, я внушу меньше подозрений, стоя на виду у самых рельсов. Несколько закрытых товарных вагонов прошли мимо. Потом я увидел приближавшийся низкий открытый вагон, из тех, которые здесь называют гондолами, сверху затянутый брезентом. Я почти пропустил его мимо, потом подпрыгнул и ухватился за боковые поручни и подтянулся на руках. Потом сполз на буфера между гондолой и площадкой следующего, закрытого товарного вагона. Я был почти уверен, что меня никто не видел. Я присел, держась за поручни, ногами упираясь в сцепку. Мы уже почти поравнялись с мостом. Я вспомнил про часового. Когда мы проезжали, он взглянул на меня. Он был совсем еще мальчик, и слишком большая каска сползала ему на глаза. Я высокомерно посмотрел на него, и он отвернулся. Он подумал, что я из поездной бригады.

Мы проехали мимо. Я видел, как он, все еще беспокойно, следил за проходившими вагонами, и я нагнулся посмотреть, как прикреплен брезент. По краям были кольца, и он был привязан веревкой. Я вынул нож, перерезал веревку и просунул руку внутрь. Твердые выпуклости торчали под брезентом, намокшим от дождя. Я поднял голову и поглядел вперед. На площадке переднего вагона был солдат из охраны, но он смотрел в другую сторону. Я отпустил поручни и нырнул под брезент. Я ударился лбом обо что-то так, что у меня потемнело в глазах, и я почувствовал на лице кровь, но залез глубже и лег плашмя. Потом я повернулся назад и снова прикрепил брезент.

Я лежал под брезентом вместе с орудиями. От них опрятно пахло смазкой и керосином. Я лежал и слушал шум дождя по брезенту и перестук колес на ходу. Снаружи проникал слабый свет, и я лежал и смотрел на орудия. Они были в брезентовых чехлах. Я подумал, что, вероятно, они отправлены из третьей армии. На лбу у меня вспухла шишка, и я остановил кровь, лежа неподвижно, чтобы дать ей свернуться, и потом сцарапал присохшую кровь, не тронув только у самой раны. Это было не больно. У меня не было носового платка, но я ощупью смыл остатки присохшей крови дождевой водой, которая стекала с брезента, и дочиста вытер рукавом. Я не должен был внушать подозрения своим видом. Я знал, что мне нужно будет выбраться до прибытия в Местре, потому что кто-нибудь придет взглянуть на орудия. Орудий было слишком мало, чтоб их терять или забывать. Меня мучил лютый голод.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я лежал на досках платформы под брезентом, рядом с орудиями, мокрый, озябший и очень голодный. В конце концов я перевернулся и лег на живот, положив голову на руки. Колено у меня онемело, но, в общем, я не мог на него пожаловаться. Валентини прекрасно сделал свое дело. Я проделал половину отступления пешком и проплыл кусок Тальяменто с его коленом. Это и в самом деле было его колено. Другое колено было мое. Доктора проделывают всякие штуки с вашим телом, и после этого оно уже не ваше. Голова была моя, и все, что в животе, тоже. Там было очень голодно. Я чувствовал, как все там выворачивается наизнанку. Голова была моя, но не могла ни работать, ни думать; только вспоминать, и не слишком много вспоминать.

Я мог вспоминать Кэтрин, но я знал, что сойду с ума, если буду думать о ней, не зная, придется ли мне ее увидеть, и я старался не думать о ней, только совсем немножко о ней, только под медленный перестук колес о ней, и свет сквозь брезент еле брезжит, и я лежу с Кэтрин на досках платформы. Жестко лежать на досках платформы, в мокрой одежде, и мыслей нет, только чувства, и слишком долгой была разлука, и доски вздрагивают раз от раза, и тоска внутри, и только мокрая одежда липнет к телу, и жесткие доски вместо жены.

Нельзя любить доски товарной платформы, или орудия в брезентовых чехлах с запахом смазки и металла, или брезент, пропускающий дождь, хотя под брезентом с орудиями очень приятно и славно; но вся твоя любовь — к кому-то, кого здесь даже и вообразить себе нельзя; слишком холодным и ясным взглядом смот-

ришь теперь перед собой, скорей даже не холодным, а ясным и пустым. Лежишь на животе и смотришь перед собой пустым взглядом, после того, что видел, как одна армия отходила назад, а другая надвигалась. Ты дал погибнуть своим машинам и людям, точно служащий универсального магазина, который во время пожара дал погибнуть товарам своего отдела. Однако имущество не было застраховано. Теперь ты с этим разделался. У тебя больше нет никаких обязательств. Если после пожара в магазине расстреливают служащих за то, что они говорят с акцентом, который у них всегда был, никто, конечно, не вправе ожидать, что служащие возвратятся, как только торговля откроется снова. Они поищут другой работы — если можно рассчитывать на другую работу и если их не поймает полиция.

Гнев смыла река вместе с чувством долга. Впрочем, это чувство прошло еще тогда, когда рука карабинера ухватила меня за ворот. Мне хотелось снять с себя мундир, хоть я не придавал особого значения внешней стороне дела. Я сорвал звездочки, но это было просто ради удобства. Это не было вопросом чести. Я ни к кому не питал злобы. Просто я с этим покончил. Я желал им всяческой удачи. Среди них были и добрые, и храбрые, и выдержанные, и разумные, и они заслуживали удачи. Но меня это больше не касалось, и я хотел, чтобы этот проклятый поезд прибыл уже в Местре, и тогда я поем и перестану думать. Я должен перестать.

Пиани скажет, что меня расстреляли. Они обыскивают карманы расстрелянных и забирают их документы. Моих документов они не получат. Может быть, меня сочтут утонувшим. Интересно, что сообщат в Штаты. Умер от ран и иных причин. Черт, до чего я голоден. Интересно, что сталось с нашим священником. И с Ринальди. Наверно, он в Порденоне. Если они не отступили еще дальше. Да, теперь я его уже никогда не увижу. Теперь я никого из них никогда не увижу. Та жизнь кончилась. Едва ли у него сифилис. Во всяком случае, это, говорят, не такая уж серьезная болезнь, если захватить вовремя. Но он беспокоится. Я бы тоже беспокоился. Всякий бы беспокоился.

Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, черт возьми. Есть, и пить, и спать с Кэтрин. Может быть, сегодня. Нет, это невозможно. Но тогда завтра, и хороший ужин, и простыни, и никогда больше не уезжать, разве только вместе. Придется, наверно, уехать очень скоро. Она поедет. Я знал, что она поедет. Когда мы поедем? Вот об этом можно было подумать. Становилось темно. Я лежал и думал, куда мы поедем. Много было разных мест.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Я соскочил с поезда в Милане, как только он замедлил ход, подъезжая к станции рано утром, еще до рассвета. Я пересек полотно, и прошел между какими-то строениями, и спустился на улицу. Одна закусочная была открыта, и я вошел выпить кофе. Там пахло ранним утром, сметенной пылью, ложечками в стаканах с кофе и мокрыми следами стаканов с вином. У стойки стоял хозяин. За столиком сидели два солдата. Я подошел к стойке и выпил стакан кофе и съел кусок хлеба. Кофе был серый от молока, и я хлебной корочкой снял пенку. Хозяин посмотрел на меня.

— Хотите стакан граппы?

— Нет, спасибо.

— За мой счет,— сказал он и налил небольшой стаканчик и подвинул его ко мне.— Что нового на фронте?

— Не знаю.

— Они пьяны,— сказал он, указывая на солдат за столиком. Этому можно было поверить. Было видно, что они пьяны.

— Рассказывайте,— сказал он.— Что нового на фронте?

— Ничего я не знаю о фронте.

— Я видел, как вы спускались. Вы спрыгнули с поезда.

— Идет отступление.

— Я читаю газеты. А нового что? Конец скоро?

— Не думаю.

Он подлил в стакан граппы из пузатой бутылки.— Если у вас не все в порядке,— сказал он,— я могу спрятать вас.

— У меня все в порядке.

— Если у вас не все в порядке, поживите здесь.

— Где здесь?

— В моем доме. Многие живут здесь. У кого не все в порядке, те часто живут здесь.

— А таких много?

— Смотря о чем речь. Вы из Южной Америки?

— Нет.

— По-испански говорите?

— Немного.

Он вытер стойку.

— Перейти границу теперь трудно, но все-таки возможно.

— Я не собираюсь переходить.

— Вы можете жить здесь, сколько вам захочется. Вы увидите, что я за человек.

— Сейчас мне надо идти, но я запомню адрес и вернусь.

Он покачал головой.

— Вы не вернетесь, раз вы так говорите. Я думал, у вас правда не все в порядке.

— У меня все в порядке. Но всегда приятно иметь адрес друга.

Я положил на стойку десять лир в уплату за кофе.

— Выпейте со мной граппы,— сказал я.

— Это не обязательно.

— Выпейте.

Он налил два стакана.

— Помните,— сказал он.— Приходите сюда. Не доверяйтесь никому другому. Здесь вам будет хорошо.

— Я в этом уверен.

— Вы уверены?

— Да.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Тогда позвольте сказать вам одну вещь. Не разгуливайте в этом мундире.

— Почему?

— На рукавах ясно видны места, откуда спороты звездочки. Сукно другого цвета.

Я промолчал.

— Если у вас нет бумаг, я могу достать вам бумаги.

— Какие бумаги?

— Отпускное свидетельство.

— Мне не нужны бумаги. У меня есть бумаги.

— Хорошо,— сказал он.— Но если вам нужны бумаги, я могу достать вам все, что угодно.

— Сколько стоят такие бумаги?

— Смотря что именно. Цена умеренная.

— Сейчас мне ничего не нужно.

Он пожал плечами.

— У меня все как следует,— сказал я.

Когда я выходил, он сказал:

— Не забывайте, что я ваш друг.

— Не забуду.

— Еще увидимся.

— Непременно,— сказал я.

Выйдя, я обогнул вокзал, где могла быть военная полиция, и нанял экипаж у ограды маленького парка. Я дал кучеру адрес госпиталя. Приехав в госпиталь, я вошел в каморку швейцара. Его жена расцеловала меня. Он пожал мне руку.

— Вы вернулись! Вы невредимы!

— Да.

— Вы завтракали?

— Да.

— Как ваше здоровье, tenente? Как здоровье? — спрашивала жена.

— Прекрасно.

— Может быть, позавтракаете с нами?

— Нет, спасибо. Скажите, мисс Баркли сейчас в госпитале?

— Мисс Баркли?

— Сестра-англичанка.

— Его милая,— сказала жена. Она потрепала меня по плечу и улыбнулась.

— Нет,— сказал швейцар.— Она уехала.

У меня упало сердце.

— Вы уверены? Я говорю о молодой англичанке — высокая, блондинка.

— Я уверен. Она поехала в Стрезу.

— Когда она уехала?

— Два дня тому назад, вместе с другой сестрой-англичанкой.

— Так,— сказал я.— Я хочу попросить вас кое о чем. Никому не говорите, что вы меня видели. Это крайне важно.

— Я не скажу никому,— сказал швейцар.

Я протянул ему бумажку в десять лир. Он оттолкнул ее.

— Я обещал вам, что не скажу никому,— сказал он.— Мне денег не надо.

— Чем мы можем помочь вам, signor tenente? — спросила его жена.

— Только этим,— сказал я.

— Мы будем немы,— сказал швейцар.— Вы мне дайте знать, если что-нибудь понадобится.

— Хорошо,— сказал я.— До свидания. Еще увидимся.

Они стояли в дверях, глядя мне вслед.

Я сел в экипаж и дал кучеру адрес Симмонса, того моего знакомого, который учился петь.

Симмонс жил на другом конце города, близ Порта-Маджента. Он лежал в постели и был еще совсем сонный, когда я пришел к нему.

— Ужасно рано вы встаете, Генри,— сказал он.

— Я приехал ранним поездом.

— Что это за история с отступлением? Вы были на фронте? Хотите сигарету? Вон там, в ящике на столе.

Комната была большая, с кроватью у стены, роялем в проти-

воположном углу, комодом и столом. Я сел на стул возле кровати. Симмонс сидел, подложив подушки под спину, и курил.

— Плохие у меня дела, Сим,— сказал я.

— У меня тоже,— сказал он.— У меня всегда плохие дела. Курить не хотите?

— Нет,— сказал я.— Что нужно для того, чтобы уехать в Швейцарию?

— Вам? Вас итальянцы не выпустят за границу.

— Да. Это я знаю. Ну, а швейцарцы? Как поступят швейцарцы?

— Они вас интернируют.

— Я знаю. Но какая механика этого дела?

— Никакой. Это очень просто. Вы можете ездить куда угодно. Нужно, кажется, только являться на проверку или что-то в этом роде. А что? Вас преследует полиция?

— Пока еще не ясно.

— Если не хотите говорить, не надо. Хотя любопытно было бы послушать. Здесь не бывает никаких происшествий. Я с треском провалился в Пьяченце.

— Да что вы!

— Да, да, очень скверно прошло. И ведь хорошо пел. Я собираюсь попробовать еще раз — здесь, в «Лирико».

— Очень жаль, что мне не удастся послушать.

— Вы страшно любезны. У вас что, серьезные неприятности?

— Не знаю.

— Если не хотите говорить, не надо. А почему вы здесь, а не на этом треклятом фронте?

— Я решил, что с меня довольно.

— Молодец. Я всегда знал, что вы не лишены здравого смысла. Я могу вам чем-нибудь помочь?

— Вы так заняты.

— Ничуть не бывало, дорогой Генри. Ничуть не бывало. Я буду рад чем-нибудь заняться.

— Вы примерно моего роста. Не сходите ли вы купить для меня штатский костюм? У меня есть костюмы, но они все в Риме.

— Да, ведь вы там жили раньше. Что за гнусное место! Как вы могли там жить?

— Я хотел стать архитектором.

— Самое неподходящее для этого место. Не покупайте ничего. Я вам дам все, что нужно. Я вас так разодену, что вы будете неотразимы. Идите вон туда, в гардеробную. Там есть стенной шкаф. Берите все, что вам понравится. И ничего вам не нужно покупать, дорогой мой.

— Я бы все-таки охотнее купил, Сим.

— Дорогой мой, мне гораздо легче отдать вам все, что я имею, чем идти за покупками. У вас есть паспорт? Без паспорта вы далеко не уедете.

— Да. Мой старый паспорт при мне.

— Тогда одевайтесь, дорогой мой, и вперед, в добрую старую Гельвецию.

— Это все не так просто. Мне еще нужно в Стрезу.

— Чего же лучше, дорогой мой! А там в лодочку — и прямым сообщением на другую сторону. Если б не мое пение, я поехал бы с вами. И поеду.

— Вы там можете перейти на тирольский фальцет.

— И перейду, дорогой мой. Хотя ведь я умею петь. В этом-то и странность.

— Головой ручаюсь, что вы умеете петь.

Он откинулся назад и закурил еще сигарету.

— Головой лучше не ручайтесь. Хотя все-таки я умею петь. Это очень забавно, но я умею петь. Я люблю петь. Послушайте.— Он зарычал из «Африканки»; шея его напружилась, жилы вздулись.— Я умею петь,— сказал он.— А там как им угодно.

Я посмотрел в окно.

— Я пойду отпущу экипаж.

— Возвращайтесь скорее, дорогой мой, и сядем завтракать.

Он встал с постели, выпрямился, глубоко вдохнул воздух и начал делать гимнастические упражнения. Я сошел вниз и расплатился с кучером.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В штатском я чувствовал себя как на маскараде. Я очень долго носил военную форму, и мне теперь не хватало ощущения подтянутости в одежде. Брюки словно болтались. Я взял в Милане билет до Стрезы. Я купил себе новую шляпу. Шляпу Сима я не мог надеть, но костюм был очень хороший. От него пахло табаком, и когда я сидел в купе и смотрел в окно, у меня было такое чувство, что моя новая шляпа очень новая, а костюм очень старый. Настроение у меня было тоскливое, как мокрый ломбардский ландшафт за окном. В купе сидели какие-то летчики, которые оценили меня не слишком высоко. Они избегали смотреть на меня и подчеркивали свое презрение к штатскому моего возраста. Я не чувствовал себя оскорбленным. В прежнее время я бы оскорбил их и затеял драку. Они сошли в Галларате, и я был рад, что остался один. У меня была газета, но я не читал ее, потому что не хотел читать о войне. Я ре-

шил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир. Я чувствовал себя отчаянно одиноким и был рад, когда поезд прибыл в Стрезу.

На вокзале я ожидал увидеть комиссионеров из отелей, но ни одного не было. Сезон уже давно окончился, и поезд никто не встречал. Я вышел из вагона со своим чемоданом,— это был чемодан Сима, очень легкий, потому что в нем не было ничего, кроме двух сорочек,— и постоял на перроне под дождем, пока поезд не тронулся. Я спросил у одного из вокзальных служащих, не знает ли он, какие отели еще открыты. «Гранд-отель» был открыт, и «Дез'иль-Борроме», и несколько маленьких отелей, которые не закрывались круглый год. Я пошел под дождем к «Дез'иль-Борроме», с чемоданом в руке. Я увидел проезжавший по улице экипаж и сделал знак кучеру. Лучше было приехать в экипаже. Мы подкатили к подъезду большого отеля, и портье вышел навстречу с зонтиком и был очень вежлив.

Я выбрал хороший номер. Он был большой и светлый, с видом на озеро. Над озером низко нависли тучи, но я знал, что при солнечном свете оно очень красиво. Я сказал, что ожидаю свою жену. В номере стояла большая двуспальная кровать, letto matrimoniale [1], с атласным одеялом. Это был очень шикарный отель. Я прошел по длинному коридору и потом по широкой лестнице спустился в бар. Бармен был мой старый знакомый, и я сидел на высоком табурете и ел соленый миндаль и хрустящий картофель. Мартини был холодный и чистый на вкус.

— Что вы здесь делаете, in borghese? [2] — спросил бармен, смешивая мне второй мартини.

— Я в отпуску. Получил отпуск для поправления здоровья.

— Здесь сейчас пусто. Не знаю, почему не закрывают отель.

— Как ваша рыбная ловля?

— Я поймал несколько великолепных форелей. В это время года часто попадаются великолепные форели.

— Вы получили табак, который я вам послал?

— Да. А вы не получили моей открытки?

Я засмеялся. Мне не удалось достать ему этот табак. Речь шла об американском трубочном табаке, но мои родные перестали посылать его, или его где-нибудь задерживали. Во всяком случае, я его больше не получал.

— Я вам достану где-нибудь,— сказал я.— Скажите, вы не встречали в городе двух молодых англичанок? Они приехали позавчера.

— У нас в отеле таких нет.

---

[1] Супружеское ложе *(ит.)*.

[2] В штатском *(ит.)*.

— Они сестры из военного госпиталя.

— Двух сестер милосердия я видел. Погодите минуту, я узнаю, где они остановились.

— Одна из них — моя жена. Я приехал сюда, чтобы встретиться с ней.

— А другая — моя жена.

— Я не шучу.

— Простите за глупую шутку,— сказал он.— Я не понял.

Он вышел и довольно долго не возвращался. Я ел маслины, соленый миндаль и хрустящий картофель и в зеркале позади стойки видел себя в штатском. Наконец бармен вернулся.

— Они в маленьком отеле возле вокзала,— сказал он.

— А что, сандвичи у вас есть?

— Я сейчас позвоню. Тут, видите ли, ничего нет, потому что нет народу.

— У вас совсем пусто?

— Ну, кое-кто есть, конечно.

Принесли сандвичи, и я съел три штуки и выпил еще мартини. Никогда я не пил ничего холоднее и чище. Вкус мартини вернул мне самочувствие цивилизованного человека. Я слишком долго питался красным вином, хлебом, сыром, скверным кофе и граппой. Я сидел на высоком табурете в приятном окружении красного дерева, бронзы и зеркал и ни о чем не думал. Бармен задал мне какой-то вопрос.

— Не надо говорить о войне,— сказал я.

Война была где-то очень далеко. Может быть, никакой войны и не было. Здесь не было войны. Я вдруг понял, что для меня она кончилась. Но у меня не было чувства, что она действительно кончилась. У меня было такое чувство, как у школьника, который сбежал с уроков и думает о том, что сейчас происходит в школе.

Кэтрин и Эллен Фергюсон обедали, когда я пришел к ним в отель. Еще из коридора я увидел их за столом. Кэтрин сидела почти спиной ко мне, и я видел узел ее волос и часть щеки и ее чудесную шею и плечи. Фергюсон что-то рассказывала. Она замолчала, когда я вошел.

— Господи! — сказала она.

— Здравствуйте! — сказал я.

— Как, это вы? — сказала Кэтрин. Ее лицо просветлело. Казалось, она слишком счастлива, чтобы поверить. Я поцеловал ее. Кэтрин покраснела, и я сел за их стол.

— Вот так история! — сказала Фергюсон.— Что вы тут делаете? Вы обедали?

— Нет.

Вошла девушка, подававшая к столу, и я сказал ей принести для меня прибор. Кэтрин все время смотрела на меня счастливыми глазами.

— По какому это вы случаю в муфти? — спросила Фергюсон.

— Я попал в Кабинет.

— Вы попали в какую-нибудь скверную историю.

— Развеселитесь, Ферджи. Развеселитесь немножко.

— Не очень-то весело глядеть на вас. Я знаю, в какую историю вы впутали эту девушку. Вы для меня вовсе не веселое зрелище.

Кэтрин улыбнулась мне и тронула меня ногой под столом.

— Никто меня ни в какую историю не впутывал, Ферджи. Я сама впуталась.

— Я его терпеть не могу,— сказала Фергюсон.— Он только погубил вас своими коварными итальянскими шуточками. Американцы еще хуже итальянцев.

— Зато шотландцы — нравственный народ,— сказала Кэтрин.

— Я вовсе не об этом говорю. Я говорю о его итальянском коварстве.

— Разве я коварный, Ферджи?

— Да. Вы хуже чем коварный. Вы настоящая змея. Змея в итальянском мундире и плаще.

— Я уже снял итальянский мундир.

— Это только лишнее доказательство вашего коварства. Все лето вы играли в любовь и сделали девушке ребенка, а теперь, вероятно, намерены улизнуть.

Я улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась мне.

— Мы оба намерены улизнуть,— сказала она.

— Вы друг друга стоите,— сказала Ферджи.— Мне стыдно за вас, Кэтрин Баркли. У вас нет ни стыда, ни чести, и вы так же коварны, как он.

— Не надо, Ферджи,— сказала Кэтрин и потрепала ее по руке.— Не ругайте меня. Вы же знаете, что мы любим друг друга.

— Уберите руку,— сказала Фергюсон. Ее лицо было красно.— Если б вы не потеряли стыд, было бы другое дело. Но вы беременны бог знает на каком месяце и думаете, что это все шутки, и вся расплываетесь в улыбках оттого, что ваш соблазнитель вернулся. У вас нет ни стыда, ни совести.

Она заплакала. Кэтрин подошла и обняла ее одной рукой. Когда она встала, утешая Фергюсон, я не заметил никакой перемены в ее фигуре.

— Мне все равно,— всхлипывала Фергюсон.— Только это все ужасно.

— Ну, ну, Ферджи,— утешала ее Кэтрин.— Я буду стыдиться. Не плачьте, Ферджи. Не плачьте, добрая моя Ферджи.

— Я не плачу,— всхлипывала Фергюсон.— Я не плачу. Только вот как вспомню, что с вами случилось.— Она посмотрела на меня.— Я вас ненавижу,— сказала она.— Она не может помешать мне ненавидеть вас. Вы гнусный коварный американский итальянец.— Ее нос и глаза покраснели от слез.

Кэтрин улыбнулась мне.

— Не смейте улыбаться ему, когда вы меня обнимаете.

— Вы неблагоразумны, Ферджи.

— Я сама знаю,— всхлипывала Ферджи.— Не обращайте на меня внимания. Я так взволнована. Я неблагоразумна. Я сама знаю. Я хочу, чтобы вы оба были счастливы.

— Мы и так счастливы,— сказала Кэтрин.— Вы моя хорошая Ферджи.

Фергюсон снова заплакала.

— Я не хочу, чтобы вы были счастливы так, как сейчас. Почему вы не женитесь? Да он не женат ли, чего доброго?

— Нет,— сказал я. Кэтрин смеялась.

— Ничего нет смешного,— сказала Фергюсон.— Так очень часто бывает.

— Мы поженимся, Ферджи,— сказала Кэтрин,— чтоб доставить вам удовольствие.

— Не для моего удовольствия. Вы сами должны были подумать об этом.

— Мы были очень заняты.

— Да. Я знаю. Заняты тем, что делали ребят.

Я думал, что она опять начнет плакать, но она вместо того вдруг разобиделась.

— Теперь вы, конечно, уйдете с ним?

— Да,— сказала Кэтрин.— Если он захочет.

— А как же я?

— Вы боитесь остаться здесь одна?

— Да, боюсь.

— Тогда я останусь с вами.

— Нет, уходите с ним. Уходите с ним сейчас же. Не желаю я вас больше видеть.

— Вот только пообедаем.

— Нет, уходите сейчас же.

— Ферджи, будьте благоразумны.

— Сейчас же убирайтесь отсюда, вам говорят. Уходите оба.

— Ну, пойдем,— сказал я. Мне надоела Ферджи.

— Конечно, вы рады уйти. Даже обедать я теперь должна в одиночестве. Я так давно мечтала попасть на итальянские озера, и вот что вышло. О! О! — Она всхлипнула, потом посмотрела на Кэтрин и поперхнулась.

— Мы останемся до конца обеда,— сказала Кэтрин.— И я не оставлю вас одну, если вы хотите, чтоб я была с вами. Я не оставлю вас одну, Ферджи.

— Нет. Нет. Я хочу, чтоб вы ушли. Я хочу, чтоб вы ушли.— Она вытерла глаза.— Я ужасно неблагоразумна. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания.

Девушку, которая подавала к столу, очень взволновали все эти слезы. Теперь, принеся следующее блюдо, она явно испытала облегчение, видя, что все уладилось.

Ночь в отеле, в нашей комнате, где за дверью длинный пустой коридор и наши башмаки у двери, и толстый ковер на полу комнаты, и дождь за окном, а в комнате светло, и радостно, и уютно, а потом темнота, и радость тонких простынь и удобной постели, и чувство, что ты вернулся домой, что ты не один, и ночью, когда проснешься, другой по-прежнему здесь и не исчез никуда,— все остальное больше не существовало. Утомившись, мы засыпали, и когда просыпались, то просыпались оба, и одиночества не возникало. Порой мужчине хочется побыть одному и женщине тоже хочется побыть одной, и каждому обидно чувствовать это в другом, если они любят друг друга. Но у нас этого никогда не случалось. Мы умели чувствовать, что мы одни, когда были вместе, одни среди всех остальных. Так со мной было в первый раз. Я знал многих женщин, но всегда оставался одиноким, бывая с ними, а это — худшее одиночество. Но тут мы никогда не ощущали одиночества и никогда не ощущали страха, когда были вместе. Я знаю, что ночью не то же, что днем, что все по-другому, что днем нельзя объяснить ночное, потому что оно тогда не существует, и если человек уже почувствовал себя одиноким, то ночью одиночество особенно страшно. Но с Кэтрин ночь почти ничем не отличалась ото дня, разве что ночью было еще лучше. Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки.

Я помню пробуждение утром. Кэтрин еще спала, и солнечный свет проникал в окно. Дождя уже не было, и я встал с постели и подошел к окну. Внизу тянулись сады, голые теперь, но прекрасные в своей правильности, дорожки, усыпанные гравием, деревья, каменный парапет у озера и озеро в солнечном свете, а за ним

горы. Я стоял и смотрел в окно, и когда я обернулся, то увидел, что Кэтрин проснулась и глядит на меня.

— Ты уже встал, милый? — сказала она.— Какой чудесный день!

— Как ты себя чувствуешь?

— Чудесно. Как хорошо было почью.

— Хочешь есть?

Она хотела есть. Я тоже хотел, и мы поели в кровати, при ноябрьском солнце, светившем в окно, поставив поднос с тарелками себе на колени.

— А ты не хочешь прочесть газету? Ты всегда читал газету в госпитале.

— Нет,— сказал я.— Теперь я не хочу.

— Так скверно было, что ты не хочешь даже читать об этом?

— Я не хочу читать об этом.

— Как жаль, что я не была с тобой, я бы тоже все это знала.

— Я расскажу тебе, если когда-нибудь это уляжется у меня в голове.

— А тебя не арестуют, если встретят не в военной форме?

— Меня, вероятно, расстреляют.

— Тогда мы не должны здесь оставаться. Мы уедем за границу.

— Я уже об этом подумывал.

— Мы уедем. Милый, ты не должен рисковать зря. Скажи мне, как ты попал из Местре в Милан?

— Я приехал поездом. Я тогда еще был в военной форме.

— А это не было опасно?

— Не очень. У меня был старый литер. В Местре я исправил на нем число.

— Милый, тебя тут каждую минуту могут арестовать. Я не хочу. Как можно делать такие глупости. Что будет с нами, если тебя заберут?

— Не будем думать об этом. Я устал думать об этом.

— Что ты сделаешь, если придут тебя арестовать?

— Буду стрелять.

— Вот видишь, какой ты глупый. Я тебя не выпущу из отеля, пока мы не уедем отсюда.

— Куда нам ехать?

— Пожалуйста, не будь таким, милый. Поедем туда, куда ты захочешь. Но только придумай такое место, чтоб можно было ехать сейчас же.

— В том конце озера — Швейцария, можно поехать туда.

— Вот и чудесно.

Снова собрались тучи, и озеро потемнело.

— Если б не нужно было всегда жить преступником,— сказал я.

— Милый, не будь таким. Давно ли ты живешь преступником? И мы не будем жить преступниками. У нас будет чудесная жизнь.

— Я чувствую себя преступником. Я дезертировал из армии.

— Милый, ну пожалуйста, будь благоразумен. Ты вовсе не дезертировал из армии. Это ведь только итальянская армия.

Я засмеялся.

— Ты умница. Полежим еще немного. Когда я в постели, все замечательно.

Немного погодя Кэтрин сказала:

— Ты уже не чувствуешь себя преступником, правда?

— Нет,— сказал я.— Когда я с тобой,— нет.

— Ты очень глупый мальчишка,— сказала она.— Но я не дам тебе распускаться. Подумай, милый, как хорошо, что меня не тошнит по утрам.

— Великолепно.

— Ты даже не ценишь, какая у тебя чудесная жена. Но мне все равно. Я тебя увезу куда-нибудь, где тебя не могут арестовать, и мы будем чудесно жить.

— Едем сейчас же.

— Непременно, милый. Когда хочешь и куда хочешь.

— Давай не будем ни о чем думать.

— Давай.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Кэтрин пошла берегом к маленькому отелю проведать Фергюсон, а я сидел в баре и читал газеты. В баре были удобные кожаные кресла, и я сидел в одном из них и читал, пока не пришел бармен. Армия не остановилась на Тальяменто. Она отступила дальше, к Пьяве. Я помнил Пьяве. Железная дорога пересекала ее близ Сан-Дона, по пути к фронту. Река в этом месте была глубокая и медленная и совсем узкая. Ниже по течению были болотные топи и каналы. Было несколько красивых вилл. Однажды до войны, направляясь в Кортина-д'Ампеццо, я несколько часов ехал горной дорогой над Пьяве. Сверху она была похожа на богатый форелью ручей с узкими отмелями и заводями под тенью скал. У Кадоре дорога сворачивала в сторону. Я думал о том, что армии не легко будет спуститься оттуда. Вошел бармен.

— Граф Греффи спрашивал о вас,— сказал он.

— Кто?

— Граф Греффи. Помните, тот старик, который был здесь, когда вы приезжали прошлый раз.

— Он здесь?

— Да, он здесь с племянницей. Я сказал ему, что вы приехали. Он хочет сыграть с вами на бильярде.

— Где он?

— Пошел погулять.

— Как он?

— Все молодеет. Вчера перед обедом он выпил три коктейля с шампанским.

— Как его успехи на бильярде?

— Хороши. Он меня бьет. Когда я ему сказал, что вы здесь, он очень обрадовался. Ему не с кем играть.

Графу Греффи было девяносто четыре года. Он был современником Меттерниха, этот старик с седой головой и седыми усами и превосходными манерами. Он побывал и на австрийской и на итальянской дипломатической службе, и день его рождения был событием в светской жизни Милана. Он собирался дожить до ста лет и играл на бильярде с уверенной свободой, неожиданной в этом сухоньком девяносточетырехлетнем теле. Я встретился с ним, приехав как-то в Стрезу после конца сезона, и мы пили шампанское во время игры на бильярде. Я нашел, что это великолепный обычай, и он дал мне пятнадцать очков форы и обыграл меня.

— Почему вы не сказали мне, что он здесь?

— Я забыл.

— Кто здесь есть еще?

— Других вы не знаете. Во всем отеле только шесть человек.

— Чем вы сейчас заняты?

— Ничем.

— Поедем ловить рыбу.

— На часок, пожалуй, можно.

— Поедем. Берите дорожку.

Бармен надел пальто, и мы отправились. Мы спустились к берегу и взяли лодку, и я греб, а бармен сидел на корме и держал дорожку, какой ловят озерную форель, со спиннером и тяжелым грузилом на конце. Мы ехали вдоль берега, бармен держал лесу в руках и время от времени дергал ее. С озера Стреза выглядела очень пустынной. Видны были длинные ряды голых деревьев, большие отели и заколоченные виллы. Я повернул к Изола-Белла и повел лодку вдоль самого берега, где сразу глубоко и видно, как стена скал отвесно уходит в прозрачную воду, а потом отъехал и свернул к рыбачьему острову. Солнце зашло за тучи, и вода была темная и гладкая и очень холодная. У нас ни разу не клюнуло, хотя несколько раз мы видели на воде круги от подплывающей рыбы.

Я выгреб к рыбачьему острову, где стояли вытащенные на берег лодки и люди чинили сети.

— Пойдем выпьем чего-нибудь?

— Пойдем.

Я подогнал лодку к каменному причалу, а бармен втянул лесу, свернул ее на дне лодки и зацепил спиннер за край борта. Я вылез и привязал лодку. Мы вошли в маленькое кафе, сели за деревянный столик и заказали вермуту.

— Устали грести?

— Нет.

— Обратно грести буду я,— сказал он.

— Я люблю грести.

— Может быть, если вы возьмете удочку, счастье переменится.

— Хорошо.

— Скажите, как дела на войне?

— Отвратительно.

— Я не должен идти. Я слишком стар, как граф Греффи.

— Может быть, вам еще придется пойти.

— В будущем году мой разряд призывают. Но я не пойду.

— Что же вы будете делать?

— Уеду за границу. Я не хочу идти на войну. Я уже был на войне раз, в Абиссинии. Хватит. Зачем вы пошли?

— Не знаю. По глупости.

— Еще вермуту?

— Давайте.

На обратном пути греб бармен. Мы проехали озером за Стрезу и потом назад, все время в виду берега. Держа тугую лесу и чувствуя слабое биение вращающегося спиннера, я глядел на темную ноябрьскую воду озера и пустынный берег. Бармен греб длинными взмахами, и когда лодку выносило вперед, леса дрожала. Один раз у меня клюнуло: леса вдруг натянулась и дернулась назад, я стал тащить и почувствовал живую тяжесть форели, и потом леса задрожала снова. Форель сорвалась.

— Тяжелая была.

— Да, довольно тяжелая.

— Раз я тут ездил один и держал лесу в зубах, так одна дернула, чуть всю челюсть у меня не вырвала.

— Лучше всего привязывать к ноге,— сказал я.— Тогда и лесу чувствуешь, и зубы останутся целы.

Я опустил руку в воду. Она была очень холодная. Мы были теперь почти напротив отеля.

— Мне пора,— сказал бармен,— я должен поспеть к одиннадцати часам. L'heure du cocktail [1].

---

[1] Час коктейлей *(фр.)*.

— Хорошо.

Я втащил лесу и навернул ее на палочку с зарубками на обоих концах. Бармен поставил лодку в маленькую нишу каменной стены и прикрепил ее цепью с замком.

— Когда захотите покататься,— сказал он,— я дам вам ключ.

— Спасибо.

Мы поднялись к отелю и вошли в бар. Мне не хотелось больше пить так рано, и я поднялся в нашу комнату. Горничная только что кончила убирать, и Кэтрин еще не вернулась. Я лег на постель и старался не думать.

Когда Кэтрин вернулась, все опять стало хорошо. Фергюсон внизу, сказала она. Она будет завтракать с нами.

— Я знала, что ты ничего не будешь иметь против,— сказала Кэтрин.

— Ничего,— сказал я.

— Что с тобой, милый?

— Не знаю.

— Я знаю. Тебе нечего делать. У тебя есть только я, а я ушла.

— Ты права.

— Прости меня, милый. Я знаю, это, наверно, ужасное чувство, когда вдруг совсем ничего не остается.

— У меня всегда жизнь была такой наполненной,— сказал я.— Теперь, если только тебя нет со мной, все пусто.

— Но я ведь буду с тобой. Я уходила только на два часа. Ты не можешь придумать себе какое-нибудь занятие?

— Я ездил с барменом ловить рыбу.

— Хорошо было?

— Да.

— Не думай обо мне, когда меня нет.

— Так я всегда старался на фронте. Но там мне было что делать.

— Отелло в отставке,— поддразнила она.

— Отелло был негр,— сказал я.— А кроме того, я не ревнив. Я просто так люблю тебя, что для меня больше ничего не существует.

— А теперь будь паинькой и будь любезен с Фергюсон.

— Я всегда любезен с Фергюсон, пока она не начинает меня клясть.

— Будь любезен с ней. Подумай, ведь у нас есть так много, а у нее ничего нет.

— Не думаю, чтобы ей хотелось того, что есть у нас.

— Ничего ты не знаешь, милый, а еще умница.

— Я буду любезен с ней.

— Я в этом не сомневаюсь. Ты у меня хороший.

— Но она потом не останется?

— Нет. Я ее сплавлю.

— Мы вернемся сюда?

— Конечно. А как же иначе?

Мы спустились вниз, позавтракать с Фергюсон. На нее сильное впечатление произвел отель и великолепие ресторана. Мы хорошо позавтракали и выпили две бутылки капри. В ресторан вошел граф Греффи и поклонился нам. С ним была его племянница, которая немного напоминала мою бабушку. Я рассказал о нем Кэтрин и Фергюсон, и на Фергюсон мой рассказ произвел сильное впечатление. Отель был очень большой, и пышный, и пустой, но еда была вкусная, вино очень приятное, и в конце концов от вина всем стало очень хорошо. Кэтрин чувствовала себя как нельзя лучше. Она была счастлива. Фергюсон совсем развеселилась. Мне самому было очень хорошо. После завтрака Фергюсон вернулась в свой отель. Она хочет немного полежать после завтрака, сказала она.

К концу дня кто-то постучался к нам в дверь.

— Кто там?

— Граф Греффи спрашивает, не сыграете ли вы с ним на бильярде.

Я посмотрел на часы; я их снял, и они лежали под подушкой.

— Это нужно, милый? — шепнула Кэтрин.

— Пожалуй, придется пойти.— Часы показывали четверть пятого. Я сказал громко: — Передайте графу Греффи, что я буду в бильярдной в пять часов.

Без четверти пять я поцеловал на прощанье Кэтрин и пошел в ванную одеваться. Когда я завязывал галстук и смотрелся в зеркало, мне странно было видеть себя в штатском. Я подумал, что нужно будет купить еще сорочек и носков.

— Ты надолго уходишь? — спросила Кэтрин. Она была очень красива в постели.— Дай мне, пожалуйста, щетку.

Я смотрел, как она расчесывала волосы, наклонив голову так, чтобы вся масса волос свесилась на одну сторону. За окном уже было темно, и свет лампы над изголовьем постели ложился на ее волосы, и шею, и плечи. Я подошел и поцеловал ее, отведя ее руку со щеткой, и ее голова откинулась на подушку. Я поцеловал ее шею и плечи. У меня кружилась голова, так сильно я ее любил.

— Я не хочу уходить.

— И я не хочу, чтоб ты уходил.

— Ну, так я не пойду.

— Нет. Иди. Это ведь ненадолго, а потом ты вернешься.

— Мы пообедаем здесь, наверху.

— Иди и скорее возвращайся.

Я застал графа Греффи в бильярдной. Он упражнялся в различных ударах и казался очень хрупким в свете лампы, спускав-

шейся над бильярдом. На ломберном столике немного поодаль, в тени, стояло серебряное ведерко со льдом, откуда торчали горлышки и пробки двух бутылок шампанского. Граф Греффи выпрямился, когда я вошел в бильярдную, и пошел мне навстречу. Он протянул мне руку.

— Я очень рад видеть вас здесь. Вы так добры, что согласились прийти поиграть со мной.

— С вашей стороны очень любезно было меня пригласить.

— Как ваше здоровье? Я слыхал, вы были ранены на Изонцо. Надеюсь, вы теперь вполне оправились.

— Я совершенно здоров. Как ваше здоровье?

— О, я всегда здоров. Но я старею. Начинаю замечать признаки старости.

— Этому трудно поверить.

— Да. Вот вам пример. Мне теперь легче говорить по-итальянски, чем на другом языке. Я заставляю себя, но когда я устаю, мне все-таки легче говорить по-итальянски. Так что, по-видимому, я старею.

— Будем говорить по-итальянски. Я тоже немного устал.

— О, но ведь если вы устали, вам должно быть легче говорить по-английски.

— По-американски.

— Да. По-американски. Пожалуйста, говорите по-американски. Это такой очаровательный язык.

— Я почти не встречаюсь теперь с американцами.

— Вы, вероятно, очень скучаете без их общества. Всегда скучно без соотечественников, а в особенности без соотечественниц. Я это знаю по опыту. Что ж, сыграем, или вы слишком устали?

— Я не устал. Я сказал это так, в шутку. Какую вы мне дадите фору?

— Вы много играли это время?

— Совсем не играл.

— Вы играете очень хорошо. Десять очков?

— Вы мне льстите.

— Пятнадцать?

— Это было бы прекрасно, но вы меня все равно обыграете.

— Будем играть на деньги? Вы всегда предпочитали играть на деньги.

— Давайте.

— Отлично. Я даю вам восемнадцать очков, и мы играем по франку очко.

Он очень красиво разыграл партию, и, несмотря на фору, я только на четыре очка обогнал его к середине игры. Граф Греффи нажал кнопку звонка, вызывая бармена.

— Будьте добры откупорить одну бутылку,— сказал он. Затем мне: — По стакану для настроения.

Вино было холодное, как лед, и очень сухое и хорошее.

— Будем говорить по-итальянски. Вы не возражаете? Это теперь моя слабость.

Мы продолжали играть, потягивая вино между ударами, беседуя по-итальянски, но вообще разговаривали мало, сосредоточась на игре. Граф Греффи выбил сотое очко, а я, несмотря на фору, имел только девяносто четыре. Он улыбнулся и потрепал меня по плечу.

— Теперь мы разопьем вторую бутылку, и вы расскажете мне о войне.— Он ждал, когда я сяду.

— О чем-нибудь другом,— сказал я.

— Вы не хотите говорить об этом? Хорошо. Что вы читали за последнее время?

— Ничего,— сказал я.— Боюсь, что я очень отупел.

— Нет. Но читать вам нужно.

— Что написано за время войны?

— Есть «Le feu» [1] одного француза, Барбюса. Есть «Мистер Бритлинг видит все насквозь».

— Это неправда.

— Что неправда?

— Он не видит все насквозь. Эти книги были у нас в госпитале.

— Значит, вы кое-что читали?

— Да, но хорошего ничего.

— Мне кажется, что в «Мистере Бритлинге» очень хорошо показана душа английской буржуазии.

— Я не знаю, что такое душа.

— Бедняжка. Никто не знает, что такое душа. Вы — croyant?[2]

— Только ночью.

Граф Греффи улыбнулся и повертел стакан в пальцах.

— Я предполагал, что с возрастом стану набожнее, но почему-то этого не случилось,— сказал он.— Очень сожалею.

— Вы хотели бы жить после смерти? — сказал я и сейчас же спохватился, что глупо было упоминать о смерти. Но его не смутило это слово.

— Смотря как жить. Эта жизнь очень приятна. Я хотел бы жить вечно.— Он улыбнулся.— Мне это почти удалось.

Мы сидели в глубоких кожаных креслах, разделенные столиком с бокалами и шампанским в серебряном ведерке.

— Если вы доживете до моего возраста, многое вам будет казаться странным.

— Вы не похожи на старика.

[1] «Огонь» *(фр.)*.

[2] Верующий *(фр.)*.

— Тело стареет. Иногда мне кажется, что у меня палец может отломиться, как кончик мелка. А дух не стареет, и мудрости не прибавляется.

— Вы мудры.

— Нет, это великое заблуждение — о мудрости стариков. Старики не мудры. Они только осторожны.

— Быть может, это и есть мудрость.

— Это очень непривлекательная мудрость. Что вы цените выше всего?

— Любимую женщину.

— Вот и я также. Это не мудрость. Жизнь вы цените?

— Да.

— Я тоже. Потому что это все, что у меня есть. И еще дни рождения,— засмеялся он.— Видимо, вы более мудры, чем я. Вы не празднуете день своего рождения.

Мы оба потягивали вино.

— Что вы в самом деле думаете о войне? — спросил я.

— Я думаю, что она нелепа.

— Кто выиграет ее?

— Итальянцы.

— Почему?

— Они более молодая нация.

— Разве молодые нации всегда выигрывают войну?

— Они способны на это в известном периоде.

— А потом что?

— Они становятся старыми нациями.

— А вы еще говорите, что не мудры.

— Дорогой мой мальчик, это не мудрость. Это цинизм.

— Мне это кажется величайшей мудростью.

— Это не совсем так. Я мог бы вам привести примеры в подтверждение противоположного. Но это неплохо сказано. Мы выпили все шампанское?

— Почти.

— Может быть, выпьем еще? Потом я пойду переодеться.

— Пожалуй, не стоит больше.

— Вам в самом деле не хочется?

— Да.

Он встал.

— Желаю вам много удачи, и много счастья, и много, много здоровья.

— Благодарю вас. А я желаю вам жить вечно.

— Благодарю вас. Я так и делаю. А если вы когда-нибудь станете набожным, помолитесь за меня, когда я умру. Я уже нескольких друзей просил об этом. Я надеялся сам стать набожным, но этого не случилось.

Мне казалось, что он улыбнулся с грустью, но я не был уверен. Он был очень стар, и на его лице было очень много морщин, и в улыбке участвовало столько черточек, что оттенки терялись в них.

— Я, может быть, стану очень набожным,— сказал я.— Во всяком случае, я буду молиться за вас.

— Я всегда ожидал, что стану набожным. В моей семье все умирали очень набожными. Но почему-то этого не случилось.

— Еще слишком рано.

— Может быть, уже слишком поздно. Может быть, я пережил свое религиозное чувство.

— У меня оно появляется только ночью.

— Но ведь вы еще и любите. Не забывайте, что это тоже религиозное чувство.

— Вы думаете?

— Конечно.— Он сделал шаг к бильярду.— Вы очень добры, что сыграли со мной.

— Это было большим удовольствием для меня.

— Пойдемте наверх вместе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Ночью была гроза, и, проснувшись, я услышал, как дождь хлещет по оконным стеклам. В открытое окно заливала вода. Кто-то стучался в дверь. Я подошел к двери очень тихо, чтобы не разбудить Кэтрин, и отворил. Это был бармен. Он был в пальто и держал в руках мокрую шляпу.

— Мне нужно поговорить с вами, tenente.

— В чем дело?

— Дело очень серьезное.

Я огляделся. В комнате было темно. Я увидел лужу на полу под окном.

— Войдите,— сказал я. Я за руку провел его в ванную, запер дверь и зажег свет. Я присел на край ванны.

— В чем дело, Эмилио? У вас какая-нибудь беда?

— Нет. Не у меня, а у вас, tenente.

— Вот как?

— Утром придут вас арестовать.

— Вот как?

— Я пришел сказать вам. Я был в городе и в кафе услышал разговор.

— Понимаю.

Он стоял передо мной, в мокром пальто, с мокрой шляпой в руках, и молчал.

— За что меня хотят арестовать?

— Что-то связанное с войной.

— Вы знаете — что?

— Нет. Но я знаю, что вас прежде видели здесь офицером, а теперь вы приехали в штатском. После этого отступления они каждого готовы арестовать.

Я минуту раздумывал.

— В котором часу они собирались прийти?

— Утром. Точного часа не знаю.

— Что вы советуете делать?

Он положил шляпу в раковину умывальника. Она была очень мокрая, и вода все время стекала на пол.

— Если за вами ничего нет, то вам нечего опасаться. Но попасть под арест всегда неприятно — особенно теперь.

— Я не хочу попасть под арест.

— Тогда уезжайте в Швейцарию.

— Как?

— На моей лодке.

— На озере буря,— сказал я.

— Буря миновала. Волны еще есть, но вы справитесь.

— Когда нам ехать?

— Сейчас. Они могут прийти рано утром.

— А наши вещи?

— Уложите их. Пусть ваша леди одевается. Я позабочусь о вещах.

— Где вы будете?

— Я подожду здесь. Не нужно, чтоб меня видели в коридоре.

Я отворил дверь, прикрыл ее за собой и вошел в спальню. Кэтрин не спала.

— Что там такое, милый?

— Ничего, Кэт,— сказал я.— Хочешь сейчас одеться и ехать на лодке в Швейцарию?

— А ты хочешь?

— Нет,— сказал я.— Я хочу лечь опять в постель.

— Что случилось?

— Бармен говорит, что утром меня придут арестовать.

— А бармен в своем уме?

— Да.

— Тогда, пожалуйста, милый, одевайся поскорее, и сейчас же едем.— Она села на край постели. Она была еще сонная.— Это бармен там, в ванной?

— Да.

— Так я не буду умываться. Пожалуйста, милый, отвернись, и я в одну минуту оденусь.

Я увидел ее белую спину, когда она снимала ночную сорочку и потом я отвернулся, потому что она так просила. Она уже начала полнеть от беременности и не хотела, чтоб я ее видел. Я оделся, слушая шум дождя за окном. Мне почти нечего было укладывать.

— У меня еще много места в чемодане, Кэт, если тебе нужно.

— Я уже почти все уложила,— сказала она.— Милый, я ужасно глупая, но скажи мне, зачем бармен сидит в ванной?

— Тсс, он ждет, чтоб снести наши вещи вниз.

— Какой славный!

— Он мой старый друг,— сказал я.— Один раз я чуть не прислал ему трубочного табаку.

Я посмотрел в открытое окно, за которым темнела ночь. Озера не было видно, только мрак и дождь, но ветер улегся.

— Я готова, милый,— сказала Кэтрин.

— Хорошо.— Я подошел к двери ванной.— Вот чемоданы, Эмилио,— сказал я. Бармен взял оба чемодана.

— Вы очень добры, что хотите помочь нам,— сказала Кэтрин.

— Пустяки, леди,— сказал бармен.— Я очень рад помочь вам, только не хотел бы нажить себе этим неприятности. Слушайте,— сказал он,— я спущусь с вещами по черной лестнице и пройду прямо к лодке. Вы идите спокойно, как будто собрались на прогулку.

— Чудесная ночь для прогулки,— сказала Кэтрин.

— Ночь скверная, что и говорить.

— Как хорошо, что у меня есть зонтик,— сказала Кэтрин.

Мы прошли по коридору и по широкой, устланной толстым ковром лестнице. Внизу, у дверей, сидел за своей конторкой портье.

Он очень удивился, увидя нас.

— Вы хотите выйти, сэр? — спросил он.

— Да,— сказал я.— Мы хотим посмотреть озеро в бурю.

— У вас нет зонта, сэр?

— Нет,— сказал я.— У меня непромокаемое пальто.

Он с сомнением оглядел меня.

— Я вам дам зонт, сэр,— сказал он. Он вышел и возвратился с большим зонтом.— Немножко великоват, сэр,— сказал он. Я дал ему десять лир.— О, вы слишком добры, сэр. Очень вам благодарен,— сказал он.

Он раскрыл перед нами двери, и мы вышли под дождь. Он улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась ему.

— Не оставайтесь долго снаружи в бурю,— сказал он.— Вы промокнете, сэр и леди.— Он был всего лишь младший портье, и его английский язык еще грешил буквализмами.

— Мы скоро вернемся,— сказал я.

Мы пошли под огромным зонтом по дорожке, и дальше мокрым темным садом к шоссе, и через шоссе к обсаженной кустарником береговой аллее. Ветер дул теперь у берега. Это был сырой, холодный ноябрьский ветер, и я знал, что в горах идет снег. Мы прошли по набережной вдоль прикованных в нишах лодок к тому месту, где стояла лодка бармена. Вода была темнее камня. Бармен вышел из-за деревьев.

— Чемоданы в лодке,— сказал он.

— Я хочу заплатить вам за лодку,— сказал я.

— Сколько у вас есть денег?

— Не очень много.

— Вы мне потом пришлете деньги. Так будет лучше.

— Сколько?

— Сколько захотите.

— Скажите мне, сколько?

— Если вы доберетесь благополучно, пришлите мне пятьсот франков. Это вас не стеснит, если вы доберетесь.

— Хорошо.

— Вот здесь сандвичи.— Он протянул мне сверток.— Все, что нашлось в баре. А здесь бутылка коньяку и бутылка вина.

Я положил все в свой чемодан.

— Позвольте мне заплатить за это.

— Хорошо, дайте мне пятьдесят лир.

Я дал ему.

— Коньяк хороший,— сказал он.— Можете смело давать его вашей леди. Пусть она садится в лодку.

Он придержал лодку, которая то поднималась, то опускалась у каменной стены, и я помог Кэтрин спуститься. Она села на корме и завернулась в плащ.

— Вы знаете, куда ехать?

— Все время к северу.

— А как ехать?

— На Луино.

— На Луино, Конперо, Каннобьо, Транцано. В Швейцарии вы будете, только когда доедете до Бриссаго. Вам нужно миновать Монте-Тамара.

— Который теперь час? — спросила Кэтрин.

— Еще только одиннадцать,— сказал я.

— Если вы будете грести не переставая, к семи часам утра вы должны быть на месте.

— Это так далеко?

— Тридцать пять километров.

— Как бы не сбиться. В такой дождь нужен компас.

— Нет. Держите на Изола-Белла. Потом, когда обогнете Изола-Мадре, идите по ветру. Ветер приведет вас в Палланцу. Вы увидите огни. Потом идите вдоль берега.

— Ветер может перемениться.

— Нет,— сказал он.— Этот ветер будет дуть три дня. Он дует прямо с Маттароне. Вон там жестянка, чтоб вычерпывать воду.

— Позвольте мне хоть что-нибудь заплатить вам за лодку сейчас.

— Нет, я хочу рискнуть. Если вы доберетесь, то заплатите мне все сполна.

— Пусть так.

— Думаю, что вы не утонете.

— Вот и хорошо.

— Держите прямо по ветру.

— Ладно.— Я прыгнул в лодку.

— Вы оставили деньги за номер?

— Да. В конверте на столе.

— Отлично. Всего хорошего.

— Всего хорошего. Большое вам спасибо.

— Не за что будет, если вы утонете.

— Что он говорит? — спросила Кэтрин.

— Он желает нам всего хорошего.

— Всего хорошего,— сказала Кэтрин.— Большое, большое вам спасибо.

— Вы готовы?

— Да.

Он наклонился и оттолкнул нас. Я погрузил весла в воду, потом помахал ему рукой. В ответ он сделал предостерегающий знак. Я увидел огни отеля и стал грести, стараясь держать прямо, пока они не скрылись из виду. Кругом бушевало настоящее море, но мы шли по ветру.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я греб в темноте, держась так, чтоб ветер все время дул мне в лицо. Дождь перестал и только изредка порывами налетал снова. Я видел Кэтрин на корме, но не видел воду, когда погружал в нее лопасти весел. Весла были длинные и не имели ремешков, удерживающих весло в уключине. Я погружал весла в воду, проводил их вперед, вынимал, заносил, снова погружал, стараясь грести как можно легче. Я не разворачивал их плашмя при заносе, потому что ветер был попутный. Я знал, что натру себе волдыри, и хотел, чтоб это случилось как можно позднее. Лодка

была легкая и хорошо слушалась весел. Я вел ее вперед по темной воде. Ничего не было видно, но я надеялся, что мы скоро доберемся до Палланцы.

Мы так и не увидели Палланцы. Ветер дул с юга, и в темноте мы проехали мыс, за которым лежит Палланца, и не увидели ее огней. Когда наконец показались какие-то огни, гораздо дальше и почти на самом берегу, это была уже Интра. Но долгое время мы вообще не видели никаких огней, не видели и берега и только упорно подвигались в темноте вперед, скользя на волнах. Иногда волна поднимала лодку, и в темноте я махал веслами по воздуху. Озеро было еще неспокойное, но я продолжал грести, пока нас вдруг чуть не прибило к скалистому выступу берега, торчавшему над водой; волны ударялись о него, высоко взлетали и падали вниз. Я сильно налег на правое весло, в то же время табаня левым, и мы отошли от берега; скала скрылась из виду, и мы снова плыли по озеру.

— Мы уже на другой стороне,— сказал я Кэтрин.

— А ведь мы должны были увидеть Палланцу?

— Она осталась за мысом.

— Ну, как ты, милый?

— Ничего!

— Я могу тебя немного сменить.

— Зачем? Не нужно.

— Бедная Фергюсон! — сказала Кэтрин.— Придет утром в отель, а нас уже нет.

— Это меня меньше беспокоит,— сказал я.— А вот как бы нам добраться до швейцарского побережья, пока темно, чтобы нас не увидела таможенная стража.

— А далеко еще?

— Километров тридцать.

Я греб всю ночь. Мои ладони были до того стерты, что я с трудом сжимал в руках весла. Несколько раз мы едва не разбились о берег. Я держался довольно близко к берегу, боясь сбиться с пути и потерять время. Иногда мы подходили так близко, что видели дорогу, идущую вдоль берега, и ряды деревьев вдоль дороги, и горы позади. Дождь перестал, и когда ветер разогнал тучи, вышла луна, и, оглянувшись, я увидел длинный темный мыс Кастаньола, и озеро с белыми барашками, и далекие снежные вершины под луной. Потом небо опять заволокло тучами, и озеро и горные вершины исчезли, но было уже гораздо светлее, чем раньше, и виден был берег. Он был виден даже слишком ясно, и я отвел лодку подальше, чтобы ее не могла заметить с Палланцанской дороги таможенная стража, если она там была. Когда опять показа-

лась луна, мы увидели белые виллы на берегу, по склонам гор, и белую дорогу в просветах между деревьями. Я греб не переставая.

Озеро стало шире, и на другом берегу у подножья горы мы увидели огни; это должно было быть Луино. Я увидел клинообразную расщелину между горами на другом берегу и решил, что, вероятно, это и есть Луино. Если так, то мы шли хорошим темпом. Я втащил весла в лодку и лег на спину. Я очень, очень устал грести. Руки, плечи, спина у меня болели, и ладони были стерты.

— А что, если раскрыть зонтик? — сказала Кэтрин.— Ветер будет дуть в него и гнать лодку.

— Ты сумеешь править?

— Наверно.

— Возьми это весло под мышку, прижми его вплотную к борту и так правь, а я буду держать зонтик.

Я перешел на корму и показал ей, как держать весло. Я сел лицом к носу лодки, взял большой зонт, который дал мне портье, и раскрыл его. Он хлопнул, раскрываясь. Я держал его с двух сторон за края, сидя верхом на ручке, которую зацепил за скамью. Ветер дул прямо в него, и, вцепившись изо всех сил в края, я почувствовал, как лодку понесло вперед. Зонт вырывался у меня из рук. Лодка шла очень быстро.

— Мы прямо летим,— сказала Кэтрин. Я не видел ничего, кроме спиц зонта. Зонт тянул и вырывался, и я чувствовал, как мы вместе с ним несемся вперед. Я уперся ногами и еще крепче вцепился в края, потом вдруг что-то затрещало; одна спица щелкнула меня по лбу, я хотел схватить верхушку, которая прогибалась на ветру, но тут все с треском вывернулось наизнанку, и там, где только что был полный, надутый ветром парус, я сидел теперь верхом на ручке вывернутого изодранного зонта. Я отцепил ручку от скамейки, положил зонт на дно и пошел к Кэтрин за веслом. Она хохотала. Она взяла меня за руку и продолжала хохотать.

— Чего ты? — Я взял у нее весло.

— Ты такой смешной был с этой штукой.

— Не удивительно.

— Не сердись, милый. Это было ужасно смешно. Ты казался футов двадцати в ширину и так горячо сжимал края зонтика...— Она задохнулась от смеха.

— Сейчас возьмусь за весла.

— Отдохни и выпей коньяку. Такая замечательная ночь, и мы столько уже проехали.

— Нужно поставить лодку поперек волны.

— Я достану бутылку. А потом ты немного отдохни.

Я поднял весла, и мы закачались на волнах. Кэтрин открыла чемодан. Она передала мне бутылку с коньяком. Я вытащил пробку перочинным ножом и отпил порядочный глоток. Коньяк был крепкий, и тепло разлилось по всему моему телу, и я согрелся и повеселел.

— Хороший коньяк.— сказал я. Луна опять зашла за тучу, но берег был виден. Впереди была стрелка, далеко выдававшаяся в озеро.

— Тебе не холодно, Кэт?

— Мне очень хорошо. Только ноги немножко затекли.

— Вычерпай воду со дна, тогда сможешь протянуть их.

Я снова стал грести, прислушиваясь к скрипу уключин и скрежету черпака о дно лодки под кормовой скамьей.

— Дай мне, пожалуйста, черпак,— сказал я.— Мне хочется пить.

— Он очень грязный.

— Ничего. Я его ополосну.

Я услышал, как Кэтрин ополаскивает черпак за бортом лодки. Потом она протянула его мне до краев полным воды. Меня мучила жажда после коньяка, а вода была холодная, как лед, такая холодная, что зубы заломило. Я посмотрел на берег. Мы приближались к стрелке. В бухте впереди видны были огни.

— Спасибо,— сказал я и передал ей черпак.

— Сделайте одолжение,— сказала Кэтрин.— Не угодно ли еще?

— Ты бы съела что-нибудь.

— Нет. Я пока еще не голодна. Надо приберечь еду на то время, когда я проголодаюсь.

— Ладно.

То, что издали казалось стрелкой, был длинный скалистый мыс. Я отъехал на середину озера, чтобы обогнуть его. Озеро здесь было гораздо уже. Луна опять вышла, и если guardia di Finanza [1] наблюдала с берега, она могла видеть, как наша лодка чернеет на воде.

— Как ты там, Кэт?

— Очень хорошо. Где мы?

— Я думаю, нам осталось не больше восьми миль.

— Бедненький ты мой! Ведь это сколько еще грести. Ты еще жив?

— Вполне. Я ничего. Только вот ладони натер.

Мы ехали все время к северу. Горная цепь на правом берегу прервалась, отлогий спуск вел к низкому берегу, где, по моим рас-

---

[1] Таможенная стража *(ит.)*.

четам, должно было находиться Каннобьо. Я держался на большом расстоянии от берега, потому что в этих местах опасность встретить guardia была особенно велика. На другом берегу впереди была высокая куполообразная гора. Я устал. Грести оставалось немного, но когда уже выбьешься из сил, то и такое расстояние велико. Я знал, что нужно миновать эту гору и сделать еще по меньшей мере пять миль по озеру, прежде чем мы попадем наконец в швейцарские воды. Луна уже заходила, но перед тем, как она зашла, небо опять заволокло тучами, и стало очень темно. Я держался подальше от берега и время от времени отдыхал, подняв весла так, чтобы ветер ударял в лопасти.

— Дай я погребу немножко,— сказала Кэтрин.

— Тебе, пожалуй, нельзя.

— Глупости. Это мне даже полезно. Не будут так затекать ноги.

— Тебе, наверно, нельзя, Кэт.

— Глупости. Умеренные занятия греблей весьма полезны для молодых дам в период беременности.

— Ну, ладно, садись и греби умеренно. Я перейду на твое место, а потом ты иди на мое. Держись за борта, когда будешь переходить.

Я сидел на корме в пальто, подняв воротник, и смотрел, как Кэтрин гребет. Она гребла хорошо, но весла были слишком длинные и неудобные для нее. Я открыл чемодан и съел два сандвича и выпил коньяку. От этого все стало гораздо лучше, и я выпил еще.

— Скажи мне, когда устанешь,— сказал я. Потом, спустя немного: — Смотри не ткни себя веслом в живот.

— Если б это случилось,— сказала Кэтрин между взмахами,— жизнь стала бы много проще.

Я выпил еще коньяку.

— Ну как?

— Хорошо.

— Скажи мне, когда надоест.

— Хорошо.

Я выпил еще коньяку, потом взялся за борта и пошел к середине лодки.

— Не надо. Мне так очень хорошо.

— Нет, иди на корму. Я отлично отдохнул.

Некоторое время после коньяка я греб уверенно и легко. Потом у меня начали зарываться весла, и вскоре я опять перешел на короткие взмахи, чувствуя тонкий смутный привкус желчи во рту, оттого что я слишком сильно греб после коньяка.

— Дай мне, пожалуйста, глоток воды,— сказал я.

— Хоть целое ведро.

Перед рассветом начало моросить. Ветер улегся, а может быть, нас теперь защищали горы, обступившие изгиб озера. Когда я понял, что приближается рассвет, я уселся поудобнее и налег на весла. Я не знал, где мы, и хотел скорей попасть в швейцарскую часть озера. Когда стало светать, мы были совсем близко от берега. Видны были деревья и каменистый спуск к воде.

— Что это? — сказала Кэтрин. Я поднял весла и прислушался. На озере стучал лодочный мотор. Мы подъехали к самому берегу и остановились. Стук приблизился; потом невдалеке от нашей кормы мы увидели под дождем моторную лодку. На корме сидели четыре guardia di Finanza в надвинутых шляпах альпийских стрелков, с поднятыми воротниками и с карабинами за спиной; все четверо казались сонными в этот ранний час. Мне видны были желтые знаки у них на воротниках и что-то желтое на шляпах. Стуча мотором, лодка проехала дальше и скрылась из виду под дождем.

Я отъехал к середине озера. Очевидно, граница была совсем близко, и я вовсе не хотел, чтоб нас окликнул с дороги часовой. Я выровнялся там, откуда берег был только виден, и еще три четверти часа греб под дождем. Один раз мы опять услышали моторную лодку, и я переждал, пока стук затих у другого берега.

— Кажется, мы уже в Швейцарии, Кэт,— сказал я.

— Правда?

— Точно нельзя сказать, пока мы не увидим швейцарскую армию.

— Или швейцарский флот.

— Ты не шути швейцарским флотом. Та моторная лодка, которую мы только что слышали, и была, наверно, швейцарский флот.

— Ну, если мы в Швейцарии, так, по крайней мере, позавтракаем на славу. В Швейцарии такие чудесные булочки, и масло, и варенье.

Было уже совсем светло, и шел мелкий дождь. Ветер все еще дул с юга, и видны были белые гребни барашков, уходившие от нас по озеру. Я уже не сомневался, что мы в Швейцарии. За деревьями в стороне от берега виднелись домики, а немного дальше на берегу было селение с каменными домами, несколькими виллами на холмах и церковью. Я смотрел, нет ли стражи на дороге, которая тянулась вдоль берега, но никого не было видно. Потом дорога подошла совсем близко к озеру, и я увидел солдата, выходившего из кафе у дороги. На нем была серо-зеленая форма и каска,

похожая на немецкую. У него было здоровое, краснощекое лицо и маленькие усики щеточкой. Он посмотрел на нас.

— Помаши ему рукой,— сказал я Кэтрин. Она помахала, и солдат нерешительно улыбнулся и тоже помахал в ответ. Я стал грести медленнее. Мы проезжали мимо самого селения.

— Вероятно, мы уже давно в Швейцарии,— сказал я.

— Нужно знать наверняка, милый. Недостает еще, чтобы нас на границе вернули обратно.

— Граница далеко позади. Это, вероятно, таможенный пункт. Я почти убежден, что это Бриссаго.

— А нет ли здесь итальянцев? На таможенных пунктах всегда много народу из соседней страны.

— Не в военное время. Не думаю, чтоб сейчас итальянцам разрешали переходить границу.

Город был очень хорошенький. У пристани стояло много рыбачьих лодок, и на рогатках развешаны были сети. Шел мелкий ноябрьский дождь, но здесь даже в дождь было весело и чисто.

— Тогда давай причалим и пойдем завтракать.

— Давай.

Я приналег на левое весло и подошел к берегу, потом, у самой пристани, выровнялся и причалил боком. Я втащил весла, ухватился за железное кольцо, поставил ногу на мокрый камень и вступил в Швейцарию. Я привязал лодку и протянул руку Кэтрин.

— Выходи, Кэт. Замечательное чувство.

— А чемоданы?

— Оставим в лодке.

Кэтрин вышла, и мы вместе вступили в Швейцарию.

— Какая прекрасная страна,— сказала она.

— Правда, замечательная?

— Пойдем скорей завтракать.

— Нет, правда замечательная страна? По ней как-то приятно ступать.

— У меня так затекли ноги, что я ничего не чувствую. Но, наверно, приятно. Милый, ты понимаешь, что мы уже здесь, что мы выбрались из этой проклятой Италии.

— Да. Честное слово, да. Я еще никогда так хорошо ничего не понимал.

— Посмотри на эти дома. А какая чудная площадь! Вон там можно и позавтракать.

— А какой чудный дождь! В Италии никогда не бывает такого дождя. Это веселый дождь.

— И мы с тобой уже здесь, милый. Нет, ты понимаешь, что мы с тобой уже здесь?

Мы вошли в кафе и сели за чистенький деревянный столик. Мы были как пьяные. Вышла чудесная чистенькая женщина в переднике и спросила, что нам подать.

— Булочки, и варенье, и кофе,— сказала Кэтрин.

— Извините, булочек теперь нет — время военное.

— Тогда хлеба.

— Может быть, сделать гренки?

— Сделайте.

— И еще яичницу.

— Из скольких яиц угодно господину?

— Из трех.

— Лучше из четырех, милый.

— Из четырех яиц.

Женщина ушла. Я поцеловал Кэтрин и очень крепко сжал ей руку. Мы смотрели друг на друга и по сторонам.

— Милый, ну скажи, разве не чудесно?

— Замечательно,— сказал я.

— Это ничего, что нет булочек,— сказала Кэтрин.— Я думала о них всю ночь. Но это ничего. Это совсем даже ничего.

— Вероятно, нас очень скоро арестуют.

— Не думай об этом, милый. Мы раньше позавтракаем. Быть арестованными после завтрака не так уж страшно. И потом, что они могут нам сделать? Я британская подданная, а ты американский, и у нас все в полном порядке.

— У тебя есть паспорт?

— Конечно. Ах, не будем говорить об этом. Давай радоваться.

— Я и так радуюсь изо всех сил,— сказал я.

Толстая серая кошка, распушив хвост султаном, прошла по комнате к нашему столу и, изогнувшись вокруг моей ноги, стала об нее тереться с довольным урчанием. Я наклонился и погладил кошку. Кэтрин радостно улыбнулась мне.

— А вот и кофе,— сказала она.

Нас арестовали после завтрака. Мы погуляли немного по городку и потом спустились к пристани за своими чемоданами. У лодки стоял на страже солдат.

— Это ваша лодка?

— Да.

— Откуда вы приехали?

— С той стороны озера.

— Вам придется пойти со мной.

— А чемоданы?

— Можете взять.

Я взял чемоданы, и Кэтрин пошла рядом со мной, а солдат позади нас, к старому дому, где была таможня. В таможне

очень худой и воинственный с виду лейтенант стал нас допрашивать.

— Ваша национальность?

— Американец и англичанка.

— Предъявите ваши паспорта.

Я дал свой, и Кэтрин достала свой из сумочки. Он долго рассматривал их.

— Почему вы приехали в Швейцарию так, на лодке?

— Я спортсмен,— сказал я.— Гребля — мой любимый спорт. Я гребу всегда, как только представится случай.

— Зачем вы приехали сюда?

— Заниматься зимним спортом. Мы туристы, и нас интересует зимний спорт.

— Здесь не место для зимнего спорта.

— Мы знаем. Мы хотим ехать дальше, туда, где можно заниматься зимним спортом.

— Что вы делали в Италии?

— Я изучал архитектуру. Моя кузина изучала искусство.

— Почему вы уехали оттуда?

— Мы хотим заниматься зимним спортом. В военное время трудно изучать архитектуру.

— Посидите, пожалуйста, здесь,— сказал лейтенант. Он взял наши паспорта и вышел во внутреннюю дверь.

— Милый, ты неподражаем,— сказала Кэтрин,— на том и стой. Ты хочешь заниматься зимним спортом.

— Ты что-нибудь понимаешь в искусстве?

— Рубенс,— сказала Кэтрин.

— Много мяса,— сказал я.

— Тициан,— сказала Кэтрин.

— Тициановские волосы,— сказал я.— Ну, а Мантенья?

— Ты трудных не спрашивай,— сказала Кэтрин.— Но я все-таки знаю: очень страшный.

— Очень,— сказал я.— Масса дырок от гвоздей.

— Видишь, какая чудная у тебя будет жена,— сказала Кэтрин.— Я смогу беседовать об искусстве с твоими заказчиками.

— Вот он идет,— сказал я.

Худой лейтенант появился из глубины таможенного здания с нашими паспортами в руке.

— Мне придется отправить вас в Локарно,— сказал он.— Вы можете нанять экипаж, с вами вместе сядет солдат.

— Что ж, пожалуйста,— сказал я.— А как быть с лодкой?

— Лодка конфискована. Что у вас в этих чемоданах?

Он осмотрел содержимое обоих чемоданов и вынул бутылку с коньяком.

— Может быть, составите мне компанию? — спросил я.

— Нет, благодарю вас.— Он выпрямился.— Сколько у вас денег?

— Две с половиной тысячи лир.

— А у вашей кузины?

У Кэтрин было тысяча двести с лишним. Лейтенант остался доволен. Его обращение с нами стало менее высокомерным.

— Если вас интересует зимний спорт,— сказал он,— самое лучшее для этого место — Венген. У моего отца в Венгене очень хороший отель. Открыт круглый год.

— Очень приятно,— сказал я.— Нельзя ли получить у вас адрес?

— Я вам напишу на карточке.— Он очень вежливо подал мне карточку.— Солдат вас проводит до Локарно. Ваши паспорта будут у него. Очень сожалею, но это необходимо. Я не сомневаюсь, что в Локарно вы получите визу или разрешение от полиции.

Он передал оба паспорта солдату, и, взяв чемоданы, мы направились к селению, чтобы там нанять экипаж.

— Эй! — окликнул лейтенант солдата. Он сказал ему что-то на диалекте. Солдат перекинул винтовку через плечо и подхватил наши чемоданы.

— Прекрасная страна,— сказал я Кэтрин.

— Практичная, во всяком случае.

— Очень вам благодарен,— сказал я лейтенанту. Он помахал нам рукой.

— К вашим услугам,— сказал он. Мы пошли за своим стражем наверх.

Мы поехали в Локарно в экипаже, с солдатом на переднем сиденье возле кучера. В Локарно все сошло неплохо. Нас допросили, но очень вежливо, потому что у нас были паспорта и деньги. Едва ли они поверили хоть одному моему слову, и я думал о том, как все это глупо, но это было все равно как в суде. Никаких разумных доводов не требовалось, требовалась только формальная отговорка, за которую можно было бы держаться без всяких объяснений. Мы имели паспорта и хотели тратить деньги. Поэтому нам дали временные визы. Эти визы в любой момент могли аннулировать. Мы должны были являться в полицию всюду, куда ни приедем.

Можем ли мы ехать, куда хотим? Да. А куда мы хотим ехать?

— Куда ты хочешь ехать, Кэт?

— В Монтре.

— Очень хороший город,— сказал чиновник.— Я думаю, что вам понравится этот город.

— Локарно тоже очень хороший город,— сказал другой чиновник.— Я уверен, что вам очень понравится Локарно. Это очень красивый город.

— Нам нравится там, где можно заниматься зимним спортом.

— В Монтре не занимаются зимним спортом.

— Прошу прощения,— сказал первый чиновник.— Я сам из Монтре. На Монтре-Оберланд-Бернской железной дороге, безусловно, есть условия для зимнего спорта. С вашей стороны нечестно было бы отрицать это.

— Я и не отрицаю. Я просто говорю, что в Монтре не занимаются зимним спортом.

— Я оспариваю это,— сказал первый чиновник.— Я оспариваю это утверждение.

— Я настаиваю на этом утверждении.

— Я оспариваю это утверждение. Я сам катался на luge [1] по улицам Монтре. Я совершал это неоднократно. Luge, безусловно, один из видов зимнего спорта.

Второй чиновник обернулся ко мне.

— Вы имели в виду luge, говоря о зимнем спорте, сэр? Уверяю вас, в Локарно вам будет чрезвычайно удобно. Вы найдете здесь здоровый климат, вы найдете здесь красивые окрестности. Вам здесь очень понравится.

— Господин сам выразил желание ехать в Монтре.

— А что такое luge? — спросил я.

— Вы видите, он даже никогда не слыхал о luge.

Это очень понравилось второму чиновнику. Он торжествовал.

— Luge,— сказал первый чиновник,— это то же, что тобогган.

— Должен возразить,— покачал головой второй чиновник.— Здесь я опять должен возразить. Тобогган очень отличается от luge. Тобогган делается в Канаде из плоских планок. Luge — это обыкновенные салазки на полозьях. Точность прежде всего.

— А нельзя ли нам кататься на тобоггане? — спросил я.

— Конечно, можно и на тобоггане,— сказал первый чиновник.— Вполне можно кататься на тобоггане. В Монтре продаются отличные канадские тобогганы. Братья Окс торгуют тобогганами. Они сами импортируют тобогганы.

Второй чиновник отвернулся.

— Для катания на тобоггане,— сказал он,— требуется специальная piste [2]. Нельзя кататься на тобоггане по улицам Монтре. Где вы остановились?

[1] Небольшие швейцарские санки *(фр.)*.

[2] Дорожка *(фр.)*.

— Мы еще сами не знаем,— сказал я.— Мы только что приехали из Бриссаго. Экипаж ждет на улице.

— Вы не пожалеете о том, что едете в Монтре,— сказал первый чиновник.— Вы найдете там прекрасный мягкий климат. Вам не нужно будет далеко ходить, если вы захотите заниматься зимним спортом.

— Если вас действительно интересует зимний спорт,— сказал второй чиновник,— поезжайте в Энгадин или Мюррен. Я вынужден протестовать против данного вам совета ехать в Монтре для зимнего спорта.

— В Лез-Аван над Монтре превосходные условия для любого зимнего спорта.— Патриот Монтре яростно взглянул на своего коллегу.

— Господа,— сказал я.— К сожалению, мы должны ехать. Моя кузина очень устала. Мы рискнем отправиться в Монтре.

— Приветствую ваше решение.— Первый чиновник пожал мне руку.

— Полагаю, что вы будете сожалеть об отъезде из Локарно,— сказал второй чиновник.— Во всяком случае, в Монтре вам придется явиться в полицию.

— Никаких недоразумений с полицией у вас не будет,— уверил меня первый чиновник.— Со стороны населения вы встретите исключительное радушие и дружелюбие.

— Большое спасибо вам обоим,— сказал я.— Ваши советы для нас очень ценны.

— До свидания,— сказала Кэтрин.

— Большое спасибо вам обоим.

Они проводили нас поклонами до дверей, патриот Локарно с некоторой холодностью. Мы спустились по лестнице и сели в экипаж.

— О господи, милый! — сказала Кэтрин.— Неужели нельзя было выбраться оттуда раньше? — Я дал кучеру адрес отеля, рекомендованного нам одним из чиновников. Кучер подобрал вожжи.

— Ты забыл про армию,— сказала Кэтрин. Солдат стоял у экипажа. Я дал ему десять лир.

— У меня еще нет швейцарских денег,— сказал я. Он поблагодарил, взял под козырек и ушел. Экипаж тронулся, и мы поехали в отель.

— Что это тебе вздумалось сказать про Монтре? — спросил я Кэтрин.— Ты действительно хочешь туда ехать?

— Это было первое, что мне пришло в голову,— сказала она.— Там неплохо. Мы можем поселиться где-нибудь наверху, в горах.

— Тебе хочется спать?

— Я уже засыпаю.

— Мы хорошо выспимся. Бедная ты моя Кэт! Досталось тебе этой ночью.

— Мне было очень весело,— сказал Кэтрин.— Особенно когда ты сидел с зонтиком.

— Ты понимаешь, что мы в Швейцарии?

— Нет, мне все кажется: вот я проснусь, и это все неправда.

— И мне тоже.

— Но ведь это правда, милый? Это ведь не на Миланский вокзал я еду провожать тебя?

— Надеюсь, что нет.

— Не говори так. Я боюсь. Вдруг это в самом деле так.

— Я точно пьяный и ничего не соображаю,— сказал я.

— Покажи свои руки.

Я протянул ей обе руки. Они были стерты до живого мяса.

— Только в боку раны нет,— сказал я.

— Не богохульствуй.

Я очень устал, и у меня кружилась голова. Все мое оживление пропало. Экипаж катился по улице.

— Бедные руки! — сказала Кэтрин.

— Не трогай их,— сказал я.— Что за черт, я не пойму, где мы. Куда мы едем, кучер?

Кучер остановил лошадь.

— В отель «Метрополь». Разве вы не туда хотели?

— Да, да,— сказал я.— Все в порядке, Кэт.

— Все в порядке, милый. Не волнуйся. Мы хорошо выспимся, и завтра ты уже не будешь точно пьяный.

— Я совсем пьяный,— сказал я.— Весь этот день похож на оперетту. Может быть, я голоден.

— Ты просто устал, милый. Это все пройдет.

Экипаж остановился у отеля. Мальчик вышел взять наши чемоданы.

— Уже проходит,— сказал я. Мы были на мостовой и шли к отелю.

— Я знала, что пройдет. Ты просто устал. Тебе нужно выспаться.

— Во всяком случае, мы в Швейцарии.

— Да, мы действительно в Швейцарии.

Вслед за мальчиком с чемоданами мы вошли в отель.

КНИГА ПЯТАЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В ту осень снег выпал очень поздно. Мы жили в деревянном домике среди сосен на склоне горы, и по ночам бывали заморозки, так что вода в двух кувшинах на умывальнике покрывалась к утру тонкой корочкой льда. Madame Гуттинген рано утром входила в комнату, чтобы закрыть окна, и разводила огонь в высокой изразцовой печке. Сосновые дрова трещали и разгорались, и огонь в печке начинал гудеть, и madame Гуттинген во второй раз входила в комнату, неся толстые поленья для печки и кувшин с горячей водой. Когда комната нагревалась, она приносила завтрак. Завтракая в постели, мы видели озеро и горы по ту сторону озера, на французском берегу. На вершинах гор лежал снег, и озеро было серое со стальной синевой.

Снаружи, перед самым домом, проходила дорога. От мороза колеи и борозды были твердые, как камень, и дорога упорно лезла вверх через рощу и потом, опоясав гору, выбиралась туда, где были луга, и сараи, и хижины в лугах на опушке леса, над самой долиной. Долина была глубокая, и на дне ее протекала речка, впадавшая в озеро, и когда ветер дул из долины, слышно было, как речка шумит по камням.

Иногда мы сворачивали с дороги и шли тропинкой через сосновую рощу. В роще земля под ногами была мягкая: она не отвердела от мороза, как на дороге. Но нам не мешало то, что земля на дороге твердая, потому что подошвы и каблуки у нас были подбиты гвоздями, и гвозди вонзались в мерзлую землю, и в подбитых гвоздями башмаках идти по дороге было приятно и как-то бодрило. Но идти рощей было тоже очень хорошо.

От дома, в котором мы жили, начинался крутой спуск к небольшой равнине у озера, и в солнечные дни мы сидели на веранде, и нам было видно, как вьется дорога по горному склону, и виден был склон другой горы и расположенные террасами виноградники, где все лозы уже высохли по-зимнему, и поля, разделенные каменными оградами, и пониже виноградников городские дома на узкой равнине у берега озера. На озере был островок с двумя деревьями, и деревья были похожи на двойной парус рыбачьей лодки. Горы по ту сторону озера были крутые и остроконечные, и у южного края озера длинной впадиной между двумя горными кряжами лежала долина Роны, а в дальнем конце, там, где долину срезали горы, был Дан-дю-Миди. Это была высо-

кая снежная гора, и она господствовала над долиной, но она была так далеко, что не отбрасывала тени.

Когда было солнечно, мы завтракали на веранде, но остальное время мы ели наверху, в маленькой комнатке с дощатыми стенами и большой печкой в углу. Мы накупили в городе журналов и книг и выучились многим карточным играм для двоих. Маленькая комната с печкой была нашей гостиной и столовой. Там было два удобных кресла и столик для журналов и книг, а в карты мы играли на обеденном столе, после того как уберут посуду. Monsieur и madame Гуттпнген жили внизу, и вечерами мы иногда слышали, как они разговаривают, и они тоже были очень счастливы вдвоем. Он когда-то был обер-кельнером, а она работала горничной в том же отеле, и они скопили деньги на покупку этого дома. У них был сын, который готовился стать обер-кельнером. Он служил в отеле в Цюрихе. Внизу было помещение, где торговали вином и пивом, и по вечерам мы иногда слышали, как на дороге останавливались повозки и мужчины поднимались по ступенькам в дом пропустить стаканчик.

В коридоре перед нашей комнатой стоял ящик с дровами, и оттуда я брал поленья, чтоб подбрасывать в печку. Но мы не засиживались поздно. Мы ложились спать в нашей большой спальне, не зажигая огня, и, раздевшись, я открывал окна, и смотрел в ночь, и на холодные звезды, и на сосны под окнами, и потом как можно быстрее ложился в постель. Хорошо в постели, когда воздух такой холодный и чистый, а за окном ночь. Мы спали крепко, и если ночью я просыпался, то знал отчего, и тогда я отодвигал пуховик, очень осторожно, чтобы не разбудить Кэтрин, и опять засыпал, с новым чувством легкости от тонкого одеяла. Война казалась далекой, как футбольный матч в чужом колледже. Но из газет я знал, что бои в горах все еще идут, потому что до сих пор не выпал снег.

Иногда мы спускались по склону горы в Монтре. От самого дома вела вниз тропинка, но она была очень крутая, и обычно мы предпочитали спускаться по дороге и шли широкой, отверделой от мороза дорогой между полями, а потом между каменными оградами виноградников и еще ниже между домиками лежащих у дороги деревень. Деревень было три: Шернэ, Фонтаниван и еще одна, забыл какая. Потом все той же дорогой мы проходили мимо старого, крепко сбитого каменного château на выступе горы, среди расположенных террасами виноградников, где каждая лоза была подвязана к тычку, и все лозы были сухие и бурые, и земля ожидала снега, а внизу, в глубине, лежало озеро, гладкое и серое, как сталь. От château дорога шла вниз довольно отлого, а потом сворачивала вправо, и дальше был вымощенный булыжником очень крутой спуск прямо к Монтре.

У нас не было никого знакомых в Монтре. Мы шли по берегу озера и видели лебедей, и бесчисленных чаек, и буревестников, которые взлетали, как только подойдешь поближе, и жалобно кричали, глядя вниз, на воду. Поодаль от берега плыли стаи гагар, маленьких и темных, оставляя за собой след на воде. Придя в город, мы пошли по главной улице и рассматривали витрины магазинов. Там было много больших отелей, теперь закрытых, но магазины почти все были открыты, и нам везде были очень рады. Была очень хорошая парикмахерская, и Кэтрин зашла туда причесаться. Хозяйка парикмахерской встретила ее очень приветливо, это была наша единственная знакомая в Монтре. Пока Кэтрин причесывалась, я сидел в пивном погребке и пил темное мюнхенское пиво и читал газеты. Я читал «Коррьере делла сера» и английские и американские газеты из Парижа. Все объявления были замазаны типографской краской, вероятно, чтобы нельзя было использовать их для сношений с неприятелем. Это было невеселое чтение. Дела везде обстояли невесело. Я сидел в уголке с большой кружкой темного пива и вскрытым бумажным пакетом pretzels [1] и ел pretzels, потому что мне нравился их солоноватый привкус и то, каким вкусным от них становилось пиво, и читал о разгроме. Я думал, что Кэтрин зайдет за мной, но она не заходила, и я положил газеты на место, заплатил за пиво и пошел искать ее. День был холодный, и сумрачный, и зимний, и камень стен казался холодным. Кэтрин все еще была в парикмахерской. Хозяйка завивала ей волосы. Я сидел в кабинетике и смотрел. Это меня волновало, и Кэтрин улыбалась и разговаривала со мной, и голос у меня был немного хриплый от волнения. Щипцы приятно позвякивали, и я видел волосы Кэтрин в трех зеркалах, и в кабинетике было тепло и приятно. Потом хозяйка уложила Кэтрин волосы, и Кэтрин посмотрела в зеркало и немножко изменила прическу, вынимая и вкалывая шпильки; потом встала.

— Мне прямо совестно, что я так долго.

— Monsieur было очень интересно. Разве нет, monsieur? — улыбнулась хозяйка.

— Да,— сказал я.

Мы вышли и пошли по улице. Было холодно и сумрачно, и дул ветер.

— Ты даже не знаешь, как я тебя люблю,— сказал я.

— Ведь, правда, нам теперь очень хорошо?— сказала Кэтрин.— Знаешь что? Давай зайдем куда-нибудь и вместо чая выпьем пива. Для маленькой Кэтрин пиво очень полезно. Оно не даст ей слишком сильно расти.

— Маленькая Кэтрин,— сказал я.— Вот лентяйка!

---

[1] Род печенья *(нем.)*.

— Она умница,— сказала Кэтрин.— Она себя очень хорошо ведет. Доктор говорит, что мне полезно пиво и что оно ей не даст слишком сильно расти.

— Ты правда не давай ей расти, и если она будет мальчик, он сможет стать жокеем.

— Пожалуй, если уж родится ребенок, надо будет нам в самом деле пожениться,— сказала Кэтрин. Мы сидели в пивной за столиком в углу. На улице уже темнело. Было рано, но день был сумрачный, и вечер рано наступил.

— Давай поженимся теперь,— сказал я.

— Нет,— сказала Кэтрин.— Теперь неудобно. Уже слишком заметно. Не пойду я такая в мэрию.

— Жаль, что мы раньше не поженились.

— Пожалуй, так было бы лучше. Но когда же мы могли, милый?

— Не знаю.

— А я знаю только одно. Не пойду я в мэрию такой почтенной матроной.

— Какая же ты матрона?

— Самая настоящая, милый. Парикмахерша спрашивала, первый ли это у нас. Я ей сказала, что у нас уже есть два мальчика и две девочки.

— Когда же мы поженимся?

— Как только я опять похудею. Я хочу, чтобы у нас была великолепная свадьба и чтоб все думали: какая красивая пара.

— Но тебя это не огорчает?

— А отчего же мне огорчаться, милый? У меня только единственный раз было скверно на душе, это в Милане, когда я почувствовала себя девкой, и то через пять минут все прошло, и потом тут больше всего была виновата комната. Разве я плохая жена?

— Ты чудная жена.

— Вот и не думай о формальностях, милый. Как только я опять похудею, мы поженимся.

— Хорошо.

— Как ты думаешь, выпить мне еще пива? Доктор сказал, что у меня таз узковат, так что лучше не давать маленькой Кэтрин очень расти.

— Что он еще сказал? — Я встревожился.

— Ничего. У меня замечательное кровяное давление, милый. Он в восторге от моего кровяного давления.

— А что еще он сказал насчет узкого таза?

— Ничего. Совсем ничего. Он сказал, что мне нельзя ходить на лыжах.

— Правильно.

— Он сказал, что теперь уже поздно начинать, если я до сих пор не ходила. Он сказал, что ходить бы на лыжах можно, только падать нельзя.

— Он шутник, твой доктор.

— Нет, в самом деле, он очень славный. Мы его позовем, когда придет время родиться маленькому.

— Ты его не спрашивала, пожениться ли нам?

— Нет. Я ему сказала, что мы женаты четыре года. Видишь ли, милый, если я выйду за тебя, я стану американкой, а по американским законам, когда б мы ни поженились,— ребенок считается законным.

— Где ты это вычитала?

— В нью-йоркском «Уорлд алманак» в библиотеке.

— Ты просто прелесть.

— Я очень рада, что буду американкой. И мы поедем в Америку, правда, милый? Я хочу посмотреть Ниагарский водопад.

— Ты прелесть.

— Я еще что-то хотела посмотреть, только я забыла что.

— Бойни?

— Нет. Я забыла.

— Небоскреб Вулворта?

— Нет.

— Большой Каньон?

— Нет. Но и это тоже.

— Что же тогда?

— Золотые ворота! Вот что я хотела посмотреть. Где это Золотые ворота?

— В Сан-Франциско.

— Ну, так поедем туда. И вообще я хочу посмотреть Сан-Франциско.

— Отлично. Туда мы и поедем.

— А теперь давай поедем на вершину горы. Хорошо?

— В пять с минутами есть поезд.

— Вот на нем и поедем.

— Ладно. Я только выпью еще пива.

Когда мы вышли, и пошли по улице, и стали подниматься по лестнице к станции, было очень холодно. Холодный ветер дул из Ронской долины. В витринах магазинов горели огни, и мы поднялись по крутой каменной лестнице на верхнюю улицу и потом по другой лестнице к станции. Там уже стоял электрический поезд, весь освещенный. На большом циферблате было обозначено время отхода. Стрелки показывали десять минут шестого. Я посмотрел на станционные часы. Было пять минут шестого. Когда мы садились в вагон, я видел, как вагоновожатый и кондуктор выш-

ли из буфета. Мы уселись и открыли окно. Вагон отапливался электричеством, и в нем было душно, но в окно входил свежий холодный воздух.

— Ты устала, Кэт? — спросил я.

— Нет. Я себя великолепно чувствую.

— Нам не долго ехать.

— Я с удовольствием проедусь,— сказала она.— Не тревожься обо мне, милый. Я себя чувствую прекрасно.

Снег выпал только за три дня до рождества. Как-то утром мы проснулись, и шел снег. В печке гудел огонь, а мы лежали в постели и смотрели, как сыплет снег. Madame Гуттинген убрала посуду после завтрака и подбросила в печку дров. Это была настоящая снежная буря. Madame Гуттинген сказала, что она началась около полуночи. Я подошел к окну и посмотрел, но ничего не мог разглядеть дальше дороги. Дуло и мело со всех сторон. Я снова лег в постель, и мы лежали и разговаривали.

— Хорошо бы походить на лыжах,— сказала Кэтрин.— Такая досада, что мне нельзя на лыжах.

— Мы достанем санки и съедем по дороге вниз. Это для тебя не опаснее, чем в автомобиле.

— А трясти не будет?

— Можно попробовать.

— Хорошо бы, не трясло.

— Немного погодя можно будет выйти погулять по снегу.

— Перед обедом,— сказала Кэтрин,— для аппетита.

— Я и так всегда голоден.

— И я тоже.

Мы вышли в метель. Повсюду намело сугробы, так что нельзя было уйти далеко. Я пошел вперед, протаптывая дорожку, но пока мы добрались до станции, нам пришлось довольно долго идти. Мело так, что невозможно было раскрыть глаза, и мы вошли в маленький кабачок у станции и, метелкой стряхнув друг с друга снег, сели на скамью и спросили вермуту.

— Сегодня сильная буря,— сказала кельнерша.

— Да.

— Снег поздно выпал в этом году.

— Да.

— Что, если я съем плитку шоколада? — спросила Кэтрин.— Или уже скоро завтрак? Я всегда голодна.

— Можешь съесть одну,— сказал я.

— Я возьму с орехами,— сказала Кэтрин.

— С орехами очень вкусный,— сказала девушка.— Я больше всего люблю с орехами.

— Я выпью еще вермуту,— сказал я.

Когда мы вышли, чтоб идти домой, нашу дорожку уже занесло снегом. Только едва заметные углубления остались там, где раньше были следы. Мело прямо в лицо, так что нельзя было раскрыть глаза. Мы почистились и пошли завтракать. Завтрак подавал monsieur Гуттинген.

— Завтра можно будет пойти на лыжах,— сказал он.— Вы ходите на лыжах, мистер Генри?

— Нет. Но я хочу научиться.

— Вы научитесь очень легко. Мой сын приезжает на рождество, он вас научит.

— Чудесно. Когда он должен приехать?

— Завтра вечером.

Когда после обеда мы сидели у печки в маленькой комнате и смотрели в окно, как валит снег, Кэтрин сказала:

— Что, если тебе уехать куда-нибудь одному, милый, побыть среди мужчин, походить на лыжах?

— Зачем мне это?

— Неужели тебе никогда не хочется повидать других людей?

— А тебе хочется повидать других людей?

— Нет.

— И мне нет.

— Я знаю. Но ты другое дело. Я жду ребенка, и поэтому мне приятно ничего не делать. Я знаю, что я стала ужасно глупая и слишком много болтаю, и мне кажется, лучше тебе уехать, а то я тебе надоем.

— Ты хочешь, чтоб я уехал?

— Нет, я хочу, чтоб ты был со мной.

— Ну, так я и не поеду никуда.

— Иди сюда,— сказала она.— Я хочу пощупать шишку у тебя на голове. Большая все-таки шишка.— Она провела по ней пальцами.— Милый, почему бы тебе не отпустить бороду?

— Тебе хочется?

— Просто так, для забавы. Мне хочется посмотреть, какой ты с бородой.

— Ладно. Отпущу бороду. Сейчас же сию минуту начну отпускать. Это идея. Теперь у меня будет занятие.

— Ты огорчен, что у тебя нет никакого занятия?

— Нет. Я очень доволен. Мне очень хорошо. А тебе?

— Мне чудесно. Но я все боюсь, может быть, теперь, когда я такая, тебе скучно со мной?

— Ох, Кэт! Ты даже не представляешь себе, как сильно я тебя люблю.

— Даже теперь?

— И теперь и всегда. И я вполне счастлив. Разве нам не хорошо тут?

— Очень хорошо, но мне все кажется, что ты какой-то неспокойный.

— Нет. Я иногда вспоминаю фронт и разных людей, но это не тревожит меня. Я ни о чем долго не думаю.

— Кого ты вспоминаешь?

— Ринальди, и священника, и еще всяких людей. Но долго я о них не думаю. Я не хочу думать о войне. Я покончил с ней.

— О чем ты сейчас думаешь?

— Ни о чем.

— Нет, ты думал о чем-то. Скажи.

— Я думал, правда ли, что у Ринальди сифилис.

— И все?

— Да.

— А у него сифилис?

— Не знаю.

— Я рада, что у тебя нет. У тебя ничего такого не было?

— У меня был триппер.

— Я не хочу об этом слышать. Тебе очень больно было, милый?

— Очень.

— Я б хотела, чтоб у меня тоже был.

— Не выдумывай.

— Нет, правда. Я б хотела, чтобы у меня все было, как у тебя. Я б хотела знать всех женщин, которых ты знал, чтоб потом высмеивать их перед тобой.

— Вот это красиво.

— А что у тебя был триппер, красиво?

— Нет. Смотри, как снег идет.

— Я лучше буду смотреть на тебя. Милый, что, если б ты отпустил волосы?

— То есть как?

— Ну, немножко подлиннее.

— Они и так длинные.

— Нет, отпусти их немного длиннее, а я остригусь, и мы будем совсем одинаковые, только один светлый, а другой темный.

— Я не хочу, чтоб ты остриглась.

— А это, может быть, забавно. Мне надоели волосы. Ночью в постели они ужасно мешают.

— Мне нравится так.

— А с короткими бы тебе не понравилось?

— Может быть. Мне нравится, как сейчас.

— Может быть, с короткими лучше. И мы были бы оба одинаковые. Милый, я так тебя люблю, что хочу быть тобой.

— Это так и есть. Мы с тобой одно.

— Я знаю. По ночам.

— Ночью все замечательно.

— Я хочу, чтоб совсем нельзя было разобрать, где ты, а где я. Я не хочу, чтоб ты уезжал. Я это нарочно сказала. Если тебе хочется, уезжай. Но только возвращайся скорее. Милый, ведь я же вообще не живу, когда я не с тобой.

— Я никогда не уеду,— сказал я.— Я ни на что не гожусь, когда тебя нет. У меня нет никакой жизни.

— Я хочу, чтобы у тебя была жизнь. Я хочу, чтобы у тебя была очень хорошая жизнь. Но это будет наша общая жизнь, правда?

— Ну как, перестать мне отпускать бороду или пусть растет?

— Пусть растет. Отпускай. Это так интересно. Может быть, она вырастет к Новому году.

— Хочешь, сыграем в шахматы?

— Лучше в другую игру.

— Нет. Давай в шахматы.

— А потом в другую?

— Да.

— Ну, хорошо.

Я достал шахматную доску и расставил фигуры. За окном попрежнему валил снег.

Как-то раз я среди ночи проснулся и почувствовал, что Кэтрин тоже не спит. Луна светила в окно, и на постель падали тени от оконного переплета.

— Ты не спишь, дорогой?

— Нет. А ты не можешь заснуть?

— Я только что проснулась и думаю о том, какая была сумасшедшая, когда мы встретились. Помнишь?

— Ты была чуть-чуть сумасшедшая.

— Теперь со мной никогда такого не бывает. Теперь у меня все замечательно. Ты так чудно говоришь это слово. Скажи «замечательно».

— Замечательно.

— Ты милый. И я теперь уже не сумасшедшая. Я только очень, очень, очень счастлива.

— Ну спи,— сказал я.

— Ладно. Давай заснем оба сразу.

— Ладно.

Но мы не заснули сразу. Я еще довольно долго лежал, думая о разных вещах и глядя на спящую Кэтрин и на лунные блики у нее на лице. Потом я тоже заснул.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

К середине января я уже отрастил бороду, и установились наконец по-зимнему холодные, яркие дни и холодные, суровые ночи. Снова можно было ходить по дорогам. Снег стал твердый и гладкий, укатанный полозьями саней и бревнами, которые волокли с горы вниз. Снег лежал повсюду кругом, почти до самого Монтре. Горы по ту сторону озера были совсем белые, и долина Роны скрылась под снегом. Мы совершали длинные прогулки по другому склону горы до Бэн-де-л'Альяз. Кэтрин надевала подбитые гвоздями башмаки и плащ и брала с собой палку с острым стальным наконечником. Под плащом ее полнота не была заметна, и мы шли не слишком быстро, и останавливались, и садились отдыхать на бревнах у дороги, когда она уставала.

В Бэн-де-л'Альяз был кабачок под деревьями, куда заходили выпить лесорубы, и мы сидели там, греясь у печки, и пили горячее красное вино с пряностями и лимоном. Его называют Glühwein, и это прекрасная вещь, когда нужно согреться или выпить за чье-нибудь здоровье. В кабачке было темно и дымно, и потом, когда мы выходили, холодный воздух обжигал легкие и кончик носа при дыхании немел. Мы оглядывались на кабачок, где во всех окнах горел свет, и у входа лошади лесорубов били копытами, чтоб согреться, и мотали головой. Волоски на их мордах были покрыты инеем, и пар от их дыхания застывал в воздухе. На обратном пути дорога была гладкая и скользкая, и лед был оранжевый от лошадиной мочи до самого поворота, где тропа, по которой волокли бревна, уходила в сторону. Дальше дорога была покрыта плотно укатанным снегом и вела через лес, и два раза, возвращаясь вечером домой, мы видели лисицу.

Это был славный край, и когда мы выходили гулять, нам всегда было очень весело.

— У тебя замечательная борода,— сказала Кэтрин.— Совсем как у лесорубов. Ты видел того, в золотых сережках?

— Это охотник на горных козлов,— сказал я.— Они носят серьги, потому что это будто бы обостряет слух.

— Неужели? Вряд ли это так. По-моему, они носят их, чтоб всякий знал, что они охотники на горных козлов. А здесь водятся горные козлы?

— Да, за Дан-де-Жаман.

— Как забавно, что мы видели лисицу.

— А лисица, когда спит, обертывает свой хвост вокруг тела, и ей тепло.

— Вот, должно быть, приятно.

— Мне всегда хотелось иметь такой хвост. Что, если б у нас были хвосты, как у лисиц?

— А как же тогда одеваться?

— Можно заказывать специальные костюмы или уехать в такую страну, где это не имеет значения.

— Мы и сейчас в такой стране, где ничто не имеет значения. Разве не замечательно, что мы живем тут и никого не видим? Ты ведь не хочешь никого видеть, правда, милый?

— Да.

— Давай посидим минутку. Я немножко устала.

Мы сидели на бревне совсем рядом. Впереди дорога уходила в лес.

— Она не будет мешать нам, малышка? Как ты думаешь?

— Нет. Мы ей не позволим.

— Как у нас с деньгами?

— Денег куча. Я уже получил по последнему чеку.

— А твои родственники не станут искать тебя? Ведь они теперь знают, что ты в Швейцарии.

— Возможно. Я им напишу как-нибудь.

— Разве ты еще не написал?

— Нет. Только послал чек на подпись.

— Слава богу, что я тебе не родственница.

— Я дам им телеграмму.

— Разве ты их совсем не любишь?

— Раньше любил, но мы столько ссорились, что ничего не осталось.

— Мне кажется, что они бы мне понравились. Наверно, они бы мне очень понравились.

— Давай не будем о них говорить, а то я начну о них тревожиться.— Немного погодя я сказал: — Пойдем, если ты отдохнула.

— Я отдохнула.

Мы пошли по дороге дальше. Было уже темно, и снег скрипел под ногами. Ночь была сухая, и холодная, и очень ясная.

— Мне очень нравится твоя борода,— сказала Кэтрин.— Просто прелесть. На вид жесткая и колючая, а на самом деле мягкая и такая приятная.

— По-твоему, так лучше, чем без бороды?

— Пожалуй, лучше. Знаешь, милый, я не стану стричься до рождения маленькой Кэтрин. Я теперь слишком толстая и похожа на матрону. Но когда она родится и я опять похудею, непременно остригусь, и тогда у тебя будет совсем другая, новая де-

вушка. Мы пойдем с тобой вместе, и я остригусь, или я пойду одна и сделаю тебе сюрприз.

Я молчал.

— Ты ведь не запретишь мне, правда?

— Нет. Может быть, мне даже понравится.

— Ну, какой же ты милый! А вдруг, когда я похудею, я стану очень хорошенькая и так тебе понравлюсь, что ты опять в меня влюбишься.

— О черт! — сказал я.— Я и так в тебя достаточно влюблен. Чего ты еще хочешь? Чтоб я совсем потерял голову?

— Да. Я хочу, чтоб ты потерял голову.

— Ну и пусть,— сказал я.— Я сам этого хочу.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Нам чудесно жилось. Мы прожили январь и февраль, и зима была чудесная, и мы были очень счастливы. Были недолгие оттепели, когда дул теплый ветер, и снег делался рыхлым, и в воздухе чувствовалась весна, но каждый раз становилось опять ясно и холодно, и возвращалась зима. В марте зима первый раз отступила по-настоящему. Ночью пошел дождь. Дождь шел все утро, и снег превратился в грязь, и на горном склоне стало тоскливо. Над озером и над долиной нависли тучи. Высоко в горах шел дождь. Кэтрин надела глубокие калоши, а я резиновые сапоги monsieur Гуттингена, и мы под зонтиком, по грязи и воде, размывавшей лед на дороге, пошли в кабачок у станции выпить вермуту перед завтраком. Было слышно, как за окном идет дождь.

— Как ты думаешь, не перебраться ли нам в город?

— А ты как думаешь? — спросила Кэтрин.

— Если зима кончилась и пойдут дожди, здесь станет нехорошо. Сколько еще до маленькой Кэтрин?

— Около месяца. Может быть, немножко больше.

— Можно спуститься вниз и поселиться в Монтре.

— А почему не в Лозанне? Ведь больница там.

— Можно и в Лозанне. Я просто думал, не слишком ли это большой город.

— Мы и в большом городе можем быть одни, а в Лозанне, наверно, славно.

— Когда же мы переедем?

— Мне все равно. Когда хочешь, милый. Можно и совсем не уезжать, если ты не захочешь.

— Посмотрим, как погода.

Дождь шел три дня. На склоне горы ниже станции совсем не осталось снега. Дорога была сплошным потоком жидкой грязи.

Была такая сырость и слякоть, что нельзя было выйти из дому. Утром на третий день дождя мы решили переехать в город.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, monsieur Генри,— сказал Гуттинген.— Никакого предупреждения не нужно. Я и не думал, что вы останетесь здесь, раз уж погода испортилась.

— Нам нужно быть поближе к больнице из-за madame,— сказал я.

— Ну конечно,— сказал он.— Может быть, еще приедете как-нибудь вместе с маленьким.

— Если только найдется место.

— Весной тут у нас очень славно, приезжайте, вам понравится. Можно будет устроить маленького с няней в большой комнате, которая теперь заперта, а вы с madame займете свою прежнюю, с видом на озеро.

— Я вам напишу заранее,— сказал я.

Мы уложились и уехали с первым поездом после обеда. Monsieur и madame Гуттинген проводили нас на станцию, и он довез наши вещи на санках по грязи. Они оба стояли у станции под дождем и махали нам на прощанье.

— Они очень славные,— сказала Кэтрин.

— Они были очень добры к нам.

В Монтре мы сели на лозаннский поезд. Из окна вагона нельзя было видеть горы в той стороне, где мы жили, потому что мешали облака. Поезд остановился в Веве, потом пошел дальше, и с одной стороны пути было озеро, а с другой — мокрые бурые поля, и голый лес, и мокрые домики. Мы приехали в Лозанну и остановились в небольшом отеле. Когда мы проезжали по улицам и потом свернули к отелю, все еще шел дождь. Портье с медными ключами на цепочке, продетой в петлицу, лифт, ковры на полу, белые умывальники со сверкающими приборами, металлическая кровать и большая комфортабельная спальня — все это после Гуттингенов показалось нам необычайной роскошью. Окна номера выходили в мокрый сад, обнесенный стеной с железной решеткой сверху. На другой стороне круто спускавшейся улицы был другой отель, с такой же стеной и решеткой. Я смотрел, как капли дождя падают в бассейн в саду.

Кэтрин зажгла все лампы и стала раскладывать вещи. Я заказал виски с содовой, лег на кровать и взял газету, которую купил на вокзале. Был март 1918 года, и немцы наступали во Франции. Я пил виски с содовой и читал, пока Кэтрин раскладывала вещи и возилась в комнате.

— Знаешь, милый, о чем мне придется подумать,—сказала она.

— О чем?

— О детских вещах. Обычно все уже запасаются детскими вещами к этому времени.

— Это ведь можно купить.

— Я знаю. Завтра же пойду покупать. Вот только узнаю, что нужно.

— Тебе следовало бы знать. Ведь ты же была сестрой.

— Да, но, знаешь ли, солдаты так редко обзаводились детьми в госпитале.

— А я?

Она запустила в меня подушкой и расплескала мое виски с содовой.

— Я сейчас закажу тебе другое,— сказала она.— Извини, пожалуйста.

— Там уже немного оставалось. Иди сюда, ко мне.

— Нет. Я хочу сделать так, чтобы эта комната стала на что-нибудь похожа.

— На что?

— На наш с тобой дом.

— Вывесь флаги Антанты.

— Заткнись, пожалуйста.

— А ну повтори еще раз.

— Заткнись.

— Ты так осторожно это говоришь,— сказал я,— как будто боишься обидеть кого-то.

— Ничего подобного.

— Ну, тогда иди сюда, ко мне.

— Ладно.— Она подошла и села на кровати.— Я знаю, что тебе теперь со мной неинтересно, милый. Я похожа на пивную бочку.

— Неправда. Ты красивая, и ты очень хорошая.

— Я просто уродина, на которой ты по неосторожности женился.

— Неправда. Ты становишься все красивее.

— Но я опять похудею, милый.

— Ты и теперь худая.

— Ты, должно быть, выпил.

— Только стакан виски с содовой.

— Сейчас принесут еще виски,— сказала она.— Может быть, сказать, чтоб нам и обед сюда подали?

— Очень бы хорошо.

— Тогда мы совсем не будем выходить сегодня, ладно? Просидим вечер дома.

— И поиграем,— сказал я.

— Я выпью вина,— сказала Кэтрин.— Ничего мне от этого не будет. Может быть, тут есть наше белое капри.

— Наверно, есть,— сказал я.— В таком отеле всегда бывают итальянские вина.

Кельнер постучал в дверь. Он принес виски в стакане со льдом и на том же подносе маленькую бутылку содовой.

— Спасибо,— сказал я.— Поставьте здесь. Будьте добры, принесите сюда обед на две персоны и две бутылки сухого белого капри во льду.

— Прикажете на первое — суп?

— Ты хочешь суп, Кэт?

— Да, пожалуйста.

— Один суп.

— Слушаю, сэр.

Он вышел и затворил двери. Я вернулся к газетам и к войне в газетах и медленно лил содовую в стакан со льдом и виски. Надо было сказать, чтобы не клали лед в виски. Принесли бы лед отдельно. Тогда можно определить, сколько в стакане виски, и оно не окажется вдруг слишком слабым от содовой. Надо будет купить бутылку виски и сказать, чтобы принесли только лед и содовую. Это лучше всего. Хорошее виски — приятная вещь. Одно из самых приятных явлений жизни.

— О чем ты думаешь, милый?

— О виски.

— А о чем именно?

— О том, какая славная вещь виски.

Кэтрин сделала гримасу.

— Ладно,— сказала она.

Мы прожили в этом отеле три недели. Там было недурно: ресторан обычно пустовал, и мы очень часто обедали у себя в номере. Мы гуляли по городу, и ездили трамваем в Уши, и гуляли над озером. Погода стояла совсем теплая, и было похоже на весну. Мы жалели, что уехали из своего шале в горах, но весенняя погода продолжалась всего несколько дней, и потом опять наступила холодная сырость переходного времени.

Кэтрин закупала все необходимое для ребенка. Я ходил в гимнастический зал боксировать для моциона. Обычно я ходил туда утром, пока Кэтрин еще лежала в постели. В мнимо весенние дни очень приятно было после бокса и душа пройтись по улице, вдыхая весенний воздух, зайти в кафе посидеть и посмотреть на людей, и прочесть газету, и выпить вермуту; а потом вернуться в отель и позавтракать с Кэтрин. Преподаватель бокса в гимнастическом зале носил усы, у него были очень точные и короткие движения, и он страшно пугался, когда станешь нападать на него. Но в гимнастическом зале было очень приятно. Там было много воздуха и света, и я трудился на совесть, прыгал через веревку, и тренировался в различных приемах бокса, и делал упражнения

для мышц живота, лежа на полу в полосе солнечного света, падавшей из раскрытого окна, и порой пугал преподавателя, боксируя с ним. Сначала я не мог тренироваться перед длинным узким зеркалом, потому что так странно было видеть боксера с бородой. Но под конец меня это просто смешило. Я хотел сбрить бороду, как только начал заниматься боксом, но Кэтрин не позволила мне.

Иногда мы с Кэтрин ездили в экипаже по окрестностям. В хорошую погоду ездить было приятно, и мы нашли два славных местечка, куда можно было заехать пообедать. Кэтрин уже не могла много ходить, и я с удовольствием ездил с ней вместе по деревенским дорогам.

Если день был хороший, мы чудесно проводили время, и ни разу мы не провели время плохо. Мы знали, что ребенок уже совсем близко, и от этого у нас обоих было такое чувство, как будто что-то подгоняет нас и нельзя терять ни одного часа, который мы можем быть вместе.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Как-то я проснулся около трех часов утра и услышал, что Кэтрин ворочается в постели.

— Тебе нездоровится, Кэт?

— У меня как будто схватки, милый.

— Регулярно?

— Нет, не совсем.

— Если пойдут регулярно, нужно ехать в больницу.

Мне очень хотелось спать, и я заснул. Вскоре я проснулся снова.

— Ты, может, позвонишь доктору,— сказала Кэтрин.— Может, это уже начинается.

Я подошел к телефону и позвонил доктору.

— Как часто повторяются схватки? — спросил он.

— Как часто, Кэт?

— Примерно каждые пятнадцать минут.

— Тогда поезжайте в больницу,— сказал доктор.— Я сейчас оденусь и тоже приеду туда.

Я повесил трубку и потом позвонил в привокзальный гараж, чтобы вызвать такси. Долгое время никто не подходил к телефону. Наконец я добился какого-то человека, который обещал сейчас же выслать машину. Кэтрин одевалась. В ее чемодане было уже сложено все необходимое для больницы и детские вещи. Мы вышли в коридор, и я позвонил лифтеру. Ответа не было. Я сошел вниз. Внизу никого не было, кроме ночного швейцара. Я сам под-

нялся в лифте наверх, внес в кабину чемодан Кэтрин, она вошла, и мы спустились вниз. Ночной швейцар открыл нам дверь, и мы сели на каменные тумбы у ступенек парадного крыльца и стали ждать такси. Ночь была ясная, и на небе были звезды. Кэтрин была очень возбуждена.

— Я так рада, что уже началось,— сказала она.— Теперь скоро все будет позади.

— Ты молодец.

— Я не боюсь. Только бы вот такси скорее приехало.

Мы услышали шум машины на улице и увидели свет от фар. Такси подъехало к крыльцу, и я помог Кэтрин сесть, а шофер поставил чемодан на переднее сиденье.

— В больницу,— сказал я.

Мы выехали на мостовую и стали подниматься в гору.

Когда мы подъехали к больнице, я взял чемодан, и мы вошли. Внизу за конторкой сидела женщина, которая записала в книгу имя и фамилию Кэтрин, возраст, адрес, сведения о родственниках и о религии. Кэтрин сказала, что у нее нет никакой религии, и женщина поставила против этого слова в книге черточку. Кэтрин сказала, что ее фамилия Генри.

— Я отведу вас в палату,— сказала женщина.

Мы поднялись на лифте. Женщина остановила лифт, и мы вышли и пошли за ней по коридору. Кэтрин крепко держалась за мою руку.

— Вот это ваша палата,— сказала женщина.— Пожалуйста, раздевайтесь и ложитесь в постель. Вот вам ночная сорочка.

— У меня есть ночная сорочка,— сказала Кэтрин.

— Вам удобнее будет в этой,— сказала женщина.

Я вышел и сел на стул в коридоре.

— Теперь можете войти,— сказала сестра, стоя в дверях.

Кэтрин лежала на узкой кровати, в простой ночной сорочке с квадратным вырезом, сделанной, казалось, из холста. Она улыбнулась мне.

— Теперь уже у меня хорошие схватки,— сказала она.

Сестра держала ее руку и следила за схватками по часам.

— Вот сейчас была сильная,— сказала Кэтрин. Я видел это по ее лицу.

— Где доктор? — спросил я у сестры.

— Спит внизу. Он придет, когда нужно будет. Я должна кое-что сделать madame,— сказала сестра.— Будьте добры, выйдите опять.

Я вышел в коридор. Коридор был пустой, с двумя окнами и рядом затворенных дверей по всей длине. В нем пахло больницей. Я сидел на стуле, и смотрел в пол, и молился за Кэтрин.

— Можете войти,— сказала сестра. Я вошел.

— Это ты, милый? — сказала Кэтрин.

— Ну, как?

— Теперь уже совсем часто.

Ее лицо исказилось. Потом она улыбнулась.

— Вот это была настоящая. Пожалуйста, сестра, подложите мне опять руку под спину.

— А вам так легче? — спросила сестра.

— Ты теперь уходи, милый,— сказала Кэтрин.— Иди поешь чего-нибудь. Сестра говорит, это может тянуться очень долго.

— Первые роды обычно бывают затяжные,— сказала сестра.

— Пожалуйста, иди поешь чего-нибудь,— сказала Кэтрин.— Я себя хорошо чувствую, правда.

— Я еще немного побуду,— сказал я.

Схватки повторялись совершенно регулярно, потом пошли реже. Кэтрин была очень возбуждена. Когда ей было особенно больно, она говорила, что схватка хорошая. Когда схватки стали слабее, она была разочарована и смущена.

— Ты уходи, милый,— сказала она.— При тебе мне как-то несвободно.— Ее лицо исказилось.— Вот. Эта уже была лучше. Я так хочу быть хорошей женой и родить без всяких фокусов. Пожалуйста, иди позавтракай, милый, а потом приходи опять. Я не буду скучать без тебя. Сестра такая славная.

— У вас вполне хватит времени позавтракать,— сказала сестра.

— Хорошо, я пойду. До свидания, дорогая.

— До свидания,— сказала Кэтрин.— Позавтракай как следует, за меня тоже.

— Где тут можно позавтракать? — спросил я сестру.

— На нашей улице, у самой площади, есть кафе,— сказала она.— Там должно быть открыто.

Уже светало. Я дошел пустой улицей до кафе. В окнах горел свет. Я вошел и остановился у оцинкованной стойки, и старик буфетчик подал мне стакан белого вина и бриошь. Бриошь была вчерашняя. Я макал ее в вино и потом еще выпил чашку кофе.

— Что вы тут делаете в такой ранний час? — спросил старик.

— У меня жена рожает в больнице.

— Вот как! Ну, желаю счастья.

— Дайте мне еще стакан вина.

Он налил, слишком сильно наклонив бутылку, так что немного пролилось на стойку. Я выпил, расплатился и вышел. На улице у всех домов стояли ведра с отбросами в ожидании мусорщика. Одно ведро обнюхивала собака.

— Чего тебе там нужно? — спросил я и наклонился посмотреть, нет ли в ведре чего-нибудь для нее; сверху была только кофейная гуща, сор и несколько увядших цветков.

— Ничего нет, пес,— сказал я. Собака перешла на другую сторону. Придя в больницу, я поднялся по лестнице в тот этаж, где была Кэтрин, и по коридору дошел до ее дверей. Я постучался. Никто не отвечал. Я открыл дверь; палата была пуста, только чемодан Кэтрин стоял на стуле и на крючке висел ее халатик. Я вышел в коридор и стал искать кого-нибудь. Я увидел другую сестру.

— Где madame Генри?

— Только что какую-то даму взяли в родильную.

— Где это?

— Пойдемте, я вам покажу.

Она повела меня в конец коридора. Дверь родильной была приотворена. Я увидел Кэтрин на столе, покрытую простыней. У стола стояла сестра, а с другой стороны, возле каких-то цилиндров,— доктор. Доктор держал в руке резиновую маску, прикрепленную к трубке.

— Я дам вам халат, и вы сможете войти,— сказала сестра.— Идите, пожалуйста, сюда.

Она надела на меня белый халат и заколола его сзади у ворота английской булавкой.

— Теперь может войти,— сказала она. Я вошел в комнату.

— Это ты, милый? — сказала Кэтрин напряженным голосом.— Что-то дело не двигается.

— Вы monsieur Генри? — спросил доктор.

— Да. Как тут у вас, доктор?

— Все идет очень хорошо,— сказал доктор.— Мы перешли сюда, чтобы можно было давать газ во время схваток.

— Дайте,— сказала Кэтрин.

Доктор накрыл ее лицо резиновой маской и повернул какой-то диск, и я увидел, как Кэтрин глубоко и быстро задышала. Потом она оттолкнула маску. Доктор выключил аппарат.

— Не очень сильная. Вот недавно была одна очень сильная. Доктор сделал так, что меня как будто не было. Правда, доктор? — У нее был странный голос. Он повысился на слове «доктор». Доктор улыбнулся.

— Дайте,— сказала Кэтрин. Она крепко прижала резину к лицу и быстро дышала. Я услышал, как она слегка застонала. Потом она сдвинула маску и улыбнулась.

— Эта была сильнее,— сказала она.— Это была очень сильная. Ты не беспокойся, милый. Уходи. Позавтракай еще раз.

— Я побуду здесь,— сказал я.

Мы поехали в больницу около трех часов утра. В полдень Кэтрин все еще была в родильной. Схватки опять стали слабее.



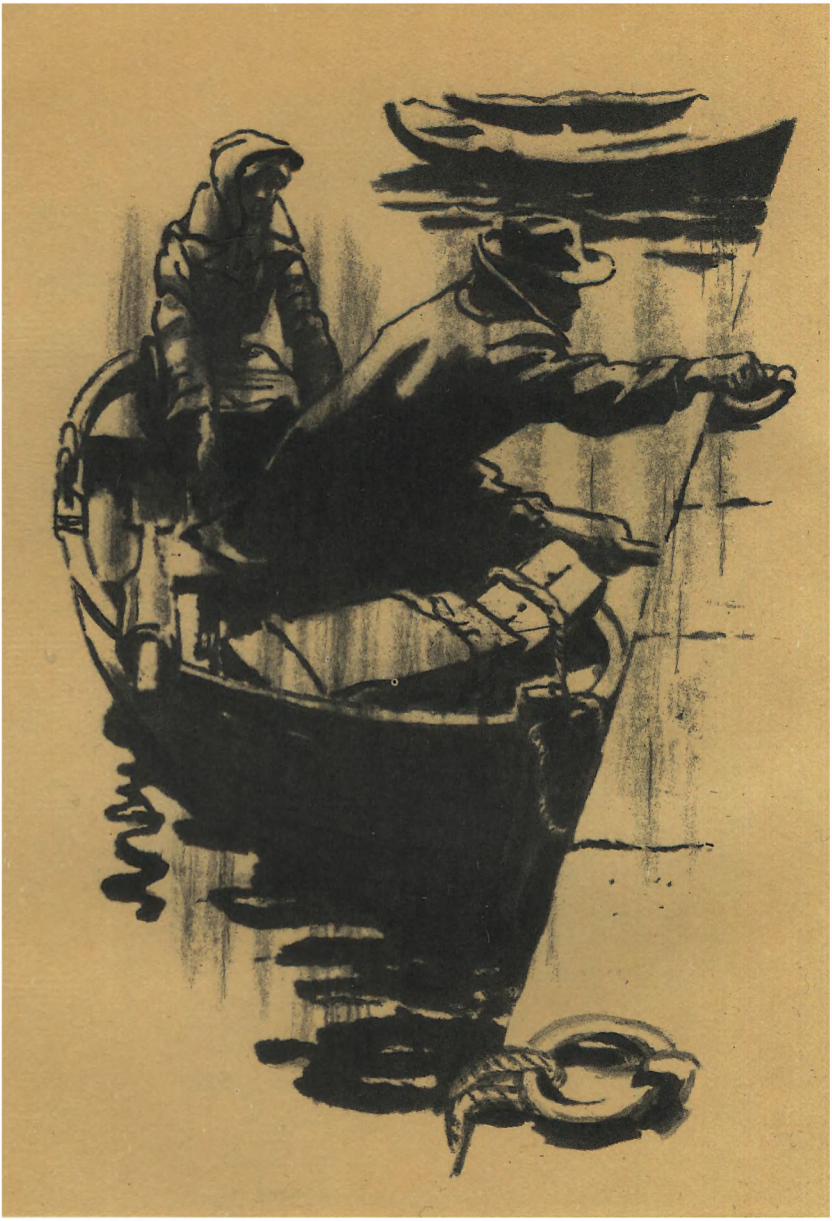
«Прощай, оружие!»



«Прощай, оружие!»



«Прощай, оружие!»



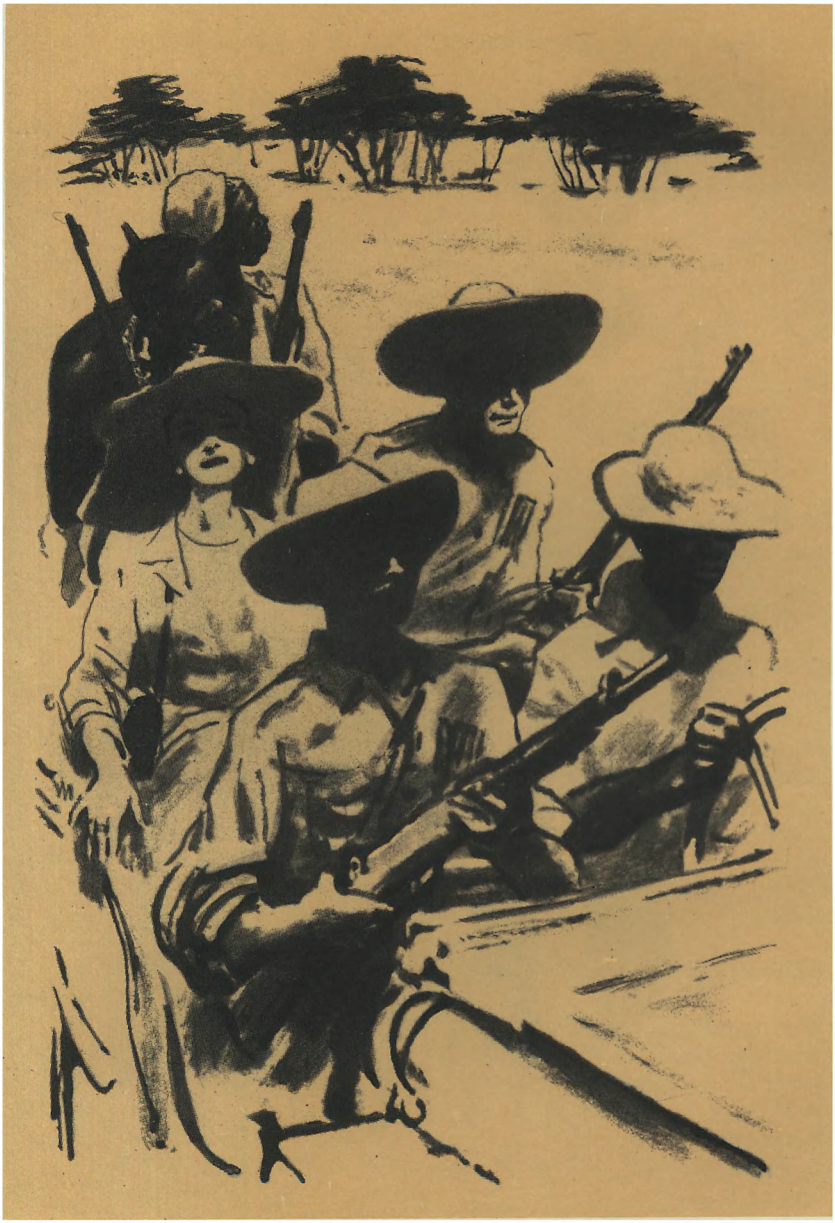
«Прощай, оружие!»



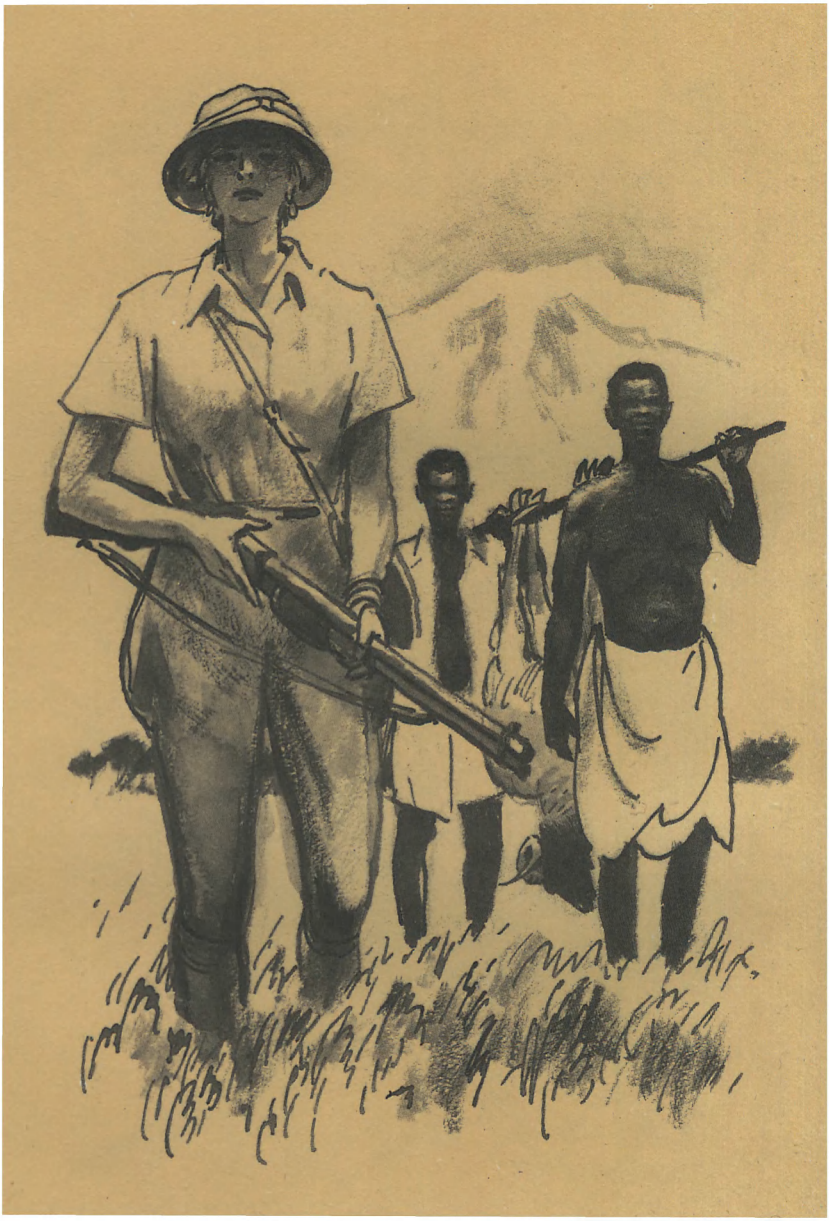
«Старик и море»



«Убийцы»



«Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»



«Снега Килиманджаро»

Вид у нее был очень усталый и измученный, но она все еще бодрилась.

— Никуда я не гожусь, милый,— сказала она.— Так обидно. Я думала, у меня все пройдет очень легко... А теперь — вот, опять...— Она протянула руку за маской и положила ее себе на лицо. Доктор повернул диск и следил за ней. Схватка скоро кончилась.

— Эта так себе,— сказала Кэтрин.— Она улыбалась.— Мне ужасно нравится этот газ. Чудесная вещь!

— Мы возьмем немного домой,— сказал я.

— *Сейчас еще будет*,— сказала Кэтрин торопливо. Доктор повернул диск и посмотрел на часы.

— Какой теперь промежуток между схватками? — спросил я.

— Около минуты.

— Вы не голодны?

— Я сейчас пойду завтракать,— сказал он.

— Вам непременно нужно поесть, доктор,— сказала Кэтрин.— До чего мне обидно, что я так долго вожусь. Может быть, мой муж сумеет давать мне газ пока?

— Если хотите,— сказал доктор.— Будете поворачивать до цифры два.

— Понимаю,— сказал я. На диске была стрелка, и он вращался с помощью рычажка.

— *Дайте*,— сказала Кэтрин. Она крепко прижала маску к лицу. Я повернул диск до цифры два, а когда Кэтрин отняла маску, повернул его назад. Я был очень рад, что доктор дал мне занятие.

— Это ты давал газ, милый? — спросила Кэтрин. Она погладила мою руку.

— Я.

— Какой ты хороший!

Она была немного пьяна от газа.

— Я поем в соседней комнате,— сказал доктор.— Чуть что — вы можете меня позвать.

Я смотрел, как он ест; потом, немного погодя, я увидел, что он прилег и курит папиросу. Время шло. Кэтрин все больше уставала.

— Как ты думаешь, я все-таки сумею родить? — спросила она.

— Конечно, сумеешь.

— Я стараюсь, как только могу. Я толкаю, но оно опять уходит. *Сейчас будет. Дай скорей.*

В два часа я вышел и пошел поесть. В кафе было несколько человек, и на столиках стоял кофе и рюмки с киршвассером. Я сел за столик.

— Что у вас есть? — спросил я кельнера.
— Второй завтрак уже кончился.
— Разве нет порционных блюд?
— Можно приготовить choucroute [1].
— Дайте choucroute и пива.
— Кружку или полкружки?
— Полкружки светлого.

Кельнер принес порцию Sauerkraut [2] с ломтиком ветчины сверху и сосиской, зарытой в горячую, пропитанную вином капусту. Я ел капусту и пил пиво. Я был очень голоден. Я смотрел на публику за столиками кафе. За одним столиком играли в карты. Двое мужчин за соседним столиком разговаривали и курили. Кафе было полно дыма. За цинковой стойкой, где я завтракал утром, было теперь трое: старик, полная женщина в черном платье, которая сидела у кассы и следила за всем, что подается на столики, и мальчик в фартуке. Я думал о том, сколько у этой женщины детей и как она их рожала.

Покончив с choucroute, я пошел назад, в больницу. На улице было теперь совсем чисто. Ведер с отбросами не было. День был облачный, но солнце старалось пробиться. Я поднялся в лифте, вышел и пошел по коридору в комнату Кэтрин, где я оставил свой белый халат. Я надел его и заколол сзади у ворота. Я посмотрел в зеркало и подумал, что я похож на бородатого шарлатана. Я пошел по коридору в родильную. Дверь была закрыта, и я постучал. Никто не ответил; тогда я повернул ручку и вошел. Доктор сидел возле Кэтрин. Сестра что-то делала на другом конце комнаты.

— Вот ваш муж,— сказал доктор.

— Ах, милый, доктор такой чудный! — сказала Кэтрин очень странным голосом.— Он мне рассказывал такой чудный анекдот, а когда было уж очень больно, он сделал так, что меня как будто совсем не стало. Он чудный. Вы чудный, доктор.

— Ты пьяна,— сказал я.

— Я знаю,— сказала Кэтрин.— Только не нужно говорить об этом.— Потом: — *Дайте скорее. Дайте скорее.*

Она вцепилась в маску и дышала часто и прерывисто, так что в респираторе щелкало. Потом она глубоко вздохнула, и доктор протянул левую руку и снял с нее маску.

— Это была очень сильная,— сказала Кэтрин. У нее был очень странный голос.— Теперь я уже не умру, милый. Я уже прошла через самое опасное, когда я могла умереть. Ты рад?

— Вот и не возвращайся туда опять.

---

[1] Кислая капуста *(фр.)*.
[2] Кислая капуста *(нем.)*.

— Не буду. Впрочем, я не боюсь этого. Я не умру, милый.

— Вы такой глупости не сделаете,— сказал доктор.— Вы не умрете и не оставите вашего мужа одного.

— Нет, нет. Я не умру. Я не хочу умирать. Это глупо — умереть. Вот опять. *Дайте скорее.*

Немного погодя доктор сказал:

— Выйдите на несколько минут, мистер Генри, я исследую вашу жену.

— Он хочет посмотреть, как двигается дело,— сказала Кэтрин.— Ты потом приходи назад. Можно, доктор?

— Да,— сказал доктор.— Я за ним пошлю, когда можно будет.

Я вышел из родильной и пошел по коридору в палату, куда должны были привезти Кэтрин после того, как родится ребенок. Я сел на стул и огляделся по сторонам. В кармане у меня лежала газета, которую я купил, когда ходил завтракать, и я стал читать ее. За окном уже темнело, и я зажег свет, чтобы можно было читать. Немного погодя я перестал читать и погасил свет и смотрел, как темнеет за окном. Странно, почему доктор не посылает за мной. Может быть, это лучше, что я ушел оттуда. Он, видимо, хотел, чтобы я ушел. Я посмотрел на часы. Если еще десять минут никто не придет, я все равно вернусь туда.

Бедная, бедная моя Кэт. Вот какой ценой приходится платить за то, что спишь вместе. Вот когда захлопывается ловушка. Вот что получают за то, что любят друг друга. Хорошо еще, что существует газ. Что же это было раньше, без анестезии? Как начнется, точно в мельничное колесо попадаешь. Кэтрин очень легко перенесла всю беременность. Это было совсем не так плохо. Ее даже почти не тошнило. До самого последнего времени у нее не было особенно неприятных ощущений. Но под конец она все-таки попалась. От расплаты не уйдешь. Черта с два! И будь мы хоть пятьдесят раз женаты, было бы то же самое. А вдруг она умрет? Она не умрет. Теперь от родов не умирают. Все мужья так думают. Да, но вдруг она умрет? Она не умрет. Ей только трудно. Первые роды обычно бывают затяжные. Ей просто трудно. Потом мы будем говорить: как трудно было, а Кэтрин будет говорить: не так уж и трудно. А вдруг она умрет? Не может этого быть, говорят тебе. Не будь дураком. Просто ей трудно. Просто это так природой устроено, мучиться. Это ведь первые роды, а они почти всегда бывают затяжные. Да, но вдруг она умрет? Не может она умереть. Почему она должна умереть? Какие могут быть причины, чтобы она умерла? Просто должен родиться ребенок, побочный продукт миланских ночей. Из-за него все огорчения, а потом он родится, и о нем заботишься, и, может быть, начинаешь любить его. У нее ничего нет опасного. А вдруг она умрет? Она

не может умереть. А вдруг она умрет? Тогда что, а? Вдруг она умрет?

Доктор вошел в комнату.

— Ну как, доктор?

— Никак.

— Что вы хотите сказать?

— То, что говорю. Я только что исследовал ее...— Он подробно рассказал о результатах исследования.— Потом я еще подождал. Но дело не подвигается.

— Что вы советуете?

— Есть два пути: или щипцы, но при этом могут быть разрывы и вообще это довольно опасно для роженицы, не говоря уже о ребенке, или кесарево сечение.

— А кесарево сечение очень опасно?

Вдруг она умрет?

— Не более чем нормальные роды.

— Вы можете сделать это сами?

— Да. Мне понадобится около часу, чтобы все приготовить и вызвать необходимый персонал. Может быть, даже меньше.

— Что, по-вашему, лучше?

— Я бы рекомендовал кесарево сечение. Если б это была моя жена, я делал бы кесарево сечение.

— Какие могут быть последствия?

— Никаких. Только шрам.

— А инфекция?

— При наложении щипцов опасность инфекции больше.

— А что, если ничего не делать и просто ждать?

— Рано или поздно придется что-нибудь сделать. Madame Генри уже и так потеряла много сил. Чем скорее приступим к операции, тем лучше.

— Приступайте как можно скорее,— сказал я.

— Сейчас пойду распоряжусь.

Я пошел в родильную. Кэтрин лежала на столе, большая под простыней, очень бледная и усталая. Сестра была возле нее.

— Ты дал согласие? — спросила она.

— Да.

— Ну, вот и хорошо. Теперь через час все пройдет. У меня уже нет больше сил, милый. Я больше не могу. *Дай, дай скорее.* Не помогает. *Боже мой, не помогает.*

— Дыши глубже.

— Я дышу. Боже мой, уже не помогает. Не помогает.

— Дайте другой цилиндр,— сказал я сестре.

— Это новый цилиндр.

— Я такая глупая, милый,— сказала Кэтрин.— Но только правда, больше не помогает.— Она вдруг заплакала.— Я так

хотела родить маленького и никому не причинять неприятностей, и теперь у меня уже нет сил, и я больше не могу, и газ уже не помогает. Милый, уже совсем не помогает. Пусть я умру, только чтоб это кончилось. О милый, милый, сделай так, чтобы все кончилось. Вот опять. О-о, о-о, о-о! — Она, всхлипывая, дышала под маской.— Не помогает. Не помогает. Не помогает. Прости меня, милый. Не надо плакать. Прости меня. Я больше не могу. Бедный ты мой! Я тебя так люблю, я еще постараюсь. Вот сейчас я постараюсь. Разве нельзя дать еще что-нибудь? Если бы только мне дали еще что-нибудь!

— Я сделаю так, что газ подействует. Я поверну до отказа.

— Вот сейчас дай.

Я повернул диск до отказа, и когда она задышала тяжело и глубоко, ее пальцы, державшие маску, разжались. Я выключил аппарат и снял с нее маску.

Она вернулась очень издалека.

— Как хорошо, милый. Какой ты добрый.

— Потерпи, ведь ты у меня храбрая. А то я не могу все время так делать. Это может убить тебя.

— Я уже не храбрая, милый. Я совсем сломлена. Меня сломили. Я теперь знаю.

— Со всеми так бывает.

— Но ведь это ужасно. Мучают до тех пор, пока не сломят.

— Еще час, и все кончится.

— Как хорошо! Милый, я ведь не умру, правда?

— Нет. Я тебе обещаю, что ты не умрешь.

— А то я не хочу умереть и оставить тебя одного, но только я так устала, и я чувствую, что умру.

— Глупости. Все так чувствуют.

— Иногда я просто знаю, что так будет.

— Так не будет. Так не может быть.

— А если?

— Я тебе не позволю.

— Дай мне скорее. *Дай, дай мне.*

Потом опять:

— Я не умру. Я сама себе не позволю.

— Конечно, ты не умрешь.

— Ты будешь со мной?

— Да, только я не буду смотреть.

— Хорошо. Но ты не уходи.

— Нет, нет. Я никуда не уйду.

— Ты такой добрый. Вот опять дай. Дай еще. *Не помогает!*

Я повернул диск до цифры три, потом до цифры четыре. Я хотел, чтобы доктор скорей вернулся. Я боялся цифр, которые идут после двух.

Наконец пришел другой доктор и две сестры, и они переложили Кэтрин на носилки с колесами, и мы двинулись по коридору. Носилки быстро проехали по коридору и въехали в лифт, где всем пришлось тесниться к стенкам, чтобы дать им место; потом вверх, потом дверь настежь, и из лифта на площадку, и по коридору на резиновых шинах в операционную. Я не узнал доктора в маске и в шапочке. Там был еще один доктор и еще сестры.

— Пусть мне дадут что-нибудь,— сказала Кэтрин.— Пусть мне дадут что-нибудь. Доктор, пожалуйста, дайте мне столько, чтобы подействовало.

Один из докторов накрыл ей лицо маской, и я заглянул в дверь и увидел яркий маленький амфитеатр операционной.

— Вы можете войти вон в ту дверь и там посидеть,— сказала мне сестра.

За барьером стояли скамьи, откуда виден был белый стол и лампы. Я посмотрел на Кэтрин. Ее лицо было накрыто маской, и она лежала теперь неподвижно. Носилки повезли вперед. Я повернулся и пошел по коридору. Ко входу на галерею торопливо шли две сестры.

— Кесарево сечение,— сказала одна.— Сейчас будут делать кесарево сечение.

Другая засмеялась:

— Мы как раз вовремя. Вот повезло! — Они вошли в дверь, которая вела на галерею.

Подошла еще одна сестра. Она тоже торопилась.

— Входите, что же вы. Входите,— сказала она.

— Я подожду здесь.

Она торопливо вошла. Я стал ходить взад и вперед по коридору. Я боялся войти. Я посмотрел в окно. Было темно, но в свете от окна я увидел, что идет дождь. Я вошел в какую-то комнату в конце коридора и посмотрел на ярлыки бутылок в стеклянном шкафу. Потом я вышел, и стоял в пустом коридоре, и смотрел на дверь операционной.

Вышел второй доктор и за ним сестра. Доктор держал обеими руками что-то похожее на свежеободранного кролика и, торопливо пройдя по коридору, вошел в другую дверь. Я подошел к двери, в которую он вошел, и увидел, что они что-то делают с новорожденным ребенком. Доктор поднял его, чтоб показать мне. Он поднял его за ноги и шлепнул.

— У него все в порядке?

— Прекрасный мальчишка. Кило пять будет.

Я не испытывал к нему никаких чувств. Он как будто не имел ко мне отношения. У меня не было отцовского чувства.

— Разве вы не гордитесь своим сыном? — спросила сестра. Они обмывали его и заворачивали во что-то. Я видел маленькое

темное личико и темную ручку, но не замечал никаких движений и не слышал крика. Доктор снова стал что-то с ним делать. У него был озабоченный вид.

— Нет,— сказал я.— Он едва не убил свою мать.

— Он не виноват в этом, бедный малыш. Разве вы не хотели мальчика?

— Нет,— сказал я.

Доктор все возился над ним. Он поднял его за ноги и шлепал. Я не стал смотреть на это. Я вышел в коридор. Я теперь мог войти и посмотреть. Я вошел через дверь, которая вела на галерею, и спустился на несколько ступеней. Сестры, сидевшие у барьера, сделали мне знак спуститься к ним. Я покачал головой. Мне достаточно было видно с моего места.

Я думал, что Кэтрин умерла. Она казалась мертвой. Ее лицо, та часть его, которую я мог видеть, было серое. Там, внизу, под лампой, доктор зашивал широкую, длинную, с толстыми краями, раздвинутую пинцетами рану. Другой доктор в маске давал наркоз. Две сестры в масках подавали инструменты. Это было похоже на картину, изображающую инквизицию. Я знал, что я мог быть там и видеть все, но я был рад, что не видел. Вероятно, я бы не смог смотреть, как делали разрез, но теперь я смотрел, как края раны смыкались в широкий торчащий рубец под быстрыми, искусными на вид стежками, похожими на работу сапожника, и я был рад. Когда края раны сомкнулись до конца, я вышел в коридор и снова стал ходить взад и вперед. Немного погодя вышел доктор.

— Ну, как она?

— Ничего. Вы смотрели?

У него был усталый вид.

— Я видел, как вы зашивали. Мне показалось, что разрез очень длинный.

— Вы думаете?

— Да. Шрам потом сгладится?

— Ну конечно.

Немного погодя выкатили носилки и очень быстро повезли их коридором к лифту. Я пошел рядом. Кэтрин стонала. Внизу, в палате, ее уложили в постель. Я сел на стул в ногах постели. Сестра уже была в палате. Я поднялся и стал у постели. В палате было темно. Кэтрин протянула руку.

— Ты здесь, милый? — сказала она. Голос у нее был очень слабый и усталый.

— Здесь, родная.

— Какой ребенок?

— Ш-ш, не разговаривайте,— сказала сестра.

— Мальчик. Он длинный, и толстый, и темный.

— У него все в порядке?

— Да,— сказал я.— Прекрасный мальчик.

Я видел, что сестра как-то странно посмотрела на меня.

— Я страшно устала,— сказала Кэтрин.— И у меня все так болит. А как ты, милый?

— Очень хорошо. Не разговаривай.

— Ты такой хороший. О милый, как у меня все болит! А на кого он похож?

— Он похож на ободранного кролика со сморщенным стариковским лицом.

— Вы лучше уйдите,— сказала сестра.— Madame Генри нельзя разговаривать.

— Я побуду в коридоре,— сказал я.

— Иди поешь чего-нибудь.

— Нет. Я побуду в коридоре.

Я поцеловал Кэтрин. Лицо у нее было совсем серое, измученное и усталое.

— Можно вас на минутку,— сказал я сестре. Она вышла вместе со мной в коридор. Я немного отошел от двери.— Что с ребенком? — спросил я.

— Разве вы не знаете?

— Нет.

— Он был неживой.

— Он был мертвый?

— У него не смогли вызвать дыхание. Пуповина обвилась вокруг шеи.

— Значит, он мертвый?

— Да. Так жалко. Такой чудный крупный ребенок. Я думала, вы знаете.

— Нет,— сказал я.— Вы идите туда, к madame.

Я сел на стул перед столиком, на котором сбоку лежали наколотые на проволоку отчеты сестер, и посмотрел в окно. Я ничего не видел, кроме темноты и дождя, пересекавшего светлую полосу от окна. Так вот в чем дело! Ребенок был мертвый. Вот почему у доктора был такой усталый вид. Но зачем они все это проделывали над ним там, в комнате? Вероятно, надеялись, что у него появится дыхание и он оживет. Я не был религиозен, но я знал, что его нужно окрестить. А если он совсем ни разу не вздохнул? Ведь это так. Он совсем не жил. Только в Кэтрин. Я часто чувствовал, как он там ворочается. А в последние дни нет. Может быть, он еще тогда задохся. Бедный малыш! Жаль, что я сам не задохся так, как он. Нет, не жаль. Хотя тогда ведь не пришлось бы пройти через все эти смерти. Теперь Кэтрин умрет. Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе

правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Аймо. Или заразят сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют.

Однажды на привале в лесу я подложил в костер корягу, которая кишела муравьями. Когда она загорелась, муравьи выползли наружу и сначала двинулись к середине, где был огонь, потом повернули и побежали к концу коряги. Когда на конце их набралось слишком много, они стали падать в огонь. Некоторым удалось выбраться, и, обгорелые, сплющенные, они поползли прочь, сами не зная куда. Но большинство ползло к огню, и потом опять назад, и толпилось на холодном конце, и потом падало в огонь. Помню, я тогда подумал, что это похоже на светопреставление и что вот блестящий случай для меня изобразить мессию, вытащить корягу из огня и отбросить ее туда, где муравьи смогут выбраться на землю. Но вместо этого я лишь выплеснул на корягу воду из оловянной кружки, которую мне нужно было опорожнить, чтобы налить туда виски и потом уже разбавить водой. Вероятно, вода, вылитая на горящую корягу, только ошпарила муравьев.

Я сидел в коридоре и ждал вестей о состоянии Кэтрин. Сестра все не выходила, и немного погодя я встал, подошел к двери, тихонько приоткрыл ее и заглянул в палату. Сначала я ничего не мог разглядеть, так как в коридоре горел яркий свет, а в палате было темно. Потом я увидел сестру на стуле у кровати, голову Кэтрин на подушках и всю ее, такую плоскую под простыней. Сестра приложила палец к губам, потом встала и подошла к двери.

— Ну, как она? — спросил я.

— Ничего, все в порядке,— ответила сестра.— Вы бы пошли поужинать; а потом можете прийти опять, если хотите.

Я пошел по коридору, спустился по лестнице, вышел из подъезда больницы и под дождем по темной улице направился в кафе. Оно было ярко освещено, и за всеми столиками сидели люди. Я не мог найти места, и кельнер подошел ко мне, и взял мое мокрое пальто и шляпу, и указал мне на незанятый стул у столика, за которым какой-то пожилой человек пил пиво и читал вечернюю газету. Я сел и спросил у кельнера, какое сегодня plat du jour [1].

— Тушеная телятина, но она уже кончилась.

— Что можно получить на ужин?

— Яичницу с ветчиной, омлет с сыром или choucroute.

— Я ел choucroute сегодня утром,— сказал я.

— Верно,— сказал он.— Верно. Сегодня утром вы ели choucroute.

---

[1] Дежурное блюдо *(фр.)*.

Это был человек средних лет, с лысиной, на которую тщательно начесаны были волосы. У него было доброе лицо.

— Что вы желаете? Яичницу с ветчиной или омлет с сыром?

— Яичницу с ветчиной,— сказал я,— и пиво.

— Demi-blonde?

— Да,— сказал я.

— Видите, я помню,— сказал он.— Утром вы тоже заказывали demi-blonde?

Я съел яичницу с ветчиной и выпил пиво. Яичницу с ветчиной подали в круглом судочке — внизу была ветчина, а сверху яичница. Она была очень горячая, и первый кусок мне пришлось запить пивом, чтобы остудить рот. Я был голоден и заказал еще. Я выпил несколько стаканов пива. Я ни о чем не думал, только читал газету, которую держал мой сосед. Там говорилось о прорыве на английском участке фронта. Когда сосед заметил, что я читаю его газету, он перевернул ее. Я хотел было спросить газету у кельнера, но я не мог сосредоточиться. В кафе было жарко и душно. Многие из сидевших за столиками знали друг друга. За несколькими столиками играли в карты. Кельнеры сновали между стойками и столами, разнося напитки. Двое мужчин вошли и не могли найти себе места. Они остановились против моего столика. Я заказал еще пива. Я еще не мог уйти. Возвращаться в больницу было рано. Я старался ни о чем не думать и быть совершенно спокойным. Вошедшие постояли немного, но никто не вставал, и они ушли. Я выпил еще пива. Передо мной на столе была уже целая стопка блюдец. Человек, сидевший напротив меня, снял очки, спрятал их в футляр, сложил газету и сунул ее в карман и теперь смотрел по сторонам, держа в руке рюмку с ликером. Вдруг я почувствовал, что должен идти. Я позвал кельнера, заплатил по счету, надел пальто, взял шляпу и вышел на улицу. Под дождем я вернулся в больницу.

Наверху в коридоре мне встретилась сестра.

— Я только что звонила вам в отель,— сказала она.

Что-то оборвалось у меня внутри.

— Что случилось?

— У madame Генри было кровотечение.

— Можно мне войти?

— Нет, сейчас нельзя. Там доктор.

— Это опасно?

— Это очень опасно.

Сестра вошла в палату и закрыла за собой дверь. Я сидел у дверей в коридоре. У меня внутри все было пусто. Я не думал. Я не мог думать. Я знал, что она умрет, и молился, чтоб она не умерла. Не дай ей умереть. Господи, господи, не дай ей умереть. Я все исполню, что ты велишь, только не дай ей умереть. Нет,

нет, нет, милый господи, не дай ей умереть. Милый господи, не дай ей умереть. Нет, нет, нет, не дай ей умереть. Господи, сделай так, чтобы она не умерла. Я все исполню, только не дай ей умереть. Ты взял ребенка, но не дай ей умереть. Это ничего, что ты взял его, только не дай ей умереть. Господи, милый господи, не дай ей умереть.

Сестра приоткрыла дверь и сделала мне знак войти. Я последовал за ней в палату. Кэтрин не оглянулась, когда я вошел. Я подошел к постели. Доктор стоял у постели с другой стороны. Кэтрин взглянула на меня и улыбнулась. Я склонился над постелью и заплакал.

— Бедный ты мой,— сказала Кэтрин совсем тихо. Лицо у нее было серое.

— Все хорошо, Кэт,— сказал я.— Скоро все будет совсем хорошо.

— Скоро я умру,— сказала она. Потом помолчала немного и сказала: — Я не хочу.

Я взял ее за руку.

— Не тронь меня,— сказала она. Я выпустил ее руку. Она улыбнулась.— Бедный мой! Трогай сколько хочешь.

— Все будет хорошо, Кэт. Я знаю, что все будет хорошо.

— Я думала написать тебе письмо на случай чего-нибудь, но так и не написала.

— Хочешь, чтоб я позвал священника или еще кого-нибудь?

— Только тебя,— сказала она. Потом, спустя несколько минут: — Я не боюсь. Я только не хочу.

— Вам нельзя столько разговаривать,— сказал доктор.

— Хорошо, не буду,— сказала Кэтрин.

— Хочешь чего-нибудь, Кэт? Что-нибудь тебе дать?

Кэтрин улыбнулась:

— Нет.— Потом, спустя несколько минут: — Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной? Не будешь говорить наших слов? Скажи.

— Никогда.

— Но я хочу, чтоб у тебя были девушки.

— Они мне не нужны.

— Вы слишком много разговариваете,— сказал доктор.— Monsieur Генри придется выйти. Позже он может опять прийти. Вы не умрете. Не говорите глупостей.

— Хорошо,— сказала Кэтрин.— Я буду приходить к тебе по ночам,— сказала она. Ей было очень трудно говорить.

— Пожалуйста, выйдите из палаты,— сказал доктор.— Ей нельзя разговаривать.

Кэтрин подмигнула мне; лицо у нее стало совсем серое.

— Ничего, я побуду в коридоре,— сказал я.

— Ты не огорчайся, милый,— сказала Кэтрин.— Я ни капельки не боюсь. Это только скверная шутка.

— Ты моя дорогая, храбрая девочка.

Я ждал в коридоре за дверью. Я ждал долго. Сестра вышла из палаты и подошла ко мне.

— Madame Генри очень плохо,— сказала она.— Я боюсь за нее.

— Она умерла?

— Нет, но она без сознания.

По-видимому, одно кровотечение следовало за другим. Невозможно было остановить кровь. Я вошел в палату и оставался возле Кэтрин, пока она не умерла. Она больше не приходила в себя, и скоро все кончилось.

В коридоре я обратился к доктору:

— Что-нибудь нужно еще сегодня сделать?

— Нет. Ничего делать не надо. Может быть, проводить вас в отель?

— Нет, благодарю вас. Я еще побуду здесь.

— Я знаю, что тут ничего не скажешь. Не могу выразить...

— Да,— сказал я,— тут ничего не скажешь.

— Спокойной ночи,— сказал он.— Может быть, мне вас все-таки проводить?

— Нет, спасибо.

— Больше ничего нельзя было сделать,— сказал он.— Операция показала...

— Я не хочу говорить об этом,— сказал я.

— Мне бы хотелось проводить вас в отель.

— Нет, благодарю вас.

Он пошел по коридору. Я вернулся к двери палаты.

— Сейчас нельзя,— сказала одна из сестер.

— Можно,— сказал я.

— Нет, еще нельзя.

— Уходите отсюда,— сказал я.— И та тоже.

Но когда я заставил их уйти и закрыл дверь и выключил свет, я понял, что это ни к чему. Это было словно прощание со статуей. Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем.

СТАРИК И МОРЕ

Старик рыбачил совсем один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно *salao*, то есть «самый что ни на есть невезучий», и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка.

Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные бечевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были стары, как трещины в давно уже мертвой безводной пустыне.

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается.

— Сантьяго,— сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка,— теперь я опять могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег.

Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил.

— Нет,— сказал старик,— ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней.

— А помнишь, один раз ты ходил в море целых восемьдесят семь дней и ничего не поймал, а потом мы три недели кряду каждый день привозили по большой рыбе.

— Помню,— сказал старик.— Я знаю, ты ушел от меня не потому, что не верил.

— Меня заставил отец. А я еще мальчик и должен слушаться.

— Знаю,— сказал старик.— Как же иначе.

— Он-то не очень верит.

— Да,— сказал старик.— А вот мы верим. Правда?

— Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на Террасе? А потом мы отнесем домой снасти.

— Ну что ж,— сказал старик.— Ежели рыбак подносит рыбаку...

Они уселись на Террасе, и многие рыбаки подсмеивались над стариком, но он не был на них в обиде. Рыбакам постарше было грустно на него глядеть. Однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о течении и о том, на какую глубину они забрасывали крючки, и как держится погода, и что они видели в море. Те, кому в этот день повезло, уже вернулись с лова, выпотрошили своих марлинов и, взвалив их поперек двух досок, взявшись по двое за каждый конец доски, перетащили рыбу на рыбный склад, откуда ее должны были отвезти в рефрижераторе на рынок в Гавану. Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке акул на другой стороне бухты.

Там туши подвесили на блоках, вынули из них печенку, вырезали плавники, содрали кожу и нарезали мясо тонкими пластинками для засола.

Когда ветер дул с востока, он приносил вонь с акульей фабрики, но сегодня запаха почти не было слышно, потому что ветер переменился на северный, а потом стих, и на Террасе было солнечно и приятно.

— Сантьяго,— сказал мальчик.

— Да? — откликнулся старик. Он смотрел на свой стакан с пивом и вспоминал давно минувшие дни.

— Можно, я наловлю тебе на завтра сардин?

— Не стоит. Поиграй лучше в бейсбол. Я еще сам могу грести, а Рохелио забросит сети.

— Нет, дай лучше мне. Если мне нельзя с тобой рыбачить, я хочу помочь тебе хоть чем-нибудь.

— Да ведь ты угостил меня пивом,— сказал старик.— Ты уже взрослый мужчина.

— Сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в море?

— Пять, и ты едва не погиб, когда я втащил в лодку совсем еще живую рыбу и она чуть не разбила все в щепки, помнишь?

— Помню, как она била хвостом и сломала банку и как ты громко колотил ее дубинкой. Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка

стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял сладкий запах крови.

— Ты правда все это помнишь, пли я тебе потом рассказывал?

— Я помню все с того самого первого дня, когда ты взял меня в море.

Старик поглядел на него воспаленными от солнца, доверчивыми и любящими глазами.

— Если бы ты был моим сыном, я бы и сейчас рискнул взять тебя с собой. Но у тебя есть отец и мать, и ты попал на счастливую лодку.

— Давай я все-таки схожу за сардинами. И я знаю, где можно достать четыре наживки.

— У меня еще целы сегодняшние. Я положил их в ящик с солью.

— Я достану тебе четыре свежие.

— Одну,— возразил старик.

Он и так никогда не терял ни надежды, ни веры в будущее, но теперь они крепли в его сердце, словно с моря подул свежий ветер.

— Две,— сказал мальчик.

— Ладно, две,— сдался старик.— А ты их, часом, не стащил?

— Стащил бы, если бы понадобилось. Но я их купил.

— Спасибо,— сказал старик.

Он был слишком простодушен, чтобы задумываться о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства.

— Если течение не переменится, завтра будет хороший день,— сказал старик.

— Ты где будешь ловить?

— Подальше от берега, а вернусь, когда переменится ветер. Выйду до рассвета.

— Надо будет уговорить моего тоже отойти подальше. Если тебе попадется очень большая рыба, мы тебе поможем.

— Твой не любит уходить далеко от берега.

— Да,— сказал мальчик.— Но я уж высмотрю что-нибудь такое, чего он не сможет разглядеть,— ну хотя бы чаек. Тогда его можно будет уговорить отойти подальше за золотой макрелью.

— Неужели у него так плохо с глазами?

— Почти совсем ослеп.

— Странно. Он ведь никогда не ходил за черепахами. От них-то всего больше и слепнешь.

— Но ты столько лет ходил за черепахами к Москитному берегу, а глаза у тебя в порядке.

— Я — необыкновенный старик.

— А сил у тебя хватит, если попадется очень большая рыба?

— Думаю, что хватит. Тут главное — сноровка.

— Давай отнесем домой снасти. А потом я возьму сеть и схожу за сардинами.

Они вытащили из лодки снасти. Старик нес на плече мачту, а мальчик — деревянный ящик с мотками туго сплетенной коричневой лесы, багор и гарпун с рукояткой. Ящик с наживкой остался на корме лодки вместе с дубинкой, которой глушат крупную рыбу, когда подтягивают к борту. Вряд ли кто вздумал бы обокрасть старика, но лучше было отнести парус и тяжелые снасти домой, чтобы они не отсырели от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных жителей не позарится на его добро, он все-таки предпочитал убирать от греха багор, да и гарпун тоже.

Они поднялись по дороге к хижине старика и вошли в дверь, растворенную настежь. Старик прислонил мачту с обернутым вокруг нее парусом к стене, а мальчик положил рядом снасти. Мачта была почти такой же длины, как хижина, выстроенная из крепких прилистников королевской пальмы, которую здесь зовут *guano*. В хижине были кровать, стол и стул и в земляном полу — выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле. Коричневые стены из спрессованных волокнистых листьев были украшены олеографиями Сердца господня и Кобренской богоматери. Они достались ему от покойной жены. Когда-то на стене висела и цветная фотография самой жены, но потом старик ее спрятал, потому что смотреть на нее было уж очень тоскливо. Теперь фотография лежала на полке в углу, под чистой рубахой.

— Что у тебя на ужин? — спросил мальчик.

— Миска желтого риса с рыбой. Хочешь?

— Нет, я поем дома. Развести тебе огонь?

— Не надо. Я сам разведу попозже. А может, буду есть рис так, холодный.

— Можно взять сеть?

— Конечно.

Никакой сети давно не было — мальчик помнил, когда они ее продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть. Не было и миски с желтым рисом и рыбой, и это мальчик знал тоже.

— Восемьдесят пять — счастливое число,— сказал старик.— А ну как я завтра поймаю рыбу в тысячу фунтов?

— Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди покуда на пороге, тут солнышко.

— Ладно. У меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол.

Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета или это тоже выдумка. Но старик и вправду вытащил газету из-под кровати.

— Мне ее дал Перико в винной лавке,— объяснил старик.

— Я только наловлю сардин и вернусь. Положу и мои и твои вместе на лед, утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне про бейсбол.

— «Янки» не могут проиграть.

— Как бы их не побили кливлендские «Индейцы»!

— Не бойся, сынок. Вспомни о великом Ди Маджио.

— Я боюсь не только «Индейцев», но и «Тигров» из Детройта.

— Ты, чего доброго, скоро будешь бояться и «Краснокожих» из Цинциннати, и чикагских «Белых чулок».

— Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь!

— А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой восемьдесят пять? Завтра ведь восемьдесят пятый день.

— Почему не купить? — сказал мальчик.— А может, лучше с цифрой восемьдесят семь? Ведь в прошлый раз было восемьдесят семь дней.

— Два раза ничего не повторяется. А ты сможешь достать билет с цифрой восемьдесят пять?

— Закажу.

— Одинарный. За два доллара пятьдесят. Где бы нам их занять?

— Пустяки! Я всегда могу занять два доллара пятьдесят.

— Я, наверно, тоже мог бы. Только я стараюсь не брать в долг. Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню...

— Смотри не простудись, старик. Не забудь, что на дворе сентябрь.

— В сентябре идет крупная рыба. В мае каждый умеет рыбачить.

— Ну, я пошел за сардинами,— сказал мальчик.

Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя на стуле. Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи — могучие, несмотря на старость, да и шея была сильная, и теперь, когда старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны. Рубаха его была такая же латаная и перелатаная, как и парус, а заплаты были разных оттенков, потому что неровно выгорели на солнце. И все же лицо у старика было очень старое, и теперь, во сне, с закрытыми глазами, оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло. Ноги были босы.

Мальчик не стал его будить и ушел, а когда он вернулся снова, старик все еще спал.

— Проснись! — позвал его мальчик и положил ему руку на колено.

Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то очень издалека. Потом он улыбнулся:

— Что ты принес?

— Ужин. Сейчас мы будем есть.

— Да я не такой уж голодный.

— Давай есть. Нельзя ловить рыбу не евши.

— Мне случалось,— сказал старик, поднимаясь и складывая газету; потом он стал складывать одеяло.

— Не снимай одеяло,— сказал мальчик.— Покуда я жив, я не дам тебе ловить рыбу не евши.

— Тогда береги себя и живи как можно дольше,— сказал старик.— А что мы будем есть?

— Черные бобы с рисом, жареные бананы и тушеную говядину.

Мальчик принес еду в металлических судках из Террасы. Вилки, ножи и ложки он положил в карман; каждый прибор был завернут отдельно в бумажную салфетку.

— Кто тебе все это дал?

— Мартин, хозяин ресторана.

— Надо его поблагодарить.

— Я его поблагодарил,— сказал мальчик,— уж ты не беспокойся.

— Дам ему самую мясистую часть большой рыбы,— сказал старик.— Ведь он помогает нам не первый раз?

— Нет, не первый.

— Тогда одной мясистой части будет мало. Он нам сделал много добра.

— А вот сегодня дал еще и пива.

— Я-то больше всего люблю консервированное пиво.

— Знаю. Но сегодня он дал пиво в бутылках. Бутылки я сдам обратно.

— Ну, спасибо тебе,— сказал старик.— Давай есть?

— Я тебе давно предлагаю поесть,— ласково упрекнул его мальчик.— Все жду, когда ты сядешь за стол, и не открываю судков, чтобы еда не остыла.

— Давай. Мне ведь надо было помыться.

«Где ты мог помыться? — подумал мальчик. До колонки было два квартала.— Надо припасти ему воды, мыла и хорошее полотенце. Как я раньше об этом не подумал? Ему нужна новая рубашка, зимняя куртка, какая-нибудь обувь и еще одно одеяло».

— Вкусное мясо,— похвалил старик.

— Расскажи мне про бейсбол,— попросил его мальчик.

— В Американской лиге выигрывают «Янки», как я и говорил,— с довольным видом начал старик.

— Да, но сегодня их побили.

— Это ничего. Зато великий Ди Маджио опять в форме.

— Он не один в команде.

— Верно. Но все дело в нем. Во второй лиге — Бруклинцев и Филадельфийцев — шансы есть только у Бруклинцев. Впрочем, ты помнишь, как бил Дик Сайзлер? Какие у него были удары, когда он играл там, в старом парке!

— Высший класс! Он бьет дальше всех.

— Помнишь, он приходил на Террасу? Мне хотелось пригласить его с собой порыбачить, но я постеснялся. Я просил тебя его пригласить, но и ты тоже постеснялся.

— Помню. Глупо, что я струсил. А вдруг бы он согласился? Было бы о чем вспоминать до самой смерти!

— Вот бы взять с собой в море великого Ди Маджио,— сказал старик.— Говорят, отец у него был рыбаком. Кто его знает, может, он и сам когда-то был беден, как мы, и не погнушался бы.

— Отец великого Сайзлера никогда не был бедняком. Он играл в настоящих командах, когда ему было столько лет, сколько мне.

— Когда мне было столько лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По вечерам я видел, как на отмель выходят львы.

— Ты мне рассказывал.

— О чем мы будем разговаривать: об Африке или о бейсболе?

— Лучше о бейсболе. Расскажи мне про великого Джона Мак-Гроу.

— Он тоже в прежние времена захаживал к нам на Террасу. Но когда напивался, с ним не было сладу. А в голове у него был не только бейсбол, но и лошади. Вечно таскал в карманах программы бегов и называл клички лошадей по телефону.

— Он был великий тренер,— сказал мальчик.— Отец говорит, что он был самый великий тренер на свете.

— Потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюроше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете.

— А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Гонсалес?

— По-моему, они стоят друг друга.

— А самый лучший рыбак на свете — это ты.

— Нет. Я знал рыбаков и получше.

— *Qué va!* [1] — сказал мальчик.— На свете немало хороших рыбаков, есть и просто замечательные. Но таких, как ты, нету нигде.

— Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не

[1] Что ты! *(исп.)*

попадется чересчур большая рыба, а то ты во мне еще разочаруешься.

— Нет на свете такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила.

— Может, ее у меня и меньше, чем я думаю. Но сноровка у меня есть и выдержки хватит.

— Ты теперь ложись спать, чтобы к утру набраться сил. А я отнесу посуду.

— Ладно. Спокойной ночи. Утром я тебя разбужу.

— Ты для меня все равно что будильник,— сказал мальчик.

— А мой будильник — старость. Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день?

— Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко.

— Это я помню,— сказал старик.— Я разбужу тебя вовремя.

— Я почему-то не люблю, когда меня будит тот, другой. Как будто я хуже него.

— Понимаю.

— Спокойной ночи, старик.

Мальчик ушел. Они ели не зажигая света, и теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить себе под голову вместо подушки, а в сверток сунул еще и газету. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты, которыми были прикрыты голые пружины кровати.

Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности, длинные золотистые ее берега и белые отмели — такие белые, что глазам больно,— высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром.

Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано, он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов.

Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львы, выходящие на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился. Старик вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их.

Выйдя из хижины, он помочился и пошел вверх по дороге будить мальчика. Его познабливало от утренней свежести. Но он

знал, что озноб пройдет, а скоро он сядет на весла и совсем согреется.

Дверь дома, где жил мальчик, была не заперта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему; мальчик взял штаны со стула подле кровати и, сидя, натянул их.

Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться, и старик, обняв его за плечи, сказал:

— Прости меня.

— *Qué va!* — ответил мальчик.— Такова уж наша мужская доля. Что поделаешь.

Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли босые люди, таща мачты со своих лодок.

Придя в хижину, мальчик взял ящик с мотками лесы, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обернутым вокруг нее парусом.

— Хочешь кофе? — спросил мальчик.

— Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе.

Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась очень рано.

— Ты хорошо спал, старик? — спросил мальчик; он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном.

— Очень хорошо, Манолин. Сегодня я верю в удачу.

— И я,— сказал мальчик.— Теперь я схожу за нашими сардинами и за твоими живцами. Мой таскает свои снасти сам. Он не любит, когда его вещи носят другие.

— А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть не с пяти лет.

— Знаю,— сказал мальчик.— Подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе. Нам здесь дают в долг.

Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранилась наживка.

Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно уже прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой — вот и все, что ему понадобится до вечера.

Мальчик вернулся, неся сардины и завернутых в газету рыбок. Рыбаки спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду.

— Желаю тебе удачи, старик.

— И тебе тоже.

Старик надел веревочные петли весел на колышки уключин и, пригнувшись, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают воду весла.

Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор. Но на большей части лодок царило молчание, и оттуда доносился лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега; он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «великим колодцем», он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых семьсот морских саженей, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых больших глубинах порою толпится множество каракатиц; ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб.

В темноте старик чувствовал приближение утра; загребая веслами, он слышал дрожащий звук — это летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими плавниками. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам — они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят, и он думал: «Птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших, сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми, печальными голосами, — они слишком хрупки для него».

Мысленно он всегда звал море *la mar*, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море *el mar*, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости

или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки,— что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину»,— думал старик.

Он мерно греб, без натуги, потому что не спешил и поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.

«Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал,— подумал старик.— Сегодня я попытаю счастья там, где ходят стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавает и большая рыба?»

Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из крючков находился на глубине сорока морских саженей, другой ушел вниз на семьдесят пять, а третий и четвертый погрузились в голубую воду на сто и сто двадцать пять саженей. Наживка висела головою вниз, причем стержень крючка проходил внутри рыбы и был там накрепко зашит, сам же крючок — его изгиб и острие — был унизан свежими сардинами. Сардины были нанизаны на крючок через оба глаза, образуя гирлянду на стальном полукружье крючка. Приблизившись к крючку, большая рыба почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек.

Мальчик дал старику с собой двух свежих тунцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным прицепил большую голубую макрель и желтую умбрицу. Он ими уже пользовался в прошлый раз, однако они все еще были в хорошем состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждая леса толщиной с большой карандаш была закинута на гибкий прут так, чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило прут пригнуться к воде, и была подвязана к двум запасным моткам лесы, по сорок саженей в каждом, которые, в свою очередь, могли быть соединены с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно было отпустить больше чем на триста саженей.

Теперь старик наблюдал, не пригибаются ли к борту зеленые прутья, и тихонечко греб, следя за тем, чтобы леса уходила в воду прямо и на должную глубину. Стало уже совсем светло, вот-вот должно было взойти солнце.

Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны другие лодки; они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче и вода отразила его сияние, а когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладь моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль, и старик греб, стараясь не глядеть

на воду. Он смотрел в темную глубину, куда отвесно уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и в темноте рыбу на разных глубинах ожидала приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порою крючки оказывались на глубине в шестьдесят саженей, когда рыбаки считали, что опустили их на сто.

«Я же,— подумал старик,— всегда закидываю свои снасти точно. Мне просто не везет. Однако кто знает? Может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов».

Солнце поднималось уже два часа, и глядеть на восток было не так больно. Теперь видны были только три лодки; отсюда казалось, что они совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега.

«Всю жизнь у меня резало глаза от утреннего света,— думал старик.— Но видят они еще хорошо. Вечером я могу смотреть прямо на солнце, и черные пятна не мелькают у меня перед глазами. А вечером солнце светит куда сильнее. Но по утрам оно причиняет мне боль».

В это самое время он заметил птицу-фрегата, которая кружила впереди него в небе, распластав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закинув назад крылья, а потом снова пошла кругами.

— Почуяла добычу,— сказал старик вслух.— Не просто кружит.

Старик медленно и мерно греб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь он следил за тем, чтобы его лесы отвесно уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла течение, и хотя старик удил все так же правильно, движения его были чуточку быстрее, чем прежде, до появления птицы.

Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью.

— Макрель,— громко произнес старик.— Крупная золотая макрель.

Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила тонкую леску. На конце ее был прикручен проволочный поводок и небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску и оставил ее смотанной в тени под носом. Взяв в руки весла, он снова стал

наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой.

Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно и беспомощно, погнавшись за летучей рыбой. Старик видел, как вода слегка вздымалась,— это золотая макрель преследовала убегавшую от нее рыбу. Макрель плыла ей наперерез с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду.

«Там, видно, большая стая макрели,— подумал старик.— Они плывут поодаль друг от друга, и у летучей рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупна для фрегата и движется слишком быстро».

Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня,— подумал старик.— Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Но, может быть, мне попадется макрель, отбившаяся от стаи, а может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба? Ведь должна же она где-нибудь плыть».

Облака над землей возвышались теперь как горная гряда, а берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Когда старик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в темной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходят в воду его лески, и радовался, что кругом столько планктона, потому что это сулило рыбу. Причудливое преломление лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же как и форма облаков, висевших над землей. Однако птица была уже далеко, а на поверхности воды не виднелось ничего, кроме пучков желтых, выгоревших на солнце саргассовых водорослей и лиловатого, переливчатого студенистого пузыря — португальской физалии, плывшей неподалеку от лодки. Физалия перевернулась на бок, потом приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца.

— Ах ты, сука! — сказал старик.

Легко загребая веслами, он заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбешек, окрашенных в тот же цвет, что и влачащиеся в воде щупальца; они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его не мог причинить им вреда. Другое дело людям: когда такие вот щупальца, склизкие и лиловатые, цеплялись за леску и приставали к ней, пока старик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом. Отравление наступало быстро и пронзало острой болью, как удар бича.

Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря, и старик любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев физалий, черепахи приближались к ним спереди, закрыв глаза, что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали физалий целиком, вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалий; он любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва.

Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню неуклюжим и глупым ложным кареттам, прихотливым в любовных делах и поедающим с закрытыми глазами португальских физалий.

Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых «луты», длиною в целую лодку и весом в тонну. Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашье сердце бьется еще долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня,— думал старик,— такое же сердце, а мои ноги и руки так похожи на их лапы». Он ел белые черепашьи яйца, чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и октябре, когда пойдет по-настоящему большая рыба.

Каждый день старик выпивал также по чашке жира из акульей печенки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели, а он очень помогает от простуды и полезен для глаз.

Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над морем.

— Нашел рыбу,— сказал он вслух.

Ни одна летучая рыба не тревожила водную гладь, не было заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старик вдруг увидел, как в воздух подпялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушел в море.

Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили подле нее и гнали ее перед собой.

«Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю»,— подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают

воду добела, а фрегат ныряет, хватая рыбешку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность.

— Птица — верный помощник рыбаку,— сказал старик.

В этот миг тонкая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один ее виток; старик бросил весла и, крепко ухватив конец бечевы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт.

Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно литая пуля, и, вытаращив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного, подвижного хвоста. Старик из жалости убил его ударом по голове и, еще трепещущего, отшвырнул ногой в тень под кормовой настил.

— Альбакоре,— сказал он вслух.— Из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нем фунтов десять, не меньше.

Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собою вслух. Прежде, оставшись один, он пел; он пел иногда и ночью, стоя на вахте за штурвалом, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверно, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил. Но ведь и рыбача с мальчиком, они разговаривали только тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно, и уважал обычай. А вот теперь он по многу раз повторял свои мысли вслух — ведь они никому не могли быть в тягость.

— Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил,— сказал старик.— Но раз я не спятил, кому какое дело? Хорошо богатым: у них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол.

— Теперь не время думать про бейсбол,— сказал себе старик.— Теперь время думать только об одном. О том, для чего я родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть, плывет моя большая рыба. Я ведь поймал только одного альбакоре, да и то отбившегося от стаи. А они охотятся далеко от берега и плывут очень быстро. Все, что встречается сегодня в море, движется очень быстро и на северо-восток. Может быть, так всегда бывает в это время дня? А может, это к перемене погоды и я просто не знаю такой приметы?

Старик уже больше не видел зеленой береговой полосы; вдали вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые

отсюда казались белыми, словно были одеты снегом. Облака над ними тоже были похожи на высокие снежные горы. Море стало очень темным, и солнечные лучи преломлялись в воде. Бесчисленные искры планктона теперь были погашены солнцем, стоящим в зените, и в темно-синей воде старик видел лишь большие пятна от преломлявшихся в ней солнечных лучей да лесы, прямо уходящие в глубину, которая достигала здесь целой мили.

Тунцы — рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами и различали их настоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать на рынок или сбывали как наживку,— снова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оно жжет ему затылок. Пот струйками стекал по спине, когда он греб.

«Я мог бы просто плыть по течению,— подумал старик,— и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня восемьдесят пятый день, и надо быть начеку».

И как раз в этот миг он заметил, как один из зеленых прутьев дрогнул и пригнулся к воде.

— Ну вот,— сказал он.— Вот! — И вытащил из воды весла, стараясь не стукнуть ими по лодке.

Старик потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. На этот раз рывок был осторожный и не сильный, и старик в точности знал, что это означает. На глубине в сто морских саженей марлин пожирал сардины, которыми были унизаны острие и полукружие крючка, там, где этот кованный вручную крючок вылезал из головы небольшого тунца.

Старик, легонько придерживая бечевку, левой рукой осторожно отвязал ее от прута. Теперь она могла незаметно для рыбы скользить у него между пальцами.

«Так далеко от берега, да еще в это время года, рыба, наверно, огромная. Ешь, рыба. Ешь. Ну, ешь же, пожалуйста. Сардины такие свеженькие, а тебе так холодно в воде, на глубине в шестьсот футов, холодно и темно. Поворотись еще разок в темноте, ступай назад и поешь!»

Он почувствовал легкий, осторожный рывок, а затем и более сильный,— видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка. Потом все стихло.

— Ну же,— сказал старик вслух,— поворотись еще разок. Понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет черед попробовать тунца! Он ведь твердый, прохладный, прямо объеденье. Не стесняйся, рыба. Ешь, прошу тебя.

Он ждал, держа бечеву между большим и указательным

пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла подняться выше или уйти поглубже. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески.

— Клюнет,— сказал старик вслух.— Клюнет, дай ей бог здоровья!

Но она не клюнула. Она ушла, и леска была неподвижна.

— Она не могла уйти,— сказал старик.— Видит бог, она не могла уйти. Она просто поворачивается. Может быть, она уже попадалась на крючок и помнит об этом.

Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески, и у него отлегло от сердца.

— Я же говорил, что она только поворачивается,— сказал старик.— Теперь-то уж она клюнет!

Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал вес огромной рыбы и, отпустив бечеву, дал ей скользить вниз, вниз, вниз, разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами, но, хотя он едва ее придерживал, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой.

— Что за рыба! — сказал он вслух.— Захватила крючок губой и хочет теперь удрать вместе с ним подальше.

«Она все равно повернется и проглотит крючок»,— подумал старик. Однако он не произнес своей мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше, с тунцом поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бечеву. На секунду он придерживал ее пальцами; напряжение увеличилось, и бечеву потянуло вниз.

— Клюнула,— сказал старик.— Пусть теперь поест как следует.

Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных мотков второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было три мотка лесы, по сорок саженей в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу.

— Поешь еще немножко,— сказал он.— Ешь, не стесняйся.

«Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце и убило тебя насмерть,— подумал он.— Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун. Ну вот и ладно. Ты готова? Насытилась?»

— Пора! — сказал он вслух и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать ее снова и снова,

подтягивая бечеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и упор тела.

Но ничего не получалось. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что с нее брызнули водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув туловище назад. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад.

Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать.

— Эх, если бы со мной был мальчик! — сказал он.— Меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битенг. Можно бы привязать бечеву к лодке. Но тогда рыба, чего доброго, порвет ее. Я должен крепко ее держать и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывет, а не опускается на дно... А что я стану делать, если она решит пойти в глубину? Что я стану делать, если она пойдет камнем на дно и умрет? Не знаю. Там будет видно. Мало ли что я могу сделать!

Он упирался в бечеву спиной и следил за тем, как косо она уходит в воду и как медленно движется лодка на северо-запад.

«Скоро она умрет,— думал старик.— Не может она плыть вечно».

Однако прошло четыре часа, рыба все так же неутомимо уходила в море, увлекая за собой лодку, а старик все так же сидел, упершись в банку, с натянутой за спиной лесой.

— Когда я поймал ее на крючок, был полдень,— сказал старик.— А я до сих пор ее не видел.

Перед тем как поймать рыбу, он плотно натянул соломенную шляпу на лоб, и теперь она больно резала ему кожу. Старику хотелось пить, и, осторожно став на колени, так, чтобы не дернуть бечеву, он подполз как можно ближе к носу и одной рукой достал бутылку. Откупорив ее, он отпил несколько глотков. Потом отдохнул, привалившись к носу. Он отдыхал, сидя на мачте со скатанным парусом, стараясь не думать, а только беречь силы.

Потом он поглядел назад и обнаружил, что земли уже не видно. «Невелика беда,— подумал он.— Я всегда смогу вернуться, правя на огни Гаваны. До захода солнца осталось два часа, может быть, она еще выплывет за это время. Если нет, то она, может быть, выплывет при свете луны. А то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводит, и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, а не я. Но что же это за рыба, если она так тянет! Видно, она крепко прикусила проволоку. Хотелось бы мне на нее взглянуть.

Хотелось бы мне на нее поглядеть хоть одним глазком, тогда бы я знал, с кем имею дело».

Насколько старик мог судить по звездам, рыба плыла всю ночь, не меняя направления. После захода солнца похолодало, пот высох у него на спине, на плечах и на старых ногах, и ему стало холодно. Днем он вытащил мешок, покрывавший ящик с наживкой, и расстелил его на солнце сушить. Когда солнце зашло, он обвязал мешок вокруг шеи и спустил его себе на спину, осторожно просунув под бечеву, которая была уже выше, почти возле лопаток. Бечева резала теперь куда меньше, и, прислонившись к носу, он согнулся так, что ему было почти удобно. По правде говоря, в этом положении ему было только чуточку легче, но он уверял себя, что теперь ему почти совсем удобно.

«Я ничего не могу с ней поделать, но и она ничего не может поделать со мной,— сказал себе старик.— Во всяком случае, до тех пор, пока не придумает какой-нибудь новый фокус».

Разок он встал, помочился через борт лодки, поглядел на звезды и определил, куда идет лодка. Бечева казалась тоненьким лучиком, уходящим от его плеча прямо в воду. Теперь они двигались медленнее, и огни Гаваны потускнели,— по-видимому, течение уносило лодку на восток. «Раз огни Гаваны исчезают, значит, мы идем все больше на восток,— подумал старик.— Если бы рыба не изменила своего курса, я их видел бы еще много часов. Интересно, чем окончились сегодня матчи? Хорошо бы иметь на лодке радио!» Но он прервал свои мысли: «Не отвлекайся! Думай о том, что ты делаешь. Думай, чтобы не совершить какую-нибудь глупость».

Вслух он сказал:

— Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и увидел бы все это сам.

«Нельзя, чтобы в старости человек оставался один,— думал он.— Однако это неизбежно. Не забыть бы мне съесть тунца, покуда он не протух, ведь мне нельзя терять силы. Не забыть бы мне съесть его утром, даже если я совсем не буду голоден. Только бы не забыть»,— повторил он себе.

Ночью к лодке подплыли две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка.

— Они хорошие,— сказал старик.— Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. «Ну не чудо ли эта рыба, один бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда еще мне не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно она себя ведет! Может быть, она потому не прыгает, что уж очень умна. Ведь она погу-

била бы меня, если бы прыгнула или рванулась изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз уже попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почем ей знать, что против нее всего один человек, да и тот старик. Но какая большая эта рыба и сколько она принесет денег, если у нее вкусное мясо! Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борется со мной без всякого страха. Интересно, знает она, что ей делать, или плывет очертя голову, как и я?»

Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую, и, попавшись на крючок, самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро ее изнурила, а самец, ни на ладонь не отставая от нее, плавал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что старик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом, острым, как коса, и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул ее дубинкой, придерживая острую, как рапира, пасть с шершавыми краями, когда он бил ее дубинкой по черепу до тех пор, пока цвет ее не стал похож на цвет амальгамы, которой покрывают оборотную сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал ее в лодку, самец оставался рядом. Потом, когда старик стал сматывать лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем ушел глубоко в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик не мог забыть, какой он был красивый. И он не покинул свою подругу до конца.

«Ни разу в море я не видал ничего печальнее,— подумал старик.— Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделали ее тушу».

— Жаль, что со мной нет мальчика,— сказал он вслух и поудобнее примостился к округлым доскам носа, все время ощущая через бечеву, которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей к какой-то своей цели.

— Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить своей судьбе!

«Ее судьба была оставаться в темной глубине океана, вдали от всяческих ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти ее там, куда не проникал ни один человек. Ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг с другом с самого полудня. И некому помочь ни ей, ни мне».

«Может быть, мне не нужно было становиться рыбаком,— думал он.— Но ведь для этого я родился. Только бы не забыть съесть тунца, когда рассветет».

Незадолго до восхода солнца клюнуло на одну из наживок за спиной. Он услышал, как сломался прут и бечева заскользила через планшир лодки. В темноте он выпростал из чехла свой нож и, перенеся всю тяжесть рыбы на левое плечо, откинулся назад и перерезал лесу на планшире. Потом он перерезал лесу, находившуюся рядом с ним, и в темноте крепко связал друг с другом концы запасных мотков. Он ловко работал одной рукой, придерживая ногой мотки, чтобы покрепче затянуть узел. Теперь у него было целых шесть запасных мотков лесы: по два от каждой перерезанной им бечевы и два от лесы, на которую попалась рыба; все мотки были связаны друг с другом.

«Когда рассветет,— подумал он,— я отрежу ту наживку, которую опустил на сорок саженей, а лесу тоже присоединю к запасным моткам. Правда, я потеряю двести саженей крепкой каталонской веревки, не говоря уже о крючках и поводках. Ничего, это добро можно достать снова. Но кто достанет мне новую рыбу, если на крючок попадется какая-нибудь другая рыба и сорвется эта? Не знаю, что там сейчас клюнуло. Может быть, марлин, а может быть, и меч-рыба или акула. Я даже не успел ее почувствовать. Надо было побыстрее от нее отвязаться».

Вслух он сказал:

— Эх, был бы со мной мальчик!

«Но мальчика с тобой нет,— думал он.— Ты можешь рассчитывать только на себя, и хоть сейчас и темно, лучше бы ты попытался достать ту, последнюю лесу, перерезать ее и связать вместе два запасных мотка».

Он так и сделал. В темноте ему было трудно работать, и один раз рыба дернула так, что он свалился лицом вниз и рассек щеку под глазом. Кровь потекла по скуле, но свернулась и подсохла, еще не дойдя до подбородка, а он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть. Старик поправил мешок, осторожно передвинул бечеву на новое, еще не натруженное место и, передав весь упор на плечи, попытался определить, сильно ли тянет рыба, а потом опустил руку в воду, чтобы выяснить, с какой скоростью движется лодка.

«Интересно, почему она рванулась,— подумал он.— Проволока, верно, соскользнула с большого холма, ее спины. Конечно, ее спине не так больно, как моей. Но не может же она тащить лодку без конца, как бы велика ни была! Теперь я избавился от всего, что могло причинить мне вред, и у меня большой запас бечевы,— чего же еще человеку нужно?»

— Рыба,— позвал он тихонько,— я с тобой не расстанусь, пока не умру.

«Да и она со мной, верно, не расстанется»,— подумал старик и стал дожидаться утра. В этот предрассветный час было холодно,

и он прижался к доскам, чтобы хоть немножко согреться. «Если она терпит, значит, и я стерплю». И заря осветила натянутую лесу, уходящую в глубину моря. Лодка двигалась вперед неустанно, и когда над горизонтом появился краешек солнца, свет его упал на правое плечо старика.

— Она плывет к северу,— сказал старик.— А течение, наверно, отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала.

Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать. Одно лишь было отрадно: леса уходила в воду более наклонно, и это показывало, что рыба плывет теперь на меньшей глубине. Это отнюдь не означало, что она непременно вынырнет на поверхность. Однако вынырнуть она все же могла.

— Господи, заставь ее вынырнуть! — сказал старик.— У меня хватит бечевы, чтобы с ней справиться.

«Может быть, если мне удастся немножко сильнее потянуть, ей будет больно и она выпрыгнет,— подумал старик.— Теперь, когда стало светло, пусть она выпрыгнет. Тогда пузыри, которые у нее идут вдоль хребта, наполнятся воздухом, и она не сможет больше уйти в глубину, чтобы там умереть».

Он попытался натянуть бечеву потуже, но, с тех пор как он поймал рыбу, леса и так была натянута до отказа, и когда он откинулся назад, чтобы натянуть ее еще крепче, она больно врезалась в спину, и он понял, что у него ничего не выйдет. «А дергать нельзя,— подумал он.— Каждый рывок расширяет рану, которую нанес ей крючок, и если рыба вынырнет, крючок может вырваться совсем. Во всяком случае, я чувствую себя лучше теперь, когда светит солнце, и на этот раз мне не надо на него смотреть».

Лесу опутали желтые водоросли, но старик был рад им, потому что они задерживали ход лодки. Это были те самые желтые водоросли, которые так светились ночью.

— Рыба,— сказал я,— я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер.

«Будем надеяться, что это мне удастся»,— подумал он.

С севера к лодке приблизилась маленькая птичка. Это была славка, и она летела низко над водой. Старик видел, что она очень устала.

Птица села на корму отдохнуть. Потом она покружилась у старика над головой и уселась на бечеву, где ей было удобнее.

— Сколько тебе лет? — спросил ее старик.— Наверное, это твое первое путешествие?

Птица посмотрела на него в ответ. Она слишком устала, чтобы проверить, надежна ли бечева, и лишь покачивалась, обхватив ее своими нежными лапками.

— Не бойся, веревка натянута крепко,— заверил ее старик.—

Даже слишком крепко. Тебе не полагалось бы так уставать в безветренную ночь. Ах, не те нынче пошли птицы!

«А вот ястребы,— подумал он,— даже в море выходят вам навстречу». Но он не сказал это птице, да она все равно его бы не поняла. Ничего, сама скоро все узнает про ястребов.

— Отдохни хорошенько, маленькая птичка,— сказал он.— А потом лети к берегу и рискуй, как рискует каждый человек, птица или рыба.

Разговор с птицей его подбодрил, а то спина у него совсем одеревенела за ночь, и теперь ему было по-настоящему больно.

— Побудь со мной, если хочешь, птица,— сказал он.— Жаль, что я не могу поставить парус и привезти тебя на сушу, хотя сейчас и поднимается легкий ветер. Но у меня тут друг, которого я не могу покинуть.

В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика на нос; она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лесу.

Когда бечева дернулась, птица взлетела, и старик даже не заметил, как она исчезла. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки течет кровь.

— Верно, рыбе тоже стало больно,— сказал он вслух и потянул бечеву, проверяя, не сможет ли он повернуть рыбу в другую сторону. Натянув лесу до отказа, он снова замер в прежнем положении.

— Худо тебе, рыба? — спросил он.— Видит бог, мне и самому не легче.

Он поискал глазами птицу, потому что ему хотелось с кем-нибудь поговорить. Но птицы нигде не было.

«Недолго же ты побыла со мной,— подумал старик.— Но там, куда ты полетела, ветер много крепче, и он будет дуть до самой суши. Как же это я позволил рыбе поранить меня одним быстрым рывком? Верно, я совсем поглупел. А может быть, просто заглядеался на птичку и думал только о ней? Теперь я буду думать только о деле и съем тунца, чтобы набраться сил».

— Жаль, что мальчик не со мной и что у меня нет соли,— сказал он вслух.

Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл руку, подержав ее с минуту в воде и наблюдая за тем, как тянется по ней кровавый след, как мерно обтекает руку встречная струя.

— Теперь рыба плывет куда медленнее,— сказал он вслух.

Старику хотелось подольше подержать руку в соленой воде, но он боялся, что рыба снова дернет, поэтому он поднялся на ноги, встал покрепче и подержал руку на солнце. На ней была всего одна рана — обожгло веревкой, но как раз на той части

руки, которая нужна была ему для работы. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки, и огорчался, что поранил одну из них в самом начале.

— Теперь,— сказал он, когда рука обсохла,— я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть как следует.

Старик снова опустился на колени и, пошарив багром под кормой, отыскал там тунца. Он подтащил его к себе, стараясь не потревожить мотки лесы. Снова переместив всю тяжесть рыбы на левое плечо и упираясь о борт левой рукой, он снял тунца с крючка и положил багор на место. Он прижал тунца коленом и стал вырезать со спины от затылка до хвоста продольные куски темно-красного мяса. Полоски были клинообразные, и резал он их сперва вдоль хребта, а потом дошел до брюха. Нарезав шесть полос, он разложил их на досках носа, вытер нож о штаны, поднял скелет тунца за хвост и выкинул в море.

— Пожалуй, целого куска мне не съесть,— сказал он и перерезал один из кусков пополам.

Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба, а левую руку у него совсем свело. Она судорожно сжимала тяжелую веревку, и старик поглядел на нее с отвращением.

— Ну что это за рука, ей-богу! — сказал он.— Ладно, затекай, если уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу, тебе это все равно не поможет.

«Поешь,— подумал он, поглядев в темную воду и на косую линию уходящей в нее бечевы,— поешь, и твоя рука станет сильнее. Чем она виновата? Ведь ты уж сколько часов подряд держишь рыбу. Но ты не расстанешься с ней до конца. А пока что поешь».

Он взял кусок рыбы, положил его в рот и стал медленно жевать. Вкус был не такой уж противный.

«Жуй хорошенько,— думал он,— чтобы не потерять ни капли сока. Неплохо было бы приправить ее лимоном или хотя бы солью».

— Ну, как ты себя чувствуешь, рука? — спросил он затекшую руку, которая одеревенела почти как у покойника.— Ради тебя я съем еще кусочек.

Старик съел вторую половину куска, разрезанного надвое. Он старательно разжевал его, а потом выплюнул кожу.

— Ну как, рука, полегчало? Или ты еще ничего не почувствовала?

Он взял еще один кусок и тоже съел его.

«Это здоровая, полнокровная рыба,— подумал он.— Хорошо, что мне попался тунец, а не макрель. Макрель слишком сладкая. А в этой рыбе почти нет сладости, и она сохранила всю свою питательность. Однако нечего отвлекаться посторонними мыслями,— подумал он.— Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли,

И я не знаю, провялится остаток рыбы на солнце или протухнет, поэтому давай-ка лучше я ее съем, хоть я и не голоден. Большая рыба ведет себя тихо и спокойно. Я доем тунца и тогда буду готов».

— Потерпи, рука,— сказал он.— Видишь, как я ради тебя стараюсь.

«Следовало бы мне покормить и большую рыбу,— подумал он.— Ведь она моя родня. Но я должен убить ее, а для этого мне нужны силы». Медленно и добросовестно старик съел все клиновидные куски тунца.

Обтирая руку о штаны, он выпрямился.

— Ну вот,— сказал он.— Теперь, рука, ты можешь отпустить лесу; я совладаю с ней одной правой рукой, покуда ты не перестанешь валять дурака.

Левой ногой он прижал толстую бечеву, которую раньше держала его левая рука, и откинулся назад, перенеся тяжесть рыбы на спину.

— Дай бог, чтобы у меня прошла судорога,— сказал он.— Кто знает, что еще надумает эта рыба.

«По виду она спокойна,— подумал он,— и действует обдуманно. Но что она задумала? И что собираюсь делать я? Мой план я должен тут же приспособить к ее плану, ведь она такая громадина. Если она выплывет, я смогу ее убить. А если она так и останется в глубине? Тогда и я останусь с нею».

Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы. Но рука не разгибалась. «Может быть, она разожмется от солнца,— подумал он.— Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не хочу применять силу. Пускай она разожмется сама и оживет по своей воле. Как-никак ночью ей от меня досталось, когда нужно было перерезать и связать друг с другом все мои лесы».

Старик поглядел вдаль и понял, как он теперь одинок. Но он видел разноцветные солнечные лучи, преломляющиеся в темной глубине, натянутую, уходящую вниз бечеву и странное колыхание морской глади. Облака кучились, предвещая пассат, и впереди он заметил над водою стаю диких уток, резко очерченную в небе; вот стая расплылась, потом опять обрисовалась еще четче, и старик решил, что человек в море никогда не бывает одинок.

Он подумал о том, как некоторым людям бывает страшно оставаться в открытом море в маленькой лодке, и решил, что страх их обоснован в те месяцы, когда непогода налетает внезапно. Но теперь ведь стоит пора ураганов, а пока урагана нет, это время самое лучшее в году.

Если ураган близится на море, всегда можно увидеть его

признаки в небе за много дней вперед. На суше их не видят, думал старик, потому что не знают, куда смотреть. Да на суше и форма облаков совсем другая. Однако сейчас урагана ждать нечего.

Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака, похожие на вкусные порции мороженого, а над ними, в высоком сентябрьском небе, прозрачные клочья перистых облаков.

— Скоро поднимется легкий бриз,— сказал старик.— А он куда выгоднее мне, чем тебе, рыба.

Левая рука его все еще была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ею шевелить.

«Ненавижу, когда у меня сводит руку,— подумал он.— Собственное тело — и такой подвох! Унизительно, когда тебя на людях мучает понос или рвота от отравления рыбой. Но судорога (он мысленно называл ее *calambre*) особенно унижает тебя, когда ты один».

«Если бы со мной был мальчик,— подумал он,— он растер бы мне руку от локтя донизу. Но ничего, она оживет и так».

И вдруг, еще прежде, чем он заметил, как изменился угол, под которым леса уходит в воду, его правая рука почувствовала, как тяга ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по бедру и тут увидел, что леса медленно пошла кверху.

— Поднимается,— сказал он.— Ну-ка, рука, оживай! Пожалуйста!

Леса равномерно шла и шла кверху, и наконец поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная бита, и острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась плавно, как ныряльщик, и едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие косы, как леса начала стремительно разматываться.

— Она на два фута длиннее моей лодки,— сказал старик.

Леса уходила в море быстро, но равномерно, и рыба явно не была напугана. Старик обеими руками натягивал лесу до отказа. Он знал, что если ему не удастся замедлить ход рыбы таким же равномерным сопротивлением, она заберет все запасы его бечевы и сорвется.

«Она громадина, эта рыба, а я должен убедить ее в моей силе,— думал он.— Нельзя, чтобы она почувствовала мою слабость и поняла, что может сделать со мной, если пустится наутек. На ее месте я бы все сейчас поставил на карту и шел бы вперед до

тех пор, покуда что-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают, хотя в них гораздо больше и ловкости и благородства».

Старик встречал на своем веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более тысячи фунтов, и сам поймал в свое время две таких рыбы, но никогда еще ему не приходилось делать это в одиночку. А теперь один, в открытом море, он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, о какой даже никогда не слышал, и его левая рука по-прежнему была сведена судорогой, как сжатые когти орла.

«Ну, рука у меня разойдется,— подумал он.— Конечно, разойдется, хотя бы для того, чтобы помочь правой руке. Жили-были три сестры: рыба и мои две руки... Непременно разойдется. Просто стыд, что ее свело». Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью.

«Интересно, почему она вдруг вынырнула,— размышлял старик.— Можно подумать, что она вынырнула только для того, чтобы показать мне, какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою сведенную руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше. Хотел бы я быть рыбой и чтобы у меня было все, что есть у нее, а не только воля и сообразительность».

Он покойно уселся, прислонившись к дощатой обшивке, безропотно перенося мучившую его боль, а рыба все так же упорно плыла вперед, и лодка медленно двигалась по темной воде. Восточный ветер поднял небольшую волну. К полудню левая рука у старика совсем ожила.

— Туго тебе теперь придется, рыба,— сказал он и передвинул бечеву на спине.

Ему было хорошо, хотя боль и донимала его по-прежнему; только он не признавался себе в том, как ему больно.

— В бога я не верую,— сказал он.— Но я прочту десять раз «Отче наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы поймать эту рыбу. Я дам обет отправиться на богомолье к Кобренской божьей матери, если я ее и впрямь поймаю. Даю слово.

Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова, и тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу» повторять легче, чем «Отче наш»,— думал он.

— Богородице дево, радуйся, благодатная Марие, господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси души наших. Аминь.— Потом он добавил: — Пресвятая богородица, помолись, чтобы рыба умерла. Хотя она и очень замечательная.

Прочтя молитву и почувствовав себя куда лучше, хотя боль нисколько не уменьшилась, а, может быть, даже стала сильнее, он прислонился к обшивке носа и начал машинально упражнять пальцы левой руки.

Солнце жгло, несмотря на то что ветерок потихоньку усиливался.

— Пожалуй, стоит опять наживить маленькую удочку на корме,— сказал старик.— Если рыба не всплывет в эту ночь, мне нужно будет снова поесть, да и воды в бутылке осталось совсем немного. Не думаю, чтобы я мог поймать здесь что-нибудь, кроме макрели. Но если ее съесть сразу, она не так уж противна. Хорошо бы почью ко мне в лодку попалась летучая рыба. Но у меня нет света, которым я мог бы ее заманить. Сырая летучая рыба — отличная еда, и потрошить ее не надо. А мне теперь лучше беречь силы. Ведь не знал же я, господи, что она такая большая!.. Но я ее все равно одолею,— сказал он.— При всей ее величине и при всем ее великолепии.

«Хоть это несправедливо,— прибавил он мысленно,— но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести».

— Я ведь говорил мальчику, что я необыкновенный старик,— сказал он.— Теперь пришла пора это доказать.

Какая разница, что он доказывал это уже тысячу раз? Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается сызнова; поэтому, когда он что-нибудь делал, он никогда не вспоминал о прошлом.

«Хотел бы я, чтобы она заснула, тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов,— подумал он.— Почему львы — это самое лучшее, что у меня осталось?»

— Не надо думать, старик,— сказал он себе.— Отдыхай тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше.

Солнце клонилось к закату, а лодка все плыла и плыла, медленно и неуклонно. Восточный ветерок подгонял ее, и старик тихонько покачивался на невысоких волнах, легко перенося боль от веревки, врезавшейся ему в спину.

Как-то раз после полудня леса стала подниматься снова. Однако рыба просто продолжала свой ход на несколько меньшей глубине. Солнце теперь припекало старику спину, левое плечо и руку. Из этого он понял, что рыба свернула на северо-восток.

Теперь, когда он уже однажды взглянул на рыбу, он мог себе представить, как она плывет под водой, широко, словно крылья, раскинув фиолетовые грудные плавники и прорезая тьму могучим хвостом. «Интересно, много ли она видит на такой глубине? — подумал старик.— У нее огромные глаза, а лошадь, у которой глаза куда меньше, видит в темноте. Когда-то и я хорошо

видел в темноте. Конечно, не в полной тьме, но зрение у меня было почти как у кошки».

Солнце и беспрестанное упражнение пальцев совершенно расправили сведенную судорогой левую руку, и старик стал постепенно перемещать на нее тяжесть работы, двигая мускулами спины, чтобы хоть немного ослабить боль от бечевы.

— Если ты еще не устала,— сказал он вслух,— ты и в самом деле — необыкновенная рыба.

Сам он теперь чувствовал огромную усталость, знал, что скоро наступит ночь, и поэтому старался думать о чем-нибудь посторонием. Он думал о высших бейсбольных лигах, которые для него были *Gran Ligas*, и о том, что сегодня нью-йоркские «Янки» должны играть с «Тиграми» из Детройта.

«Вот уже второй день, как я ничего не знаю о результатах *juegos* [1],— подумал он.— Но я должен верить в свои силы и быть достойным великого Ди Маджио, который все делает великолепно, что бы он ни делал, даже тогда, когда страдает от пяточной шпоры. Что такое пяточная шпора? *Un espuelo de hueso*. У нас, рыбаков, их не бывает. Неужели это так же больно, как удар в пятку шпорой бойцового петуха? Я, кажется, не вытерпел бы ни такого удара, ни потери глаза или обоих глаз и не смог бы продолжать драться, как это делают бойцовые петухи. Человек — это не бог весть что рядом с замечательными зверями и птицами. Но мне бы хотелось быть тем зверем, что плывет сейчас там, в морской глубине».

— Да, если только не нападут акулы,— сказал он вслух.— Если нападут акулы — помилуй господи и ее, и меня!

«Неужели ты думаешь, что великий Ди Маджио держался бы за рыбу так же упорно, как ты? — спросил он себя.— Да, я уверен, что он поступил бы так же, а может, и лучше, потому что он моложе и сильнее меня. К тому же отец его был рыбаком... А ему очень больно от пяточной шпоры?»

— Не знаю,— сказал он вслух.— У меня никогда не было пяточной шпоры.

Когда солнце зашло, старик, чтобы подбодриться, стал вспоминать о том, как однажды в таверне Касабланки он состязался в силе с могучим негром из Сьенфуэгоса, самым сильным человеком в порту. Они просидели целые сутки друг против друга, уперев локти в черту, проведенную мелом на столе, не опуская рук и крепко сцепив ладони. Каждый из них пытался пригнуть руку другого к столу. Кругом держали пари, люди входили и выходили из комнаты, тускло освещенной керосиновыми лампами, а он не сводил глаз с руки и локтя негра и с его лица. После того как про-

[1] Спортивные игры *(исп.)*.

шли первые восемь часов, судьи стали меняться через каждые четыре часа, чтобы поспать. Из-под ногтей обоих противников сочилась кровь, а они все глядели друг другу в глаза и на руку и на локоть. Люди, державшие пари, входили и выходили из комнаты; они рассаживались на высокие стулья у стен и ждали, чем это кончится. Деревянные стены были выкрашены в ярко-голубой цвет, и лампы отбрасывали на них тени. Тень негра была огромной и шевелилась на стене, когда ветер раскачивал лампы.

Преимущество переходило от одного к другому всю ночь напролет; негра поили ромом и зажигали ему сигареты. Выпив рому, негр делал отчаянное усилие, и один раз ему удалось пригнуть руку старика — который тогда не был старпком, а звался Сантьяго *El Campéon* [1] — почти на три дюйма. Но старик снова выпрямил руку. После этого он уже больше не сомневался, что победит негра, который был хорошим парнем и большим силачом. А на рассвете, когда люди стали требовать, чтобы судья объявил ничью, а тот только пожимал плечами, старик внезапно собрал последние силы и стал пригибать руку негра все ниже и ниже, покуда она не легла на стол. Поединок начался в воскресенье утром и окончился утром в понедельник. Многие из державших пари требовали признать ничью, потому что им пора было выходить на работу в порт, где они грузили уголь для Гаванской угольной компании или мешки с сахаром. Если бы не это, все бы хотели довести состязание до конца. Но старик победил, и победил до того, как грузчикам надо было выйти на работу.

Долго еще потом его звали Чемпионом, а весною он дал негру отыграться. Однако ставки уже были не такими высокими, и он легко победил во второй раз, потому что вера в свою силу у негра из Сьенфуэгоса была сломлена еще в первом матче. Потом Сантьяго участвовал еще в нескольких состязаниях, но скоро бросил это дело. Он понял, что если очень захочет, то победит любого противника, и решил, что такие поединки вредны для его правой руки, которая нужна ему для рыбной ловли. Несколько раз он пробовал состязаться левой рукой. Но его левая рука всегда подводила его, не желала ему подчиняться, и он ей не доверял.

«Солнце ее теперь пропечет хорошенько,— подумал он.— Она не посмеет больше затекать мне назло, разве что ночью будет очень холодно. Хотел бы я знать, что мне сулит эта ночь».

Над головой у него пролетел самолет, направлявшийся в Майами, и старик видел, как тень самолета спугнула и подняла в воздух целую стаю летучих рыб.

— Раз здесь так много летучей рыбы, где-то поблизости должна быть и макрель,— сказал он и посильнее уперся спиною

[1] Чемпион *(исп.)*.

в лесу, проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но скоро понял, что это невозможно, потому что бечева снова задрожала, угрожая лопнуть, и с нее запрыгали водяные капли. Лодка медленно плыла вперед, и он провожал глазами самолет, пока тот не скрылся.

«Наверно, с самолета все выглядит очень странно,— подумал он.— Интересно, какой вид с такой вышины имеет море? Они оттуда могли бы прекрасно разглядеть мою рыбу, если бы не летели так высоко. Хотел бы я медленно-медленно лететь на высоте в двести саженей, чтобы сверху посмотреть на мою рыбу. Когда я плавал за черепахами и, бывало, взбирался на верхушку мачты, я даже оттуда мог разглядеть довольно много. Макрель оттуда выглядит более зеленой, и можно различить на ней фиолетовые полосы и пятна и увидеть, как плывет вся стая. Почему у всех быстроходных рыб, которые плавают в темной глубине, фиолетовые спины, а зачастую и фиолетовые полосы и пятна? Макрель ведь только выглядит зеленой, на самом деле она золотистая. Но когда она по-настоящему голодна и охотится за пищей, на боках у нее проступают фиолетовые полосы, как у марлина. Неужели это от злости? А может быть, потому что она движется быстрее, чем обычно?»

Незадолго до темноты, когда они проплывали мимо большого островка саргассовых водорослей, которые вздымались и раскачивались на легкой волне, словно океан обнимался с кем-то под желтым одеялом, на маленькую удочку попалась макрель. Старик увидел ее, когда она подпрыгнула в воздух, переливаясь чистым золотом в последних лучах солнца, сгибаясь от ужаса пополам и бешено хлопая по воздуху хвостом.

Она подпрыгивала снова и снова от страха, как заправский акробат, а старик перебрался на корму, присел и, удерживая большую бечеву правой рукой и локтем, вытащил макрель левой, наступая босой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была у самой лодки и отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону, старик перегнулся через корму и втащил в лодку жаркую, как золото, рыбу с фиолетовыми разводами. Пасть макрели судорожно сжималась, прикусывая крючок, а длинное плоское тело, голова и хвост колотились о дно лодки, пока старик не стукнул ее по горящей золотом голове и она, задрожав, не затихла.

Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его сардиной и закинул леску за борт. Потом он медленно перебрался на нос. Обмыв левую руку, он вытер ее о штаны, переместил тяжелую бечеву с правого плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце опускается в океан и с каким уклоном тянется в воду его большая леса.

— Все идет по-прежнему,— сказал он.

Но, опустив руку в воду, он почувствовал, что движение лодки сильно замедлилось.

— Я свяжу друг с другом оба весла и прикреплю их поперек кормы, чтобы ночью они тормозили лодку,— сказал он.— У этой рыбы хватит сил на всю ночь. Ну, и у меня тоже.

«Пожалуй, лучше будет, если я выпотрошу макрель попозже,— подумал он,— чтобы из нее не вытекла вся кровь. Я сделаю это немного погодя и тогда же свяжу весла, чтобы притормозить лодку. Лучше мне покуда не беспокоить рыбу, особенно во время захода солнца. Закат — тяжелая пора для всякой рыбы».

Он обсушил руку на ветру, и затем, схватив ею лесу, позволил рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой обшивке, переместив таким образом упор со своего тела на лодку.

«Кое-чему я научился,— подумал он.— Пока что я с ней управляюсь. К тому же нельзя забывать, что она не ела с тех пор, как проглотила наживку, а она ведь большая, и ей нужно много пищи. Я-то съел целого тунца. Завтра я поем макрели.— Старик называл макрель *dorado*.— Пожалуй, я съем кусочек, когда буду ее чистить. Макрель есть труднее, чем тунца. Но ничто на свете не дается легко».

— Как ты себя чувствуешь, рыба? — спросил он громко.— Я себя чувствую прекрасно. Левая рука у меня прошла, и пищи хватит на целую почь и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба.

Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту, а это его беспокоило. «Со мной случались вещи и похуже,— утешал он себя.— Рука у меня порапена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке. Да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе».

Было темно; в сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к щербатым доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные и тогда эти далекие друзья будут снова с ним.

— Рыба — она тоже мне друг,— сказал он.— Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!

«Представь себе: человек что ни день пытается убить луну! А луна от него убегает. Ну, а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло»,— подумал он.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть, но печаль о ней нисколько не мешала решимости ее убить. Сколько людей она насытит! Но достойны ли люди ею питаться? Конеч-

но, нет. Никто на свете не достоин ею питаться: поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством.

«Я многого не понимаю,— подумал он.— Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев.

Теперь мне следует подумать о тормозе из весел. У него есть и хорошие и дурные стороны. Я могу потерять столько бечевы, что потеряю и рыбу, если она захочет вырваться, а тормоз из весел лишит лодку подвижности. Легкость лодки продлевает наши страдания — и мои, и рыбы, но в ней и мое спасение. Ведь эта рыба, если захочет, может плыть еще быстрее. Как бы там ни было, надо выпотрошить макрель, пока она не протухла, и поесть немножко, чтобы набраться сил.

Теперь я отдохну еще часок, а потом, если увижу, что рыба ничего не замышляет, переберусь на корму, сделаю там что нужно и приму решение насчет весел. А тем временем я присмотрюсь, как она будет себя вести. Штука с веслами — удачная выдумка, однако сейчас надо играть наверняка. Рыба еще в полной силе, и я заметил, что крючок застрял у нее в самом углу рта, а рот она держит плотно закрытым. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики, ее куда больше мучит голод и ощущение опасности, которой она не понимает. Отдохни же, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет твой черед».

Он отдыхал, как ему казалось, не меньше двух часов.

Луна выходила теперь поздно, и он не мог определить время. Правда, отдыхал он только так, относительно. Он по-прежнему ощущал спиной тяжесть рыбы, но, опершись левой рукой о планшир носа, старался переместить все большую и большую нагрузку на самую лодку.

«Как все было бы просто, если бы я мог привязать лесу к лодке! — подумал он.— Но стоит ей рвануться хотя бы легонько — и бечева лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готовым в любую минуту отпустить бечеву обеими руками».

— Но ты ведь еще не спал, старик,— сказал он вслух.— Прошло полдня и одна ночь, а потом еще день, а ты все не спишь и не спишь. Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она спокойна и не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя помутится.

«Сейчас голова у меня ясная,— подумал он.— Даже слишком. Такая же ясная, как сестры мои, звезды. Но все равно мне надо поспать. И звезды спят, и луна спит, и солнце спит, и даже океан иногда спит в те дни, когда нет течения и стоит полная тишь.

Не забудь поспать,— напомнил он себе.— Заставь себя поспать; придумай какой-нибудь простой и верный способ, как за-

крепить бечеву. Теперь ступай на корму и выпотроши макрель. А тормоз из весел — вещь опасная, если ты заснешь.

Но я могу обойтись и без сна,— сказал он себе.— Да, можешь, но и это слишком опасно».

Он стал на четвереньках перебираться на корму, стараясь не потревожить рыбу. «Она, может быть, тоже дремлет,— подумал он.— Но я не хочу, чтобы она отдыхала. Она должна тащить лодку, покуда не умрет».

Добравшись до кормы, он повернулся и переместил всю тяжесть рыбы на левую руку, а правой вытащил из чехла нож. Звезды светили ярко, и макрель хорошо была видна. Воткнув нож ей в голову, старик вытащил ее из-под кормы. Он придержал рыбу ногой и быстро вспорол ей живот от хвоста до кончика нижней челюсти. Потом положил нож, правой рукой выпотрошил макрель и вырвал жабры. Желудок был тяжелый и скользкий; разрезав его, он нашел там две летучие рыбы. Они были свежие и твердые, и он положил их рядышком на дно лодки, а внутренности выбросил за борт. Погрузившись в воду, они оставили за собой светящийся след. В бледном сиянии звезд макрель казалась грязно-белой. Старик ободрал с одного бока кожу, придерживая голову рыбы ногой. Потом он перевернул макрель, снял кожу с другого бока и срезал мясо с обоих боков от головы до хвоста.

Выкинув скелет макрели за борт, он поглядел, не видно ли на воде кругов, но там был только светящийся след медленно уходящего вглубь остова рыбы. Тогда он повернулся, положил двух летучих рыб между кусками макрельего филе и, спрятав нож в чехол, снова осторожно перебрался на нос. Спину его пригибала тяжесть лесы, рыбу он нес в правой руке.

Вернувшись на нос, он разложил рыбное филе на досках и рядом с ним положил летучих рыб. После этого он передвинул лесу на еще не наболевшую часть спины и снова уперся в планшир. Перегнувшись через борт, он обмыл летучую рыбу в море, замечая попутно, как быстро движется вода у него под рукой. Рука его светилась оттого, что он сдирал ею с макрели кожу, и он смотрел, как ее обтекает вода. Теперь она текла медленнее, и, потерев ребро руки о край лодки, он увидел, как неторопливо уплывают к корме частицы фосфора.

— Она либо устала, либо отдыхает,— сказал старик.— Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать.

Он съел половину одного из филе и одну летучую рыбу, которую предварительно выпотрошил при свете звезд, чувствуя, как ночь становится все холоднее.

— Что может быть вкуснее макрели, если есть ее в вареном виде! — сказал он.— Но до чего же она противна сырая! Никогда больше не выйду в море без соли и без лимона.

«Будь у меня голова на плечах,— думал он,— я бы целый день поливал водой нос лодки и давал ей высохнуть — к вечеру у меня была бы соль. Да, но ведь я поймал макрель перед самым заходом солнца. И все-таки я многого не предусмотрел. Однако я сжевал весь кусок, и меня не тошнит».

Небо на востоке затуманилось облаками, и знакомые звезды гасли одна за другой. Казалось, что он вступает в огромное ущелье из облаков. Ветер стих.

— Через три или четыре дня наступит непогода,— сказал он.— Но еще не сегодня и не завтра. Поспи, старик, покуда рыба ведет себя смирно.

Он крепко держал лесу правой рукой и, припав к руке бедром, налег всем телом на борт лодки. Потом сдвинул бечевку на спине чуть пониже и ухватился за нее левой рукой.

«Правая рука будет держать лесу, пока не разожмется. А если во сне она разожмется, меня разбудит левая рука, почувствовав, как леса убегает в море. Конечно, правой руке будет нелегко. Но она привыкла терпеть лишения. Если я посплю хотя бы минут двадцать или полчаса, и то хорошо».

Прижимая лесу к доскам телом и всей тяжестью навалившись на правую руку, он заснул.

Во сне он не видел львов, но зато ему приснилась огромная стая морских свиней, растянувшаяся на восемь или на десять миль, а так как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух, и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись.

Потом ему снилось, что он лежит на своей кровати в деревне и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно, а правая рука у него затекла, потому что он положил ее под голову вместо подушки.

И уже только потом ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый лев, а за ним идут и другие; он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре, его обвевает вечерний ветер с суши, он ждет, не покажутся ли новые львы, и совершенно счастлив.

Луна уже давно взошла, но он все спал и спал, а рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков.

Он проснулся от рывка; кулак правой руки ударил его в лицо, а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бечеву правой рукой, но леса продолжала бешено уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бечеву, он уперся в нее спиной, и теперь леса жгла его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть работы. Он оглянулся на запасные мотки лесы и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение

рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять; лодка неслась вперед, хотя леса и продолжала мчаться за борт; старик натягивал ее до отказа, на миг отпускал, а потом снова натягивал изо всех сил, рискуя, что она оборвется. Его самого притянуло вплотную к носу, лицо его было прижато к куску макрельего мяса, но он не мог пошевелиться.

«Вот этого-то мы и ждали,— подумал он.— Теперь держись... Я ей отплачу за лесу! Я ей отплачу!»

Он не мог видеть прыжков рыбы, он только слышал, как с шумом разверзается океан, и тяжелый всплеск, когда рыба вновь падала в воду. Убегающая за борт бечева жестоко резала руки, но он заранее знал, что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладонь или пальцы.

«Если бы со мной был мальчик,— подумал старик,— он смочил бы лесу водой. Да, если бы мальчик был здесь! Если бы только мальчик был здесь!»

Леса все неслась, неслась и неслась, но теперь она шла уже медленнее, и он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Ему удалось поднять голову и отодвинуть лицо от макрельего мяса, которое его скула превратила в лепешку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он все еще отпускал лесу, но все скупее и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бечевы, он убедился, что запас у него еще большой. А в воде ее столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться.

«Ну вот,— подумал он.— Теперь она прыгнула уже больше десяти раз и наполнила свои пузыри воздухом; теперь она уже не сможет уйти в глубину, откуда ее не достать, и не умрет там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? То ли голод довел ее до отчаяния, то ли что-нибудь испугало во тьме? Может быть, она вдруг почувствовала страх. Но ведь это была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой бесстрашной и такой уверенной в себе. Странно!»

— Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы,— сказал он.— Хоть ты ее и держишь, ты не можешь выбрать ни дюйма лесы. Но скоро она начнет делать круги.

Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами; нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо. «Сейчас она плывет почти на восток,— подумал он.— Это значит, что она ус-

тала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами. Тогда-то и начнется настоящая работа».

Подержав некоторое время руку в соленой воде, он вынул и оглядел ее.

— Не так страшно,— сказал он.— А боль мужчине нипочем.

Старик осторожно взялся за лесу, стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы он мог и левую руку опустить в воду через другой борт лодки.

— Для такого ничтожества, как ты, ты вела себя неплохо,— сказал он левой руке.— Но было время, когда ты меня чуть не подвела.

«Почему я не родился с двумя хорошими руками? — думал он.— Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует. Но, видит бог, она и сама могла научиться! Честно говоря, она не так уж меня подвела нынче ночью; и судорогой ее свело всего один раз. Но если это повторится, тогда уж лучше пусть ее совсем отрежет бечевой!»

Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось. Надо бы пожевать еще кусочек макрели. «Не могу,— сказал он себе.— Пусть лучше у меня будет голова не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу удержать в себе мясо после того, как на нем лежало мое лицо. Я буду держать мясо на крайний случай, пока оно не испортится. Все равно сейчас уже поздно подкрепляться. Глупый старик! — выругал он себя.— Ты ведь можешь съесть вторую летучую рыбу».

Вот она лежит, выпотрошенная, чистенькая,— и, взяв ее левой рукой, он съел летучую рыбу, старательно разжевывая кости, съел всю целиком, без остатка.

«В ней больше питательности, чем почти в любой другой рыбе,— подумал он.— Во всяком случае, в ней есть то, в чем я нуждаюсь. Ну вот, теперь я сделал все, что мог. Пусть только она начнет кружить — мы с ней сразимся».

Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море, и тут-то рыба начала делать круги.

Он еще не мог определить по уклону, под которым леса уходила в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только почувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Леса натянулась до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, освободил плечи от давившей на них бечевы и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно.

Старик работал, взмахивая обеими руками поочередно, ста-

раясь, чтобы спина и ноги побольше участвовали в работе. Его старые ноги и плечи помогали взмахам рук.

— Она делает очень большой круг,— сказал он,— но она его все-таки делает.

Внезапное движение лесы затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда с нее не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, опустившись на колени, старик стал нехотя отпускать ее назад, в темную воду.

— Теперь рыба проходит самую дальнюю часть своего круга,— сказал он.

«Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бечева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею».

Однако прошло два часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо меньше, и по тому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность.

Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна, соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом, на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но два раза он почувствовал слабость и головокружение, и это встревожило его не на шутку.

«Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы? — спрашивал он себя.— И главное — теперь, когда все идет так хорошо. Господи, помоги мне выдержать! Я прочту сто раз «Отче наш» и сто раз «Богородицу». Только не сейчас. Сейчас не могу».

«Считай, что я их прочел,— подумал он.— Я прочту их после».

В этот миг он почувствовал удары по бечеве, которую держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный.

«Она бьет своим мечом по проволоке, которой привязан крючок,— подумал старик.— Естественное дело. Так ей и полагалось поступить. Однако теперь она может выпрыгнуть, а я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были нужны, чтобы она набрала воздуху, но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок, и рыба может сорваться».

— Не прыгай, рыба,— просил он.— Пожалуйста, не прыгай!

Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачав головой, старик понемногу отпускал лесу.

«Я не должен причинять ей лишнюю боль,— думал он.— Моя боль — она при мне. С ней я могу совладать. Но рыба может обезуметь от боли».

Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и снова начала медленно делать круги. Старик равномерно выбирал лесу. Но ему опять стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил себе на голову. Потом он вылил себе на голову еще немного воды и растер затылок.

— Зато у меня нет больше судороги,— сказал он.— Рыба скоро выплывет, а я еще подержусь. Ты должен держаться, старик. И не смей даже думать иначе.

Он опустился на колени и на время снова пропустил лесу за спину. «Покуда она кружит, я передохну, а потом встану и, когда она подойдет поближе, снова начну выбирать лесу».

Ему очень хотелось подольше отдохнуть на носу лодки и позволить рыбе сделать лишний круг, не выбирая лесы. Но когда тяга показала, что рыба, сделав полкруга, повернула и возвращается к лодке, старик встал и начал тянуть бечеву, взмахивая поочередно руками и вертя из стороны в сторону туловищем, для того чтобы выбрать как можно больше лесы.

«Я так устал, как не уставал еще ни разу в жизни,— подумал старик,— а между тем ветер усиливается. Правда, ветер будет кстати, когда я повезу ее домой. Мне он очень пригодится, этот ветер».

— Я отдохну, когда она пойдет в новый круг,— сказал он.— Тем более что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Еще каких-нибудь два-три круга — и рыба будет моя.

Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и когда рыба повернула и снова стала тянуть, он повалился на нос.

«Поработай теперь ты, рыба,— подумал он.— Я снова возьмусь за тебя, как только ты повернешь назад».

По морю пошла крупная волна. Но воду гнал добрый ветер, спутник ясной погоды, который был ему нужен, чтоб добраться до дому.

— Буду править на юг и на запад,— сказал он.— И все. Разве можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный.

Рыбу он увидел во время третьего круга.

Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не поверил.

— Нет,— сказал он.— Не может она быть такая большая.

Но рыба была такая большая, и к концу третьего круга она всплыла на поверхность всего в тридцати ярдах от лодки, и старик увидел, как поднялся над морем ее хвост. Он был больше лезвия самой большой косы и над темно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула снова, но уже неглубоко, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, а огромные грудные плавники раскинуты в стороны.

Пока она делала круг, старик разглядел глаз рыбы и плывших подле нее двух серых рыб-прилипал. Время от времени прилипалы присасывались к рыбе, а потом стремглав бросались прочь. Порою же они весело плыли в тени, которую отбрасывала большая рыба. Каждая из прилипал была длиною более трех футов, и когда они плыли быстро, они извивались всем телом, как угри.

По лицу старика катился пот, но теперь уже не только от солнца. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше лесы и теперь был уверен, что через два круга ему удастся всадить в рыбу гарпун.

«Но я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе,— подумал он.— И не надо целиться в голову. Надо бить в сердце».

— Будь спокойным и сильным, старик,— сказал он себе.

Во время следующего круга спина рыбы показалась над водой, но плыла она все еще слишком далеко от лодки. Рыба сделала еще один круг, но была по-прежнему слишком далеко от лодки, хотя и высовывалась из воды куда больше. Старик знал, что, выбери он еще немного лесы, он мог бы подтащить рыбу к самому борту.

Он уже давно приготовил гарпун; связка тонкого троса лежала в круглой корзине, а конец он привязал к битенгу на носу.

Рыба приближалась, делая свой круг, такая спокойная и красивая, чуть шевеля огромным хвостом. Старик тянул лесу что было силы, стараясь подтащить рыбу как можно ближе к лодке. На секунду рыба слегка завалилась на бок. Потом она выпрямилась и начала новый круг.

— Я сдвинул ее с места,— сказал старик.— Я все-таки заставил ее перевернуться.

У него снова закружилась голова, но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. «Ведь мне все-таки удалось перевернуть ее на бок,— думал он.— Может быть, на этот раз я сумею перевернуть ее на спину. Тяните! — приказывал он своим рукам.— Держите меня, ноги! Послужи мне еще, голова! Послужи мне. Ты ведь никогда меня не подводила. На этот раз я переверну ее на спину».

Еще задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг силы и стал тянуть изо всей мочи. Но рыба лишь слегка повернулась на бок, потом снова выпрямилась и уплыла вдаль.

— Послушай, рыба! — сказал ей старик.— Ведь тебе все равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер?

«Этак мне ничего не добиться»,— подумал старик. Во рту у него так пересохло, что он больше не мог говорить, и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить ее к лодке,— подумал он.— Надолго меня не хватит».— «Нет, хватит,— возразил он себе.— Тебя, старик, хватит навеки».

Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь.

«Ты губишь меня, рыба,— думал старик.— Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что ж, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет».

«Опять у тебя путается в голове, старик! А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания, как человек... Или как рыба»,— мысленно добавил он.

— А ну-ка, голова, работай,— сказал он так тихо, что едва услышал свой голос.— Работай, говорят тебе.

Еще два круга все оставалось по-прежнему.

«Что делать? — думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание.— Что делать? Попробую еще раз».

Он сделал еще одну попытку и почувствовал, что теряет сознание, но он все-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась обратно и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом.

«Попробую еще раз»,— пообещал старик, хотя руки у него совсем ослабли и перед глазами стоял туман.

Он попробовал снова, и рыба снова ушла. «Ах, так? — подумал он и сразу же почувствовал, как жизнь в нем замирает.— Я попробую еще раз».

Он собрал всю свою боль, и весь остаток своих сил, и всю свою давно утраченную гордость и бросил все это против мук, которые терпела рыба, и тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до борта лодки; она чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца.

Старик кинул лесу, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, какая у него была и какую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного плавника, вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, наваливаясь на него всей тяжестью своего тела.

И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть,— она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками воды и старика, и всю его лодку.

Старика одолела слабость и дурнота; он почти ничего не видел. Но, отпустив веревку гарпуна, он стал медленно перебирать ее в

изрезанных руках, а когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине, серебряным брюхом кверху. Древко гарпуна торчало наискось из ее груди, а море вокруг было окрашено кровью ее сердца. Сначала пятно было темное, словно в голубой воде виднелась мель, хотя глубина тут была больше мили. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах.

Старик всматривался в это призрачное зрелище, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды намотал веревку гарпуна на битенг и опустил голову на руки.

«Что же это с моей головой? — сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа.— Я старый человек, и я очень устал. Но я все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата, и теперь мне осталось сделать черную работу.

Теперь я должен приготовить веревку и связать ее в петли, чтобы принайтовить рыбу к лодке. Даже если бы нас было двое и мы затопили бы лодку, чтобы погрузить в нее рыбу, а потом вычерпали воду,— все равно лодка не выдержала бы такой тяжести. Я должен подготовить все, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать ее накрепко к лодке, поставить парус и отправиться восвояси».

Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив веревку через жабры и через пасть, привязать ее голову к носу.

«Мне хочется посмотреть на нее,— подумал он,— потрогать ее, почувствовать, что же это за рыба? Ведь она — мое богатство. Но я не поэтому хочу ее потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до ее сердца,— думал он,— тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца. Ладно, подтяни ее поближе, привяжи, надень петлю ей на хвост, а другую перекинь вокруг туловища, чтобы получше приладить ее к лодке».

— Ну, старик, за работу,— сказал он себе и отпил маленький глоток воды.— Теперь, когда битва окончена, осталась еще уйма черной работы.

Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце очень внимательно. «Сейчас едва перевалило за полдень. А пассат крепчает. Бог с ними, с лесами. Мы с мальчиком срастим их дома».

— Подойди-ка сюда, рыба!

Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах, и старику пришлось самому подвести к ней лодку.

Когда он подошел к ней вплотную и голова рыбы была вровень с носом лодки, старик снова поразился ее величине. Но он отвязал гарпунную веревку от битенга, пропустил ее через жабры рыбы, вывел конец через пасть, обкрутил его вокруг меча, потом снова пропустил веревку через жабры с другого бока, опять захлестнул

за меч и, связав двойным узлом, привязал к битенгу. Перерезав веревку, он перешел на корму, чтобы петлей закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми, как хвост. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз рыбы был таким же отрешенным, как зеркало перископа или как лики святых во время крестного хода.

— Я не мог ее убить иначе,— сказал старик.

Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что не потеряет сознания, и в голове у него прояснилось. «Она весит не меньше чем полторы тысячи фунтов,— подумал он.— А может быть, и значительно больше». Сколько же он получит, если мяса выйдет две трети этого веса по тридцати центов за фунт?

— Без карандаша не сочтешь,— сказал старик.— Для этого нужна ясная голова. Но я думаю, что великий Ди Маджио мог бы сегодня мною гордиться. Правда, у меня не было пяточной шпоры. Но руки и спина у меня здорово болят. Интересно, что такое пяточная шпора? Может, и у нас она есть, да только мы этого не подозреваем?

Старик привязал рыбу к носу, к корме и к средней банке. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого яла. Отрезав кусок бечевы, он подвязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался и было легче плыть. Потом он поставил мачту, палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад.

Старику не нужен был компас, чтобы определить, где юго-запад. Ему достаточно было чувствовать, куда дует пассат и как надувается парус. «Пожалуй, стоило бы забросить удочку — не поймаю ли я на блесну какую-нибудь рыбешку, а то ведь мне нечего есть». Но он не нашел блесны, а сардины протухли. Тогда он подцепил багром пук желтых водорослей, мимо которого они проплывали, и потряс его; оттуда высыпались в лодку маленькие креветки. Их было больше дюжины, и они прыгали и перебирали ножками, словно земляные блохи. Старик двумя пальцами оторвал им головки и съел целиком, разжевывая скорлупу и хвост. Креветки были крошечные, но старик знал, что они очень питательны, и вкус у них был отменный.

В бутылке еще оставалось немного воды, и, поев креветок, старик отпил от нее четвертую часть.

Лодка шла хорошо, несмотря на сопротивление, которое ей приходилось преодолевать, и старик правил, придерживая румпель локтем. Ему все время была видна рыба, а стоило ему взглянуть на свои руки или дотронуться до лодки спиной — и он чувствовал, что все это не было сном и случилось с ним на самом деле. Одно

время, к самому концу, когда ему стало дурно, старику вдруг показалось, что все это только сон. Да и потом, когда он увидел, как рыба вышла из воды и, прежде чем упасть в нее снова, неподвижно повисла в небе, ему почудилась во всем этом какая-то удивительная странность, и он не поверил своим глазам. Правда, тогда он и видел-то совсем плохо, а теперь глаза у него опять были в порядке.

Теперь он знал, что рыба существует на самом деле и что боль в руках и в спине — это тоже не сон. «Руки заживают быстро,— подумал он.— Я выпустил достаточно крови, чтобы не загрязнить раны, а соленая вода их залечит. Темная вода залива — лучший в мире целитель. Только бы вот у меня не путались мысли! Руки свое дело сделали, и лодка идет хорошо. Рот у рыбы закрыт, хвост она держит прямо, мы плывем с ней рядом, как братья». В голове у него снова немножко помутилось, и он подумал: «А кто же кого везет домой — я ее или она меня? Если бы я тащил ее на буксире, все было бы ясно. Или если бы она лежала в лодке, потеряв все свое достоинство, все тоже было бы ясно. Но ведь мы плывем рядом, накрепко связанные друг с другом. Ну и пожалуйста, пусть она меня везет, если ей так нравится. Я ведь взял над нею верх только хитростью; она не замышляла против меня никакого зла».

Они плыли и плыли, и старик полоскал руки в соленой воде и старался, чтобы мысли у него не путались. Кучевые облака шли высоко, над ними висели перистые; старик знал, что ветер будет дуть всю ночь. Он то и дело поглядывал на рыбу, чтобы проверить, в самом ли деле она ему не приснилась. Прошел целый час, прежде чем его настигла первая акула.

Акула догнала его не случайно. Она выплыла из самой глубины океана, когда темное облако рыбьей крови сгустилось, а потом разошлось по воде на целую милю вглубь. Она всплыла быстро, без всякой опаски, разрезала голубую воду, снова почуяла запах крови и поплыла по следу, который оставляли за собой лодка и рыба.

Порою она теряла след. Но она либо попадала на него снова, либо чуяла едва слышный его запах и шла за ним неотступно. Это была очень большая акула породы мако, созданная для того, чтобы плавать так же быстро, как плавает в море самая быстрая рыба, и все в ней было красиво, кроме пасти. Спина у нее была такая же голубая, как у меч-рыбы, брюхо серебряное, а кожа гладкая и красивая, и вся она была похожа на меч-рыбу, если не считать огромных челюстей, которые сейчас были плотно сжаты. Она быстро плыла у самой поверхности моря, легко прорезая воду своим высоким спинным плавником. За плотно сжатыми двойными губами ее пасти в восемь рядов шли скошенные вовнутрь зубы. Они были не

похожи на обычные пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы, скрюченные, как звериные когти. Длиною они не уступали пальцам старика, а по бокам были остры, как лезвия бритвы. Акула была создана, чтобы питаться всеми морскими рыбами, даже такими подвижными, сильными и хорошо вооруженными, что никакой другой враг им был не страшен. Сейчас она спешила, чуя, что добыча уже близко, и ее синий спинной плавник так и резал воду.

Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, чтобы акула подошла ближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу.

В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой.

«Дело шло уж больно хорошо, так не могло продолжаться»,— думал он.

Наблюдая за тем, как подходит акула, старик кинул взгляд на большую рыбу. «Лучше бы, пожалуй, все это оказалось сном. Я не могу помешать ей напасть на меня, но, может быть, я смогу ее убить? *Dentuso* [1],— подумал он.— Чума на твою мать!»

Акула подплыла к самой корме, и когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. Голова акулы возвышалась над водой, вслед за головой показалась и спина, и старик, слыша, как акульи челюсти с шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, всадил свой гарпун ей в голову в том месте, где линия, соединяющая ее глаза, перекрещивается с линией, уходящей от ее носа. На самом деле таких линий не было. Была только тяжелая, заостренная голубая голова, большие глаза и лязгающая, выпяченная, всеядная челюсть. Но в этом месте у акулы находится мозг, и старик ударил в него своим гарпуном. Он изо всех сил ударил в него гарпуном, зажатым в иссеченных до крови руках. Он ударил в него, ни на что не надеясь, но с решимостью и яростной злобой.

Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз, а потом она перевернулась снова, дважды обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела с этим мириться. Лежа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Море там, где она взбивала его хвостом, было совсем белое. Туловище акулы поднялось на три четверти над водой, веревка натянулась, задрожала и наконец лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, и ста-

[1] Зубастая *(исп.)* — вид акулы.

рик все глядел на нее. Потом очень медленно она погрузилась в воду.

— Она унесла с собою около сорока фунтов рыбы,— сказал старик вслух.

«Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток веревки,— прибавил он мысленно,— а из рыбы снова течет кровь, и вслед за этой акулой придут другие».

Ему больше не хотелось смотреть на рыбу теперь, когда ее так изуродовали. Когда акула кинулась на рыбу, ему показалось, что она кинулась на него самого.

«Но я все-таки убил акулу, которая напала на мою рыбу,— подумал он.— И это была самая большая *dentuso*, какую я когда-либо видел. А мне, ей-богу, пришлось повстречать на своем веку немало больших акул.

Дела мои шли слишком хорошо. Дольше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном: я не поймал никакой рыбы, а сплю себе один на кровати, застеленной газетами».

— Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражения,— сказал он.— Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.

«Жаль все-таки, что я убил рыбу,— подумал он.— Мне придется очень тяжко, а я лишился даже гарпуна. *Dentuso* — животное ловкое и жестокое, умное и сильное. Но я оказался умнее его. А может быть, и не умнее. Может быть, я был просто лучше вооружен».

— Не нужно думать, старик,— сказал он вслух.— Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет.

«Нет, я должен думать,— мысленно возразил он себе.— Ведь это все, что мне осталось. Это и бейсбол. Интересно, понравилось бы великому Ди Маджио, как я ударил акулу прямо в мозг? В общем, ничего в этом не было особенного — любой мог сделать не хуже. Но как ты думаешь, старик: твои руки мешали тебе больше, чем пяточная шпора? Почем я знаю! У меня никогда ничего не случалось с пятками, только один раз меня ужалил в пятку электрический скат, когда я наступил на него во время купанья; у меня тогда парализовало ногу до колена, и боль была нестерпимая».

— Подумай лучше о чем-нибудь веселом, старик,— сказал он вслух.— С каждой минутой ты теперь все ближе и ближе к дому. Да и плыть тебе легче с тех пор, как ты потерял сорок фунтов рыбы.

Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего.

— Неправда, у тебя есть выход,— сказал он.— Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел.

Он так и сделал, держа румпель под мышкой и наступив на шкот ногой.

— Ну вот,— сказал он.— Я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен.

Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. Старик смотрел только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды.

«Глупо терять надежду,— думал он.— К тому же, кажется, это грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чем подумать и без этого. Сказать правду, я в грехах мало что понимаю.

Не понимаю и, наверно, в них не верю. Может быть, грешно было убивать рыбу. Думаю, что грешно, хоть я и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще уйму людей. В таком случае все, что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать, да к тому же пусть грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой. Святой Петр тоже был рыбаком, так же как и отец великого Ди Маджио».

Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало, и так как ему нечего было читать и у него не было радио, он о многом думал, в том числе и о грехе. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим и поддержать свою жизнь,— думал он.— Ты убил ее из гордости и потому, что ты — рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно?»

— Ты слишком много думаешь, старик,— сказал он вслух.

«Но ты с удовольствием убивал *dentuso*,— подумал старик.— А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как многие другие акулы. Она — красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх».

— Я убил ее, защищая свою жизнь,— сказал старик вслух.— И я убил ее мастерски.

«К тому же,— подумал он,— все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как и не дает мне умереть. Мальчик — вот кто не дает мне умереть. Не обольщайся, старик».

Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где ее разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко.

Ветер не ослабевал; он подул еще больше на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки да желтели островки водорослей. Не было даже птиц.

Он плыл уже два часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из двух акул.

— Ай!— произнес старик слово, не имеющее смысла,— скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево.

— *Galanos*,— сказал он вслух.

Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но тем не менее они с каждой минутой приближались.

Старик намертво закрепил шкот и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы, и стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые, широконосые головы и большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул — вонючие убийцы, пожирающие и падаль; когда их мучит голод, они готовы укусить и весло и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах, когда те засыпают на поверхности моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека, даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью.

— Ай! — сказал старик.— Ну что ж, плывите сюда, *galanos*.

И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла мако. Одна из них, перевернувшись, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазами, затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась к тому месту рыбы, где ее обглодала мако. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место; потом вытащил нож и всадил его снова в желтый кошачий глаз акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила.

Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой, и старик, отвязав шкот, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал в мясо, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу.

— Ах, ты так? — сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвоночником.

Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассек хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул его акуле в пасть, чтобы разжать ей челюсти. Он повертел веслом и, когда акула соскользнула с рыбы, сказал:

— Ступай вниз, *galano*. Ступай вниз на целую милю. Повидайся там со своей подружкой. А может быть, то была твоя мать?

Он вытер лезвие ножа и положил весло в лодку. Потом нашел конец шкота и, когда парус наполнился ветром, повернул лодку на прежний курс.

— Они, наверно, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и притом самое лучшее мясо,— сказал он вслух.— Хотел бы я, чтобы все было сном и я не ловил этой рыбы. Мне жалко, рыба, что я это сделал. Выходит, что все это было ошибкой.

Старик замолчал, ему не хотелось теперь глядеть на рыбу. Обескровленная и вымоченная в воде, она по цвету напоминала амальгаму, которой покрывают зеркало, но полосы все еще были заметны.

— Мне не следовало уходить так далеко в море,— сказал он.— Мне очень жаль, рыба, что все так плохо получилось. И для тебя, и для меня. Ты уж прости меня, рыба.

«Ну-ка, не зевай! — сказал он себе.— Проверь, не перерезана ли веревка, которой прикреплен нож. И приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена».

— Жаль, что у меня нет точила для ножа,— сказал старик, проверив веревку на рукоятке весла.— Надо было мне захватить с собой точило.

«Тебе много чего надо было захватить с собой, старик,— подумал он.— Да вот не захватил. Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обойтись тем, что есть».

— Ух, и надоел же ты мне со своими советами! — сказал он вслух.

Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду.

Лодка плыла вперед.

— Один бог знает, сколько сожрала та последняя акула,— сказал он.— Но рыба стала легче.

Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы о лодку означал кусок оторванного мяса и что рыба теперь оставляет в море след, широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете.

«Такая рыба могла прокормить человека всю зиму... Не думай об этом, старик! Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось. Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да из рук кровь почти и не течет. На них нет глубоких порезов. А небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги.

О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы все это было сном. Впрочем, как знать? Все ведь могло обернуться и не так плохо».

Следующая акула явилась в одиночку и была тоже из породы широконосых.

Она подошла, словно свинья к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову.

Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось.

Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть.

— У меня остался багор,— сказал он.— Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка.

«Вот теперь они меня одолели,— подумал он.— Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель».

Он снова окунул руки в соленую воду.

Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю.

— Ты устал, старик,— сказал он.— Душа у тебя устала.

Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца.

Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже, несомненно, оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку.

Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около двух с половиной футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял ее в правую руку и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было две, и обе они были *galanos*.

«Мне надо дождаться, чтобы первая крепко уцепилась за рыбу,— подумал он,— тогда я ударю ее по кончику носа или прямо по черепу».

Обе акулы подплыли вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы. Рука его почувствовала упругую твердость кожи, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости под ней, и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду.

Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова, но удар опять пришелся по твердой упругой поверхности ее головы.

— Ну-ка, подойди поближе, *galano*,— сказал старик.— Подойди еще разок!

Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновение, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду.

Старик ждал, не появятся ли они снова, но ни той, ни другой больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе.

«Я и не рассчитывал, что могу их убить,— подумал старик.— Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь, в мои годы».

Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло.

— Скоро стемнеет,— сказал он.— Тогда я, наверно, увижу зарево от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов.

«Я не могу быть очень далеко от берега,— подумал старик.— Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Но он-то во мне не сомневается! Нет. Рыбаки постарше — те, наверно, тревожатся. Да и молодые тоже,— думал он.— Я ведь живу среди хороших людей».

Он не мог больше разговаривать с рыбой: уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль.

— Полрыбы! — позвал он ее.— Бывшая рыба! Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба? Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч.

Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю.

«Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами»,— думал он. Но у него не было топора, а теперь уже не стало и ножа.

«Но если бы у меня был меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла — замечательное было бы оружие! Вот тогда бы мы с ней и в самом деле сражались бок о бок! А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью? Что ты можешь сделать?»

— Драться,— сказал он,— драться, пока не умру.

Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева — были только ветер да надутый парус, и старику вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки и прижал ладонь к ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит, и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи.

«Мне надо прочесть все те молитвы, которые я обещался прочесть, если поймаю рыбу,— подумал он.— Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи».

Лежа на корме, он правил лодкой и ждал, когда покажется в небе зарево от огней Гаваны. «У меня осталась от нее половина,— думал он.— Может быть, мне посчастливится, и я довезу до дому хоть ее переднюю часть. Должно же мне наконец повезти!.. Нет,— сказал он себе.— Ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в море».

«Не болтай глупости, старик! — прервал он себя.— Не спи и следи за рулем. Тебе еще может привалить удача».

— Хотел бы я купить себе немножко удачи, если ее где-нибудь продают,— сказал старик.

«А на что ты ее купишь? — спросил он себя.— Разве ее купишь на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки?

Почем знать! Ты ведь хотел купить удачу за восемьдесят четы-

ре дня, которые ты провел в море. И, между прочим, тебе ее чуть было не продали...

Не нужно думать о всякой ерунде. Удача приходит к человеку во всяком виде, разве ее узнаешь? Я бы, положим, взял немножко удачи в каком угодно виде и заплатил за нее все, что спросят. Хотел бы я увидеть зарево Гаваны,— подумал он.— Ты слишком много хочешь сразу, старик. Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны — и ничего больше».

Он попробовал примоститься у руля поудобнее и по тому, как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер.

Он увидел зарево городских огней около десяти часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, какое бывает перед восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полосой океана, по которому крепчавший ветер гнал высокую волну. Он правил на эти огни и думал, что скоро, теперь уже совсем скоро войдет в Гольфстрим.

«Ну, вот и все,— думал он.— Наверно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?»

Все его тело ломило и саднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться,— подумал он.— Только бы мне больше не сражаться!»

Но в полночь он сражался с акулами снова — и на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свечение, когда они кидались рвать рыбу. Он бил дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой по чему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как что-то ухватило дубинку, и дубинки не стало.

Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но акулы уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой и все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море; акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу.

Одна из акул подплыла наконец к самой голове рыбы, и тогда старик понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли в крепкой рыбьей голове. Ударил раз, другой и третий. Услышав, как треснул и раскололся румпель, он стукнул акулу расщепленной рукояткой. Старик почувствовал, как дерево вонзилось в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть.

Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью, и на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал:

— Ешьте, *galanos*, давитесь! И пусть вам приснится, что вы убили человека.

Старик знал, что теперь уже побежден окончательно и непоправимо, но, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие и что им, на худой конец, тоже можно править.

Накинув мешок на плечи, он вернул лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Теперь ему было все равно, лишь бы поскорее и получше привести лодку к родному берегу. Ночью акулы накинулись на обглоданный остов рыбы, словно обжоры, хватающие объедки со стола. Старик не обратил на них внимания. Он ни на что больше не обращал внимания, кроме своей лодки. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы.

«Хорошая лодка,— подумал он.— Она цела и невредима, если не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый».

Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где находится, и добраться до дому теперь не составляло никакого труда.

«Ветер — он-то уж наверняка нам друг,— подумал он, а потом добавил:— Впрочем, не всегда. И огромное море — оно тоже полно и наших друзей, и наших врагов. А постель...— думал он,— постель — мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель — это великое дело! А как легко становится, когда ты побежден! — подумал он.— Я и не знал, что это так легко... Кто же тебя победил, старик? — спросил он себя.— Никто,— ответил он.— Просто я слишком далеко ушел в море».

Когда он входил в маленькую бухту, огни на Террасе были погашены, и старик понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал и теперь дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале.

Сняв мачту, он намотал на нее парус и завязал его. Потом взвалил мачту на плечо и двинулся в гору. Вот тогда он понял всю меру своей усталости. На минуту он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию ее позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом.

Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко, и он так и остался сидеть, глядя на дорогу. Пробежала кошка, направляясь по своим делам, и старик долго смотрел ей вслед; потом стал глядеть на пустую дорогу.

Наконец он сбросил мачту наземь и встал. Подняв мачту, он снова взвалил ее на плечо и пошел вверх по дороге. Ему пришлось отдыхать пять раз, покуда он достиг своей хижины.

Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он нашел бутылку с водой и напился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи, прикрыл им спину и ноги и заснул, уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх.

Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так сильно, что лодки не вышли в море, и мальчик проспал, а потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал.

Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано; один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой.

Мальчик не стал к ним спускаться; он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой.

— Как он себя чувствует? — крикнул мальчику один из рыбаков.

— Спит,— отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет.— Не надо его тревожить.

— От носа до хвоста в ней было восемнадцать футов! — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу.

— Не меньше,— сказал мальчик.

Он вошел на Террасу и попросил банку кофе:

— Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару.

— Возьми что-нибудь еще.

— Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть.

— Ох и рыба! — сказал хозяин.— Прямо-таки небывалая рыба. Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы.

— Ну ее совсем, мою рыбу! — сказал мальчик и снова заплакал.

— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросил его хозяин.

— Не надо,— ответил мальчик.— Скажи им, чтобы они не надоедали Сантьяго. Я еще приду.

— Передай ему, что я очень сожалею.

— Спасибо,— сказал мальчик.

Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел

около старика, пока тот не проснулся. Один раз мальчику показалось, что он просыпается, но старик снова забылся в тяжелом сне, и мальчик пошел к соседям через дорогу, чтобы взять у них взаймы немного дров и разогреть кофе.

Наконец старик проснулся.

— Лежи, не вставай,— сказал ему мальчик.— Вот выпей! — Он налил ему кофе в стакан.

Старик взял у него стакан и выпил кофе.

— Они одолели меня, Манолин,— сказал он.— Они меня победили.

— Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть! Рыба ведь тебя не победила!

— Нет. Что верно, то верно. Это уж потом случилось.

— Педрико обещал присмотреть за лодкой и за снастью. Что ты собираешься делать с головой?

— Пусть Педрико разрубит ее на приманку для сетей.

— А меч?

— Возьми его себе на память, если хочешь.

— Хочу,— сказал мальчик.— Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше.

— Меня искали?

— Конечно. И береговая охрана, и самолеты.

— Океан велик, а лодка совсем маленькая, ее и не заметишь,— сказал старик. Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря.— Я скучал по тебе,— сказал он.— Ты что-нибудь поймал?

— Одну рыбу в первый день. Одну во второй и две в третий.

— Прекрасно!

— Теперь мы опять будем рыбачить вместе.

— Нет. Я невезучий. Мне больше не везет.

— Да наплевать на это везенье! — сказал мальчик.— Я тебе принесу удачу.

— А что скажут твои родные?

— Неважно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе, потому что мне еще многому надо научиться.

— Придется достать хорошую острогу и всегда брать ее с собой. Лезвие можно сделать из рессоры старого «форда». Заточим его в Гуанабакоа. Оно должно быть острое, но без закалки, чтобы не сломалось. Мой нож-то сломался.

— Я достану тебе новый нож и заточу рессору. Сколько дней еще будет дуть сильный *brisa* [1]?

— Может быть, три. А может быть, и больше.

---

[1] Береговой ветер *(исп.)*.

— К тому времени все будет в порядке,— сказал мальчик.— А ты покуда подлечи свои руки.

— Я знаю, что с ними делать. Ночью я выплюнул какую-то странную жидкость, и мне показалось, будто в груди у меня что-то разорвалось.

— Подлечи и это тоже,— сказал мальчик.— Лежи, старик, я принесу тебе чистую рубаху. И чего-нибудь поесть.

— Захвати какую-нибудь газету за те дни, что меня не было,— попросил старик.

— Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно?

— Очень,— сказал старик.

— Я принесу еду и газеты. Отдохни, старик. Я возьму в аптеке какое-нибудь снадобье для твоих рук.

— Не забудь сказать Педрико, чтобы он взял себе голову рыбы.

— Не забуду.

Когда мальчик вышел из хижины и стал спускаться вниз по старой каменистой дороге, он снова заплакал.

В этот день на Террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых морских щук длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя.

— Что это такое? — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы — сейчас уже просто мусор, который скоро унесет отливом.

— *Tiburon*,— сказал официант.— Акулы.— Он хотел объяснить ей, что произошло.

— Вот не знала, что у акул бывают такие красивые, изящно выгнутые хвосты!

— Да, и я не знал,— согласился ее спутник.

Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы.

ИНДЕЙСКИЙ ПОСЕЛОК

На озере у берега была причалена чужая лодка. Возле стояли два индейца, ожидая.

Ник с отцом перешли на корму, индейцы оттолкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя Джордж сел на корму другой лодки. Молодой индеец столкнул ее в воду и тоже сел на весла.

Обе лодки отплыли в темноте. Ник слышал скрип уключин другой лодки далеко впереди, в тумане. Индейцы гребли короткими, резкими рывками. Ник прислонился к отцу, тот обнял его за плечи. На воде было холодно. Индеец греб изо всех сил, но другая лодка все время шла впереди в тумане.

— Куда мы едем, папа? — спросил Ник.

— На ту сторону, в индейский поселок. Там одна индианка тяжело больна.

— А...— сказал Ник.

Когда они добрались, другая лодка была уже на берегу. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индеец вытащил их лодку на песок. Дядя Джордж дал обоим индейцам по сигаре.

От берега они пошли лугом по траве, насквозь промокшей от росы; впереди молодой индеец нес фонарь. Затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу, уходившую вдаль, к холмам. На дороге было гораздо светлей, так как по обе стороны деревья были вырублены. Молодой индеец остановился и погасил фонарь, и они пошли дальше по дороге.

За поворотом на них с лаем выбежала собака. Впереди светились огни лачуг, где жили индейцы-корьевщики. Еще несколько собак кинулось на них. Индейцы прогнали собак назад, к лачугам.

В окне ближней лачуги светился огонь. В дверях стояла старуха, держа лампу. Внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка. Она мучилась родами уже третьи сутки. Все старухи поселка собрались возле нее. Мужчины ушли подальше; они сидели и курили в темноте на дороге, где не было слышно ее криков. Она опять начала кричать, как раз в ту минуту, когда оба

индейца и Ник вслед за отцом и дядей Джорджем вошли в барак. Она лежала на нижних нарах, живот ее горой поднимался под одеялом. Голова была повернута набок. На верхних нарах лежал ее муж. Три дня тому назад он сильно порапил ногу топором. Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло.

Отец Ника велел поставить воды на очаг и, пока она нагревалась, говорил с Ником.

— Видишь ли, Ник,— сказал он,— у этой женщины должен родиться ребенок.

— Я знаю,— сказал Ник.

— Ничего ты не знаешь,— сказал отец.— Слушай, что тебе говорят. То, что с ней сейчас происходит, называется родовые схватки. Ребенок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все ее мышцы напрягаются для того, чтобы помочь ему родиться. Вот что происходит, когда она кричит.

— Понимаю,— сказал Ник.

В эту минуту женщина опять закричала.

— Ох, папа,— сказал Ник,— разве ты не можешь ей дать чего-нибудь, чтобы она не кричала?

— Со мной нет анестезирующих средств,— ответил отец.— Но ее крики не имеют значения. Я не слышу ее криков, потому что они не имеют значения.

На верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене. Другая женщина в кухне знаком показала доктору, что вода вскипела. Отец Ника прошел на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз. В котел он положил какие-то инструменты, которые принес с собой завернутыми в носовой платок.

— Это должно прокипеть,— сказал он и, опустив руки в таз, стал тереть их мылом, принесенным с собой из лагеря.

Ник смотрел, как отец трет мылом то одну, то другую руку. Проделывая это с большим старанием, отец одновременно говорил с Ником:

— Видишь ли, Ник, ребенку полагается идти головой вперед, но это не всегда так бывает. Когда это не так, он всем доставляет массу хлопот. Может быть, понадобится операция. Сейчас увидим.

Когда он убедился, что руки вымыты чисто, он прошел обратно в комнату и приступил к делу.

— Отверни одеяло, Джордж,— сказал он,— я не хочу к нему прикасаться.

Позже, когда началась операция, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал: «Ах, сукина дочь!» — и молодой индеец, который вез его через озеро, засмеялся. Ник держал таз. Все это тянулось очень долго.

Отец Ника подхватил ребенка, шлепнул его, чтобы вызвать дыхание, и передал старухе.

— Видишь, Ник, это мальчик,— сказал он.— Ну, как тебе нравится быть моим ассистентом?

— Ничего,— сказал Ник. Он смотрел в сторону, чтобы не видеть, что делает отец.

— Так. Ну, теперь все,— сказал отец и бросил что-то в таз.

Ник не смотрел туда.

— Ну,— сказал отец,— теперь только наложить швы. Можешь смотреть, Ник, или нет, как хочешь. Я сейчас буду зашивать разрез.

Ник не стал смотреть. Всякое любопытство у него давно пропало.

Отец кончил и выпрямился. Дядя Джордж и индейцы тоже поднялись. Ник отнес таз на кухню.

Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индеец усмехнулся.

— Сейчас я тебе промою перекисью, Джордж,— сказал доктор.

Он наклонился над индианкой. Она теперь лежала совсем спокойно, с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Она не сознавала, ни что с ее ребенком, ни что делается вокруг.

— Я приеду завтра,— сказал доктор.— Сиделка из Сент-Игнеса, наверно, будет здесь в полдень и привезет все, что нужно.

Он был возбужден и разговорчив, как футболист после удачного матча.

— Вот случай, о котором стоит написать в медицинский журнал, Джордж,— сказал он.— Кесарево сечение при помощи складного ножа и швы из девятифутовой вяленой жилы.

Дядя Джордж стоял, прислонившись к стене, и разглядывал свою руку.

— Ну, еще бы, ты у нас знаменитый хирург,— сказал он.

— Надо взглянуть на счастливого отца. Им, пожалуй, всех хуже приходится при этих маленьких семейных событиях,— сказал отец Ника.— Хотя, должен сказать, он это перенес на редкость спокойно.

Он откинул одеяло с головы индейца. Рука его попала во что-то мокрое. Он стал на край нижней койки, держа в руках лампу, и заглянул наверх. Индеец лежал лицом к стене. Горло у него было перерезано от уха до уха. Кровь лужей собралась в том месте, где доски прогнулись под тяжестью его тела. Голова его лежала на левой руке. Открытая бритва, лезвием вверх, валялась среди одеял.

— Уведи Ника, Джордж,— сказал доктор.

Но он поздно спохватился. Нику от дверей кухни отлично

были видны верхняя койка и жест отца, когда тот, держа в руках лампу, повернул голову индейца.

Начинало светать, когда они шли обратно по дороге к озеру.

— Никогда себе не прощу, что взял тебя с собой, Ник,— сказал отец. Все его недавнее возбуждение прошло.— Надо ж было случиться такой истории.

— Что, женщинам всегда так трудно, когда у них родятся дети? — спросил Ник.

— Нет, это был совершенно исключительный случай.

— Почему он убил себя, папа?

— Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть.

— А часто мужчины себя убивают?

— Нет, Ник. Не очень.

— А женщины?

— Еще реже.

— Никогда?

— Ну, иногда случается.

— Папа!

— Да?

— Куда пошел дядя Джордж?

— Он сейчас придет.

— Трудно умирать, папа?

— Нет. Я думаю, это совсем нетрудно, Ник. Все зависит от обстоятельств.

Они сидели в лодке, Ник — на корме, отец — на веслах. Солнце вставало над холмами. Плеснулся окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой.

В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет.

В ЧУЖОЙ СТРАНЕ

Осенью война все еще продолжалась, но для нас она была кончена. В Милане осенью было холодно и темнело очень рано. Зажигали электрические фонари, и было приятно бродить по улицам, разглядывая витрины. Снаружи у магазинов висело много дичи, мех лисиц порошило снегом, и ветер раздувал лисьи хвосты. Мерзлые выпотрошенные оленьи туши тяжело свисали до земли, а мелкие птицы качались на ветру, и ветер трепал их перья. Была холодная осень, и с гор дул ветер.

Все мы каждый день бывали в госпитале. К госпиталю можно было пройти через город разными путями. Две дороги вели вдоль

каналов, но это было очень далеко. Попасть в госпиталь можно было только по какому-нибудь мосту через канал. Мостов было три. На одном из них женщина продавала каштаны. Около жаровни было тепло. И каштаны в кармане долго оставались теплыми. Здание госпиталя было старинное и очень красивое, и мы входили в одни ворота и, перейдя через двор, выходили в другие, с противоположной стороны. Во дворе мы почти всегда встречали похоронную процессию. За старым зданием стояли новые кирпичные корпуса, и там мы встречались каждый день, и были очень вежливы друг с другом, расспрашивали о здоровье и садились в аппараты, на которые возлагались такие надежды.

К аппарату, в котором я сидел, подошел врач и спросил:

— Чем вы увлекались до войны? Занимались спортом?

— Да, играл в футбол,— ответил я.

— Прекрасно,— сказал он,— вы и будете играть в футбол лучше прежнего.

Колено у меня не сгибалось, нога высохла от колена до щиколотки, и аппарат должен был согнуть колено и заставить его двигаться, как при езде на велосипеде. Но оно все еще не сгибалось, и аппарат каждый раз стопорил, когда дело доходило до сгибания. Врач сказал:

— Все это пройдет. Вам повезло, молодой человек. Скоро вы опять будете первоклассным футболистом.

В соседнем аппарате сидел майор, у которого была маленькая, как у ребенка, рука. Он подмигнул мне, когда врач стал осматривать его руку, помещенную между двумя ремнями, которые двигались вверх и вниз и ударяли по неподвижным пальцам, и спросил:

— А я тоже буду играть в футбол, доктор?

Майор был знаменитым фехтовальщиком, а до войны самым лучшим фехтовальщиком Италии.

Врач пошел в свой кабинет и принес снимок высохшей руки, которая до лечения была такая же маленькая, как у майора, а потом немного увеличилась. Майор взял здоровой рукой снимок и посмотрел на него очень внимательно.

— Ранение? — спросил он.

— Несчастный случай на заводе,— сказал врач.

— Весьма любопытно, весьма любопытно,— сказал майор и вернул снимок врачу.

— Убедились теперь?

— Нет,— сказал майор.

Было трое пациентов одного со мною возраста, которые приходили каждый день. Все трое были миланцы; один из них собирался стать адвокатом, другой — художником, а третий хотел быть военным. И после лечебных процедур мы иногда шли вместе

в кафе «Кова», рядом с театром «Ла Скала». И потому, что нас было четверо, мы шли кратчайшим путем, через рабочий квартал. Нас ненавидели за то, что мы офицеры, и часто, когда мы проходили мимо, нам кричали из кабачков: «*Abbasso gli ufficiali!*» [1] У пятого, который иногда возвращался из госпиталя вместе с нами, лицо было завязано черным шелковым платком: у него не было носа, и лицо ему должны были исправить. Он пошел на фронт из Военной академии и был ранен через час после того, как попал на линию огня. Лицо ему потом исправили, но он происходил из старинного рода, и носу его так и не смогли придать должную форму. Он уехал в Южную Америку и служил там в банке. Но это было позже, а тогда никто из нас не знал, как сложится жизнь. Мы знали только, что война все еще продолжается, но что для нас она кончена.

У всех у нас были одинаковые ордена, кроме юноши с черной шелковой повязкой на лице, а он слишком мало времени пробыл на фронте, чтобы получить орден. Высокий юноша с очень бледным лицом, который готовился в адвокаты, был лейтенантом полка Ардити и имел три таких ордена, каких у нас было по одному. Он долго пробыл лицом к лицу со смертью и держался особняком. Каждый из нас держался особняком, и нас ничто не связывало, кроме ежедневных встреч в госпитале. И все-таки, когда мы шли к кафе «Кова» через самую опасную часть города, шли в темноте, а из кабачков лился свет и слышалось громкое пение, и когда пересекали улицы, где люди толпились на тротуарах, и нам приходилось расталкивать их, чтобы пройти,— мы чувствовали, что нас связывает то, что мы пережили и чего они, эти люди, которые ненавидят нас, не могут понять.

Все было понятно в кафе «Кова», где было тепло и парадно и не слишком светло, где по вечерам было шумно и накурено, и всегда были девушки за столиками, и иллюстрированные журналы, висевшие по стенам на крючках. Посетительницы кафе «Кова» были большие патриотки. По-моему, в то время самыми большими патриотками в Италии были посетительницы кафе, да они, должно быть, еще и теперь патриотки.

Вначале мои спутники вежливо интересовались моим орденом и спрашивали, за что я его получил. Я показал им грамоты, где были написаны пышные фразы и всякие «*fratellanza*» и «*abnegazione*» [2], но где на самом деле, если откинуть эпитеты, говорилось, что мне дали орден за то, что я американец. После этого их отношение ко мне несколько изменилось, хоть я и считался другом по сравнению с посторонними. Я был их другом, но меня перестали

[1] «Долой офицеров!» *(ит.)*
[2] «Братство» и «самоотверженность» *(ит.)*.

считать своим с тех пор, как прочли грамоты. У них все было иначе, и получили они свои ордена совсем по-другому. Правда, я был ранен, но все мы хорошо знали, что рана, в конце концов, дело случая. Но все-таки я не стыдился своих отличий и иногда, после нескольких коктейлей, воображал, что сделал все то, за что и они получили свои ордена. Но, возвращаясь поздно ночью под холодным ветром, вдоль пустынных улиц, мимо запертых магазинов, стараясь держаться ближе к фонарям, я знал, что мне никогда бы этого не сделать, и очень боялся умереть, и часто по ночам, лежа в постели, боялся умереть и думал о том, что с мной будет, когда я снова попаду на фронт.

Трое с орденами были похожи на охотничьих соколов, а я соколом не был, хотя тем, кто никогда не охотился, я мог бы показаться соколом; но они, все трое, отлично это понимали, и мы постепенно разошлись. С юношей, который был ранен в первый же день на фронте, мы остались друзьями, потому что теперь он уже не мог узнать, что из него вышло бы; поэтому его тоже не считали своим, и он нравился мне тем, что из него тоже, может быть, не вышло бы сокола.

Майор, который раньше был знаменитым фехтовальщиком, не верил в геройство и, пока мы сидели в аппаратах, занимался тем, что поправлял мои грамматические ошибки. Он как-то похвалил мой итальянский язык, и мы с ним подолгу разговаривали по-итальянски. Я сказал, что итальянский язык кажется мне слишком легким, для того чтобы серьезно им заинтересоваться. Все кажется в нем так легко. «О, да,— сказал майор.— Но почему же вы не обращаете внимания на грамматику?» И мы обратили внимание на грамматику, и скоро итальянский язык оказался таким трудным, что я боялся слово сказать, пока правила грамматики не улягутся у меня в голове.

Майор ходил в госпиталь очень аккуратно. Кажется, он не пропустил ни одного дня, хотя, конечно, не верил в аппарат и как-то раз даже сказал, что все это чепуха. Аппараты тогда были новостью, и испытать их должны были на нас. «Идиотская выдумка,— сказал майор.— Бредни, и больше ничего». В тот день я не приготовил урока, и майор сказал, что я просто позор для рода человеческого, а сам он дурак, что возится со мной. Майор был небольшого роста. Он сидел выпрямившись в кресле, его правая рука была в аппарате, и он смотрел прямо перед собой в стену, а ремни, в которых находились его пальцы, с глухим стуком двигались вверх и вниз.

— Что вы будете делать, когда кончится война, если она вообще кончится? — спросил он.— Только не забывайте о грамматике.

— Я вернусь в Америку.

— Вы женаты?

— Нет, но надеюсь жениться.

— Ну и глупо,— сказал майор. Казалось, он был очень рассержен.— Человек не должен жениться.

— Почему, *signor maggiore*?

— Не называйте меня «*signor maggiore*».

— Но почему человек не должен жениться?

— Нельзя ему жениться, нельзя! — сказал он сердито.— Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего нельзя потерять.

Майор говорил раздраженно и озлобленно и смотрел в одну точку прямо перед собой.

— Но почему же он непременно должен потерять?

— Потеряет,— сказал майор. Он смотрел в стену. Потом посмотрел на аппарат, выдернул свою высохшую руку из ремней и с силой ударил ею по ноге.— Потеряет,— закричал он.— Не спорьте со мною! — Потом он подозвал санитара: — Остановите эту проклятую штуку.

Он вошел в другую комнату, где лечили светом и массажем. Я слышал, как он попросил у врача разрешения позвонить по телефону и закрыл за собою дверь. Когда он опять вошел в комнату, я сидел уже в другом аппарате. На нем были плащ и кепи. Он подошел ко мне и положил руку мне на плечо.

— Извините меня,— сказал он и потрепал меня по плечу здоровой рукой.— Я не хотел быть грубым. Только что моя жена умерла. Простите меня.

— Боже мой,— сказал я, чувствуя острую боль за него,— какое несчастье.

Он стоял около меня, кусая губы.

— Очень это трудно,— сказал он.— Не могу примириться.— Он смотрел мимо меня в окно. Потом заплакал.— Никак не могу примириться,— сказал он, и голос его прервался. Потом, не переставая плакать, подняв голову и ни на что не глядя, с мокрым от слез лицом, кусая губы, держась по-военному прямо, он прошагал мимо аппаратов и вышел из комнаты.

Врач рассказал мне, что жена майора, которая была очень молода и на которой он женился только после того, как был окончательно признан негодным для военной службы, умерла от воспаления легких. Болезнь продолжалась всего несколько дней. Никто не ожидал, что она умрет. Майор три дня не приходил в госпиталь. Затем в обычный час он снова пришел с черной повязкой на рукаве мундира. За это время на стенах появились большие снимки всяких ран до и после лечения аппаратами. Перед аппаратом майора висели три снимка, на которых были руки, такие же, как у

него, ставшие вполне нормальными после лечения. Не знаю, где врач достал эти снимки. Я всегда думал, что нас первых лечат этими аппаратами. Но майору снимки не внушали никакой надежды,— он смотрел мимо них, в окно.

УБИЙЦЫ

Дверь закусочной Генри отворилась. Вошли двое и сели у стойки.

— Что для вас? — спросил Джордж.

— Сам не знаю,— сказал один.— Ты что возьмешь, Эл?

— Не знаю,— ответил Эл.— Не знаю, что взять.

На улице уже темнело. За окном зажегся фонарь. Вошедшие просматривали меню. Ник Адамс глядел на них из-за угла стойки. Он там стоял и разговаривал с Джорджем, когда они вошли.

— Дай мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре,— сказал первый.

— Филе еще не готово.

— Каково же черта оно стоит в меню?

— Это из обеда,— пояснил Джордж.— Обеды с шести часов.

Джордж взглянул на стенные часы над стойкой.

— А сейчас пять.

— На часах двадцать минут шестого,— сказал второй.

— Они спешат на двадцать минут.

— Черт с ними, с часами,— сказал первый,— Что же у тебя есть?

— Могу предложить разные сандвичи,— сказал Джордж.— Яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку с салом, бифштекс.

— Дай мне куриные крокеты под белым соусом с зеленым горошком и картофельным пюре.

— Это из обеда.

— Что ни спросишь — все из обеда. Порядки, нечего сказать.

— Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку...

— Давай яичницу с ветчиной,— сказал тот, которого звали Эл. На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне.

— А мне яичницу с салом,— сказал другой. Они были почти одного роста, лицом непохожи, но одеты одинаково, оба в слишком узких пальто. Они сидели, наклонясь вперед, положив локти на стойку.

— Есть что-нибудь выпить? — спросил Эл.

— Лимонад, кофе, шипучка.

— *Выпить*, я спрашиваю.

— Только то, что я сказал.

— Веселый городок,— сказал другой.— Кстати, как он называется?

— Сэммит.

— Слыхал когда-нибудь, Макс? — спросил Эл.

— Нет.

— Что тут делают по вечерам? — спросил Эл.

— Обедают,— сказал Макс.— Все приходят сюда и едят этот знаменитый обед.

— Угадали,— сказал Джордж.

— По-твоему, я угадал? — переспросил Эл.

— Точно.

— А ты, я вижу, умница.

— Точно.

— Ну и врешь,— сказал Макс.— Ведь он врет, Эл?

— Балда он,— ответил Эл. Он повернулся к Нику.— Тебя как зовут?

— Ник Адамс.

— Тоже умница хоть куда,— сказал Эл.— Верно, Макс?

— В этом городе все как на подбор,— ответил Макс.

Джордж подал две тарелки, яичницу с салом и яичницу с ветчиной. Потом он поставил рядом две порции жареного картофеля и захлопнул окошечко в кухню.

— Вы что заказывали? — спросил он Эла.

— А ты сам не помнишь?

— Яичницу с ветчиной.

— Ну разве не умница? — сказал Макс. Он протянул руку и взял тарелку. Оба ели, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят.

— Ты чего смотришь? — обернулся Макс к Джорджу.

— Просто так.

— Да, как же, рассказывай, на меня смотришь.

Джордж рассмеялся.

— Нечего смеяться,— сказал ему Макс.— Тебе нечего смеяться, понял?

— Ладно, пусть будет по-вашему,— сказал Джордж.

— Слышишь, Эл? Он согласен, пусть будет по-нашему.— Макс взглянул на Эла.— Ловко, да?

— Голова у него работает,— сказал Эл. Они продолжали есть.

— Как зовут того, второго? — спросил Эл Макса.

— Эй, умница,— позвал Макс.— Ну-ка, ступай к своему приятелю за стойку.

— А в чем дело? — спросил Ник.

— Да ни в чем.

— Ну, ну, поворачивайся,— сказал Эл. Ник зашел за стойку.

— В чем дело? — спросил Джордж.

— Не твоя забота,— ответил Эл.— Кто у вас там на кухне?

— Негр.

— Что еще за негр?

— Повар.

— Позови его сюда.

— А в чем дело?

— Позови его сюда.

— Да вы знаете, куда пришли?

— Не беспокойся, знаем,— сказал тот, которого звали Макс.— Дураки мы, что ли?

— Тебя послушать, так похоже на то,— сказал Эл.— Чего ты канителишься с этим младенцем? Эй, ты,— сказал он Джорджу.— Позови сюда негра. Живо.

— А что вам от него нужно?

— Ничего. Пошевели мозгами, умница. Что нам может быть нужно от негра?

Джордж открыл окошечко в кухню.

— Сэм,— позвал он.— Выйди сюда на минутку.

Кухонная дверь отворилась, и вошел негр.

— Что случилось? — спросил он.

Сидевшие у стойки оглядели его.

— Ладно, черномазый, стань тут,— сказал Эл.

Повар, теребя фартук, смотрел на незнакомых людей у стойки.

— Слушаю, сэр,— сказал он.

Эл слез с табурета.

— Я пойду на кухню с этими двумя,— сказал он.— Ступай к себе на кухню, черномазый. И ты тоже, умница.

Пропустив вперед Ника и повара, Эл прошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Макс остался у стойки, напротив Джорджа. Он смотрел не на Джорджа, а в длинное зеркало над стойкой. В этом помещении раньше был салун.

— Ну-с,— сказал Макс, глядя в зеркало.— Что же ты молчишь, умница?

— Что все это значит?

— Слышишь, Эл,— крикнул Макс.— Он хочет знать, что все это значит.

— Что же ты ему не скажешь? — отозвался голос Эла из кухни.

— Ну, как ты думаешь, что все это значит?

— Не знаю.

— А все-таки?

Разговаривая, Макс все время смотрел в зеркало.

— Не могу догадаться.

— Слышишь, Эл, он не может догадаться, что все это значит.

— Не кричи, я и так слышу,— ответил Эл из кухни. Он поднял окошечко, через которое передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под томатного соуса.— Послушай-ка, ты,— обратился он к Джорджу,— подвинься немного вправо. А ты, Макс, немного влево.— Он расставлял их, точно фотограф перед съемкой.

— Побеседуем, умница,— сказал Макс.— Так как, по-твоему, что́ мы собираемся сделать?

Джордж ничего не ответил.

— Ну, я тебе скажу: мы собираемся убить одного шведа. Знаешь ты длинного шведа, Оле Андресона?

— Да.

— Он тут обедает каждый вечер?

— Иногда обедает.

— Приходит ровно в шесть?

— Если вообще приходит.

— Так. Это нам все известно,— сказал Макс.— Поговорим о чем-нибудь другом. В кино бываешь?

— Изредка.

— Тебе бы надо ходить почаще. Кино — это как раз для таких, как ты.

— За что вы хотите убить Оле Андресона? Что он вам сделал?

— Пока что ничего не сделал. Он нас в глаза не видал.

— И увидит только раз в жизни,— добавил Эл из кухни.

— Так за что же вы хотите убить его? — спросил Джордж.

— Нас попросил один знакомый. Просто дружеская услуга, понимаешь?

— Заткнись,— сказал Эл из кухни.— Слишком ты много болтаешь.

— Должен же я развлекать собеседника. Верно, умница?

— Много болтаешь,— повторил Эл.— Вот мои тут сами развлекаются. Лежат, связанные, рядышком, как подружки в монастырской школе.

— А ты был в монастырской школе?

— Может, и был.

— В хедере ты был, вот где.

Джордж взглянул на часы.

— Если кто войдет, скажешь, что повар ушел, а если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь сготовишь, понятно? Ты ведь умница.

— Понятно,— ответил Джордж.— А что вы с нами после сделаете?

— А это смотря по обстоятельствам,— ответил Макс.— Этого, видишь ли, наперед нельзя сказать.

Джордж взглянул на часы. Было четверть седьмого. Дверь с улицы открылась. Вошел вагоновожатый.

— Здорово, Джордж,— сказал он.— Пообедать можно?

— Сэм ушел,— сказал Джордж.— Будет через полчаса.

— Ну, я пойду еще куда-нибудь,— сказал вагоновожатый.

Джордж взглянул на часы. Было уже двадцать минут седьмого.

— Вот молодец,— сказал Макс.— Одно слово — умница.

— Он знал, что я ему голову прострелю,— сказал Эл из кухни.

— Нет,— сказал Макс,— это не потому. Он славный малый. Он мне нравится.

Без пяти семь Джордж сказал:

— Он не придет.

За это время в закусочную заходили еще двое. Один спросил сандвич «навынос», и Джордж пошел на кухню поджарить для сандвича яичницу с салом. В кухне он увидел Эла; сдвинув котелок на затылок, тот сидел на табурете перед окошечком, положив на подоконник ствол обреза. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине. Рты у обоих были заткнуты полотенцами. Джордж приготовил сандвич, завернул в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел.

— Ну как же не умница — ведь все умеет,— сказал Макс.— И стряпать, и все, что угодно. Хозяйственный будет муженек у твоей жены.

— Может быть,— сказал Джордж.— А ваш приятель Оле Андресон не придет.

— Дадим ему еще десять минут,— сказал Макс.

Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показали семь часов, потом пять минут восьмого.

— Пойдем, Эл,— сказал Макс,— нечего нам ждать. Он уже не придет.

— Дадим ему еще пять минут,— ответил Эл из кухни.

За эти пять минут вошел еще один посетитель, и Джордж сказал ему, что повар заболел.

— Какого же черта вы не наймете другого? — сказал вошедший.— Закусочная это или нет?

Он вышел.

— Идем, Эл,— сказал Макс.

— А как быть с этими двумя и негром?

— Ничего, пусть их.

— Ты думаешь — ничего?

— Ну конечно. Тут больше нечего делать.

— Не нравится мне это,— сказал Эл.— Нечистая работа. И ты наболтал много лишнего.

— А, пустяки,— сказал Макс.— Надо же хоть немного поразвлечься.

— Все-таки ты слишком много наболтал,— сказал Эл. Он вышел из кухни. Обрез слегка оттопыривал на боку его узкое пальто. Он одернул полу затянутыми в перчатки руками.

— Ну, прощай, умница,— сказал он Джорджу.— Везет тебе.

— Что верно, то верно,— сказал Макс.— Тебе бы на скачках играть.

Они вышли на улицу. Джордж видел в окно, как они прошли мимо фонаря и свернули за угол. В своих черных костюмах и пальто в обтяжку они похожи были на эстрадную пару.

Джордж пошел на кухню и развязал Ника и повара.

— Ну, с меня довольно,— сказал Сэм.— С меня довольно.

Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем.

— Послушай,— сказал он.— Какого черта, в самом деле? — Он старался делать вид, что ему все нипочем.

— Они хотели убить Оле Андресона,— сказал Джордж.— Застрелить его, когда он придет обедать.

— Оле Андресона?

— Да.

Негр потрогал углы рта большими пальцами.

— Ушли они? — спросил он.

— Да,— сказал Джордж.— Ушли.

— Не нравится мне это,— сказал негр.— Совсем мне это не нравится.

— Слушай,— сказал Джордж Нику.— Ты бы сходил к Оле Андресону.

— Ладно.

— Лучше не впутывайся в это дело,— сказал Сэм.— Лучше держись в сторонке.

— Если не хочешь, не ходи,— сказал Джордж.

— Ничего хорошего из этого не выйдет,— сказал Сэм.— Держись в сторонке.

— Я пойду,— сказал Ник Джорджу.— Где он живет?

Повар отвернулся.

— Толкуй с мальчишками,— проворчал он.

— Он живет в меблированных комнатах Гирш,— ответил Джордж Нику.

— Ну, я пошел.

На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В четвертом доме от угла помещались меблированные комнаты Гирш. Ник поднялся на две ступеньки и надавил кнопку звонка. Дверь открыла женщина.

— Здесь живет Оле Андресон?

— Вы к нему?

— Да, если он дома.

Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице и прошел в конец длинного коридора. Женщина постучала в дверь.

— Кто там?

— Тут вас спрашивают, мистер Андресон,— сказала женщина.

— Это я — Ник Адамс.

— Войдите.

Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Оле Андресон, одетый, лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него. Под головой у него были две подушки. Он не взглянул на Ника.

— В чем дело? — спросил он.

— Я был в закусочной Генри,— сказал Ник.— Пришли двое, связали меня и повара и говорили, что хотят вас убить.

На словах это выходило глупо. Оле Андресон ничего не ответил.

— Они выставили нас на кухню,— продолжал Ник.— Они собирались вас застрелить, когда вы придете обедать.

Оле Андресон глядел в стену и молчал.

— Джордж послал меня предупредить вас.

— Все равно тут ничего не поделаешь,— сказал Оле Андресон.

— Хотите, я вам опишу, какие они?

— Я не хочу знать, какие они,— сказал Оле Андресон. Он смотрел в стену.— Спасибо, что пришел предупредить.

— Не стоит.

Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на постели.

— Может быть, пойти заявить в полицию?

— Нет,— сказал Оле Андресон.— Это бесполезно.

— А я не могу помочь чем-нибудь?

— Нет. Тут ничего не поделаешь.

— Может быть, это просто шутка?

— Нет. Это не просто шутка.

Оле Андресон повернулся на бок.

— Беда в том,— сказал он, глядя в стену,— что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так.

— Вы бы уехали из города.

— Нет,— сказал Оле Андресон.— Мне надоело бегать от них.— Он все глядел в стену.— Теперь уже ничего не поделаешь.

— А нельзя это как-нибудь уладить?

— Нет, теперь уже поздно.— Он говорил все тем же тусклым голосом.— Ничего не поделаешь. Я полежу, а потом соберусь с духом и выйду.

— Так я пойду обратно, к Джорджу,— сказал Ник.

— Прощай,— сказал Оле Андресон. Он не смотрел на Ника.— Спасибо, что пришел.

Ник вышел. Затворяя дверь, он видел Оле Андресона, лежащего одетым на кровати, лицом к стене.

— Вот с утра сидит в комнате,— сказала женщина, когда он спустился вниз.— Боюсь, не захворал ли. Я ему говорю: «Мистер Андресон, вы бы пошли прогулялись, день-то какой хороший»,— а он упрямится.

— Он не хочет выходить из дому.

— Видно, захворал,— сказала женщина.— А жалко, такой славный. Знаете, он ведь был боксером.

— Знаю.

— Только по лицу и можно догадаться,— сказала женщина. Они разговаривали, стоя в дверях.— Такой обходительный.

— Прощайте, миссис Гирш,— сказал Ник.

— Я не миссис Гирш,— сказала женщина.— Миссис Гирш — это хозяйка. Я только прислуживаю здесь. Меня зовут миссис Белл.

— Прощайте, миссис Белл,— сказал Ник.

— Прощайте,— сказала женщина.

Ник прошел темным переулком до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайных путей к закусочной. Джордж стоял за стойкой.

— Видел Оле?

— Да,— сказал Ник.— Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить.

На голос Ника повар приоткрыл дверь из кухни.

— И слушать об этом не желаю,— сказал он и захлопнул дверь.

— Ты ему рассказал?

— Рассказал, конечно. Да он и сам все знает.

— А что он думает делать?

— Ничего.

— Они его убьют.

— Наверно, убьют.

— Должно быть, впутался в какую-нибудь историю в Чикаго.

— Должно быть,— сказал Ник.

— Скверное дело.

— Паршивое дело,— сказал Ник.

Они помолчали. Джордж достал полотенце и вытер стойку.

— Что он такое сделал, как ты думаешь?

— Нарушил какой-нибудь уговор. У них за это убивают.

— Уеду я из этого города,— сказал Ник.

— Да,— сказал Джордж.— Хорошо бы отсюда уехать.

— Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Даже подумать страшно.

— А ты не думай,— сказал Джордж.

ТАМ, ГДЕ ЧИСТО, СВЕТЛО

Был поздний час, и никого не осталось в кафе, кроме одного старика,— он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенная электрическим светом. В дневное время на улице было пыльно, но к ночи роса прибивала пыль, и старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо, и он это ясно чувствовал. Оба официанта в кафе знали, что старик подвыпил, и хоть он и хороший гость, но они знали, что если он слишком много выпьет, то уйдет, не заплатив; потому они и следили за ним.

— На прошлой неделе покушался на самоубийство,— сказал один.

— Почему?

— Впал в отчаяние.

— От чего?

— Ни от чего.

— А ты откуда знаешь, что ни от чего?

— У него уйма денег.

Оба официанта сидели за столиком у стены возле самой двери и смотрели на террасу, где все столики были пусты, кроме одного, за которым сидел старик в тени дерева, листья которого слегка покачивались на ветру. Солдат и девушка прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка шла с непокрытой головой и спешила, чтобы не отстать.

— Патруль заберет его,— сказал официант.

— Какая ему разница, он своего добился.

— Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль наскочит. И пяти минут нет, как прошли.

Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой о блюдце. Официант помоложе вышел к нему.

— Вам чего?

Старик посмотрел на него.

— Еще коньяку,— сказал он.

— Вы будете пьяны,— сказал официант.

Старик посмотрел на него. Официант ушел.

— Всю ночь просидит,— сказал он другому.— Я совсем сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы он помер на прошлой неделе.

Официант взял со стойки бутылку коньяку и чистое блюдце и направился к столику, где сидел старик. Он поставил блюдце и налил рюмку дополна.

— Ну, что бы вам помереть на прошлой неделе,— сказал он.

Старик пошевелил пальцем.

— Добавьте еще,— сказал он.

Официант долил в рюмку еще столько, что коньяк потек через край, по рюмке, прямо в верхнее блюдце из тех, что скопились перед стариком.

— Благодарю,— сказал старик.

Официант унес бутылку обратно в кафе. Он снова сел за столик у двери.

— Он уже пьян,— сказал он.

— Каждую ночь пьян.

— Зачем ему было на себя руки накладывать?

— Откуда я знаю.

— А как он это сделал?

— Повесился на веревке.

— Кто ж его из петли вынул?

— Племянница.

— И к чему это она?

— За его душу испугалась.

— А сколько у него денег?

— Уйма.

— Ему, должно быть, лет восемьдесят.

— Я бы меньше не дал.

— Шел бы он домой. Никогда раньше трех не ляжешь. Разве это дело?

— Нравится ему, вот и сидит.

— Скучно ему одному. А я не один — меня жена в постели ждет.

— И у него когда-то жена была.

— Теперь ему жена ни к чему.

— Ну, не скажи. С женой ему, может быть, лучше было бы.

— За ним племянница ходит.

— Знаю. Ты ведь сказал — это она вынула его из петли.

— Не хотел бы я дожить до его лет. Противные эти старики.

— Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный. Посмотри.

— Не хочу и смотреть на него. Скорей бы домой шел. Никакого ему дела нет до тех, кому работать приходится.

Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону площади, потом — на официантов.

— Еще коньяку,— сказал он, показывая на рюмку.

Тот официант, который спешил домой, вышел к нему.

— Конец,— сказал он так, как говорят люди неумные с пьяными или иностранцами.— На сегодня ни одной больше. Закрываемся.

— Еще одну,— сказал старик.

— Нет. Кончено.

Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой.

Старик встал, не спеша сосчитал блюдца, вынул из кармана кожаный кошелек и заплатил за коньяк, оставив полпесеты на чай.

Официант смотрел ему вслед. Старик был очень стар, шел неуверенно, но с достоинством.

— Почему ты не дал ему еще посидеть и выпить? — спросил официант, тот, что не спешил домой. Они стали закрывать ставни.— Ведь еще и половины третьего нет.

— Я хочу домой, спать.

— Ну, один час, какая разница?

— Для меня — больше, чем для него.

— Час для всех — час.

— Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может купить себе бутылку и выпить дома.

— Это совсем иное дело.

— Да, это верно,— согласился женатый. Он не хотел быть несправедливым. Просто он очень спешил.

— А ты? Не боишься прийти домой раньше обычного?

— Ты что, оскорбить меня хочешь?

— Нет, друг, просто шучу.

— Нет,— сказал тот, который спешил. Он запер внизу ставню и выпрямился.— Доверие. Полное доверие.

— У тебя и молодость, и доверие, и работа есть,— сказал официант постарше.— Что же еще человеку надо.

— А тебе чего не хватает?

— А у меня всего только работа.

— У тебя все то же, что у меня.

— Нет. Доверия у меня никогда не было, а молодость прошла.

— Ну, чего стоишь? Перестань болтать глупости. Давай запирать.

— А я вот люблю засиживаться в кафе,— сказал официант постарше.— Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет.

— Я хочу домой, спать.

— Разные мы люди,— сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить.— Дело вовсе не только в молодости и доверии, хотя и то и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно.

— Ну что ты, ведь кабачки всю ночь открыты.

— Не понимаешь ты ничего. Здесь чисто, опрятно, в кафе. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева.

— Спокойной ночи,— сказал официант помоложе.

— Спокойной ночи,— сказал другой.

Выключая электрический свет, он продолжал разговор сам с собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да и не в страхе дело, не в боязни! Ничто — и оно ему так знакомо. Все — ничто, да и сам человек — ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это *nada y pues nada y nada y pues nada* [1]. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. *Nada y pues nada.*

Он усмехнулся и остановился возле бара с блестящим титаном для кофе.

— Для вас? — спросил бармен.

— *Nada.*

— *Otro loco más* [2],— сказал бармен и отвернулся.

— Маленькую чашечку,— сказал официант.

Бармен налил ему кофе.

— Свет яркий, приятный, а вот стойка не начищена,— сказал официант.

Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Был слишком поздний час для разговоров.

— Еще одну прикажете? — спросил бармен.

— Нет, благодарю вас,— сказал официант и вышел.

Он не любил баров и погребков. Чистое, ярко освещенное кафе — совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой, в свою комнату. Ляжет в постель и на рассвете наконец уснет. В конце концов, сказал он сам себе, может быть, это просто бессонница. Со многими бывает.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Посреди главной улицы был сигнал объезда, но обычно машины ехали прямо, и Николас Адамс, решив, что тут, вероятно,

---

[1] Ничто и только ничто, ничто и только ничто *(исп.)*.

[2] Еще один полоумный *(исп.)*.

был и уже закончился какой-то ремонт. поехал прямо, не сворачивая, по безлюдной, мощенной кирпичом улице; в воскресный день почти не было движения, но перед ним то и дело вспыхивали световые сигналы, которых уже не будет через год, когда ток выключат за неуплату взносов,— и дальше, под тенистыми деревьями, обычными в маленьких городках и милыми сердцу, если ты родился в этом городе и гулял под ними, хотя чужим кажется, что от них слишком много тени и сырость в домах,— и дальше, мимо последнего дома, по шоссе, которое шло в гору, а там круто спускалось вниз между гладко срезанными откосами красной глины и рядами молодых деревьев по обеим сторонам. Он родился не здесь, но сейчас, в разгар осени, хорошо было ехать по всем этим местам и смотреть на них. Хлопок собрали, и на полях уже поднялась кукуруза, кое-где чередуясь с полосами красного сорго; машина катилась легко, сын спал на сиденье рядом, дневной пробег был уже сделан, город для ночевки намечен, и Ник смотрел, где на маисовом поле посеяна соя и где горох, как леса перемежаются вырубками, далеко ли дома и службы от полей и кустарников, и, мимоездом, он мысленно охотился по всей этой местности, зорко оглядывая каждую прогалину и соображая, где здесь должна кормиться дичь и садиться на ночлег, где можно найти выводок и куда он полетит, если его спугнуть.

На охоте, когда собаки учуют перепелов, не следует заходить между выводком и тем местом, где он прячется, не то перепела вспорхнут все разом, одни прямо вверх, другие шурша и чуть не задевая вас по голове, и тогда они кажутся невиданно крупными,— остается только обернуться и целиться через плечо им вдогонку, пока они, сложив крылья, не упали камнем в густую заросль. Мысленно охотясь на перепелов именно так, как научил его отец, Ник Адамс начал думать о своем отце. Первое, что вспомнилось Нику, были его глаза. Ни крупная фигура, ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему,— всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко, словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были единственным даром, которым обладал его отец. Зрение у него было такое же острое, как у муфлона или орла, нисколько не хуже.

Бывало, Ник стоит с отцом на берегу озера — в то время и у него было очень хорошее зрение,— и отец говорит ему:

— Подняли флаг.— Ник не мог различить ни шеста, ни флага на нем.— Видишь,— говорил отец,— вон там наша Дороти. Она подняла флаг, а сейчас идет к пристани.

Ник смотрел на ту сторону озера и видел длинную линию лесистого берега, за ней высокие сосны, мыс над бухтой, расчищенные холмы ближе к ферме, белый коттедж среди деревьев, но не мог различить ни шеста, ни пристани, только белый песок и изогнутую линию берега.

— Видишь стадо овец на косогоре, ближе к мысу?

— Вижу.

Оно казалось светлым пятном на серо-зеленом косогоре.

— Я могу их сосчитать,— говорил отец.

Как и все люди, обладающие какой-либо незаурядной способностью, отец Ника был очень нервен. Сверх того он был сентиментален и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают.

Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас, думая о перепелиной охоте, вспомнил отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. О том и о другом отец судил настолько же здраво, насколько не мог судить, например, о половой жизни, и Ник был рад, что вышло именно так, а не иначе: нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтоб узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор был благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем.

Что касается другого, о чем отец не мог судить здраво, то в этом случае все, что нужно, дается самой природой, и каждый выучивается всему, что следует знать, без наставников, и тут все равно, где бы ты ни жил.

Зато таких необыкновенных глаз, как у отца, Нику больше ни у кого не приходилось видеть, и Ник любил его очень сильно и очень долго. Теперь, когда он знал обо всем, не радостно было вспоминать даже самое раннее детство, до того как дела их семьи запутались. Если б можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие были еще живы. Он решил думать о чем-нибудь другом. Теперь уже ничем нельзя помочь, и он много раз передумал об отце все с начала и до конца. Тот облик, который гробовщик придал его отцу, еще не стерся из памяти Ника, и все остальное он помнил совершенно ясно, до долгов включительно. Он поздравил гробовщика с успехом. Гробов-

щик гордился своей работой и был явно польщен. Но не гробовщик придал ему этот облик. Он только внес смелой рукой кое-какие поправки сомнительного художественного достоинства. Лицо сформировалось само собой в течение долгого времени. Оно приняло законченные очертания в последние три года. Из этого вышел бы хороший рассказ, но слишком многие оставались еще в живых, и написать его было нельзя.

Первоначальное воспитание Ника было закончено в лесах за индейским поселком. Из коттеджа в поселок вела дорога через лес до фермы и дальше по просеке до самого поселка. Он и теперь чувствовал всю эту дорогу под босыми ногами. Вначале она шла по хвойному лесу позади коттеджа, устланная перегнившей хвоей там, где бурелом рассыпался в прах, и длинные щепки торчали, словно дротики, на расколотом молнией стволе. Ручей переходили по бревну, и, оступившись, можно было увязнуть в черном болотном иле. Выйдя из лесу, надо было перелезать через изгородь, а дальше твердая, высохшая на солнце дорога вела по скошенному лугу с торчащими кое-где стеблями конского щавеля и коровяка, трясина же, где водились кулики, оставалась слева. На ручье стоял летний сарай. За сараем лежала куча свежего навоза, а рядом другая куча, уже подсохшая сверху. Дальше опять начиналась изгородь и твердая, горячая дорога от сарая к дому, а потом горячая песчаная дорога, сбегавшая к лесу, и здесь был мост через тот ручей, где росли тростники; их мочили в керосине и делали из них те факелы, с которыми по ночам били рыбу острогой.

Потом большая дорога сворачивала влево, огибая лес, и поднималась в гору, а по лесу шла широкая глинистая дорога, прохладная в тени деревьев и расчищенная там, где вывозили кору, которую драли индейцы. Кору складывали длинными рядами в ровные штабеля, похожие на домики, крытые корой, и ободранные стволы лежали, огромные и желтые, там, где валили деревья. Стволы оставались гнить в лесу, их даже не убирали и не жгли верхушек. Дубильне в Бойнс-Сити нужна была только кора: зимой ее волокли по льду через озеро, и с каждым годом становилось все меньше леса и все ширилась выжженная солнцем, поросшая бурьяном вырубка.

Но тогда леса было еще много: девственного леса, где стволы были голые внизу, и ветви начинались на большой высоте, и ноги ступали по чистому, устланному упругой коричневой хвоей грунту, на котором ничего не росло, и в самые жаркие дни там было прохладно, и они сидели втроем, прислонившись к стволу пихты шириной в два человеческих роста; ветер шумел в вершинах, прохладный свет ложился пятнами, и Билли сказал:

— Ты опять хочешь Труди?

— Труди, а ты хочешь?

— Ага.
— Идем туда.
— Нет, здесь.
— А как же Билли?..
— Ну так что ж. Билли мой брат.

После они сидели все втроем и прислушивались к трескотне черной белки в верхних ветвях: снизу ее не было видно. Они дожидались, чтобы она снова зацокала,— когда она зацокает, то распушит хвост, и Ник будет стрелять туда, где заметит движение. Отец выдавал ему только три патрона на целый день охоты, а ружье у него было одноствольное, двадцатого калибра, с очень длинным стволом.

— Не шевелится, дрянь этакая,— сказал Билли.

— Стреляй, Ники. Пугни ее. Она прыгает. И ты опять стреляй,— сказала Труди. Для нее это была длинная речь.

— У меня только два патрона,— сказал Ник.

— Дрянь этакая,— сказал Билли.

Они сидели, прислонившись к дереву, и молчали. Нику было легко и радостно.

— Эдди говорит, он придет ночью спать к твоей сестре Дороти.

— Что-о?

— Он так сказал.

Труди кивнула.

— Он только того и ждет,— сказала она.

Эдди был их сводный брат. Ему было семнадцать лет.

— Если Эдди Гилби придет ночью и посмеет хотя бы заговорить с Дороти, знаешь, что я с ним сделаю? Убью его, вот так! — Ник взвел курок и, почти не целясь, потянул его, всаживая заряд в голову и грудь этому ублюдку Эдди.— Вот так. Вот как я его убью.

— Тогда лучше ему не ходить,— сказала Труди.

— Пусть лучше глядит в оба,— сказал Билли.

— Он хвастает,— говорила Труди,— только ты его не убивай. А то попадешь в беду.

— Вот так и убью,— сказал Ник. Эдди Гилби лежал на земле, и грудь его размозжило выстрелом. Ник гордо поставил на него ногу.— Я сниму с него скальп,— сказал он с торжеством.

— Нет,— сказала Труди,— это нехорошо.

— Сниму скальп и пошлю его матери.

— Его мать умерла,— сказала Труди.— Не убивай его, Ники, не убивай ради меня.

— Сниму скальп, а тело выброшу собакам.

Билли не на шутку встревожился.

— Пусть глядит в оба,— сказал он угрюмо.

— Собаки его в клочки разорвут,— сказал Ник, с удовольствием представляя себе эту картину. Потом, оскальпировав ублюдка Эдди, он привалился к дереву и холодно смотрел, как собаки терзают Эдди, а Труди крепко обнимала его за шею, чуть не душила и кричала:

— Не убивай его, не убивай, не надо, Ники! Ники! Ники!

— Что с тобой?

— Не убивай его!

— Я должен его убить.

— Он просто хвастун.

— Ладно,— сказал Ник.— Так и быть, не убью, только чтоб не подходил близко к дому. Пусти меня.

— Вот и ладно,— сказала Труди.— Хочешь теперь? Мне теперь так хорошо.

— Пускай Билли уйдет.

Ник убил Эдди Гилби, потом пощадил его и чувствовал себя мужчиной.

— Ступай, Билли. Ты все время торчишь около нас. Уходи.

— Черти,— сказал Билли.— Надоело мне это. Мы зачем пришли? Охотиться или нет?

— Можешь взять ружье. Там остался один патрон.

— Ладно. Уж я достану ту черную.

— Я тебя тогда позову,— сказал Ник.

Прошло довольно много времени, а Билли все не возвращался.

— Как по-твоему, будет у нас ребенок?

Труди скрестила свои смуглые ноги и прижалась к Нику. Что-то в Нике отошло куда-то очень далеко.

— Не думаю,— сказал он.

— Будет, ей-богу, будет.

Они услышали, как выстрелил Билли.

— Интересно, убил или нет.

— Наплевать, не ходи,— сказала Труди.

Билли вышел из-за деревьев. Он держал ружье на плече и нес черную белку за передние лапы.

— Смотри! — сказал он.— Большая, больше кошки.

— Где ты ее убил?

— Там, дальше. Увидел, как она прыгнула.

— Пора домой,— сказал Ник.

— Нет еще,— сказала Труди.

— Мне нужно вернуться к ужину.

— Ну что ж. Ладно.

— Пойдешь на охоту завтра?
— Ладно.
— Белку можешь взять себе.
— Ладно.
— Выйдешь после ужина?
— Нет, не выйду.
— Тебе хорошо?
— Хорошо.
— Ну, вот и ладно.
— Поцелуй меня,— сказала Труди.

Теперь, когда он ехал по шоссе в автомобиле и темнота надвигалась все ближе и ближе, Ник перестал думать об отце. По вечерам он никогда о нем не думал. Вечер всегда принадлежал одному Нику, и в это время он чувствовал себя хорошо только в одиночестве. Отец возвращался к нему осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы, или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запряженную в шарабан, когда он видел или слышал диких гусей, или когда сидел в засаде на уток, или вспоминал о том, как однажды в сильную вьюгу орел упал на прикрытый полотном капкан и пытался взлететь, хлопая крыльями, но зацепился когтями за полотно. Отец вставал перед ним неожиданно в запущенных фруктовых садах, на свежевспаханном поле, в зарослях кустарника, на невысоких холмах, или когда он ходил по сухой траве, колол дрова, носил воду, возле мельниц, на плотинах, и всегда у костра. Города, в которых жил Ник, были уже не те города, которые знал его отец. После пятнадцати лет у него не осталось ничего общего с отцом.

В морозы борода у отца покрывалось инеем, а в жаркую погоду он сильно потел. Ему нравилось работать в поле на солнце, потому что это была его добрая воля, и он это любил, а Ник — нет. Ник любил отца, но не выносил его запаха, и один раз, когда ему дали надеть отцовское белье, которое село и уже не годилось отцу, Нику стало до того противно, что он спрятал белье под двумя камнями в ручье и сказал, что потерял его. Когда отец заставил его надеть белье, он сказал отцу, в чем дело, но отец ответил, что белье только что из стирки. Так оно и было. Ник попросил отца понюхать, он сердито понюхал и сказал, что белье чистое и свежее. Когда Ник вернулся с рыбной ловли и сказал, что потерял белье, его высекли за то, что он говорит неправду.

После этого, зарядив ружье, он долго сидел у отворенной двери дровяного сарая и, взведя курок, смотрел на отца, который читал на крыльце газету, и думал: «Я могу выстрелить в него. Могу его убить». В конце концов он почувствовал, что гнев его проходит, и ему стало как-то противно вот это самое ружье, подаренное отцом. Потом, хотя уже стемнело, он ушел в индейский

поселок, чтобы отделаться от этого запаха. Из всей его семьи только от одной сестры пахло приятно. Со всеми остальными он избегал соприкасаться. Это чувство притупилось, когда он начал курить. И прекрасно. Такой острый нюх годится для охотничьей собаки, а человеку он ни к чему.

— Папа, расскажи про то, как ты был маленький и охотился с индейцами.

— Не знаю, право, как тебе рассказать.

Ник удивился. Он и не заметил, что сын уже проснулся. Он посмотрел на сидящего рядом мальчика. Он не ощущал его присутствия — а мальчик не спал. «Когда же он проснулся?» — подумал Ник.

— Мы по целым дням охотились на черных белок,— сказал он.— Мой отец выдавал мне по три патрона в день и говорил, что это приучит меня целиться, а не палить весь день без толку. Я ходил с мальчиком-индейцем, которого звали Билли Гилби, и с его сестрой Труди. Одно лето мы охотились почти каждый день.

— Странные имена для индейцев.

— Да, пожалуй,— согласился Ник.

— Расскажи, какие они были.

— Они были оджибуэи,— сказал Ник.— Очень славные.

— А хорошо было с ними?

— Как тебе сказать...— ответил Ник Адамс.

Как рассказать, что она была первая и ни с кем уже не было того, что с нею, как рассказать про смуглые ноги, про гладкий живот, твердые маленькие груди, крепко обнимавшие руки, быстрый, ищущий язык, затуманенные глаза, свежий вкус рта, потом болезненное, сладостное, чудесное, теснящее, острое, полное, последнее, не кончающееся, нескончаемое, бесконечное,— и вдруг кончилось, сорвалась большая птица, похожая на филина в сумерки, только в лесу был дневной свет и пихтовые иглы кололи живот. Вот так же, если прийти на то место, где недавно жили индейцы, по запаху чувствуешь, что они тут были, и все пустые склянки из-под лекарств, и жужжание мух не могут заглушить запаха душистых трав, запаха дыма и еще одного, похожего на запах свежевыделанной куньей шкурки. Никакие апекдоты об индейцах, никакие старые скво этого изменить не могут. Не может изменить и тошнотворный сладковатый запах, идущий от них. Не может изменить и то, чем у них кончилось. Не важно, как это кончилось. С ними со всеми кончалось одинаково. Когда-то это было хорошо. А теперь нет ничего хорошего.

И о другом. Подстрелить одну птицу на лету — все равно что подстрелить сотню птиц. Все они разные и летают по-разному, но

ощущение одинаковое, и последняя так же хороша, как и первая. За это он может благодарить отца.

— Тебе они, может, и не понравились бы,— сказал Ник сыну,— впрочем, нет, они славные.

— А дедушка тоже жил с ними, когда был маленький?

— Да. Когда я спросил, какие они, он ответил, что у него много друзей среди индейцев.

— А я буду жить с ними?

— Не знаю,— сказал Ник.— Зависит от тебя.

— А когда мне подарят ружье и я пойду на охоту?

— Когда тебе будет двенадцать лет, если я увижу, что ты умеешь быть осторожным.

— Хорошо бы, если б мне уже было двенадцать.

— Будет и двенадцать. Все в свое время.

— А какой был дедушка? Я его не помню, помню только, что он подарил мне ружье с пробкой и американский флаг, когда мы приехали из Франции. Какой он был?

— Как тебе сказать? Он был прекрасный охотник и рыболов, и глаза у него были замечательные.

— Он был лучше, чем ты?

— Стрелял он гораздо лучше, а его отец — без промаха.

— Ну уж, верно, не лучше тебя.

— Нет, лучше. Он стрелял очень быстро и метко. Я любил на него смотреть во время охоты. Ему не нравилось, как я стреляю.

— Почему мы никогда не съездим на могилу к дедушке?

— Мы живем совсем в другом месте. Это очень далеко отсюда.

— Во Франции это было бы не важно. Во Франции мы бы поехали. Нельзя же мне не побывать на могиле у дедушки.

— Как-нибудь поедем.

— Когда ты умрешь, хорошо бы жить где-нибудь поближе, чтобы можно было съездить помолиться к тебе на могилу.

— Надо будет подумать.

— А можно всех нас похоронить в каком-нибудь удобном месте. Например, во Франции. Вот было бы хорошо!

— Не хочу, чтобы меня похоронили во Франции,— сказал Ник.

— Ну, тогда надо найти удобное место в Америке. Хорошо бы нас всех похоронить на ранчо.

— Неплохо придумано.

— Тогда по дороге на ранчо я бы заходил помолиться на могилу к дедушке.

— Ты очень трезво рассуждаешь.

— Как-то нехорошо, что я ни разу не побывал на могиле у дедушки.

— Придется побывать,— сказал Ник.— Вижу, что придется.

Делалось жарко, солнце припекало ему затылок.

Одна хорошая форель у него уже есть. Много ему и не надо. Река становилась широкой и мелкой. По обоим берегам шли деревья. Деревья с левого берега отбрасывали на воду предполуденные короткие тени. Ник знал, что в каждой теневой полосе сейчас залегла форель. Он и Билл Смит открыли это однажды в жаркий день на Блек-Ривер. Во второй половине дня, когда солнце начнет опускаться к холмам, форель уплывет в прохладную тень к другой стороне реки.

Самые крупные лягут совсем близко к берегу. На Блек-Ривер они всегда их там находили. Они с Биллом вместе сделали это открытие. Когда солнце опустится к западу, форель уйдет в быстрину. И когда, перед тем как зайти, солнце сделает реку ослепительно яркой, по всей быстрине будет полным-полно крупной форели. Удить тогда будет почти невозможно, поверхность воды будет слепить, как зеркало, на солнце. Можно, конечно, идти вверх по течению, но здесь, как на Блек-Ривер, течение очень быстрое и где поглубже вода валит с ног. Удить против течения совсем не легко, хотя во всех книжках написано, что это единственно правильный способ.

Единственно правильный способ. Сколько раз они с Биллом в то время смеялись над этими книжками. Все они начинаются с ложной посылки. Сравнение с охотой на лис. Парижский дантист Билла Бэрда любил говорить, что тот, кто удит на муху, состязается с рыбой в сметливости. А Эзра ответил, что он всю жизнь так считал. Есть над чем посмеяться. Было много в то время над чем посмеяться. В Штатах считали, что бой быков — это повод для шуток. Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток. Многие думают, что поэзия повод для шуток. И англичане — тоже повод для шуток.

Помнишь, они нас пихнули в Памплоне через барьер на быка, потому что приняли нас за французов? Биллов дантист так же судил о рыбалке. Дантист Билла Бэрда, конечно. Раньше Билл — это был Билл Смит. А теперь это Билл Бэрд. И Билл Бэрд проживает в Париже.

Когда Ник женился, вся старая бражка ушла,— и Джи, и Одгар, и Билл Смит. Ушли потому, он решил, что все трое не знали женщин. Джи-то, положим, знал. Нет, старая бражка ушла потому, что, женившись, он как бы сказал всем троим: есть что-то поважнее рыбалки.

Ведь все создавал он сам. До начала их дружбы Билл не ходил на рыбалку. А потом они были вдвоем. На Блек-Ривер, на Стэрджен, Пайн-Барренс, на Аппер-Минни и на разных малых ре-

чушках. И почти все открытия они сделали вместе с Биллом. Работали вместе на ферме, вместе удили рыбу и с июня до октября уходили надолго в лес. Только весна шла к концу и Билл увольнялся с работы, и он увольнялся тоже. А Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток.

Билл простил ему все рыбалки до начала их дружбы. И все реки тоже простил. Он гордился их дружбой. Это вроде как с девушкой. Она может простить все, что было с тобой до нее. Но после — дело другое.

Вот почему ушла старая бражка.

До того все они поженились с рыбалкой. А Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток. Почти все так считали. Он сам был женат на рыбалке до того, как женился на Элен. Всерьез был женат. И тут совсем не до шуток.

Старая бражка ушла. Элен думала — потому, что она им не нравится.

Ник сел в тени на валун и привесил мешок так, что его повело в глубину. Вода, бурля, обтекала валун с обеих сторон. Нику было прохладно. Ниже деревьев берег реки был песчаным. По песку шли следы норки.

Хорошо посидеть в холодке. Камень был сухой и прохладный. Ник сидел, и вода стекала с сапог по краям валуна.

Элен думала — потому, что она им не нравится. В самом деле так думала. Уф, вспомнил он, как это казалось ужасно, когда люди женились. Теперь и подумать смешно. Наверно, он чувствовал так потому, что водился со старшими, убежденными холостяками.

Одгар хотел непременно жениться на Кэйт. Но Кэйт не хотела вообще выходить замуж. Они постоянно спорили, и Одгар хотел жениться только на Кэйт, и Кэйт не желала знать никого, кроме Одгара. Но она говорила, что лучше всего, если она и Одгар останутся просто друзьями. И Одгар тоже хотел, чтобы они оставались друзьями, и они постоянно ссорились и были оба несчастны, стараясь остаться друзьями.

Должно быть, это Сударыня внушила им их аскетизм. И Джи был затронут тем же, хотя он бывал в Кливленде в веселых домах и водился там с девушками. И Ник был затронут тем же. И все это было ложным. Вам внушают ложное чувство, потом вы к нему приспосабливаетесь.

А любовь вы всю отдаете рыбалке и лету.

И эта любовь была для него всем на свете. Он любил копать с Биллом картошку в осеннюю пору, долго ехать в машине, удить рыбу в заливе, лежать в гамаке с книгой в жаркие дни, уплывать далеко от пристани, играть в бейсбольной команде в Шарлевуа и в Петоски, оставаться гостить у них в Бэе; ему нравилось все, что стряпала им Сударыня, ее обращение с прислугой; он любил есть

в столовой, глядя в окно на огромный клин поля, упиравшийся в озеро, любил толковать с Сударыней, выпивать с отцом Билла, уезжать от них на рыбалку, просто слоняться без дела.

Он любил это долгое лето. И его хватала тоска, когда первого августа ему вдруг открывалось, что еще только месяц — и ловля форели кончится. И сейчас это чувство порой посещало его во сне. Ему снится, что лето кончается, а он не ходил на рыбалку. И его хватает во сне такая тоска, словно он пробудился в тюрьме.

Холмы у южного берега Уоллунского озера, моторка на озере в штормовую погоду, а ты с зонтиком на корме бережешь от воды двигатель; или помпой работаешь, или гонишь моторку в большую волну, развозишь заказчикам овощи, волна — за тобой; или везешь бакалею с южного берега озера — чикагские газеты и почта укутаны в парусину, и ты еще сядешь на них, чтобы надежней укрыть от дождя; такая волна, что трудно стать у причала, сушишься у костра, ветер свищет в верхушках деревьев; и, когда ты босой бежишь принести молока, под ногами — сырая хвоя. Встаешь на рассвете, на веслах идешь через озеро, а потом — на попутной машине, поудить в Хортонс-Крике после дождя.

Хортонс-Крику дождик полезен. А Шульц-Крику всегда во вред. Поднимается муть со дна, и река разливается по прибрежному лугу. Интересно, куда же уходит форель?

Вот в то время и был этот случай. Бык погнал его через изгородь, и он потерял кошелек со всеми крючками.

Если бы он тогда знал о быках, что знает теперь! Где Маэра, где Алгабено? Августовская фиеста в Валенсии, Сантандер и бесславная коррида в Сан-Себастьяне. Санчес Мехиас и его шесть убитых быков. А ходячие фразы из корридных газет так и лезли ему на язык, он бросил совсем их читать. Коррида в Миурасе. Хотя pase natural [1] там было совсем никудышным. Цвет Андалусии, Чикелин эль Камелиста. Хуан Террамото. Бельмонте Вуэльве.

Малыш, брат Маэры, теперь уже матадор. Вот так оно и идет...

Целый год все его душевные силы уходили на бой быков. Чинк — расстроенный, бледный из-за лошадей на арене. А Дэн, тот ничуть не расстроился, сказал: «В ту минуту я понял, что полюблю бой быков». Наверно, тогда был Маэра. Маэра был лучшим из всех. И Чинк понимал это. И держался во время encierro [2] рядом.

Он, Ник, был другом Маэры, и Маэра помахал им рукой из восемьдесят седьмой ложи над их sobrepuerta [3], обождал, пока Элен заметит его, и потом замахал снова, и Элен боготворила его, и в их ложе были еще три пикадора, и другие пикадоры работали пря-

[1] Один из главных боевых маневров матадора *(исп.)*.
[2] Прогон быков перед боем *(исп.)*.
[3] Место над выходом на арену *(исп.)*.

мо внизу под их ложей и махали им всякий раз, когда приступали к работе и когда кончали ее; и он сказал тогда Элен, что пикадоры работают друг для друга, и это была правда. И чище той пикадорской работы он в жизни не видывал, и три пикадора в их ложе в кордовских шляпах кивали при каждом удачном vara [1], и пикадоры внизу на арене махали в ответ, продолжая свою работу. Это было совсем как в тот раз, когда португальцы приехали и старик пикадор швырнул на арену шляпу и прямо повис на барьере, уставившись на молодого Да Вейгу. Грустнее этого зрелища он в жизни не видывал. Caballero en plaza [2], мечта толстяка-пикадора. Этот мальчик Да Вейга умел держаться в седле. Было на что поглядеть. Но в кино это не получилось.

Кино загубило все. Все равно что болтать о чем-то действительно важном. Даже войну они сделали ненастоящей. Слишком много болтали.

Болтать всегда плохо. Еще плохо писать о том, что действительно с вами случилось.

Губит наверняка.

Чтобы вышло толково, надо писать о том, что вы сами придумали, сами создали. И получится правда. Когда он писал «Моего старика», он ни разу не видел, как жокей разбивается насмерть, и ровно через неделю разбился Жорж Парфреман на том самом препятствии и в точности как в рассказе. Все толковое, что ему удалось написать, он выдумал сам. Ничего этого не было. Было другое. Может статься, что лучше. Никто из его родных так ничего и не понял. Считали, что все, что он пишет, он сам пережил.

В том же и слабость Джойса. Дедалус в «Улиссе» — сам Джойс, и получается плохо. Романтика, всякое умствование. А Блума он выдумал, и Блум замечателен. Миссис Блум он выдумал тоже. И это настоящее чудо.

То же самое с Маком. Работает слишком близко к натуре. Впечатления надо переплавлять и создавать людей заново. Впрочем, у Мака есть кое-что за душой.

Ник из его рассказов не был он сам. Он его выдумал. Никогда он, конечно, не видел, как индианка рожает. Потому получилось толково. И никто об этом не знает. А видел он женщину, рожавшую на дороге, когда ехал на Карагач, и постарался помочь ей. Вот так оно было.

Если бы только всегда удавалось писать именно так. Будет время, и это исполнится. Он хотел стать великим писателем. Он почти был уверен, что станет великим писателем. По-всякому это чувствовал. Станет назло всем помехам. Это будет совсем не легко.

---

[1] Укол пикадорской пикой *(исп.)*.

[2] Конный матадор *(исп.)*.

Нелегко стать великим писателем, если вы влюблены в окружающий мир, и в жизнь, и в разных людей. И любите столько различных мест в этом мире. Вы здоровы, и вам хорошо, и вы любите повеселиться, в самом деле, какого черта!

Ему работалось лучше всего, когда Элен была нездорова. Самая чуточка разногласий и ссоры. А бывало и так, что он не мог не писать. И вовсе — не чувство долга. Независимо — как перистальтика. А после иной раз казалось, что теперь у него никогда ничего не получится. Но проходило какое-то время — и он чувствовал снова: чуть раньше, чуть позже он напишет хороший рассказ.

И это давало бóльшую радость, чем все остальное. Вот почему он писал. Он не так представлял себе это раньше. Вовсе не чувство долга. Просто огромное наслаждение. Это пронзало сильнее, чем все остальное. И, вдобавок, писать хорошо было дьявольски трудно.

Ведь всегда есть так много штучек.

Писать со штучками было совсем легко. Все писали со штучками. Джойс выдумал сотни совсем новых штучек. Но от того, что они были новыми, они не делались лучше. Все равно в свое время они становились захватанными.

А он хотел сделать словом то, что Сезанн делал кистью.

Сезанн начинал со штучек. Потом все порушил, стал писать настоящее. Это было неслыханно трудно. Сезанн — из самых великих. Великих навеки. Это не было обожествлением Сезанна. Ник хотел написать пейзаж, чтобы он был весь тут, как на полотнах Сезанна. Это надо было добыть изнутри себя. И без помощи штучек. Никто никогда еще не писал так пейзажей. Почти как святыня. Чертовски серьезное дело. Надо было сразиться с самим собой и добиться победы. Заставить себя жить глазами.

И об этом нельзя болтать. Он решил, что будет работать, пока не получится. Может быть, никогда не получится. Но если он даже чуть-чуть приблизится к цели, он это почувствует. Значит, есть работенка. Быть может, на всю жизнь.

Писать людей было просто. То, что модно, писать было просто. Примитив в пику нашей эпохе, небоскребам и прочему. Каммингс, когда писал модно, работал как автомат. Но «Огромная комната» — настоящая книга, одна из великих. Каммингс работал как зверь, чтобы ее написать.

Ну, а кто кроме Каммингса? Молодой Аш? Не без способностей. Но поручиться нельзя. Евреи быстро сдают, хотя начинают сильно. Мак был тоже не без способностей. Дэна Стюарта можно поставить прямо за Каммингсом. Что-то было и в Хэддоксе. Может статься, и в Ринге Ларднере. Может статься — не более того. В стариках вроде Шервуда. В еще более древних, как Драй-

зер. Ну, а кто там еще? Юнцы. Безвестные гении. Впрочем, таких не бывает.

И никто не искал того, чего он добивался.

Он видел этих Сезаннов. Портрет у Гертруды Стайн. Она-то почувствует сразу, когда у него получится. И отличные два полотна в Люксембургском музее, на которые он приходил каждый день поглядеть, пока они были на выставке в галерее Бэрнхейма. Солдаты, раздевшиеся перед тем как купаться, дом сквозь деревья и еще одно дерево сбоку, отдельно от дома; нет, не бледно-малиновое, то на другом полотне. Портрет мальчика. Люди у него получались. Это, впрочем, полегче, он делал их теми же средствами, что и пейзаж. И Ник мог так поступить. С людьми было проще. Никто ничего в них не смыслил. Если казалось толковым, вам верили на слово. И Джойсу верили на слово.

Сейчас он знал точно, как написал бы Сезанн этот кусок реки. Живого его бы сюда, господи, с кистью в руке. Они умирают, вот ведь в чем чертовщина. Работают всю свою жизнь, стареют и умирают.

И Ник, зная точно, как написал бы Сезанн этот кусок реки и соседнюю топь, встал и вошел в воду. Вода была холодна и реальна. Идя по картине, Ник пересек реку вброд. У берега, встав на колени на гравий, он ухватил мешок, где была форель. Он тянул всю дорогу мешок по мелководью. И хитрюга была жива. Ник развязал мешок, дал форели скользнуть в воду и глядел, как она припустила вперед со спинным плавником наружу и, виляя среди камней, ушла в глубину. «Все равно велика на ужин,— сказал себе Ник,— а я наловлю мелочи прямо у лагеря».

Ник вышел на берег, смотал лесу и двинулся сквозь кустарник. Он дожевывал сандвич. Он торопился, и удочка мешала ему. Он ни о чем не думал. Он хранил что-то в памяти. Он хотел возвратиться в лагерь и сесть за работу.

Он шел сквозь кустарник, прижимая к себе удочку. Леса зацепилась за ветку. Ник стал, срезал ветку и снова смотал лесу. Он держал теперь удочку перед собой, так было легче идти сквозь кустарник.

Впереди на тропе он увидел лежащего кролика. Ник нехотя остановился. Кролик едва дышал. В затылок ему за ушами впились два клеща. Клещи были серые, налитые от выпитой крови, величиной в виноградину. Ник отцепил клещей, они шевелили ножками, головки у них были твердые, маленькие, Ник раздавил их ногой на тропе.

Ник приподнял с земли кролика, его тельце обмякло, глаза-пуговки потускнели. Он сунул его под куст душистого папоротника рядом с тропой. Опуская зверька на землю, Ник услышал, как бьется у него сердце. Кролик тихо лежал под кустом. Может, еще

отдышится, подумалось Нику. Наверно, клещи прицепились к нему, когда он дремал в траве. До того плясал на лужайке. Кто знает.

Ник пошел по тропе, направляясь в лагерь. Он хранил что-то в памяти.

НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА

Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось.

— Вам лимонного соку или лимонаду? — спросил Макомбер.

— Мне коктейль,— ответил Роберт Уилсон.

— Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого,— сказала жена Макомбера.

— Да, это, пожалуй, будет лучше всего,— согласился Макомбер.— Велите ему смешать три коктейля.

Бой уже приступил к делу, вынимал бутылки из мешков со льдом, вспотевшие на ветру, который дул сквозь затенявшие палатку деревья.

— Сколько им дать? — спросил Макомбер.

— Фунта будет вполне достаточно,— ответил Уилсон.— Нечего их баловать.

— Дать старшему, а он разделит?

— Совершенно верно.

Полчаса назад Фрэнсис Макомбер был с торжеством доставлен от границы лагеря в свою палатку на руках повара, боев, свежевальщика и носильщиков. Ружьеносцы в процессии не участвовали. Когда туземцы опустили его на землю перед палаткой, он пожал им всем руки, выслушал их поздравления, а потом, войдя в палатку, сидел там на койке, пока не вошла его жена. Она ничего не сказала ему, и он сейчас же вышел, умылся в складном дорожном тазу и, пройдя к обеденной палатке, сел в удобное парусиновое кресло в тени, на ветру.

— Вот вы и убили льва,— сказал ему Роберт Уилсон,— да еще какого замечательного.

Миссис Макомбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина; пять лет назад ее красота и положение в обществе принесли ей пять тысяч долларов,— плата за отзыв (с приложением фотографии) о косметическом средстве, которого она никогда не употребляла. За Фрэнсиса Макомбера она вышла замуж одиннадцать лет назад.

— А верно ведь, хороший лев? — сказал Макомбер. Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин так, словно видела их впервые.

Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и поглядела на его покатые плечи в свободном френче и на четыре патрона, закрепленных там, где полагалось быть левому нагрудному карману, на его большие загорелые руки, старые бриджи, очень грязные башмаки, а потом опять на его красное лицо. Она заметила, что красный загар кончался белой полоской — след от его широкополой шляпы, которая сейчас висела на одном из гвоздей, вбитых в шест палатки.

— Ну, выпьем за льва,— сказал Роберт Уилсон. Он опять улыбнулся ей, а она, не улыбаясь, с любопытством посмотрела на мужа.

Фрэнсис Макомбер был очень высокого роста, очень хорошо сложен,— если не считать недостатком такой длинный костяк,— с темными волосами, коротко подстриженными, как у гребца, и довольно тонкими губами. Его считали красивым. На нем был такой же охотничий костюм, как и на Уилсоне, только новый, ему было тридцать пять лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только что, на глазах у всех, проявил себя трусом.

— Выпьем за льва,— сказал он.— Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали.

Маргарет, его жена, опять перевела глаза на Уилсона.

— Не будем говорить про льва,— сказала она.

Уилсон посмотрел на нее без улыбки, и теперь она сама улыбнулась ему.

— Очень странный сегодня день,— сказала она.— А вам бы лучше надеть шляпу, в полдень ведь печет и под навесом. Вы мне сами говорили.

— Можно и надеть,— сказал Уилсон.

— Знаете, мистер Уилсон, у вас очень красное лицо,— сказала она и опять улыбнулась.

— Пью много,— сказал Уилсон.

— Нет, я думаю, это не оттого,— сказала она.— Фрэнсис тоже много пьет, но у него лицо никогда не краснеет.

— Сегодня покраснело,— попробовал пошутить Макомбер.

— Нет,— сказала Маргарет.— Это я сегодня краснею. А у мистера Уилсона лицо всегда красное.

— Должно быть, национальная особенность,— сказал Уилсон.— А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте, как вы думаете?

— Я еще только начала.

— Ну, и давайте кончим,— сказал Уилсон.

— Тогда совсем не о чем будет разговаривать,— сказала Маргарет.

— Не дури, Марго,— сказал ее муж.

— Как же не о чем,— сказал Уилсон.— Вот убили замечательного льва.

Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплачется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Макомбер давно перестал бояться таких вещей.

— И зачем это случилось. Ах, зачем только это случилось,— сказала она и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под розовой полотняной блузкой.

— Женская блажь,— сказал Уилсон.— Это пустяки. Нервы, ну и так далее.

— Нет,— сказал Макомбер.— Мне это теперь до самой смерти не простится.

— Ерунда. Давайте-ка лучше выпьем,— сказал Уилсон.— Забудьте всю эту историю. Есть о чем говорить.

— Попробую,— сказал Макомбер.— Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду.

— Бросьте,— сказал Уилсон.— Все это ерунда.

Так они сидели в тени, в своем лагере, разбитом под широкими кронами акаций, между каменистой осыпью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепловатый лимонный сок, и старались не смотреть друг на друга, пока бои накрывали стол к завтраку. Уилсон не сомневался, что боям уже все известно, и, заметив, что бой Макомбера, расставлявший на столе тарелки, с любопытством взглядывает на своего хозяина, ругнул его на суахили. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие.

— Чего вы ему сказали? — спросил Макомбер.

— Ничего. Сказал, чтоб пошевеливался, не то я велю закатить ему пятнадцать горячих.

— Как так? Плетей?

— Это, конечно, незаконно,— сказал Уилсон.— Полагается их штрафовать.

— У вас их и теперь еще бьют?

— Сколько угодно. Вздумай они пожаловаться, вышел бы крупный скандал. Но они не жалуются. Считают, что штраф хуже.

— Как странно,— сказал Макомбер.

— Не так уж странно,— сказал Уилсон.— А вы бы что предпочли? Хорошую порку или вычет из жалованья? — Но ему стало неловко, что он задал такой вопрос, и, не дав Макомберу ответить, он продолжал:— Так ли, этак ли, всех нас бьют, изо дня в день.

Еще того хуже. О, черт, подумал он. В дипломаты я не гожусь.

— Да, всех нас бьют,— сказал Макомбер, по-прежнему не глядя на него.— Мне ужасно неприятна эта история со львом. Дальше она не пойдет, правда? Я хочу сказать — никто о ней не узнает?

— Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в «Матайга-клубе»?

Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и дурак, подумал он. А сначала он мне даже понравился. Но кто их разберет, этих американцев.

— Нет,— сказал Уилсон.— Я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах. На этот счет можете быть спокойны. Но просить нас об этом не принято.

Теперь он решил, что гораздо лучше было бы поссориться. Тогда он будет есть отдельно и за едой читать. И они тоже будут есть отдельно. Он останется с ними до конца охоты, но отношения у них будут самые официальные. Как это французы говорят,— *considération distinguée* [1]?.. В тысячу раз лучше, чем участвовать в их дурацких переживаниях. Он оскорбит Макомбера, и они рассорятся. Тогда он сможет читать за едой, а их виски будет пить по-прежнему. Так всегда говорят, если на охоте выйдут неприятности. Встречаешь другого белого охотника и спрашиваешь: «Ну, как у вас?» — а он отвечает: «Да ничего, по-прежнему, пью их виски»,— и сразу понимаешь, что дело дрянь.

— Простите,— сказал Макомбер, повернув к нему свое американское лицо, лицо, которое до старости останется мальчишеским, и Уилсон отметил его коротко остриженные волосы, красивые, только чуть-чуть бегающие глаза, правильный нос, тонкие губы и приятный подбородок.— Простите, я не сообразил. Я ведь очень многого не знаю.

Ну что тут поделаешь?— думал Уилсон. Он хотел поссориться быстро и окончательно, а этот болван, которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал еще одну попытку.

— Не беспокойтесь, я болтать не буду,— сказал он.— Мне не хочется терять заработок. Здесь, в Африке, знаете ли, женщина никогда не дает промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает.

— Я удрал, как заяц,— сказал Макомбер.

---

[1] Совершенное почтение *(фр.)*.

Тьфу, подумал Уилсон, ну что поделаешь с человеком, который говорит такие вещи?

Уилсон посмотрел на Макомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулеметчика, и тот улыбнулся ему. Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза.

— Может быть, я еще отыграюсь на буйволах,— сказал Макомбер.— Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди?

— Хоть завтра, если хотите,— ответил Уилсон. Может быть, он напрасно разозлился. Макомбер прав, так и надо держаться. Не поймешь этих американцев, хоть ты тресни. Он опять проникся симпатией к Макомберу. Если б только забыть сегодняшнее утро. Но разве забудешь. Утро вышло такое, что хуже не выдумать.

— Вот и мемсаиб идет,— сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, веселая, очаровательная. У нее был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что ее можно было заподозрить в глупости. Но она не глупа, думал Уилсон, нет, что угодно — только не глупа.

— Как чувствует себя прекрасный краснолицый мистер Уилсон? Ну что, Фрэнсис, сокровище мое, тебе лучше?

— Гораздо лучше,— сказал Макомбер.

— Я решила забыть об этой истории,— сказала она, садясь к столу.— Не все ли равно, хорошо или плохо Фрэнсис убивает львов? Это не его профессия. Это профессия мистера Уилсона. Мистер Уилсон, тот действительно интересен, когда убивает. Ведь вы всё убиваете, правда?

— Да, всё,— сказал Уилсон.— Всё, что угодно.

Такие вот, думал он, самые черствые на свете; самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные; они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками. Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Но откуда им знать, ведь они выходят замуж рано, думал он. Да, хорошо, что американки ему уже не внове; потому что эта, безусловно, очень обольстительна.

— Завтра едем бить буйволов,— сказал он ей.

— И я с вами.

— Вы не поедете.

— Поеду. Разве нельзя, Фрэнсис?

— А может, тебе лучше остаться в лагере?

— Ни за что,— сказала она.— Такого, как сегодня было, я ни за что не пропущу.

Когда она ушла, думал Уилсон, когда она ушла, чтобы выплакаться, мне показалось, что она чудесная женщина. Казалось, что она понимает, сочувствует, обижена за него и за себя, ясно

видит, как обстоит дело. А через двадцать минут она возвращается вся закованная в свою женскую американскую жестокость. Ужасные они женщины. Просто ужасные.

— Завтра мы опять устроим для тебя представление,— сказал Фрэнсис Макомбер.

— Вы не поедете,— сказал Уилсон.

— Ошибаетесь,— возразила она.— Я хочу еще полюбоваться вами. Сегодня утром вы были очень милы. То есть, конечно, если может быть мило, когда кому-нибудь снесут череп.

— Вот и завтрак,— сказал Уилсон.— Вам, кажется, очень весело?

— А почему бы и нет? Я не затем сюда приехала, чтобы скучать.

— Да, скучать пока не приходилось,— сказал Уилсон. Он посмотрел на камни в ручье, на высокий дальний берег, на деревья в том месте, где это случилось, и вспомнил утро.

— Еще бы,— сказала она.— Замечательно было. А завтра. Вы не можете себе представить, как я жду завтрашнего дня.

— Попробуйте бифштекс из антилопы куду,— сказал Уилсон.

— Очень вкусное мясо,— сказал Макомбер.

— Это такие большие звери, вроде коров, и прыгают, как зайцы, да?

— Описано довольно точно,— сказал Уилсон.

— Это ты ее убил, Фрэнсис? — спросила она.

— Да.

— А они не опасные?

— Нет, разве что свалятся вам на голову,— ответил ей Уилсон.

— Это утешительно.

— Нельзя ли без гадостей, Марго,— сказал Макомбер; он отрезал кусок бифштекса и, проткнув его вилкой, набрал на нее картофельного пюре, моркови и соуса.

— Хорошо, милый,— сказала она,— раз ты так любезно об этом просишь.

— Вечером спрыснем льва шампанским,— сказал Уилсон.— Сейчас слишком жарко.

— Ах да, лев,— сказала Марго.— Я и забыла про льва.

Ну вот, подумал Роберт Уилсон, теперь она над ним издевается. Или она воображает, что так нужно держать себя, когда на душе кошки скребут? Как должна поступить женщина, обнаружив, что ее муж — последний трус? Жестока она до черта,— впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранства.

— Возьмите еще жаркого,— вежливо сказал он ей.

Ближе к вечеру Уилсон и Макомбер уехали в автомобиле с шофером-туземцем и обоими ружьеносцами. Миссис Макомбер осталась в лагере. Очень жарко, ехать не хочется, сказала она, к тому же она поедет с ними завтра утром. Когда они отъезжали, она стояла под большим деревом, скорее хорошенькая, чем красивая, в розово-коричневом полотняном костюме, темные волосы зачесаны со лба и собраны узлом на затылке, лицо такое свежее, подумал Уилсон, точно она в Англии. Она помахала им рукой, и автомобиль по высокой траве пересек ложбинку и зигзагами стал пробираться среди деревьев к небольшим холмам, поросшим кустами терновника.

В кустах они подняли стадо водяных антилоп и, выйдя из машины, высмотрели старого самца с длинными изогнутыми рогами, и Макомбер убил его очень метким выстрелом, который свалил животное на расстоянии добрых двухсот ярдов, в то время как остальные в испуге умчались, отчаянно подскакивая и перепрыгивая друг через друга, поджимая ноги, длинными скачками, такими же плавными и немыслимыми, как те, что делаешь иногда во сне.

— Хороший выстрел,— сказал Уилсон.— В них попасть нелегко.

— Ну как, сто́ящая голова? — спросил Макомбер.

— Голова превосходная,— ответил Уилсон.— Всегда так стреляйте, и все будет хорошо.

— Как думаете, найдем мы завтра буйволов?

— По всей вероятности, найдем. Они рано утром выходят пастись, и, если посчастливится, мы застанем их на поляне.

— Мне хотелось бы как-то загладить эту историю со львом,— сказал Макомбер.— Не очень-то приятно оказаться в таком положении на глазах у собственной жены.

По-моему, это само по себе достаточно неприятно, подумал Уилсон, все равно, видит вас жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом. Но он сказал:

— Бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось.

Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Макомбер лежал на своей койке, под сеткой от москитов, и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло, только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх. Страх был в нем, как холодный, скользкий провал в той пустоте, которую иногда заполняла его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нем и не покидал его.

Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев, и кончался он ворчанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда Фрэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал его, он испугался. Он слышал ровное дыхание жены, она спала. Некому было рассказать, что ему страшно, некому разделить его страх, он лежал один и не знал сомалийской поговорки, которая гласит, что храбрый человек три раза в жизни пугается льва: когда впервые увидит его след, когда впервые услышит его рычание и когда впервые встретится с ним. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря, еще до восхода солнца, лев опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем.

— Похоже, что старый,— сказал Роберт Уилсон, поднимая голову от кофе и копченой рыбы.— Слышите, как кашляет.

— Он очень близко отсюда?

— Около мили вверх по ручью.

— Мы увидим его?

— Постараемся.

— Разве его всегда так далеко слышно? Как будто он в самом лагере.

— Слышно очень далеко,— сказал Роберт Уилсон.— Даже удивительно. Будем надеяться, что он даст себя застрелить. Туземцы говорили, что тут есть один очень большой.

— Если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его? — спросил Макомбер.

— В лопатку,—сказал Уилсон.— Если сможете, в шею. Цельте в кость. Старайтесь убить наповал.

— Надеюсь, что я попаду,— сказал Макомбер.

— Вы прекрасно стреляете,— сказал Уилсон.— Не торопитесь. Стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий.

— С какого расстояния надо стрелять?

— Трудно сказать. На этот счет у льва может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка.

— Ближе чем со ста ярдов? — спросил Макомбер.

Уилсон бросил на него быстрый взгляд.

— Сто, пожалуй, будет как раз. Может быть, чуть-чуть ближе. Если дальше, то лучше и не пробовать. Сто — хорошая дистанция. С нее можно бить куда угодно, на выбор. А вот и мемсаиб.

— С добрым утром,— сказала она.— Ну что, едем?

— Как только вы позавтракаете,— сказал Уилсон.— Чувствуете себя хорошо?

— Превосходно,— сказала она.— Я очень волнуюсь.

— Пойду посмотрю, все ли готово.— Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова.— Вот расшумелся,— сказал Уилсон.— Мы эту музыку прекратим.

— Что с тобой, Фрэнсис? — спросила его жена.

— Ничего,— сказал Макомбер.

— Нет, в самом деле. Чем ты расстроен?

— Ничем.

— Скажи.— Она пристально посмотрела на него.— Ты плохо себя чувствуешь?

— Этот рев, черт бы его побрал,— сказал он.— Ведь он не смолкал всю ночь.

— Что же ты меня не разбудил? Я бы с удовольствием послушала.

— И мне нужно убить эту гадину,— жалобно сказал Макомбер.

— Так ведь ты для этого сюда и приехал?

— Да. Но я что-то нервничаю. Так раздражает это рычание.

— Так убей его и прекрати эту музыку, как говорит Уилсон.

— Хорошо, дорогая,— сказал Фрэнсис Макомбер.— На словах это очень легко, правда?

— Ты уж не боишься ли?

— Конечно, нет. Но я слышал его всю ночь и теперь нервничаю.

— Ты убьешь его, и все будет чудесно,— сказала она.— Я знаю. Мне просто не терпится посмотреть, как это будет.

— Кончай завтракать, и поедем.

— Куда в такую рань,— сказала она.— Еще даже не рассвело.

В эту минуту лев опять зарычал,— низкий рев неожиданно перешел в гортанный, вибрирующий, нарастающий звук, который словно всколыхнул воздух и окончился вздохом и глухим, низким ворчанием.

— Можно подумать, что он здесь, рядом,— сказала жена Макомбера.

— Черт,— сказал Макомбер,— просто не выношу этого рева.

— Звучит внушительно.

— Внушительно! Просто ужасно.

К ним подошел Роберт Уилсон, держа в руке свою короткую, неуклюжую, с непомерно толстым стволом винтовку Гиббса калибра 0,505 и весело улыбаясь.

— Едем,— сказал он.— Ваш спрингфилд и второе ружье взял ваш ружьеносец. Все уже в машине. Патроны у вас?

— Да.

— Я готова,— сказала миссис Макомбер.

— Надо его утихомирить,— сказал Уилсон.— Садитесь к шоферу. Мемсаиб может сесть сзади, со мной.

Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Макомбер открыл затвор своего ружья и, убедившись, что оно заряжено пулями в металлической оболочке, закрыл затвор и поставил на предохранитель. Он видел, что рука у него дрожит. Он нащупал в кармане еще патроны и провел пальцами по патронам, закрепленным на груди. Он обернулся к Уилсону, сидевшему рядом с его женой на заднем сиденье — машина была без дверок, вроде ящика на колесах,— и увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперед и прошептал:

— Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошел от своей добычи.

Макомбер увидел, что на другом берегу ручья, над деревьями, кружат и отвесно падают грифы.

— Вероятно, он, прежде чем залечь, придет сюда пить,— прошептал Уилсон.— Глядите в оба.

Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло, автомобиль зигзагами вилял между старых деревьев. Вглядываясь в противоположный берег, Макомбер вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась.

— Вот он,— услышал он наконец Уилсона.— Впереди, справа. Выходите и стреляйте. Лев замечательный.

Теперь и Макомбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. Утренний ветерок, дувший в их сторону, чуть шевелил его темную гриву, и в сером свете утра, резко выделяясь на склоне берега, лев казался огромным, с невероятно широкой грудью и гладким, лоснящимся туловищем.

— Сколько до него?— спросил Макомбер, вскидывая ружье.

— Ярдов семьдесят пять. Выходите и стреляйте.

— А отсюда нельзя?

— По льву из автомобиля не стреляют,— услышал он голос Уилсона у себя над ухом.— Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять.

Макомбер перешагнул через круглую выемку в борту машины около переднего сиденья, ступил на подножку, а с нее — на землю. Лев все стоял, горделиво и спокойно глядя на незнакомый предмет, который его глаза воспринимали лишь как силуэт какого-то сверхносорога. Человеческий запах к нему не доносился, и он смотрел на странный предмет, поводя из стороны в сторону массивной головой. Он всматривался, не чувствуя страха, но не решаясь спуститься к ручью, пока на том берегу стоит «это»,— и вдруг увидел, что от предмета отделилась фигура человека,

и тогда, повернув тяжелую голову, он двинулся под защиту деревьев в тот самый миг, как услышал оглушительный треск и почувствовал удар сплошной двухсотдвадцатиграновой пули калибра 0,30—0,6, которая впилась ему в бок и внезапной, горячей, обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. Он затрусил, грузный, большелапый, отяжелевший от раны и сытости к высокой траве и деревьям, и опять раздался треск и прошел мимо него, разрывая воздух. Потом опять затрещало, и он почувствовал удар,— пуля попала ему в нижние ребра и прошла навылет,— и кровь на языке, горячую и пенистую, и он поскакал к высокой траве, где можно залечь и притаиться, заставить их принести трещащую штуку поближе, а тогда он кинется и убьет человека, который ее держит.

Макомбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Ляжки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская ружье, чтобы открыть его, он сделал еще один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макомбер выстрелил, и, услыхав характерное «уонк», понял, что не промахнулся; но лев уходил все дальше. Макомбер выстрелил еще раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться ниже, и все услышали, как чмокнула пуля, но лев пустился вскачь и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора.

Макомбер стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись, возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же, рядом, оба туземца тараторили что-то на вакамба.

— Я попал в него,— сказал Макомбер.— Два раза попал.

— Вы пробили ему кишки и еще, кажется, попали в грудь,— сказал Уилсон без всякого воодушевления. У туземцев были очень серьезные лица. Теперь они молчали.— Может, вы его и убили,— продолжал Уилсон.— Переждем немного, а потом пойдем посмотрим.

— То есть как?

— Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу.

— А-а,— сказал Макомбер.

— Замечательный лев, черт побери,— весело сказал Уилсон.— Только вот спрятался в скверном месте.

— Чем оно скверное?

— Не увидеть его там, пока не подойдешь к нему вплотную.

— А-а,—сказал Макомбер.

— Ну, пошли,— сказал Уилсон.— Мемсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровяной след.

— Побудь здесь, Марго,— сказал Макомбер жене. Во рту у него пересохло, и он говорил с трудом.

— Почему?— спросила она.

— Уилсон велел.

— Мы сходим посмотреть, как там дела,— сказал Уилсон.— Вы побудьте здесь. Отсюда даже лучше видно.

— Хорошо.

Уилсон сказал что-то на суахили шоферу. Тот кивнул и ответил:

— Да, бвана.

Потом они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляясь за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макомбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови; туземцы указали на них длинными стеблями,— они вели за прибрежные деревья.

— Что будем делать? — спросил Макомбер.

— Выбирать не приходится,— сказал Уилсон.— Автомобиль сюда не переправишь. Берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдем и поищем его.

— А нельзя поджечь траву? — спросил Макомбер.

— Слишком свежая, не загорится.

— А нельзя послать загонщиков?

Уилсон смерил его глазами.

— Конечно, можно,— сказал он.— Но это будет вроде убийства. Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать,— он будет уходить от шума,— но раненый лев нападает. Его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную. Он распластывается на земле в таких местах, где, кажется, и зайцу не укрыться. Послать на такое дело туземцев рука не подымется. Непременно кого-нибудь покалечит.

— А ружьеносцы?

— Ну, они-то пойдут с нами. Это их «шаури». Они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается.

— Я не хочу туда идти,— сказал Макомбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит.

— Я тоже,— сказал Уилсон бодро.— Но ничего не поделаешь.— Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макомбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо.

— Вы, конечно, можете не ходить,— сказал он.— Для этого меня и нанимают. Поэтому я и стою так дорого.

— То есть вы хотите пойти один? А может быть, оставить его там?

Роберт Уилсон, который до сих пор был занят исключительно львом и вовсе не думал о Макомбере, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отеле и увидел что-то непристойное.

— То есть как это?

— Просто оставить его в покое.

— Сделать вид, что мы не попали в него?

— Нет. Просто уйти.

— Так не делают.

— Почему?

— Во-первых, он мучается. Во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться.

— Понимаю.

— Но вам совершенно не обязательно идти с нами.

— Я бы пошел,— сказал Макомбер.— Мне, понимаете, просто страшно.

— Я пойду вперед,— сказал Уилсон.— Старик Конгони будет искать следы. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он заворчит, и мы услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять. Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам и в самом деле лучше не ходить? Право же, лучше. Пошли бы к мемсаиб, а я там с ним покончу.

— Нет, я пойду.

— Как знаете,— сказал Уилсон.— Но если не хочется, не ходите. Ведь это мой «шаури».

— Я пойду,— сказал Макомбер.

Они сидели под деревом и курили.

— Хотите пока поговорить с мемсаиб? — спросил Уилсон.— Успеете.

— Нет.

— Я пойду, скажу ей, чтоб запаслась терпением.

— Хорошо,— сказал Макомбер. Он сидел потный, во рту пересохло, сосало под ложечкой, и у него не хватало духу сказать Уилсону, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Уилсон в ярости оттого, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене.

Уилсон скоро вернулся.

— Я захватил ваш штуцер,— сказал он.— Вот, возьмите. Мы дали ему достаточно времени. Идем.

Макомбер взял штуцер, и Уилсон сказал:

— Держитесь за мной, ярдов на пять правее, и делайте все,

что я скажу.— Потом он поговорил на суахили с обоими туземцами, вид у них был мрачнее мрачного.

— Пошли,— сказал он.

— Мне бы глотнуть воды,— сказал Макомбер.

Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка, тот отстегнул ее, отвинтил колпачок, протянул фляжку Макомберу, и Макомбер, взяв ее, почувствовал, какая она тяжелая и какой мохнатый и шершавый ее войлочный чехол. Он поднес ее к губам и посмотрел на высокую траву и дальше на деревья с плоскими кронами. Легкий ветерок дул в лицо, и по траве ходили мелкие волны. Он посмотрел на ружьеносца и понял, что его тоже мучит страх.

В тридцати пяти шагах от них большой лев лежал, распластавшись на земле. Он лежал неподвижно, прижав уши, подрагивал только его длинный хвост с черной кисточкой. Он залег сразу после того, как достиг прикрытия; его тошнило от сквозной раны в набитое брюхо, он ослабел от сквозной раны в легкие, от которой с каждым вздохом к пасти поднималась жидкая красная пена. Бока его были потные и горячие, мухи облепили маленькие отверстия, пробитые пулями в его светло-рыжей шкуре, а его большие желтые глаза, суженные ненавистью и болью, смотрели прямо вперед, чуть моргая от боли при каждом вздохе, и когти его глубоко вонзились в мягкую землю. Все в нем — боль, тошнота, ненависть и остатки сил — напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание — напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда он услышал, что голоса приближаются, хвост его перестал подрагивать, а когда они дошли до травы, он хрипло заворчал и кинулся.

Конгони, старый туземец, шел впереди, высматривая следы крови; Уилсон со штуцером наизготовке подстерегал каждое движение в траве; второй туземец смотрел вперед и прислушивался; Макомбер взвел курок и шел следом за Уилсоном; и не успели они вступить в траву, как Макомбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит, в безумном страхе бежит сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью.

Он слышал, как трахнул штуцер Уилсона — «ка-ра-уонг!» и еще раз «ка-ра-уонг!», и, обернувшись, увидел, что лев, безобразный и страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а краснолицый человек переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится, потом опять вспышка и «ка-ра-уонг!» из дула, и ползущее грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед, и Макомбер,— стоя один посреди поля-

ны, держа в руке заряженное ружье, в то время, как двое черных людей и один белый с презрением глядели на него,— понял, что лев издох. Он подошел к Уилсону,— самый рост его казался немым укором — и Уилсон посмотрел на него и сказал:

— Снимки делать будете?

— Нет,— ответил он.

Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Тут Уилсон сказал:

— Замечательный лев. Сейчас они снимут шкуру. Мы можем пока посидеть здесь, в тени.

Жена ни разу не взглянула на Макомбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сиденье, а Уилсон — впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей, туда, где туземцы свежевали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы.

— Ну-ну,— сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром.

— Мистер Роберт Уилсон,— сказала она.— Прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон.

Потом она опять села рядом с Макомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей туда, где лежал лев; его освежеванные лапы с белыми мышцами и сеткой сухожилий были задраны кверху, белое брюхо вздулось, и черные люди снимали с него шкуру. Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжелую, и, скатав ее, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря.

Так обстояло дело со львом. Макомбер не знал, каково было льву перед тем, как он прыгнул, и в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 0,505-го калибра с силой в две тонны размозжил ему пасть; и что толкало его вперед после этого, когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец и он пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его. Уилсон кое-что знал обо всем этом и выразил словами «замечательный лев», но Макомбер не знал также, каково было Уилсону. Он не знал, каково его жене, знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Что другое — а это он действительно знал; и еще мотоцикл, тот он узнал раньше всего; и автомобиль; и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лососи и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лоша-

дях; и цену деньгам; и почти все остальное, чем жил его мир; и то, что жена никогда его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше; она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Умей он больше давать женщинам, ее, вероятно, беспокоила бы мысль, что он может найти себе новую красавицу жену; но и она его слишком хорошо знала и на этот счет не беспокоилась. К тому же он всегда был очень терпим, и это было его самой приятной чертой, если не самой опасной.

В общем, по мнению света, это была сравнительно счастливая пара, из тех, которые, по слухам, вот-вот разведутся, но никогда не разводятся, и теперь они, как выразился репортер «светской хроники», «полагая, что элемент *приключения* придаст остроту их поэтичному, пережившему годы *роману*, отправились на *сафари* в страну, бывшую *Черной Африкой* до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва *Старого Симбо*, на буйволов и на слона *Тембо*, в то же время собирая материал для Музея естественных наук». Тот же репортер, по крайней мере, три раза уже сообщал публике, что они «на грани», и так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется; а богатство Макомбера было залогом того, что Марго никогда его не бросит.

Было три часа ночи, и Фрэнсис Макомбер, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о льве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга — он видел во сне, как над ним стоит лев с окровавленной головой,— и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, понял, что койка его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа.

Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полог и уютно улеглась в постель.

— Где ты была? — спросил Макомбер в темноте.

— Хэлло,— сказала она.— Ты не спишь?

— Где ты была?

— Просто выходила подышать воздухом.

— Черта с два.

— А что я должна сказать, милый?

— Где ты была?

— Выходила подышать воздухом.

— Это что, новый термин? Шлюха.

— А ты — трус.

— Пусть,— сказал он.— Что ж из этого?

— По мне — ничего. Но давай, милый, не будем сейчас разговаривать, мне очень хочется спать.

— Ты воображаешь, что я все стерплю.

— Я это знаю, дорогой.

— Так вот, не стерплю.

— Пожалуйста, милый, давай помолчим. Мне ужасно хочется спать.

— Мы ведь решили, что с этим покончено. Ты обещала, что этого больше не будет.

— Ну, а теперь есть,— сказала она ласково.

— Ты сказала, что, если мы поедем сюда, этого не будет. Ты обещала.

— Да, милый. Я и не собиралась. Но вчерашний день испортил путешествие. Только стоит ли об этом говорить?

— Ты не теряешь времени, когда у тебя в руках козырь, а?

— Пожалуйста, не будем говорить. Мне так хочется спать, милый.

— А я буду говорить.

— Ну, тогда прости, я буду спать.— И заснула.

Еще до рассвета все трое сидели за завтраком, и Фрэнсис Макомбер чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона.

— Как спали? — спросил Уилсон своим глуховатым голосом, набивая трубку.

— А вы?

— Отлично,— ответил белый охотник.

Сволочь, подумал Макомбер, наглая сволочь.

Значит, она его разбудила, когда вернулась, думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными, холодными глазами. Ну и следил бы за женой получше. Что он воображает, что я святой? Следил бы за ней получше. Сам виноват.

— Как вы думаете, найдем мы буйволов? — спросила Марго, отодвигая тарелку с абрикосами.

— Вероятно,— сказал Уилсон и улыбнулся ей.— А вам не остаться ли в лагере?

— Ни за что,— ответила она.

— Прикажите ей остаться в лагере,— сказал Уилсон Макомберу.

— Сами прикажите,— ответил Макомбер холодно.

— Давайте лучше без приказаний,— обращаясь к Макомберу,— без глупостей, Фрэнсис,— сказала Марго весело.

— Можно ехать? — спросил Макомбер.

— Я готов,— ответил Уилсон.— Вы хотите, чтобы мемсаиб поехала с нами?

— Не все ли равно, хочу я или нет.

Вот дьявольщина, подумал Роберт Уилсон. Вот уж правда, можно сказать, дьявольщина. Так, значит, вот оно как теперь будет. Ладно, значит, теперь будет именно так.

— Решительно все равно,— сказал он.

— Может, вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне поохотиться на буйволов одному? — спросил Макомбер.

— Не имею права,— сказал Уилсон.— Бросьте вы вздор болтать.

— Это не вздор. Мне противно.

— Нехорошее слово — противно.

— Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно,— сказала его жена.

— Я и так, черт возьми, говорю разумно,— сказал Макомбер.— Ели вы когда-нибудь такую гадость?

— Вы недовольны едой? — спокойно спросил Уилсон.

— Не больше, чем всем остальным.

— Возьмите себя в руки, голубчик,— сказал Уилсон очень спокойно.— Один из боев немного понимает по-английски.

— Ну и черт с ним.

Уилсон встал и, попыхивая трубкой, пошел прочь, сказав на суахили несколько слов поджидавшему его ружьеносцу. Макомбер и его жена остались сидеть за столом. Он упорно смотрел на свою чашку.

— Если ты устроишь скандал, милый, я тебя брошу,— сказала Марго спокойно.

— Не бросишь.

— Попробуй — увидишь.

— Не бросишь ты меня.

— Да,— сказала она.— Я тебя не брошу, а ты будешь вести себя прилично.

— Прилично? Это мне нравится. Прилично.

— Да. Прилично.

— Ты бы сама постаралась вести себя прилично.

— Я долго старалась. Очень долго.

— Ненавижу эту краснорожую свинью,— сказал Макомбер.— От одного его вида тошно делается.

— А знаешь, он очень милый.

— Замолчи! — крикнул Макомбер.

В эту минуту к обеденной палатке подъехал автомобиль, шофер и оба ружьеносца соскочили на землю. Подошел Уилсон и посмотрел на мужа и жену, сидевших за столом.

— Едем охотиться? — спросил он.

— Да,— сказал Макомбер, вставая.— Да.

— Захватите свитер. Ехать будет холодно,— сказал Уилсон.

— Я пойду возьму кожаную куртку,— сказала Марго.

— Она у боя,— сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Макомбер с женой молча уселись на заднем сиденье.

У этого болвана еще станется выстрелить мне в затылок, думал Уилсон. И зачем только берут на охоту женщин?

Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд там, где камни были мелкие, а потом, в сером свете утра, зигзагами поднялся на высокий берег, по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до редкого леса и больших полян.

Хорошее утро, думал Уилсон. Было очень росисто, колеса шли по траве к низкому кустарнику, и он чувствовал запах раздавленных листьев. От них пахло вербеной, а он любил этот утренний запах росы, раздавленные папоротники и черные стволы деревьев, выступавшие из утреннего тумана, когда машина катилась без дорог, в редком, как парк, лесу. Те двое, на заднем сиденье, больше не интересовали его, он думал о буйволах. Буйволы, до которых он хотел добраться, днем отдыхали на заросшем кустами болоте, где охота на них была невозможна; но по ночам они выходили пастись на большую поляну, и если бы удалось так подвести автомобиль, чтобы отрезать их от болота, Макомбер, вероятно, смог бы пострелять их на открытом месте. Ему не хотелось охотиться с Макомбером на буйволов в чаще. Ему не хотелось охотиться с Макомбером ни на буйволов, ни на какого другого зверя, но он был охотник-профессионал, и ему еще не с такими типами приходилось иметь дело. Если они сегодня найдут буйволов, останутся только носороги, на этом бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Макомбер тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват, растяпа несчастный.

Он, Роберт Уилсон, всегда возил с собой на охоту койку пошире — мало ли какой подвернется случай. Он знал свою клиентуру — веселящаяся верхушка общества, спортсмены-любители из всех стран, женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке с белым охотником. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока они его нанимали, их мерки были его мерками.

Они были его мерками во всем, кроме самой охоты. Тут у него были свои мерки, и этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо нанимать себе другого охотника. Он знал, что все они уважают его за это. А вот Макомбер этот — какой-то чудак,

Право, чудак. Да еще жена. Ну, что ж, жена. Да, жена. Гм, жена. Ладно, с этим покончено. Он оглянулся на них. Макомбер сидел угрюмый и злой. Марго улыбнулась. Сегодня она казалась моложе, более невинной и свежей, и не такой профессиональной красавицей. Что у нее на уме — одному богу известно, подумал Уилсон. Ночью она не много разговаривала. А смотреть на нее все-таки приятно.

Автомобиль взял небольшой подъем и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась все время у опушки в тени деревьев; ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел ее в бинокль. Потом махнул шоферу, и тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабаньи ямы и объезжая высокие муравейники. Потом Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал:

— Смотрите, вот они.

Машина рванулась вперед. Уилсон быстро заговорил с шофером на суахили, и, взглянув, куда он указывал, Макомбер увидел трех огромных черных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловища напряженно вытянулись на скаку, и он видел их загнутые кверху, широко раскинутые черные рога, когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы.

— Три старых самца,— сказал Уилсон.— Мы успеем отрезать им путь к болоту.

Автомобиль летел по кочкам со скоростью сорока пяти миль в час, и на глазах у Макомбера буйволы все росли и росли; так что он мог уже разглядеть серое, безволосое, покрытое струпьями туловище одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и черный блеск его рогов, когда он скакал, немного отстав от двух других, уходивших вперед ровным, тяжелым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то, они подъехали совсем близко, и он ясно видел скачущую глыбу и пыль, насевшую на шкуре между редкими волосами, широкое основание рогов и вытянутую, с широкими ноздрями морду, и он уже вскинул ружье, но Уилсон крикнул: «Не с машины, идиот вы этакий!» И в нем не было страха, только ненависть к Уилсону, а тут шофер дал тормоз, и машину так занесло, что она взрыла землю и почти остановилась, и Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад земли, а потом он стрелял в удалявшегося буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды, он все уходил; вспомнил наконец, что надо це-

лить ближе к голове, в плечо, и, уже перезаряжая ружье, увидел, что буйвол упал. Упал на колени, мотнув тяжелой головой, и Макомбер, заметив, что те два все скачут, выстрелил в вожака и попал. Он выстрелил еще раз, промахнулся, услышал оглушительное «ка-ра-уонг!» винтовки Уилсона и увидел, как передний бык ткнулся мордой в землю.

— Теперь третьего,— сказал Уилсон.— Вот это стрельба!

Но последний буйвол упорно уходил все тем же ровным галопом, и Макомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли, и Уилсон крикнул: «Едем! Так не достать!» — и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку, Макомбер с одной стороны, а Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно, прямо вперед.

Они быстро нагоняли его, и Макомбер заряжал ружье, роняя патроны: затвор зашалил, он выправил его; и когда они почти поравнялись с буйволом, Уилсон заорал: «Стой!» И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась, а Макомбера столкнуло вперед на землю, но он не упал, рванул вперед затвор и выстрелил в скачущую круглую черную спину, прицелился и выстрелил еще раз, потом еще и еще, и пули хоть и попали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Макомбера, и он увидел, что буйвол зашатался. Он выстрелил еще раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени.

— Здорово,— сказал Уилсон.— Чисто сработано. Теперь все три.

Макомбера охватил пьяный восторг.

— Сколько раз вы стреляли? — спросил он.

— Только три,— сказал Уилсон.— Первого убили вы. Самого большого. Двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил. Отлично стреляли.

— Пойдемте к машине,— сказал Макомбер.— Я хочу выпить.

— Сначала нужно прикончить вот этого,— сказал Уилсон.

Буйвол стоял на коленях, и когда они двинулись к нему, яростно вздернул голову и заревел от бешенства, мотая головой, тараща свиные глазки.

— Смотрите, как бы не встал,— сказал Уилсон.— И еще: отойдите немного вбок и бейте в шею, за ухом.

Макомбер старательно прицелился в середину огромной, дергающейся разъяренной шеи и выстрелил. Голова упала вперед.

— Правильно,— сказал Уилсон.— В позвонок. Ну и страшилища, черт их дери, а?

— Пойдем выпьем,— сказал Макомбер. Никогда в жизни ему еще не было так хорошо.

В автомобиле сидела жена Макомбера, очень бледная.

— Ты был изумителен, милый,— сказала она Макомберу.— Ну и гонка!

— Очень трясло? — спросил Уилсон.

— Очень страшно было. Я в жизни еще не испытывала такого страха.

— Давайте все выпьем,— сказал Макомбер.

— Обязательно,— сказал Уилсон.— Мемсанб первая.— Она отпила из фляжки чистого виски и слегка передернулась. Потом передала фляжку Макомберу, а тот Уилсону.

— Это так волнует,— сказала она.— У меня голова разболелась отчаянно. А я не знала, что разрешается стрелять буйволов из автомобилей.

— Никто и не стрелял из автомобилей,— сказал Уилсон холодно.

— Ну, гнаться за ними в автомобиле.

— Вообще-то это не принято,— сказал Уилсон.— Но сегодня мне понравилось. Такая езда без дорог по кочкам и ямам рискованнее, чем охотиться пешком. Буйвол, если б захотел, мог броситься на нас после любого выстрела. Сколько угодно. А все-таки никому не рассказывайте. Штука незаконная, если вы это имели в виду.

— По-моему,— сказала Марго,— нечестно гнаться за этими толстыми, беззащитными зверями в автомобиле.

— В самом деле?

— Что, если бы об этом узнали в Найроби?

— Первым делом у меня отобрали бы свидетельство. Ну и так далее, всякие неприятности,— сказал Уилсон, отпивая из фляжки.— Остался бы без работы.

— Правда?

— Да, правда.

— Ну вот,— сказал Макомбер и улыбнулся в первый раз за весь день.— Теперь она и к вам прицепилась.

— Как ты изящно выражаешься, Фрэнсис,— сказала Марго Макомбер.

Уилсон посмотрел на них. Если муж дурак, думал он, а жена дрянь, какие у них могут быть дети? Но сказал он другое:

— Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили?

— О господи, нет,— сказал Макомбер.

— Вот он идет,— сказал Уилсон.— Живехонек. Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола.

Старик Конгони, прихрамывая, шел к ним в своем вязаном колпаке, защитной куртке, коротких штанах и резиновых санда-

лях; лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на суахили, и все увидели, как белый охотник изменился в лице.

— Что он говорит? — спросила Марго.

— Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу,— сказал Уилсон без всякого выражения.

— Вот как,— сказал Макомбер рассеянно.

— Значит, теперь будет точь-в-точь как со львом,— сказала Марго, оживляясь.

— Будет, черт побери, совсем не так, как со львом,— сказал Уилсон.— Пить еще будете, Макомбер?

— Да, спасибо,— сказал Макомбер. Он ждал, что вернется ощущение, которое он испытал накануне, но оно не вернулось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга.

— Пойдем взглянем на второго буйвола,— сказал Уилсон.— Я велю шоферу отвести машину в тень.

— Куда вы? — спросила Марго Макомбер.

— Взглянуть на буйвола,— сказал Уилсон.

— И я с вами.

— Пойдемте.

Все трое пошли туда, где второй буйвол черной глыбой лежал на траве, вытянув голову, широко раскинув тяжелые рога.

— Очень хорошая голова,— сказал Уилсон.— Между рогами дюймов пятьдесят.

Макомбер восхищенно смотрел на буйвола.

— Отвратительное зрелище,— сказала Марго.— Может быть, пойдем в тень?

— Конечно,— сказал Уилсон.— Смотрите,— сказал он Макомберу и протянул руку.— Видите вон те заросли?

— Да.

— Вот туда и ушел первый буйвол. Конгони говорит, что, когда он свалился с машины, бык лежал на земле. Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. А когда он поднял голову, буйвол был на ногах и смотрел на него. Конгони пустился наутек, а бык потихоньку ушел в заросли.

— Пойдем за ним сейчас? — нетерпеливо спросил Макомбер.

Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой.

— Нет, переждем немного.

— Пожалуйста, пойдемте в тень,— сказала Марго. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной.

Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели.

— Очень возможно, что он уже издох,— заметил Уилсон.— Подождем немножко и посмотрим.

Макомбер ощущал огромное, безотчетное счастье, никогда еще не испытанное.

— Да, вот это была скачка! — сказал он.— Я в жизни не испытывал ничего подобного. Правда, чудесно было, Марго?

— Отвратительно,— сказала она.

— Чем?

— Отвратительно,— сказала она горько.— Мерзость.

— Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь,— сказал Макомбер Уилсону.— Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение.

— Полезно для печени,— сказал Уилсон.— Чего только с людьми не бывает.

Лицо Макомбера сияло.

— Право же, во мне что-то изменилось,— сказал он.— Я чувствую себя совершенно другим человеком.

Его жена ничего не сказала и посмотрела на него как-то странно. Она сидела, прижавшись к спинке, а Макомбер наклонился вперед и говорил с Уилсоном, который отвечал, повернувшись боком на переднем сиденье.

— Знаете, я бы с удовольствием еще раз поохотился на льва,— сказал Макомбер.— Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать?

— Правильно,— сказал Уилсон.— В худшем случае убьют вас. Как это у Шекспира? Очень хорошее место. Сейчас вспомню. Ах, очень хорошее место. Одно время я постоянно его повторял. Ну-ка, попробую: «Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И, во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем». Хорошо, а?

Он очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни, но не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется двадцать один год. Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее,— вот что понадобилось для этого Макомберу; но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон. Дело в том, что многие из них долго остаются мальчишками. Некоторые так на всю жизнь. Пятьдесят лет человеку, а фигура мальчишеская. Пресловутые американские мужчины-мальчики. Чудной народ, ей-богу. Но сейчас этот Макомбер ему нравится. Чудак, право, чудак. И наставлять себе рога он, наверно, тоже

больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. И к тому же автомобиль. С автомобилем все кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха.

Забившись в угол автомобиля, Маргарет Макомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидала накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но Фрэнсис Макомбер изменился, и она это видела.

— Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь? — спросил Макомбер, продолжая обследовать свои новые владения.

— Об этом, как правило, молчат,— сказал Уилсон, глядя на лицо Макомбера.— Скорее принято говорить, что вам страшно. А вам, имейте в виду, еще не раз будет страшно.

— Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?

— Да,— сказал Уилсон.— И точка. Нечего об этом распространяться. А то все можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает.

— Оба вы болтаете вздор,— сказала Марго.— Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями.

— Прошу прощенья,— сказал Уилсон.— Я и правда наболтал лишнего.— Уже встревожилась, подумал он.

— Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься? — сказал Макомбер жене.

— Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый,— презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно.

Макомбер рассмеялся непринужденным, веселым смехом.

— Представь себе,— сказал он.— Действительно стал.

— Не поздно ли? — горько сказала Марго. Потому что она очень старалась, чтобы все было хорошо, много лет старалась, а в том, как они жили сейчас, винить было некого.

— Для меня — нет,— сказал Макомбер.

Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины.

— Как вы думаете, теперь пора? — бодро спросил Макомбер.

— Можно попробовать,— сказал Уилсон.— У вас патроны остались?

— Есть немного у ружьеносца.

Уилсон крикнул что-то на суахили, и старый туземец, свежевавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана коробку с патронами и принес ее Макомберу; тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман.

— Вы стреляйте из спрингфилда,— сказал Уилсон.— Вы к нему привыкли. Маннлихер оставим в машине у мемсанб. Штуцер может взять Конгони. Я беру свою пушку. Теперь послушайте, что я вам скажу.— Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Макомбера.— Когда буйвол нападает, голова у него не опущена, а вытянута вперед. Основания рогов прикрывают весь лоб, так что стрелять в череп бесполезно. Единственно возможный выстрел — прямо в морду. И еще возможен выстрел в грудь или, если вы стоите сбоку, в шею или плечо. Когда они ранены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов. Выбирайте самый легкий выстрел. Ну так, с головой они покончили. Едем?

Он позвал туземцев, они подошли, вытирая руки, и старший залез сзади в машину.

— Я беру только Конгони,— сказал Уилсон.— Второй останется здесь, будет отгонять птиц.

Когда автомобиль медленно поехал по траве, к лесистому островку, который тянулся зеленым языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Макомбер чувствовал, как у него колотится сердце и во рту опять пересохло, но это было возбуждение, а не страх.

— Вот здесь он вошел в заросли,— сказал Уилсон. И приказал ружьеносцу на суахили: — Найди след.

Автомобиль поравнялся с островком зелени. Макомбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Макомбер увидел, что жена смотрит на него и ружье лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила.

Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо. Старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Макомбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг Конгони сказал что-то Уилсону и побежал вперед.

— Он там издох,— сказал Уилсон.— Чистая работа.

Он повернулся и схватил Макомбера за руку, и, в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, жали друг другу руки, Конгони пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро, как краб, а за ним буйвол — ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперед,— нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, и Макомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушенного грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов

посыпались похожие на шифер осколки, и голова буйвола дернулась. Он снова выстрелил, прямо в широкие ноздри, и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона и, старательно прицелившись, снова выстрелил, а буйвол громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой; он увидел маленькие злые глазки, и голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная, жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу, и больше он никогда ничего не чувствовал.

Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить буйволу в плечо. Макомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно,— в тяжелые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша, а миссис Макомбер с автомобиля выстрелила из маннлихера калибра 6,5 в буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Макомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку.

Фрэнсис Макомбер лежал ничком всего в двух ядрах от того места, где лежал на боку буйвол, его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон.

— Не нужно его переворачивать,— сказал Уилсон.

Женщина истерически плакала.

— Подите, сядьте в автомобиль,— сказал Уилсон.— Где ружье?

Она покачала головой, на лице ее застыла гримаса. Туземец поднял с земли ружье.

— Положи на место,— сказал Уилсон. И прибавил:— Сходи за Абдуллой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастье.

Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко остриженную голову Фрэнсиса Макомбера. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю.

Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола: ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. «А хорош, черт его дери,— автоматически отметил его мозг.— Никак не меньше пятидесяти дюймов». Он крикнул шофера и велел ему накрыть мертвого пледом и остаться возле него. Потом пошел к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол.

— Ну и натворили вы дел,— сказал он совершенно безучастно.— А он бы вас непременно бросил.

— Перестаньте,— сказала она.

— Конечно, это несчастный случай,— сказал он.— Я-то знаю.

— Перестаньте,— сказала она.

— Не тревожьтесь,— сказал он.— Предстоят кое-какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков,

которые очень пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофер тоже выступят как свидетели. Вам решительно нечего бояться.

— Перестаньте,— сказала она.

— Будет много возни,— сказал он.— Придется отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолет, который заберет нас всех троих в Найроби. Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так.

— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крикнула женщина.

Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами.

— Больше не буду,— сказал он.— Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.

— О, пожалуйста, перестаньте,— сказала она.— Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте.

— Так-то лучше,— сказал Уилсон.— Пожалуйста — это много лучше. Теперь я перестану.

СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

Килиманджаро — покрытый вечными снегами горный массив высотой в 19 710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет его западный пик «Нгайэ-Нгайя», что значит «Дом бога». Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

— Самое удивительное, что мне совсем не больно,— сказал он.— Только так и узнают, когда это начинается.

— Неужели совсем не больно?

— Нисколько. Правда, запах. Но ты уж прости. Тебе, должно быть, очень неприятно.

— Перестань. Пожалуйста, перестань.

— Посмотри на них,— сказал он.— Интересно, что их сюда влечет? Самое зрелище или запах?

Койка, на которой он лежал, стояла под тенистой кроной мимозы, и, глядя дальше, на залитую слепящим солнцем долину, он видел трех громадных птиц, раскорячившихся на земле, а в небе парило еще несколько, отбрасывая вниз быстро скользящие тени.

— Они торчат здесь с того самого дня, как сломался наш грузовик,— сказал он.— Сегодня в первый раз сели на землю. Сначала я очень внимательно следил за ними на тот случай, если понадобится всунуть их в какой-нибудь рассказ. Но теперь даже думать об этом смешно.

— Не надо,— сказала она.

— Да ведь это я просто так,— сказал он.— Когда говоришь, легче. Впрочем, я вовсе не хочу доставлять тебе неприятности.

— Ты прекрасно знаешь, что дело не в этом,— сказала она.— Я нервничаю только потому, что чувствую свою беспомощность. Мы с тобой должны взять себя в руки и ждать самолета.

— Или не ждать самолета.

— Ну, скажи, что мне сделать? Неужели я ничем не могу помочь?

— Можешь отрубить мне ногу, тогда не поползет дальше; впрочем, сомневаюсь. Или можешь пристрелить меня. Ты теперь меткий стрелок. Ведь я научил тебя стрелять?

— Не надо так. Хочешь, я почитаю вслух?

— Что?

— Что-нибудь из того, что мы еще не читали.

— Нет, я не могу слушать,— сказал он.— Разговаривать легче.— Мы ссоримся, а так время идет быстрее.

— Я не ссорюсь. Я не хочу ссориться с тобой. Не будем больше ссориться. Даже если нервы совсем развинтятся. Может, сегодня за нами пришлют грузовик. Может, прилетит самолет.

— Я не желаю двигаться с места,— сказал он.— Какой смысл? Разве только, чтобы тебе стало легче.

— Это трусость.

— Дай человеку спокойно умереть, неужели тебе обязательно нужно браниться? Что толку обзывать меня трусом?

— Ты не умрешь.

— Перестань говорить глупости. Я умираю. Спроси вон у тех гадин.— Он посмотрел туда, где три громадных омерзительных птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее. Четвертая опустилась на землю, пробежала немного, быстро перебирая ногами, и медленно, вразвалку, двинулась к остальным.

— Они кружат около каждой стоянки. Обычно их просто не замечаешь. Ты не умрешь, если сам не сдашься!

— Где ты это вычитала? Боже, до чего ты глупа!

— Тогда думай о ком-нибудь другом.

— Ну уж нет! — сказал он.— Хватит с меня этого занятия.

Он откинулся на подушку и несколько минут лежал молча, глядя на струившийся от зноя воздух и на кромку зеленевшего вдали кустарника. Там ходили барашки, крохотные и белые на желтом фоне, а еще дальше виднелось стадо зебр, совсем белых

рядом с зелеными кустами. Место для стоянки было выбрано отличное — под большими деревьями, у подножия холма, хорошая вода, а в двух шагах почти пересохший источник, над которым по утрам летали куропатки.

— Хочешь, я почитаю вслух? — спросила она снова. Она сидела возле койки на складном парусиновом стуле.— Вот и ветерок поднимается.

— Нет, спасибо.

— Может быть, грузовик скоро придет.

— Мне совершенно безразлично, придет он или не придет.

— А мне не безразлично.

— У нас всегда так: что не безразлично тебе, безразлично мне.

— Нет, не всегда, Гарри.

— Надо бы выпить.

— Тебе это вредно. У Блэка сказано — воздерживаться от алкоголя. Тебе нельзя пить.

— Моло! — крикнул он.

— Да, бвана.

— Принеси виски с содовой.

— Да, бвана.

— Тебе нельзя пить,— сказала она.— Ты сдаешься, об этом я и говорила. Ведь там же сказано, что пить вредно. Я знаю, что тебе это вредно.

— Нет,— сказал он.— Мне это полезно.

Значит, теперь уже ничего не поделаешь, думал он. Значит, теперь он ничего не доведет до конца. Значит, вот чем все это завершается — пререканиями из-за виски. С тех пор как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась, а вместе с болью исчез и страх, и он ощущал теперь только непреодолимую усталость и злобу, оттого что таков будет конец. То, что близилось, не вызывало у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его, но сейчас это уже ничего не значило. Странно, что именно усталость так все облегчает.

Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло, поэтому он и откладывал свои намерения в долгий ящик и никак не мог взяться за перо. Впрочем, теперь правды никогда не узнаешь.

— Не надо было приезжать сюда,— сказала женщина. Она смотрела на стакан у него в руке и кусала губы.— В Париже ничего подобного с тобой бы не случилось. Ты всегда говорил, что любишь Париж. Можно было бы остаться в Париже или уехать

куда-нибудь еще. Я бы поехала куда угодно. Я же говорила, что поеду, куда только ты захочешь. Если тебе хотелось поохотиться, мы могли бы поехать в Венгрию, там все было бы к нашим услугам.

— Всему виной твои поганые деньги,— сказал он.

— Это несправедливо,— сказала она.— Они столько же твои, сколько и мои. Я все бросила и ездила за тобой всюду, куда тебе хотелось, и я делала все, что тебе хотелось. Но сюда не надо было приезжать.

— Ты же говорила, что тебе здесь нравится.

— Да, когда ты был здоров. А сейчас здесь невыносимо. Я не понимаю, почему у тебя должна была разболеться нога. Чем мы это заслужили, что мы такое сделали?

— Я сделал вот что: сначала забыл прижечь йодом царапину на колене. Потом перестал думать об этом, потому что до сих пор никакая инфекция ко мне не приставала. Потом, когда нога разболелась, я примачивал ранку слабым раствором карболки, так как другие дезинфицирующие средства у нас вышли. От этого закупорились мелкие сосуды, началась гангрена.— Он взглянул на нее.— Что еще?

— Я не об этом.

— Если бы мы наняли настоящего шофера, а не какого-то идиота-туземца, он проверил бы уровень масла в моторе и не пережег бы подшипник.

— Я не об этом.

— Если бы ты не распростилась со своими друзьями, со всей этой сворой из Уэстбери, Саратоги, Палм-Бича и не ушла ко мне...

— Это несправедливо. Ведь я любила тебя. И сейчас люблю. И всегда буду любить. Разве ты меня не любишь?

— Нет,— сказал он.— По-моему, нет. По-моему, я тебя никогда не любил.

— Что ты говоришь, Гарри? Ты сошел с ума.

— Нет. Мне сходить не с чего, при всем желании.

— Не пей виски,— сказала она.— Милый, я прошу тебя, не пей. Мы должны сделать все, что в наших силах.

— Делай ты,— сказал он.— А я устал.

Сейчас он видел перед собой вокзал в Карагаче. Он уезжал тогда из Фракии после отступления и стоял с вещевым мешком за плечами, глядя, как фонарь экспресса Симплон — Ориент рассекает темноту. Вот это он тоже откладывал впрок, и еще про утренний завтрак и про то, как смотрели из окна и видели снег на горах в Болгарии, и секретарша Нансеновской миссии спросила

шефа, неужели это снег, и старик посмотрел туда и сказал: нет, это не снег. Для снега слишком рано. И секретарша повторила, обращаясь к другим девушкам: вы слышали? Это не снег, и они хором: это не снег, мы ошиблись. Но это был снег, самый настоящий снег, и шеф заслал туда, в горы, уйму народу, когда начался обмен населения. Людям пришлось пробираться по глубоким заносам, и они погибли в ту зиму все до одного.

В Гауэртале в тот год на рождество тоже шел снег. В тот год, когда они жили в домике дровосека с квадратной изразцовой печкой, которая занимала полкомнаты, и спали на тюфяках, набитых буковыми листьями. Тогда же в домик пришел дезертир, и на снегу от его ног тянулись кровавые следы. Он сказал, что за ним гонятся, и они дали ему шерстяные носки и отвлекли жандармов разговорами, пока следы не замело.

В Шрунсе на первый день рождества снег так блестел, что глазам было больно смотреть из окна Weinstube [1] *на прихожан, расходившихся после церковной службы по домам. Там же, в Шрунсе, они поднимались по укатанной санями, желтой от конской мочи дороге вдоль реки, мимо крутых гор, поросших сосновым лесом,— поднимались пешком, неся тяжелые лыжи на плече; и там же совершили великолепный спуск на лыжах вниз по леднику над Мадленер-Хаус; снег был гладкий, как сахарная глазурь, и легкий, как порошок, и он помнил бесшумный от быстроты полет, когда падаешь камнем вниз, точно птица.*

Они застряли в Мадленер-Хаус на целую неделю из-за бурана, играли в карты при свете дымящего фонаря, и ставки поднимались все выше и выше, по мере того как проигрывал герр Ленц. Наконец он проиграл все дочиста. Все — деньги лыжной школы, доход за целый сезон, потом все свои сбережения. Он видел его, как живого,— длинноносый, берет карты со стола и ставит «Sans voir» [2]*. Играли тогда круглые сутки. Снег валит — играют. Метели нет — играют. Он подумал о том, сколько времени ушло у него в жизни на карты.*

Но он не написал ни строчки ни об этом, ни о том холодном, ясном рождественском дне, когда горы четко виднелись по ту сторону долины, над которой Баркер перелетел линию фронта, чтобы бомбить поезд с австрийскими офицерами, уезжавшими с позиций домой, поливал их пулеметным огнем, когда они рассыпались и побежали кто куда. Он вспомнил, как Баркер зашел потом в офицерскую столовую и начал рассказывать об этом. И как вдруг стало тихо и кто-то сказал: «Зверь, сволочь паршивая». Австрийцы, которых они убивали тогда, были такие же, с какими

---

[1] Кабачок *(нем.)*.
[2] Втемную *(фр.)*.

он позднее ходил на лыжах. Нет, не такие же. Ганс, с которым он ходил на лыжах весь тот год, служил в егерском полку, и, охотясь вместе на зайцев в небольшой долине над лесопилкой, они говорили о боях у Пасубио и о наступлении под Петрикой и Асалоне, и он не написал об этом ни единой строчки. Ни о Монте-Корно, ни о Сьетте-Коммуни, ни об Арсиеро.

Сколько зим он прожил в Арльберге и Форарльберге? Четыре, и тут он вспомнил человека, который продавал лису, когда они шли в Блуденц покупать подарки, и славный кирш с привкусом вишневых косточек, вихрь легкого, как порошок, снега, разлетающегося по насту, песню «Хай-хо, наш Ролли!» на последнем перегоне перед крутым спуском, и прямо вниз, не сворачивая, потом тремя рывками через сад, дальше канава, а за ней обледенелая дорога позади гостиницы. Крепление долой, сбрасываешь с ног лыжи и ставишь их к деревянной стене, а из окна свет лампы, и там, в комнате, в дымном, пахнущем молодым вином тепле играют на аккордеоне.

— Где мы останавливались в Париже? — спросил он женщину, которая сидела рядом с ним на складном стуле — здесь, в Африке.

— В отеле «Крийон». Ты же сам знаешь.

— Почему я должен это знать?

— Мы всегда там останавливались.

— Нет, не всегда.

— Там и в «Павильоне Генриха Четвертого» в Сен-Жерменском предместье. Ты говорил, что любишь эти места.

— Любовь — навозная куча,— сказал Гарри.— А я петух, который взобрался на нее и кричит кукареку.

— Если ты правда умираешь,— сказала она,— неужели тебе нужно убить все, что остается после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену, сжечь свое седло и свое оружие?

— Да,— сказал он.— Твои проклятые деньги — вот мое оружие, и с ними я был в седле.

— Перестань.

— Хорошо. Больше не буду. Я не хочу обижать тебя.

— Не поздно ли ты спохватился?

— Хорошо. Тогда буду обижать. Так веселее. То единственное, что я любил делать с тобой, сейчас мне недоступно.

— Нет, неправда. Ты любил и многое другое, и все, что хотелось делать тебе, делала и я.

— Ради бога, перестань хвалиться.

Он взглянул на нее и увидел, что она плачет.

— Послушай,— сказал он.— Ты думаешь, мне приятно? Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваешь, чтобы чувствовать, что ты еще жив,— должно быть, так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо. Я не знал, к чему это приведет, а сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя. Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю. Я никого так не любил, как тебя.— Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный.

— Какой ты милый.

— Сука,— сказал он.— У суки щедрые руки. Это поэзия. Я сейчас полон поэзии. Скверны и поэзии. Скверной поэзии.

— Замолчи, Гарри. Что ты беснуешься?

— Я ничего не оставлю,— сказал он.— Я ничего не хочу оставлять после себя.

Наступил вечер, и он проснулся. Солнце зашло за холм, и всю долину покрыла тень. Мелкие животные паслись теперь почти у самых палаток, и он смотрел, как они все дальше отходят от кустарника, головами то и дело припадают к траве, крутят хвостиками. Птицы уже не дежурили, сидя на земле. Они грузно облепили дерево. Их заметно прибыло. Его бой сидел возле койки.

— Мемсаиб пошла стрелять,— сказал бой.— Бвана что-нибудь нужно?

— Нет.

Она пошла подстрелить какую-нибудь дичь к обеду и, зная, как он любит смотреть на животных, забралась подальше, чтобы не потревожить тот уголок долины, который виден ему с койки. Она все помнит, подумал он. Все, что узнала, или прочла, или просто услышала.

Разве это ее вина, что он пришел к ней уже конченым. Откуда женщине знать, что за словами, которые говорятся ей, ничего нет, что говоришь просто в силу привычки и ради собственного спокойствия. Когда он перестал придавать значение своим словам, его ложь имела больше успеха у женщин, чем правда.

Плохо не то, что он лгал, а то, что вместо правды была пустота. Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а он все еще жил, но теперь уже среди других людей, и денег теперь было больше, и из всех знакомых мест он выбирал лучшие, бывал и в новых местах.

Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше, на ту работу,

которая теперь была уже не по плечу тебе. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не из их племени — ты соглядатай в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знался, было удобнее, чтобы он не работал. В Африке он когда-то провел лучшее время своей жизни, и вот он опять приехал сюда, чтобы начать все сызнова. В поездке они пользовались минимумом комфорта. Лишений терпеть не приходилось, но роскоши тоже не было, и он думал, что опять войдет в форму. Что ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела.

Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь. Она любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки, любила новых людей, развлечения. И он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нем. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя, точно змея, которой перешибли хребет. Эта женщина ни в чем не виновата. Не будь ее, была бы другая. Если вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней. Он услышал звук выстрела за холмом.

У нее точный прицел, у этой доброй суки, у которой щедрые руки, у этой ласковой опекунши и губительницы его таланта. Чушь. Он сам погубил свой талант. Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами. Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но вместо того чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; было: я мог бы сделать. И он предпочел добывать средства к жизни не пером, а другими способами. И ведь это неспроста,— правда? — что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы. Но когда влюбленность проходила, когда он только лгал, как теперь вот этой женщине, которая была богаче всех, у которой была уйма денег, у которой когда-то были муж и дети, которая и до него имела любовников, но не находила в этом удовлетворения, а его любила нежно, как писателя, как мужчину, как товарища и как драгоценную собственность,— не

странно ли, что, не любя ее, заменив любовь ложью, он не мог давать ей больше за ее деньги, чем другим женщинам, которых действительно любил.

Все мы, верно, созданы для своих дел, подумал он. Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь себе на кусок хлеба. Он только и делал, что в той или иной форме продавал свои силы, а когда чувства нет, то за полученные деньги даешь товар лучшего качества. Он убедился в этой истине, но и о ней он теперь уже никогда не напишет. Да, он не напишет об этом, а написать стоило бы.

Вот она появилась из-за холма, идет по долине к палаткам. На ней бриджи, в руках она держит ружье. Бои шагают следом и тащат барашка на палке. Она все еще интересная женщина, подумал он, и у нее хорошее тело. Она очень талантлива в любовных делах и понимает в них толк; хорошенькой ее не назовешь, но ему нравилось ее лицо, она массу читала, любила верховую езду, охоту и, конечно, слишком много пила. Муж у нее умер, когда она была еще сравнительно молодой женщиной, и после его смерти она вся ушла, правда, ненадолго, в своих уже подросших детей, которым это было совсем не нужно и только тяготило их, в свою конюшню, книги и вино. Она любила читать по вечерам перед обедом и, читая, пила виски с содовой. К обеду она выходила пьяная, и бутылки вина, выпитой за столом, ей было достаточно, чтобы заснуть.

Все это было до любовников. Когда у нее появились любовники, она стала меньше пить, потому что теперь сон приходил и без вина. Но с любовниками она скучала. Она была замужем за человеком, с которым никогда не было скучно, а с этими она очень скучала.

Потом ее сын погиб в воздушной катастрофе, и после этого она покончила с любовниками, а так как виски не утоляло боли, приходилось начинать какую-то другую жизнь. Она вдруг остро почувствовала свое одиночество и испугалась. Но ей нужен был человек, которого можно уважать.

Все началось очень просто. Ей нравились его книги, и она всегда завидовала его образу жизни. Ей казалось, что он делает именно то, что ему хочется делать. Шаги, предпринятые ею, чтобы завладеть им, то, как она в конце концов полюбила его,— все это вошло в некую обратно пропорциональную прогрессию, в которой она строила новую жизнь, а он продавал остатки своей прежней жизни.

Он продавал ее, чтобы получить взамен обеспеченное существование, чтобы получить комфорт,— этого отрицать нельзя,— и что еще? Кто знает? Она купила бы ему все, исполнила бы любое его желание. В этом он не сомневался. К тому же как жен-

щина она была замечательна. Он ничего не имел против того, чтобы сойтись именно с ней; пожалуй, с ней даже скорее, чем с какой-нибудь другой женщиной, потому что она была богаче, потому что она была очень приятна и понимала толк в любви и никогда не устраивала сцен. А теперь жизнь, которую она построила заново, приближалась к концу, потому что две недели назад он не прижег йодом колена, оцарапанного о колючку, когда они пробирались в зарослях, чтобы сфотографировать стадо антилоп, стоявших, высоко подняв головы, всматривавшихся вперед,— ноздри жадно вбирают воздух, уши в струнку, малейший шорох — и умчатся в кусты. И они удрали, не дав ему времени щелкнуть аппаратом.

Вот она, пришла.

Он повернул голову на подушке, навстречу ей, и сказал:

— Хэлло!

— Я подстрелила барашка,— сказала она.— Дадим тебе вкусного бульону, и я велю еще приготовить картофельное пюре на порошковом молоке. Как ты себя чувствуешь?

— Гораздо лучше.

— Вот хорошо! Знаешь, я так и думала, что тебе будет лучше. Ты спал, когда я ушла.

— Я хорошо выспался. Ты далеко забралась?

— Нет. Только обогнула холм. Знаешь, я ловко его подстрелила.

— Ты замечательно стреляешь.

— Я люблю охоту. И Африку полюбила. Правда. Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка самое интересное, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой. Я полюбила Африку.

— Я тоже ее люблю.

— Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной? Обещаешь?

— Хорошо. Не буду,— сказал он.— Я не помню, что я говорил.

— Зачем мучить меня? Не надо. Я всего только пожилая женщина, которая любит тебя и хочет делать то, что хочется делать тебе. Меня уже столько мучили. Ты не станешь меня мучить, ведь нет?

— Я бы с удовольствием помучил тебя в постели,— сказал он.

— Вот это другое дело. Для этого мы и созданы. Завтра прилетит самолет.

— Откуда ты знаешь?

— Я в этом уверена. Он обязательно прилетит. Бои приготовили хворост и траву для дымовых костров. Я сегодня опять ходила туда посмотреть. Места для посадки достаточно, и мы разожжем костры по обеим сторонам.

— Почему ты думаешь, что он прилетит завтра?

— Я уверена, что прилетит. Пора уже. В городе твою ногу вылечат, и тогда мы помучаем друг друга по-настоящему. Не так, как ты мучил меня сегодня своими разговорами.

— Давай выпьем? Солнце уже село.

— Тебе, пожалуй, не стоит.

— А я буду.

— Тогда выпьем вместе. Мало, принеси нам виски с содовой,— крикнула она.

— Ты бы надела высокие башмаки, а то москиты налетят,— сказал он ей.

— Я сначала помоюсь.

Пока надвигалась темнота, они пили, а перед тем как совсем стемнело и стрелять было уже нельзя, по долине пробежала гиена и скрылась за холмом.

— Эта дрянь каждый вечер здесь бегает,— сказал он.— Каждый вечер две недели подряд.

— Это та самая, что воет по ночам. Пусть ее, мне она не мешает. Хотя они очень противные.

Теперь, когда он потягивал вместе с ней виски и боль исчезла,— только неудобно лежать, не меняя положения, а бои разводили костер и тень от него металась по стенкам палаток,— он чувствовал, как к нему снова возвращается примиренность с этой жизнью, ставшей приятной неволей. Она очень добра к нему. Он был жесток и несправедлив сегодня утром. Она хорошая женщина, просто замечательная женщина. И в эту минуту он вдруг понял, что умирает.

Это налетело вихрем; не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапной, одуряющей смрадом пустоты, и самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена.

— Ты что, Гарри? — спросила она.

— Ничего,— сказал он.— Ты бы пересела. Так, чтобы ветер был с твоей стороны.

— Мало сделал тебе перевязку?

— Да. Я наложил примочку из борной.

— Как ты себя чувствуешь?

— Слабость немножко.

— Я пойду помоюсь,— сказала она.— Это недолго. Мы поедим вместе, а потом надо внести койку.

«Значит,— сказал он самому себе,— мы хорошо сделали, что

прекратили ссоры». Он никогда особенно не ссорился с этой женщиной, а с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедала все, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком многого требовал и в конце концов оставался ни с чем.

Он думал о том, как было тогда в Константинополе,— один, после ссоры в Париже перед самым отъездом. Он развратничал все те дни, а потом, когда опомнился и чувство одиночества не только не прошло, а стало еще острее, он написал ей, первой, той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это... О том, как ему показалось однажды, что она прошла мимо Regence, и у него все заныло внутри, и о том, что если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство, которое охватывало его при этом. О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви. Он писал это письмо в клубе, совершенно трезвый, и отправил его в Нью-Йорк, попросив ее ответить в Париж по адресу редакции. Казалось, это вполне безопасно. И в тот же вечер, истосковавшись по ней до чувства щемящей пустоты внутри, он подцепил около Таксима первую попавшуюся и пошел с ней ужинать. Потом они поехали в дансинг, танцевала она плохо, и он отделался от нее, пригласив какую-то разнузданную армянскую девку, которая, танцуя, так терлась о него животом, что его бросало в дрожь. Он отбил ее со скандалом у английского артиллериста. Артиллерист вызвал его на улицу, и они схватились там в темноте, на булыжной мостовой. Он ударил его два раза по скуле со всего размаху, но артиллерист не упал, и тогда он понял, что драка предстоит серьезная. Артиллерист ударил его в грудь, потом чуть ниже глаза. Он опять нанес длинный боковой удар левой, артиллерист вцепился ему в пиджак и оторвал рукав, а он съездил его два раза по уху и потом, оттолкнув от себя, нанес еще удар правой. Артиллерист повалился, стукнувшись головой о камни, а он поспешил удрать с женщиной, потому что к ним уже приближался военный патруль. Они взяли такси, поехали вдоль Босфора к Риммили-Хисса, сделали круг, потом обратно по свежему ночному воздуху и легли в постель, и она была такая же перезрелая, как и в платье, но шелковистая, как розовый лепесток, липкая, шелковистый живот, большие груди. Он ушел, когда она еще спала, и на рассвете вид у нее был здорово потасканный. Оттуда — в Пера-Палас с подбитым глазом, пиджак под мышкой, потому что одного рукава не хватало.

В тот же вечер он выехал в Анатолию, а на другой день поезд шел полями, засеянными маком, из которого добывают опиум, и сейчас он вспомнил, какое странное самочувствие у него было к концу дня, и какими обманчивыми казались расстояния последнюю часть пути перед фронтом, где проводили наступление с участием только что прибывших греческих офицеров, которые были форменными болванами, и артиллерия стреляла по своим, и английский военный наблюдатель плакал, как ребенок.

В тот же день он впервые увидел убитых солдат в белых балетных юбочках и в туфлях с загнутыми кверху носками и с помпонáми. Турки валили стеной, и он видел, как солдаты в юбочках бросились бежать, а офицеры стреляли по ним, а потом сами побежали, и он тоже повернул следом за английским наблюдателем и бежал так быстро, что у него заломило в груди, во рту был такой привкус, точно там полно медяков, и они укрылись за скалами, а турки все валили и валили. Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях себе не мог представить; а потом он видел и гораздо худшее. Поэтому, вернувшись в Париж, он не мог ни говорить, ни слушать об этом. И когда он проходил мимо одного кафе в Париже, там сидел тот самый американский поэт, на столике перед ним гора блюдечек, и лицо у него глупое и рыхлое, как картофелина; поэт говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара, который носил монокль и всегда жаловался на головную боль; а потом снова в своей квартире, с женой, которую он теперь опять любил; ссоры как не бывало, безумия как не бывало, рад, что вернулся; почту из редакции присылают на дом. И вот однажды утром за завтраком ему подали ответ на письмо, которое он написал тогда, и, узнав почерк, он весь похолодел и хотел подсунуть письмо под другой конверт. Но жена спросила: «От кого это, милый?»— и тут пришел конец тому, что только начиналось у них.

Он вспомнил хорошие дни, проведенные с ними со всеми, и ссоры. Они всегда ухитрялись выбирать для ссор самые чудесные минуты. И почему это ссориться с ним надо было именно тогда, когда ему было хорошо? Он так и не написал об этом, потому что сначала ему никого не хотелось обидеть, а потом стало казаться, что и без того есть о чем писать. Но он всегда думал, что в конце концов напишет об этом. Столько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир; не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно — и событий и людей; нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом, но теперь уже не напишет.

— Как ты себя чувствуешь? — Она уже помылась и вышла из палатки.

— Хорошо.

— Может быть, поешь теперь? — За ее спиной он увидел Моло со складным столиком и второго боя с посудой.

— Я хочу писать,— сказал он.

— Тебе надо выпить бульону, подкрепиться.

— Я сегодня умру,— сказал он.— Мне незачем подкрепляться.

— Не надо мелодрам, Гарри,— сказала она.

— Ты что, потеряла обоняние? Нога у меня наполовину сгнила. Очень мне нужен этот бульон! Моло, принеси виски с содовой.

— Выпей бульону, я прошу тебя,— мягко сказала она.

— Хорошо.

Бульон был очень горячий. Он долго студил его в чашке и потом выпил залпом, не поперхнувшись.

— Ты замечательная женщина,— сказал он.— Не обращай на меня внимания.

Она повернулась к нему лицом — такое знакомое, любимое лицо со страниц «Города и виллы», только чуть-чуть подурневшее от пьянства, только чуть-чуть подурневшее от любовных утех; но «Город и вилла» никогда не показывал этой красивой груди, и этих добротных бедер, и легко ласкающих рук, и, глядя на ее такую знакомую, приятную улыбку, он снова почувствовал близость смерти. На этот раз вихря не было. Был легкий ветерок, дуновение, от которого пламя свечи то меркнет, то вытягивается столбиком.

— Немного погодя вели принести сетку, пусть ее протянут от койки к дереву и разведут костер. Я не хочу перебираться в палатку на ночь. Не стоит труда. Ночь ясная. Дождя не будет.

Значит, вот как умирают — в шепоте, который еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец ссорам. Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда еще не приходилось испытывать на себе. Наверно, испортит. Ведь портишь все. А может быть, и не испортит.

— Ты не умеешь стенографировать?

— Нет, не умею,— сказала она.

— Ничего, не важно.

Времени, правда, уже не хватит, хотя все это так втиснуто одно в другое, что кажется, можно уложиться в один абзац, лишь бы только суметь.

На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в кото-

рый звонили, сзывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллейка серебристых тополей. На мысу тоже росли тополя. Вдоль опушки леса шла дорога в горы, и по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, и все ружья, висевшие на оленьих ножках над камином, тоже сгорели, и ружейные стволы, без прикладов, с расплавившимся в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших мыловаренных котлов, и ты спросил дедушку, можно взять эти стволы поиграть, и он сказал нет. Ведь это были все еще его ружья, а новых он так и не купил, и с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса, и побелили его, и с террасы были видны тополя, а за ними озеро; но ружей в доме больше не было. Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на оленьих ножках, валялись в куче золы, и никто теперь не прикасался к ним.

В Шварцвальде после войны мы арендовали ручей, в котором водилась форель, и к нему можно было пройти двумя путями. Первый вел через долину — спуск начинался от Триберга,— под тенистыми деревьями, которые окаймляли белую дорогу, а потом по тропинке, поднимавшейся в горы, мимо небольших ферм с высокими шварцвальдскими домами, и так до того места, где дорога пересекала ручей. С этого места мы и начали удить рыбу.

Другой путь вел прямо по круче к лесной опушке, а потом надо было идти сосновым лесом, через горы; выходишь к лугу, и этим лугом вниз до моста. Вдоль ручья росли березы, он был небольшой, узкий, но прозрачный, быстрый и с заводями, там, где течение подмыло корни берез. У хозяина отеля в Триберге выдался удачный сезон. Там было очень хорошо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля, и он повесился.

Это можно застенографировать, но разве продиктуешь о площади Контрэскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же, на улице, и краска стекала по тротуару к автобусной остановке; о стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода носами; о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках в «Bal Musette» [1], *над которыми они жили тогда. О консьержке, принимавшей у себя в каморке солдата республиканской гвардии,— его каска с султаном из конской гривы лежала на стуле. О жилице по ту сторону коридора, муж которой был велосипедным гонщиком, и о том, как она обрадовалась в то утро в молочной, когда*

[1] Дешевое помещение для танцев *(фр.)*.

развернула «L'Auto» и прочла, что он занял третье место в гонках Париж — Тур, его первом серьезном пробеге. Она покраснела, засмеялась, заплакала и потом побежала к себе наверх, не выпуская из рук желтой спортивной газетки. Муж той женщины, которая содержала «Bal Musette», был шофером такси, и когда ему, Гарри, надо было поспеть рано утром на аэродром, шофер постучался к нему и разбудил его, и они выпили на дорогу по стакану белого вина у цинковой стойки в баре. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота.

Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или кепка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты и в этом квартале, наискосок от «Boucherie Chevaline» [1], *в винной лавочке, он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю жизнь. Не было для него Парижа милее этого,— развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, на улицу Кардинала Лемуана, а по другую сторону — узкий, тесный мирок улицы Муфтар. Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высокими, узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Квартира у них была двухкомнатная, и он снимал еще одну комнату в верхнем этаже этой гостиницы; она стоила шестьдесят франков в месяц, и там он писал, и оттуда ему были видны крыши, и трубы, и все холмы Парижа.*

Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в «Boucherie Chevaline», ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино; хорошее вино и дешевое. Дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типично французской ivresse [2],— *хотя принято уверять, что ничего подобного не существует,— открывали окна, и до тебя доносились их голоса:*

[1] «Торговля кониной» *(фр.)*.

[2] Опьянение *(фр.)*.

— Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Поди спит с какой-нибудь консьержкой. Разыщите ажана.— Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают.— Что это? Вода? Правильно! Лучше и не придумаешь.— И окна захлопываются.

Мари, его приходящая прислуга, недовольна восьмичасовым рабочим днем:

— Если муж работает до шести, он хоть и успевает выпить по дороге домой, но самую малость, и зря денег не тратит. А если он на работе только до пяти часов, значит, каждый сечер пьян вдребезги, и денег в глаза не видишь. Кто страдает от сокращения рабочего дня? Мы, жены.

— Хочешь еще бульону? — спрашивала его женщина.

— Нет, большое спасибо. Бульон замечательный.

— Выпей еще немножко.

— Дай мне лучше виски с содовой.

— Тебе это вредно.

— Да. Мне это вредно. Слова и музыка Коула Портера. Когда лицо твое от страсти бледно.

— Ты же знаешь, я люблю, когда ты пьешь.

— Ну еще бы. Только мне это вредно.

Когда она уйдет, подумал он, выпью столько, сколько захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, как он устал. Надо немножко вздремнуть. Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, свернула на другую улицу. Разъезжает, по двое, на велосипедах, неслышно скользит по мостовой.

Да, он никогда не писал о Париже. Во всяком случае, о том Париже, который был дорог ему. Ну, а остальное, что так и осталось ненаписанным?

А ранчо и серебристая седина шалфея, быстрая прозрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень люцерны? Тропинка уходила в горы, и коровы за лето становились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, и медленно двигающаяся масса поднимает пыль, когда осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами ясная четкость горного пика, и едешь вниз по тропинке при свете луны, заливающей всю долину. Сейчас ему вспомнилось, как он возвращался лесом, держась за хвост лошади в темноте, когда ни зги не было видно, вспомнились и все рассказы, которые он собирался написать о тех местах.

Рассказ о дурачке-работнике, еще подростке, которого оставили тогда на ранчо с наказом никому не давать сена, и о том,

как этот старый болван из Форкса, который бил дурачка, когда тот работал у них, зашел на ранчо за фуражом. Мальчик не дал, и старик пригрозил, что опять изобьет его. Мальчик взял на кухне ружье и застрелил старика у сарая, и когда они вернулись через неделю на ранчо, труп лежал замерзший в загоне для скота, и собаки успели изгрызть его. А то, что осталось, ты завернул в одеяло, уложил в санки и заставил мальчика помогать тебе, и вдвоем, оба на лыжах, вы волокли их по дороге, и так шестьдесят миль до города, где надо было сдать мальчика властям. А ему и в голову не приходило, что его арестуют. Думал, что исполнил свой долг, и ты его друг, и он получит награду за свой поступок. Он помогал везти старика,— пусть все знают, какой этот старик был нехороший, и как он хотел украсть чужое сено, и когда шериф надел на мальчика наручники, тот не поверил своим глазам. Потом заплакал. Вот и этот рассказ ты всегда приберегал на будущее. У него хватило бы материала, по крайней мере, на двадцать рассказов о тех местах, а он не написал ни одного. Почему?

— Поди расскажи им почему,— сказал он.

— Что «почему», милый?

— Ничего.

Она стала меньше пить, с тех пор как завладела им. Но если даже он выживет, он никогда не напишет о ней, теперь ему это ясно. И о других тоже. Богатые — скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в триктрак. Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое.

Он презирал тех, кто сгибается под ударами жизни. Ему-то можно было не увлекаться такими вещами, потому что он видел все это насквозь. Он справится с чем угодно, думал он, потому что его ничто не может сломить, не надо только ничему придавать слишком большого значения.

Хорошо. Вот теперь он не придает никакого значения смерти. Единственное, чего он всегда боялся,— это боли. Он мужчина, он мог выносить боль, если только она не слишком затягивалась и не изматывала его, но в этот раз страдания были просто нестерпимы, и когда он уже чувствовал, что начинает сдавать, боль утихла.

Он вспомнил давний случай: артиллерийского офицера Уильямсона ранило ручной гранатой, брошенной с немецкого сторожевого поста в ту минуту, когда Уильямсон перебирался ночью через проволочные заграждения, и он кричал, умоляя, чтобы его пристрелили. Уильямсон был толстяк, очень храбрый и хороший офицер, хотя невероятный позер. Но тогда, ночью, он, раненный, попал в луч прожектора, и внутренности у него вывалились наружу и повисли на проволоке, так что тем, кто снимал его оттуда еще живым, пришлось обрезать их ножом. Пристрели меня, Гарри, ради всего святого, пристрели меня. Как-то раз зашел разговор на тему, что господь бог ниспосылает человеку только то, что он может перенести, и кто-то защищал такую теорию, будто бы в известный момент боль убивает человека. Но он на всю жизнь запомнил, как было с Уильямсоном в ту ночь. Боль не могла убить Уильямсона, и он отдал ему все свои таблетки морфия, которые приберегал для себя, и даже они подействовали не сразу.

Но то, что происходит с ним сейчас, совсем не страшно; и если хуже не станет, то беспокоиться не о чем. Правда, он предпочел бы находиться в более приятной компании.

Он подумал немного о людях, которых ему хотелось бы видеть сейчас около себя.

Нет, думал он, когда делаешь все слишком долго и слишком поздно, нечего ждать, что около тебя кто-то останется. Люди ушли. Прием кончен, и теперь ты наедине с хозяйкой.

«Мне так же надоело умирать, как надоело все остальное»,— подумал он.

— Надоело,— сказал он вслух.

— Что надоело, милый?

— Все, что делаешь слишком долго.

Он взглянул на нее. Она сидела между ним и костром, откинувшись на спинку стула, и пламя отсвечивало на ее лице, покрытом милыми морщинками, и он увидел, что ее клонит ко сну. Гиена заскулила, подобравшись почти вплотную к светлому кругу, падавшему от костра.

— Я писал,— сказал он.— Но это очень утомительно.

— Как ты думаешь, удастся тебе заснуть?

— Конечно, засну. Почему ты сама не ложишься?

— Мне хочется посидеть с тобой.

— Ты ничего такого не чувствуешь? — спросил он.

— Нет. Просто хочется спать.

— А я чувствую,— сказал он.

Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки.

— Знаешь, единственно, чего я еще не утратил,— это любопытства,— сказал он ей.

— Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала.

— Господи боже,— сказал он.— Как мало дано понимать женщине. Что это? Ваша так называемая интуиция?

Потому что в эту минуту смерть подошла и положила голову в ногах койки и до него донеслось ее дыхание.

— Не верь, что она такая, как ее изображают, с косой и черепом,— сказал он.— С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах, и птица. Или же у нее широкий приплюснутый нос, как у гиены.

Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве.

— Скажи, чтоб она ушла.

Она не ушла, а придвинулась ближе.

— Ну и несет же от тебя,— сказал он.— Вонючая дрянь.

Она придвинулась еще ближе, и теперь он уже не мог говорить с ней, и, увидев, что он не может говорить, она подобралась еще ближе, и тогда он попробовал прогнать ее молча, но она ползла все выше и выше, придавливая ему грудь, и когда она легла у него на груди, не давая ему ни двигаться, ни говорить, он услышал, как женщина сказала:

— Бвана уснул. Поднимите койку, только осторожнее, и внесите его в палатку.

Он не мог сказать, чтобы ее прогнали, и она навалилась на него всей своей тушей, не давая дышать. И вдруг, когда койку подняли, все прошло, и тяжесть, давившая ему грудь, исчезла.

Было утро, оно наступило давным-давно, и он услышал гул самолета. Самолет сначала показался в небе точкой, потом сделал широкий круг, и бои выбежали ему навстречу и, полив кучи хвороста керосином, подожгли их и навалили сверху травы, так что по обоим концам ровной площадки получилось два больших костра, и утренний ветерок гнал дым к лагерю, и самолет сделал еще два круга, на этот раз ближе к земле, потом скользнул вниз, выровнялся и мягко сел на площадку, и вот к палаткам идет его старый приятель Комтон — в мешковатых брюках, в твидовом пиджаке и коричневой фетровой шляпе.

— Что с вами, дружище? — спросил Комтон.

— Да вот нога,— сказал он.— Вы позавтракаете?

— Спасибо. Чаю выпью. Я на Мотыльке. Мемсаиб не удастся захватить. Места только на одного. Ваш грузовик уже в пути.

Эллен отвела Комтона в сторону и заговорила с ним. Комтон вернулся еще более оживленный.

— Сейчас мы вас устроим,— сказал он.— За мемсаиб я вернусь. Ну, давайте поспешим. Может, еще придется сделать посадку в Аруше, за горючим.

— А как же чай?

— Да мне, собственно, не хочется.

Бои подняли койку, обогнули с ней зеленые палатки, понесли дальше, мимо скалы, и по равнине мимо костров, которые полыхали на ветру без дыма, потому что от травы уже ничего не осталось,— и подошли к маленькому самолету. Внести его туда было нелегко, но когда наконец внесли, он откинулся на спинку кожаного кресла, а ногу ему подняли и положили на переднее кресло — место Комтона. Комтон запустил мотор и вошел в кабину. Он помахал Эллен и боям, и, как только треск мотора перешел в привычный уху рев, Комтон сделал разворот, обходя кабаньи ямы, и, подскакивая на ходу, машина понеслась по площадке между кострами и с последним толчком поднялась в воздух, и он увидел, как те внизу машут им вслед, и палатки возле холма теперь почти вровень с землей, долина открывается все шире и шире, кучки деревьев и кустарника тоже почти вровень с землей, а звериные тропы тянутся ниточками к пересохшим водоемам, и вон там еще один водоем, которого он никогда не видел. Зебры — сверху видны только их округлые спины, и антилопы-гну — головастыми пятнышками растянулись по долине в несколько цепочек, точно растопыренные пальцы, и кажется, будто они лезут в гору. Вот шарахнулись в разные стороны, когда тень настигла их, сейчас совсем крохотные, и не заметно, что скачут галопом, и равнина сейчас серо-желтая до самого горизонта, а прямо перед глазами твидовая спина и фетровая шляпа Комти. Потом они пролетели над предгорьем, где антилопы-гну карабкались вверх по тропам, потом над линией гор с внезапно поднимающейся откуда-то из глубин зеленью лесов и с откосами, покрытыми сплошной бамбуковой зарослью, а потом опять дремучие леса, будто изваянные вместе с горными пиками и ущельями, и наконец перевал, и горы спадают, и потом опять равнина, залитая зноем, лиловато-бурая, машину подбрасывает на волнах раскаленного воздуха, и Комти оборачивается посмотреть, как он переносит полет. А впереди опять темнеют горы.

И тогда, вместо того чтобы взять курс на Арушу, они свернули налево, вероятно, Комти рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облако, разлетающееся хлопьями, точно первый снег в метель, который налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту

и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно,— попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь.

Как раз в эту минуту гиена перестала скулить в темноте и перешла на какие-то странные, почти человеческие, похожие на плач вопли. Женщина услышала их и беспокойно зашевелилась у себя на койке. Она не проснулась. Ей снился дом на Лонг-Айленде и будто это вечер накануне первого выезда в свет ее дочери. Почему-то и отец тут же, и он очень резок с ней. Потом гиена завыла так громко, что она проснулась и в первую минуту не могла понять, где она, и ей стало страшно. Она взяла карманный фонарик и осветила им вторую койку, которую внесли, когда Гарри уснул. Она увидела, что он лежит там, покрытый сеткой от москитов, а ногу почему-то высунул наружу, и она свисает с койки. Повязка сползла, и она боялась взглянуть туда.

— Моло,— позвала она,— Моло, Моло! — Потом крикнула: — Гарри, Гарри! — Потом громче: — Гарри! Ради бога, Гарри!

Ответа не было, и она не слышала его дыхания.

За стенами палатки гиена издавала те же страшные звуки, от которых она проснулась. Но сердце у нее так стучало, что она не слышала их.

ПРИМЕЧАНИЯ

ФИЕСТА

Роман был опубликован в 1926 г. под названием «И восходит солнце». Следующее издание, осуществленное в Англии, вышло под названием «Фиеста». С тех пор бытуют оба эти названия.

Стр. 13. *Принстонский университет* — привилегированное высшее учебное заведение в США.

Стр. 17. *Хадзон* Уильям (1841—1922) — американский писатель и путешественник.

Стр. 24. *«Bal Musette»* — одно из дешевых помещений для танцев в Париже.

Стр. 29. *Монс* — город в Бельгии, в районе которого во время первой мировой войны происходили кровавые бои.

Стр. 31. *«Ротонда»*, *«Купол»*, *«Клозери-де-Лила»* — парижские кафе, популярные в 20-е годы в кругах художественной богемы. *Ней* (1769—1815) — маршал Франции, участник революционных и наполеоновских войн.

Стр. 34. *Биарриц* — курорт во Франции на берегу Бискайского залива.

Стр. 36. *Кэ-д'Орсей* — улица в Париже, на которой располагается министерство иностранных дел Франции.

Стр. 39. *Менкен* Генри (1880—1956) — американский критик, публицист.

Стр. 50. *Сан-Себастьян* — курорт в Испании на берегу Бискайского залива.

Стр. 58. *Демпси* Джо — знаменитый американский боксер. *Памплона* — город в Испании.

Стр. 66. *Андайя*, *Байонна* — туристические центры в Испании.

Стр. 69. *Бургете* — туристическое местечко в Испании.

Стр. 89. *Примо-де-Ривера* (1870—1930) — с 1923 по 1930 г. глава правительства и фактический диктатор Испании.

Стр. 91. *Линкольн* Авраам (1809—1865) — президент США (1861—1865 гг.), осуществил ряд революционно-демократических преобразований, в частности отмену рабства. *Грант* Улисс (1822—1885) — американский ге-

нерал, во время Гражданской войны в США (1861—1865 гг.) главнокомандующий армиями Севера; в 1869—1877 гг. президент США. *Джефферсон* Дэвис (1808—1889) — президент конфедерации южных рабовладельческих штатов. *Скот Дред* (1810—1857) — американский негр, с именем которого связан громкий судебный процесс о правомерности рабства в некоторых штатах.

Стр. 95. *Брайан* Дженнингс (1860—1925) — американский политический деятель, государственный обвинитель в нашумевшем дэйтонском «обезьяньем» процессе о запрещении преподавания дарвиновской теории эволюции.

Стр. 105. *Вильсон* Вудро (1856—1924) — президент США (1913—1921 гг.).

Стр. 106. *Ганадерия* (и с п.) — ферма, где разводят быков.

Стр. 131. *Куадрилья* (и с п.) — общее название для всех подручных матадора: пикадоров, бандерильеро и пунтильеро.

Стр. 132. *Арроба* — единица торгового веса в Испании, Португалии и в бывших испанских колониях. Равна 11,5 кг.

Стр. 161. *Президент* — должностное лицо, наблюдавшее за боем быков.

Стр. 162—163. *Китэ, вероника* — технические приемы, применяемые матадором во время боя быков.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

Роман печатался с мая 1929 г. в журнале «Скрибнерс мэгэзин», а в сентябре 1929 г. вышел отдельным изданием.

Стр. 184. *...она вышла в свет в день биржевого краха.*— Здесь у Хемингуэя неточность, роман вышел за месяц до биржевого краха, ознаменовавшего начало экономического кризиса в США.

Стр. 185. *Уинслоу Хомер* (1836—1910) — американский художник. *Тулуз-Лотрек* Анри (1864—1901) — известный французский живописец и график. *Ренуар* Огюст (1841—1919) — известный французский художник, импрессионист. *Бергман Ингрид* (1915—1982) — известная киноактриса, друг Хемингуэя.

Стр. 186. *Вулф* Томас (1900—1938) — известный американский писатель. *Джойс* Джеймс (1882—1941) — известный писатель, ирландец по происхождению. В 20-е годы в период своей жизни в Париже Хемингуэй был знаком с Джойсом. *Бишоп Джон* (1892—1944) — американский поэт, в 20-е годы был близок с Хемингуэем. *Перкинс* Максуэлл (ум. в 1947 г.) — редактор издательства «Скрибнерс», друг Хемингуэя, был редактором всех его книг, начиная с «Вешних вод».

...одни повисли кверху ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили...— Хемингуэй имеет в виду Муссолини, повешенного итальянскими партизанами в 1945 г. в Милане.

янскими партизанами около бензоколонки в Милане, и тех главарей гитлеровской Германии, которые были казнены после завершения второй мировой войны.

Стр. 190. *Франц-Иосиф* (1830—1916) —австрийский император (1846—1916 гг.).

Стр. 191. *Карузо* Энрико (1873—1926) — выдающийся итальянский певец.

Стр. 197. *Сомма* — река на севере Франции, район крупных сражений во время первой мировой войны.

Стр. 202. *VAD* — Voluntary Aid Department (а н г л.) — женский добровольческий корпус обслуживания действующей армии.

Стр. 292. *Марвелл* Эндрю (1621—1678) — английский поэт и сатирик.

Стр. 307. *...каким был бы Христос, если бы Петр спас его в Гефсиманском саду.*— Согласно евангельской легенде, Иисус находился с апостолами в Гефсиманском саду, когда туда явился Иуда с вооруженными людьми, которые, по указке Иуды, схватили Иисуса. До этого Иисус предсказал, что апостол Петр, клявшийся ему в верности, трижды отречется от него прежде, чем пропоет петух.

Стр. 310. *Кроаты* — хорваты.

Стр. 350. *Гельвеция* — древнее название Швейцарии.

Стр. 353. *Муфти* — домашнее платье, которое носят должностные лица вне службы (о с т.-и н д.).

СТАРИК И МОРЕ

Повесть впервые опубликована в сентябре 1952 г. в журнале «Лайф».

РАССКАЗЫ

ИНДЕЙСКИЙ ПОСЕЛОК

Вошел в сборник «В наше время» (1925). Местом действия рассказа, как и многих других, посвященных Нику Адамсу, является Северный Мичиган, где семья Хемингуэев проводила летние месяцы.

В ЧУЖОЙ СТРАНЕ

Вошел в сборник «Мужчины без женщин» (1927). Основой для этого рассказа послужили воспоминания Хемингуэя, когда он после тяжелого ранения на итало-австрийском фронте лечился в госпитале в Милане.

УБИЙЦЫ

Впервые опубликован в журнале «Скрибнерс мэгэзин» в 1927 г., вошел в сборник «Мужчины без женщин».

ТАМ, ГДЕ ЧИСТО, СВЕТЛО

Вошел в сборник «Победитель не получает ничего» (1933).

ОТЦЫ И ДЕТИ

Вошел в сборник «Победитель не получает ничего».

О ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Опубликован в посмертно изданном сборнике «Рассказы Ника Адамса».

НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА

Вошел в сборник «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов» (1938).

Стр. 527. «*...кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем*».— Шекспир, «Генрих IV» (часть II, акт 3, сц. 2).

СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

Вошел в сборник «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов».

Стр. 534. *Уэстбери*, *Саратога*, *Палм-Бич* — фешенебельные курорты в США. *Он уезжал тогда из Фракии после отступления...*— Речь идет об окончании греко-турецкой войны 1919—1922 гг., организованной империалистическими державами Антанты силами греческой армии против освободительного движения турецкого народа и завершившейся изгнанием греческой армии из Анатолии. Хемингуэй в качестве корреспондента наблюдал отступление греческой армии. *Нансеновская миссия.*— Нансен Фритьоф (1861—1930), норвежец, известный исследователь Арктики, в 1920—1921 гг. верховный комиссар Лиги наций по делам военнопленных и беженцев.

Стр. 535. *Гауэрталь* — селенье в Альпах. *Шрунс* — селенье в Альпах. *...бомбить поезд с австрийскими офицерами...*— Имеются в виду боевые действия в первую мировую войну на итало-австрийском фронте.

Стр. 536. *Пасубио*, *Петрика*, *Асалоне*, *Монте-Корно*, *Сьетте-Коммуни*, *Арсиеро* — места боев на итало-австрийском фронте. *Арльберг* — горный перевал в Восточных Альпах в Австрии. *Форарльберг* — горный район в Австрии.

Стр. 543. *...говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара...*— Дадаисты — реакционное декадентское течение начала XX века в литературе и изобразительном искусстве Западной Европы, распространившееся главным образом во Франции; движение возглавлял выходец из Румынии Тристан Тцара. В своих произведениях дадаисты стремились к полному изгнанию смысла и логики, к разложению образа и слова, предлагая ничего не значащий набор слов в литературе и беспорядочное смешение линий и красок в изобразительном искусстве.

Стр. 544. «*Город и вилла*» — американский иллюстрированный журнал.

Стр. 545. *Площадь Контрэскарп* — площадь в Париже.

Стр. 546. *Верлен Поль* (1844—1896) — французский поэт-символист.

Стр. 548. *Скотт Фицджеральд* (1896—1940) — известный американский писатель, друг Хемингуэя.

Стр. 551. *Аруша* — город в Танзании (Африка).

Стр. 552. *Лонг-Айленд* — остров, на котором расположены два района Нью-Йорка.

Б. Грибанов

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Грибанов. Человека победить нельзя 5

ФИЕСТА (И восходит солнце). Роман. *Перевод В. Топер* . . 13
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! Роман. *Перевод Е. Калашниковой* 184
СТАРИК И МОРЕ. Повесть. *Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова* 413

РАССКАЗЫ

Индейский поселок. *Перевод О. Холмской* 470
В чужой стране. *Перевод Н. Георгиевской* 473
Убийцы. *Перевод Е. Калашниковой* 478
Там, где чисто, светло. *Перевод Е. Романовой* 486
Отцы и дети. *Перевод Н. Дарузес* 489
О писательстве. *Перевод А. Старцева* 498
Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера. *Перевод М. Лорие* 504
Снега Килиманджаро. *Перевод Н. Волжиной* 531

Примечания *Б. Грибанова* 553

Хемингуэй Э.

Х37 Фиеста (И восходит солнце). Прощай, оружие! Романы; Старик и море: Повесть; Рассказы: Пер. с англ./Сост., вступ. статья и примеч. Б. Грибанова; Худож. О. Верейский.— М.: Худож. лит., 1988.— 558 с., ил. (Б-ка классики. Зарубеж. лит-ра).

ISBN 5—280—00010—8

В книгу произведений крупнейшего американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899—1961) вошли романы «Фиеста» («И восходит солнце»), «Прощай, оружие!», повесть «Старик и море» и рассказы, созданные в разные годы.

$\text{Х}\frac{4703000000—241}{028(01)—88}$ 157—88 ББК 84.7США

БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

Зарубежная литература

Эрнест Хемингуэй
ФИЕСТА
(И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ)
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
СТАРИК И МОРЕ
РАССКАЗЫ

Редактор Т. Блантер
Оформление «Библиотеки»
И. Сальниковой
Художественный редактор
И. Калитовская
Технический редактор
Л. Витушкина
Корректоры
Н. Пехтерева, О. Левина

ИБ № 4962

Сдано в набор 09.09.87. Подписано в печать 08.02.88. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,66+4 нак.=33,59. Усл. кр.-отт. 34,65. Уч.-изд. л. 36,13+4 нак.=37,07. Тираж 1 200 000 (3 зав. 450 001—700 000) экз. изд. № 1-2761. Заказ № 1777. Цена без суперобложки 4 р. 30 к. Цена с суперобложкой 4 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28